СЕРГЕЙ БОРЗЕНКО

плацдарм



СЕРГЕЙ
БОРЗЕНКО

ПЛАЦДАРМ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Р2
Б 82

Предисловие
И. Падерина

Борзенко С. А.
Б 82 Плацдарм. Предисл. И. Падерина. М., «Худож. лит.», 1978.

528 с.

В книгу известного журналиста и писателя, Героя Советского Союза Сергея Борзенко, автора многих книг, входят его роман «Золотой шлях», первая книга эпопеи «Какой простор!», о становлении Советской власти на Украине, гражданской войне, разгроме внутренней контрреволюции и интервентов и несколько рассказов последних лет жизни автора.

Б $\frac{70302\text{-}337}{028(01)\text{-}78}$ 99-78 **Р2**

Оформление художника
Д. Мухина

Б $\frac{70302\text{-}337}{028(01)\text{-}78}$ 99-78

Сергей Александрович Борзенко родился второго августа 1909 года в Харькове. Отец его был ветеринарным фельдшером, мать — учительницей начальной школы. Пятнадцати лет Сергей остался сиротой. После окончания семилетки пошел в фабзавуч, освоил специальности слесаря и электромонтера, работал на харьковских заводах «Свет шахтера», «Серп и молот», в трамвайном депо. Без отрыва от производства окончил Харьковский электротехнический институт.

В годы работы и учебы Сергей Борзенко выступает в местной печати с очерками, рассказами и стихами, привлекшими к себе внимание общественности и литературных кругов Харькова. Вскоре ему предложили работать в областной газете разъездным корреспондентом. Молодой журналист полюбил корреспондентскую деятельность. В годы первых пятилеток не было, пожалуй, на Украине такого нового завода или стройки, на которых не побывал Сергей Борзенко. Он находил свои сюжеты и привлекавшие его характеры людей в политотделах машинно-тракторных станций, на посевных и уборочных кампаниях, на хлебозаготовках. Первая книга рассказов «Рождение коммуниста» вышла в свет в 1933 году на украинском языке.

Каждое выступление в газете о промышленных стройках, о коллективном труде на полях Украины было связано с познанием людей, их умонастроений, человеческих чувств. Год от года расширялся кругозор начинающего литератора. Постепенно созревает замысел эпопеи «Какой простор!».

«Когда мне было двадцать лет, написал роман «Золотой шлях»,— вспоминал в 1954 году С. Борзенко о создании первой книги-эпопеи. Но опубликовал он ее значительно позднее — в 1958 году.

В романе «Золотой шлях» речь идет о предреволюционной поре и о времени двух революций и гражданской войны. Действие романа развертывается в небольшом промышленном городе Чарусы. Раскрытие внутреннего мира персонажей дано автором в связи с происходившими в стране грандиозными переменами. Так события Февральской революции показаны через восприятие заводчика, члена Государственной думы Кирилла Змиева и его сына поручика Георгия. Они «за войну до победного конца». Механик из Чарусы Александр Иванов, находясь в Питере в октябре 1917 года, участвует в штурме Зимнего, его сын Лука, оставленный в деревне, видит, с каким ожесточением встречает Декрет о земле кулак Назар Федорец. Семья ветеринара Аксенова становится свидетелем кровавых столкновений вооруженных рабочих и красноармейцев с белогвардейцами, кайзеровскими солдатами, с бандами Махно, среди которых оказался Степан Скуратов, забойщик скота с утилизационного завода Змиева. А бывшая жена Степана Даша Слеза принимает участие в боевых походах Красной Армии против войск Деникина.

Убедительно показана в романе расстановка социально-политических сил в дни Февральской и Октябрьской революций. Много лет Сергей Борзенко накапливал достоверные сведения о том, что могли знать и видеть его герои: он сам был очевидцем событий и поднял огромное количество архивных документов, чтобы создать верную картину революционных преобразований, провести по ним своих героев без отступлений от исторической правды. Писатель обогатил наше представление о ходе борьбы за утверждение Советской власти на Украине, на Кубани, в Крыму интересными сведениями, многие из которых воспринимаются, как открытие автора, глубоко проникшего в переплетения очень сложных военно-политических событий прошлого.

Роман покоряет читателя лаконичностью повествования, строгой логикой фактов и вызывает чувство гордости за наш народ, который под руководством Ленинской партии завоевал и отстоял права трудящегося человека быть хозяином своей судьбы, своей страны.

В сороковых годах писатель работал над романами «Краматорск» и «Счастье», но рукописи их погибли в годы войны.

В первые же дни Великой Отечественной войны Сергей Борзенко выезжает на фронт корреспондентом армейской газеты «Знамя Родины». Свои впечатления о начале войны он раскрывает в дневниковых записках «Горькое лето», вошедших в книгу «Жизнь на войне». В конце этих записок Борзенко рассказывает: «Ночью я подошел к Днепру, как всегда гордому и величавому, сел под кустами плакучей ивы, посмотрел на высокий, недавно оставленный берег и впервые за последние двадцать лет заплакал. Сколько

я так просидел, не знаю, только к моим ногам стала прибывать вода и показалось, что все слезы украинского народа хлынули из городов и сел в могучую реку.

Мимо, позванивая шпорами, прошли два артиллериста. Колючий ветер, настоянный на горькой ивовой коре, донес обрывок фразы:

— Взорвали Днепровскую плотину...

Стало нестерпимо горько и тяжело».

То была осень 1941 года.

С. Борзенко пришлось испытать горечь отступательных боев и окружения, он был в отряде особого назначения, действовавшего в тылу врага в горах Кавказа, участвовал в штурме Новороссийска, семь месяцев пробыл в десанте на «Малой земле», где в окопах в минуты затишья между боями была написана документальная повесть «Повинуясь законам отечества».

Сергей Борзенко был человеком мужественным и отважным. Он участвовал в форсировании Керченского пролива, за что 17 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Сергею Александровичу Борзенко присвоено звание Героя Советского Союза. В наградном листе о его подвиге сказано:

«В ночь на первое ноября 1943 года писатель армейской газеты «Знамя Родины» майор С. А. Борзенко высадился с десантом 318-й Новороссийской стрелковой дивизии на крымской земле. В силу сложившихся обстоятельств ему пришлось руководить боем. Вместе с офицерами и солдатами С. Борзенко отбивал гранатами танки противника, которым удалось прорваться на 100 метров к командному пункту. Были дни, когда бойцам приходилось отражать контратаки противника по 17—19 раз, и всегда вместе с ними находился писатель С. Борзенко».

Тридцать лет спустя, 8 сентября 1974 года, в день вручения городу-герою Новороссийску ордена Ленина и Золотой Звезды Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в своей взволнованной речи о героических защитниках Новороссийска сказал: «Своим боевым, страстным словом сражались с врагом писатели и журналисты Сергей Борзенко, Павел Коган, Анатолий Луначарский и многие другие».

С 1944 года С. Борзенко — постоянный корреспондент «Правды». Он писал об освобождении Бухареста, Белграда, Будапешта, Вены, Варшавы, Праги. Его репортаж «На улицах Берлина», написанный во время заключительного сражения, был опубликован в «Правде» накануне полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Сергей Борзенко был одним из первых среди писателей и журналистов, получивших Золотую Звезду Героя. Но мирная жизнь

для Сергея Александровича не означала творческого покоя. Он публикует очерки из Югославии, Индии, Италии, Египта, Сирии, Ливана, Англии, США и других стран.

В начале пятидесятых годов разразились военные действия в Корее. И Сергей Борзенко едет туда. Более двух лет он был свидетелем героической борьбы корейского народа за свою свободу и независимость. В 1951—1953 годах издаются книги очерков писателя о неисчерпаемых духовных и моральных силах корейского народа в этой войне — «Корея в огне» и «Мужество Кореи».

Будучи журналистом, С. Борзенко постоянно выступает и как писатель: выходят в свет сборник очерков и рассказов «Десант в Крым» (1944), а в 1949 году — повесть «Утоление жажды» о мужестве и стойкости советских людей, интернациональной дружбе в борьбе с фашизмом. В 1954 году появляется повесть «Семья» о восстановлении шахт Донбасса. Издаются записки военного корреспондента «Жизнь на войне» (1958). С. Борзенко до конца жизни продолжал работу над эпопеей «Какой простор!» и в 1958—1963 годах публикует первые две книги этого романа: «Золотой шлях» и «Бытие».

В предлагаемый читателю сборник включены первая книга эпопеи «Какой простор!» — роман «Золотой шлях» и рассказы последних лет жизни писателя: «Плацдарм», «Братья» и «Замок». Рассказы, написанные после Великой Отечественной войны, несут в себе отпечаток личных впечатлений о пережитом и виденном в годы борьбы с фашистскими захватчиками. Так или иначе они автобиографичны и читаются как страницы жизни человека, которому довелось на своем веку пройти через многие испытания.

В шестидесятые годы начались полеты в космос. Сергея Александровича Борзенко захватывают героические подвиги советских космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Андриана Николаева, Павла Поповича, Валерия Быковского, Валентины Терешковой, Владимира Комарова, Павла Беляева, Алексея Леонова и др. Писатель изучает жизнь и быт космонавтов, много пишет о них.

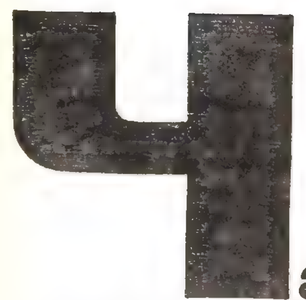
Всегда быть на переднем крае борьбы за высокие идеалы Коммунистической партии, за честь и независимость Родины, за свободу угнетенных народов — таков девиз боевой писательской жизни С. Борзенко, которая прервалась 19 февраля 1972 года.

Человек цельного, мужественного и решительного характера, светлой мечты, удивительно застенчивый в общении с людьми — таким он оставался в памяти друзей по боевым делам, по журналистской и писательской работе.

Иван Падерин



роман



асть первая

I

Под конец обедни в воскресенье — последний день августа 1916 года — в кафедральный собор города Чарусы вошел могучий красавец. На нем была модная визитка, лаковые, шитые на заказ штиблеты, в руке, обтянутой лайковой перчаткой, он держал черный блестящий цилиндр. За его широкой, как парус, спиной прокатилась волна раболепного шепота:

— Кирилл Егорыч Змиев приехал... Осчастливил-таки город.

— Богу молится, но и черта не гневит.

Прихожане расступились. Крупно шагая и ни на кого не глядя, Змиев прошел в первый ряд и стал слева, у резного деревянного клироса,— широкоплечий, на голову выше толпы.

Из алтаря в дорогой ризе, осыпанной жемчугами, вышел скудоумный протоиерей Иона и невнятно стал читать проповедь. Змиев скучным взглядом обвел богатые стены собора, отыскивая на них свои дары богу. Нахмурив брови, он долго смотрел на бесстрастные лица святых в позолоченных забралах украшений. Молитвенное настроение горожан напомнило ему о его несчастье — пришло официальное сообщение о ранении сына его Георгия, поручика, и частное письмо командира полка, где в подробностях описывалось, как прусский улан ударом палаша наискось рассек лицо Георгия.

— Изуродовали добра молодца,— едва слышно прошептал Змиев и полной грудью вдохнул синеватый, горький от ладана воздух.

Под церковное пение и урчащие возгласы протодьякона Змиев думал о сыне. Он любил его и был недоволен им. Сын не его вышел корня: худенький, суетливый, взбалмошный, в детстве часто болел, а в юности не проявлял ни ума, ни воли, ни любознательности. Кирилл Георгиевич знал за собой силу — физическую и нравственную, а Жора был хилый молодой человек с невыразительными чертами длинного лица, истеричный, всегда затянутый в зеленый мундир студента-академиста. Высокий крахмальный воротничок охватывал его тонкую шею. Ни внешним своим обликом, ни манерами он не напоминал отца. И часто Кирилл Георгиевич спрашивал себя: «Да полно, мой ли это сын?»

Будучи на втором курсе университета, в двадцатилетнем возрасте Георгий неожиданно женился.

Сделал он это без ведома родителей. Правда, прислал отцу из Харькова коротенькое письмецо. Неразборчивым своим почерком он уведомлял отца, что решил связать судьбу с девушкой не их круга, бесприданницей, но из хорошей простой семьи. О том, кто ее родители, в письме не было ни слова.

Кирилл Георгиевич испытал приступ ярости. Непослушание переходило все границы. Ничего не говоря жене, он написал сыну длинное письмо, доказывая, что брак — выгодная сделка, а что касается волнений сердца, то можно содержать девушку на стороне.

«При моих средствах и положении ты бы мог составить выгодную, со всех сторон обдуманную партию и найти невесту в любом семействе нашего круга. Мне кажется, ты должен уважать и ценить отца и довериться ему в этом отношении. Ты знаешь, что и мой брак в деловом значении был неудачен и непродуман, хотя я всегда почитал твою мать. Не повторяй ошибки моей молодости. Тебя ждет разочарование. Если не одумаешься — пеняй на себя. Я лишу тебя моей поддержки».

В ответ на это письмо пришла беспечная телеграмма: «Что решено, то решено. Приезжай на свадьбу. Пришли тысячу. Нежно целую. Жора».

Кирилл Георгиевич, зная сына, сложил оружие. Но ярость не утихла в нем. Тайно он отправился в Харьков, остановился в гостинице и вызвал к себе отца невесты.

Явился старичок, очень чистенький, в аккуратном сюртучке, почтительный, но бесстрашный. На запугивания связями он сказал: «Не боюсь. Честно служу моему отечеству и государю». Попытку же предложить деньги решительно пресек. И вышел, спрятав платочек в задний карман сюртука.

Все было кончено. Кирилл Георгиевич послал сыну с артельщиком две тысячи рублей, но видеть не пожелал. В день свадьбы затерялся в толпе у церковной паперти. Он не мог победить в себе желания посмотреть на невестку. Когда подкатил свадебный поезд, мелькнула перед ним фата невесты, он увидел бледное, но миловидное личико. Невеста казалась хрупкой и все же была выше Георгия. Кирилл Георгиевич не вошел в церковь, остался на паперти. Искреннее горе душило его. От этих двух болезненных существ он не мог ждать здоровых внуков. И здесь впервые пришла ему мысль взять приемного сына.

Приемного сына Кирилл Георгиевич не взял. В начале войны он примирился с Георгием. Как и всегда неожиданно, в порыве патриотических чувств, Георгий бросил университет, прошел ускоренный курс в военном училище и надел офицерские погоны. На этот раз Кирилл Георгиевич не сделал и попытки удержать сына — что-то переболело, сломалось в нем.

На фронт Георгия провожали отец и мать, жена Георгия Анна Павловна и тот бесстрашный чистенький старичок, который в номере гостиницы отверг и угрозы и деньги Змиева. Прошло не больше месяца — и Георгий получил тяжелое ранение в лицо.

— Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков! — возгласил протоиерей Иона те же слова, которые были произнесены тогда, вечером, в церкви новоневестным; они пробудили Кирилла Георгиевича от воспоминаний.

Скучная проповедь, однообразная, как дождик, оборвалась внезапно. Протоиерей закашлял, затрясся, наказал вынести крест. Брезгливо вытянув тонкие, ехидные губы, первым приложился к кресту старичок губернатор. За ним подошел Змиев, массивной фигурой отодвигая очередь именитых горожан. Он поцеловал крест и, не стыдясь, батистовым платком вытер губы.

Церковная служба подошла к концу.

Не взглянув на чиновников, подобострастно толпившихся на паперти, Змиев, поддерживая под локоть губернатора, вышел из собора. Вдвоем они спустились по ши-

рокой лестнице, сели в подкатившую пароконную коляску и поехали на Садово-Куликовскую улицу, в губернаторский дом.

— Очередную взятку повез! — крикнул вслед экипажу сын кулака Микола Федорец, черномазый мальчишка, исключенный на днях из гимназии за то, что выстрелил из пугача в портрет императора Николая II, висящий в актовом зале. Весь город знал, что мальчишка курит, пьет, шляется по бильярдным. И вот результат — непочтение к властям и волчий билет на всю жизнь.

— Да, барин староватый, но только хорошо знает, кого одарить,— откликнулся грязный нищий, весь в струпьях. В его протянутую, изъеденную газом руку, как монета, упала раскаленная злобой слеза.

В большом торговом городе не было канализации. Не было потому, что крупный помещик, капиталист и к тому же владелец всех городских ассенизационных обозов Кирилл Змиев ежегодно платил губернатору взятку в десять тысяч целковых. Об этом знало все население. Пробовали писать в газеты, но редакции тоже получали взятки и хранили молчание. Змиев владел десятой частью города, ехидно прозванной «Золотой стороной». Утилизационный завод, бойни, свалки, ассенизационные обозы Змиева были расположены в той стороне.

У губернатора Змиев пробыл недолго, ровно столько, чтобы не обидеть и не утомить заслуженного старика генерала. Положив на письменный стол плотный конверт с деньгами, как это делал несколько лет подряд, Змиев втиснулся в мягкое кожаное кресло.

Губернатор пододвинул к нему ящик сигар. Змиев взял сигару, обрезал кончик, с удовольствием закурил. Вспомнил о завоевании Эрзерума и Трапезунда, о потоплении английского крейсера «Гемпшир», на котором погибла направлявшаяся в Россию английская миссия во главе с военным министром — фельдмаршалом Китченером.

— Это дело рук немецких шпионов, так я полагаю,— проговорил губернатор.

— Возможно, вполне возможно,— согласился Змиев и тут же, давая понять, что не сомневается в осведомленности губернатора, спросил: — Как на ваш взгляд — Верден устоит?

— Падет. Полагаю, что падет... Хотя выступление Румынии и объявление Италией войны Германии нарушило равновесие сил в нашу пользу.

— Ну, а как у нас в городе — сильны революционные элементы? — спросил Змиев.— Интересуюсь, как член Государственной думы.

— Есть, есть беспокойные элементы. В частности, и на вашем Паровозном заводе,— нахмурившись, ответил губернатор.

— А вы их пошлите на фронт.

— Невозможно. Кто-то должен делать снаряды.

В столовой приятно прозвонили часы.

Губернатор внимательно посмотрел в глаза собеседника, выдохнул:

— Как по-вашему, кто проиграет войну?

— Бесспорно Германия,— уверенно ответил Змиев.— Нам известно, что в этом году генерал Людендорф заявил кайзеру, что ему не удастся добиться победы, и потребовал кончать войну. В руки нашего командования попал прелюбопытнейший документ — тайный план германского генштаба. Он настолько забавен, что я прихватил с собой копию.— Змиев достал из внутреннего кармана визитки сложенный вчетверо лист бумаги.

— Читайте,— взмолился нетерпеливый старичок.

Развернув бумагу и держа ее в отведенной руке, Кирилл Георгиевич принялся читать:

«1. Перемирие будет заключено раньше, чем какая-либо вражеская армия пересечет границы Германии. 2. После поражения наша родина останется целой и невредимой. 3. Основные конкуренты Германии в мировой экономике и торговле будут настолько ослаблены, что, когда все будет закончено, немцы вытеснят их с мировых рынков гораздо раньше, чем им удастся подняться на ноги. 4. После войны возникнет экономическая сумятица и произойдет промышленная революция. Мы будем восстанавливать класс против класса, государство против государства, пока у стран не окажется столько дел у себя дома, что они не смогут заниматься нами. 5. Если будет необходимо, мы можем разделить нашу родину на части, с тем чтобы вновь собрать их воедино в стратегически важное время. 6. Основная борьба разгорится после войны. Оружием ее будет пропаганда, цену которой мы знаем. Среди союзников начнется разлад; они будут стремиться схватить друг друга за горло, подобно своре дерущихся псов».

— Ну, мне пора ехать... Дела и обязанности.— Змиев поднялся, учтиво поклонился.

Губернатор взял его руку, долго держал в своей.

— Кирилл Георгиевич, могу я говорить с вами откровенно? — прошамкал он из-под седых усов.

— Да, да, пожалуйста, я с тем и приехал,— поглядывая на часы, ответил Змиев.

— Гучков сообщил мне о вашем приезде в Чарусу и дал понять, что вы располагаете некоторыми неофициальными сведениями. Вот его письмо.— С огромного, как бильярдный, стола губернатор взял конверт, протянул его заводчику.— Я знаю, что государь император желает разогнать Государственную думу, заключить с Германией сепаратный мир и затем все силы империи обрушить на революцию... Мне известно также о тайной переписке государя с братом императрицы, герцогом Гесенским, который предлагает начать переговоры о мире. Знаю и о письмах, посланных государю из Вены фрейлиной императрицы Васильчиковой, с предложением мира от имени кайзера Вильгельма... Правда ли, что обо всем этом уже наслышан английский посол Джордж Бьюкенен?

Змиев вынул из конверта письмо, развернул его, узнал торопливый, размашистый почерк Гучкова.

— Мне известно, что в английском посольстве за обедом обсуждался вопрос о настроениях правящих кругов,— продолжал губернатор, пытливо всматриваясь в спокойное лицо Змиева.

— Боюсь, что не скажу вам ничего определенного. До меня доходили слухи, будто французские и английские дипломаты и наши видные политические деятели считают: некоторые государственные перемены могут предупредить революционный взрыв и спасти Россию,— уклончиво ответил Змиев, не понимая, к чему клонит губернатор, заговорив с ним о таких щекотливых вопросах.

Губернатор тяжело вздохнул, прошелся по кабинету, взял со стола разрезной нож и стал вертеть его в руках.

— Губернский предводитель дворянства говорил мне, что в петроградском негласном кружке, членом которого вы изволите состоять, решено захватить между Ставкой и Царским Селом императорский поезд, вынудить согласие государя на отречение от престола, затем при помощи воинских частей, на которые можно рассчитывать, низложить правительство и составить новый кабинет.

— Зачем вы говорите мне всю эту дребедень? Ни в каких тайных кружках, ваше превосходительство, я не состоял и состоять не намерен,— возмутился Змиев.

— Говорю я это затем, Кирилл Георгиевич, чтобы в наши тревожные дни общественные круги, которые вы представляете, не забыли о верных слугах отечества.

— Ну, мне пора.— Змиев еще раз протянул руку, раздумывая над тем, что раз губернаторы затевают такие разговоры — песенка Николая II спета.

Губернатор его не задерживал.

Змиев поехал на утилизационный завод. Выхоленные орловские рысаки понесли его по нерадостному Змиевскому шоссе, над которым плыли розовые облака. Городовые, расправив ладонью усы, почтительно козыряли Змиеву. Кирилл Георгиевич, развалившись на кожаном сиденье, размышлял о том, что иным дельцам, вроде Базиля Захарова, война принесла одни барыши, а у него изувечила сына.

«Пожалуй, и не узнаю своего наследника. Какое страшное несчастье — отцу не узнать своего единственного сына!» Какое-то неприятное воспоминание мучило Змиева. Он сдвинул кожу на лбу, силясь сосредоточиться. «Да, отравленный газом нищий на паперти!» Рукой Змиев коснулся неподатливой спины кучера.

— Напомнишь: тому нищему, что сидел на паперти, предоставить работу в обозе.

— А вы спросили его — пойдет он или нет? Не каждому охота на бочку садиться.

Разбитое, все в выбоинах шоссе петлисто поднималось вверх. Жеребцы все чаще сбивались с рыси, переходили на иноходь — тряский шаг. Уныло потянулись приземистые мазанки поселка Качановки, в которых квартировали рабочие Паровозного завода, ассенизаторы, резники. Многие окна с выбитыми стеклами были заткнуты цветными подушками, тряпками, зипунами.

За бойнями, под железнодорожным мостом, в экипаж на полном ходу вскочил всклокоченный, с опухшим от пьянства лицом, сильный мужчина; крупный его нос был сбит на сторону. Большие сиреневые глаза, в цвет вышитой косоворотки, преданно остановились на лице Змиева.

— Почет-уважение, Кирилл Георгиевич!

Мужчина протянул большую жилистую руку, но Змиев ее будто и не заметил.

— Ну, как, Степа, жизнь? — любуясь ладно сбитой фигурой своего старшего рабочего, спросил он.

— Дозвольте сесть.— И, не дожидаясь ответа, Степан ловко вскочил на козлы и свесил ноги в лаковых сапогах,

повернувшись к Змиеву.— Прикажите уволить Иванова, неодобрительно о вас отзывается, людей на бунт подымает.

— Это наших рабочих-то! — Змиев засмеялся.— Да им революция и спьяну не снится, это же холуи стражников и городовых. А за Ивановым следи — рабочий-металлист. Увольнять не стоит, такого механика ни за какие рубли сейчас не сыщешь. Поживет с нашим народом, растворится в нем и сам люмпеном станет. Пристрастится к водке, а за рюмкой о политике думать некогда...

— Ой, много беды может наделать такой бывалый человек. Через огонь, и воду, и медные трубы прошел,— осипшим голосом ответил Степан, и показная ласковость исчезла из его глаз, уступив место черной злобе.— Бунтарство в нем живет, как в булыжнике искра. Ударь его — полетят искры; а случись поблизости солома — не миновать пожару.

За поселком на шоссе сутулился приземистый закопченный завод. Над дубовыми резными воротами жестяная вывеска, будто икона:

«УТИЛИЗАЦИОННЫЙ ЗАВОД К. Г. ЗМИЕВА»

Стоит завод в стороне, на взгорье. За несколько верст к северу, охваченный пылающими на солнце языками черепичных крыш, горит, не сгорая, большой город, день и ночь дымит трубами Паровозного завода. За забором завода простерлась пустая, утомительно бесконечная степь. Медная, глинистая земля словно окислена зеленью трав. Мимо городских окраин, мимо боен и свалок чешуйчатой змеей сползает шоссе, прозванное Золотым шляхом. Здесь и названия все какие-то иронические: Золотой переулок, Золотой тупик, Золотой въезд. Дни и ночи дребезжат на шляху ветхие бочки ассенизаторов, тянутся унылыми караванами, и кажется — нет им ни начала, ни конца.

Невдалеке собралась беспорядочная толпа. Змиев не сразу заметил бочку и распряженных лошадей, пощипывающих запыленную придорожную траву.

— Почему они там собрались? — спросил Змиев Степана.

— Так, баловство одно... Да ты погоняй! — прикрикнул Степан на обернувшегося кучера.— Барину спешить надо.

— Ну-ка, подъедем.

Змиев расправил затекшие от долгого сидения плечи и встал на подножку, готовясь спрыгнуть на землю. Кучер осторожно подъехал к толпе.

— Что здесь за ярмарка?

В толпе Змиева узнали и молча неприязненно расступились. Он увидел грязный брезент и выступающую изпод него лужу густых нечистот. Внезапно вынырнувший из толпы городовой с готовностью поднял край брезента. Змиев увидел распластанный в луже труп ассенизатора, жалостливо перевернутый лицом к небу. Голова его была пробита, а лицо изуродовано страшным косым ударом.

— Выливают, сволочи, перед самыми домами — вот их и бьют, учат благородному обхождению,— выдвинувшись вперед и скрестив на животе короткие пальцы, пробубнил качановский лавочник Светличный — толстый, неопределенного возраста мужчина. Он явно старался привлечь к себе внимание богача.

Змиев брезгливо отвернулся. Садясь в фаэтон, насупил брови. Косая рана, раскроившая лицо ассенизатора, остро напомнила о сыне, который наперекор воле отца из глупой фанаберии бросил университет и ушел на фронт. Змиев с внезапно вспыхнувшей злобой посмотрел на Степана и вдруг резко, хозяйским тоном спросил:

— Вот ты холуем при мне состоишь. А почему не в армии? Неужели для тебя не нашлось там места?

Степан покраснел.

— Отец мой, как изволите знать, промотал весь свой достаток. Я наг и бос. Дешево досталось вам мое усердие. Эх, мне бы отцову землю, а не долги! — Степан глубоко вздохнул, скрипнул зубами.

— Жаден ты, Степка, а труслив. Ведь боишься, как бы я тебя не вытолкал с завода в три шеи.

— Нам бояться нечего, это вам надо бояться! — с неожиданной грубостью выкрикнул Степан.— Вам надо бояться, в народе-то неспокойно, озверел народ, пятым годом пахнет! — Он гневно скосил сверкнувшие белки глаз с красными разветвленными жилками.

— А ты порох, дружок, чистый порох,— с внезапным добродушием сказал Змиев, отваливаясь на кожаные подушки.

— Трус я... Трусы, они дольше героев живут,— продолжал Степан, остывая.— А крестик за войну мне ни к чему. Опасное это дело. Пойдешь за серебряным крестиком, а получишь деревянный. Так уж лучше пересидеть войну в закутке.

Змиев любил подразнить Степана и прощал ему его дерзости, хотя и знал, что в раздражении Степан опасен.

Это напоминало ему деревенские игрища в ночь на Ивана Купала, когда прыгаешь через яркие костры с риском подпалить праздничные штаны на виду любопытных, насмешливых баб. Степан был мещанин, но упорно, вот уже несколько лет, выдавал себя за промотавшегося дворянчика. Многие верили в это, а Змиев не разубеждал, потешаясь над людской легковерностью. Степан был силен, пудовой гирей крестился. И Степан был нужен ему на заводе, как свирепая цепная собака.

День выдался солнечный, яркий. Расправив крылья, в высоком небе висел коршун. Змиев долго следил за его недвижным мерцающим полетом и вскрикнул, когда коршун камнем оборвался вниз, настиг какую-то птаху, сшиб ее и вновь величественно, почти не работая крыльями, набрал высоту.

— Купецкая птица, не благородных кровей, а смелая, как орел,— проследив за взглядом хозяина и стараясь попасть в тон его настроению, проговорил Степан.

— Да, с характером птица.

Фаэтон поднялся на гору. Впереди показался завод с толстой, короткой трубой. Навстречу поплыл душный чад мертвечины. Змиев отвернулся. С высоты перед ним открылась ярмарочная пестрота города, который он видел редко, приезжая сюда из Петрограда каждую осень на три дня. Он любовался текущим вниз, извилистым, как река, шоссе, песчаной насыпью железнодорожного пути, кирпичным островом боенских зданий и цветной мозаикой картинных городских построек. Взгляд его любовно останавливался на куполах церквей, скользил по синему забору пригородного леса и, наконец, застыл на ослепительно белых, окрашенных мелом тюремных стенах на Холодной горе.

Когда фаэтон остановился у ворот завода, Змиева вышли встречать. Он легко спрыгнул на землю, поклонился и, никому не подав руки, вошел в настежь распахнутые ворота. Во дворе двое бойких мальчишек лет по одиннадцати отгоняли кнутьями тощих лошадей, которые, как бы не чувствуя ударов, вытянув крутые шеи, продолжали скусывать бледные побеги диких маслин.

— Чьи это? — спросил хозяин.

— Меньшой — Лукашка, сынишка механика, а второй — качановский,— услужливо ответил ветеринарный фельдшер Аксенов, поправляя дешевые очки на близоруких, косящих глазах.

— Лука, а ну, марш домой, нечего зря под ногами вертеться! — громко сказали сзади.

Змиев обернулся и встретился с твердым взглядом заводского механика Иванова, о котором ему только что нашептывал Степан. У Иванова были характерная бритая голова и крупные выразительные черты лица.

— Не гони, пусть привыкает к хозяину... Что ж, учится он у тебя? — спросил механика Змиев. Ловкая фигурка мальчика, мелькнувшая в голых прутьях смородины, как в дожде, понравилась ему.

— Школы поблизости нет, больницы нет, ни черта нет, только одни свалки,— недружелюбно проговорил механик.

— Школы нет?.. Вон она, школа, для таких, как ты.— Змиев показал рукой на стены тюрьмы на Холодной горе.

Механик усмехнулся.

Группа рабочих в праздничных канаусовых рубахах, лавируя между трупами павших животных, прошла к заводу.

— Мал завод у тебя, Кирилл Егоров, на такой город. Надо еще один котел присобачить. Пропадает добро.— Иванов показал на разбухшие туши животных.

В словах его проскользнула какая-то тайная издевка, и это сразу уловил Змиев. Ему захотелось задобрить механика.

— Дело говоришь. За хороший совет получи на чай красненькую.— Из верхнего кармана жилета Змиев вынул новенькую кредитку.

— Спасибо, я не пью,— ответил механик, отклоняя деньги, чем немало изумил столпившихся рабочих.

Старший гицель [1] Алешка Контуженный не выдержал, потянул его за рукав.

— Не кобенься, бери на пропой всей честной компании.

Живодер Гладилин потянул красным носом воздух, словно принюхиваясь к запаху денег, и процедил сквозь гнилые зубы:

— Дуракам счастье.

Змиев повернулся к ветеринару Аксенову, слегка подвыпившему и поэтому державшемуся в сторонке.

— Ну, а вы, Иван Данилович, чем заняты? Каким-нибудь новым открытием собираетесь удивить мир? Я коечто слышал о ваших поисках.

---

[1] Гицель — живодер.

— Да, да, вы совершенно правы. Я ищу сыворотку, которая могла бы предотвратить заражение лошадей сапом... Но всякие эксперименты требуют денег — а где их взять? — Аксенов снял шляпу из мочалки, получившую в те годы название «здравствуй-прощай».

— Денег я вам не дам, и не просите... Извините за откровенность, но сапные лошади увеличивают доходность завода, и я хотел бы, чтобы все ваши эксперименты потерпели неудачу.

— Вы, конечно, шутите,— растерянно пробормотал ветеринар.

Тяжелой походкой Змиев обошел свой завод. Всюду натыкаясь на беспорядочно разбросанные трупы лошадей и собак, он убеждался, что механик сказал правду,— завод не справлялся с переработкой павших животных, требовал расширения, просил денег. Десятки туш ежедневно отвозились на свалку, их растаскивали собаки, и они навсегда погибали для производства.

А кругленькая взятка осталась на столе губернатора, и нужно было ее компенсировать. Разговор с губернатором растревожил Змиева, только сейчас он это понял. Уж не подслушивал ли их кто-нибудь во время беседы? Быть может, эта беседа — провокация?

Тревога не покидала его, когда он, страстный любитель лошадей, загляделся на пару игреневых сапных лошадей, присланных на убой. Когда-то гладкая шерсть стояла на них торчком. С умелостью знатока Змиев ощупал пальцами тонкие кости лошадиных ног, заглянул в светлые большие глаза, потрепал мышцы на породисто-изогнутых шеях.

— Без моего разрешения не убивать,— сказал он ветеринару Аксенову, который по-прежнему держался от него на почтительном расстоянии.

Вечером в богатом номере гостиницы «Карфаген» Змиев заказал вызванному к нему инженеру Бакетову проект генерального, как он выразился, расширения утилизационного завода. Вдвоем с инженером они тщательно подсчитывали стоимость материалов, новых котлов и рабочей силы, рассчитанной на две смены.

Бакетов назвал подрядчика, который мог бы с успехом для дела взять на себя строительные работы. Змиев согласился. Подписывая денежный чек, он вдруг, не закончив размашистого росчерка, пытливо посмотрел в оживившиеся глаза инженера, сказал грубо:

— Мне денег для дела не жалко. Это надо понять.

— Понимаю, понимаю,— заторопился Бакетов, беря чек из рук заказчика. Холеное, тщательно выбритое лицо Змиева напомнило ему портрет какого-то сановника, виденный в журнале.

— Скажите: есть ли смысл покупать облигации краткосрочного военного займа? — спросил Бакетов.— Как-никак пять с половиной процентов дохода.

— Покупайте. Солдаты, снаряды, сбережения — вот что сломит врага и принесет нам победу.— Змиев потер руки, поросшие рыжеватой шерстью.

Бакетов поклонился и вышел.

«Что до меня,— подумал Змиев,— то я ни одной катеринки не истрачу на облигации. Заем покоится на песке. За первым займом последует второй, за вторым третий. Государство обнищало, как церковная мышь».

II

Ветер гонит из степи запахи трав и цветов. Даже на сеновале Лукашка Иванов не может заснуть. Среди странно изменившихся шорохов ночи он слышит жаркий шепот Дашки, сожительницы Степана Скуратова. На сеновал долетает каждое слово.

— Что ты отвернулся и лежишь, будто неживой?

— Отстань, не мешай думать... Опротивела ты...

Мальчишке становится не по себе. Он чувствует всем своим существом удушливую неприязнь двух людей, лежащих рядом в одной постели. «Ой, плохо это кончится между ними»,— жалостливо думает он, переворачиваясь на спину. Нет, взрослые не умеют жить правильно. В зеркальном небе светится Золотой шлях — то дымчато струится на юг Млечный Путь. Со стороны Качановки доносятся невнятный говор, девичий визг, надрывные всхлипы гармоники; все это по-воскресному заманчиво, призывно. Где-то совсем близко, в саду, матерно ругается пьяный Гладилин. Ломая ветви, бродит неуклюжая лошадь.

Интересно — что за человек Гладилин, где он родился, рос, как попал на утилизационный завод, почему его никто не любит, почему он ни с кем не дружит?

Неожиданно у Луки родилось ощущение нарастающей высоты — как на качелях. Крупные августовские звезды

настолько близки, что их, казалось, можно потрогать. Лука смело протянул руку, но приятный, захватывающий взлет окончился, качели стремительно падали вниз; мальчик закрыл отяжелевшие веки, полетел в пропасть — и уснул.

Утром его разбудил Ваня Аксенов, сын ветеринара, худенький голубоглазый мальчик.

— Чего дрыхнешь так долго? Пойдем купаться.

Услышав голос дружка, Лука вскочил. Он преданно любил Ваню Аксенова, своего одногодка. Вместе они учились в частной гимназии Пузино, но в этом году Луке вернули документы, деликатно намекнув, что двери учебных заведений для него навсегда закрыты.

Ваня жил во дворе ассенизационного обоза вместе с отцом, матерью и десятилетней сестрой Шурочкой. На утилизационный завод он приезжал редко, всегда вместе с отцом, и каждое его посещение было праздником для Лукашки. Они вместе читали Жюля Верна, Майна Рида и Фенимора Купера, мечтали о будущем и собирались бежать в Америку на норвежских коньках через Берингов пролив.

Лука быстро оделся и босой спустился с сеновала. На руке его еще не зажила ранка; содрал струп, коричневый, тонкий, как ржавчина.

Вдвоем они вышли за ворота завода. Воздух на шляху тяжелый, приторно-сладковатый: запах трупов, пролитого аммиака; а над смрадом мертвечины — живое дыхание фруктовых садов. Против завода раскинулось огромное садоводство Змиева, за ним яры, за ярами липовая, кругролистая роща с прудом посередине. Если смотреть с крыши завода, то пруд кажется синим камнем, вставленным в золотую, позеленевшую оправу.

Друзья пересекли шлях, спустились обрывистым спадом в яр, по мокрым от росы цветам выбежали к пруду и, зачарованные, остановились на берегу. Над прудом стремительно проносились ласточки, быстро ныряли, на мгновение задерживались в воде, и, отряхнув радужные брызги, перевернувшись в воздухе, делали круг, и возвращались, чтобы все повторить сначала.

— Даже жалко пугать,— вымолвил Лука, захваченный птичьей игрою.

Мальчишки взобрались на верхушку печальной, растрепанной ивы, раскачались на гибких ветвях и нырнули в воду.

— Ваня, давай — кто скорее!

Быстро взмахивая руками, они поплыли наперегонки к сломанной березе, обмывавшей в холодной воде белое колено ствола.

За липами гнется под ветром густая трава, а еще дальше тонкими струями текут рельсы к каким-то далеким-далеким озерам. Детям кажется, что деревья осыпаны птицами, будто монистом, стеклянно звенящим в едва уловимом движении веток.

Мимо пруда по колено в траве с цапками на плечах молча бредут девчата — полоть на огородах Змиева. Одна из них, сердитая и, видно, голодная, сказала, кивая на голых мальчишек:

— Работать не хотят, на солнце вылеживаются, а дома мать теребят за юбку, жрать просят.

Вторая, высокая и худая, как жердь, остановилась передохнуть, с любопытством посмотрела на мальчишек.

— Эти попросят, жди! Они яблоки воруют.

От ее злых слов руки мальчишек сжались в кулаки. Жмуря ослепленные солнцем голубые глаза, стряхивая с загорелого тела песок, Ваня сказал:

— Ну их!.. Пойдем на завод.

— Не люблю я живодерню. Вонь, мухи... Отец говорит, что наш завод — царская Россия в миниатюре. Знаешь, что такое миниатюра? — Лука щурился, сблизив мягкие ресницы. Удалявшиеся девчата казались серыми, как взбитая пыль.

— Пойдем,— настойчиво потянул товарища Ваня.

На шляху мальчишки увидели печальную процессию: конвойные солдаты гнали по этапу партию заросших бородами каторжан, закованных в кандалы. Железо жалобно позванивало о булыжник.

— Ребята, запомните нас, ведь когда-нибудь подрастете и все будете понимать! — громко сказал арестант в очках.

— Запомним! — крикнул Лука.

У ворот завода шибануло в голову чадом.

Качановские мальчишки, дети ассенизаторов и резников, слонялись по заводу, помогали рабочим свежевать трупы, возили па свалку ободранные туловища. Лука с Ваней вошли во двор завода, когда четырнадцатилетний гицель Кузинча привез будку, набитую собаками. Толстое, добродушное лицо его было все в крови — только что избили на барахолке. Руками, на которых собачьи зубы

оставили следы, он прикладывал медные пятаки под маленькие глазки, лишенные век.

— Выгружай, ребята, товар! Только с опаской — злющие. Стражники, а не собаки! — весело выговаривал он вспухшими от побоев губами.

Был он прост, приветлив безо всякой фальши, которую дети всегда хорошо чувствуют, и особенно — у взрослых. За простоту Лука любил и выделял Кузинчу среди своих многочисленных сверстников на заводе.

Ваня приблизился к будке. Короткая шерсть на собаках выгорела, как июньская трава, глаза их злобно блестели.

Алешка Контуженный железными клещами выхватывал собак из будки; они выли, сжимались в комок, мячами прыгали кверху, пытались вырваться. У Контуженного тряслись руки, ноги, губы. Кузинча убивал собаку ударом железной трубы по голове.

— Здоров, Алексей-наследник... Дай табаку, пираты хотят курить,— попросил Лука.

— Снимайте шкурки, тогда дам. Привыкайте к тому, что в жизни за все надо платить.

Мальчишки взяли изъеденные точильным камнем ножи. Алешка прыгающими пальцами отсыпал им едкого, крупно нарезанного самосада. Собаки были еще теплые, но привычные руки быстро сдирали шкуры и бросали освежеванные туши под стенку.

Незаметно подошел Кузинча и без всякой на то причины выругался. Контуженный ответил ему крепкими словами. После этого Кузинча мирно спросил, как они проведут вечер, а Контуженный так же мирно ответил.

Ваня нахмурился. Ему вспомнилось, как однажды, возвращаясь из школы, встретил он на улице ломовых извозчиков, безобразно ругавшихся. Он прошел мимо, недоумевая, почему взрослые люди прибегают к столь мерзким словам. Впереди него семенила женщина с девочкой, и он слышал, как девочка сказала: «Мама, в Чарусе у нас много нерусских, не поймешь, что они говорят».

Кузинча, растянув толстые губы в улыбку, снова выругался.

— Братцы, если ругаться будете, я вам не товарищ,— резко сказал Ваня.

— Ну и пошел вон! Дурак! — прикрикнул Контуженный.

Ваня ушел, не окликнув Луку, и этим очень обидел товарища.

Два солдата, странно похожие друг на друга одинаковым выражением лиц, привели трех лошадей — двух чалых и одну воронуюв загаре. Поправляя очки, пришел, как всегда пьяненький, ветеринар, похлопал коней по крупам, сказал:

— Лукашка, веди на конюшню, а гнедого и двоих чубарых давай сюда.

На заводе для работы держали семь сапных лошадей. Но корма в достатке не было, поэтому мальчишки угоняли лошадей в степь, пасти. Когда на завод приводили лошадей более исправных, то старых, исхудавших, убивали.

Лука привязал дрожащих лошадей, позвал:

— Дядя Степан!

Играя молотом, вышел Скуратов. Лука пытался ввести коня в завод, но конь, напуганный запахом крови, храпел, приседал на задние ноги, не хотел идти. Кузинча ударами окованного на концах барка вогнал коня в коридор.

Молот описал сверкающий круг и, как на наковальню, упал на широкий, меченный белой звездой лоб коня. Глаза коня подернулись поволокой, напряженно вытянулись ноги. Рядом с чалым, тяжело вздохнув, упала жеребая кобыла и отбросила широкие копыта, украшенные полумесяцами истертых подков.

— Лука! А ну стебани эту конягу меж очей. Тебе привыкать к нашему делу надо. Ни летчик, ни моряк из тебя все равно не выйдет, не дадут выучиться,— сказал Степан, подавая молот.

Он не впервые предлагал Луке убить лошадь, но мальчик всегда боязливо отказывался, хотя и знал, что рано или поздно придется уступить настойчивым требованиям. Поплевав на ладонь, он неохотно взял молот, подумал: «Как взрослый убью животину, и Степан похвалит меня при Аксенове».

— Только сильно бей, чтобы сразу свалить,— поучительно сказал Степан, садясь на убитую лошадь и доставая из кармана кисет.

Лука, подавшись вперед, взмахнул тяжелым молотом, как дровосек топором. Конь упал, но сразу же поднялся, обдирая колени передних ног. Молот вторично описал дугу; конская голова мотнулась, и удар пришелся по мякоти меж трепетных раздутых ноздрей. Конь посмотрел печальными, умными глазами, из них сыпались крупные слезы.

Луке стало нестерпимо больно, он швырнул молот на землю, фиолетовую от кровавых, ежедневно подсыхающих луж, закусил губу и молча пошел к отцу в машинное отделение. Степан посмотрел ему вслед, проговорил:

— Молодой, горячий, как жеребенок.

Гладилин, высунувшись из окна, добавил:

— Дикий, как азиат. И откуда кровь у него такая? Растет, как будяк: красивый, а злой — не трогай, а то уколет.

Степан в раздумье загляделся на неровные, расплывшиеся кольца папиросного дыма.

— Жаль мне его: отец не сегодня-завтра на каторгу угодит, мать на селе с другим мужиком живет. Погибает малец на корню.— Он мечтательно вздохнул.— Эх, мне бы такого сына, я бы вывел его в люди, он бы у меня зря груши не околачивал...

Жили на утилизационном заводе какой-то особой, несерьезной, «пропащей» жизнью — лишь бы прожить от утра до вечера. Люди ютились здесь ушибленные, обломанные, жестоко битые судьбой. Потому-то и любили они не похожего на них, честного и резкого Лукашку, любили той ревнивой любовью, которой бездетные женщины любят чужих детей. Был он для них радостный, как подснежник, выросший в расщелине стены, которая отгораживала их от жизни.

Небольшой завод имел под землей огромное машинное отделение. От паровика сеть труб тянулась к двум двухтонным котлам, рабочие крепко набивали их падалью, на сорок дюймовых болтов стягивали по кругу. Отец Луки, механик, пускал в котлы пар до тех пор, пока из падали не получалась серая масса, в которой плавали белые кости, а сверху — тяжелые круги жира. Этот жир отправляли на мыловаренный завод. Кроме котлов и в машинном отделении были размещены костяные мельницы, суперфосфатные печи, токарные и сверлильные станки, и над ними шелестел косой кожаный дождь пасов. Вход в машинное отделение узкий и длинный, как в шахту. На старых, трухлявых ступенях растут чахлые, тонкие стебли, никогда не видящие солнца. Эти стебли всегда напоминали мальчишке людей, живущих на заводе.

Лука спустился вниз, где стоял рабочий стол отца с двумя пятнами лиловых, въевшихся в дерево чернил. Лукашку всегда поражал порядок на столе, на котором лежали слесарные инструменты. Здесь была настоящая

жизнь отца — это чувствовалось во всем, даже в подгнившем деревянном полу, вымытом его руками. Мальчик подошел к тискам, ласково тронул их и вдруг увидел отца: он появился откуда-то снизу — в шведской коричневой куртке, запачканной голубым олеонафтом, большой, ласковый, с досиня выбритой красивой головой.

— Ну, видал хозяина? С падали сметану собирает.

— Змиева? Видать, жадина... Сам высокий, а голова маленькая, как у змеи.

— Паук! От них вся несчастная жизнь происходит.— Механик всегда разговаривал с сыном, как со взрослым. Спросил: — Что, в казарме сегодня опять пить будут?

— Спрашиваешь!

— Крепкие напитки делают слабых людей. А ты не ходи в казарму,— посоветовал отец.

— Интересно мне: как выпьют, так и начинаются тары-бары. А пить я не пью, ты сам знаешь, хотя Степка сильничает, говорит: все умные пьют. Петр Великий, например.

— Жадный ты на чужую жизнь, а про свою забываешь. Ты бы почитал лучше.

— Книжки глупее, чем люди.

Мальчик говорил серьезно, как сверстник, товарищ отца. Не было в нем ни заискивания, ни слюнтяйства, и это нравилось Иванову. Механик видел, что Лука смотрит на него выжидающе, требовательно, ждет слов, которых не может услышать от темных, помраченных нищетой и невежеством людей.

— А ты все-таки почитай, не все книжки глупые. Вот я достал для тебя «Мать» Максима Горького. Обязательно почитай. Горький — это, брат, учитель жизни. Наша книга.

Он не говорил «я», «мое», а всегда «мы», «наше». В прошлом механик десять лет проработал на Паровозном заводе, в правление которого тоже входил Кирилл Змиев.

Мальчик взял в руки потрепанный томик, перелистал его, сказал:

— Мне об этой книге Ванька Аксенов рассказывал.

— А он читал ее?

— Если рассказывал, значит, читал. Ванька умный, потому-то я и дружу с ним. И отец у него хороший, только пьяница, пропивает все деньги... У Шурочки ботинки рваные.

— У нее рваные, а у тебя никаких нет, босиком бегаешь. Денег, братец, у нас нет. Но ничего! Чем тяжелее в детстве, тем лучше для человека: закаленный выйдет в жизнь.

Отец и сын помолчали.

— Возьми меня кочегаром к себе, надоели мне звонари,— громко, чтобы заглушить шорох машин, а может, и потому, что от волнения срывался голос, требовательно попросил Лукашка.— Буду работать, заработаю на башмаки.

— Маленький ты еще, подрастешь — возьму обязательно. Из кочегаров всегда выходили люди. А книжку эту мы вместе будем читать, вслух.

— Папа, почему у меня нет ни сестры, ни брата? — с тоской спросил мальчик.

Отец вздохнул и ничего не ответил.

III

Днем на заводе трудились, делая черную работу, а вечером напивались. Чего только не пили! Кислый самогон, горькую водку, сладкую мадеру. Устраивали дикие, безумные оргии, которые затягивались на недели. Тогда завод, продолжая дымить, как бы спал беспокойным сном, будто пьяный, упавший у края глубокой ямы,— того и гляди, свалится и погибнет. Один только трезвенник — сторож Шульга — принимал трупы павших от бескормицы лошадей, подобранных на улицах города. Над заводом хлопьями сажи слепо кружили черные летучие мыши, зло кричали совы. Однотонно выли голодные собаки, обреченные на убой. Ночами звенели разбитые стекла и тонкие истерические женские голоса напрасно взывали о помощи.

В казарме за общим, потемневшим от жира столом пьянствовали человек двадцать. Разбитные женщины хватали мутные чарки и нервно, словно силясь перещеголять мужчин-подзаборников, глотали огненную жидкость. Алешка Контуженный заводил лихую босяцкую песню. Ему пробовали подтягивать, путая чужие, незнакомые слова:

Умеем жить. Умеем пить,
И бросьте нас подначивать.
Умеем девочек любить,
Карманы выворачивать.

Обглоданная войной страна страдала, уже кое-где начинался голод, но на заводе не голодали. На завод привозили пуды бракованных продуктов: трихинозную свинину, заплесневевшую колбасу, тронутую тленом резаную птицу, красную от селитры солонину. Все это присылалось санитарным надзором для уничтожения, но ветеринар кое-что признавал годным для рабочих — как он выражался, «для луженых желудков». Едкими пряностями убивали неприятный запах, жарили, варили и ели. Из ухарства жарили даже собачье мясо, макали ломти хлеба в чашки, полные горячего светлого жира. К тому же считалось, что собачье мясо помогает от чахотки.

Лука вышел во двор, в голове плавал чад хмеля. Скуратов все-таки заставил его выпить рюмку самогону. В густой паутине туч одиноко, как пойманная, билась звезда. Мальчишка почувствовал, что кто-то потянул его за рукав, всмотрелся в чужое, темнотой измененное лицо, с отвращением сказал:

— Что тебе надо? Уходи вон!

— Лукаша, милый, постой, я чтой-то тебе поведаю.

Женщина осторожно взяла мальчика за руку, посадила рядом с собой на скамейку. Ее мучила ревность. Избитое, в синяках, лицо не болело так, как израненная, облитая грязью душа. Бывают у человека такие минуты, когда он тянется к первому встречному излить свое горе, выплакать его, как на материнской груди. В такие минуты одиночество сводит с ума и способно толкнуть на самоубийство. В такие минуты, как никогда, человеку необходим человек.

Молодая высокая женщина держала мальчишку за руку, боясь, что он не дослушает, оставит ее одну и вернется в казарму, откуда ее сейчас выгнал муж. Звали ее Дашкой. Муж ее, Степан Скуратов, хотя и был лет на тридцать старше Лукашки, числился его первым приятелем и поверенным, которому отдавались на сбережение самые затаенные мысли. Противоположность характеров только сильнее скрепляла их дружбу. По слухам и бабским наговорам Лука знал, что Степан лет пять назад взял свою Дашку из публичного дома.

Ночь была темна и тепла. Невдалеке перекликались перепела, у самых ног мирно ползали жабы. Удивительная и как бы цветущая тишина ночи расслабляла, утомляла тело, словно опуская его в теплую воду. Дашка все-

гда вызывала в мальчишке отвращение, но сейчас он не испытывал этого чувства — за каждым ее словом он угадывал щемящую боль. Дашка говорила быстро, не спуская глаз с черной, слегка посеребренной лунным светом листвы деревьев.

— Лукашка, ты знаешь, Степка любит тебя, как сына. Ты мне можешь помочь. У меня к тебе просьба. Ты не верь бабам, которые брешут про меня, они еще горьше, чем я.— Дашку прорвало, слова посыпались неудержимо.— Не такая я совсем, какой меня малюют. Облыжно говорят, по насердке. Сами темные и меня дегтем чернят.— Она что-то вспомнила, в му́ке хрустнула пальцами.— А какие хорошие песни слышала я про любовь! — И уже тихо, мечтательно, как бы сама с собой: — Есть же такое невозможное счастье, когда любят друг друга. И тянет в степь, в душные полыни, к этой горькой траве. Сидеть бы с любимым, и звезды сверху, с синего неба, падают прямо в очи... Или того лучше: взяться обоим за руки, оторваться от клятой земли и полететь — все выше и выше, до самых звезд, и так лететь вечно, поддерживая друг друга... Понимаешь, как в сказке хорошей.— Она передохнула и продолжала говорить плавно, словно сочиняла песню, вкладывая в нее самые лучшие слова и мысли, которые ей приходилось слышать; а она всю жизнь прожила на юге, среди украинцев, все свои чувства выражавших в песне.— Люблю полынь больше ото всех цветиков, на ней вся наша горькая жизнь настояна. А заместо этого — сам знаешь — нас ведьмами обзывали и мучили нас пьяные кобели за свои полтинники. Да зачем тебе знать это! Ты еще маленький, несмысленочек. Или нет! Ты все понимаешь. Ты такой же пропащий, как и я. Кто попал на этот клятый завод, тот не выберется отсюда. Тут кончается путь всех бездольных, здесь каторга проституток и босяков. Падать дальше уже некуда. Тут тебе дно и покрышка.

Луку охватил страх. Глаза Дашки, окруженные синими пятнами, блестели, как у кошки. Он поднялся, пытаясь оторвать от себя ее цепкие руки.

— Ты не беги, ты побудь со мной. Послушай мою жизнь, какая она была. Ты такой маленький, чистый, словно цветочек. Несмысленочек мой желанный... Ах, был бы ты моим сыночком, сколько бы сказок я тебе наплела! Я ведь никогда никому-никому ни одной сказки не рассказала, а тебе поведаю всю мою правду подногот-

ную... Так вот, вначале Степан котом был у меня, а потом я выправилась, начала жить с ним супружеской жизнью. И полюбила его одного, навсегда, до гроба. Вот я говорила тебе, что никого никогда не любила. Не верь, сбрехала я. Сама себя обдурить хотела. Я и сейчас Степку люблю, а он — сволочь. Он пять лет прожил со мной, почти каждый день колотил, затравил совсем, а теперь задумал бросить, связаться с Федорцовой Одаркой, потому — богатая она, вдова, хату свою имеет, землей владеет, хозяином Степку сделает... Ты вот дружишь со Степкой, а что он за человек — не знаешь. Он день и ночь бредит землей, говорит — вся сила человека в земле. Он сильный, ой какой сильный! И при случае много бед натворить может. Книжки про Наполеона в залавке храпит. Опустит чуб на лоб, скрестит на груди руки, подойдет к зеркалу и часами стоит, будто перед портретом... Уйдет он от меня к Одарке!

Это признание было самым тяжелым в рассказе Дашки, тяжелым и самым для нее стыдным. Если муж ее бросит — каждый подумает, что она сама в том виновата. Эта мысль мучила Дашу, как болезнь.

Глядя Луке в глаза, она думала: «Неужели и он считает, что будь я хорошей, то не бросил бы меня Степан? Эх, не знает никто моей жизни! Так пусть хоть мальчишка знает, пусть не думает, как все, не поминает халяву лихом».

— Знаешь, он это задумал всерьез. А он упорный: что загадал — хоть убей, сполнит. Одна сила могла бы оставить его при мне — ребенок. Но ребенка теперь у меня уже никогда не будет. Раньше были, еще до Степки,— завяжется во мне плод, махонький еще, а я его сама, своими руками, как зеленое яблочко, срывала. Ну, и жилу какую-нибудь порвала, а жила — не веревка, ее не свяжешь... Ты знаешь, он все года, что жил со мной, ждал сына. Степка без боли не может смотреть на чужих детей. А теперь всему конец. Выгонит меня, свяжется с Одаркой, чаек будет попивать в собственном палисадничке да поджидать пухлого ребеночка. Все для меня погибло, навсегда рухнуло. Ходила я к доктору Цыганкову, отнесла ему полпуда сала. Долго он щупал, разглядывал. «Нет, говорит, и не надейся. Пустоцвет ты теперь». И сказал-то тихо так, и слово такое короткое, а меня как громом ошарашило...

IV

Поцеловав Луку в лоб, Дашка вернулась в строгую свою комнатенку, потрогала пальцем желтую от окурков землю в цветочных горшках и, хотя земля была влажная, полила ее, спрыснула водой мясистые листья фикусов. В комнатушке стоял тяжкий, невыветриваемый дух кожи, сухих полевых цветов, пыли. Над деревянной кроватью с точеными шарами на спинках висит на стене Степаново охотничье ружье — пятизарядный браунинг; на подоконнике — дешевое в форме сердца зеркало, кисточка для бритья, бритва в картонном футляре.

Давно, когда Степан купил ружье, спрятала Дашка два патрона, заряженных волчьей картечью. «Один для Степки, другой для меня, потому — жить так, как мы живем, больше нельзя».

Прошло несколько лет, а позеленевшие патроны все лежали в тайничке. Видно, живуча душа у русской бабы, все перетерпит.

Отбросив ворох подушек к стене, не раздеваясь, легла Дашка поверх одеяла. Бессильная злоба душила ее. Не верила обидным словам доктора. Разве может такое сильное, горячее на ласку тело не понести плода?

«Или у Степана хворь какая? — подумала она и содрогнулась.— Что ж, тогда надо понести от другого, скрыть от Степана, и пускай он думает, тетешкая чужого ребенка, что в тоненьких детских жилках течет его горячая, беспокойная кровь».

Любой ценой готова была Дашка приковать к себе мужа и наконец решилась рискнуть пятилетней, ни разу не замутненной верностью, обманом создать семью, чужим ребенком отомстить за его, Степкино, как ей казалось, а не за свое бесплодие. Подыскивая любовника, перебрала в мыслях всех заводских рабочих. Остановилась на механике Иванове. Нравился ей механик, было в нем что-то здоровое, свежее; знала — пожелай он, и трудно будет ему отказать. Может, потому и не изменила ни разу, что механик проходил мимо, не замечая ее жадных, немного косящих глаз. Она сознавала — Иванов занимает в ее жизни первое после Степана место, интерес к нему все растет.

В комнате от зеленой лампадки ласковый, мятный свет; все предметы как бы сделаны из слегка окислившейся меди. В этом неестественном, баюкающем свете

мысли теряли остроту, таяли, точно льдинки в тепловатой воде.

Сон исподволь одолевал Дашку, когда к ней шумно ввалился сторож Шульга. Медленно расправляя курчавую бороду, старик откашлялся и степенным голосом, которому противоречили его слова, промычал:

— Иди, там твой Гладилиху прижал возле тарантаса.

— А тебе что, шептун клятый! — Дашка рванула со стены ружье, сбила вышитый коврик, выдернула похожий на жало гвоздь. Не считая ступенек, Шульга прыгнул через крыльцо, исчез в кустах дикой смородины.

Дашка выбежала во двор, по дороге потеряла туфлю, обожгла ногу о холодную ночную землю. В небе стогами свежескошенного сена стояли наметанные ветром бледнозеленые тучки. Посреди освещенного звездным огнем, будто малахитом вымощенного двора, у тарантаса, спиной к ней стоял Степан, обнимая какую-то женщину. Женщина вырывалась, всем телом отбрасывалась к тарантасу, просила:

— Пусти уж, бесстыжий, люди увидют!

Не целясь, Дашка выстрелила. Услышала пронзительный женский крик, по голосу определила — не Гладилиха. Услужливая тучка занавесила месяц, все потемнело в глазах у Дашки.

Крупными шагами, на бегу потеряв фуражку, подбежал к ней Степан, хрипло крикнул:

— Ты что, сдурела? Ведь убить могла! Девке вон ногу испортила.

— Для науки, пускай не путается с женатыми,— чувствуя невероятную слабость, ответила Дашка.

— Дура, сколько раз тебе говорил, не жена ты мне, а полюбовница. Живем не венчаны, ты этого не забывай.

Мимо них, придерживаясь за колючую изгородь сада, припадая на раненую ногу, прокралась красивая придурковатая Галька, сторожева дочка.

— Как же это так? Отец ее прибежал ко мне, шумит. «Беги, говорит, там твой с Гладилихой шутит». Что ж он, старый, дочки не узнал? — спросила Дашка.

— Ну, Шульга не узнает! От жадности он — не хочет, чтобы даром на стороне раздавала.

Дашка рассмеялась.

— А за деньги можно?

— Дозволяет. Любит деньги, черт старый.

Поспешно легли спать, но в постели, по обыкновению, Дашка принялась точить Степана:

— Чуть что замечу — несдобровать тебе. Не потерплю изменщика коло себя.

— Пока надумаешь, я сам тебя вдовой сделаю,— бормотнул Степка, отворачиваясь к стене.

Похвалился как-то Степан, что застрелится. Неподдельный испуг, бледностью заливший Дашкины щеки, удивил его. Потом он понял: случайно сорвавшиеся слова принялись, глубоко пустили корни в перепаханном вдоль и поперек Дашкином сердце. С тех пор убирала она порох, патроны, а когда Степан напивался, прятала и ружье — строгое украшение бедного их жилья.

— Степа!

Дашка поглядела в сонное, ласково изменившееся лицо мужа. В уголке его плотных, красиво очерченных губ пряталась капелька прозрачной слюны — вот-вот сорвется и сползет на подушку по зарумянившейся щеке. Жадно припала она к твердым, тысячу раз целованным, но всегда желанным губам Степана. Стыд за давешние мысли про механика обжег ее.

«Мой Степка, владела им и буду владеть, и никакой крале ни за какие блага не отдам!» Дашка встала с постели в одной рубахе и повалилась перед иконкой Христофора-великомученика. Долго молилась она, просила, чтобы дал он ей понести от Степана.

V

В десять часов вечера по мостовой проскакал всадник, застучал кулаками в заводские ворота. Зевая и крестя рот, сторож Шульга принялся отодвигать тяжелые железные засовы. За воротами нетерпеливо перебирал подкованными копытами конь, ругаясь, кричал всадник.

— Скорее чухайся, дьявол, я же не в гости приехал!

Шульга распахнул тяжелое крыло ворот. Мимо него, звякнув шашкой, проскользнул урядник. Сторож медленно вышел на шлях. Взмыленный конь был привязан к железной коновязи, бока его тяжело ходили, над головой стояло легкое облачко пара. Сторож по звуку определил — конь охватывал сухими губами холодную трубу коновязи, хотел пить. С сердцем Шульга сказал:

— Запарил конягу, скотина!

Далеко, за Змиевской рощей, гудел паровоз. Ниткой крупного жемчуга светились фонари на проспекте в Чарусе.

Шульга слышал, как Кузинча насмешливо крикнул уряднику вслед:

— Эй ты, кугут, шпоры обгадил!

Урядник, сплюнув, огрызнулся:

— Замри, а то нагайкой закатаю.

Поправляя на шее красный шнур, урядник вбежал в контору. Там сидел Лука. Вздрогнув, он положил на подоконник книжку.

— Где управляющий?

— В городе.— Мальчишка зло посмотрел на урядника. Отец привил ему ненависть к полиции.

— Зови кого-нибудь из начальства.

Лука неохотно пошел к ветеринару, оставшемуся ночевать в своем заводском кабинете, заставленном банками с заспиртованными лошадиными легкими.

Урядник смотрел на окно, в раме которого, как нарисованные, неподвижно стояли деревья. Мальчишка не возвращался долго. Урядник нервничал. Подошел к столу, взял книгу, оставленную Лукой. На переплете написано: «Энциклопедический словарь Павленкова». Перелистал несколько страниц, подумал: «Ушлый мальчишка, читает, ума набирается».

Пришел ветеринар Аксенов. Небольшой ростом, весь как-то перегнувшийся вперед и налево, с двумя крупными морщинами от носа к губам, очень старившими его. Поправив очки на близоруких глазах, ветеринар неприветливо спросил:

— Я слушаю. Что вам угодно?

Урядник молча подал бумажку. Ветеринар прочел:

«Управляющему утилизационным заводом К. Г. Змиева. При сем препровождаю 3000 (три тысячи) пудов мяса, признанного ветеринарной инспекцией испорченным. Предлагаю немедленно уничтожить, так, чтобы население не имело о нем понятия. Жандармский ротмистр Лапшин».

Ветеринар нервно оправил вышитый воротник сорочки, сказал уряднику:

— Мы не можем принять столько мяса. Куда мы его денем?

— Их благородие господин ротмистр приказали в случае чего, вроде как отказа... препроводить вас пред лицо его личности. Надевайте пальто, господин.— Красная волосатая рука урядника строго легла на шнур.

— Хорошо, везите,— едва сдерживая себя, процедил сквозь зубы ветеринар и подкрутил седеющие усы.

Завод принял пятьсот пудов порченого мяса. Остаток, две с половиной тысячи пудов, ветеринар приказал возить на свалку.

Всю ночь по шоссе, сбочь ассенизационных обозов, везли жирное мясо. Был 1916 год. По улицам блуждали собаки и, как пожара, боялись людей. В городе свирепствовал тиф. Жизнь человеческая расценивалась дешевле осьмушки махорки.

Заводские рабочие напились в этот вечер, и ни одна яма не была вырыта. Мясо сваливали кучами на свалочную землю, забытую людьми и богом. Только в одном месте над ямами колыхался неизвестно откуда занесенный свежий, устойчивый аромат матиолы.

Во втором часу ночи в автомобиле примчался жандармский ротмистр Лапшин. Он не спал вторые сутки, голова его разваливалась от боли.

— Вы что, саботаж в военное время устраиваете? — набросился ротмистр на ветеринара.

— Куда мы денем столько мяса? — невозмутимо ответил Иван Данилович Аксенов, по привычке поправляя на носу очки в железной оправе.

— «Куда», «куда»! — передразнил его Лапшин.— В Москве испортилось сорок пять тысяч пудов говядины. Ее отправили в Козлов и перетопили на смазку для солдатских сапог. В Петрограде в холодильнике попортилось восемнадцать тысяч пудов мяса. История с порчей мяса обсуждалась даже на летней сессии Государственной думы, которая постановила издать министерский законопроект о мясопустных днях. Отныне мясо в России будут есть всего три раза в неделю.

— История обсуждалась, а надо, чтобы она осуждалась. Вот оно какое дело, господин начальник,— пробормотал ветеринар, зевая и крестя рот, спрятанный в бороде и усах.

Ротмистр молча посмотрел на мясо, схватился за голову, больно дернул себя за черные волосы. Он вернулся на утилизационный завод, потом поехал на бойню и оттуда вызвал по телефону из тюрьмы два грузовика с арестантами. Их привезли на свалку перед утром.

Несчастные, бледные, напуганные люди не дышали, а пили воздух, пропитанный запахом аммиака. Вот так бы ехать Золотым шляхом всю жизнь, под пустынным небом, заштрихованным серыми силуэтами деревьев.

Арестантов привезли на свалку, дали в руки лопаты, приказали копать ямы. Апатичные и покорные, они глядели на мертвенное небо, тоскливо отыскивая глазами могучую звезду, светившую им всю дорогу, как огонь, зовущий к жизни.

Они стояли молча, избегая смотреть на ротмистра, а он, маленький и утомленный, почти умолял.

— Побыстрей выкопаем ямы, чтобы эта зараза,— ротмистр показывал на возы с мясом,— не смердела здесь.

Небо начинало сереть, его как бы заволакивало перед дождем, наступила пасмурная минута, предшествующая рассвету, когда кончается ночь и начинается новый день.

— Приступайте к работе! — крикнул Лапшин.

Арестованные продолжали стоять неподвижно, зябко приподняв плечи, и цвет лица у них был неестественный, как у фигур, сделанных из папье-маше.

Ротмистр вынул маленький револьвер, подошел к арестантам, привычно скомандовал:

— Копайте!

Ни один человек не шелохнулся. Ротмистр подошел к ближайшему от него арестанту.

— Копай яму, тебе говорят!

Арестант нервно засмеялся, показал дулю.

— На-ко, выкуси! — Он осатанело рванул на себе сорочку.— Стреляй! Бей, гад, стреляй же, сволочь, пуляй прямо в сердце! Нет такого закону, чтобы нам тухлое мясо закапывать! Лучше я тута как человек помру, чем там, на фронте, как скотина!

Ротмистр зажмурил глаза и выстрелил поверх головы для устрашения. Какая-то женщина в собравшейся толпе истерически забилась на земле. Перед глазами ротмистра поплыли ситцевые полосы, расписанные бледно-желтыми кружочками огней.

Арестованных просили, кричали на них, били прикладами винтовок — ничего не помогало, никто ни разу не ударил о землю лопатой. Они сбились в плотный гурт.

А по улицам Чарусы уже ползли слухи. Одетые в лохмотья, с лихорадочным блеском в глазах, с чувалами под мышками шли на свалку голодные жители окраин. В толпе женщин семенили мелкие торговцы; хромые, безрукие — инвалиды войны с белыми Георгиевскими крестами на грязных шинелях. Люди останавливались возле свалки, охватывая ее все сужавшимся кольцом. И вдруг кинулись к возам.

Срывая голос, ротмистр кричал:

— Отойдите, сумасшедшие! Оно ядовитое! Поиздыхаете, как собаки...

Но его не слушали. Одинокий его голос потонул в криках. Ротмистр стрелял в пустынное рассветное небо, но в него начали бросать камни, и он, потеряв фуражку, с разбитой головой бессильно упал в автомобиль. Машина резво, как тяжелая птица дрофа, не то побежала, не то полетела в город.

Проводили ротмистра свистом.

Через два часа подошли три грузовика с городовыми, с двумя железными бочками денатурата. Мясо облили горючим и подожгли. Оно горело нашатырным зеленоватым огнем. Вокруг стояла толпа голодных. Ноздри у людей раздувались, во рту наворачивалась слюна. В воздухе разлился густой, приятный запах жареного мяса.

В одной бочке осталось ведра два денатурата. Лапшин завез его на собачий завод. Степан Скуратов постучал в бочку носком сапога, крикнул:

— Дашка, приготовь яйца, есть чем опохмелиться доброй компании!

Степан умел очищать денатурат яичным белком. Этот довольно распространенный и примитивный способ впервые применил на заводе рабочий Никанор — научился ему в Сибири.

Пока Дашка готовила яйца, Гладилин наточил кружку денатурата и, не закусывая, выпил залпом.

К нему подошел ротмистр.

— Как фамилия?

— Гладилин, ваше благородие.

— Молодец! Ты еще пригодишься мне. Еще много в России студентов, жидов и бунтовщиков. Приходи ко мне в управление, хорошо дам на водку. Поговорим.

На другой день с молчаливого согласия управляющего заводские рабочие стали тайком продавать оставшееся мясо и за два дня распродали до последнего фунта.

VI

Кочегаром на заводе работал Илья Федорец, сын кулака,— служба у Змиева освобождала его от армии. Хутор Федорцов лежал верстах в двенадцати от собачьего завода, в разлогой балке. Вырос хутор в 1907 году, по столы-

пинскому закону. Сорокапятилетний Назар Гаврилович Федорец, как только вышел земельный закон Столыпина, выделился из общины села Куприева, взял надел в личное пользование. С сыновьями и двумя батраками поселился он в пяти верстах от родного села, на заброшенной дернистой целине, стремясь во что бы то ни стало разбогатеть. Вставал с петухами, спать ложился поздно. Не брезговал ничем — ссужал под проценты деньги и семена, скупал по дешевке земли разорившихся односельчан-бедняков и к началу войны уже владел ста пятьюдесятью десятинами пахотного поля. Федорца прозвали кулаком, и он гордился этой кличкой. Кое-кто в угоду ему и село Куприево стал называть Федорцами.

Илья, молодой, стыдливый парень, стоял подле ветеринара и смотрел на степной горизонт. Он долго мялся. Прошло немало времени, прежде чем он сказал:

— Квашит землю. Коням на пахоте теперь зарез, ног не вытянут, не перемесят нашего широкого поля.

Не поворачивая головы, ветеринар ответил:

— Когда надо дождя — тогда зной, лошади падают от солнечных ударов; а когда надо хорошую погоду, тогда — вот, посмотри! — Он вытянул в туманной пелене руку, от холодного ветра поднялись на ней черные волосы.— Раньше этого не случалось. Погода была как погода.

— Иван Данилович...— Илько выдержал длинную паузу.— Тато просил у вас коней... Наших реквизировали в армию, а вам все одно убивать.

Ветеринар задумался.

— Что ж, бери, только никому ни слова, чтобы не набили нам за них голого места! Понял?

— Як не понять.

В сумерки выехал Илья за ворота завода. Впереди себя гнал табун из семи сапных коней. Дождь перестал. Южный, застоявшийся в крымских виноградниках ветер разворачивал полотнища туч, закутывал в них серую, неприглядную землю.

...После осенней пахоты, на покров, старый Федорец пригласил к себе в гости ветеринара Аксенова, механика Иванова, Степана и нескольких заводских рабочих.

Запрягли в две линейки лошадей и, приодетые, поехали. Многие взяли жен. Ветеринар с механиком сели в новый, окрашенный охрой двухколесный шарабан. Ваня Аксенов запряг для них Рогнеду, на всю губернию про-

славленную кобылицу Орловских заводов, уселся на козлы рядом со Степаном, взял вожжи и тонким голосом запел:

Ах, шарабан мой, дутые шины,
Еду в город, беру две машины...

Сапоги, густо намазанные салом, синие с широкими полями старомодные картузы ловят солнце в зеркала лакированных козырьков. Расфуфыренные бабы, как павы, сидят, подоткнув пестрые юбки. Всем весело. Женщины беспричинно хохочут. Только Дарья молчит, прикусила нижнюю губу, словно повесила на нее замок. На душе ее тоскливо и неспокойно. На Ильковой сестре собирается жениться Степан.

Дарья смотрела в Степаново обычно бесстрастное лицо и удивлялась: на матовой, смуглой коже, на угловатых азиатских скулах, словно загар, лежал бодрый румянец. За пять лет она впервые видела его таким возбужденным. Сердце сосала тоска. Она чувствовала недоброе — надвигалось тяжелое, неминучее горе. Чтобы отогнать гнетущие мысли, хоть на минуту успокоить себя, Дарья позвала:

— Степа, а Степа!

Скуратов не обернулся, хотя Дашка видела, что он слышал ее голос.

Выехали в степь. Все дальше и дальше удалялись от мрачного завода. Лука, сын механика Иванова, позади всех скакал верхом на Фиалке, маленькой кобылице. Легкий ветерок дул ему в разгоряченное лицо, доносил с бричек нафталиновый дух слежавшейся одежды и с земли — прибитого жнивья. Как солнечные пятна сквозь листья деревьев, между вспаханными полями блестели куски нетронутой после косовицы земли, покрытой светло-зеленой отавой. Через волнистую зябь бреднем тянулись последние нитки белой паутины бабьего лета.

Дорога была накатанная, и кони мчались по ней быстро, просили поводьев. Двенадцать верст отмахали за какой-нибудь час. Проехали мимо пруда. Молодые глупые гуси ныряли в воде, силясь поймать собственные ноги, казавшиеся им красноперой рыбой. Миновав березовую рощу и ветряки, вылетели брички на хуторскую улицу, обсаженную тополями. Разбежались в сторону куры, замелькали бабьи и детские головы у плетней, и кони, замедляя бег, остановились у тесовых ворот. Через весь

двор, заскрежетав цепью о вытертую до белого блеска проволоку, кинулся пес.

Приветливо распахнулись ворота, и гостей встретил на крыльце старый Федорец. Рядом с ним в вышитой украинской сорочке стоял младший сын его, чернобровый Микола, исключенный из восьмого класса гимназии.

— Милости просим! Заходите, заходите, не стесняйтесь, будьте як дома, не побрезгуйте, не обессудьте.— Старик повернулся к раскрытой двери, позвал: — Одарка!

Выбежала празднично одетая полная, круглолицая женщина, нашла в толпе Степана, посмотрела на него взглядом, говорившим выразительнее всяких слов о ее любви, о жадном сердце и хитром уме. Словно монисто, сверкнули белые зубы Одарки.

— Чего вам, тато?

— Распряги коней да насыпь им дерти.— Кивнув головой на Луку, Федорец добавил: — Вон тебе парубок поможет, видать, расторопный.

— С урожаем вас, Назар Гаврилович! — поднимаясь по ступенькам, гнущимся под тяжестью его тела, промолвил Степан.

— Ну, який в этом году урожай: сам-два, сам-три от силы. Семена хотя бы вернуть, а то и убирать некому, нет рабочих рук. Всех селян прибрала война, в селах одни бабы, да и те вдовые, живут без всяких надежд.

Из сеней пахнуло свежеиспеченным хлебом, сухими васильками, горящим лампадным маслом.

Гостей ввели в светлицу, посадили на лавки, за длинный, домоткаными скатертями накрытый стол. Светлица большая, и воздух в ней терпкий, как чабрец. На стене — в фольговых ризах иконы, букеты ярких бумажных цветов китайской работы. В углу, занимая четверть комнаты,— вороной, подкованный медью рояль; выменяли его в городе за пятнадцать пудов белой муки. Ролль накрыт белой городской скатертью, на нем макитра, блюдца, деревянные ложки.

Механик спросил Федорца:

— Играет у вас кто-нибудь на сем инструменте?

— Та кто ж его понимает? Так, когда-никогда Микола побренчит, а то все хлопцы на нем в очко гуляють — просторный, як стол,— та молодша дочка спить на нем.— Федорец махнул жилистой рукой, добавил: — Краще граммофона не было и не будет музыки. Что захочешь, то

и играй.— Старик передохнул, расправил густую с проседью бороду.— Лихолетье настало, жизня стает никудышной, кругом их благородия, а работать некому. Мозоли боятся понатереть... Племенного скота уже не увидишь по селам, побили на солонину. Нету уже того скота, що був колысь, и волов нету, и коней немае. Так що вы звиняйте меня за мою просьбу до вас.

— Не хватает, значит, работников в хозяйстве? Выходит, и кулаки недовольны? — спросил Иванов.

— Некому хлеб сеять, вот оно в чем дело. Вся сила России в хлебе. Всех мужиков на фронт забрили.— Федорец пожевал малиновыми губами.— Осталось в Чарусской губернии одно начальство, чиновники та рабочий люд, а рабочие известно де сидят! — Старик ударил себя по морщинистой загорелой шее, словно убил на ней надоедливого комара.— Один с плугом, а двадцать с ложками цугом. Не люблю я рабочих.

— Тут взаимная неприязнь... Рабочие тоже ненавидят кулаков,— ответил Иванов.

Старик зачастил скороговоркой:

— Знаю, знаю. Вы хотите сказать, что рабочие плуги роблять? Ну и что с того, Олександр Иванович? Плуг мы и сами отковать можем. А вот вы посейте жито, та скосите его, та смелите, а его у вас заберут на прокорм армии, тогда вы не такую песню заспиваете. Тоже философ, а кобылу не может запрягти! — Федорец обернулся на образа, перекрестился.— И когда уж эта война кончится? Последних хлопцев берут, бабы яловые ходят.

Скуратов, напряженно следивший за разговором, грозившим перейти в перебранку, решил направить его в более спокойное русло.

— Гинденбург назначен главнокомандующим над германскими и австрийскими войсками на русском фронте,— сказал он.

— Що нового пишут в газетах про войну? — поинтересовался Федорец.

— Хвалятся тем, что войска наши заняли кладбище в Чарторийске,— насмешливо ответил Иванов.— Одна только Россия поставила под ружье девятнадцать миллионов человек. Перегоняет царь-батюшка народ через мясорубку. Достаточно вспомнить армию Самсонова, загубленную в угоду Франции.

— Война, война клятая, вымотала она из народа жилы. В Куприеве все бабы у меня в долгу. Одна муку

должна, другая зерно, третья гроши. Проценты растут, а долгов не платят. Тяжело стало жить крестьянству,— пожаловался старый Федорец.

Он видел механика Иванова всего несколько раз, но знал, что человек этот слова зря не бросит, потому и говорит неохотно, мало. Механик был ему неприятен. Старик чувствовал: судьба, возможно, столкнет их, заставит помериться силой, потому и старался заранее приглядеться к нему, понять, чем он дышит. Спор только начинался, и конец его был еще далеко.

— Тебе погано живется? В три горла жрешь и хнычешь, а рабочий у тебя последние штаны за ломоть хлеба меняет,— резко сказал механик.— Мещанина какого-то ограбил, за пятнадцать пудов муки дорогой рояль забрал.

Механика перебил Гладилин:

— А ты, Александр Иванович, хотел бы ничего не делать, да на крестьянских харчах жиреть. Минулись уже те времена... Теперь справный хозяин — главная сила нашей державы.

У Гладилина характер был мелочный, непостоянный. Как-то получалось само собой, что он обманывал не только других, но и себя, говорил не то, что думал, а думал не то, что говорил. Иванову, привыкшему высказывать свои мысли резко и прямо, эта черта в Гладилине была противна, раздражала, заставляла относиться к нему с опаской. Он презирал Гладилина и немного побаивался: этот человек мог донести в полицию, мог оклеветать, пырнуть из-за угла ножом.

Раздраженный разговор моментально оборвался, как только вошла дебелая, смазливая хозяйка, вторая жена старика. Она несла в одной руке огромный графин с самогоном, а в другой рюмки. За хозяйкой вошла Одарка с закусками. Вошла и вышла, и опять вошла, и снова вернулась — и все с полными руками. На уже тесно заставленном столе появлялись все новые тарелки, миски и блюда, полные еды.

— Тут блины не доедают, а мы червей на заводе лопаем,— сказал Лукашка.

— Разве то черви? Черви — те, кто нас живых ест. На свете люди не только от голода умирают — бывает, и от обжорства.— Иванов с нескрываемой ненавистью повел глазами в сторону Федорца и положил себе на тарелку кусок студня.

Пили и ели долго; обнявшись, пели печальные песни; потом вдруг обрывали их, заводили веселые. Бабы схватывались с места и быстро-быстро, подобрав множество напяленных на себя юбок, плясали. Среди них, как вихрь, носился подвыпивший Микола, обнимал то одну, то другую, никому не отдавая предпочтения.

— Стойте! — кричал хлопец на сельских музыкантов.— Сейчас я заспиваю свою песню! Я ее сам сложил, про любовь...

Весь день он нахвалялся, но так и не спел своей песни, а Луке очень хотелось узнать, что это за песня и как может обыкновенный человек сложить ее.

Солнце, клонившееся к горизонту, позолотило окна, когда в хате появился пожилой небритый человек в военной гимнастерке, с беленьким солдатским крестиком, прилепившимся над сердцем. Гости были настолько пьяны, что появления человека никто не заметил.

Вошедший сам напомнил о себе. Громко кашлянул, хромая, подошел к старому Федорцу и бухнулся ему в ноги.

— Назар Гаврилович, богом прошу — дай миску борошна.

— Снова ты, Грицько Бондаренко! Та до яких же пор ты будешь канючить? Ты и так залез в долги по самые уши.— Федорец нахмурился, побагровел.

— Дети пухнут с голоду... Сам знаешь, шесть душ.

— Иди вон!.. Не могу я все село кормить.— Федорец поднялся из-за стола и, надвигаясь грудью, вытолкнул непрошеного гостя за порог.— Просящий ссуду — хитрец, а ссужающий — глупец.

— Так говорит мой отец — Федорец,— выпалил в рифму Микола.

— Назар Гаврилович, бога побойся... Пока я в Галиции защищал веру, царя и отечество, ты у меня всю землю заграбил. Только и осталось что на печи сеять.

— Проваливай, Грицько, а то кобеля спущу!

Проворный Микола, выскользнув во двор, уже снимал гремучую цепь с мохнатого волкодава. Собака вырвалась из юношеских рук и понеслась к крыльцу.

Грицько, припадая на порченую ногу, стремглав кинулся в огород. Пес догонял человека. Пьяный Гладилин улюлюкал.

— Куси его, куси! — орал Микола.

Грицько успел добежать до плетня, занес искалеченную ногу на перелаз, и тут собака вцепилась ему в зад.

Одним рывком Грицько вырвал из плетня сухой кол, огрел им кобеля, который успел укусить палку, отскочил и завизжал.

— Ты еще меня попомнишь, клятый куркуль, кровопивец, креста на тебе нет, выжимала! — крикнул Грицько, потирая зад и кровеня руки.— Я еще расквитаюсь с тобой!

Гладилин хохотал во всю глотку.

На крыльцо вышел механик.

— И откуда у тебя помещичьи замашки, Назар Гаврилович? За такие забавы ответ придется держать. Не перед мировым, а перед народом. Народ — он все помнит, ничего не забывает.

— А ты помалкивай, крамольник, а то и на тебя управу найду. Думаешь, не знаю, чем ты дышишь? — огрызнулся старик и, вернувшись в дом, не закусывая, выпил стакан самогону.

— Собаку ударил, скоро на батька начнут замахиваться,— возмущался Микола.

— Хорош у меня Микола,— похвастался старик и тут же сокрушенно добавил: — Сыновей бы мне с дюжину на мое хозяйство, да чтобы все в меня — каждый сын работник. Таким людям, как я, не одну, а десять жен надо.

Пес долго скулил во дворе, облизывая переломанную лапу.

— Ой, папа, ты не видел, как гнался волкодав за человеком! Ужас какой, настоящая собака Баскервилей! — сказал Лука отцу, откусывая пирог из белой крупчатки.

— А ты читал эту книгу?

— Читал, мне ее Аксенов давал. У него много хороших книжек.

Во двор робко вошла худая молодица, жена солдата Убийбатько.

— Я до вашего Миколы,— сказала она Одарке.

— Зачем он тебе сдался? — спросил старый Федорец, насупив брови.

— Лист получила от мужа, привез его раненый племянник с фронта... Прошу прочитать.

— Давай сюда,— грубо откликнулся Микола.

Женщина достала из-за пазухи конверт, волнуясь, подала юноше. Микола вынул из конверта листок бумаги, испятнанный чернильными потеками, принялся читать:

— «Дорогая Фрося, батьки и дети. Идут беспрерывные дожди, окопы наши залиты грязью. Суп варят редко,

все из черной чечевицы, от него и свинья откажется. Хлеб румынский из кукурузы, да и тот не всегда бывает. Носим сорочки с красными швами — вши заедают нашего брата. Солдаты есть, которые умнее, сдаются в плен, сами себе через кусок мыла простреливают руки, лишь бы укрыться в лазарет. Один кадровый прапорщик бил нас по мордам, так его кто-то из своих кокнул в атаке. Ждать и молчать больше ни у кого нет сил. Каждый день гонят наступать, а винтовок одна на пятерых...» Ну, и дальше, как полагается в таких случаях, бесчисленные поклоны всей родне и знакомым,— закончил чтение Микола.

— Богатое письмишко. Вот он, крик наболевшей души. Оно всей России касается. Дай мне письмо хоть на время,— чугунным голосом попросил Иванов.

Письмо задело его за живое. Он представил себе все, что описывал солдат, и ему стало жаль эту босую женщину, которой он ничем не мог помочь.

Солдатка подняла слинявшие от горя глаза, глубокое отчаяние застыло в них. Молча она свернула письмо, сунула его в руку Иванову и, не прощаясь, удалилась, приминая босыми ногами зеленый ковер густого шпорыша.

— Д-да,— промычал Федорец,— новые времена, новые песни, а перепрягать коней на ходу не годится. Воевать надо до победы.— Он вышел на крыльцо освежиться.

В небе стоял непривычный боевой писк, и казалось, можно было различить слово «бивист». Федорец поднял отяжелевшую от хмеля голову. В недосягаемой вышине кружилось черное облако с металлическим отблеском. Федорец не сразу разобрал: сотни ласточек, то паря, то устремляясь вперед, то припархивая, то бросаясь, с быстротой молнии преследовали израненного, утомленного долгой схваткой орла. Отбиваясь, орел медленно парил, не делая ни одного взмаха крыльями, сберегая силы,— видимо, надеялся продержаться до темноты и скрыться в ней.

Ласточки, убитые ударами орлиных когтей, крыльев и клюва, с шелковым свистом падали на землю, но сотни других с еще большим азартом налетали на своего слабеющего врага.

— Эх, ему бы сейчас двух-трех товарищей на подмогу! — сказал Федорец, хорошо, впрочем, зная, что орлы всегда дерутся в одиночку.— Заклюют они птичьего царя!

Будь у него ружье под рукой, он выпустил бы сейчас оба заряда в этих проклятых пташек, квартировавших и у него под стрехой.

Черное облако ходило в небе еще с четверть часа. Наконец от него отделился желто-бурый комок и, как камень, пошел к земле. Ласточки его не преследовали, через минуту с победными криками они исчезли из глаз. Федорец проследил глазами, куда свалилась царственная птица, и, жалея ее, пошел на огород искать. Вскоре он увидел окровавленного мертвого орла-могильника, с восхищением расправил его сложенные, закинутые за конец хвоста крылья, покачал головой,— их размах превышал сажень. Куда девалась гордая красота и мощная сила свирепой птицы с окровавленным железным клювом! Федорец был поражен тем, что маленькие птички — предвестники погоды, с детства веселившие его своей незатейливой, бодрящей песенкой: «Вирб верб виде вит, вид вейд войде церр»,— сплотившись, сумели убить своими крохотными носиками могучего орла.

— Родича жалеешь? Так и тебя когда-нибудь заклюет наш брат бедняк,— угадывая его мысли, сказал Федорцу проходивший мимо мужик.

Назар Гаврилович ничего не ответил. Опустив глаза, вернулся в хату.

В сумерки Степан вышел на крыльцо. Там, облокотившись на перила, ждала его Одарка. Он закурил городскую папироску. Одарка стыдливо взяла его за руку, ласково посмотрела в лицо, позвала:

— Пойдем?

— С тобой хоть вокруг света.

Когда переходили через двор, Степан подумал: «Надо сегодня, сейчас же, раз навсегда порвать с Дашкой».

Он высвободил свою руку, и, пропустив Одарку вперед, любовался ею. Его глаза задержались на ее крепких, мясистых ногах; такие ноги могут двенадцать часов подряд месить кизяки!

Миновали двор, дошли до скирды недавно скошенного сена, зашли с другой стороны ее и упали в пахучую, увядающую траву.

За все время Одарка ни словом не перемолвилась с Дашкой. Ничего плохого ей Дашка не сделала, и все-таки Одарка чувствовала к ней острую неприязнь. Она знала: Степан любит ее, Одарку, а не свою незаконную жену — и все-таки ревновала к ней, потому что и раньше и те-

перь та, другая, имела право на его ласку. Одарка ненавидела Дашку за то, что товарищи Степана считали ее его женой. И когда Степан привлек Одарку к себе, она спросила, отстраняясь:

— Когда ты уж выгонишь свою бабу? Смотреть на нее не могу.— Неверными от волнения пальцами она то вынимала, то вставляла в мягкие душистые волосы деревянный гребешок, украшенный искусным узором.

Вопрос был поставлен в открытую, и отвечать на него надо было немедленно, решительно, без запинки. Многолетнее чувство связывало Степана с Дашкой. Говорят, нельзя сразу любить двоих. А что поделаешь? Он любил и ту и другую, по-разному любил, но любил обеих.

С Дашкой Степан давно решил порвать. Но как это сделать? Сколько он ни думал об этом, ответ не находился. У Дашки характер твердый, Степан знал, что она все снесет от него, все стерпит, а на разрыв не пойдет. И он боялся за Одарку: в бешенстве Дашка не знает удержу, может облить кислотой, полоснуть ножом, поджечь хутор. А этот выстрел из ружья, повредивший Гальке Шульге бедро! Юлить между ними он не хотел. Из двух дорог он привык выбирать одну. А Одарка требовала немедленного ответа. Да или нет. В тяжелом раздумье Степан кусал сладкую сухую травинку.

— Хорошо, сегодня скажу. Пусть идет куда хочет,— проговорил он и тут же подумал: «А куда она пойдет? Во всем мире я один у нее».

Ему показалось, что Одарка угадывает его мысли. Как бы оправдываясь, он добавил:

— Скажу — пусть идет куда глаза глядят, а не хочет, пусть остается на заводе и живет, с кем нравится. Мужиков у нас много, одних пленных с дюжину наберется.

Одарка тяжело прислонилась к Степану. Заглядывая в глаза, спросила:

— Ты к нам переберешься жить, на хутор? Хата есть, хозяйство справное, к тому же и работник будешь. Батько уже радуется. Теперь и коней нам всегда будут давать с завода.

Степан вспомнил злые слова механика за столом, криво улыбнулся.

— Замуж потянуло? А знаешь, в деревне жена мужу — рабыня. Я тебя бить буду. По закону. Больно и часто.

— А ты гадаешь, я сейчас вольная? Батько, он хуже всякого мужа... С Христей, невесткой, живет. Брат знает, молчит, будто не видит. Мачеха тоже знает... Всю нашу семью, больше того — все село согнул в дугу и не выпускает из рук... Он и тебя скрутит, и будешь ты у него батрачить, пока не помрет старик.

— Ой, навряд. Для меня люди будто воск. Что захочу, то и вылеплю из любого,— похвастался Степан.— Видала, мальчишка с нами приехал, Лукашка? Скажу ему: «Прыгни с колокольни»,— и прыгнет не задумываясь. Только бы мне угодить.

— Ну и дурак, если прыгнет. А я прыгать не стану, на это не надейся.

За этими разговорами их незаметно накрыла теплая ночь, украшенная первым осенним звездопадом. В такие ночи влюбленным кажется, что они одни во всем мире. Одарка давно не испытывала такого счастья. Она вся растворилась в нем. Но и в счастье думала о Дашке и тайком, чтобы досадить ей, оставляла на шее Степана синяки.

Забыв обо всем на свете, они голубили друг друга. И вдруг, словно колючее перекати-поле, гонимое бурей, вынесло на них Дашку. Упав на колени, она запустила все десять пальцев в черные, как ночь, волосы Одарки. Степан вскочил на ноги, силясь оторвать Дашку.

Черные глаза ее антрацитно блестели. Степан, обиженный ее взглядом, размахнулся и изо всей своей богатырской силы ударил жену кулаком в переносицу. Дашка вскрикнула, выпустила Одарку, а он, возбужденный солоным запахом крови, принялся бить ее подкованными сапогами по голове, бокам, груди, с каждым ударом распаляясь все сильней и сильней.

В помраченном сознании Дашки почему-то всплыло давнее: город Никополь, дощатый цирк на ярмарочной площади, молодой Степан. На оголенной волосатой груди его лежит семипудовый камень, и местные силачи бьют по нему тяжелыми кувалдами, высекая зеленоватые искры. Потом глаза застлал туман, все сдвинулось и, остывая, погасло.

С хутора гости возвращались в сильном хмелю. Степана и Дашки с ними не было. Никто о них и не вспомнил.

Одарка распушила перину, навалила холмы подушек и уложила в постель своего будущего мужа. Засыпая под-

ле него, она вдруг вспомнила о Дашке и вся похолодела. Да Степан, вероятно, жизни ее решил!

Одарка испугалась за себя, за свое счастье, за Степана: посадят его, в каторгу упекут. Свесив босые ноги, она нащупала пальцами туфли. Пока никто не дознался, надо спрятать труп, засыпать его сеном. Так дети прячут сломанную вещь под кровать, подальше от родительских глаз, мало заботясь о том, что под кроватью легче всего ее отыскать.

Одарка встала с постели, крадучись, побежала за скирды, выложенные серебристой росой. Тела Дашки там не было. Только в черной лужице крови, как белок мертвого глаза, светил холодный месяц.

VII

Возвращаясь от Федорцов, один Лукашка заметил, что Степан и Дашка не поехали с ними. Он чувствовал, подозревал: на хуторе не обошлось без драки. Его подмывало повернуть норовистую, все время срывающуюся на галоп лошадь и, нахлестывая ее плетью, помчаться назад, на помощь Дашке, к которой он вдруг привязался после той ночи у казармы.

«Неужели он убил ее? Нет, Степан не такой дурак, чтобы садиться из-за бабы в тюрьму». Эти размышления всю дорогу не давали мальчику покоя.

Дома, забравшись на сеновал, вдыхая знакомый запах сбруи и лошадиного пота, раздумывал Лука о неясных ему человеческих отношениях, запутанных, как клубок ниток, попавший в игривые лапы котят. Непонятно ему было, как могли любовь и ненависть уживаться рядом в человеческом сердце. Сквозь раскрытую дверь сарая он следил, как голубенькая полоска на западном склоне неба медленно движется по горизонту к востоку.

— Через какой-нибудь час светать начнет,— дремотно пробормотал Лука и тотчас погрузился в крепкий, здоровый сон без сновидений.

Разбудили его товарищи. На небе зеленой ледяной стеной вставал рассвет.

— Вставай, старик, поедем в степь лошадей пасти.

Мальчуган с усилием раскрыл глаза. Улыбающийся Ваня Аксенов тряс его за худенькое плечо.

— А кто еще едет?

— Я еду,— отозвался Кузинча.— Губатый едет. Жорка Аношкин.

— А «Овода» взяли?

— Спрашиваешь!

— Надо сегодня обязательно до конца дочитать... Отец обещал достать «Дон-Кихота». Будем читать про рыцарей.

Пасти коней — самое любимое занятие ребят. На весь день они уезжали в степь, подальше от докучной суеты взрослых, и, пока стреноженные кони щипали зеленую отаву, мальчишки лежали на земле, курили, играли в «подкидного дурачка», вслух читали книжки.

Лука торопливо оделся. Товарищи его уже выводили из конюшни оседланных лошадей. Эти мальчишки в свои годы уже знали все об изнанке жизни.

— Ты на своей поедешь? — спросил Ваня Луку.

— Как всегда.

Лука ездил на Фиалке, маленькой кобылице белой масти. Фиалка была чистокровка, красива и резва. Привел ее на утилизационный завод офицерский денщик. Ветеринарная инспекция признала лошадь сапной, и она подлежала уничтожению, но Лука под разными предлогами оттягивал срок ее гибели. Степан Скуратов потакал в этом своему любимцу.

Когда кавалькада отъехала от конюшни, Лука попросил:

— Подождите минутку — хлеба захвачу.

— Ты бы там, у батьки, табаку стибрил,— напомнил Кузинча.

— Добре, возьму.

Всадники тронулись со двора, и тут мальчики увидели в саду Дашку. Она лежала навзничь, словно плыла на голубой волне скошенной травы. Избитое, испятнанное синяками лицо ее было обращено к небу, в растрепанных волосах запутались сгустки крови.

— Даша, что с тобой? — Лука спрыгнул с коня, встал на колени перед женщиной.

Сквозь хрип, вылетающий из ее горла, он расслышал слова — она просила воды.

Мальчик сбегал домой, зачерпнул в кадке воды, поспешно вернулся. Дашка жадно, танцующими зубами вцепилась в кружку.

— Убил меня, окаянный, жизни меня решил... едва до дороги доползла... А там какой-то мужичонка до завода довез на подводе... А-а-а!..

С великим трудом Дарья поднялась на ноги, схватилась за голову, сделала несколько неверных шагов, будто босая шла по колючей стерне. Лука не смог вынести ее вопля, прыгнул в седло.

— Так ей, беспутной, и надо! — громко проговорил Кузинча.

Лука повернул к нему Фиалку, задыхаясь, крикнул:

— Что, что ты сказал? Сейчас же проси у нее прощения! — Он угрожающе поднял хлыст.

— Чтобы я просил прощения у халявы? Да ты что, рехнулся или белены объелся?

Лука с силой опустил хлыст на стриженую голову товарища. Кузинча прыгнул на него с седла, и оба противника свалились с лошадей; царапая друг другу лица, покатились в пыли. Товарищи с трудом развели драчунов.

Облизывая языком разбитую, напухшую губу, тяжело дыша, Лука сказал:

— Как тебе не стыдно, ведь она человек. И все на заводе — люди... Она в матери тебе годится, а ты поносишь ее... да еще такими мерзкими словами.

Кузинча был сирота: ни отца, ни матери. Слова Лукашки вдруг сбили с него весь пыл.

— Говоришь, в матери?..— переспросил Кузинча и виновато подошел к Дашке.— Тетя Даша, прости меня, дурака... Больше не буду лаяться.

— Бог простит,— тихо прошептала удивленная Дашка.

Мальчишки снова забрались на коней. Лука схватился за загривок Фиалки, прыгнул в седло. Выехали на шоссе. С Лукой поравнялся Ваня Аксенов.

— Видел ты ее лицо? Будто мятая слива. Этот Степка не человек, а зверь какой-то. И ты дружишь с ним, только характер свой портишь.

Думая о Дашке, Лука не ответил. После памятного вечера, когда она распахнула перед ним душу, мальчик стал присматриваться к ней, все более дивясь ее красоте, которую до этого и не замечал вовсе. Дашка была высокая, гибкая, порывистая, ходила по земле прямо и легко, будто на крыльях. На смуглом лице ее с почти детским овалом привлекали черные продолговатые с косинкой глаза; временами они излучали какое-то светлое сияние. Густые ресницы и еще более густые и темные, словно нарисованные, брови придавали лицу что-то непокорное, цыганское. Это сходство с цыганкой увеличивал небольшой нос с горбинкой и тонкими ноздрями, раздувавшимися в минуты гнева.

Даша редко смеялась, маленькие губы ее всегда были плотно сжаты, пряча ровные белые зубы. Каждый день мальчик открывал в облике Даши новое для себя, неведомое раньше. Вот и минуту назад, наклонившись над ней с кружкой воды, он рассмотрел маленькое ухо с дешевенькой сережкой, она поблескивала, словно капелька росы.

Проехав иноходью по шоссе с версту, мальчуганы свернули в степь. Кони, чувствуя впереди корм, пошли торопливым голодным шагом.

Вскоре завиднелись два кургана — «грудь земли», как их назвал Ваня Аксенов. Это сравнение нравилось Лукашке. Было очень похоже, и две дороги, пересекавшиеся у курганов, лежали на земле, словно нательный крест.

— Стой, хлопцы! — Кузинча остановил всадников.

Мальчишки, не слезая с коней, умело построились в ряд, левыми руками натянули поводья, правыми подняли над конскими головами прутья. Ежедневно они устраивали в степи скачки. Гнали лошадей километра два, от придорожной каменной бабы до курганов.

Кузинча ревниво оглядывал Фиалку. Она была очень резва и всегда приходила первой.

Но вчера на утилизационный завод привели на убой нового коня. Караковый, с узкой костью, с жилистыми ногами и энергической посадкой головы, он выгодно отличался от всех заводских коней. На нем сейчас красовался Ваня Аксенов. Кузинча, коснувшись лозиной обвисшего лошадиного зада, сказал Лукашке:

— Ну, этот конек-горбунок твоей Фиалке сто очков фору даст.

Конь передними ногами рыл землю, скашивая глаз на белую кобылицу, неторопливо топтавшуюся рядом.

Коня этого привел на завод старенький жокей по фамилии Ажажа. Он привязал коня к деревянной ограде палисадника и, нежно лаская его темно-гнедую, почти вороную мускулистую шею, говорил ему, как человеку:

— Не верю, что тебя убьют... Этого быть не может... Ветеринары ни черта не понимают... Больных животных лечить надо, а не убивать.

Конь ласково косил глазом, шутливо хватал бархатными губами пальцы хозяина, сквозь широко раздутые ноздри его просвечивало солнце и была видна сетка тончайших красных капилляров. Взволнованные ноздри коня дрожали, будто крылья бабочки.

Услышав этот разговор, Лука подошел к палисаднику. Мальчик знал, что конь больной, что люди заражаются сапом и тогда их невозможно спасти. И вдруг старик целует коня в розовый храп!

— Что вы делаете! Заразитесь! — испуганно крикнул мальчик.

— Это моя лошадь... понимаешь, все мое богатство... Она не сапная... правда, как ты думаешь? — растерянно бормотал жокей.— Где Иван Данилович Аксенов? Проводи меня к нему.

Мальчик повел жокея в контору. Ветеринар работал. Перед ним на столе, заваленном исписанной бумагой, стоял микроскоп, лежали кусочки стекол, меченные чернильными пятнами.

Иван Данилович знал жокея. Они пожали друг другу руки.

— Вот, сам привел своего Тореадора на казнь.— Ажажа сунул Аксенову направление ветеринарной инспекции.— Пишут, будто бы он сапной. А я не верю. Понимаешь, он ведь ахалтекинской породы, сын Мимозы, призер, неоднократный чемпион, лучшая лошадь России... Разве он виноват, что заболел? Иван Данилович, спаси! Убьют Тореадора, и мне каюк... Только им и живу. Ни жены, ни детей, никого на свете, кроме этой лошади.

— Хорошо, мы поставим его на карантин. Я сам вспрысну ему в глаза малеин, но если реакция покажет сап, придется убить... Таков закон. Пока еще наука бессильна бороться с сапом. Если не хочешь, чтобы твой Тореадор вытянул ноги раньше срока, привози ему овса и сена.

— Значит, можно надеяться? — Ажажа снял лиловую жокейскую шапочку, вытер вспотевшую плешину.

Вот какой противник был теперь у Фиалки, на котором горделиво красовался Ваня Аксенов.

— Марш, марш! — выкрикнул Кузинча и, будто саблей, разрезал воздух хлыстом.

Фиалка с места, с левой ноги, взяла галопом и сразу очутилась впереди.

В лицо Луке ударил тугой ветер, на спине пузырем надулась рубаха. Он ничего не видел, кроме вытянутой, быстро взмокающей лошадиной шеи и острых прижатых ушей. Дыхание мальчика забивал колючий, пахнущий лошадиным потом воздух. «Я впереди всех, я веду скачку»,— задыхаясь, с радостным волнением думал Лука. Но

через сотню саженей он услышал, что его настигает караковый конь. Фиалка без понукания наддала ходу. Мальчуган скорее умом понял это, чем почувствовал, и нежно подумал о Фиалке. Но и кобылица чувствовала, что замешкавшийся на старте соперник нагоняет ее и грозит оказаться у курганов первым.

Лука дернул поводья, хлестнул прутом прижатые лошадиные уши; ему было страшно оглянуться. Позади все глуше возбуждающий крик всадников. Когда лошади поравнялись голова в голову, Фиалка, выложившая все, что могла, оскалила зубы и схватила Тореадора за шею. На руку мальчишки брызнула цевка крови.

Лука прискакал первым, раздраженный на Фиалку за то, что она укусила Тореадора. В голове его пронеслась мысль: «Вот так и люди, когда их обходят, не дают вырваться вперед тем, кто имеет на то больше прав... Никанор не глупее Степки, а всем делом на заводе заправляет Степан».

Лука спрыгнул на землю и со всей силы ударил Фиалку по храпу. Лошадь по-человечьи отшатнулась назад.

— За что ты ее? — спросил запыхавшийся, счастливый Ваня.

— За обман... Хотя я и прискакал первым, но не честно... Первый приз за твоим Тореадором.

Мальчики несколько минут водили лошадей шагом, каждый свою, а потом пустили их пастись на отаву, пробивавшуюся на жнивье.

— Читай, Ванька, дальше,— попросил Кузинча, присаживаясь на кургане.— До чего мы там дочитали?

— Прочитали, как Монтанелли разговаривал с Оводом накануне казни,— напомнил Жорка Аношкин.

Ваня Аксенов упал на траву, блаженно зажмурил глаза.

— Значит, говоришь, первое место за мной... Расскажу дома. Шурка ни за что не поверит... Она все время издевается надо мной, дразнит интеллигентом, говорит, что мне только пенсне на нос не хватает, а вас она зовет пролетариями... Обязательно напишу о сегодняшней скачке в дневнике, все, все запишу, и то, как твоя Фиалка укусила моего коня, и то, как ты разозлился.

— Ну ладно, хватит. Давай книгу. Сегодня моя очередь читать,— потребовал Аношкин.

Ваня достал из-за пазухи потрепанный томик, вместо закладки переложенный веточкой сирени, подал товарищу.

Мальчишки присели вокруг Аношкина, и тот простуженным голосом принялся читать.

Лука лежал на траве, подняв к небу лицо, и, закрыв глаза, слушал.

— «Во дворе тюрьмы всю ночь шелестела трава — трава, которой вскоре суждено было увянуть под ударами заступа...» — читал Жорка.

— Вот как надо писать! — мечтательно проговорил Ваня.

— Не перебивай! — прикрикнул на него Кузинча.

— «У него на груди был спрятан платок, оброненный Монтанелли. Он осыпал этот платок поцелуями и плакал над ним всю ночь, как над живым существом...»

Лука видел перед собой этот скомканный платок, ощущал его соленую влажность.

Он слушал, будто сквозь сон, мысли его мешались, и вот он уже был Оводом и стоял перед Шурочкой, сестрой Вани Аксенова, одетой в белое платье Джеммы.

Лука ясно слышал выстрелы солдат, стрелявших в Овода, и даже почувствовал боль выше колена и ощутил кровь на щеке. Ему стало жалко себя, на глаза навернулись слезы.

Жорка дочитал главу, сказал:

— Жаль, хорошего человека угробили!

Лука очнулся от этих обыденных слов, раскрыл покрасневшие глаза, закусил губу.

— Если бы меня расстреливали, я бы вел себя так, как Овод,— сказал Ваня, разнимая пальцы, которые он сцепил во время чтения.

Слова товарища возмутили Луку. Ему казалось, что только он один понимал Овода и мог поступать так, как Овод. Лука холодно сказал:

— Отец говорил мне, что сейчас не расстреливают, а убивают, и не при первых лучах солнца, а в каких-то темных подвалах, и пьяные палачи не проливают слез при виде крови... Привыкли к своему ремеслу.

Эти нетерпеливые слова нарушили впечатление, вызванное книгой, и мальчишки снова ощутили себя на земле, увидели своих голодных лошадей.

Заметив, что Ваня прячет книгу за пазуху, Жорка попросил:

— Дай мне «Овода» дня на два, я его отцу почитаю. Все батько злей будет.

— Возьми, но только ненадолго.— И Ваня отдал то-

мик, обладавший чудесной силой уводить от горькой действительности на Апеннинский полуостров, в среду сильных духом людей с чистой совестью.

Лошади успели насытиться и, заплющив глаза, дремали, вяло помахивая хвостами. Лука видел, как Фиалка, стоя рядом с караковым конем, нежно и виновато покусывала его за шею, а конь нет-нет да и поглядывал на ее маленькую голову с вогнутым профилем, на длинный затылок, лебединую шею, большие и выпуклые глаза.

— Вот бы разрыть этот курган! В нем, наверно, похован какой-нибудь славянский князь в золотой кольчуге,— неожиданно предположил Кузинча.

— Железная кольчуга надежнее золотой,— как всегда, разумно возразил Ваня и посмотрел на потускневшее солнце, опускавшееся в рощу на горизонте.— Пожалуй, и по домам пора. Есть хочу.

Мальчики согласились с ним и, закурив, пошли седлать лошадей.

Верхом Лука подъехал к копне и, наклонившись, поднял на седло туго перевязанный пшеничный сноп. Его примеру последовали остальные мальчишки. Каждый подкармливал на заводе свою лошадь снопами, украденными у Федорца на поле.

Покачиваясь в седле, Лука с теплотой думал о Кузинче. Кузинча был странный мальчик, никто не знал его настоящего имени и фамилии. Правда, ребята не интересовались происхождением друг друга. Однажды, когда читали «Гамлета», Кузинча вдруг перебил чтеца и совершенно серьезно сказал:

— Это про меня написано.

— Как про тебя? — удивился Аксенов.

— Да так, что я был когда-то Гамлетом, Лаэрт ранил меня отравленной рапирой, и я умер, потом снова родился другим человеком, и снова умер — и так несколько раз, пока не стал Кузинчой.

— Ты и раньше читал Шекспира? — воскликнул пораженный Аксенов.

— Я неграмотный, я просто вспоминал то, что со мной было когда-то,— загадочно улыбаясь, ответил Кузинча.

Ехали укороченной рысью, но, выбравшись на шоссе, во весь дух помчались к заводу.

Лука летел во весь опор, словно похищенную девушку, прижимая к груди тугой, пахучий и теплый сноп.

Спрыгнув с коня у ворот завода, чтобы отодвинуть засов, он увидел Шурочку Аксенову. Она была в беленьком платьице и улыбалась ему. Конечно, девочка видела, как он скакал, обогнав своих сверстников, окутанный облачком пыли, как плащом.

— Вы мчались на коне, словно Печорин, догоняющий Веру,— пролепетала Шурочка, но Лука горделиво прошел мимо, даже не удостоив ее взглядом.

Расседлывая мокрую от пота Фиалку, он как бы невзначай просил Ваню:

— Послушай, кто такой Печорин?

— Печорин?.. «Герой нашего времени».— И, видя, что товарищ не понимает его, Ваня добавил: — Книга такая, сочинение Лермонтова.

— Есть она у тебя?

— Во всяком случае, была. Надо будет порыться на полках.

— Дай мне почитать,— попросил Лука.— Я сегодня приду за ней.

— Приходи.

VIII

Напротив городских боен на Змиевском шоссе расположился двор ассенизационного обоза Змиева — большой кусок земли, обсаженный деревьями и огражденный высоким деревянным забором. Жители Качановки почему-то называли эту территорию городским двором.

Обоз был большой, свыше двухсот пароконных бочек. Во дворе находились конюшни на пятьсот лошадей, кирпичные казармы для золотарей, стога сена, кузница, домики для начальства.

В одном из таких уютных домиков, затененном ветвями акации, жил Иван Данилович Аксенов со своей семьей: женой Марией Гавриловной, сыном Ваней и дочкой Шурочкой. За полуторное жалованье, положенное ему Змиевым, ветеринарный фельдшер работал в двух местах: на утилизационном заводе и на обозе.

Лука пришел к Аксенову затемно. Встретила его Шурочка, игравшая на пороге с сеттером Гектором. Красавец пес с длинной бархатистой шерстью шоколадного цвета узнал мальчика, бросился к нему, лизнул в лицо.

Девочка смутилась. Она стыдилась того, что живет на обозе, и в гимназии никто из подруг не знал ее адреса.

Если бы узнали, ее задразнили бы до слез, и, может быть, пришлось бы оставить учение. Качановские мальчишки дразнили ее брата парашником, но ее щадили. Да она ни с кем и не дружила, только с книгами.

— Вы к Ване? — спросила Шурочка и виновато посмотрела на босые ноги Луки.— Он в кузнице... Я его кликну, поиграйте с Гектором минутку.

Девочке не хотелось, чтобы Лука пошел в кузницу, возле которой стояли бочки, свезенные на ремонт.

Мелькнув в темноте белым платьем, Шурочка скрылась между деревьями. Лука, отбиваясь от прыгающей на него собаки, побежал вслед за нею. Он любил людей, запросто обращающихся с огнем, мнущих руками железо, как воск.

Было совсем темно, и кузница, словно огромный фонарь, поставленный посредине двора, освещала лошадей, привязанных у коновязи и пощипывающих друг другу шеи, бочки, деревянный станок, у которого подручный кузнеца подковывал пегого мерина. Огненные отблески горна достигали казармы, освещая семьи, собравшиеся за ужином. Отблески вырывались и вверх, отчего казалось, что вековые деревья дымят, как зажженные факелы.

Шурочка, увидев, что мальчик идет за ней, обиженно вернулась с полдороги, и Лука один вошел в сорванную с петель дверь кузницы, погрузив ноги в мягкий, теплый ковер металлической пыли и окалины.

Огромный кузнец клещами держал на наковальне кусок раскаленного железа, молотком указывая, куда бить. Рядом с ним стоял Ваня Аксенов и раз за разом, поднимаясь на носки, неумело опускал на красное железо тяжелый молот.

Прошло несколько минут. На глазах Луки, завороженного этой картиной, из бесформенного куска железа образовалась красная подкова. Кузнец швырнул ее на землю, и она, как живая, раздраженно зашипела, будто недовольная тем, что с нею перестали играть.

Кузнец скинул громадную рукавицу, поправил кудри, перевязанные тесемкой, вытер вспотевший лоб и увидел Луку, замершего на пороге.

— Заходи. Попробуй и ты свои силенки. Пора вам привыкать к работе. Терпение и труд все перетрут,— промолвил кузнец и весело расхохотался, обнажая ровные белые зубы.

Лука взял из рук Вани кувалду и, старательно, со всего плеча ударяя по металлу, куда показывал молотком кузнец, отковал вместе с ним подкову — первую полезную вещь, сделанную собственными руками. Какое-то сладкое, щемящее, еще неизведанное чувство наполнило его душу. Рукавом, совсем по-рабочему, он смахнул со лба крупные капли пота и поискал глазами кружку — напиться воды.

— Что, хорошо? Поламывает кости? — спросил Ваня.

— Очень хорошо.

— Всяк человек кузнец своему счастью,— проговорил рабочий, отпуская приглянувшихся ему ребят.— «Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро, вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо!»

Он стоял, высокий и сильный, в разорванной рубахе, из-под которой видна была мускулистая, заросшая курчавыми волосами грудь и блестящий медный крестик на ней. Казалось, только пожелай кузнец — и он смог бы перековать весь земной шар!

Горн отбрасывал багровые блики на сваленное в кучу железо, на колеса, стены и потолок, и Луке мерещилось, будто в углах кузницы стоят красные знамена, а на земле сложено оружие для борьбы, о которой так часто говорят рабочие люди.

— Кто этот кузнец, как его зовут? — спросил Лука товарища, когда они отправились домой.

— Дядя Миша, мой приятель,— ответил Ваня.— Поинтереснее твоего Степки Скуратова будет. Слыхал, как он сказал насчет того, чтобы свергнуть гнет?

В доме ветеринара пахло сухим хмелем и каким-то тонким лекарством, запах которого впитался во все вещи.

За столом с тихо мурлыкающим самоваром сидел у Аксеновых в гостях доктор Цыганков, на нем был кремовый чесучовый пиджак.

Мария Гавриловна пригласила Луку к столу.

— Как ты не поймешь, что только рабочий класс способен свергнуть самодержавие! Ибо он — подлинно революционный класс,— кипятился доктор, размешивая ложечкой варенье в стакане.

В беседе доктор употреблял такие слова, как «охранка», «подпольные кружки», «террор», «погромы», «черная сотня», говорил о народе, ругал царя, поминал какого-то неграмотного распутного мужика с подходящей для него фамилией Распутин. Раскрасневшийся Иван Данилович

слушал доктора со вниманием. Он достал из кармана толстовки металлическую коробку из-под шприца, запустил в нее длинные желтые пальцы, вынул щепотку табаку.

— Ваня, сколько раз я просила тебя не курить в доме! — пожурила его Мария Гавриловна и подбросила в самоварную трубу несколько угольков.

Ветеринар с явным сожалением положил табак обратно, щелкнул крышкой коробки.

Дуя на блюдечко, попивая чай, заваренный морковкой, и косясь на круглую вазочку с вареньем, Лука осматривал бедную комнату, освещенную висячей керосиновой лампой под стеклянным абажуром. Здесь были никелированная кровать с шишечками, на которой, наверное, спали Иван Данилович с Марией Гавриловной, комод с зеркалом, портрет Ивана Даниловича в молодости, наклеенная на гипс изящная головка женщины, вырезанная из журнала «Пробуждение».

В углу стоял застекленный шкаф, наполненный книгами. С него-то и не сводил глаз смущенный Лука. Напротив него сидела Шурочка, с ее губ не сходила улыбка, которую нельзя было не заметить.

— Хотите почитать «Героя нашего времени»? Я нашла для вас.— Шурочка проворно выпорхнула в соседнюю комнату, принесла томик Лермонтова в сереньком переплете.— Возьмите...

Лука вспыхнул.

— Я уже читал эту книгу,— соврал он, еще гуще краснея.

— А мне брат говорил...— начала было девочка.

Но Лука перебил ее.

— Он всегда так, выскакивает, когда его не просят,— глядя на товарища умоляющими глазами, проговорил Лука и, поспешно допив чай, заторопился домой.

— Оставайтесь ночевать у нас. Я постелю вам с сыном на веранде,— предложила добрая Мария Гавриловна.

— Я бы остался, да боюсь, что папа забеспокоится,— ответил мальчик и посмотрел в ясные глаза женщины, в которых светилась ее открытая и любящая душа.

— Я попрошу кого-нибудь из волоторотцев передать ему, что вы остались у нас.

Лука сдался и вскоре, облитый лунным светом, лежал на веранде под одним одеялом с Ваней. В ногах у них примостился Гектор.

Мальчики слышали, как, переругиваясь между собой, ассенизаторы запрягали лошадей и как в одиннадцать часов, словно по команде, через трое ворот бодро выехал весь обоз. Ошинованные колеса бочек долго гремели по мостовой.

— Что бы нам сделать такое необыкновенное, чтобы о нас все сразу заговорили!.. Удрать на войну, в разведчики, и вернуться оттуда с Георгиевскими крестами? — спросил Ваня.

— Глупости... Знаешь что, давай подговорим мальчишек и мотнемся завтра на кирпичный завод Ващенка, залезем на верх трубы, посмотрим на город с высоты, а потом пройдем через подземные ходы,— предложил Лука.

— А если там и вправду прячется банда Пятисотского? — испуганно спросил Ваня и сбросил с себя ноги товарища.

— Тем лучше. Нас они вряд ли тронут. Возьмем с собой Гектора и пойдем.

В городе орудовала неуловимая банда Ваньки Пятисотского. Каждый день мальчишки слышали о грабежах и убийствах. Поговаривали, что сын лавочника Светличного Ленька состоит в банде.

Пройдя половину неба, ледяная луна исчезла, словно растворилась в наступившей прохладе, стало совсем темно, а в комнате доктор Цыганков и Иван Данилович все еще не могли наговориться, и оттуда сквозь раскрытые окна плыл сладковатый табачный дымок. Засыпая, Лука разобрал воинственные слова доктора:

— Я презираю царя, этого венценосного скота...

На что Иван Данилович ответил:

— Господи, владыко живота моего! — и оглушительно зевнул, потревожив уснувшего Гектора.

— Хает царя, а у самого в квартире портрет царский висит, как икона,— возмутился Ванечка.

Лука знал: большинство людей ненавидело царя, и у большинства в домах висели изображения этого розовощекого, рыжебородого человечка, с голубой лентой и в орденах.

— Ну, я пойду домой, старуха моя, наверное, еще не ложилась, ждет меня,— устало пробормотал доктор, и вскоре послышались его шаги на деревянных ступеньках крыльца.

...Утром, встретившись у пруда, мальчишки одобрили затею Луки и после купания отправились на давно оста-

новившийся, заброшенный хозяевами кирпичный завод. Всей гурьбой они спустились в ходок трубы, увидели высоко-высоко над собой маленький, круглый, как серебряный полтинник, клочок неба и железные ржавые скобы, вбитые в круглую стену трубы.

— Ну, что вы стоите? Кто первый взберется на самый верх? — подзадоривал Лука.

Никто не отважился лезть. Тогда Лука схватился за скобу, подтянулся и полез — все выше и выше. Голова его кружилась, было страшно глядеть вниз, но он преодолевал скобу за скобой и наконец, едва не ослепнув от света, ударившего в глаза, выбрался на самый верх. Ветер с силой ударил его и чуть не столкнул на землю. Как-то он слышал, что фабричные трубы качаются. Тогда он не поверил этому. Но труба действительно качалась, это ощущало все его тело. На какое-то мгновение мальчик испытал дерзкую решимость броситься вниз, но это болезненное желание быстро прошло вместе с головокружением.

Боже мой, как много увидел он с высоты! Чаруса со всеми своими сказочными церквами лежала перед ним словно на ладони. Он видел паровоз, тащивший вагончики величиною со спичечную коробку. Цеха Паровозного завода дымили.

Мальчик так увлекся зрелищем, что позабыл о товарищах, ждавших его внизу. Невдалеке торчало железное копье громоотвода. В школе на уроке арифметики он както прочел, что знаменитый сыщик Шерлок Холмс спустился по громоотводу. Хорошо бы и ему проделать то же самое, вот бы удивился Ванька Аксенов, всегда завидовавший его смелости! Потом в голову ему пришла мысль, что нужно оставить какое-нибудь доказательство того, что он был на самой вершине трубы. Мальчик достал из кармана складной нож и на закопченной стенке выцарапал два имени: «Лука плюс Шура равняется — любовь».

Лука чувствовал себя на седьмом небе. Никто из его друзей не отважится повторить его подвиг, никто не узнает о его любви к Шурочке — тайну, которую он доверил трубе.

Снизу долетел едва слышный крик. Лукашку звали, пора было спускаться на землю. Вдруг из-под его рук, едва не задев лицо, вылетела напуганная птица. Судя по ее слепому полету, это была сова. Лукашка огляделся и

увидел в углублении из-под выпавшего камня гнездо с пятью жалкими птенцами. Лука взял одного из них, положил в карман.

Еще раз он окинул взглядом необыкновенно расширившийся на высоте горизонт и с птенцом в кармане спустился вниз, к нетерпеливо ожидавшим его товарищам. Всем было страшно в темноте, но никто не уходил, чувствуя, что это первое испытание их храбрости.

Лука показал птенца.

— Надо ему голову свернуть,— предложил Кузинча.

— Давайте положим его назад в гнездо. Совы полезные птицы, они уничтожают мышей,— назидательно сказал Ваня Аксенов.

— Что ж, клади, если ты такой храбрый, — сказал Лука, протягивая ему птенца.

Ваня взял совенка, положил его за пазуху и полез наверх.

Вернулся он минут через двадцать, радостный и возбужденный.

От основания трубы расходились набитые камнями и пылью узкие подземные ходы, в которых недавно пылало жалкое пламя, обжигавшее глиняные кирпичи. Идти по этим ходам можно было только согнувшись. Ваня Аксенов осветил своим фонариком землю. На толстом слое ворсистой пыли отчетливо проступали следы крупных ног. Лука видел, как товарищи замешкались, никто не хотел идти впереди. Он улыбнулся, взял из рук Вани фонарик и пошел первым. За ним, придерживаясь друг за друга, двинулись остальные.

Пахло сухой пылью. Воздух был спертый и неприятный.

— Чисто тебе пещеры в Киевской лавре,— проговорил Кузинча, который ходил на богомолье с бабкой.

«Катакомбы»,— подумал Лука. Он недавно прочитал «Камо грядеши». Было приятно сознавать, что он так легко преодолевает чувство страха, ему даже хотелось столкнуться с Пятисотским, чтобы проверить себя, свою выдержку в минуту опасности, свою находчивость и сообразительность. И хотя ничего не случилось, это приключение доказывало, что чувство страха побеждено, подтверждало их отвагу.

...Вернулись на завод и после обеда играли в разбойников. Семь человек под предводительством Луки были

разбойники, восемь во главе с Ваней — карабинеры. Играли на утилизационном заводе, в саду, за хозяйственными службами, изгородями и заборами: есть где спрятаться и побегать. Все пойманные разбойники отводились в охраняемую тюрьму — ветхую, заброшенную баню. Самым интересным в игре считалось, когда кому-нибудь из разбойников удавалось освободить из тюрьмы посаженных туда товарищей, которых карабинерам приходилось снова отыскивать и ловить. Никто, кроме Шульги, не мешал ребяческим забавам, а так как Шульга днем спал, то воскресные игры никем не нарушались.

Лука, чтобы безошибочно следить за общим ходом игры, заранее распределил места, в которых теперь спрятались ребята. Кузинча лег на кормушку в конюшне, и его присыпали сеном; Губатый спрятался на крыше бани, надеясь в удобный момент, как только зазевается часовой, открыть дверь тюрьмы; остальные залегли на чердаках, на сеновале, спрятались в сломанных экипажах; Лука облюбовал себе самый высокий тополь, окруженный пышными кустами дикой смородины.

Дарья видела, как он поднялся по бледно-серому глянцевитому стволу и схоронился в желтой, еще густой листве.

Игра началась. Со своего наблюдательного пункта Лука видел, как вывели из конюшни Кузинчу, по дороге он вырвался, взобрался по лестнице на крышу сарая, в двух шагах за ним гнался карабинер. Кузинча спрыгнул вниз, на навозную кучу, но там его уже ждали, схватили за руки, отвели в баню и задвинули засов.

Не прошло и пяти минут, как с бани осторожно спустился Губатый, рванул засов, но, не успев открыть дверь, сам попался в руки часового.

Один за другим ловились разбойники, и вскоре непойманным оставался только Лука. С восторгом наблюдал он за тем, как искали его по всему двору, заглядывали под крыльцо, шарили по кустам, лазили в погреб, перевернули сотню бочек из-под соленой рыбы. Несколько раз Ваня звал его, кричал, что игра окончена. Лука не поддавался на хитрость.

Наконец Дарья, наблюдавшая за ребятами из окна, шепнула Ване:

— Ой, Ванюшка, посмотри, какая птица на осокоре сидит!

Ваня посмотрел, заулыбался.

— Слезай! — крикнул он приятелю.— Теперь все равно никуда не денешься.

— Поймай, тогда слезу.

Зная упорство Лукашки, Ваня неохотно полез на дерево, но чем выше он взбирался, тем выше поднимался Лука. После подъема на трубу высота дерева казалась ничтожной. Испугавшись за жизнь мальчишки, Дашка крикнула:

— Слезай, не кочевряжься, все равно не уйдешь!.. До неба не доберешься, в облаках не спрячешься.

Все карабинеры собрались под деревом, даже часовой ушел от бани.

Лезть выше нельзя было, дерево трещало и качалось, и Лука стал продвигаться в сторону по толстой, гнувшейся под его тяжестью ветви. Какая-то птичка, приняв его за охотника, у самого лица резала воздух, отвлекая Луку от гнезда.

«Ну зачем время переводить даром!» — хотел сказать Ваня, но не сказал, а, задрожав, плотно прижался к скользкой коре дерева: ветвь, на которой балансировал его дружок, с треском обломилась у самого ствола, и Лука, даже не вскрикнув, рухнул вниз с десятиметровой высоты.

Карабинеры закричали, закрыли глаза, а Лука, перевернувшись в воздухе, упал ногами в середину гибкого, мягкого, как сено, куста дикой смородины, оцарапав лицо и руки. С похолодевшим сердцем выбрался он из гибких ветвей, перепрыгнул через изгородь и распахнул двери бани.

С криком восторга пленные разбойники разбежались во все стороны. Игра продолжалась до первой звезды, украсившей потемневшее небо.

IX

Среди заводских рабочих Лукашку заинтересовал Яков Аносов. Пухлое, женственное тело, узкий разрез каких-то безнадежных глаз, круглое курносое лицо Якова привлекли его внимание.

Скуратов говорил:

— Сделал его бог, да и модель закинул.

Был когда-то Яша здоровым парнем, копну хлеба поднимал на вилы, первым косарем славился на всю губер-

нию. Село свое, опоясанное лазоревым поясом речки, вспоминал только в снах. Снились зеленая крыша горизонта с флюгерами ветряков и золотые волосы ржи, расчесываемые густым гребнем теплых дождей. Четыре года служил Яков в одном из имений Кирилла Георгиевича Змиева, ни в чем плохом не был замечен. На пятый год службы сын хозяина — Георгий, самовлюбленный, до времени истрепавший себя молодой человек, забулдыга и дебошир, женился. Кирилл Георгиевич и слышать не хотел о невестке. Георгий привез жену на летние каникулы в необжитое имение. Анна Павловна была хрупкая, точно кукла. Все в ней было неестественное, деланное, будто нарисованное: ресницы, рот, даже глаза — яркие и большие, зеленоватого цвета. С первых дней замужней жизни молодая женщина затосковала, все куталась в теплый платок, часами бродила по саду, трогала руками подстриженные деревья, как прутья клетки. Ей всегда было холодно, она зябла даже в июне. И муж называл ее Зябликом или Зяблюшей.

Георгий пил домашние настойки, не брился, из гостей принимал всякую чиновную городскую мелочь, и в том числе недоучившегося лекаря, желчного скептика. Жена пробовала играть на рояле, муж был равнодушен к музыке, говорил: «Детское занятие!» Или: «Какая из тебя пианистка?»

Он заметно опускался, спивался. Его мучила ссора с отцом.

Анна Павловна скучала. Часто уходила в лес одна.

Листья напоминали ей мотыльков: как мотыльки от огня, они не могли оторваться от деревьев и только бились и бились без конца. Их светлая изнанка была покрыта тончайшей пыльцой.

Как-то, устав бродить, Анна Павловна вышла из леса. Все навевало на нее грусть: трава, деревья, облака, медленно возникающие у горизонта.

Невдалеке приятный грудной голос пропел:

Любыв, кохав дивчыноньку,
Любыв тай не взяв...

Песня хватала за сердце, хотя не все слова были понятны. Когда-то Анна Павловна искренне любила, но тот человек ушел, его место занял Георгий.

Вспомнились прочитанные книги, все они были о не-

счастной любви. Она подумала о близких ее сердцу героинях и ужаснулась: зарезана, отравлена, задушена, сожжена на костре, бросилась в Волгу, под поезд, повесилась, застрелилась, казнена на электрическом стуле. Германн и Лиза, Дубровский и Маша, Дездемона, Клеопатра, Эмилия Галотти, Арман Дюваль и Маргарита Готье, мадам Бовари, Катерина, Анна Каренина, Оливье Бертен, Антуанетта и Монриво, Жидовка, Кармен. Все они искали любовь, а нашли могилу. На глаза Анны Павловны навернулись слезы.

Она не сразу заметила разъяренного породистого быка. Взметнув передними ногами песок, он тупо бежал на нее, его вспененная морда и рога были уж совсем близко. Анна Павловна слабо вскрикнула и потеряла сознание. И не видела, как сильными, широкими прыжками Яков обогнал быка, схватил его за рога и мощным рывком повалил на землю. Потом, тяжело дыша, стреножил его шелковым вязаным пояском.

Опомнилась Зяблюша среди холодных кустов полыни, похожих на морозный узор на окне. Над ней наклонилось румяное лицо Якова, он разглядывал ее с любопытством и жалостью. В эту минуту кто-то рванул Якова за плечо, залаяла собака, и Зяблюша, очнувшись, увидела над собой взбешенного мужа.

— Вот как, сударыня! — кричал он.— Вот как бережете вы мое имя!..

Позади него, посмеиваясь в седые усы, стоял ко всему равнодушный лекарь.

Что случилось дальше — дело темное. Досужие языки говорили, что Яша был связан, брошен в запущенную, затянутую паутиной баню и заперт на замок. И там лекарем оскоплен. Говорили, что Яков собирался подать на молодого Змиева в суд, но Змиев сам явился к нему, и между ними произошел такой разговор.

— Хочу возместить тебе убыток, Яшка,— сказал Георгий.— Давай помиримся на пятистах целковых. По-хорошему. А? Как ты смотришь?

В глазах Якова мелькнул жадный огонек. Он промолчал.

— Ну, подашь ты на меня в суд,— продолжал Георгий.— А за мной отец. А за отцом сила. Ты, Яков, не маленький. Вынесет мне суд церковное покаяние. Буду исправно ставить свечи и читать «Отче наш». Помогут тебе мои молитвы?

— Давай тысячу! — тонким голосом крикнул Яков.— За тысячу вешай мне замок на уста, за пятьсот не согласный!

И рассказывали дальше: парень сунул за пазуху десять светло-желтых катеринок. В тот же день их украли у него на толчке. Сам не свой, Яков пошел к Георгию.

— А ты зачем на толчке галок считал? — рассмеялся Георгий.— Пеняй на себя, разиня. Впрочем, могу направить к отцу. Он тебя на заводе устроит. Жалованье будет платить. Будешь бережлив, сколотишь новую тысячу. А пока на горькую твою долю получай четвертной.

Скопец уехал в Чарусу.

...Жил Яша в казарме на утилизационном заводе. Койка у него была неопрятная, сорочка всегда замурзанная. Сколько ему лет — никто не знал, а по лицу, пухлому и несвежему, иной раз можно было дать двадцать, а иной раз и все пятьдесят.

Рабочие беззлобно посмеивались над ним. Он молча выслушивал насмешки, ни на кого не обижаясь, давно покорившись своей участи. В воскресные дни уходил на толкучку, толкался там до обеда, покупал книжицы про сыщиков: Ната Пинкертона, Ника Картера, Шерлока Холмса, а также дешевенькие журналы, вечерами рассматривал в них цветные картинки, давал читать Лукашке. Только с этим мальчуганом чувствовал он себя свободно и просто, ему всегда хотелось поговорить с ним о светлых чувствах и мечтах, живущих у него в душе. Но слова шли на язык не те, все какие-то бескровные и дряблые, от них самому становилось тошно.

Однажды в журнале, принесенном Яшей, Лука прочитал о летчике Нестерове, протаранившем австрийский аэроплан и разбившемся насмерть. Мальчик положил журнал на колени, задумался.

— Что ты? — спросил Яша.

— Думаю выучиться на авиатора...

— Зачем? Чтобы убиться?

— Я не убьюсь.

Глотая слезы, Лука ушел.

А Яша, глядя ему вслед, понял, что мальчику до боли жалко Нестерова, и вдруг ему самому захотелось взлететь. Он даже взмахнул руками.

Многие в свое время известные в городе проститутки доживали свой век на заводе. Они приходили сюда изувеченные болезнями, с пропитыми голосами, раздражитель-

ные и несчастные. Приходили искать копейку у заводского отребья, потому что на улицах их уже больше никто не брал.

Как-то гицели привезли из города немолодую женщину. У нее были синие мешки под глазами, желтые от табака зубы и прекрасные карие глаза, властные и смелые. Оттого ли, что она очень устала жить, или оттого, что горькая доля Якова разбудила в ее зачерствелой душе забытую нежность, она поселилась в его комнате и стала заботиться о нем, как сестра.

X

Дашка осталась на заводе. После драки на хуторе хотела покончить с собой, даже крюк в потолке облюбовала, мыло и веревку приготовила, но вдруг раздумала. Решила: не стоит Степан ее смерти. После ухода мужа в ее комнате за перегородкой пропал запах кожи, уютно запахло яблоками, сухими грибами.

Как все обточенные жизнью люди, Дашка не могла долго возиться с собой, обдумывать судьбу, жалеть себя. На третий день пошла к ветеринару, сказала с порога:

— Меня Степка бросил.— По житейскому опыту она знала: люди не любят слушать о чужих несчастьях. Вспомнив об этом, замолчала, опустив голову на грудь.

В комнату ветеринара она вошла не постучав, и это его взбесило.

— Что ж, прикажете жениться на вас?

— Вы не смейтесь, я за делом пришла. Возьмите меня на завод, дайте работу.

На костлявом лице ветеринара отразилась какая-то горьковатая радость, будто Дашка этими словами доставила ему удовольствие.

— Не станешь же ты собак ловить!

— Все равно, собак так собак, только бы не голодать и Банный переулок миновать. Надоела мне вся эта путаница и неразбериха.

— Ладно, завтра с Кузинчой поедешь на Благовещенский базар. Жалованья пятнадцать карбованцев в месяц, на хозяйских харчах.

— Добре, поеду.— Дашка поклонилась, не столько из благодарности, сколько затем, чтобы скрыть от ветеринара внезапно вспыхнувшую неприязнь к нему.

Ему хотелось, чтобы женщина пожаловалась на обиду, на издевку, на черствость людскую. И он утешил бы ее, а она растворилась бы в его ласковости, как кусок сахара в стакане чая. Но баба не поняла движения его души, вежливо прикрыла дверь и ушла беспечальная.

...Женщину, поселившуюся у Якова, звали Вандой, но татуированная жена живодера Гладилина прозвала Ванду — Ведьмой. Это имя так и прикипело к ней. Все заводские бабы, кроме Дашки, ненавидели Ведьму, избегали ее.

Третьи сутки шел проливной дождь. В заводской казарме жили не выходя, как в ковчеге. На земле кипел холодный ливень, с утра до вечера стояли туманные сумерки. Днем не гасили свет. Желтое пламя напоминало цветки одуванчиков, воткнутые в ржавые банки самодельных керосиновых коптилок. Из маленьких окон казармы не видно было сада. Деревья исчезли, растворились в тумане.

За тонкой фанерной перегородкой разгорался едва уловимый шепот. Лука прислушался. Ведьма рассказывала Дашке:

— Нудно мне... Жить хочется! Скоро умирать, а я жизни еще и в глаза не видела, жила, как собака. Вся моя жизнь прахом пошла... Придет старость, и останусь я одна-одинешенька, и некому будет даже воды подать. Чтобы в старости знать покой — надо в молодости детей рожать. Мужей у меня было много, а детей нет. Родилась я в распроклятое время. — Она немного помолчала.— С Катеринослава я. Не бывала ты там?

— Нет.

— Окраина наша на горе, внизу Днепр — красивая река, а злая. С моста в нее брюхатые девки кидались. Отец на Брянском заводе свалился в домну. Ну, известно, кислая история. Я из сил выбивалась, чтобы помочь семье, не дать сестренкам моей дорожкой пойти.

Она с отвращением плюнула. Дашка спросила:

— Ну, как же сестренки?

— Сестры? Кислая история! Все-таки пошли по моему следу. Одну в Одессе, на Дерибасовской, задушил пьяный матрос, другую в Киеве купец замучил. Олькой звали, восемнадцатый годок девке пошел, и крышка... Хоронили роскошно. Гроб с глазурью, серебряный венок, живые хризантемы. Чиновник один, старичок, все расходы на себя записал, а сам за гробом шел и плакал из-под

очков. Правда, на Безаковской улице жена его выскочила из фаэтона, да по морде его трах, трах!.. Очки разбила. Комедия!

— У-у! И когда только женщина человеком станет? — Дашка скрипнула зубами.

— А ты у механика спроси, он все разжует да тебе в рот положит. Я сама собираюсь поближе к нему примкнуться. Хороших людей я не видела, а он, говорят, хороший. Хотя не верю я. Человек со стороны хороший кажется, а близко подойдешь — дрянь.

— Невесело жить на свете. Люди только тем и занимаются, что друг другу каверзы делают. Я вот руки на себя наложить хотела,— созналась Дашка.

— Я тоже думала когда-то об этом, даже медного купоросу выпила, все нутро обожгла. Да, наверное, нет на земле такого жителя, который про это самое не думал бы. Человек, он, промежду прочим, тем и отличается от животного, что по своему желанию может с собой покончить.

Женщины замолчали. Наступила сонная тишина. Слышно было, как дождь монотонно стучит по стеклам.

— Дорогая леди, жизнь это нотбрэкерз, не больше,— произнесла Ванда и громко зевнула.

— Что сие значит — нотбрэкерз? И зачем ты щеголяешь непонятными словечками?

— Нотбрэкерз — щипцы для орехов. А щеголяю я, чтобы не позабыть манер. Как-то приезжает к нам в заведение адъютант адмирала — и прямо к мадам. Отобрал дюжину девушек и приставил к нам учителя английского языка. Три месяца долбили. В Одессу ждали эскадру английскую, и нам поручили у английских офицеров дознаваться всяких секретов. Сзис момент.

Лука рос без матери. Она бросила его отца, жила с кем-то в деревне, и деревня эта находилась где-то недалеко. За эти годы у мальчика накопилось злое чувство к матери. Но отец никогда не вспоминал о ней плохо. Может, мать не виновата? Может, она ушла подневольно? Жизнь — страшная. Она кладет на слабые плечи женщин грузную ношу мук, горы нелепой, изнурительной работы. Как грузчики, несут женщины эту ношу, пока не споткнутся и не погибнут, раздавленные. То, что Лукашка узнал за последние дни, было отвратительно. Он испыты-

вал стыд, что родился мальчишкой. Значит, когда вырастет, то огрубеет и, как миллионы мужчин вокруг него, станет унижать женщину, мучить, взвалив на нее и детей и кухню. Мальчик заметил: на заводе крепкая дружная семья — редкость. Раньше не испытанные чувства охватили его. Эти переживания и взрослых доводили до дома умалишенных, а ему шел только двенадцатый год.

Лука слышал: тяжело стуча юфтевыми сапогами, к Дашке ввалился Гладилин.

— Ты бы хоть лапы вытер. Наследил, дьявол! — беззлобно накричала на него Дашка.

— Что, не сладко живется? — спросил Гладилин, очевидно, Ванду.

— А мне горькая — привычней сладкой. С сахара злею, а с водки толстею,— вызывающе ответила Ванда.

— За чем же дело стало? Я могу послать, опрокинем по баночке. Лукашка! — крикнул Гладилин и постучал согнутым пальцем в тонкую фанерную стенку.

В коридоре Гладилин сказал Луке:

— Вот что, сбегай к Игнатихе, возьми у нее бутылку.

— В долг?

— Ясно. Не будет давать, ты попроси, пускай запишет на мой кошторис.

— Я и так вчера просил. Говорит, за тобой пятнадцатая. Не даст, скаредная больно.

— Ну, ну, беги. Тебе она не откажет.

Жена лавочника Светличного Игнатиха жила через дорогу. Она тайно продавала самогон, кредитовала заводских до получки. Лука засучил по колени пестрядинные штаны, натянул кацавейку и побежал к Игнатихе. В лужах кипели дождевые пузыри. Небо висело облачное, низкое — прямо над головой, как потолок. По дороге мальчишка сообразил: лавочница не даст Гладилину без денег ни одной капли. Но он все-таки вошел в лавку и, заливаясь краской стыда, соврал:

— Тетя, отец просил дать ему в долг косушку водки.

Игнатиха вынесла потную бутылку, протерла ее фартуком, равнодушно проговорила:

— С чего бы это его потянуло? Видно, и у него душа не из железа.— Она вытащила из кассы толстую тетрадку, отыскала в ней чистую страничку, написала «Иванов» и поставила палочку.

Лука не вернулся к Гладилину, зашел к себе в комнату и, сам не зная, зачем это делает, охватил горячими гу-

бами шейку бутылки и не отрываясь выпил несколько глотков. Его быстро разобрало. Хотел выйти на свежий воздух, но споткнулся, упал. Попытался встать — и не мог. Все предметы в комнате переворачивались перед ним. В полусознании он не помнил, как его рвало, как встревоженный, растерявшийся отец нашатырным спиртом приводил его в чувство, прикладывая к голове мокрое полотенце, а он колотил отца ногами и ругался.

XI

Ведьма переселилась к Дашке, в ее чистенькую, уютную комнатенку, целыми днями гадала на картах на марьяжного короля. На толкучке па Яшины деньги купила широчайший поношенный шелковый капот и моталась в нем по двору, сверкая голыми сильными руками. Была она еще крепкая, невысокого роста, держалась независимо, властно, будто на две головы выше всех. Сохранившаяся фигура ее вызывала в заводских женщинах завистливую ненависть и какой-то непонятный восторг в мужчинах.

— Красава, я тебя силком приворожу,— как бы шутя говорил Гладилин, все время нарочито попадаясь ей на глаза.

Но он не шутил и вскоре добился своего. Он нашел в этой женщине то, что околдовало его и что было так не похоже на привычную, обыденную, грубую любовь. Необразованный, жестокий человек, никогда не читавший книг, Гладилин умел чувствовать тонко и глубоко. Ему казалось, что впервые он встретил на своем пути женщину, о которой мечтал всю жизнь. Она была для него лучше и краше всех. Он тосковал без нее, ходил по ее следам... Поведение Гладилина заметила его жена, которая сама путалась с Контуженным и, хоть об этом знал весь завод, умело скрывала свои шашни от вечно пьяного мужа.

Как-то ночью, когда прикрученная к потолку казармы лампа отбрасывала бледный круг света, Гладилиха сказала мужу:

— Связался с Ведьмой, так и ступай к ней. Опостылел ты мне по горло.

Супруги чувствовали ту страшную обоюдную неприязнь, какую должны испытывать два каторжника, на всю жизнь прикованные друг к другу кандалами.

Жена лежала рядом, холодная, и шипела, точно гадюка. Гладилин привычно, без размаху, ударил ее по лицу.

— Замолчи!

И в ночь вплелось тонкое, как комариное жужжание, завывание Гладилихи:

— А-а-а-а... опять бьет, опять издевается... Караул!

Каждую ночь в казарме кто-нибудь из женщин придушенно, сквозь мужские ладони, зажимавшие ей рот, кричал, призывая на помощь. Никто никогда не отзывался на эти крики, и они постепенно замирали, заглушаемые тупым звуком ударов.

Но в эту ночь на крик Гладилихи прибежал Контуженный. Хотя Гладилин отпустил жену, первым словом Алешки было:

— Пусти... За что ты ее бьешь? Она не хочет с тобой жить. Сам шляешься по чужим бабам, а ее возле себя на цепи держишь, как собаку.— Он весь дрожал, в голосе его было больше просьбы, чем угрозы.

— Не хочет со мной жить, так какого шайтана хлеб мой жрет? — во всю глотку закричал Гладилин.

Баба заголосила пуще прежнего. Гнев заклубился в душе Гладилина.

— Вон отсюда, мамзеля поганая!

— Отдай мое одеяло!

За тонкую перегородку полетело рваное одеяло, все в клочьях слежавшейся ваты. Вслед за одеялом плюхнулись на пол старомодный сак и фанерный чемодан.

— Забирай. И чтобы ноги твоей тут не было больше!

— Отдай мой пальтрет!

Гладилин сорвал со стены фотографию женщины в белом платье и в шляпе со страусовым пером — дорогую память лучших в ее жизни годов.

— Давай все, и лампу давай, я ее за свои гроши купила!

Гладилин схватил лампу и изо всей силы ударил жену по голове. Стекло разлетелось во все стороны, по волосам женщины струйкой побежал керосин. Алешка бросился вперед, чтобы защитить любовницу, но в руках Гладилина, как свеча, загорелся нож и ожег лезвием плечо соперника.

Алешка, будто набитый мешок, уроненный грузчиком, свалился на пол.

— Кар-раул!.. Убили!.. Зарезали!

— Каждый день одно и то же, ругань, драки, пьянка,— пробормотал Лукашка, поспешно натягивая штаны.

На крики стал собираться народ. Пришла Дашка, а вместе с ней полуголая Ванда, прикрывавшая руками полные груди. Гладилин закрыл рукой глаза, покраснел, до крови прикусил губу.

— Развязал руки? — бесстыдно спросила женщина.

— Развязал!

— Скучные вы, ушибленные. А со мной сойдешься — умаешься,— пригрозила она.

«Гром без дождя»,— беззлобно подумал Гладилин.

Вызвали Аксенова. Он прибежал взволнованный, оглядел рану, промыл ее карболкой, присыпал желтым вонючим порошком. Рану забинтовали. Рядом с Алешкой легла Гладилиха, довольная тем, что все так быстро уладилось. Через полчаса в казарме стояла обычная заполночная тишина. Только слышно было, как шуршат в горшках тараканьи ватаги.

XII

Изредка к механику Иванову приходили его товарищи по работе на Паровозном заводе. В эти минуты лицо у него светлело и без того молодые глаза становились еще моложе. Он посылал Луку к Дашке за самоваром, просил вскипятить чай. Почти всегда в таких случаях под каким-нибудь предлогом отец осторожно усылал куда-нибудь Луку; было ясно — он не хотел, чтобы сынишка слушал его разговоры с приятелями; это обижало мальчика, но он умел молчать, не показывать обиды.

Однажды осенью к отцу пришли слесарь Лифшиц, маляр Полонский и еще один человек, облепленный седой бородой, точно снегом. Как всегда, отец попросил Луку сбегать за баранками к чаю. Светличный баранками не торговал, за ними надо было бежать далеко по шоссе, за бойню, в потребиловку.

— Слушай, папа, зачем ты скрываешь от меня? Я ведь знаю, о чем вы говорите. Позволь мне сегодня остаться с вами. Я уже не маленький, умею держать язык за зубами.

Отец тепло посмотрел на Лукашку.

— Хорошо. Оставайся, слушай и учись. Но сначала все-таки сбегай к Светличному, купи фунта четыре ситного хлеба.

— И французскую булку можно?

— Если останутся деньги — покупай.— Механик дал сыну серебряный рубль — лобанчик с выдавленной на нем головой императора Николая II.

— Тогда я верхом смотаюсь в булочную Сенина,— сказал Лука.

Он любил покупать французские булки. Местный купец Сенин, хозяин паровой мельницы, мучных лабазов и пекарен, до войны печатал в газете «Южный край» объявления о том, что ежедневно запекает в одну из булок золотой. Об этих золотых было много разговоров, и с тех пор весь город покупает булки только у Сенина.

Когда Лука вернулся, навстречу ему поднялся Лифшиц, недоверчиво посмотрел на мальчика, но сказал почти ласково:

— Вот и хорошо, что захотел нас послушать. Слушай. Но время сейчас не разговорное, а деловое. Батька любишь?

Мальчика удивил вопрос.

— Конечно, люблю. Больше всех на свете.

— Вот и хорошо, эта любовь мальчишке закладом послужит. Приглядится, обомнется, понимать станет. А закалять человека выгодней с малолетства,— повернулся Лифшиц к товарищам.

Лука сразу почувствовал в Лифшице что-то близкое себе, родное. Наверно, этот человек за что ни возьмется, все сделает отлично. Особенно нравились в нем руки, большие, изъеденные кислотой, с пальцами тяжелыми, точно болты. Руки были выразительнее обыденного его лица, прикрытого большими очками. У Полонского, наоборот, тонкое, энергическое лицо сразу западало в память.

Механик заварил чай, разлил по граненым стаканам. Заговорили о положении женщин в России. Разговор понравился Луке, он нашел в нем ответы на вопросы, недавно зародившиеся в его голове,— он не мог решить их самостоятельно.

Разговор был ясен и прост, не было в нем почти ничего, чего бы не мог понять Лука. Говорили о вовлечении женщин в рабочее движение, о работе среди текстильщиц Державинской мануфактуры.

— Половина населения — женщины. Выступать без них — все равно что драться одной рукой,— говорил Лифшиц, покусывая щипцами сахар.

Лука отыскал в слесаре сходство с отцом, и ему стало легко, просто и хорошо среди этих людей. Становилось все уютней, будто в холодной комнате затопили печь и она окрасила стены розовым теплым светом.

— Это ты верно подметил: не будет полного переворота, если и трудящиеся бабы не внесут в него свою долю,— сказал седобородый старик, блестя живыми, молодыми глазами.

Лука отметил: никто не спорит, не возражает, говорят веско, то книжными, а то собственными словами.

Лица гостей, отражаясь в боках самовара, казались желтыми, вытянутыми. Самовар мурлыкал ласковую однообразную песню.

— Надо написать в нашей листовке,— механик внимательно посмотрел на сына,— что освобождение женщин-работниц во многом зависит от самих работниц.

— Вот, вот,— заспешил Лифшиц, поднимая указательный палец с медным, похожим на гайку кольцом,— так же как и освобождение рабочих зависит от самих рабочих.

Лука подумал о Дашке, Ванде, о заводских женщинах: какие же они освободительницы? Вся их сила уходит на драки, ругань и сплетни.

Говорили немногословно, о жизни вообще, о полиции, о войне. Обсуждали все как-то по-особенному серьезно, вникая в самую суть. Лука знал эту серьезность в отце, а теперь нашел ее и в его товарищах. Мальчика трясло как в лихорадке. Он еще не понимал, что его так взволновало. А это было чувство сплоченности, чувство единства. Многого не разумел Лука, но уже сознавал, что рабочая семья могуча.

— Чем скромнее мы будем ставить требования, тем скромнее будут уступки власть имущих,— говорил седобородый старик.

Лука вгляделся и вдруг понял: старик этот вовсе не старик, а, пожалуй, самый молодой из товарищей отца, и борода у него приклеенная, как у актера, чтобы не опознали сыщики. Он, конечно, скрывался, и дружить с ним было заманчиво и опасно.

— Надо глотки затыкать всяческим либералам, оппортунистам, они расшатывают рабочее движение сильней, чем правительство. Микробы,— сказал отец.

Фраза была непонятная, но смысл ее Лука все-таки уловил.

— Как вам нравится: на заводе Мельгозе выступает меньшевик Судаков и говорит: «Нет условий, к которым человек не мог бы привыкнуть». А какой-то петроградский поэт тиснул в газете: «Вне наций, вне классов, вне партий строить человека с большого Ч».

— Сволочи! — выругался Лифшиц и взялся за кепку.— Надо еще по мальтузианству пальнуть, а то болтают по заводам: мол, нищета рабочих от быстрого роста населения, бабы во всем виноваты. Перенаселение! Краем эти проповедники и войну защищают: войны, мол, убавляют количество лишних ртов, все больше хлебушка уцелеет.

Лука давно заметил: многие женщины на утилизационном заводе бездетны, хотя живут жадно, расточительно, тянутся к любви с той же острой тоской, с какой тянутся к ней чахоточные, обреченные болезнью на смерть. Он не понимал, почему бездетны Дашка, Ванда, Гладилиха. А Лифшиц объяснил, и объяснил толково, просто и бесспорно: жить становится все трудней, борьба за существование острее; чем больше у рабочего семья, тем труднее ему сводить концы с концами.

— Вот они и понуждают женщин к абортам, калечат их.

Что такое аборт, Лука не знал, но слово это запомнил, чтобы потом, когда все разойдутся, заглянуть в энциклопедический словарь Павленкова — его настольную книжку.

Свет бледной керосиновой лампы чекапил на стене тени, умножал их. Казалось, у стены стоит безликая толпа, напряженно слушает, взмахивает сжатыми кулаками.

В ласковый, запоминающийся говорок Лифшица ворвался голос отца. Отец сказал:

— В листовке надо крупно набрать слова Ленина о том, что «нашему поколению тяжелее, чем нашим отцам», но «мы боремся лучше, чем наши отцы. Наши дети будут бороться еще лучше, и они победят». Вот для чего нужны нам дети! — несколько раз воскликнул механик.— Они дружнее, решительнее будут бороться против каторжной жизни. И победят, если не победим мы, отцы. Понял, Лука, для чего живешь? — повернулся он к сыну.

Лука впервые видел отца в таком возбуждении. Видно, разговор радовал его сердце. Он подошел к сыну, положил на его плечо тяжелую руку, спросил:

— Понял, для чего топчешь землю?

Лука понимал.

Огонь в лампе несколько раз подпрыгнул, сильней запахло керосиновой гарью. Легкой, звериной походкой кто-то дважды прошел под окном.

— Ну, бувай! Ходят, черти, подслушивают, засматривают в самую душу.

Рабочие пожали друг другу руки и вышли, под их удалявшимися шагами зашуршали шелковые опавшие листья.

Лука лег, но долго не мог уснуть, часто отрывал голову от подушки и каждый раз видел освещенное лампой лицо отца, склоненное над листком бумаги на столе. Механик писал буквами, напоминавшими печатные, ставя их отдельно друг от друга. Лука помнил: в классе за такой почерк Кольке Коробкину учитель поставил двойку. Отец черкал написанное, потом снова писал, что-то отыскивал в книжках, старательно переписывал. Перед рассветом, собрав написанные листки, он натянул на себя рабочее платье и ушел — видно, к себе, в машинное отделение.

Через день вечером он сказал сыну:

— Напросился ты в помощники — что ж, помогай рушить твердыню самодержавия, парень ты шустрый.— Отец вытащил из-под стола кипу свежих листовок.— Эти рецепты надо расклеить на заборах по Державинской улице, а если удастся, то и на чулочной фабрике. Только полиции не попадайся, а угодишь в участок — молчок, ничего не говори, даже чей ты есть. Отвечай — мамкин! Не боишься?

— Нет.

Лука взял листовку, внимательно прочел ее. В ней было напечатано все то, о чем говорилось вчера за чаем, но только выражено проще, короче, понятней.

Ночью, сунув в карман единственную свою игрушку — пистолет, вырезанный из дерева, Лука взял банку с клейстером и ушел на Державинскую улицу. Стараясь ступать бесшумно, подошел к покосившемуся забору. Наклеил листовку, смутно забелевшую квадратным пятном. Прислушался. В полночной тишине было что-то подозрительное. Серые прямоугольные заборы почему-то вообразились ему огромными конвертами; он с удовольствием, точно марки, наклеивал на них листовки, от этого заборы приобретали ему одному лишь понятную ценность. Лука выполнял поручение; надо действовать спокойно, обдуманно и решительно; только так цель будет достигнута.

Впоследствии несколько раз выполнял Лукашка опасные задания отца. Он уже знал: отец, Полонский и Лиф-

шиц — революционеры, у отца в машинном отделении спрятан ручной печатный станок, а Илько Федорец, невзрачный, всеми презираемый трус,— осведомитель охранки, которого следует остерегаться.

XIII

Однажды отец попросил Луку сходить на Паровозный завод, в сборочный цех, разыскать там Лифшица и передать ему кошелку с новыми листовками.

— Дело рисковое, но выполнимое. В обеденный перерыв на завод сходится много ребятни, несут отцам еду. Кстати, посмотришь завод поближе, познакомишься с рабочими.

Лука обрадовался. Уже давно ему хотелось побывать на настоящем заводе. Он зашагал по Змиевскому шоссе с кошелкой, в которой лежала перевязанная бечевкой пачка листовок, прикрытая платком. Сверху отец положил хлеб, вареную картошку и помидоры. Идти было далеко. Паровозный завод находился на противоположной окраине Чарусы.

Как все мальчики, Лука любил опасность, к тому же ему хотелось повидаться с Лифшицем. Интересно — где живет Лифшиц? Есть ли у него дети и голубятня? Следит ли за ним полиция?

Не спеша Лука дошел до железнодорожного моста у скотобоен, забрался на каменистую насыпь и зашагал по полотну. Не доходя до закопченного депо, он увидел на рельсах кучу грязных ребят с кочережками в руках, копающихся в кучах жужелицы, выброшенной из паровозных топок. Дети отыскивали непрогоревший уголь. Среди ребят он узнал Шурочку Аксенову, согнувшуюся с корзиной в руках. Две косы ее были перевязаны синими ленточками. Видно, не сладко жилось ветеринару, если он не гнушался посылать дочку собирать уголь.

Зная застенчивость Шурочки, Лука прошел мимо не поздоровавшись, да ему и самому было неловко: топал он, по обыкновению, босиком. Но его окликнул Ваня Аксенов, помогавший сестре:

— Ты куда?

— На кудыкину гору.

— Я серьезно спрашиваю.

Лука никогда не врал. Он сказал, что идет на Паровозный завод. Сказал и сам почувствовал в своем голосе горделивую нотку.

— И я пойду с тобой. Так много слышишь о заводе, а я никогда не бывал там. Интересно все-таки поглазеть, как делают паровозы. Что лучше на свете железной дороги! Правда, Лукашка? Проедешь по мосту — гремит, как с неба, и ветер от паровоза с ног сбивает. И семафоры... Говорят, на заводе и сталь льют.

— Пойдем. Но ты, гляди, сколько угля насобирал — наверное, с пуд будет. Тебе надо домой его отнести.

— Шурка дотянет. Хоть и девчонка, а сильная. Начнем бороться, кладет меня на обе лопатки.

— Нет, отнеси сам, а я подожду тебя здесь.

Городской двор был невдалеке от железной дороги, и Ваня, взвалив мешок на спину, по узенькой тропинке засеменил домой.

Шурочка, слышавшая их разговор, подошла и смущенно поздоровалась. Когда Лука повернулся к ней, она мучительно покраснела. Ей было стыдно за свою бедность, стыдно собирать уголь, стыдно за свои босые грязные ноги, покрытые цыпками.

— Прочитали книгу, которую я вам дала? Правда, очень интересно написано?

— Да, прочитал!

— Мне очень нравится Печорин, но я думаю, что герой того времени все-таки не Печорин, а Максим Максимович. Он на нашего папу похож, правда?

— Лермонтову виднее, кто герой, а кто не герой,— ответил Лука, а сам посмотрел на худенькую Шурочку и подумал: «Ей только в куклы играть, а она, гляди, собирает уголь, таскает его на плечах. Плечи-то слабенькие...»

Подошел товарный паровоз; пыхтя, остановился. Усатый кочегар принялся чистить топку. К паровозу хлынула стайка ребят; стали выхватывать из-под колес еще горячие уголья. И тут Лука заметил других девочек. Они отличались от Шурочки тем, что, как мальчишки, были острижены под машинку.

— Ну, мелюзга, плохая сегодня у вас добыча? — спросил, выглядывая из окошечка, машинист с дымящейся козьей ножкой в зубах.

— Брат сказал, что вы мое имя вырезали на трубе кирпичного завода. Для чего вы это сделали? — Де-

вочка подняла на Лукашку синие глаза с загнутыми ресницами.

Лука весь залился румянцем.

— Одни вырезывают имена возлюбленных на деревьях, другие пишут их на вершинах заводских труб. Каждый делает, как умеет.

— Вы любите стихи? — помолчав, неожиданно спросила девочка.

— Люблю! Люблю! — с наслаждением, будто это относилось не к стихам, а к Шурочке, пробормотал Лука.

— Я вам дам свой альбом, напишите мне что-нибудь на память. Мне все школьные подруги написали... А вы знаете, Ваня сам сочиняет. У меня в альбоме есть два его стихотворения.

— Мне он этого не говорил. О чем же он пишет?

— Одно о Михайле Ломоносове, второе на день рождения Оли, нашей двоюродной сестры. Ваня в нее влюблен. Правда, она на шесть лет старше его, и пока он вырастет, она выйдет замуж.

Прибежал запыхавшийся Ваня, крикнул:

— Пошли!

Взявшись за руки, мальчишки зашагали по шпалам; шпалы были похожи на ступеньки лестницы, положенной на землю.

— Ты знаешь, а уголь-то я не донес. По дороге отнял городовой, забрал вместе с мешком. Попадет мне теперь от матери, мешок-то ведь чужой. Ненавижу всех этих охранников, полицейских сторожей, не дают они людям дышать. Да вон они, не званы, не прошены. Сейчас начнут отнимать мешки у ребят.

Лука увидел трех городовых, а вдалеке Шурочку, медленно бегущую с мешком за плечами. Дети, словно стайка птиц, разлетелись во все стороны.

— Полундра! — крикнул Лука и что было силы, прыгая через рельсы и канавы, поросшие бурьяном, помчался к забору, ограждающему ассенизационный обоз. Рядом с ним бежал Ваня, а за ними — городовой; его юфтевые сапожищи тяжело топали по земле. Городовой заметно отставал, но не прекращал погони.

Лука добежал до городского двора, перекинул через забор кошелку и полез через забор. Сверху он увидел рассыпанную по земле пачку листовок и незнакомого человека, наклонившегося над ними. На какое-то мгновение сердце мальчика захолонуло.

Делать было нечего, Лука, а за ним и Ваня прыгнули вниз. Человек выпрямился, и мальчики узнали кузнеца — дядю Мишу.

— Так вот вы какими делами занимаетесь,— проворчал кузнец, держа в широкой руке листовку.

Ваня прочел на ней: «Товарищи рабочие! Долой самодержавие!»

— Что же ты мне сразу не сказал, что у тебя в кошелке листовки? — рассердился Ваня, в самое сердце пораженный скрытностью друга.

— Дядя Миша, там за забором городовой...— дрожа от волнения, проговорил Лука.

— Ну, сюда я его не пущу, а вы собирайте свой товар.

Мальчики поспешно собрали листовки.

Над забором показалась голова городового. Лицо у него было красное, потное.

— Смалился, с мальчишками воюешь, жлоб несчастный,— проворчал кузнец.

— Уголь казенный воруют... поймаю — как цыплятам, головы поотвертываю...

Городовой спрыгнул с забора на поляну, раза два выругался и ушел.

— Ну вот и оттарахтел гром. А метеликов этих дайтека мне штук пяток,— попросил кузнец.— Не ожидал я от вас такой прыти. Только, гляди, не зевать, зазеваешься — схапают. А теперь смело идите через ворота, идите, куда шли.

Кузнец ни о чем не стал расспрашивать, запустил руку в кошелку, вынул несколько листовок и спрятал их за пазуху.

Мальчишки вышли за ворота городского двора и, убедившись, что городовых поблизости нет, снова поднялись на полотно железной дороги. Лукашка и Ваня встали на рельсы и, забыв о происшествии, балансируя руками, старались как можно дальше пройти вперед, не оступившись.

— Что ж ты мне не сказал, что несешь прокламации? — угрюмо спросил Ваня.

— А ты мне говоришь, что сочиняешь стихи?

Миновали запасные пути, забитые товарными вагонами, железными пульманами и цистернами, приятно пахнущими нефтью. В одном тупике стояли зеленые зарешеченные вагоны, набитые арестантами. Несколько небритых лиц глядело из узких, пыльных окон. Лука с напряжением всматривался в эти лица, будто среди них мог ока-

заться знакомый. Сердце его сжалось. Кто знает, может, в такой страшный вагон вскоре угодит отец или Лифшиц. А сам он? Может, и его в конце концов упекут за решетку? Достаточно сейчас конвоиру заглянуть к нему в кошелку, и он пропал. Лука с опаской поглядел на кошелку, будто в ней тлел огонь.

Вскоре дошли до завода, огражденного высокой кирпичной стеной. Это был знаменитый завод. В декабре 1905 года он первый дал тревожный гудок — сигнал к выходу рабочих на улицу со всех заводов и фабрик города. По этому заводу войска стреляли из пушек, и стена его до сих пор хранит щербины, оставленные осколками и пулями. Здесь работал отец Луки. Тут он познакомился с революционерами и прочел первые марксистские книжки.

Раздался басистый гудок: обеденный перерыв. Ваня прислушался к мощным звукам гудка. Вот так, наверное, орет океанский корабль.

У проходной толпилось много детей с узелками, корзинами, кувшинами. Старый усатый вахтер беспрепятственно пропускал их через проходную, у которой сонно топтался околоточный надзиратель в белом парусиновом кителе.

Пропустив вперед Ваню, Лука смело прошел через узкую дверь, отведя в сторону вращающуюся железную крестовину, до блеска вытертую спинами рабочих. Он шел уверенно, и Ваня не сомневался, что приятель его не раз бывал здесь.

На заводском дворе собралось много мужчин в рваной, замасленной одежде — мастеровых на фронт не брали. Они толпились в тени стены, сидели на паровозных скатах и жевали черный хлеб с красными, крупно посоленными помидорами. Кто курил, кто, напялив на кончик носа очки, читал газету. Два старичка, отпивая из кувшина квас, играли в шашки; квадраты были расчерчены на земле, а шашками служили камешки и гайки. Лука с минуту постоял возле старичков, прикидывая, кто из них выиграет. Все было интересно ему здесь: и люди, и их работа.

Двор был захламлен ржавым железом, испятнан мазутом, засорен синими металлическими стружками. Над головами, как струны, тянулись медные провода. Мальчики знали, что это высоковольтная линия: схватишься рукой — моментально убьет,— они ведь учили физику. Пахло нефтью, жженым углем, железом. Желтый дым выпол-

зал из литейного цеха и стлался по земле, как туман. Во всем дворе не было ни одного дерева. Мимо ребят, обдав их отработанным паром, прошла «кукушка» — маленький паровоз без тендера, толкавший впереди себя две платформы, заставленные свежеобточенными снарядами.

— Смотри, снаряды! — крикнул Ваня.

Платформы проплыли мимо.

Мальчики заглянули в высокий, крытый стеклами, обезлюдевший цех, где на домкратах стояли паровозы без колес, а посредине, подвешенный к крану, висел на цепях большущий котел.

— Вот здесь, наверное, из разных частей собирают локомотивы,— высказал догадку Ваня.

— Эй, Иванов-младший, топай сюда!

Лука оглянулся на голос и увидел Арона Лифшица. Слесарь был без очков. Он стоял у верстака и напильником шлифовал блестящую деталь, зажатую в тиски. Как показалось Ване, это был барабан револьвера.

Мальчики подошли к Лифшицу. Он с каждым поздоровался за руку, взял кошелку и, не заглянув в нее, сунул в шкаф с инструментом.

— Спасибо за службу, ребята,— сказал слесарь, справился о здоровье механика, посоветовал: — Назад идите мимо мартеновского цеха, в конце его забор, там увидите пролом, через него выйдете на Кирилло-Мефодиевское кладбище. Ну, прощайте! — Он снова пожал мальчикам руки; им ничего не оставалось, как уйти.

— Какой он революционер! — разочарованно проговорил Ваня.— Обыкновенный человек, такой, как все.

— Если бы они были обыкновенные, то не сажали бы их в тюрьмы, не во́зили бы в вагонах с решетками,— обиделся Лука.— Видал сегодня, целый состав стоит в тупике?

— Интересно, наверно, быть революционером? — спросил Ваня.— Ты ведь тоже с ними.

— Вот что, Аксенов, поклянись мне, что никогда никому не скажешь о том, что узнал и увидел сегодня.

— Клянусь! — от души ответил Ваня. И тут же добавил: — Я не ябедник.

Мальчики дошли до мартеновского цеха, сияющего всеми окнами: здесь разливали сталь. Потрясающее было зрелище. Золотая струя огня падала в огромный ковш, поддерживаемый двумя похожими на вопросительные знаки железными крюками. Стоило капле расплавленного

металла упасть на пыльную землю, как она сразу превращалась в метелицу летающих колючих звезд.

Рабочие, одетые в специальную, несгибающуюся, будто из жести сшитую, одежду, проходили сквозь эту метелицу не обжигаясь, словно через бенгальский огонь.

— Пойдем ближе, посмотрим,— нерешительно предложил Лука.

Ему втайне хотелось, чтобы Ваня отказался: тогда бы у него было основание не подходить близко к этому аду, где, наверно, так легко сгореть. Он много рассказов слышал о том, что завод, как ненасытное чудовище, пожирает людей. Но Ваня Аксенов, как всегда, легко согласился.

Мальчики вошли в цех, жаркий, как баня. Они робко приближались к мартену, поглядывая вверх и по сторонам, боясь, как бы из-под высокого потолка на них не свалилась какая-нибудь тяжесть или не наехала пыхтевшая невдалеке «кукушка». Повсюду они встречали предупреждающие надписи: «Не стой под грузом!»

Чем ближе мальчики подходили к мартену, тем нестерпимее становилась жара. Здесь нельзя было уловить ни одного земного запаха. Как будто в мире не существовало ни травы, ни цветов — все выжег зной мартеновской печи.

— Ты знаешь, что мне представилось? Будто солнце посадили в эту печь, как в тюрьму,— проговорил Ваня.

— Все не по-людски говоришь. На поэта хочешь быть похож... А я вот думаю поступить на завод. Отец говорил, что завод — самая лучшая школа жизни.

Мальчики увидели, как рабочий, обливаясь потом, взял в руки полное ведро и стал пить не отрываясь.

Поймав их удивленный взгляд, рабочий сказал:

— Цельный день пью и никак не могу напиться. Все нутро пылает, будто костер в нем разожгли.

— Купина неопалимая: горит и не сгорает,— восторженно произнес Ваня, зачарованный золотым пламенем.

— Макар, скорей тащи воду, Кучеренко опять без памяти лежит! — истошным голосом крикнули с верхней площадки.

Рабочий, только что пивший воду, побежал к крану и, набрав в ведро воды, стал карабкаться по железной лестнице наверх.

— Так вот он какой, завод! Страшно здесь. Не дай бог ночью приснится, умереть от страха можно,— сказал Ваня и попросил: — Пойдем отсюда!

— Лекаря надо позвать! — испуганно крикнули сверху.

— Лекарь теперь уже не поможет, попа надо звать на отпевание,— ответил спокойный голос.— Этот проклятый завод жрет рабочих и не давится.

Мальчики несколько минут постояли у изложниц, над которыми струился горячий воздух. Уже пробираясь к выходу, они слышали, как один сталевар сказал другому:

— Преставился наш Кучеренко... Нет рабочему человеку никакой жизни. Кучеренко с красным знаменем надо хоронить и петь не «Господи помилуй», а «Замучен тяжелой неволей».

— Хворый был. И здоровяк не выдержит такого пекла, а у него в сердце жила была надорвана. Трое ребятенков остались без отца. Смирный был рабочий, в бога верил, по церквам ходил, в Киевскую лавру собирался. На бога надеялся, да не помог ему бог.

— Слыхал? — спросил Ваня.— Кучеренко богу молился, а помер. А я думаю: если бог есть, то ему, при всем его могуществе, стыдно глядеть, как людей изводят.

— Надо бы посмотреть на этого Кучеренко. Весь цех про него говорит,— сказал Лука.

— Ой, что ты, терпеть не могу глазеть на мертвяков. Да вот, кажется, его волокут.

На брезентовых носилках пронесли человека, лицо его было прикрыто клетчатым носовым платком.

Мальчики пролезли в пролом забора и очутились на кладбище, густо заросшем бузиной, молодыми березками и тополями, шумящими на ветру. Здесь слонялись беспаспортные босяки.

Лука тоскливо огляделся вокруг и ничего не увидел, кроме длинных шеренг крестов, оплетенных увядающей повиликой. «И под каждым,— подумал мальчик,— лежит человек, который когда-то ходил по земле, мучился, смеялся, выбивался в люди».

— «Погиб во время аварии в кузнечном цеху»,— вслух прочитал Ваня на жестяной табличке, гвоздями приколоченной к сосновому кресту. Он вычел из даты смерти дату рождения.— Молодой еще, всего двадцать четыре года.

Видно, не один Кучеренко загублен здесь. А завтра и для Кучеренко выроют на кладбище яму в три аршина.

— Пойдем поищем братскую могилу,— предложил Лука.— Отец говорил — в ней похованы жертвы револю-

ции тысяча девятьсот пятого года. Всех схоронили в одной яме. И мужиков, и баб, и детишек.

— Что на нее смотреть! — устало ответил Иван.— Домой пора.

Ребята прошли по аллее, посыпанной речным песком, и увидели изображение бога. Эти изображения попадались всюду. Худой и полуголый, в терновом венке, изранившем лоб, Христос был мастерски прибит гвоздями к кресту.

— Все людские страдания — в муках Христа,— сказал Ваня.

— Если бы Христос был добрый, он не допустил бы, чтобы умер Кучеренко, не осиротил бы его детей. Куда им теперь? По миру идти?.. Просто-напросто нет на свете никакого бога! — ответил Лука.— Не бог создал человека, а человек бога. Это отец говорит.

Так в ребятах шатнулась вера в бога. А сколько дорогого было связано у них с его именем: красота церковных служб, молитвы от сердца и горячие надежды!

XIV

Осенью, задолго до первых заморозков, Степан Скуратов, все еще боявшийся порвать со Змиевым и оставшийся работать на утилизационном заводе, привез в Чарусу партию рабочих-строителей. С большим трудом набрал он их где-то в Курской губернии. Среди новых рабочих преобладала молодежь, почти подростки, да старики. К ним присоединили десяток пленных мадьяр и несколько узбеков, которых называли «сартами».

Возле утилизационного завода появились штабеля досок, обожженный кирпич, бочки с цементом, поющие полосы железа. Из двенадцативершковых бревен плотники построили рядом с заводом казарму. Желтая, почти восковая на вид, она приятно золотилась на солнце; тесно, точно пчелы в сотах, разместились в ней рабочие. По вечерам, после работы, жители Качановки слышали шарканье рубанков, визг пил, тяжелый перестук топоров, чужие, непонятные, надсадные песни. Стройка обрадовала качановцев; в мертвую, застоявшуюся жизнь она внесла оживление, было похоже, будто в глухой, всеми забытый дом внесли часы — их мерный ход создавал видимость жизни.

— Раз богачи начали строиться, то, значит, конец войне. Это все равно как первый жаворонок весенний,— говорил лавочник Светличный, поглядывая на вырастающие каменные столбы.

В его замусоленной тетради появились фамилии новых должников, которым он ссужал продукты.

Всем делом строительства неутомимо ворочал Степан. Даже подрядчик ходил под его советом. Степан как будто стал шире в плечах, смотрел на людей свысока, надменно. Когда-то привычный, «свой» Степан стал чужим Гладилину, Контуженному. Они обижались на него за то, что он, по их понятиям, прочно отвоевал себе место в жизни, хватал у нее лакомые куски, был удачлив. Они знали: Степан ловко просеивает змиевские денежки в свой карман, умеет купить, продать, выдержать цену, из никчемного, казалось бы, дела выжать доход. И действительно, Степан был бережлив, расчетлив, осторожен, как если бы деньги, которые он пускал в оборот, были его собственные. Положение, им завоеванное, нравилось ему, и он вполне был доволен своей жизнью, в уме строил дальнейшие планы, приумножал барыши, перепадавшие ему, присматривался к жирным землям, без всякого проку дымящимся за стенами завода, и жаждал наложить на них руку, копил на покупку хрустящие четвертные билеты.

Дашка, старавшаяся не попадаться ему на глаза, забылась сама собой, последняя тучка сошла с его чистого небосклона. Степан старался держать себя независимо, во всем подражал Змиеву, был в меру боек, в меру дерзок и вражды к себе не возбуждал — умел пошутить, поболтать.

Даже у неприветливых, скупых на дружбу пленных мадьяр шутки его вызывали улыбку. И только один Лука, неотрывно следивший за Степаном, чувствовал в нем все больше и больше фальши.

В конце ноября морозы сковали землю. Каждый вечер Степан уходил на пруд, добросовестно проверял крепость льда.

Однажды он сказал Лукашке:

— В воскресенье пойдем стенка на стенку. Готовься к драке.

Лука обрадовался, нетерпеливо стал ждать праздника.

Каждый год на крепком, каблуками исцарапанном льду пруда жители Золотой стороны дрались с горожана-

ми. Редко кто из золотосторонцев не мог похвастать разбитой головой. Так они и ходили, после драки, разукрашенные шрамами и свинцовыми синяками — следами мощных ударов в бою.

Воскресный день выдался солнечный, яркий, над головами раскинулось безоблачное небо. Часов в девять за Лукашкой зашел Степан, по-праздничному оживленный, в новых хромовых сапогах, в солдатской стеганке, в барашковом мохнатом треухе, завязанном под квадратным подбородком тесемками.

— Не боишься? — спросил Степан и, не дожидаясь ответа, поторопил: — Пойдем-ка!

Когда они пришли, на пруду было полно народу, но драка еще не началась, обе партии выжидающе стояли на разных концах ледяного поля.

Высокий, обрывистый со стороны боен берег пруда был сплошь усеян толпой любопытных, горделиво поговаривающих:

— Русские — мастера драться!

— Кто чем, а русские кулаками.

— Кулак — это русское оружие,— сказал кто-то насмешливо и засмеялся.— Вот оно куда тратится наша сила: сами себя лупцуем.

Степана уважительно пропустили, и он, разогнавшись, спрыгнул на лед, саженей пять проехав на ногах по крепкому ледяному настилу пруда.

— Начнем, что ли, ребята? — подмигнув, спросил Степан.

— Подождем! Вот побольше народу подвалит,— рассудительно ответил ассенизатор Гришка Цыган, весь заросший черными вьющимися волосами, небольшой ростом, но ловкий и выносливый тридцатилетний крепыш.

С противоположной стороны отделился от стенки мальчишка, одетый в теплую материну кофту, одногодок Лукашки. Он вышел на середину пруда и, воющим голосом выкрикивая слова, начал ругать противников парашниками и бочкарями.

— Ну, Лука, дай малышке, пусть знает наших,— показывая на мальчишку, приказал Степан, испытующе заглядывая в загоревшиеся глаза Лукашки.

Лука двинулся навстречу противнику. На одно мгновение его сковала томительная робость, он остановился, раздумывая, не вернуться ли, но увидел — толпы людей на берегу и на льду следили за каждым его шагом. То-

гда он прямо пошел на противника, поравнялся с ним и ударил его наотмашь в лицо. Дико вскрикнув, мальчишка откинулся назад, поскользнулся и, падая, ударился головой о лед. Первый удар послужил сигналом: с обеих сторон двинулась молодежь, с криком бросилась к середине пруда. Сошлись стенка на стенку. Дрались горячо, ожесточенно и беспорядочно. Как только на чьей-нибудь стороне случалась неустойка, тотчас приходило подкрепление — парнишки годами постарше. К часу дня дрались все возрасты, от мальчишек до седобородых матерых стариков.

На середине пруда лед, истерзанный сапогами дерущихся, почернел, все чаще кропили его кровавые пятна плевков. Солнце начало опускаться за белую оцинкованную крышу скотобоен, обливая ее золотым светом. А драка все продолжалась, и ни на чьей стороне не было перевеса. Совсем близко от себя Лука увидел знаменитых на весь город кулачных бойцов по прозвищу «Полтора Ивана» и «Лошадиный папа». Дрались они лихо, но бестолково. Полтора Ивана — непомерно высокий верзила — шел слева направо, точно косарь, взмахивая длинной рукой; все избегали встречи с ним один на один, и он шел, охрипшим голосом выкрикивая все те же слова:

— Кому в гроб охота лечь, подходи, эй, эй, навались!

Лицо его, исполосованное старыми шрамами, открытый рот с выбитыми зубами и непомерно большие волосатые руки с пудовыми кулаками внушали страх, смешанный с отвращением.

Лука с восторгом наблюдал победоносное шествие силача, он видел, как трусливо выпадал из стенки тот, против кого появлялся Полтора Ивана. Наконец верзила дошел до Яши Апосова. Лука обмер: неужели и Яша уклонится от схватки?

Увидев перед собой бойца, уставившегося на него, Полтора Ивана в удивлении остановился.

— Смерти захотел? — спросил он Якова.

Но тот, не отвечая, повернулся к нему широкой спиной, охватил руками его шею, ухнул и перебросил через свою голову с такой невероятной силой, что Полтора Ивана, крякнув, недвижно распластался на льду.

Не сразу смог подняться Полтора Ивана, с трудом уперся он локтями о лед, лицо его посинело, на побледневших губах появилась розоватая пена.

— Ловок ты, каналья, хитростью взял...

— Хитрость ловчее силы,— согласился Яша.

И тут зазевавшегося Луку огрели кулаком в висок. Перед ним закачалось потемневшее небо, одинокая звезда на нем, кровавая полоса заката, серые, непомерно большие султаны на тоненьких камышах, обрамляющих пруд. Язык мальчика стал сухим, голова наполнилась шумом. Теряя сознание, он услышал, как с высокого берега закричали:

— Селедки, фараоны едут!..

Стражники не решались въехать на лед верхом, спешились. Выхватив тонкие, розоватые в закате шашки, они бросились на середину озера. Смешавшись, дерущиеся беспорядочно отступили на противоположный берег. Впереди всех бежал разгоряченный скопец. Он с треском сорвал доску забора, в два рывка — от себя и к себе — вырвал из земли полуторасаженную жердь, высоко поднял ее над взлохмаченной головой и уверенно пошел на стражников.

— Ах, подлюги, поиграть не дадут народу!..

Увидев идущего на них тяжелого мужика с огромной дубиной, стражники остановились, опустив шашки, с минуту постояли в нерешительности, повернулись и, как бы сговорившись, бросились бежать к лошадям. Но лошадьми уже завладела толпа. Раздались крики, смех, буйный свист, народ двинулся на лед. Стражников помяли, посрывали с них погоны, порвали шнуры, поломали шашки.

Завидев стражников, Степан благоразумно ушел, отыскав на заводе механика, избегая его взгляда, равнодушно сказал:

— Луку твоего на кулачках убили, лежит на льду. Ты бы сходил за ним.

Не ответив ни слова, без фуражки, не накинув даже куртки, Иванов кинулся к пруду. До него вдруг дошел страшный смысл того, что сказал Степан.

Но самообладание быстро вернулось к нему. Он заставил себя не думать о том, что его ждет. Лука лежал посреди пруда. Под него подстелили сухой камыш, маленькое тело накрыли оторванной полой овчинного кожуха. Избитый мальчик был жив. Рубаха на нем вся изодрана, глаз затек, в лице, освещенном взошедшей луной, ни кровинки.

— Жив, сынок? — ласково спросил механик.

Из глаз мальчика покатились крупные слезы.

XV

Как-то на утилизационный завод к Степану Скуратову приехал знакомый приказчик купца Сенина, торговавшего в Чарусе мукой. Приказчик сделал заманчивое предложение — продать ему пятьдесят мешков пшеницы. Невзвешенная пшеница лежала навалом на хуторе у Федорца, в каморе и клуне, и никто в семье не знал, сколько там набралось пудов. Степан сторговался, получил задаток и велел в субботу выслать ломовиков на хутор Федорцов.

Вечером за ужином он сказал тестю, как о деле уже решенном, что выгодно продал пшеницу.

— Кто тебя просил, окаянного, торговать чужим добром? — с глухим раздражением спросил Назар Гаврилович и в сердцах швырнул деревянную ложку на стол. Мохнатые, похожие на гусениц, брови старика зашевелились, будто живые.

— Как это понимать — чужим добром? Разве пшеница вам одному принадлежит? А я здесь кто такой? — вызывающе спросил Степан, во весь рост поднимаясь за столом.

Старик уже давно раздражал его своей несговорчивостью, придирчивостью, неудержимым властолюбием. Ссора пришлась кстати — давно пора раз и навсегда поставить старика на место. Как-то случайно Степан услышал — Назар Гаврилович говорил о нем сыну Ильку:

— Лихого человека пустили мы в дом. Пока не поздно, надо гнать в три шеи.

— Выгнать никогда не поздно,— ответил Илько.

Этот разговор запомнился мстительному Степану, и он еще тогда подумал: «Ладно, поживем — увидим, кто кого выставит за дверь».

— Вот что, хлопец,— продолжал старик.— Я уже давно примечаю — корчишь ты из себя тут хозяина. Так вот, хочу вдолбить в твою дурацкую башку: хозяин на хуторе один — я! Понял?

— А я кто же здесь, по-вашему? — в упор спросил Скуратов, с силой втягивая в ноздри воздух.

— Кто ты? — Старик помедлил, подыскивая слова пообидней и побольней.— Приймак! Живешь у меня в приймах.

— Приймак — батрак. Так, выходит?

— Выходит, так,— согласился старик, вытирая рушником малиновые губы.

— Глупости вы говорите, папаша. Я ваш зять, держу за собой вашу дочку. Обвенчались мы на глазах у всего села. Взял ее без приданого, а она имеет право на одну треть всей вашей земли и капиталов. Я все законы Российской империи знаю назубок.

— Нет такого закона, чтобы бабы наследовали вопреки моему желанию.

— В любой день мы с нею можем выделиться из вашего двора. И Илько, если захочет, выделится, и Микола.

— Так вот ты куда гнешь! Богатством моим хочешь завладать. Одним глотком хочешь сцапать все, что я десятками годов копил по копейке. Так знай — не бывать этому, пока я жив. А проживу я лет девяносто. Дед у меня сто лет топтал землю, а я весь в деда, как Мафусаил. Одарка! — прикрикнул старик на красную от волнения дочку.— Достань мне из погреба холодного квасу.

Одарка внесла кувшин с хлебным квасом и два стакана — один отцу, другой мужу,— поставила на стол, бросила испуганный взгляд на Степана, поклонилась и вышла. Старик схватил кувшин и, проливая квас на бороду, стал пить.

Степан сдержался, глаза его потемнели. Спорить дальше с норовистым стариком сейчас было бесполезно.

Он, конечно, и не догадывался, что его, здорового и сильного, вооруженного пятизарядным ружьем, старик держит при себе как охранника и в любое время не постесняется выгнать. Многие мужики на хуторе давно уже грозились переломить хребет старому Федорцу. Весной кто-то поджег клуню, но пожар вовремя заметили и загасили. Потом загубили цепную собаку — сунули в кусок хлеба иголку.

В субботу за пшеницей приехали три пароконные подводы от купца Сенина. Встречать их вышел Назар Гаврилович и, лишнего слова не говоря, велел тут же ни с чем отправляться назад. Приказчик принялся ругаться. Пришлось Степану при старике вернуть задаток — две радужные катеринки, сложенные в восемь раз и согревшиеся на его животе, в жилетном кармашке.

Когда ломовики, чертыхаясь, уехали, старик Федорец накинулся на Степана:

— Дурак, кто же хлеб сбывает осенью! Его весной продавать надо, в марте или апреле, когда цена на него прыгает под потолок. А по всему видно — весной в России почнется голод. Так что пшеничку треба не только

попридерживать, но и скупить у соседей, прибрать к своим рукам. Не тряси яблоко, покуда зелено: поспеет — само свалится. Я вот толковал с Иваном Даниловичем Аксеновым, говорит, что к ним на обоз просятся в парашники мужики с Александровского уезда. Каждый день приходят. Значит, дела там поганые. Ты бы съездил в Александровск. Это недалеко — верст сто, не больше, будет. Разузнай, як там живет народ. Я думаю скупить у них все зерно, а весной продам тем же мужикам, у которых купил, они мне за него всю землю потом отдадут. Хлеб — главная пища человека, и торговать хлебом надо с разумом.

И хотя Степан внутренне соглашался со всем, что старик говорил, его всего передергивало от злобы к нему. Он не привык, чтобы ему перечили.

Старик минут пять молчал.

— Гроши из банка тоже заберу все до копейки и куплю на них землю. Падают в цене николаевские карбованцы, скоро станут самым ненадежным товаром.

В ту же ночь произошло событие, перевернувшее вверх дном привычную жизнь старого Федорца. Он вышел до ветру, прислонился к свежепобеленному сараю, приятно пахнущему мелом. Запах этот вдруг отчетливо напомнил далекое детство, и старик, как любил это делать в детстве, не удержался и лизнул языком прохладную, вкусную стену. В это время в него выстрелили из винтовки. Пуля джикнула у самого уха и исчезла в глиняной стене, не оставив даже следа. Старик бесстрашно обернулся в сторону, откуда стреляли, увидел у плетня черный силуэт человека, тут же растаявший в темноте. Залаял и пронесся вперед волкодав, страшно проскрежетав цепью о проволоку.

«Уж не Степан ли решил свести со мной счеты?» — подумал старик, поспешно возвращаясь в хату. Но зять уже спал с Одаркой и даже не слышал выстрела, заглушенного ветром.

— Стреляли? — испуганно спросил с полатей Илько.

— Да!

— Надо было спустить кобеля, он бы его догнал.

— Ты как думаешь, хто бы это мог созорничать? — спросил старик.

— Любой сосед мог, всем в селе вы насолили, батя, по первое число. Грицько Бондаренко мог стрелять, он на войне был, а вы на него пса натравили. Кум Пилип

тоже мог, вы у него последнего вола за долги забрали. Наш Степан тоже мог, обидели вы его ни за что сегодня. Нахваляются сельчане подпустить нам красного петуха! Злы, ой как злы на нашу фамилию мужики!

— Замолчи, дурень! — прикрикнул старик и передразнил сына: — «Красного петуха подпустить собираются!» Ну, и нехай. У меня все хозяйство застраховано.

— Вы же сами меня на разговор вызвали, а теперь орете «замолчи», «замолчи»! Живете, как бирюк, без совета, без друзей и товарищей!

Старик подошел к полатям и, как маленького, шлепнул сына по лицу ладонью.

— Говорят тебе, замри!

Назару Гавриловичу стало не по себе: собаку ударишь — и та огрызнется, а вот взрослый сын стерпел обиду, промолчал.

— За что вы его, тато? — приподнимаясь на постели, шепотом спросила невестка.

— Микола где?

— С утра уехал в Чарусу. Там у него зазноба завелась, гимназистка с кудерьками, я видела. Совсем отбился хлопец от нашего крестьянского дела. Скоро забудет, как грабли называются,— ответила невестка, а про себя подумала — уж не подозревает ли свекор, что стрелял в него младший сын?

Назар Гаврилович разделся, залез на горячую печь, на рассыпанное просо, застеленное рядном, но долго не мог уснуть, все прислушивался к дурному лаю собаки. Из головы не шел проклятый выстрел. Так легко на этом свете разлучиться с жизнью! Стрелявший скрылся, но у Федорца не было никакой уверенности, что выстрел не повторится. Илько выложил ему горькую правду — все мужики окрест ненавидели его. Он знал: многие были на фронте, а те, что жили на селе, особенно разорившиеся, такие, как Грицько Бондаренко, работали на Паровозном заводе. Старик боялся этих людей: уж они наверняка якшались там с бунтовщиками. Кончится война, уцелевшие вернутся с фронта, не заварилась бы на селе каша. Ограбленные придут и спросят свое: каждую вещь, каждый рубль, отобранный им. Кто его знает, как повернется дело. Не придется ли отдать? В мире ничего нет прочного, постоянного.

Не любили Назара Гавриловича и в собственной семье, ни Илько, ни Одарка. И Степан не любил, сегодняшняя-то

свара сама за себя говорит. Семья разваливалась у него на глазах, как пересохшая бочка. А он был обручем, стягивающим эту бочку. Жаловаться их благородию становому приставу? Бесполезно и накладно. Ему только скажи, и повадится в гости, выудит несколько красненьких, разопьет дюжину самогона, а преступника, само собой, не поймает... Назар Гаврилович уже взял все, что можно было взять в селе. Не лучше ли продать движимое и недвижимое имущество и переехать жить в другое место, ну, хотя бы в Александровский уезд? Эта мысль, возникавшая и раньше, сейчас обрадовала Федорца как открытие. Ему стало легче на душе.

Старик разуверился в царской силе и хранил за божницей программу эсеровского «Союза трудового крестьянства». Он долго думал об этой программе, о своей земле, о деньгах, о хозяйстве, которое после его смерти растащат родичи. Ему была противна мысль, что когда-нибудь придется делить капитал, нажитый с таким невероятным трудом. Если его не любили в семье, то и он тоже не любил смирного Илька, с презрением относился к дочери, до глупости обрадованной замужеством, и только бесшабашный, никого и ничего не боящийся Микола согревал сердце старика. Но Микола, считай, отрезанный ломоть, полюбил городскую жизнь и все время проводит в Чарусе. Его не интересуют ни земля, ни кони, ни почет.

К рассвету все тревожные мысли развеялись, как полова. Федорец твердо решил продать хутор и переселиться в другое место, подальше от греха. Хутор мог бы купить Жорка, сын богача Змиева.

Поглядывая через крохотное окошечко за печью на залитый звездным огнем двор, Федорец долго перебирал в уме односельчан. Кто из них мог бы решиться на убийство человека? Грицько? Но этот в конце концов совсем разорился, ушел в Чарусу, работает на Паровозном заводе. Кум Пилип? А откуда у него ружье? Сергиенко — церковный староста, вряд ли возьмет на душу такой грех.

Утром Назар Гаврилович пошел к плетню, из-за которого в него стрелял злоумышленник. Нашел на заиндевевшей земле медную, с легкой прозеленью винтовочную гильзу, положил в карман нагольного полушубка, решил сделать из нее мундштук.

Почтительно, без малейшего намека на вчерашнюю ссору, к нему подошел Степан, собравшийся ехать на утилизационный завод.

— Что же вы меня вчера не разбудили? Я бы догнал бандита...— А помолчав немного, добавил: — Думаю, папаша, что вам после вчерашнего происшествия оставаться здесь опасно. Надо убраться куда-нибудь. Не ровен час и впрямь убить могут.

— Я и сам так решил... Продадим хутор и переедем жить в Александровский уезд. Ты не знаешь, где сейчас Георгий Кириллович Змиев? Я слышал стороной, что он скупает земли, может, позарится и на наши поля.

— Что же мы будем делать в Александровском уезде? — насмешливо спросил Степан.

— Приобретем небольшое имение и будем заниматься сельским хозяйством. Неплохо бы разводить тонкорунных овец. У нас на юге они привьются. Доход приносят большой. Мне Иван Данилович рассказывал — у Фальцфейна тысячные отары таких овец по степи бродят почти без присмотра... Поезжай в Александровский уезд, поначалу выведай там, как живут крестьяне, а потом отправляйся к Жорке и поговори с ним — может, он купит у меня землю. Все-таки наши поля впритул к их заводу лежат.

— Хорошо, уважу вашу просьбу,— после некоторого раздумья согласился Степан.

— Это, дорогой, не просьба, а приказ. И покуда ты ешь мой хлеб и живешь с моей дочкой — выполнять его надо безукоснительно. Вон у арапов отец волен в жизни своих детей, а мы, потомки Тараса Бульбы, чем хуже арапов?

XVI

Зима выдалась бесснежная, не похожая на русскую зиму, до середины января ни разу не выпадал снег, все было голо, пустынно. Оборванные, неприветливые деревья жались поближе к теплым домам, протягивали на дорогу черные ветви, будто просили милостыню.

Богомольные строители с утилизационного завода решили под крещение выстроить на пруду церковь изо льда, удивить горожан своим искусством. К работе приступили с охотой, и довольно быстро из податливого льда высекли резной иконостас, ступенчатый амвон, правый и левый клиросы. Строение обвели узорчатой ледяной оградой. Бурачным квасом выкрасили амвон в тяжелый малиновый цвет. Чтобы собрать больше народа, церковь соорудили на середине пруда, там, где недавно происходил кулачный бой.

За неделю до крещения слух о ледяном храме обошел город и близлежащие села. Горожане качали головами, удивляясь бестолковой затее.

За несколько дней до крещения Лука встал с постели и впервые после кулачного боя неуверенно, как малое дитя, попробовал ходить, вначале опираясь на руку отца или Дашки, потом на палку и, наконец, самостоятельно, ни на что не опираясь. Все это время Дашка ухаживала за больным, рассказывала ему о предстоящем богослужении на пруду и сумела пробудить в нем интерес к необыкновенной затее строителей.

— Ты меня с собой прихвати, охота посмотреть, какая она такая, церковь изо льда,— попросил Лука Дашку в канун крещения.

Дарья обещала утром зайти за ним. Весь вечер мальчишка провозился с тремя воркующими голубями, которых во время его болезни подарил ему Кузинча. Лука не знал за собой мальчишеской страсти к голубям, но решил, по народному обычаю, выпустить их в момент погружения креста в воду. Он не надеялся, что, выпорхнув в небо, они вернутся к нему. В разговоре Дашка не раз поминала: все мальчишки города готовят голубей к празднику, крадут у сестер красные и синие ленты, вяжут на голубиные шеи банты. Праздник обещал быть богатым и многолюдным. Лука спал дурно и заснул только перед утром.

Дашка проспала и зашла за ним, когда все рабочие утилизационного завода уже ушли. Механик, выслушав возбужденные речи сына, согласился пойти с ними. Большие сборища народа всегда привлекали его.

Лука наспех оделся. Прошли Качановку. Всюду навстречу им попадались дворники, кучера, полицейские в ярко начищенных сапогах и новой справе. Полиция поддерживала порядок. По дороге к пруду на сытых лошадях сутулились недавно помятые здесь стражники.

Чем дальше продвигались Лука, механик и Дашка, тем больше встречалось им народу, люди шли впереди них, догоняли сзади; женщины, мужчины, дети стекались со всех сторон, и все на одну дорогу. В толпе поговаривали, что мысль о богослужении на льду исходила от губернатора, который захотел потешить народ, отвлечь его от тяжелых вестей с войны.

Против обыкновения, на крещение вдруг началась оттепель. В неуютном, грязного цвета небе появились сияю-

щие голубые проталины, воздух стал влажным, ароматным, земля под ногами расползалась.

Механик заметил:

— Погода губернатору не соответствует. Ой, вижу я, не доведет до добра эта дурацкая комедия!

Вместе с сыном он выбрался на затоптанный влажный лед. Народу там полно. Сзади напирали, и передние непроизвольно стремились вперед. Спереди, с боков толпились люди с молочниками, кувшинами, бутылками для свяченой воды, на них давили задние, но передние что-то кричали и не пускали вперед.

Дашка сдвинула тонкие брови, сказала:

— Напрасно мы забрались сюда... Пока не поздно, надо вернуться.

Иванов, соглашаясь с ней, молча кивнул головой.

Лука видел: люди все яростней стали напирать на передних, уже пошли в ход кулаки и колени. Он тоже стал толкаться, его то сдавливали, то поворачивали во все стороны, как щепку в потоке, и медленно понесли к ледяному храму, который серебряно светился в лучах солнца.

За ледяной оградой, дальше которой не удалось проникнуть ни Луке, ни Дашке, ни механику, своим равномерным, заведенным, как часы, ходом шла церковная служба. Там стояли именитые горожане в расстегнутых меховых шубах. Полиция, как у театра, не пускала никого за ограду. В просвет ледяной стены Лука видел старичка священника с серебряной бородой. Священник стоял у аналоя и что-то читал, голубоватый дымок ладана струился из-под его рукава, и казалось, что священник курит.

Теплые лучи солнца отвесно падали сверху, свежий ветерок играл волосами на открытых головах, шевелил металлические хоругви; стройные, дружные голоса певчих, звучавшие под открытым, почти весенним небом, волновали сердца. Люди, шепча слова молитв, крестились.

Ледяной храм поражал своей красотой. Особенно хороши были иконостас, тонкая резьба икон, распятие, массивные с голубоватым отливом подсвечники — все, казалось, выковано из чистого серебра. Прямо перед аналоем была вырублена во льду большая прямоугольная прорубь, из нее несколько раз, словно предостерегая, выплеснулась черная вода.

Механик заметил это и нарочито громко, чтобы его услышали, проговорил:

— Как бы тут вторая Ходынка не получилась!

Жандармский ротмистр Лапшин в новенькой, сверкавшей орлеными пуговицами шинели, с угрозой посмотрел на него, отвернулся.

— Ты что? — спросила Дашка.

— Уходить, говорю, надо, пока целы,— еще громче сказал механик и взял сына за руку.

— Товарищи! — закричал он. Многие, в том числе второй священник с длинными волосами, похожий на женщину, повернули к нему головы.— Уходите, не выдержит лед, потонете, а начальству только того и надо, все меньше едоков останется!

Мощно и согласно запели певчие и заглушили голос механика. Осторожно друг за другом Лука, механик и Дашка стали выбираться прочь, но не к середине пруда, где плотно сбились толпы народа, а на противоположный невысокий берег, на котором людей было меньше. Человек двадцать пошли за ними. Не успели отойти саженей пятьдесят, как захлопали ружейные выстрелы и в воздух, ярко блестя на солнце белоснежным оперением, взвилась туча голубей.

— Крест погрузили в воду,— с сожалением в голосе сказала Дашка, повернулась и сделала шаг назад, собираясь вернуться.

Лука выпул из-за пазухи и тоже пустил в небо своих голубей.

И вдруг случилось нечто неожиданное и страшное. Внезапно упала тишина, среди которой явственно слышался плеск голубиных крыльев; затем раздался глухой треск, крики, и во всю длину озера пробежала глубокая трещина, будто полоснули ножом переспелый арбуз.

Механик оглянулся. Из мойны мощным наплывом выбрасывалась вода, лед вокруг нее обломался, ледяные строения рушились, в воздухе мелькали хоругви, шарфы, конские головы.

— Бежим! — испуганно крикнул Лукашка.

Выплеснувшаяся из проруби вода нагнала их, захлестнула ноги.

— Сюда! Сюда! — кричал механик, видя, что люди пытаются бежать в сторону высокого берега, возле которого уже ломался лед и тонули богомольцы.

На середине озера люди все глубже погружались в воду, некоторых она уже заливала с головой; кое-кто, привлеченный криками механика, плыл в его сторону, изред-

ка погружаясь в воду, стараясь ногами достать опустившийся лед.

— Господи, за что, за какие такие грехи? Что это?

Гришка Цыган злобно ответил:

— Крещение Руси!

По берегу металась растрепанная женщина и с криком: «Моя девочка, моя девочка!» — несколько раз влезала в воду по колени и все возвращалась назад.

Оставшиеся в живых расстроенными, испуганными толпами возвращались домой. Попархивал первый снежок.

Остаток дня и всю ночь на озере работали пожарные команды и при свете фонарей возили на ломовиках на кладбище прикрытые рогожами трупы задавленных и утонувших.

XVII

Из жителей утилизационного завода на озере погибла Гладилиха. Узнав об этом, Ванда изрекла:

— Энд! — И тут же перевела английское слово по-русски: — Конец... Одним словом, отгарцевала баба.

Смерть Гладилихи глубоко потрясла Лукашку, навсегда врезалась в память. Он видел тонущих людей и мог представить себе, как умирала женщина, глотая холодную воду. Закрыв глаза, Лукашка видел перед собой искусанные рты, красные, изрезанные льдом руки, широко раскрытые, обезумевшие глаза. Представляя себя на месте погибших, он весь содрогался и десятки раз спрашивал себя: «За что? За что погибла эта женщина? Почему повсюду гибнут люди? Почему умер рабочий Кучеренко?»

Лукашка искал на эти вопросы ответ и не находил.

Впервые он близко столкнулся со смертью, уразумел, что она противна человеческой воле жить и редко приходит сама по себе: ее или насылают другие, или люди сами ускоряют ее приближение, как это делают пьянчуги. Впервые он представил себе далекий фронт. Сотни тысяч людей выполняют чужую волю, которая сильнее страха смерти. Эти люди день и ночь сидят под обстрелом, насупротив смерти, в окопах, залитых водой, и никуда не могут уйти, зная, что их за это приговорит к расстрелу военно-полевой суд.

Такие самостоятельные мысли еще больше сближали мальчика с отцом, ему становилось понятнее, к чему отец

стремится и чему отдает все силы. Отец как-то сказал ему, что революционеры-большевики против войны.

Лука лег. Мысли — одна другой сложнее — сменялись в мозгу. Подушка согревалась, и он понапрасну несколько раз переворачивал ее, ложился на спину, на живот, на бок, силясь уснуть.

В конце концов, отчаявшись, он оделся и вышел во двор. О землю бились лебединые стаи первого снега. Изумительная тишина стояла над миром, был слышен шелковый шорох падающих снежинок. Тишина эта властно захватила Луку, он вернулся в дом, снял со стены подаренное ему отцом дешевенькое ружье, достал порох, дробь, принялся заряжать медные гильзы.

Неожиданно месяц развернул на полу чистый рушник своего бледно-зеленого света. Дверь в коридор осталась открытой, и в дальнем углу его Лука увидел Гладилина. Живодер лежал на полу пьяный, широко раскинув большие руки. Мальчик поднялся, отбросил стул и наклонился над лицом Гладилина. Оно было белое, с синевой, в лиловых прожилках. Лука видел на своем веку сотни пьяных лиц, но ни одно из них не поразило его так, как это. У Гладилина утонула жена, а он мертвецки пьян и ничего не сознает, потерял человеческий облик, опустился ниже животного.

Сидя над грудой заряженных патронов, Лука думал о себе и о заводском народе. Самыми близкими после отца людьми были для него Ванька Аксенов и Кузинча. Кузинча одевался и жил хуже всех своих товарищей. Неизвестно, чем он питался, где спал, но он никогда не жаловался и жадно, по-детски, любил жизнь такой, как она давалась ему. Жил Кузинча возле костяного склада, в хибарке какой-то дряхлой старухи; она лет четырнадцать назад подобрала его, завернутого в тряпки, у порога лавки Светличного. Кузинча ни с кем не спорил, не ссорился, не лез в драку, говорил мало, но все, что слышал, запоминал надолго. Он не окончил ни одного класса, но умел читать и писать и однажды, к величайшему удивлению мальчиков, решил трудную задачу. Дашка и Ванда рождали в душе Луки хорошее, теплое чувство, такое же чувство вызывал в нем Яша Скопец — добрый, застенчивый малый, который все чаще приходил к механику, брал книжки, просил показать дроби. Однажды Яша купил на базаре карту двух полушарий, повесил ее у себя на стене и попросил Луку загадать ему какой-нибудь город, а потом

долго искал его, а найдя, фантазировал, в какой он стране, какие в нем живут люди, чем они занимаются.

Алешка Контуженный, ябедник Илько Федорец, Гладилин вызывали неприязнь, с ними Лука старался встречаться реже, был скуп на слова. Оставался Степан. Дружба с ним разваливалась сама собой, но Лука не хотел разлада. Он часто думал о Степане Скуратове. Так и теперь. Вспомнив о Степане, Лука захотел его увидеть. Пройтись к нему ночью, по первому снегу — сплошное удовольствие. Лука оделся, натянул свитку, нацепил на себя тяжелый крест патронташа и бесстрашно пошел через поля на Федорцы, к Степану.

Когда показался хутор, уже занималось розовое утро. По улице, позванивая ведрами, заспанные, с непростывшим зоревым теплом в теле, шли к колодцу бабы. Поравнявшись с мальчиком, они, по украинскому обычаю, здоровались, хоть и не были знакомы с ним.

Кто-то еще до рассвета провел по улице первую санную борозду, ветер засевал ее резными дубовыми листьями. Полная молодица, наливая коням в корыто молочного цвета воду, подняла голову, утыканную золотыми шпильками соломы, всплеснула руками:

— Лукашка, сатана! Вот уж никак не ждала в такую рань.

Колыхая бедрами, пошла навстречу. Сверкнули ее яркие зубы. По их широкому, радостному оскалу Лукашка узнал Одарку. Жмурясь от слепящей белизны снега, он, будто взрослый, подал ей руку.

— Дома дядя Степан? — спросил Лукашка и почувствовал неловкость за свой неожиданный, ранний приход.

— Дома! Ночью вспоминал тебя. «Лукашку бы, говорит, на этот снежок — нашпиговали бы мы с ним зайцев».

— Правду вы говорите? Вспоминал? — обрадованно спросил мальчик.

Одарка заметно изменилась к лучшему, пополнела, румянец пошел у нее во все щеки, в ушах появились крупные турецкие серьги, золотые с насечкой. Сняв с шеи коромысло, украшенное искусной резьбой, подала его Луке, приказала:

— На, поднеси, а то коней вести несручно.

Лука посмотрел на лошадей — все они были с утилизационного завода.

«А она поит их из общественного, единственного на весь хутор колодца»,— с испугом подумал Лука.

Над качающимися тоненькими ветвями верб черными листьями кружились галки. Степан в одной рубахе разгребал деревянной лопатой сугробы у новых ворот. Луку встретил радостно, с ним он чувствовал себя моложе.

— Выжил? Ну, это хорошо, из крепкого, значит, материала сделан — выстоишь,— сказал он поучительно и позвал в хату.

Хата тоже изменилась. Меньше стало икон на стенах, но зато появилось много фотографий в резных деревянных рамках, украшенных сосновыми шишками и ракушками. На видном месте висел снимок ледяного храма, у которого стояли в рабочем платье строители его во главе со Степаном, на голову возвышавшимся над всеми. Лука подошел к снимку.

— Брось глазеть на покойников,— посоветовал Степан,— присматривайся лучше к живым, к их работе. Один я остался в живых из этой вот братии, а то все пошли под лед. Дураки, загубили дело. Где теперь новых возьмешь? Придется бросать стройку, дождаться конца войны.

Одарка, приветливо улыбаясь, внесла холодную, с кусками льда, воду, предложила Луке умыться. Сняв рубаху и обдавая себя водой, мальчик ощущал, как твердеет крепкое, сохранившее летний загар тело. Любуясь мальчиком, Степан покачал головой, сказал:

— Что ж, Лука, пора бросать тебе собак гонять. Пришел час за настоящую работу браться. Вот и Гладилиху слизало с земли — а какую она память оставила по себе? Никакой... Только дело оставляет о человеке память.

— Да я и так занимаюсь, алгебру учу, геометрию, историю, все с отцом. Может быть, авиатором когда-нибудь стану.

Степан недобро улыбнулся, затарабанил пальцами по портсигару.

— Отец тебя научит, определит в сибирский университет!

Лука покраснел, кулаки его сжались. Одарка, слышавшая разговор, сказала:

— Хватит тебе, Степан, от работы кони дохнут, а ты все про работу. Садитесь снедать, я вам огурцов квашеных накрошу.

— Дело я хочу одно обделать — в Александровском уезде купить мельницу паровую. Поступай ко мне на мельницу, привыкай к делу,— предложил Степан.

— К делу меня отец приставит. Он человек дельный.

— Ой-ей как! Ишь ты, шельмец, каков! — Степан сел к столу, под ним затрещала скамья.

Одарка вытащила из печи посаженные на капустные листья хлеба, разрезала один из них, от теплых ломтей поднимался хмельной парок; в глиняные расписные миски налила сметаны, меду.

— Кушайте на здоровье!

После завтрака Одарка стукнула крышкой деревянной скрыни, достала вязаные чулки, подала их Лукашке:

— Переобуйся, а то застудишь ходули, станешь каликой перехожим.

— А ты не очень его привечай, а то подрастет, кабы не отбил,— засмеялся Степан.

Лука переобулся. Ногам стало тепло и сухо.

Степан улыбнулся, вскинул ружье на плечо, вышел из хаты, бросил любовный взгляд на новые, по-весеннему зеленые ставни.

Широкий, припавший к земле ствол реки разбросал густые ветви притоков; летом они полны серебряной рыбой. Круто спускаясь, двор Федорцов сбегает к самой реке.

Охотники переступили через ивовый перелаз, сбежали к реке, быстрым шагом обогнули аспидно-черную воду. По ветхому мосту перешли на другую сторону реки — там посоленная снегом песчаная коса и сосновый бор.

Степан причмокнул языком.

— Что такое? — спросил Лукашка.

— Спички забыл, целый день придется ходить не куривши.

— Давайте я смотаюсь.

— Куда смотаешься? Пойдем быстрей, пока не рассвело. Заяц дурак, а бить его следует на зорьке, когда женихается. Одним выстрелом можно положить двойку.

В стороне, будто подсолнух, расцвело желтое солнце. Лука волновался. Степана знали в Чарусе как одного из лучших охотников. Промахнуться при нем — осрамиться на всю жизнь. Лука спешил, ему не столько хотелось подстрелить зайца, сколько утолить беспокойную охотничью страсть, показать Степану свое умение.

Над бором носились галки. Степан снял ружье, долго следил за черной, куда-то улетающей тучей галок, сказал:

— Буря будет, к снегу раскричались.

Жалостливость была чужда Луке, но он жалел и любил животных. В каждом звере видел мальчишка красоту, был убежден, что все звери имеют право на травы, на воз-

дух, на волю — словом, на жизнь. К природе Лука чувствовал неодолимое влечение.

Прошли через лес, перед глазами возникло снежное, похожее на озеро поле. Сходство это придавали ему засыпанные снегом волнистые холмы, покрытые гибкой красной лозой.

Степан попросил Луку:

— Давай разойдемся саженей на двадцать, чтобы не стрелять одного зайца вдвоем.

Степан пошел вниз, марая сапогами белый снег, прошитый затейливыми следами заячьих лап.

На третьем, самом низком холме Лука увидел зайца, он лежал в красных прутьях куста, пронизанных солнечными лучами. Лука прицелился. Только нажать курок — и в ягдташ ляжет серый, теплый комок. Сердце мальчика замерло, и вдруг ему до боли стало стыдно стрелять.

В тоскливые часы он избегал людей, с мукой смотрел в очи коней, заплетал им в гриву синие васильки, железной скребницей счищал навоз. Кузинча даже смеялся над его любовью к животным.

Мальчик не стал стрелять, вложил пальцы в рот, пронзительно свистнул. Заяц сорвался, подскочил кверху, подался в Степанову сторону. Раздался сухой, короткий выстрел. Тело зайца дернулось, как вырванная удилищем большая рыба. Лука нагнал Степана, подобравшего убитого зверя.

— Поищи патрон, мой браунинг далеко выбрасывает,— потребовал Степан.

Лука покорно разыскал гильзу, набитую снегом.

— Проворонил зайца, растяпа, из-под самого носа у тебя утек! А еще моим учеником считаешься. Да и ружье твое хорошо бьет: с полки упало — семь горшков разбило.

Заливаясь румянцем, Лука соврал:

— Не видал я его.

— Бывает. Сколько раз и со мной случалось так — лежит под ногами, а ищешь черт знает где.

Луке стало жарко, он то и дело украдкой от Степана хватал пригоршни чистого снега и глотал, охлаждая горло, стянутое спазмами. Нет, от самой охоты он не получал никакого наслаждения. Дело было не в охоте, а в ожидании ее, в сборах.

Спустились с холма. Лука посмотрел на новенький ягдташ Степана. Из заячьей головы капала кровь, и казалось, что это спелые вишни краснеют на белом снегу.

Короткий зимний день умирал, в небе медленно таяла слепящая лазурь, края его затягивались серебрящейся темнотой. Где-то за лесом, в деревенской церквушке, зазвонили к вечерне. Чистые звуки приятно дрожали в холодном воздухе.

— Ну что ж, пойдешь ко мне на службу? Ты мне так и не ответил. Я, брат, скоро помещиком стану. Мне верный человек нужен, а кругом одни убогие да скуподушные.

В словах Степана было что-то фальшивое. В лучах умирающего солнца его глаза неестественно, красновато поблескивали. Лука вспомнил избитую Дашку, и чувство возмущения поднялось в его сердце. Он понял, что его новое, враждебное чувство к Степану уже никогда не изменится.

— Нет, не соглашусь ни за какие деньги,— сказал он и, широко шагая, пошел в сторону.

— Ну и дурак! — донеслось до него.

XVIII

Лука долго бродил в глухой тишине леса. Не хотелось возвращаться домой.

«Тюрьма какая-то, а не завод»,— думал он. Куда как лучше пойти сейчас к Аксеновым, сесть за стол и глядеть исподтишка на личико Шурочки, отраженное в медном зеркале самовара. Взять и рассказать ей, как он пожалел зайца! Шурочка поймет.

В конце концов он вышел на широкий Золотой шлях. Дорогу уже накатали, она лежала как прибитый ядреным морозом, хорошо стиранный холст. Из Безлюдовки ехали на базар тепло одетые бородатые мужики. Розвальни их все время заносило в сторону, из-под правого полоза, как земля из-под лемеха плуга, белой рыхлой струей отваливал снег. Вперемежку с мужиками на тощих лошаденках ехали бочкари. Крестьяне с намыленными морозом бородами брезгливо морщились, закрывали носы.

— Эй, антиллерия, проезжай! Накадили, дыхать нечем.

— Ничего, обвыкнешь.

Как на Золотом шляху, так и на улицах Чарусы ненавидели ассенизаторов злой ненавистью мещан. Одиночек ассенизаторов, случалось, избивали домохозяева, полиция, дворники. Поэтому бочкари ездили группами, всегда обороняли друг друга, молча сносили насмешки, брань

и все надеялись: им пофартит — и они бросят свою позорную работу.

В каменной казарме змиевского обоза бочкари часто отдавались своим наивным мечтаниям. Приходил Гришка Цыган, убедительно говорил, сощурив углисто-черные глаза:

— Гадаете? Дело надо делать, а не гадать. Пусть баре понюхают, чем пахнет наша работа, вот как надо сделать!

Отвечали ему не менее правильно:

— Заглядка всегда поперед жизни идет. Дорогу ей прокладывает.

Навстречу Лукашке, нахохлившись на обмерзлой бочке, ехал парашник Лукашкиного роста, мальчонка чуть постарше. На нем был рваный, со взрослых плеч, смерзшийся тулуп, облезлая заячья шапка. На круглом детском подбородке — ямочка. Мальчику было холодно, хотелось спать. Лукашка, поравнявшись с ним, крикнул:

— Эй, малышка, губы утри!

Слова эти были самые обидные для ассенизаторов, но мальчик, не переменив положения, взглянул на Луку добрыми глазами и махнул грязной рукавицей, как бы говоря: «Отцепись, и без тебя тошно».

Необыкновенно ясные глаза его на круглом лице с курносым носом разбередили душу Лукашки. Он догнал мальчонку, пошел рядом.

— Ты на меня не серчай. Обидеть тебя я не хотел. У меня язык плохо подвешен.

— Ну и ладно,— ответил мальчик.— Редко кто в нашу жизнь вникает. Страшней этой работы ничего нет. На бочке ездим, под бочкой живем.

— Ничего, подожди немного, скоро революция будет,— посулил Лука.

— Дай бог!

— Сам не возьмешь, бог не даст.

— А что оно такое — революция? — спросил мальчик.— Или при ней бочкарей не будет, что ли? — Не расслышав ответа, он стеганул лошаденку и поехал вскачь, оставив в душе Лукашки какое-то светлое чувство.

Завод попыхивал сиреневым дымом, будто трубку курил: не затянутые наглухо крышки котлов, посвистывая, пропускали пар.

Возле лошадиного трупа, снимая шкуру, возился рябой Никанор, коренастый мужик из породы людей, кото-

рых природа, не задумываясь, высекает одним взмахом топора. И характер этого человека был топорный — жил он, мало заботясь о себе. Жил — как реки текут. Увидев Лукашку, Никанор не спеша промычал:

— Сколько лет, сколько зим, Лука Александрыч!

— Как живешь, Никанор?

— Живем не горюем, хлеба не купуем, а с базара кормимся.

— Садись, закурим.

Они сели на удобное, точно скамейка, конское туловище.

— Не слыхал, будет Степка проводить новый набор рабочих или нет? Хочу в плотники определиться. Гробы научусь делать — заживу. Выгодное ремесло, каждому человеку гроб нужен. Родился младенец, а для него уже где-то дерево на гроб произрастает. К тому живем, чтобы умереть.

Обилие частых смертей побудило Никанора произнести эту фразу. Но слышалось в ней и что-то надуманное, ироническое, злое.

— Что вы все сговорились о смертях толковать? Смерть, похороны, гробы — противно слушать.

— Время уж больно поганое, не приспособленное для хорошей жизни.

В словах и поведении Никанора чудилось что-то скрытое, недоверчивое. Видно, судьба немало поиздевалась над ним.

— Что ж, и для тебя такое дерево произрастает? — спросил мальчик.

— Растет... Живешь и не знаешь, на каком дереве повесят, из какого гроб для тебя сколотят.

— Ну, тебя не повесят, ты человек безвредный.

— Безвредный? — Карие глаза Никанора молодо вспыхнули.— А может, я бежал от пенькового галстука, скрываюсь? — Но тут же спохватился, зачастил скороговоркой: — Ты не подумай чего. Это я так, люблю себя выдумкой тешить, геройство на себя напускаю. Да если бы я даже и бежал из Сибири, все равно не дознаются. Документы у меня в порядке... Умереть, конечно, каждый дурак может, а вот, не умирая, себя оправдать по жизни — это труднее.

Последние слова были темны по смыслу, но чем-то похожи на высказывания отца; это приятно удивило мальчишку. Он все больше встречал людей, начинаю-

щих думать так, как думал отец и чему учил его, Лукашку.

По двору, покачиваясь, прошел Гладилин, Никанор насмешливо посмотрел ему вслед.

— Вот тоже живут у нас на заводе люди, чего-то хотят, а чего — сами не знают. Люмпен...

— А ты знаешь?

— Знаю! Власть бы мне, я бы тогда все на свой рабочий манер перекроил. Токарь я.

— По хлебу?

— Нет, брат, по железу! Я из металла любую вещь сделать могу.

С обсыпанной снегом акации как-то боком слетела на лошадиный круп бесстрашная галка, клюнула в глаз, задернутый лиловой поволокой.

— Скучно тебе небось без однолетков? — спросил Никанор, сбивая с конца цигарки серебристую золу.— Аксенов и Губатый в школу пошли, Кузинча собак по городу ловит.

— Скучно,— согласился мальчик.

— Я вот в субботу в гостях у Кузинчи побывал. Правильный парнишка. Живет у чужой старухи, весь заработок, всю лафу до копейки ей отдает. Как-то закапризила старуха, захотелось ей кофею. Так, знаешь, он мотанулся в город и привез коробку, угодил хозяйке.

— Она у него за мать. Он ведь незаконнорожденный, его грудным младенцем подкинули Светличному, а она его к себе забрала и воспитывает. Богатые не хотели брать, Светличный отвернулся, а она, бедная, взяла,— ответил Лука.

Ему хотелось сделать что-нибудь хорошее товарищу, подарить самую лучшую свою вещь, но у него самого ничего не было, и ему было приятно слушать и говорить о Кузинче ласковые слова. Он любил неуклюжего Кузинчу за то, что тот был наполовину взрослый, наполовину мальчик. В городе он наравне со взрослыми пил пиво, ругался с биндюжниками, а в кругу сверстников рассказывал о таинственной жизни муравьев, уверяя, что муравьи сажают какую-то свою особенную капусту и ведут между собой опустошительные войны, разрушая строения врагов и уничтожая муравьиные племена. Он не читал книг, но был наслышан, что ласточка долетает из Египта до Чарусы за сутки и всегда поселяется в прежнем гнезде.

Никанор внимательно посмотрел на Луку, проследил за его взглядом, задержавшимся на крышках котла, сказал:

— Илько Федорец завинчивал, все некогда ему, к Гладилину на чарку водки спешил, ну и завинтил как попало. Говорит: «Черти не возьмут». А ты отойди на всякий случай, а то бабахнет, костей не соберешь.

Лука покачал стриженой головой.

— Завинтить надо, пока не поздно.

Никанор безнадежно махнул рукой.

— Сам думал. Да каким чертом? Илько, раззява, ключи спрятал, а куда, сам не знает.

— А где же отец? Он-то куда смотрит?

— Отца твоего полиция забрала,— угрюмо ответил Никанор.— Следили за ним. Непьющий, ну и бросается всем в глаза.

Лукашка побледнел. Поднялся.

— Ну, я пошел.

— Валяй, валяй, только злом не поминай,— печально глядя вслед мальчишке, сказал Никанор.

От завода до конторы тянулся густой, безалаберно посаженный сад, обшитый колючей проволокой. Лука шел, срывая узкое кружево инея, кровеня руки о железные колючки и не замечая боли. Отец арестован, и, конечно, надолго. С его слов он знал, что недавно был арестован маляр Полонский. А ласковый и приветливый Арон Лифшиц, последние дни скрывавшийся в доме умалишенных, на Сабуровой даче, бежал. Охранке удалось окружить больницу, когда в ней находился Лифшиц. Доктор Цыганков спрятал его в мертвецкой. Говорят, доктор состоит в революционной партии.

Ротмистр Лапшин, заглянув и в мертвецкую, нашел в темноте гроб, в котором с закрытыми глазами лежал Лифшиц. Санитары при Лапшине поставили железный гроб на дрожки и на глазах полицейских увезли на Кирилло-Мефодиевское кладбище. Оттуда Лифшиц ушел, а куда — пока никто не знал.

Отец арестован!

«Наверное, ночью в комнатенке у нас будет обыск»,— соображал мальчик. Он хорошо знал, что жечь и прятать нечего. Печатный станок надежно укрыт в машинном отделении. Его, если только не пронюхал Илько, найти трудно.

Лука не дошел и до конца сада, когда на заводе раздался оглушительный взрыв. Из окон повалил пар, про-

звенели разбитые стекла. Болотным теплом дунуло из черной пещеры пролома в стене. Обгоняя Луку, к заводу в одних рубахах пробежали рабочие и остановились, встреченные горячими брызгами пара, хлеставшего изо всех окон. Из машинного отделения вылез испуганный Илья Федорец. Он успел завинтить вентиля и выгрести из топки жар. Рабочие ждали, что скажет Федорец, а он стоял молча, растерянно разглядывая разломанную стену, лицо его покрылось каплями едкого пота. Илью схватил за руку Степан.

— Почему молчишь, точно воды в рот набрал? Говори — что там случилось? — Он кивнул на завод.

— Котел верхний взорвался.

— Никанор на заводе, как бы не убило. Где механик?

— Механика в полицию забрали.

Впервые в жизни Лука почувствовал укол в сердце и схватился за грудь. Но он быстро успокоился. «Отца ведь арестовывали и раньше. Как-то после выступления на собрании в трамвайном депо его забрали городовые, жестоко избили, но все же отпустили домой. Может быть, отпустят и теперь»,— подумал мальчик.

— Не тревожатся, сволочи, за чужую жизнь.

— Дверь откройте, пусть пар выйдет! — перебивая друг друга, кричали взволнованные рабочие.

— Погиб человек,— лихорадочно прошептал Контуженный.

— Лукашка! — крикнул Степан.— Живо на носках беги на бойню, звони в больницу.

Городские бойни находились в двух верстах от завода. Лука рванулся на шлях, потом вспомнил, что верхом скорее доскачет, вернулся на конюшню, вывел Фиалку, но никак не мог отыскать уздечку. Он перерыл все, слазил на сеновал, в камору. Всегда уздечки валялись под рукой, а сейчас, как назло, ни одной! Как сквозь землю провалились. Лука не знал, что с утра Яша повесил их на стену, накрыл тавреной попоной. Пришлось бросить коня и бежать во весь дух. Позвонив по телефону, мальчик медленно пошел назад, путаясь в длинных полах Степанова тулупа. По дороге, протрубив в рожок, обогнала его больничная карета, запряженная парой коней.

Как жить теперь одному... без отца? Идти наниматься на Паровозный завод? Но он ведь ничего не умеет, еще не заработал ни одной копейки. Впервые Лука пришел к мысли, что он еще маленький и всю свою короткую жизнь

на отцовском хлебе. Полгода не прошло, как он впервые увидел Змиева, а сколько человеческих трагедий открылось ему на заводе, на ничтожно крохотном кусочке русской земли! Но эти назойливые, тревожные мысли тут же рассеялись, будто табачный дым.

— Живут же люди. Например, Кузинча,— сказал себе Лукашка и привычно вошел в заводской двор, увидел полицейскую линейку и возбужденных высоких седоусых жандармов.

Выяснилось, что при взрыве из машинного отделения вылетели революционные прокламации, свинцовый типографский шрифт, несколько революционных брошюр и запрещенная книга Плеханова «Наши разногласия».

— Надо признаться, ловко придумано: подпольная типография на свалке,— басил жандармский ротмистр Лапшин.— Но это только подтверждает мудрость русской пословицы: «Шила в мешке не утаишь». Так-то, буревестнички, попались!

Ротмистр, с толстым лицом, с круглыми глазами филина, расстегнул голубоватую шинель, под которой Лука увидел портупею, офицерскую шашку, штаны с кантом. Держал себя ротмистр так, будто провал подпольной типографии — дело его рук, облитых замшей. Увидев Луку, Лапшин подозрительно спросил:

— Чей будешь?

Лука молча крутил пуговицу на воротнике сорочки.

— Прокламации на улицах не ты клеил?

— Очень может быть,— предательски заметил Степан, не отходивший от Лапшина.

— Ну, ну, ты мне смотри, шельмец! — пригрозился ротмистр мальчишке и отошел, поправляя фуражку.

Поголовный обыск на заводе не дал результатов. Ни у кого ничего подозрительного не нашли, и никто не был арестован. Только в комнате Иванова взяли несколько исчерканных цветными карандашами книг по политической экономии, философии, технике и военному делу.

Никанор, обваренный паром, уцелел. Дашка взяла его к себе и ходила за ним, как в свое время за избитым Лукой, делала примочки из настоя крепкого чая. Лука часто заходил к Дашке, обедал у нее, подолгу сидел у постели больного.

Как-то при Яше Аносове весь обтянутый бинтами Никанор сказал мальчику:

— Ты за батюшкой не убивайся.

— За каким батюшкой?

— Ну, за отцом своим. Нельзя правды ни утопить, ни погасить, она, как солнце, вечная, а отец твой за правду пострадал. Возвернется он обязательно — вместе с победившей правдой. А ты живи, делай отцово дело, в порядок себя приводи, держись в ночи одного огонька, не заблукаешь. Поступай на Паровозный завод, определяйся в токари. Мне поначалу не давалось токарное дело, и на станок я смотрел, как на зверя. А потом осилил. Бойся одиночества! Народ здесь, на собачьем заводе, с гнилью, но не весь. Отбор можно произвести, да батюшка твой, наверно, и произвел. Абрама Полонского знаешь?

— Арестовали его.

— Как арестовали? — Никанор хотел подняться, но, подкошенный болью, упал навзничь, глубоко зарылся в подушки.— Как же так, он ведь опытный конспиратор.

«Правду ищет и говорит хорошо, веско»,— думал Лука, вспоминая метельный вечер, когда, босой, без шапки, Никанор пришел на завод и спрятался в нем, как монах за монастырской стеной.

«Каторжный,— подумал Лука,— политический».

Он решил поближе сойтись с этим человеком.

XIX

Февральские звезды сеяли на землю голубоватый свет, деревья, будто кованные из серебра, отбрасывали тяжелые тени. На морозе земля утратила свои яркие запахи, в воздухе стояли дымки, поднявшиеся из труб Паровозного завода.

По Золотой стороне бродила неуловимая банда Ваньки Пятисотского. Главными его помощниками, по слухам, были Полтора Ивана и Лошадиный папа. Еженощно на Золотом шляху кого-нибудь убивали, грабили проезжих мужиков, вламывались в дома. В потребиловке среди бела дня зарезали кассиршу, забрали всю выручку.

На утилизационном заводе не боялись банды. Лука догадывался, что кое-кто из заводских рабочих дружит с Пятисотским, получает от него долю магарычей, взимаемых им с торговцев. Степке и сам черт был не страшен, но он все-таки принял меры: на ночь наглухо запирали тяжелые ворота, и два сторожа ходили по двору, во-

оруженные однозарядными румынскими винтовками. Всю ночь во дворе бегали три волкодава, с маху берущие полуторасаженный забор.

После ареста отца Лука, которого по малолетству не приняли на Паровозный, подрядился кучером на утилизационный завод. Как-то, отвезя ветеринара на городской двор, Лука возвращался домой. В сани была впряжена чистокровная рысачка Рогнеда. Невзрачная на вид, она бегала быстрее ветра. В одном месте шлях петлял между двумя ярами. Когда-то там копали глину для кирпичного завода. Потом, когда остановившийся завод разрушили и даже свалили заводскую трубу, яры отвели под свалку, стали засыпать мусором. На дне оврагов лепились многочисленные землянки и хибарки, крытые ржавым железом; жили в них бездомные со всей Чарусы. Дальше шлях подымался в гору, нырял под радугу железнодорожного моста. Ночью это место считали страшным, и только ассенизаторы его не боялись. Засыпая на бочках, они безбоязненно проезжали по шляху, не помышляя, что кому-нибудь вздумается их грабить. Они были хозяева Золотого шляха — люди, которые променяли день на ночь и унизились до поганой работы ради куска черствого хлеба.

Подъезжая к опасному месту, Лука подозрительно насторожился, нервы его были напряжены. Перед подъемом в гору он придержал поджарую кобылицу. Узорчатый мост отбрасывал на снег косые геометрические полосы. Из их черноты отделились и приблизились к шляху две фигуры.

— Стой! — услышал Лука над самым ухом.

Один бандит схватил за уздечку Рогнеду, другой подбежал к мальчишке. Освещенный луной, синим пламенем сверкнул револьвер.

— Вези нас в город!..

Лука испугался, но испуг тут же прошел. Мальчика взяла досада: вези этих чертей, потом плетись назад и снова остерегайся бандитов. Не слезая с передка, Лука взмолился:

— Что вы, господа, помилуйте! Куда вы на этой кляче поедете? Она едва ногами совает.

Бандиты оглядели Рогнеду, один из них ударил ее кулаком под бок. Бока были полосатые, от худобы выпирали ребра. Чуя недоброе, Рогнеда нетерпеливо перебирала тонкими ногами, шкура ее дымилась легким голубоватым паром.

— Ладно, катись,— сказал молодой бандит, в котором Лука признал сына лавочника Леньку Светличного.

— До свидания, господа! — Лука почтительно склонил голову и тронул Рогнеду шагом. Потом натянул вожжи, гикнул: — А ну, лети, ласточка!

Из-под санных подрезов рванулась обильная снежная пыль. Подковы пробивали наст, звенели о мостовую, взлетали золотые веники искр. Сани неслись под взволок.

Бандиты свистнули вдогонку. Свист был лихой, с переливами. Так свистел Кузинча, гоняя голубей.

— Ого-го!.. Ты еще попадешься, голубчик...

Лука исподволь стал примечать: чем дальше шла война, тем больше народ отбивался от дела, тем больше злобился, люди издевались друг над другом, стали невоздержанны на язык. Даже Гладилин после ареста отца заметил Лукашке:

— Ограбили тебя,— как будто отец был его собственностью.

На заводе появился мохнатый бездомный кутенок с желтым пятном на лбу. Шею его, точно обруч, стягивал кожаный, в медных кнопках ошейник. Подрастая, пес задыхался в ошейнике, становился злей, никого не подпускал к себе, белые клыки его всегда были оскалены, твердая, как проволока, шерсть стояла торчком. Иван Данилович Аксенов определил породу: помесь собаки и волка. Лука назвал щенка Жучком, приласкал и, едва не искалечив собачьей шеи, сапожным ножом перерезал ошейник. С тех пор кутенок привязался к мальчику. Через несколько месяцев он превратился в здорового, широкогрудого кобеля, хвост его всегда вызывающе был поднят. Всезнающий Кузинча говорил, что на севере Америки на таких собаках ездят золотоискатели.

На завод часто заезжали мужики близлежащих сел, просили продать для хозяйства хорошую собаку. Почти всегда они выбирали Жучка, платили за него большие деньги, а через день, самое большее через два Жучок возвращался на завод, волоча за собой оборванную железную цепь. Эту цепь тащили в лавку к Светличному и там выменивали на самогон.

Сторож Шульга открыл Луке ворота. Чутким ухом мальчик уловил злое рычание Жучка в саду. Заглянул через кусты. Перед ним открылась дикая картина. Жучок подмял под себя лохматого человека. Голова у пса была проломлена, клыкастой пастью он вцепился в человека. Лука бросился на помощь.

— Кто такой?.. Жучок, назад!

Рыча, пес оставил свою жертву и шершавым, как напильник, языком лизнул мальчику руку. С земли тяжело поднялся напуганный Гладилин.

— Сбесился твой кобель. Хотел его прибить.

— Врешь, ты хотел шкуру содрать, на водку выменять. Я все твои подлые мысли знаю!

Лука уложил обессилевшего Жучка в сани и, преодолевая страх и усталость, снова поехал на обоз мимо страшного моста и не менее страшных яров. Там он зашел к ветеринару на дом и вместе с Шурочкой и Ваней упросил его полечить собаку.

Шурочка искренне обрадовалась появлению Луки. Пока отец ее возился с визжащей собакой, она рассказала ему о своих успехах в гимназии. От девочки исходил какой-то приятный, особенный, нежный запах. Золотистые косы ее сияли.

— Вы знаете, я сегодня встретил настоящих разбойников,— похвастался мальчик.

— Какие они? Правда, что у них губы черные?

— Самые обыкновенные, как у всех.

— Забирай своего пса,— улыбаясь сказал Иван Данилович.

— Выживет он?

— Выживет, выживет. Поезжай домой. Время спать.

Однажды Гладилин украл из машинного отделения длинный широкий ремень, продал его, но попался. Степан его за это прибил, поучая:

— Не воруй чужое,— как будто можно воровать свое.

Гладилин, утирая кровь на разбитом лице, возражал ему:

— Ну, сбондил, без этого не прожить. Платят скаредно. Да и ворую не один я.

— Этак вы всю Россию растащите.

— И тащат.

Гладилин говорил правду: воровал не он один, воровали многие, тянули все, что попадалось под руки, сбывали Светличному, тащили на толкучку. Легко добытые деньги пропивали. Жили беззаботно, сегодняшним днем, в то время как Светличный жил вчерашним и упорно твердил, что с каждым днем жить труднее. И действительно, впереди он не видел никакого просвета: торговля его сворачивалась. Розовое лицо самодержца на портрете в лавке постепенно засиживали мухи, оно все тускнело; так же тускнела и жизнь лавочника.

Но были люди, которые жили завтрашним днем: отец, Арон Лифшиц, Кузинча, отчасти Даша. Они надеялись на лучшее, ждали перемен. Раздумывая о людях, Лука причислял себя к последней группе, верил, что у него все впереди. Сравнивая Лифшица с заводскими, он приходил к мысли, что заводские рабочие — не настоящие рабочие, слишком велика была между ними и Лифшицем разница. Трудно было Луке додумать эту мысль до конца — она вызревала на житейских примерах. Если бы слесарь подрался со Светличным, на заводе приняли бы сторону лавочника. Стало быть, Лифшиц и заводские рабочие — не одного сапога пара. Мысли эти заставляли Луку задумываться над дальнейшей своей судьбой, подумывать о настоящем заводе, где работают пролетарии, подобные Лифшицу. Страшная смерть Кучеренко ни разу не вспомнилась ему, и мартеновский цех его уже не пугал.

Все больше привозили трупов животных, но завод увядал, строительство прекратилось, Степан свез себе на хутор кирпич, бревна, доски.

Люди двигались нехотя, сонно, как осенние мухи, и вместе с тем были настороженны, ждали чего-то, как будто над заводом повисла большая — от горизонта до горизонта — туча и вот-вот разразится градовый, весь в громе и молниях, дождь.

Даже неукротимая энергия Степана не могла удержать людей в повиновении, он все чаще выходил из себя, кричал на рабочих.

— Бездельники! Клопы!

Он был глубоко уверен, что не Змиев живет кровью рабочих, а рабочие сосут хозяйскую кровь. Не раз Степан говорил:

— Не будет хозяев, с голоду пропадете.

XX

После ареста отца Лукашку не выгнали из его комнатенки, в шутку прозванной каютой. Говорили, будто за него заступился Степан и даже взял под свое особое покровительство. Оставшись ночью один, мальчишка раскладывал в маленьком переоборудованном казанке огонь, долго любовался, как кипят, словно желтые листья, языки пламени с разноцветным резным подбоем. Мальчиков его возраста манят бразильские прерии, пиратские паруса,

арктические белые ночи, но все это мало волновало Лукашку. Он при свете маленькой коптилки запоем читал серьезные книги, как это было при отце. Когда от чтения в полумраке начинали болеть глаза, Лукашка снимал конфорки и отдавался на волю неиссякаемых мыслей.

Все чаще в мечты его врывался настоящий завод, не «собачий», а Паровозный, который хорошо был виден с Золотого шляха. Иногда мальчик взбирался на крышу и долго смотрел на длинные корпуса и дымящие трубы.

«Вот там университет рабочего класса»,— часто вспоминал Лука отцовы слова. Он знал — на этом заводе революционеры ведут подпольную работу и многие рабочие потом сами становятся революционерами.

Пролетал по стене последний отблеск огня. Гасло пламя, на дне казанка оставалась лиловая зола. Надо было ложиться, а в постели его всегда, как взрослого, мучила тяжелая пустота одиночества. Многого не хватало в жизни: отца, матери, товарищей. Ванька Аксенов жил с отцом, учился в гимназии, и виделись они редко; Кузинча все время проводил на базарах, ловил там бездомных собак.

«Скорей бы поступить на завод. Войти в настоящую рабочую семью, жить с нею воедино. А когда выросту — женюсь, и не будет у меня этого одиночества». Так просто представлялась ему будущая жизнь. Мальчик хотел учиться, но он был сын арестанта, ни в одно учебное заведение его не брали. До ареста отец занимался с ним каждый вечер.

Постепенно мысли тускнели, их вытесняли зыбкие, неясные сны — странное состояние между забытьем и действительностью, когда ты еще не спишь, слышишь, как во дворе ветер плещет в натянутом на веревке белье, но ты куда-то проваливаешься, летишь в бездну — и вдруг, очнувшись, радуешься, что под тобой постель и деревянный пол, на котором можно стоять твердо.

Из этого состояния Лукашку вывел легкий стук в дверь. В голове мелькнуло: «Кто бы это мог в такой поздний час?» Лука распахнул дверь. На пороге стояла Дашка, а за ней голубой спиралью врывался в комнату снежок.

— Заходи, что ж ты стоишь, холоду напускаешь!

Женщина робко вошла, полынным веником обмела ноги, знакомым движением заправила под байковый старый платок выбившуюся у виска прядь. Села на стул. В руках она взволнованно крутила карандаш и тетрадку.

— Ну, что скажешь? — радостно улыбнулся ей Лука.

Дашка начала боязливо:

— Лукашка, ты грамотный, а я ни читать, ни писать не умею. Мне научиться хочется, потому — без грамоты я как слепая.

Боясь, что он откажет, покусывая губы, она поспешно добавила:

— Кое-какие буквы я уже знаю, а если ты мне покажешь остальные, то я, может, и научусь... Разве это дело — не знать грамоты рабочему человеку?

У нее даже руки вспотели от волнения, она по-детски вытирала их о старенькую сатиновую юбку. Лука не ждал такой просьбы от Дашки и весь загорелся от ее слов.

— Если ты серьезно надумала и завтра же не бросишь, я согласен. Будем заниматься по вечерам здесь, у меня. Молодец ты, Даша, честное слово! Вот уж никак не ожидал от тебя!

Он всматривался в ее худое лицо и удивлялся: желтизна исчезла, на щеках появился румянец. В черных блестящих волосах запутался залетевший бог знает откуда осенний листок березы. Когда Даша поворачивала свою цыганскую голову, листок дрожал, будто от ветра.

Они решили начать занятия завтра, а сегодня сидели и разговаривали. Лука все ждал, что Даша спросит о Степане. Самому было неловко начинать этот разговор, а она, видимо, не хотела вспоминать о бывшем муже. В комнате не было лампы, а казанок, заменявший печку, освещал только лица. Глаза Даши привыкли к темноте, и она увидела в углу прикрытую веником кучу мусора. С женской сноровкой схватила связанный из полыни веник.

— Завел кучу мусора, замазуля, хотя бы меня позвал, я бы тебе навела здесь порядок. Всюду нужны женский глаз и женские руки.

Даша вынесла из комнаты мусор, подмела, постелила для Лукашки постель, села на стул и, заглядывая мальчику в глаза, как бы разгадывая его мысли, сказала:

— Хороший ты хлопец, Лукашка, только жаль, матери у тебя нет. А мать самый главный наставник в детстве. Сто учителей заменить ее не могут.— Она не хотела говорить, но из сердца само вырвалось: — Как бы я хотела, чтобы у меня был такой же вот пострел!

Лука болезненно сморщился.

— Ты бы хотела, а моя мать меня бросила.— Горькая улыбка скривила его губы.

Несколько минут сидели молча. Из раскаленного казанка веером падали красные лучи. В комнате было жарко. Дарья сбросила на постель платок, встала, потянулась. На ней была сатиновая в мелких цветочках кофта с короткими рукавами. Протягивая Лукашке руку, она сказала:

— Прощай до завтра!

Никогда еще и ни с кем она так тепло не прощалась.

...Из-за далеких гор через засыпанные снегом степи, наливаясь нежной синевой, подкрался зимний вечер. По комнате, волнуясь, из угла в угол ходил Лука, поджидая свою ученицу.

Дашка пришла в шестом часу. На плечи ее сбегали косы. Лукашка знал: коса — девичья краса, женщины не распускают их, а завязывают в тугой узел на затылке. Лука подумал: «Вот странная, распустила волосы, свое девичество вспомнила. Может, ее и на досвитки скоро потянет?»

Еще в дверях Дашка перехватила недоумевающий взгляд Луки. Как бы оправдываясь, она сказала:

— Голову сегодня мыла в отваре любистка, волосы от него становятся мягче,— и, занеся руку назад, умело, быстро уложила косы бабской короной.

Села к столу, развернула тетрадь, и первый в ее жизни урок начался. Дашка знала все буквы, но связывала их плохо.

Ветер сорвал с крыши лист железа и равномерно бил им о ставни.

Дашка тянула:

— Бог прав-ду ви-дит, да не ско-ро ска-жет!

За стеной в казарме рабочие резались в «очко», было слышно, как они кричали и беспричинно ругались.

— Что ты мне про бога даешь читать, разуверилась я в боге... Бог — занятие для неграмотных.

— Неужели ты думаешь, что я верю в бога? — Луке вспомнилась смерть Кучеренко у мартеновской печи.— Эту пословицу Лев Толстой написал, знаменитый граф. Отец говорил: его даже Ленин уважает.

— Ленин?.. А кто такой Ленин?

— Ленин — это такой главный революционер. О нем даже в словаре Павленкова написано.

— Я как-то слышала от твоего отца слово «коммунизм». Что оно обозначает? — спросила Дашка.

— Это... Ну, как бы тебе объяснить? Если у меня двое штанов, а у Кузинчи ни одних, я должен одни отдать ему. Это — когда у всех всего будет поровну.

Слова мальчика оборвал выстрел. Пуля расколола деревянную ставню, зазвенела стеклом и завертелась на столе. Кто-то пробежал мимо окна. Еще два или три выстрела, завывание собак, бешеный лай Жучка... Лука вышел на крыльцо. Куда-то пробежал Степан, размахивая пятизарядным своим ружьем. Было похоже — на завод напали бандиты. И хоть люди здесь жили недружные, опасность сплотила их. Всюду было заметно движение.

Лука с Дашкой побежали в казарму. «Что за чертовщина?» — подумал мальчик, останавливаясь на пороге.

Прислонившись к окрашенной охрой стене, сидел лавочник Игнат Светличный, которого Кузинча прозвал Обмылком, и поддерживал свою лысую голову большими руками. На лице лавочника синие кровоподтеки, глаза по-сумасшедшему выпуплены, штаны разорваны — очевидно, бежал и зацепился за что-то. Никто ничего не понимал. Ванда, одетая в свой пестрый капот, подавала ему воду, роняла из пузырька на пол зеленые капли валерьянки.

Обмылок истерически всплеснул большими руками.

— Ну, какого черта уставились на меня!.. Человека не видели? — Опустил голову на грудь, зарыдал.

От него ничего нельзя было добиться толком. Но когда наступил серый, неуютный рассвет, люди дознались обо всем, что произошло.

...Ночью домой вернулся Игнатов сын. Мать открыла ему дверь, но он вошел не один: стуча сапогами, ввалилась вслед за ним банда Пятисотского. Светличный слышал, как жена крикнула:

— Что ты, сынок, делаешь?! — и в то же мгновение раздался выстрел.

Один из бандитов спросил строго:

— Зачем, быдло, мать убил?

Светличный выбежал в лавку, больно ударился головой о дверь, отвинтил пробой, зацепился за подкову, прибитую на пороге, едва не упал. На улице, покуривая цигарку, бандит стоял на страже. Мимо него лавочник бросился бежать через шлях на завод. Следом за ним выскочил сын Ленька, крикнул:

— Подождите, папаша! — и выстрелил ему вдогонку.

Приехали полицейские. Игнатиха лежала поперек порога, распухшие пальцы ее вцепились в пол, восковое лицо исказила застывшая гримаса боли.

— Дожились! Дети матерей жизни решают.

— Хоть не плоди их на свет, иродово семя!

— Убить его, подлюку, без суда надоть! — говорил собравшийся у лавки народ.

Леньку поймали в домике, прилепившемся на краю яра, у сторожа костяного склада: он ночевал у его дочки Марии. Сдался парень без драки, положил на стол нагретый телом браунинг, виновато улыбнулся. Его повели на завод. По дороге он часто оборачивался. За ним шла печальная, растрепанная девушка, не подозревавшая, что он убил собственную мать руками, которыми только что горячо ласкал ее. За девушкой вдалеке, на Холодной горе, снежно светились тюремные белые стены. На них-то и смотрел Ленька. Был он в чиновничьей одежде, из рукавов высовывались руки с синими неразборчивыми узорами татуировки. Из-под картуза выбивался веселый шелковый чуб. Убийцу разглядывали внимательно, будто видели впервые. Он слышал, как у высохшего дерева упала Мария, узнав от Кузинчи, что он убил свою мать. Ленька не подымал глаз от земли, вслушиваясь в жизнерадостное чиликанье воробьев, и ждал, что его сейчас начнут бить и забьют до смерти.

На заводе к нему подошел неузнаваемо постаревший Светличный. Отец и сын молча стояли друг против друга. Что думали они? Какие молнии проносились у них в мозгу? Страшно было смотреть на них. Молчание нарушил седоусый городовой, с сочувствием спросил Игната:

— Ну, отец, что мы с ним сделаем?

Обмылок поднял жестокие глаза, налитые кровью:

— Убить его надо, чтобы другим было неповадно.

Ленька внимательно разглядывал шнурки на ботинках. Городовой мигнул ему глазом, окольцованным морщинами:

— Беги, дуррак!

На молодом лице Леньки мелькнула робкая надежда. Он рванулся и, прыгая из стороны в сторону, кинулся бежать. Все закричали:

— Держи, держи!

Городовой не спеша вынул из кобуры тяжелый «Смит-Виссон», прицелился, выстрелил, спокойно сказал:

— Убит при попытке к бегству.

Падая, Ленька повис на колючей проволоке, изо рта малиновой цевкой била кровь, враз побелевшие руки силились оторвать от проволоки тело. Глаза еще были яс-

ны — живые, они пытались охватить сразу весь мир, но... встретились со свинцовым отцовским взглядом и в испуге закрылись. Тело жалобно дернулось, затрепетало и вдруг замерло неподвижно.

— Ленечка, чадо мое единственное, наследничек мой, что же мы наделали с тобой, дурачок! — Обмылок схватился за виски, грузно упал на колени, запричитал: — Как же я недоглядел за тобой, допустил тебя до такой срамоты? Ты ведь моряком хотел стать!

На горизонте, как паруса эскадры, белели тюремные стены. Испуганный убийством, Лукашка с тоской глядел на них,— за тюремными стенами томился его отец.

XXI

Раскрыв хрестоматию, которую по складам читала перед сном, Дарья сняла кофточку и лифик, собираясь ложиться. Со двора в дверь осторожно постучали. Она прислушалась и, по обыкновению своему, не спрашивая, сняла пробой. На пороге, осыпанный мерцающими снежными блестками, собираясь войти и наклонив голову, стоял Степан.

— Не ждала?.. Можно к тебе?

Он вошел в комнату, внеся с собой приятный запах табака и еще чего-то издавна знакомого. Щурясь на свет лампы, присел на скрипнувший под ним стул, взял со стола тетрадь.

— Это кто ж тебя просвещает?

Перелистал несколько страниц, улыбнулся; хорошие слова «Добро», «Любовь», «Хлеб» Дарья писала с большой буквы.

Женщина поспешно накинула на плечи платок, запахнула его на груди.

— Что хоронишься, как от чужого? Будто я не знаю всех родинок у тебя на теле. Я ж твой хозяин.

— Не было у меня хозяина и не будет, сама я себе хозяйка!

Женщина подошла к столу, прикрыла ресницами черные косящие глаза. Сквозь ресницы молча рассматривала на клеенке полустертый рисунок скачущего казака Кузьмы Крючкова.

— Может, вечерять будешь? — спросила она и засуетилась.

— Есть не хочу, а переночую с удовольствием. Скучно мне без тебя. Привычка. Привык, как к куреву.

Дарья промолчала. Только лицо ее зарделось и вдруг будто помолодело. Как ждала она его возвращения в бессонные ночи, сколько дум передумала, сколько слез пролила на подушки! И вот он пришел, все еще желанный, возлюбленный и дорогой. Прислониться бы к его широкой груди, забыть хоть на мгновение все обиды... Но в первый раз в душе ее властно поднялась человеческая гордость, заслонила собой былую любовь. Знала, что Степан только насмеется над ней, и потому молчала, гасила в себе радость.

Откинувшись на спинку стула, Степан разглядывал прежнее свое жилище, жалкую мебель. За время его отсутствия ничто не изменилось в комнате. Та же деревянная кровать с точеными шарами по краям, о которые ночами он тушил окурки, те же ходики с подковой вместо гири. Только нет его фотографии — видно, сняла, чтобы не тревожила душу воспоминаниями, лишь темный след от нее остался на выцветшей стене.

— Ради бога, уйди от греха, Степан! У тебя теперь законная жена есть,— похрустывая суставами пальцев, проговорила Дарья.

Скуратов сбросил полушубок, с силой швырнул его на сундук, но промахнулся, зацепил на подоконнике горшок с геранью. Цветок упал, чахлые стебли его обломились. Степан ноздрями потянул воздух: знакомый запах свежих яблок, только что внесенного со двора промерзшего белья, земли в цветочных горшках.

— Раздевайся... помоги сапоги снять.— Он поймал узкие кисти Дарьиных рук, с силой притянул к себе ее отшатнувшееся, желанное тело.— Понимаешь, проклятущая, околдовала ты меня, на всю жизнь вошла в душу. Маялся я без тебя, скучно без тебя.

Он потянул ее к столу, дунул на лампу, погасил свет, поднял Дарью, легкую, столько раз целованную и битую, на руки, понес на постель. Она забилась в его руках, глухо причитая:

— Не надо, оставь, я кусаться буду, людей позову... Противен ты мне!

— Ну, и зови, все знают, что ты моя полюбовница.

Дарья ударила Степана ногой в живот, дико закричала. Он упал, сильно ударившись головой о пол, поднялся, но Дарьи уже не было на кровати. Он заметался по тем-

ной комнате, все сокрушая на своем пути, разбивая и ломая вещи. Дарью нашел в углу. Сердце ее сильно колотилось. Теперь уже не желание, а злоба всецело владела Степаном. Раба его и прислуга, впервые в жизни Дарья не покорилась ему. И Степан понял: не он, а она ушла от него навсегда и безвозвратно. Он закурил, при свете спички разглядел совсем новое выражение ее лица, замкнутое и гордое. И это взорвало его.

— Забыла про желтый билет? — прошипел он сквозь стиснутые зубы.

— Уходи, постылый. Не люблю я тебя больше,— слабея, выговорила Дарья.

— Или другого нашла? Старое вспомянула? — Тяжело дыша, Степан осыпал ее грубыми ругательствами.

Дарья вырвалась, неистово застучала кулаками в стену, за которой, как всегда по ночам, играли в «двадцать одно».

Лука прибежал, когда в комнате уже были Гладилин, Алешка и Ванда. С порога услыхал слова Гладилина:

— Женщину следует бить, чтобы держать ее в страхе и повиновении.

— Да не его же эта женщина! У него жена есть, Одарка Федорцова,— выдохнул Лукашка, широко раскрытыми глазами оглядывая комнату.

Ванда догадалась распахнуть ставни. Лунный свет заливал пол, переплеты оконных рам лежали на нем, словно черные кресты, и между ними ползала испуганная Дарья.

Степан намотал на левую руку ее густые волосы. Мужчины с любопытством, как на занятное зрелище, глядели на избиение женщины. Как будто они даже одобряли Степана. Гладилин грыз семечки, беззаботно сплевывая кожуру.

Сердце Лукашки замирало. Трясущимися руками он зажег лампу — кресты на полу побледнели. Бросился к Степану, смущенно просил:

— Дядя Степа, оставь! За что ты ее?..

Алешка Контуженный улыбнулся:

— Ну, начинается комедия... Первый акт...

Степан отпустил Дарью и изо всей силы наотмашь ударил мальчишку в лицо. Лукашка отлетел в угол, больно ударился головой о стену, но, словно кошка, быстро вскочил на ноги.

— А, так ты драться, меня бить, мужчину!

Он подбежал к кровати, проворно выдернул из-под подушки рубчатый рубель, с силой опустил его на голову не ожидавшего такой прыти Степана.

— Это за Дарью! А это за меня, баптист проклятый! — И Лукашка ударил Степана прямо в лицо.

Он чувствовал необыкновенный прилив сил. Ему не хватало воздуха. Желтый туман застилал глаза, все жилки трепетали в его теле.

Степан рассвирепел, бросился на мальчишку, получил встречный удар, схватился за голову и заскулил.

— А, так ты хозяев бить! — Гладилин изловчился и неожиданно для всех ударил мальчика.

Падая, Лука стукнулся об острый угол стола, потерял сознание...

Очнулся он от резкого запаха хрена, который давала ему нюхать Дашка. Соленые слезы ее падали ему на лицо, на вспухшие губы.

— Звери, аспиды, василиски! — неистово ругалась Ванда, мотаясь в шлепанцах из угла в угол.— Степка прямо от тебя побежал к Гладилину, выдул у него два стакана самогона, закуски не нашел, достал из банки чайный гриб и слопал его.

Увидев, что мальчик открыл глаза, Дарья спросила:

— Может, рассола дать? — Она обняла его щуплое тело, прижалась к нему, запричитала шепотом: — Пострел мой, ты у меня как молитвенный сын. Выпросила-таки у бога!

Потом поднялась на ноги, избитая, с кровоподтеками на лице. Сказала:

— Всю жизнь ко дну шла, а вот не погибла. И по всему вижу — не погибну скоро.

Лука закрыл глаза.

— Спит,— сказала Ванда и, повременив немного, добавила: — Мне бы снова девочкой стать, чтобы вот так же легко засыпать и ничего-то не думать про жратву и про любовь.

— Это можно так сделать,— ответила Дарья.

— Как?

— Надо умереть и родиться заново. Я так думаю: помрет человек, и потом вся эта музыка начнется сначала. Да и в этой жизни для нас с тобой не все еще потеряно... Вон Никанор твердит: «революция», «революция». Верно, хорошее словцо, оно, будто ветер, носится над землей. Толком-то я не могу объяснить, что оно такое, эта рево-

люция, а думаю, что вроде бури, с молниями и громом. Нагрянет — и поразит всех этих Змиевых вместе с их холуями, вроде моего Степки. Начисто вымоет людей ливнем.

— Вымоет, говоришь? Ливнем? В девятьсот пятом тоже была революция, умыла людей кровью — и вся вышла.

— Ванда, ты в Страшный суд веришь?

— Верю!

— Так вот, революция и будет Страшный суд — народ будет судить своих извергов. И мы тогда скажем свое слово на этом суде и потребуем казни за все наши обиды.

Женщины помолчали.

— Мне Обмылок облигацию подарил, вытащил из портмоне и сунул за пазуху,— зевнув, призналась Ванда.

— С чего б это?

— Услугу ему оказала. Ну, он вроде бы расплатился и вроде бы подарок сделал.

— На облигацию можно выиграть... Что бы ты делала, если бы выиграла тысячу целковых?

— Послала бы к черту всех мужиков и спала бы одна!

Дарья еще долго возилась в комнате, разговаривала с Вандой, потом, словно белый пух с одуванчика сдунула, погасила лампу и прилегла рядом с Лукой, теплая и ласковая, как мать. Поцеловав его в висок, тихо спросила:

— Не спишь?

— Нет.

— Жизни-то у нас впереди — край непочатый... Говорят хорошие люди: все в мире создано для человека. А мы с тобой ведь человеки.

— Бросай собачий завод, нанимайся на Державинскую мануфактуру,— посоветовал мальчик.— Там тебя без книжек научат жить.

— Я и сама так думаю...

XXII

Однажды на «собачий» завод пришел возбужденный Ваня Аксенов и сказал Луке, что Юра Калганов, с которым они вместе учились в прошлом году в гимназии, зовет его в воскресенье на именины.

— Приглашены Борис Штанге, Колька Коробкин, Аля Томенко, три брата Соловьевых и еще несколько мальчи-

ков и девочек, которых ты не знаешь. Но все, все замечательные, вот ты увидишь, не чета твоим голодранцам с завода. Приходи обязательно... Юрка обещает мороженое и танцы.

— Оно бы ладно, да у меня ботинки каши просят. И подходящей рубахи нет. И штанов... А так я не могу пойти, ребята засмеют. Небось явятся разряженные, при воротничках,— попробовал отказаться Лука, хорошо зная, что обязательно пойдет, не сможет устоять перед соблазном хоть краешком глаза заглянуть в новый мир, ничем не похожий на тот, в котором он живет.

— У меня есть другие штаны и новая рубашка,— великодушно предложил Ваня.— Мы с тобой одинакового роста. Я принесу.

И хотя было мучительно стыдно, Лука согласился надеть чужую одежду. Он любил своих гимназических товарищей, всех этих Борек и Колек, с которыми его так неожиданно разлучило начальство.

В прошлом году все они учились в одном классе. После уроков гимназисты гурьбой шли по тихим заснеженным улицам Чарусы и, к негодованию прислуг, звонили во все парадные. Если у кого-нибудь случались деньги — а они чаще всего водились у Коробкина,— ученики заходили в булочную, покупали свежеиспеченный теплый хлеб и с наслаждением ели его прямо на улице.

Лука с нетерпением ждал воскресенья. Когда этот день пришел, он с несвойственной ему робостью отправился к Паровозному заводу, в Кирилло-Мефодиевский переулок, где квартировала семья Калгановых. Отец Юрки, Андрей Борисович, служил на Паровозном заводе инженером.

Как-то в прошлом году в метельный вечер Юрка затащил Луку к себе домой и оставил ночевать. Любознательный, вежливый мальчик понравился всей семье Калгановых.

Весь вечер мальчики просидели тогда в кабинете отца. Чего только не было в этом кабинете, под самый потолок уставленном техническими книгами: модель паровоза, пишущая машинка «Ундервуд», фотографический аппарат, блестящие шарикоподшипники, великолепнейшая готовальня с двумя рейсфедерами, коллекция старинных монет и минералов. Но самое большое впечатление на Луку произвела логарифмическая линейка, при помощи которой Андрей Борисович производил любые вычисления.

Покачиваясь в кресле, инженер с увлечением рассказывал о Паровозном заводе, о могучей силе локомотива, о паровом молоте весом в сто пудов, которым кузнец Сафонов, кующий ведущие оси для паровозов, раскалывает грецкий орех, не повреждая в нем ядра. Этот кузнец из раскаленного металла может отковать любую вещь. И на Кирилло-Мефодиевском кладбище, на могиле рабочих, расстрелянных в 1905 году, как дань уважения живых к мертвым лежат железные розы, откованные Сафоновым.

Когда Лука добрался до дома Калгановых, гости уже собрались. На улицу долетал молодой смех, шум.

Сыпался противный дождь-сеянец. Мальчик пришел без калош — их у него никогда не было — и, несмотря на то что тщательно вытер на пороге ноги, все-таки наследил на полу.

Заметив, что мать Юрки укоризненно смотрит на следы, оставленные его ботинками, мальчик, мучительно краснея, бросил:

— Терпеть не могу калоши и зонты... принадлежность стариков и старух.

— Это потому, что их никогда у тебя не было,— заявил Николай Коробкин, высокий четырнадцатилетний гимназист, сын владельца обувного магазина возле Университетской горки.

Лука покраснел пуще прежнего. Ему было неприятно замечание товарища: его слышала Шурочка Аксенова, стоявшая у рояля, за которым сидела голубоглазая красавица — четырнадцатилетняя Аля Томенко.

— Ты не обижайся на Кольку, он всегда, не подумав, рубит сплеча,— попытался успокоить товарища Ваня Аксенов и тут же шепотом добавил: — Он на извозчике приехал и привез с собой Алю.

Аля, к великой зависти остальных девочек, нравилась мальчишкам, и Лука знал, что за ней ухаживает студент с печоринскими усиками. В свой первый приход к Калгановым Лука слышал, как мать Юрки говорила дочери: «Аля раньше всех вас выскочит замуж».

Аккуратный Витя Соловьев, рисовавший лучше всех мальчиков в гимназии, принес альбом Нины Калгановой, сестры Юры. Он нарисовал в альбоме акварелью букет красных маков. И сейчас все девочки хвалили этот рисунок.

Учителя считали Витю талантливым, он был первым учеником в классе.

Лука взял альбом, с интересом принялся листать его. В альбоме, исписанном стихами Бальмонта, Фофанова, Игоря Северянина, оказалось стихотворение Вани Аксенова, несколько виньеток, выведенных черной тушью, и два или три акварельных рисунка. Стихотворение Вани Аксенова восславляло грядущую свободу, в нем правильно был выдержан размер, были хорошие рифмы. Лука дважды прочел его и подумал, что, попадись оно в руки инспектора, Ваню исключили бы из гимназии. На последней странице красивым почерком голубыми чернилами было написано: «Если друг твой собрался на праведный бой, не держи его цепью любви у порога»,— и стояла подпись Али Томенко.

Аля была удивительно хороша собой — уже не девочка, но еще и не девушка. У нее были светлые живые глаза, чудесный цвет лица, ровные белые зубы.

Аля взяла из рук Луки альбом, небрежно перелистала, как бы невзначай бросила:

— А мне Микола Федорец посвятил тетрадь своих стихов. Пишет он на украинском языке, и, вы знаете,— мама уверяет,— талантливо. Все, что сочиняет, присылает мне по почте.

Играли в флирт цветов, но игра эта скоро всем наскучила, и тогда Коля Коробкин, пощипывая едва наметившиеся усики, стал показывать карточные фокусы. Он давал кому-нибудь из девочек перетасовать колоду карт, потом вытягивал руку вверх, не глядя на карту, щупал ее пальцами и безошибочно отгадывал масть и достоинство. Угадав, он небрежно ронял карту на пол, себе под ноги, и этим обращал внимание на свои новые шевровые ботинки. Потом щупал следующую карту, говорил: «Король... пик, дама... бубновая, семерка... трефовая»,— и ни разу не ошибся.

— Ему все видно в зеркале,— догадался мальчик, сын учителя русского языка, Боря Штанге: он был в брюках и рубашке, сшитых на рост, и прятал под стул ноги, обутые в рваные башмаки с крашенными лиловыми чернилами бечевками вместо шнурков.

Коробкин презрительно повернулся к зеркалу спиной и продолжал угадывать карты. Зеркало было ни при чем.

Лука, украдкой наблюдавший за Алей, прижавшейся худеньким плечом к спинке дивана и улыбающейся полураскрытыми губами, заметил, что она держит четыре паль-

ца на коленях. Коля, обведя всех глазами, бросает на нее быстрый взгляд и безошибочно говорит: «Король». Когда она показала один пальчик, Коробкин сказал: «Туз». Восемь пальцев — восьмерка.

— Пускай Аля выйдет в другую комнату, она помогает Коробкину,— потребовал Лука.

— Как это помогает? — неумело попробовала возмутиться девочка и прищурила смеющиеся глаза, словно погасила в них теплый свет.

— Показываешь пальцами, вот как помогаешь. Четыре пальца — король, два — валет, три — дама. Как в очко.

— Теперь все понятно,— подхватил Женя, младший Соловьев, одетый в поношенный костюм старшего брата.

Девочки заслонили Алю. Коробкин, оставшийся без помощника, отказался продолжать фокусы.

Сели в круг. Нина Калганова, некрасивая, с приплюснутым, утиным носом девочка, вошла в центр круга с пустой бутылкой в руках, опустила ее на пол и закрутила. Бутылка долго вертелась. Наконец остановилась, указывая горлышком на Витю Соловьева. Нина подошла к нему и, склонив отяжеленную косами голову набок, поцеловала мальчика в губы. Теперь, по правилам игры, наступила Витина очередь крутить бутылку. Он встал со стула, на который, улыбаясь, опустилась Нина. Горлышко бутылки указало на Алю. Покраснев, мальчик чмокнул ее в нежный лоб, обрамленный белокурыми локонами,— дань последней моде. Аля пустила бутылку, которая завертелась на полу. Мальчики настороженно следили за мерцанием зеленого стекла. Наконец бутылка остановилась против смутившегося Луки. Аля поцеловала его в губы. Это был первый в жизни мальчика девичий поцелуй.

Бутылка, пущенная Лукой, остановилась против Коробкина.

— Не хочу я с ним целоваться, от него луком пахнет,— пробасил гимназист.

Все расхохотались, приняв грубость за веселую шутку.

Лука покраснел и сжал кулаки. Еще одна выходка — и он бы кинулся на него с кулаками, хоть и любил Коробкина,— это был добрый и отзывчивый паренек. В прошлом году они сидели за одной партой, «на камчатке». Николай приносил с собой обильные завтраки и всегда делил их поровну с товарищем. Как-то даже предложил

украсть в отцовском магазине штиблеты для Луки, но Лука наотрез отказался.

Коробкин умело подражал взрослым, любил порисоваться и, разговаривая, старался избегать ученических выражений, через силу басил. Он был старше своих товарищей, а давно известно, как презирают гимназисты тех, кто хоть на полгода их моложе. Он окликнул Юрку, и они вместе вышли во двор.

— Юра, ты бы шинель накинул на плечи, холодно на улице,— попросила Зинаида Лукинична.

— Ах, мама, опять ты со своими телячьими нежностями! — отмахнулся сын.

Слышно было, как мальчики долго топтались на крыльце, хохотали — видно, рассказывали друг другу анекдоты — и вернулись пропахшие папиросным дымом.

К молодежи вышел Андрей Борисович, отец Юры, пожилой небритый человек в очках и серой толстовке. Кивнув головой, он пригласил:

— Молодые люди, прошу к столу.

Все повалили за ним в столовую, где на столе, застланном кремовой скатертью с бахромой, стояли мельхиоровый самовар, вазочки с вареньем и большой пирог с вылепленными из теста инициалами «Ю» и «К».

Андрей Борисович слыл прекрасным семьянином и все свои средства и энергию отдавал на воспитание двух детей. Ему было далеко не безразлично, с кем дружат его чада, и, прежде чем пригласить к себе в дом сверстников сына и дочери, он придирчиво отбирал среди них достойных. Андрей Борисович запрещал детям водить дружбу с двоечниками, забияками и шалунами, с теми, кто вызывал в нем хоть малейшее подозрение.

За столом соседом его оказался Ваня Аксенов. Инженер уже знал, что мальчик сочиняет стихи, и спросил, что он сейчас пишет.

— Поэму о декабристах! — выпалил Ваня.

— О декабристах? — удивился Андрей Борисович.

— Да, я назову ее «Бунт поэтов». Ведь почти все декабристы были поэтами.

— Что же вы читаете сейчас? Каким писателем увлекаетесь? Кто ваш кумир: Жюль Верн или Майн Рид? Я как-то перечитал «Оцеола, вождь семинолов», так, вы знаете...

— Отец Бори Штанге, Николай Александрович, подарил мне томик Вильяма Шекспира. Я едва одолел «Гам-

лета». Чепуха несусветная. Призрак отца, сумасшедшая Офелия, Лаэрт — все это не по моим зубам. Да и Гамлет какой-то никчемушный, не от мира сего, вроде нашего Кольки Коробкина... Коробкин или убьет кого-нибудь, или повесится от тоски. Я его знаю! — скороговоркой выпалил Ваня.

— Что, что? — нахмурился Андрей Борисович, судорожно отодвигая от себя стакан.

— И вообще я ненавижу пьесы в стихах, ведь в жизни люди не разговаривают в рифму. Мне понравился ваш рассказ о заводе — помните, в прошлый раз вы говорили! Я хотел бы написать о кузнеце Сафонове. Ведь не каждый может отковать из железа венок роз. Я ходил на кладбище смотреть эти розы на могиле рабочих... Вы знаете, я социалист... да и не один я, половина нашего класса социалисты.

— Скажите: вы дружите с Ивановым? — спросил инженер, меняясь в лице.

— Конечно. Это мой самый верный друг. Он вам нравится? Папа называет его анархистом, но папа, как всегда, ошибается, Иванов, скорее, коммунист. Если бы у него был рубль, а у меня ни копейки, он полтинник отдал бы мне. Отец у него революционер, совсем недавно его посадили за решетку, а теперь о нем ничего не слышно. Я бы хотел, чтобы и меня упекли в каталажку. Ведь это так интересно — пострадать за народ... Скажите, Андрей Борисович: у вас нет «Капитала» Маркса?

— Нет, у меня в доме такие книги не водятся,— сказал инженер и даже глаза опустил.

— А вы не смогли бы достать?

— Нет, не могу.— Андрей Борисович отодвинул стул и вышел из-за стола.

Гости вели себя за столом шумно. Озадаченный разговором с Ваней Аксеновым, Андрей Борисович обвел всех взглядом и остановил его на Луке. Мальчик сидел рядом с Шурочкой Аксеновой, она была в чистеньком гимназическом платье с передником.

Шурочка положила себе и Луке в розетки варенье из крыжовника и с испугом поглядывала на Коробкина, боясь, как бы он не избрал ее мишенью для своих резких острот. Все знали, что он питал слабость к остротам.

Лука редко встречался с Шурочкой и теперь наслаждался тем, что сидит рядом с нею, ее присутствие напол-

няло все его существо радостью. Вот так бы сидеть долгие-долгие часы, слушать ее лепет, смотреть в лицо и ни на шаг не отходить от нее!

— Как там наши учителя? — спросил Лука у Бори Штанге.

— Кларе Карловне Коробкин недавно положил на стул липкую бумагу, она села и испортила платье. Весь класс хохотал до упаду.

Лука нахмурился. Он любил Клару Карловну, милую старушку, преподавательницу немецкого языка.

Аля недавно была в театре и теперь рассказывала Виктору Соловьеву содержание пьесы. Действительно, она была очень хорошенькая, и даже Лука, влюбленный в Шурочку, не мог не заметить этого.

— Ты что такая грустная, Шурочка? — участливо спросила Аля, взглянув на подругу.

— Совсем я не грустная,— ответила девочка и густо покраснела. Она не могла забыть блаженного выражения лица Луки, когда Аля поцеловала его.

Все посмотрели на Шурочку. Она оказалась в центре внимания.

— Скажите, мисс Аксенова: это правда, что вы имеете честь проживать во дворе ассенизационного обоза? Там ведь, наверное, дурно пахнет,— умышленно громко спросил Николай Коробкин и зажал пальцами свой крупный нос с горбинкой.

Все сразу умолкли. Наступила тишина. И Шурочка и Ваня Аксенов мучительно покраснели.

— Да, это правда...— придя в себя, пролепетала Шурочка.— Мой папа...— но она так и не докончила того, что хотела сказать.

Опрокинув стул, Лука поднялся из-за стола, подошел к Коробкину, ноздри его расширились, брови вытянулись в одну линию.

— Красив, как боевой петух,— съязвила Нина Калганова, весь вечер ревниво наблюдавшая за Шурочкой и Лукой.— Иду на «вы»!

— Коробкин, если вы сейчас же не извинитесь перед Шурочкой, я вам дам... дам по мордасам...

— Ты мне... по мордасам?..— опешил Коробкин, тоже встал из-за стола и попятился к стене.

— Да, я! — крикнул Лука и оглядел товарищей.

По выражению их лиц и по словам, брошенным Ниной, он понял, что все они одобряют выходку Коробки-

на. «От них всего можно ожидать. В конце концов это совсем чужие мне ребята, непохожие на заводских. Все они одним миром мазаны. И неграмотный Кузинча благороднее Коробкина в сто раз. Интеллигенты. Маменькины сынки».

— Ты... сын каторжника, ударишь меня?.. — Неуклюжий, не по возрасту высокий Коробкин сделал шаг вперед.— А в полицию не хочешь?

Из кухни слишком поспешно при своей полноте выкатилась мать Юры, Зинаида Лукинична, добродушная женщина с луноподобным лицом.

— Господи, что вы, перестаньте!.. Я не позволю затевать драку у себя на квартире!.. Андрей Борисович, да успокой ты их, ради бога!

— Господин Коробкин,— сурово сказал Андрей Борисович,— убирайтесь вон из моего дома!.. Немедленно, сейчас же! — Инженер раскрыл дверь и стоял, показывая на нее рукой, заросшей кольцами курчавых волос.

— Пойдемте, Аля, я вас провожу домой,— заторопился Коробкин, оправляя на себе тужурку.

— Пока вы не извинитесь, Коля, я не стану разговаривать с вами,— ответила Аля, смущенная ссорой.— Как вам не стыдно оскорблять друзей.

— Хорошо, я извинюсь. Шурочка, ангел души моей, простите меня,— пробормотал Коробкин, пощипывая жиденькие усики и скрывая свою досаду.

— Под носом взошло, а в голове не посеяно,— съязвил Лука.

Вечер, так хорошо начавшийся, был непоправимо испорчен. Лука знал, что никогда больше не придет в этот дом. Трещина, разъединившая его с гимназическими товарищами, еще больше расширилась. Он выпил пустого чаю, не решившись бросить в стакан кусок сахару, посидел за столом минут десять и, даже не попрощавшись с Шурочкой, пробрался в коридор, незаметно для всех оделся и вышел.

В пустынном переулке стоял извозчик. С фаэтона привстал Микола Федорец в гимназической шинели, нетерпеливо спросил:

— Алька Томенко скоро выйдет?

Лука ничего ему не ответил. Подгоняемый ветром, он быстро зашагал по тротуару.

XXIII

Бездомная кошка, прыгнув через форточку на стол в комнате Дашки, разбила на лампе стекло. Дашка с огорчением посмотрела на осколки, тонкие и выпуклые, словно яичная скорлупа.

— Брысь! — заорала она на кошку и схватила кожаный Степанов ремень, висевший над кроватью; она никак не отваживалась убрать его.

Кошка стремглав вылетела в форточку. Дашка подошла к окну и сквозь ветви сиреневого куста увидела во дворе Луку, игравшего с Жучком.

— Загляни ко мне на минутку! — позвала она.

Мальчик вошел в комнату, спросил:

— Заниматься будем? Сегодня по расписанию у нас арифметика.

— Обязательно, да проклятая кошка разбила стекло. На вот два рубля, сбегай к Обмылку, купи стекло, а то придется сидеть без света.

В полутемной лавочке Светличного стекол не нашлось, и Лука, не раздумывая, отправился в город. У городского двора встретил Шурочку Аксенову. Она шла в гимназию. Поздоровались чинно, как взрослые, и, чувствуя непонятную неловкость, пошли рядом.

— Что вы сейчас читаете? — по своему обыкновению, спросила девочка, не отводя глаз от земли.

— Стихи Тараса Шевченко. Папа очень любил этого поэта, знал многие его стихи наизусть. Я рылся в его книгах и отыскал «Кобзаря».

— Который теперь час? — спросила девочка.

Лука взглядом бывалого человека посмотрел на солнце, ответил:

— Около двенадцати, пожалуй, будет.

Шурочка заторопилась.

— Боюсь опоздать на урок. Пойдемте быстрее.

Они торопливо прошли около версты по залитому жидкой грязью Змиевскому шоссе и свернули на Державинскую улицу, густо обсаженную молодыми тополями. У аптеки с красивыми голубыми и красными шарами в окнах стоял обшарпанный фаэтон, извозчик в поддевке дремал на козлах, старенькая кляча с подвязанной к голове торбой лениво помахивала куцым хвостом, у передних ног ее, подбирая просыпанные зерна, прыгали воробьи.

При виде фаэтона Луку будто осенило. Он даже вспотел от волнения.

— Эй, Ванька, живо на Старомосковскую, к женской гимназии! — крикнул он задыхающимся голосом и, подхватив Шурочку под остренький локоток, посадил в фаэтон.

Шурочка почти упала на потертую кожаную подушку.

— Что вы, Лука, я пойду пешком, у меня еще есть время,— вся вспыхнув, залепетала она.

Но извозчик проворно снял брезентовую торбу с лошадиной морды. Нахлестывая клячу кнутовищем, он помчался по тряской мостовой, плутовато оглядываясь на необычных ездоков.

Лука был на седьмом небе. Впервые в жизни он ехал на извозчике, да еще с девочкой, которая ему нравилась, совсем как Колька Коробкин, катавшийся в санках с Алей Томенко по Сумской улице на рождество.

— Быстрей! Быстрей! Гони во всю мочь! — подгонял он извозчика и даже подталкивал его в широкую спину.

Но приподнятое настроение исчезло так же быстро, как появилось. Весь бледный, Лука в чрезвычайном волнении наклонялся вперед, словно этим движением хотел помочь лошади, и в то же время измерял расстояние, соображая, сколько придется платить.

Его мучило, хватит ли двух рублей, чтобы расплатиться с извозчиком. Весь погруженный в расчеты, он даже перестал разговаривать со своей притихшей спутницей.

Неподалеку от Петинской улицы сорвалось переднее колесо, и седоки, ударившись о кучерскую спину, едва не вывалились в грязь. Чертыхаясь, извозчик почесал затылок, слез с козел, достал из-под сиденья вагу и нехотя принялся налаживать колесо. Провозился он минут десять. Нетерпеливо ждавшая на тротуаре Шурочка не выдержала, пробормотала, что больше ждать не может.

— Я провожу вас до гимназии...— взмолился Лука.

— А платить кто, губернатор будет? — завопил извозчик.

— На вот, на! — Лука стыдливо сунул в огромную ладонь Ваньки два влажных от пота Дашкиных рубля и почувствовал, как по спине его пробежал озноб.

— Маловато, барчонок,— словно разгадав все, что творилось в душе мальчика, насмешливо проговорил извоз-

чик.— За такой прогон полагается не менее трех целковых. Это уж такса.

— Хватит! И так много даю,— заикаясь, выдавил из себя Лука.

— Гони зелененькую! Сено опять вздорожало.

— Говорю, хватит.— Мальчик повысил тон.

— А то можно и городового кликнуть, да в участок. Нет денег — не лихачествуй.

— Заломил втридорога и еще торгуешься! Думаешь, я никогда на извозчике не ездил? Ездил — и цену знаю... Пойдемте.

Лука взял Шурочку за руку. На душе у него стало муторно. С извозчиком, кажется, разделался. Но где теперь взять деньги на стекло? Может, продать что-нибудь? Но что он может продать, когда одни-единственные штаны — все его богатство?

Навстречу, держа за голову голубоватую скользкую селедку, шагал парень лет восемнадцати. Лука издали уловил что-то недоброе в его лице и в том, как он вдруг перехватил селедку из руки в руку. Поравнявшись с Лукой, парень ни с того ни с сего размахнулся и сильно мазнул селедочным хвостом по его щеке. От оскорбления и обиды Лука света божьего невзвидел. Не будь здесь Шурочки, он, может, выругал бы парня, на том дело и кончилось бы. Но оскорбление было нанесено публично, при даме, и Лукашке полагалось вступиться за свою честь.

— За что? — крикнул он, схватил валявшийся на мостовой кусок кирпича и, не раздумывая, огрел по голове парня, не ожидавшего от него такой прыти.

Парень взвыл от боли и бросился к нему. В руке Луки был уже новый кусок кирпича. Светлые глаза его потемнели и сузились.

— Не подходи! — едва слышно прошептал он.— Еще один шаг, и я проломлю тебе череп.

Парень опешил, жалкое выражение появилось на его лице. Лукашка видел, что парень испугался, и смело шагнул вперед. Парень попятился, озираясь вокруг, ища сочувствия у собирающихся зевак.

— Бей свой своего, чтобы чужой духу боялся! — услышал Лука знакомый голос, поднял голову и увидел желтую собачью будку на колесах. На ней восседал забрызганный грязью Алешка Контуженный.

Курносое, сморщенное лицо гицеля сияло от удовольствия: Алешка любил драки и знал в них толк.

— Дай ему, Лукашка, тулумбаса, пусть знает наших! — прорычал Контуженный и со знанием дела перетянул парня кнутом вдоль спины.

Посрамленный парень перебежал с мостовой на тротуар и, диковато озираясь, отдаляясь от враждебной толпы, крикнул на прощание:

— Теперь лучше не ходи по нашей улице!

— Правильно ты сделал. Никогда никому не прощай обиды, а дойдет дело до драки — бей первым,— одобрительно сказал Луке кузнец дядя Миша, тоже оказавшийся в толпе.

Луке хотелось, чтобы эту похвалу услышала Шурочка, но ее и след простыл, только вдалеке, между раздетыми деревьями, мелькало ее серое демисезонное пальтишко.

— Что ж ты стоишь, садись, подвезу до дому,— предложил Алешка, и Лука взобрался к нему на будку.— Видать, драка со Степкой пошла тебе впрок.

— Господин собачник, отдайте Амишку, богом прошу вас,— жалобным голосом протянула старенькая женщина в поневе и с кошелкой в руках.

— Третий раз тебе говорю: гони трешницу — и ни копейки меньше,— заломил Алешка.

— Возьмите два рубля. Бог тому свидетель, больше нет ни гривенника.

— Меня твоя псица за руку тяпнула, а она, может, бешеная. Мне уколы делать придется.— Контуженный показал женщине трясущуюся руку со следами собачьих клыков.

Будка тронулась и заскрипела. Усталая женщина поплелась рядом.

— Возьмите два рубля! Божеская цена... Аночка, девочка моя, слезьми изойдет за Амишкой... Амишка, милая! — Женщина схватилась руками за грязную железную решетку, из-за которой выглядывали жалкие собачьи морды с высунутыми красными языками.

— Алексей-наследник, отдай собачонку. Два рубля тоже деньги,— попросил Лука, немало пораженный тем, что вновь, через такой малый промежуток времени, повторилась комбинация с двумя и тремя рублями.

— Тпру! Стой, окаянный! — Алешка натянул вожжи, спрыгнул на булыжную мостовую, поблескивающую, словно рыбья чешуя, под солнцем.— Отсчитывайте ваши франки, мадам. Так и быть, уважу вашей Аночке.

Женщина сунула ему в руку две желтенькие бумажки. Алешка, орудуя железным прутом, отделил из общей своры собак рыжеватую дворняжку и выпустил ее на волю. Искусанная собачонка завизжала, запрыгала вокруг обрадованной хозяйки. Женщина подняла ее на руки, собачонка раза три благодарно лизнула ее в лицо.

— Пошел! Эй там, берегись! — крикнул Алешка, прыгнув на козлы и хлестнув гнедого маштака кнутом.— Осточертела мне эта зануда, от Конного базара плетется за мной, и канючит, и канючит: «Аночка», «Аночка». А мне что с нее, с этой Аночки? Вырастет и пойдет шлендрать по Фонарному проулку.

— Алеша, друг, выручи меня. Дай мне взаймы два рубля. Очень нужно,— вкрадчиво попросил Лука, весь холодея в ожидании отказа.

— Для чего это тебе вдруг понадобились такие деньги? — насторожившись, спросил гицель, всегда недоверчиво относившийся к людям.

— Хочу книжку купить.

— Вот еще чего надумал! Обойдешься без книжки. Тоже мне гимназист! Поступай ко мне в помощники, вот тебе и вся наука, а при нашей специальности деньги всегда будут — и на водку и на табачище, подрастешь — и на бабское поголовье.

До самой бойни ехали молча, преследуемые режущим душу визгом собак.

— А все-таки ты удружи, дай мне два рубля,— мучительно краснея от унижения, еще раз попытался выцыганить деньги мальчик.

— Да что я тебе, Ротшильд или Светличный, что ли? Сказал — не дам, и баста!

— Хочу счастья попытать. Приду сегодня в казарму играть в очко,— соврал Лука, робко надеясь, что не все еще потеряно и можно эти деньги выиграть в карты.

— Приходи, а там будет видно, может, и смилостивлюсь.

Вечерами в казарме резались в карты. Люди, окутанные облаком табачного дыма, просиживали за столом по нескольку часов сряду, страсти кипели, пока в огромной висячей лампе не выгорал до последней капельки керосин. На игру часто являлся Обмылок, даже заезжал иногда Назар Гаврилович Федорец, и голодранцы порой выигрывали у них крупные суммы, которые и спускали на другой день.

Когда не хватало денег, на кон шли вещи, даже одежда, ее снимали с себя там же, в казарме, не отходя от стола.

Частенько в казарму набивались мальчишки и в течение получаса с жадным интересом наблюдали, как радость сменяется у игроков разочарованием, самоуверенность — тревогой.

Не доезжая до «собачьего» завода, Лука спрыгнул с будки и, опасаясь встречи с Дашкой, пошел в Змиевскую рощу. Он ходил туда всякий раз, когда ему хотелось остаться одному.

До вечера бродил он среди облетевших лип, по мокрой опавшей листве, источавшей горьковато-вяжущий запах.

Ему хотелось есть; но было мучительно стыдно возвращаться домой. Он подошел к пруду, поглядел на темную, холодную воду, сел на берег и вдруг страшно на себя разозлился. Почему это ему вдруг вздумалось прокатить Шурочку на извозчике, истратить на эту глупость чужие деньги? Зачем он ударил парня по голове? Ведь можно было избежать всех этих неприятностей и сейчас спокойно сидеть в теплой комнате, заниматься с Дашкой, решать какую-нибудь интересную задачу, прислушиваться, как за стеной в казарме поют песни. С появлением на заводе Ванды там иногда здорово пели.

Дул пронзительный сиверко, шевелил мертвые травы, холодил не только тело, но и душу. А на душе было нехорошо, противно.

«Уйти из дому и никогда не возвращаться назад,— не в первый уже раз подумывал он.— Ну куда я могу уйти?»

Он просидел на берегу допоздна, пока в черной воде не засветились огоньки загоревшихся в небе звезд. Делать было нечего, пора возвращаться домой и покаяться перед Дашкой. Она добрая, поймет и простит.

Но чем ближе Лука подходил к заводу, тем нерешительней становился его шаг. «Скажу — потерял деньги»,— мелькнула спасительная мысль. Но он тут же отогнал ее прочь. Он презирал лжецов.

У ворот повстречался Кузинча, возвращавшийся с работы.

— У тебя не найдется двух рублей?

— Откуда? — удивился Кузинча. Впервые в жизни Лука обратился к нему с такой необычной просьбой.

— А ты не знаешь, у кого можно занять?

— Может быть, у Дашки? Пойди попроси. Тебе она не

откажет.— И Кузинча посмотрел на бледно-желтое окно Дашкиной комнаты, за которым, видно, горел светец.— Иди, что ж ты, она спрашивала — куда ты запропастился? Можно еще попытать счастья у Обмылка. Ты знаешь, он после смерти Леньки переменился ко мне. Как-то погладил по голове и дал Ленькины ботинки. Смотри, совсем новые.— И Кузинча поднял ногу.

— Может, ты возьмешь у него, а я потом тебе отдам?

— Э, нет, не хочу портить с ним отношений. А то ведь как оно: займешь деньги — и сразу попадешь в кабалу: «Кузинча, принеси воды, Кузинча, наруби дров». Уж я это знаю! Тебе надо, ты и иди к нему.

Лука не пошел к Светличному, хорошо зная, что лавочник не даст и гривенника. Не пошел он каяться и к своей ученице, а прямо направился в казарму — подышать запахом тютюна и тюри, послушать всякие захватывающие истории.

В казарме было полно людей. В темном углу, окруженный бабами, балагурил Никанор, похожий на святого с церковной иконы.

— Я верю,— басил Никифор своим чугунным голосом,— что на всех планетах проживают людишки, такие же, как и мы, работяги. Когда-нибудь народы с разных там Марсов и Юпитеров будут встречаться промежду собой, прилетать к нам в гости, а мы к ним, и будем гордиться тем, что мы жители Земли.

— Есть чем гордиться! — вставила в разговор Ванда, освещая лицо красным огоньком папироски.— Не станешь же ты гордиться нашим житьем-бытьем? Да и что ты покажешь марсианам, чем похвастаешь? Нашей казармой, да? А больше нам показывать нечего, разве что мой шик.— И она вызывающе растянула свою широкую юбку с бархатным перехватом.

— А я, если начнутся такие путешествия между разными там планетами, да еще без билетов, отпрошусь на какой-нибудь Марс и ни за что не вернусь в Чарусу. Думаю, там нарежут мне с мужем осьминник земли, а больше ничего и не надо,— сказала жена молодого драча, недавно приехавшего на завод из деревни.

— Три аршина вам нарежут, а больше не жди. Думаешь, там другие порядки и ангелы проживают, а не люди? Думаешь, там нет городовых? — съязвил Контуженный.

К нему робко приблизился Лука, спросил:

— Как ты, сдержишь свое слово?

— Какое такое слово? — недобро улыбнулся Контуженный, обнажая острые зубы.

— Дашь, что обещал? — Лука не отважился назвать сумму. Два рубля представлялись ему большими деньгами.

— Я уже гол как сокол, все до копейки продул Гладилину.

— На погосте сегодня одну барыню хоронили. Скончалась от порока сердца... Интересно — а у собак бывает порок сердца? — заслышав собачий лай во дворе, спросила Галька Шульга и сплюнула на пол подсолнуховую кожуру.

— Может быть!.. Особливо если собаке создать человеческие условия,— ответила Ванда и погасила окурок о каблук туфли, на мгновение оголив молочно-белую ногу.

Бабы дружно расхохотались. Никанор смеялся громче всех.

— Перестаньте ржать, кобылы! — гаркнул Гладилин.

— Завели разговор черт знает о чем. Пойдем, Галька, погадаю тебе на военного короля,— предложила Ванда и вынула из-за пазухи атласные карты.

Женщины вышли из кружка и, отодвинув горшки с геранью, сели на подоконник.

В центре казармы за деревянным кухонным столом играли в «очко». Банковал Гладилин. Перед ним лежала куча бумажных денежных знаков, освещенная призрачным светом висячей лампы.

Гладилин слыл заядлым картежником, называл себя чемпионом мира по игре в «подкидного дурачка», хвастался тем, что якобы с одним петербургским профессором написал учебник картежной игры, хотя такой книги никто никогда не видел. Любимая поговорка его была: «Козырь надо уметь взять». Он был ловкач и умел изо всего выжать для себя прибыль.

Гладилин банковал долго. Никому не удавалось сорвать банк, хотя сидевший напротив него Обмылок рисковал напропалую. Твердые пальцы Гладилина все загребали и загребали ассигнации; шумно радуясь, он набивал ими карманы. Лука подошел к столу от нечего делать. Но постепенно его все больше и больше стал охватывать азарт, и он вместе с игроками переживал изменчивые повороты борьбы. Ему до смерти хотелось, чтобы Гладилин продулся.

— Иду на полтинник,— задыхаясь от волнения, пробормотал Яша Аносов и показал Луке засаленную бубновую десятку.

— С такой картой можно рискнуть на все,— не задумываясь, посоветовал Лука.— Я бы пошел.

Гладилин, сам похожий на трефового короля, с наигрышем подал Яше вторую карту. Выпала десятка пик.

— Теперь бери себе! — выдохнул Яша, уверенный в выигрыше: две его карты могло побить только очко — 21.

Гладилин широким жестом счастливца и удачника открыл свою карту — туз. По всем правилам, из-под низа колоды, вынул вторую. Оказалось — девятка треф.

— Тоже двадцать! Клади полтинник.

По правилам при одинаковом количестве очков выигрывал банкомет.

Дрожащей рукой Яша бросил на стол мелкие бумажки.

— Ну и везет же тебе, Гладилин! Или ты слово такое знаешь, или у тебя карты крапленые,— сказал Яша, вылез из-за стола и встал за игроками, в толпе, не в силах оторваться от возбуждающего зрелища игры. Он играл каждый вечер, но не позволял себе проигрывать за день больше полтинника.

— В картах везет, в любви не везет,— ехидно ввинтил Илько Федорец и сначала многозначительно посмотрел в угол, в сторону смеющейся Ванды, а потом на красное, вспотевшее лицо Обмылка.

Гладилин снова принялся банковать, умело тасуя колоду порезанными пальцами. Но на этот раз счастье изменило ему, Обмылок сорвал весь банк.

За каких-нибудь полчаса Гладилин спустил все, что выиграл за вечер. У него больше не оставалось ничего, что можно бы бросить на кон. Его часы, тужурка и сапоги лежали возле партнера.

К игрокам ленивой походкой приблизилась Ванда, раскрыла веером колоду карт, замахала ими, охлаждая лицо.

— В большой цене пойдет, коли в карты проиграть,— подсказал Алешка Контуженный и посмотрел на порочную женщину.

— Ставлю в банк Ванду!.. Выиграешь — твоя... И не на вечер, а на веки вечные, навсегда,— с напускным спокойствием густым голосом пробормотал Гладилин.— Больше у меня ничего нет. Ванда — все мое богатство!

— А ты у нее спросил? — поинтересовался Илько Федорец.— Она ведь все-таки не вещь, а баба. Может, она не хочет, чтобы ее проигрывали?

— Я согласная, только бы проиграл меня Гладилин,—

сразу ответила Ванда.— Надоел он мне со своей любовью хуже горькой редьки!

— Во сколько ее ценишь? — так и затрусившись, спросил Обмылок, и жирные пальцы его рук, брошенных на стол, зашевелились.

— Во сто рублей, как хорошую скаковую лошадь,— объявил Гладилин и взял в руки колоду.

— Пятьдесят,— выдохнул Обмылок.

— Сто! — Гладилин стукнул по столу кулаком.

— Пятьдесят,— взмолился Обмылок.

— Дурак, я тысячи стою. Играй! — крикнула женщина.

— Иду на Ванду! Давай сразу две карты,— потребовал Обмылок и острым языком облизал пересохшие губы. Он и сам не признавался себе в том, что ходит на завод лишь затем, чтобы увидеть Ванду, давно околдовавшую его.

У Гладилина вдруг открылись глаза: он понял, что надоел Ванде и она искренне хочет, чтобы он проиграл ее. Он бросил две карты перед своим соперником. Обмылок раскрыл их. Лука так и ахнул.

— Очко!

На столе рядышком лежали два туза. Лицо Гладилина сразу сделалось жалким и старым.

— Что ж, Ванда, пойдем со мной,— с озорством проговорил Обмылок и посмотрел на нее помолодевшими глазами.— С тобой и в театр не стыдно пойти.

— Раз выиграл, пойдем,— ответила Ванда.— Только не сразу. Вот допоем песни и пойдем. Выпить-то у тебя найдется? — И она запела про свою бесшабашную долю.

— Игра еще не окончена. Сдавай! — потребовал от Обмылка Илько Федорец. Он был в проигрыше и еще надеялся отыграться.

Обмылок взял в руки потрепанную колоду, сказал, разглядывая ее:

— Надо бы новую купить,— а сам подумал, что после сегодняшнего выигрыша больше ему незачем ходить в казарму.

— Дайте мне карту,— вдруг решившись, робко попросил Лука.

— Получай. Привыкать пора: все блатные играют, а тебе, когда батька заарестовали, и податься больше некуда,— раздраженно сказал Обмылок и еще раз, для верности, стасовал карты.

По неписаным законам в игру имел право вступить каждый желающий, банкомет не имел права отказать.

— А деньги у него есть? — усомнился Илько.— Грошей не найдется, так мы штаны снимем. На шарамыжку у нас нельзя.

Все захохотали.

— Возьми меня в долю,— попросил Гладилин, но мальчик сделал вид, что не слышит.

Обмылок дал карту. Лука, как заядлый картежник, заглянул в нее одним глазком. Оказался червонный туз.

— На сколько идешь?

— На два рубля.— Лука дал себе зарок: «Выиграю два рубля — и выйду из игры».

— Дурак, с такой картой иди на все,— посоветовал Гладилин.

Дайте еще карту.— Мальчик протянул руку и вдруг почувствовал, что страх сковал его. «Вот сейчас проиграю, и надо будеть платить, а у меня за душой ни копейки».

Обмылок дал красавца валета в расшитой белыми шнурками венгерке.

— Еще! — Лука побледнел, словно ставил на карту жизнь, про себя произнес: «Господи, помоги мне!»

— Перебор! — оглушил его Яша Скопец, разглядевший в дрожащих руках мальчика трефовую девятку.

— Как перебор? — не в силах сосчитать очки, спросил Лука; он уже понял, что произошло несчастье.

— Клади два рубля на кон,— приказал Обмылок и подал вторую карту молодому драчу.

— У меня нет при себе денег,— болезненно сморщившись, промямлил мальчик, и на какое-то мгновение люди в казарме показались ему ожившими картами: короли, дамы, валеты.

— Что, что? — угрожающе переспросил лавочник, ноздри его огромного носа раздулись.

Садиться за игру без денег считалось здесь преступлением. Человека, нарушившего этот закон, избивали до полусмерти.

— Нет денег, снимай штанцы! — потребовал Илько.

Лука был словно в горячке. Словно он выпил стакан самогону. Но помнил, что возражать в таких случаях бесполезно. Он медленно снял свои старенькие, латаные-перелатаные штаны и, свернув их в трубку, бережно положил на стол.

— Дать еще карту? — насмешливо спросил Обмылок.— Вон на тебе еще подштанники остались.

Лука залился краской стыда, словно стоял перед всеми совсем голый. Как теперь быть, что делать? Этого он не знал. Не идти же к Дашке без штанов.

— Делать нечего, бери еще карту. Авось повезет. Тут дело такое: или пан, или пропал,— посоветовал Яша Скопец.

— Давай карту. Ставлю на собственные штаны,— набравшись духу, почти крикнул Лука.

К столу развинченно играя, подплыла Ванда, погладила лысую голову Обмылка, небрежно бросила:

— Отец бил сына не за то, что играл, а за то, что отыгрывался.

Дыхание у Луки перехватило. Он взял три карты. Туз и две дамы.

— Довольно! — крикнул он с похолодевшим сердцем.

Следующей картой оказался пиковый король. «Если бы я взял эту карту, у меня было бы двадцать одно»,— с горечью подумал Лука.

Обмылок набрал восемнадцать очков. Он выиграл и под дружный хохот игроков потребовал:

— Снимай подштанники и больше не смей подходить к столу!

Лука чувствовал себя так, как, наверно, чувствует себя игрок, промотавший все свое состояние. Он растерялся. И вдруг увидел в раме двери высокую фигуру Дашки. Крутые брови ее удивленно приподнялись. И в то мгновение, как он увидел ее, ему захотелось броситься к ней, упасть на колени и поцеловать ей ноги. Когда-то — он не помнил когда, но хорошо знал, что это было — вот так же он целовал ноги своей матери.

Дашка сразу все поняла.

— Смалились! Мальчишку в свой шахер-махер втянули! Небось и карты-то у вас меченые! — Она презрительно швырнула на стол скомканную синюю пятерку, сняла со стола Лукашкины штаны и, взяв мальчика за руку, увела его за собой, как маленького.

Выйдя во двор, Дашка с ласковой укоризной потребовала:

— Дай мне честное слово, что никогда не станешь играть в карты.

— Даю! Три, десять слов даю! — словно в какой-то горячке прошептал мальчик, давясь слезами и глотая свежий воздух.

XXIV

Морозным февральским вечером, вернувшись в свой особняк на Мойке от любовницы, балерины императорских театров Нины Белоножко, Змиев застал сына Георгия. Сын был в полной боевой форме, при шашке и револьвере. К этому времени Георгий поправился после ранения и командовал эскадроном одного из кавалерийских полков, вызванных недавно с фронта и расквартированных в Семеновских казармах.

Сын, видимо, давно уже ждал отца. В кабинете на резном индийском столике стояла початая бутылка коньяку и блюдечко с ломтиками лимона; валялись кольца обсосанных лимонных корок.

Георгий почтительно поцеловал руку отца. Перед его отъездом на фронт они примирились. В сущности Георгий всегда любил своего старика и дорожил его расположением.

— Где ты был, отец? Я жду тебя уже два часа.

— Был в думе, а потом заезжал к Калабуховым.

— И они ошеломили тебя последними новостями?

— Теперь все живут новостями.

— Ну что ж, подведем печальные итоги на сегодняшний день. Стачка на Путиловском заводе переросла во всеобщую забастовку... Самодержавие еще не поколеблено, но земля под ногами горит. Как ты расцениваешь ситуацию? — спросил Георгий.

— Кадеты добиваются ограничения монархии. Возможно, они выиграют в этой неразберихе. Я, как ты знаешь, не сторонник резких потрясений. Ты, кажется, возбужден?

— Возбужден! Социалисты и в особенности экстремисты просачиваются в войска, их агитаторы шныряют по казармам. Дисциплина падает. Новые контингенты призывных не прошли настоящей муштры. Все чаще случаи, когда солдаты не становятся во фронт и не отдают честь офицерам. Командующий войсками Петроградского военного округа генерал Хабалов приказал командирам полков после троекратного предупреждения стрелять в сброд, собирающийся на улицах. Но солдаты все еще думают, что их ввели в столицу не для прямых действий, а только для устрашения. Сегодня у Николаевского вокзала я приказал дать залп по напирающей толпе. Она вела себя непристойно. Солдаты повиновались, но стреляли в воздух.

Ни один человек не был ранен. Толпа отхлынула. Но это же детские игрушки! Мы уже не устрашаем, нас не боятся... С этим уличным сбродом надо разговаривать на понятном ему языке — на языке пулеметов.— Георгий налил коньяку в рюмку и пил из нее маленькими глотками.— Революционные лозунги заражают солдат, как сыпняк. В казармах глухое брожение. Приходится окунаться в политику, отец, черт бы ее драл! Сегодня четвертая рота Павловского полка обстреляла отряд конных городовых. Но нам удалось арестовать девятнадцать зачинщиков и засадить их в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Хабалов облечен полномочиями диктатора. Он приказал расстрелять их утром. Солдаты Волынского полка убили командира и перешли на сторону рабочих.

Змиев тяжело ходил по скрипящему паркету. В соседней комнате, столовой, в такт его грузным шагам позванивал хрусталь.

— Какая непростительная для самодержавия глупость — понастроить в столице заводы и держать рядом с дворцами полмиллиона промышленных рабочих! Не будь в Петрограде заводов, революция в России была бы невозможна... После тысяча девятьсот пятого года царю надо было подумать о новой столице. В Петрограде рабочие прошли хорошую школу.

Пронзительно зазвонил телефон. Змиев снял трубку, раздраженно заговорил:

— Какие новости? Вы жаждете новостей? Петроградский градоначальник отменил свое решение о передаче продовольственных дел городской думе, этакая дубина! Государь издал указ о роспуске Государственной думы. Уже слышали? Не нам судить, подходящее ли время... Сегодня мне удалось говорить с Родзянко, старик твердо убежден, что монархия накануне полного и окончательного крушения. Утром он послал царю в Ставку паникерскую депешу: «Всякое промедление смерти подобно. Молю бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца...» — еще что-то в том же кликушеском духе.

Змиев с раздражением повесил трубку, но телефон зазвонил снова.

— Тебя,— сказал Змиев, передавая трубку сыну.

Георгий слушал минуты две, лицо его, перевязанное черной повязкой, бледнело.

— Командир полка вызывает меня к месту событий... Солдаты Преображенского и Литовского полков вместе с

рабочими разгромили арсенал и расхватали свыше сорока тысяч винтовок. Поддавшись агитации, они двинулись на Выборгскую сторону. Вооруженные мастеровые возглавили восставших солдат... Еду. Благослови меня, отец, может, больше не увидимся. Береги Зяблюшу, напиши ей. Теперь и я не сомневаюсь, что беспорядки перекинутся на юг. Как бы дорогие мужички не сожгли наше имение.

— Может быть, твою жену и мать следует вызвать в Петроград или на время переправить за границу? Пока не уляжется буря? — спросил Кирилл Георгиевич.

— Сейчас они вряд ли доберутся сюда благополучно. На железной дороге анархия. Архип! Эй, Архип! Иди вниз, зови извозчика! — крикнул офицер в прихожую своему ординарцу.

— Архип ушел, сказал, что вы больше его не увидите,— донесся певучий голос молоденькой горничной.

— Сбежал, подлец! Ну, попадись мне теперь, своими руками повешу! — пробормотал взбешенный Георгий.

Он уехал. Отчетливо процокали конские копыта по деревянным торцам. Змиев опустился в широкое кожаное кресло, вытянул уставшие ноги. Кресло жалобно затрещало под его тяжестью. Змиев усмехнулся. «Все трещит, все ломается в эти дни! Но к черту нытье. Надо действовать, побольше решительности. Толстяк Родзянко прав — промедление смерти подобно. Революция разгорается с каждым часом. Позитивные партии обязаны забыть распри и объединиться перед лицом революции, возглавить ее. Они должны стоять у ее колыбели. Такова наша ближайшая программа».

Этот внутренний монолог успокоил Змиева. Он сам себе понравился. Ему казалось, что он готов к действию. Голова была ясна, сердце билось ровно. Он позвонил одному из октябристских лидеров, ему ответили, что лидер болен и к телефону не подходит. Тогда он набрал номер пайщика Паровозного завода, но его не оказалось дома; знакомый кадет пять минут как уехал на какой-то митинг. Люди не сидели в эти дни у семейных каминов.

В квартире было сильно натоплено. Это расслабляло. Змиев открыл форточку. За окном весело порхал мягкий снег, скрадывая звуки отдаленной редкой стрельбы. Вскоре на улице послышался шум большой массы людей, и мимо дома с пением «Марсельезы» прошли вооруженные солдаты. В свете фонарей были хорошо видны красные повязки на рукавах шинелей. Мотив героической

песни приятно хватал за сердце. Чего они хотят? Чего хотят эти люди в солдатских шинелях? Власти? Но что они могут? Это ведь смешно! Для удержания власти нужен огромный чиновничий аппарат, нужна партия, а социалисты разгромлены, руководители их или казнены, или высланы в Сибирь, или прозябают в изгнании. Только капиталисты имеют в своих руках средства, знания и организацию. Государственная власть должна перейти к ним.

— Люба! — позвал Змиев горничную.— Пойдите на улицу и узнайте, что там творится, куда идут эти солдаты. Только, ради бога, не задерживайтесь долго.

Девушка охотно пошла. Во всей большой квартире он был один: жена вместе с прощенной невесткой вот уже больше месяца жила на юге, в имении, невдалеке от Чарусы.

Змиев достал из письменного стола дневник и принялся записывать в него события последнего дня. Мало утешительного. Неожиданно, как в синематографе перед сеансом, погас свет.

Змиев долго нашаривал спички на столе, нашел их на консоле камина. Спички были плохие — военного времени — и шипели прежде чем вспыхнуть. Потом он минут пять искал свечу.

При неровном, колеблющемся ее свете кабинет казался то маленьким, как склеп, то огромным, как ночная площадь. Стол, кресла, диван, книжные шкафы словно затаились и готовы были сорваться с мест. Шагая по кабинету, Змиев крепко ударился бедром об угол стола, так крепко, что у него потемнело в глазах.

Свеча, горевшая на столе, отбрасывала неверный свет на фотографию Распутина в широкой рамке. Бородатый мужик с волосами, стриженными в скобку и разделенными проделом посередине, одетый в суконную поддевку, сидел в кресле, а позади него стояли князь Путятин и комендант царскосельского дворца полковник Ломан, глаза у них были хмельные. В свое время Змиев заискивал перед Распутиным, надеясь при его помощи расширить военные заказы на Паровозном заводе, но «царский лампадник», «Гриша Провидец», взяв у Змиева несколько тысяч и ничего не сделав для него, был застрелен 18 декабря на квартире князя Феликса Юсупова.

Змиев взял в руки снимок, на котором стояли каракули: «Г. Новых». Это была новая фамилия Распутина.

Змиев немало приложил труда, чтобы достать эту фотографию. Он держал ее в ящике стола, но каждый раз ставил на стол, принимая дельцов определенной ориентации.

Было опасно держать ее до сих пор в доме. Браня себя за неосмотрительность, Змиев вынул фотографию из-под стекла, рамку бросил в корзину, а изображение Распутина сжег на свече. Картон горел долго и чадно. Змиев растер пепел в ладонях, выбросил его и тщательно вытер пальцы носовым платком.

Было жутко сидеть одному в полумраке, прислушиваться к гнетущей тишине комнат и ждать возвращения горничной, как будто эта тоненькая проворная девочка могла оградить его от насилия солдатни.

Горничная вернулась часа через два, свежая и возбужденная, и, пренебрегая правилами дома, которые теперь были ни к чему, смеясь и всплескивая руками, опустилась в кресло. Оживленно она принялась рассказывать:

— На Невском и на Суворовском сплошь, сплошь грузовые и легковые автомобили, и в них все солдаты, солдаты с ружьями. На Фонтанке стреляют. У Аничкова моста горит полицейский участок... Одним словом, барин, революция. Возле наших ворот убитый офицер валяется.

— Георгий? — Змиев привстал с кресла.

— Нет, нет, не Георгий Кириллович. Я посмотрела на его лицо. Тоже молоденький, но чужой.

— Нет ли у нас еще свечей, Люба? Терпеть не могу темноты.

Горничная ушла и вернулась, неся бронзовый шандал, в котором потрескивали пять зажженных свечей.

Полумрак, свечи, на стенах картины в золоченых рамах напоминали собор в Чарусе, церковную службу, дипломатичного старичка губернатора; потом прошел перед глазами утилизационный завод, ободранные бочкари и великолепный Степан Скуратов. А хорошо бы Скуратова иметь под рукой в такое переполошное время! Надежный и деловой человек.

Живая натура Кирилла Георгиевича Змиева рвалась к действию. Власть переходит в руки промышленников, в руки подлинных хозяев России. Народ откричится, отбушуется и покорно станет в стойла. Время действовать, пробиваться вперед через толпу конкурентов. Что думает Родзянко, каких отбирает деятелей, на кого собирается

опереться? Надо действовать. Но прежде семейные дела. Змиев написал телеграмму Скуратову, потом жене и невестке и послал горничную на телеграф.

Горничная вернулась вместе с Георгием. Сын вошел в кабинет, пошатываясь от усталости, без шашки и без погон, из кармана шинели торчало узенькое дуло нагана с большой мушкой.

— Где твои погоны? — строго спросил отец.

— Сорвал и выбросил.

— Сам сорвал?

— Да, сам. Солдаты убивают офицеров на улицах. У нас закололи штыками командира полка. И это в боевой части! Мы стоим на краю бездонной пропасти, папа.

— Мерзавец! — визгливо крикнул Змиев, опрокидывая кресло.— Мерзавец, трус, отступник! Россия должна сохранить армию, армия — сила, чтобы держать народ в узде! Если офицеры разбегутся, как зайцы, России крышка. Понимаешь ли ты это, болван? Немедленно возвращайся в часть!

— Отец, ты не кричи... Все рушится. Все члены правительства подали в отставку. Председатель совета министров князь Голицын опустил руки, сидит и ждет ареста. Разве можно удержать стену, которая валится?

— Ну, если мой сын спрятался в кусты, то я, я, Кирилл Змиев, поеду в твои казармы и буду разговаривать с солдатами. И найду с ними общий язык. Я член Государственной думы и пользуюсь правом неприкосновенности.

Кирилл Георгиевич вышел в переднюю и поспешно, не попадая в рукав, стал надевать лисью шубу.

С парадного позвонили.

— Кто бы это мог быть? — спросил Георгий, перекладывая наган из шинели в карман подшитых леями бриджей.

Возбужденный Змиев бесстрашно открыл дверь. Порог переступил молодой офицер, лицо его было прикрыто башлыком.

— Разрешите войти? Если не ошибаюсь, вижу господина Змиева?

— Да. Чем могу служить?

— Председатель Государственной думы просит вас явиться в думу на срочное заседание. Автомобиль ждет

внизу,— приложив руку к башлыку, четко отрапортовал офицер.

— Нельзя ехать, на улице опасно, отец,— быстро сказал Георгий.

— Нет, я поеду.

Не взглянув на сына, Змиев вышел.

XXV

До Таврического дворца он добрался на рассвете. Часовые, полузасыпанные снегом, пропустили его, не шелохнувшись. В эти тревожные дни в Государственную думу люди шли потоками. Во дворце по внешнему виду все оставалось по-прежнему: портреты царя и царицы, портьеры, ослепительный паркет, ливреи служителей. Только много табачного дыма.

Змиева встретил неутомимый Родзянко. Толстый, как тюлень, размахивая руками, похожими на ласты, он сказал, что ночью собирался Временный комитет, постановивший взять власть в свои руки.

— Во все министерства мы назначили комиссаров думы. Я уведомил царя телеграммой, что министры арестованы, правительства больше не существует, чернь овладевает положением. Комитет Государственной думы, дабы предотвратить бесчинства над офицерами и администрацией и дабы успокоить разгоревшиеся страсти, принял правительственные функции на себя... Во все города России посланы телеграммы о создании Временного комитета.

— Кто вошел в этот комитет? — У Змиева от волнения перехватило горло. Он надеялся услышать свою фамилию.

Родзянко перечислил: Львов, Ржевский, Шидловский, Шульгин, Дмитрюков, Керенский, Караулов и комендант петроградского гарнизона Энгельгардт.

— Как видите, винегрет из кадетов, октябристов и трудовиков. Я поставлен во главе этого комитета.

Родзянко, словно в футляр, втиснул в кресло свое грузное тело. Он говорил громко, как человек, привыкший к шуму, перепалкам, стуку пюпитров и грому аплодисментов.

— Два часа назад пришла ответная депеша из Пскова — государь вызывает меня для переговоров. Я беру вас

с собой, для того и вызвал.— Родзянко, раздвигая вороха бумаг, искал на столе телеграмму и, не найдя ее, с трудом наклонился и поднял с пола серый клочок бумаги; внизу депеши была отстукана телеграфным аппаратом подпись монарха.

— Не понимаю — каким образом император оказался во Пскове? — быстро овладев собой, поинтересовался Змиев.

— Да тут и понимать нечего. Его величество из Ставки направился в Петроград, но на станции Дно поезд был вынужден остановиться. Пути забиты встречными воинскими поездами; весть о беспорядках в столице всколыхнула солдат. Его величество был вынужден свернуть в Псков, где стоит штаб Северного фронта. Видимо, он не терял надежды бросить на Петроград войска. В Пскове государь узнал о победе революции и получил телеграммы от всех командующих фронтами, которые советовали государю отречься от престола. Его величество соизволил вызвать меня, и вот мы едем. Вы будете представлены его величеству.— Родзянко погладил седую бородку, подстриженную клинышком, вызвал дежурного адъютанта и приказал принести крепкого чаю.— Не сплю третьи сутки. Только чаем и поддерживаю силы.

В кабинет вкатился кругленький усатый Караулов. Поправляя сползающую на живот саблю, пожаловался:

— Железнодорожники отказались формировать поезд для вашего следования в Псков.

— Отказались? Почему? — изумился Родзянко, и на его измятом, потрепанном лице нервно дернулся мускул.

— Говорят — без разрешения Совета не дадут поезд.

— Это уже переходит все границы. Быть может, я и стакана чаю не могу потребовать без разрешения Совета? Вот что, Кирилл Георгиевич,— повернулся Родзянко к Змиеву,— поезжайте в Совет и убедите эти головы, что наш отъезд необходим. В эти часы решаются судьбы государства и династии. Я даю вам незавидное поручение, но плохая роль должна быть хорошо сыграна.

— Бесполезно. Абсолютно бесполезно. Так называемые рабочие организации подчиняются только Совету, а Совет все равно откажет,— пробормотал Караулов.

Вместе с Карауловым Змиев поехал в автомобиле, его сопровождал броневик, вооруженный станковым пулеметом.

Охрану Совета несли рабочие, почти все были с винтовками.

— Из Государственной думы к председателю Совета,— раздраженно ответил Караулов на вопрос старшего.

— Председатель уехал на митинг.

— А его заместитель?

— Заместитель лег спать.

— Разбудить, немедленно разбудить! — крикнул Змиев, возмущенный поведением старшего.

— Нельзя будить, человек не из железа, работал всю ночь, и ему надо поспать.

— Дело неотложной государственной важности, как вы не можете понять! — попробовал урезонить рабочих Караулов.

— Дела государственные мы будем решать сами, без царевой думы,— проговорил человек, сидящий на полу. Обеими руками он сжимал винтовку.

В помещении Совета было чисто прибрано. На стене, вызывая невольную улыбку, висело объявление, призывающее: «Курите дома!»

— Тут и у святого терпение лопнет. Ничего не поделаешь, придется ждать,— решил Караулов.

— Я не спал всю ночь,— зевая, пожаловался Змиев.

— Батенька мой, кто же в такое время спит? Все бодрствуют, за исключением, может быть, его пролетарства, заместителя председателя Совета.

Караулов и Змиев покорно сели на скамью, приглядываясь к народу, входившему и выходившему из Совета. Все это были рабочие, солдаты, матросы, интеллигенты с красными повязками на рукавах.

В соседней комнате весело стучала пишущая машинка, слышался ровный, отчетливый голос диктующего мужчины. Змиев прислушался. Видимо, перепечатывалась статья для газеты, на разные лады склонялись слова — свобода, равенство, пролетариат, восстание народа. Остро пахло солдатскими сапогами. «Штаб»,— брезгливо подумал Змиев.

Люди, собравшиеся в комнате, заговорили о царе. Змиев прислушался к их разговору. О царе в эти дни говорили повсюду.

— Царю теперь с его августейшим выводком только одно и остается — тикать до родичей в Германию. Там Вильгельм приласкает его и приголубит,— свертывая

козью ножку, проговорил бородатый солдат в сдвинутой на левый висок папахе.

— Говорят, в Государственной думе порешили одного царя подменить другим — Николая Второго в отставку, а на его место посадить Михаила, его единоутробного братца. Будто хрен слаще редьки,— ответил солдату худой и желтый, как лимон, рабочий, по виду и повадкам — наборщик.

— Вся заковыка сейчас в царе. Свернуть бы ему шею — и всему делу конец,— вмешался в разговор балтийский матрос, принесший в Совет кипу каких-то бумаг, перевязанных бечевкой.

— Шею ломать надо не одному только царю, но и министрам, и генералам, и всему кадровому офицерью,— пробасил зычный голос из плохо освещенного угла.

Солдат в папахе скрутил цигарку, обратился к Змиеву:

— Нет ли у тебя, отец, огоньку?

— К сожалению, не курю,— подчеркнуто вежливо ответил Змиев и подул на зеленый огонек изумруда, вставленный в перстень на его безымянном пальце.

— Ну ты, борода, курить — на улицу! А то проснется Иванов, достанется нам с тобой на орехи.

Солдат поднял с пола тощий вещевой мешок, нехотя пошел к двери, бормоча на ходу:

— Царь, царь, сидит еще у нас этот царь, как чирей на голом месте — ни сесть, ни лечь.

Потом пришли какие-то возбужденные люди с завода «Рено», со смехом рассказывали, что рабочие прогнали оратора-меньшевика, выкрикнувшего лозунг о продолжении войны до победного конца.

Змиев запоздало сокрушался о том, что не успел перевести наличные деньги в заграничный банк, потом вспомнил о жене и невестке: каково-то им одним среди мужиков? И незаметно уснул. Ему приснилась Нина Белоножко. Маленькая, хрупкая, золотоволосая Нина кружилась по большой сцене театра, словно лепесток цветка, подхваченный ветром. Казалось, еще одно усилие — она оторвется от земли и полетит.

«Ко мне или от меня?» — болезненно думал Змиев, даже во сне ревнуя любовницу и боясь, что она бросит его. В искусстве он разбирался плохо, но порой ему казалось, что оно доступно ему, тянулся к живописи, к театру, и были минуты, когда в изменчивой, капризной Нине

для него сосредоточивался весь мир. Во сне Нина улыбалась со сцены, и эта улыбка словно колючка впивалась в его кровоточащее сердце.

Разбудили Кирилла Георгиевича громкие голоса. Он поднял отяжелевшую голову и увидел Караулова, спорившего с человеком в кожаной куртке. Кирилл Георгиевич где-то уже видел этого человека, его бритую голову, крупные, резкие черты лица, свободную манеру говорить.

— Председатель Совета уже сказал вам все, и я повторяю его слова — поезда в Ставку мы вам не дадим. Незачем гражданину Родзянко встречаться с царем и сговариваться с ним, как остановить революцию.

— Вы не компетентны решать эти вопросы,— дергая темляк на шашке, кипятился Караулов.

— Нет, мы вполне компетентны решать вопрос о монархии. Но в сущности вопрос этот уже решен народом. Нельзя воскресить труп.— Серые глаза человека в кожанке насмешливо сощурились, заволоклись дымкой ненависти.

— Мы сейчас верховная власть в государстве, и мы не просим, даже не требуем, мы приказываем вам дать поезд для председателя Временного комитета! — бабьим голосом закричал Караулов.

— Ах, верховная власть в государстве! Кто же эта власть? Не вы ли, гражданин Змиев, кровно заинтересованный в том, чтобы в России лошади заражались сапом?

Змиев вздрогнул, словно его ударили по лицу. Только теперь узнал он механика Иванова со своего утилизационного завода в Чарусе, о котором Степан Скуратов говорил: «Настоящий задор живет в нем, как в булыжнике искра. Ударь его — полетят искры, а случись солома поблизости — не миновать пожару». И тут же встал перед глазами его сынишка, худенький голубоглазый мальчик.

— Узнали? — улыбнулся Иванов.

— Да, узнал. Как же не узнать, человек вы на земле заметный.

— Вот и довелось нам снова встретиться.

— Я прошу не из личных интересов. Поезд необходим председателю Государственной думы и Временного комитета. Государь император ждет нас для переговоров — как вы не хотите этого понять? — заискивающе проговорил Змиев.

— Подождет, подождет, да и перестанет ждать.

— Товарищ Иванов, тебя к телефону.— Из соседней комнаты высунулась по-мужски остриженная голова курсистки.

— Простите меня, я занят. Поезда мы вам не подадим, так и передайте своему Родзянко.— Не пожав рук посетителям, Иванов вышел из комнаты, твердо, с нажимом ставя ноги.

— Этот, несомненно, большевик,— сказал Караулов.— Нам нужно найти в Совете меньшевиков и договориться с ними. И мы добьемся успеха.

XXVI

В Петроград ворвалась ранняя весна. По Неве, сливаясь с шумом огромного города, валил ледоход; многопудовые льдины, сталкиваясь, поворачиваясь во все стороны и обламывая друг у друга бока, стремились на морской простор. Александра Ивановича Иванова они наводили на мысль о раскрепощенных силах народа, рванувшегося вперед, к свободе. Быстрая, бурная вода все прибывала, и казалось — вот-вот сметет чугунные мосты, украшенные императорскими коронами, вырвется из своего гранитного ложа и пойдет крушить и переворачивать все, что стоит на ее стремительном пути.

Большевистская партия вышла из подполья. Тысячи ее членов возвращались в столицу из-за тридевяти земель — с Нарыма, из Туруханского края, из Якутской области,— начиная великую работу по сплочению пролетарских сил.

В конце апреля большевики завода «Ленгензипен», где Александр Иванович Иванов после возвращения из ссылки встал на партийный учет, избрали его с совещательным голосом на апрельскую конференцию РСДРП (большевиков).

В день открытия конференции Иванов встал рано, положил в нагрудный карман гимнастерки мандат и пошел побродить по вечно молодому городу. Проходя мимо Александринского театра, рассмеялся: в руки бронзовой Екатерины II кто-то вложил красный флаг.

Облокотившись на чугунные перила, Иванов долго стоял на Троицком мосту и смотрел на бушующую Неву. Поминутно он поглядывал на свои серебряные часы фир-

мы «Павел Буре». Нетерпение его мучило. Основной доклад по текущему моменту и аграрному вопросу на конференции должен был делать Ленин, недавно вернувшийся из эмиграции.

Стрелка на часах Александра Ивановича двигалась медленно. Сколько раз побывали эти часы в закладе у Обмылка в Чарусе! Не выдержав поставленного себе срока, Иванов двинулся на Высшие женские курсы. Конференция была назначена там на десять часов утра.

Александр Иванович был уверен, что явится первым, но, войдя в аудиторию, увидел Владимира Ильича, присевшего на ступеньки кафедры. Трое матросов стояли у окна. Он узнал Ленина сразу, хотя видел впервые. Наклонив крупную голову с большим залысым лбом, Ленин быстро писал на листках почтовой бумаги, перечитывал, черкал и снова писал. Карандаш с треском сломался. Ильич досадливо нахмурился, пошарил по карманам пиджака, вынул маленький перочинный ножичек, попробовав ногтем его лезвие, принялся поспешно чинить карандаш. Здесь он увидел Иванова, молча наблюдавшего за ним.

— Здравствуйте, товарищ! — с мягкой интонацией сказал Ленин, поднимаясь со ступенек и собирая в бумажку мелкие карандашные стружки.

— Доброго здоровья, Владимир Ильич! — ответил Иванов и медленно повернулся, собираясь уйти, не мешать Ленину.

— Постойте, куда же вы! — Владимир Ильич легкой походкой подошел к нему. На Ленине была темная тройка, темный галстук и ботинки с тупыми носами.— Очень хорошо, что вы пришли так рано, я хочу поговорить с товарищами, прибывшими с мест. Ведь приехали делегаты из промышленных центров, из национальных окраин. Вы откуда, товарищ? Как ваша фамилия?

Стесняясь своего большого роста, Иванов коротко рассказал о себе и большевиках Чарусы. Слегка наклонившись вперед, Ленин внимательно слушал.

— Партия в настоящий момент выдвигает тезис перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую... Это новый этап. Партия окрепла. В Петрограде во время войны было около двух тысяч членов партии, плативших взносы в партийную кассу, сейчас шестнадцать тысяч. Наша конференция представляет восемьдесят тысяч большевиков,— щуря зоркие, необыкновенно живые глаза, сказал Ленин и тут же спросил: —

Как рабочие вашего предприятия относятся к Временному правительству?

В каждом вопросе Ленина сказывалось стремление узнать как можно больше. Эти короткие беседы с людьми были одной из тысяч нитей, которые связывали Ленина с рабочим классом.

— В Советах большинство принадлежит меньшевикам и эсерам,— промолвил механик, не желая огорчать Ленина и зная, что этот его ответ не будет приятен ему.

— Гм, гм, это так... Руководство Советами захвачено эсерами и меньшевиками, которые поддерживают Временное правительство. Свергнуть его можно только при условии, если мы завоюем в Советах большинство.— Ленин засунул пальцы рук в проймы жилета, постоял минуту, раскачиваясь на носках.— Никакой поддержки Временному правительству! Разъяснять лживость всех его заявлений, особенно относительно отказа от аннексий... разоблачение вместо недопустимого, сеющего одни иллюзии «требования», чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империалистическим...

В аудитории стали появляться делегаты. Вместе с Крупской вошел худой высокий Дзержинский. Шумно ввалилась группа вооруженных матросов. Оживленно переговариваясь, они расселись на задних скамьях, где были свалены в кучу пальто, бушлаты и шапки. Дзержинский сел с ними, что-то записывал в блокнот и смеялся. Прошла минута, и матросы запели «Варшавянку».

При виде делегатов Ленин сразу ожил. Глаза его перебегали с одного лица на другое.

— А вот как раз тот, кто мне нужен, Ворошилов из Донбасса... Простите меня, товарищ Иванов. Мы еще продолжим наш разговор,— сказал Ленин и, пожав Иванову вспотевшую руку, пошел навстречу человеку в солдатской гимнастерке.

Иванов сел рядом с пожилым рабочим. У него были густые свисающие усы, и от него попахивало металлической стружкой. Усач, поглядывая по сторонам, говорил:

— Вот тот сероглазый, с длинными волосами — Куйбышев из Самары... Женщина в пенсне — товарищ Землячка, а вот тот с бородой лопатой — Скворцов-Степанов.

— А ты откуда всех знаешь?

— Откуда, откуда! Я, брат, член партии с тысяча девятьсот второго года, с одними из них работал, с другими за решеткой сидел.

Входили гости конференции: празднично приодетые рабочие, солдаты в замызганных шинелях, худолицые люди, вернувшиеся с каторги, появился один крестьянин в суровье и лаптях. В руках сжимали они тоненькие брошюрки, шагали тяжело, всей ступней, словно печатали землю. Эти люди знали жизнь, умели постоять за народ, умели драться.

Появилась новая небольшая и шумная группа.

Это Каменев, Рыков, Пятаков,— продолжал свои объяснения усатый рабочий.— Не согласны с Ильичем. Увидишь, будут воду мутить.

Знакомые Иванову Сулимова и Ольга Равич ввели в аудиторию смущенных девушек и посадили их по две в каждом углу. Девушки положили перед собой ученические тетрадки и остро отточенные карандаши.

— Стенографистки,— сказал усач.— Будут работать в супряге. Если одна проворонит какое слово, запишет другая...

— Смотрите, Ленин! — послышалось сзади.

Наступила секундная тишина, разразившаяся бурей аплодисментов. Все встали. Владимир Ильич, кланяясь и пожимая руки знакомым, быстро прошел на кафедру, положил перед собой листки бумаги, прищуренным взглядом обежал всю аудиторию, улыбнулся кому-то. Он был энергичен и свеж. Ленин напомнил, что предвидение Маркса и Энгельса сбылось:

— Всемирная война привела к революции.

Иванову не верилось, что этот человек небольшого роста и есть тот грозный ниспровергатель капиталистического мира, которого боялось самодержавие и перед которым дрожало Временное правительство.

С каждой произнесенной фразой Ленин, казалось Иванову, становился все выше и выше. Жесты его были сильны, он всем телом наклонялся вперед, наваливаясь на пюпитр. Деревянная трибуна поскрипывала, словно капитанский мостик корабля в непогоду. Делегаты не спускали с него глаз, напряженно вслушиваясь в каждое слово.

Иванов никогда еще не видел, чтобы с таким вниманием слушали человека. Вскоре он и сам перестал замечать окружающее: никого не видел, кроме Ленина, ничего не слышал, кроме его голоса. Было такое чувство, что он наедине с Лениным в этой комнате. Весь мир для него сосредоточился в Ленине.

Становилось душно. Дзержинский с силой распахнул широкое окно. Стекло сорвалось и полетело вниз, разбиваясь со звоном. Пахнуло свежим весенним ветром. Кажется, никто и не заметил этого. Все мысли и чувства людей были прикованы к трибуне, на которой стоял вождь Российского пролетариата. Дерево с набухшими ветками заглянуло в аудиторию через раскрытое окно. Светило солнце, теплые лучи его падали на профессорскую кафедру, на стакан с крепким чаем и витое стебло чайной ложечки.

Над Петроградом бушевала ранняя весна.

Ленин говорил о пробудившемся сознании пролетариата.

— Великая честь начать революцию выпала на долю российского пролетариата, но он не должен забывать, что русская революция — только часть международной революции...— Вся сила Ленина, казалось, сосредоточилась в его голосе и глазах.

Ленин излагал тезисы, написанные им недавно. Иванов читал эти тезисы, опубликованные в «Правде». Газета, сложенная, как носовой платок, лежала у него в кармане.

— Только под этим углом зрения мы и можем определять наши задачи,— закончил Ленин свою вступительную речь и, отхлебнув чаю, пошел в президиум, сел во втором ряду сбоку и принялся что-то быстро писать.

Конференция приветствовала первых интернационалистов — Владимира Ильича Ленина и, заочно, Карла Либкнехта, заточенного германскими империалистами в берлинскую тюрьму.

Рыжий матрос, зная, что Ильич не терпел табачного дыма, пристроился на корточках у голландской печи и потихоньку пускал дым в отдушину.

Делегаты единогласно утвердили повестку дня: двенадцать вопросов, охватывающих проблемы страны и всего человечества.

У Иванова даже дух захватило — так многообразны и важны были вопросы, которые предстояло решить. Он смотрел на Ленина и думал: «Каким умом и какими знаниями надо обладать, чтобы взять на себя ответственность за судьбу России!»

Твердый и непреклонный, спокойный и насмешливый Ленин во второй раз поднялся на кафедру.

Оценивая текущий момент, он оживленно и убедительно говорил о тактике, диктуемой моментом, и призывал

на каждом шагу разъяснять народу, что Временное правительство не способно дать ни мира, ни земли; надо доказывать народу, что меньшевики и эсеры — лакеи буржуазии, что власть у капиталистов можно отобрать, только вскрыв предательскую сущность соглашательских меньшевистско-эсеровских партий.

Ленин говорил, что в период подготовки пролетарской революции наибольшую опасность представляют мелкобуржуазные партии. Отвлекая массы от борьбы с врагами своей проповедью соглашения с буржуазией, они размагничивают волю к борьбе, демобилизуют рабочих и других трудящихся.

Иванов слушал Ильича и быстро записывал в блокнот: «Нельзя готовить массы к решительной схватке с буржуазией без разоблачения и изоляции соглашательских партий. Нужно сплотить вокруг партии большевиков все подлинно революционные элементы, способные идти до конца, и изолировать оборонцев, сторонников «войны до победы».

Было очень тихо. Вдруг в этой тишине скрипнула дверь, и в аудиторию вошла бедно одетая девочка; на руках она держала котенка, завернутого в платок. Все головы повернулись к ней.

— А мамы здесь нет? — звонко спросила девочка среди тишины.

— А кто твоя мама? — Ильич повернул к ней внимательное лицо.

— Уборщица. Она здесь на курсах работает и пошла сюда слушать Ленина.

— Ах, вон оно что! Ну, садись, слушай Ленина, а потом маме своей расскажешь. Как твою кошку зовут?

— Это не кошка, а моя дочка, и зовут ее Катька.

Ленин звонко расхохотался и заразил весельем всех участников конференции. Эта сцена освежила его, развлекла, и за две-три минуты, пока девочка усаживалась на колени к Дзержинскому, он успел отдохнуть.

В докладе Ленин развернул широкую программу борьбы и провозгласил курс на пролетарскую социалистическую революцию. Вытирая платком лоб, со всей неодолимой силой своей убежденности он настаивал на союзе пролетариата с крестьянской беднотой.

Каменев и Рыков перешептывались, пожимая плечами.

— Это все противники Ильича, а вот умеет же он даже их заставить работать на революцию,— кивая в их сторону, сказал рабочий, сидевший впереди Иванова.

После Ленина на трибуну поднялся медлительный, угловатый Алексей Рыков и, отпивая большими глотками воду из стакана, начал спрашивать и сам отвечать на свои вопросы:

— Откуда взойдет солнце социалистического переворота? Я думаю, что по всем условиям, по обывательскому уровню, инициатива социалистического переворота принадлежит не нам. У нас нет сил, объективных условий для этого. А на Западе этот вопрос ставится приблизительно так же, как у нас вопрос о свержении царизма...

Иванов смотрел в этот момент на Владимира Ильича.

— Он ловит звуки одобренья не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобленья,— продекламировал кто-то в первых рядах.

Ленин услышал и нахмурился.

— И Рыков и Каменев дальше буржуазной революции идти не хотят,— шепнул Иванову армянин, сидевший рядом.

— Освистать бы его, выгнать с трибуны! — откликнулись сзади.

— Довольно, слыхали уже! — крикнул матрос из первого ряда и затопал ногами.

Рыков допил воду, сошел с кафедры и сел рядом с Каменевым. Он стал что-то возмущенно говорить ему, размахивая руками.

Председатель поставил на голосование ленинские предложения. Против не подали ни одного голоса, семь человек воздержались.

В перерыве, когда делегаты повалили в буфет, девочка смело подошла к Ильичу.

— Дядя, значит, ты и есть Ленин? — спросила она.

— Да, меня зовут Ленин. А тебя как зовут?

— Меня — Манька... Ты умеешь косить глазами?

— Нет.

— А я умею.— И девочка смешно скосила зеленоватые глаза.

— Ну что ж, Манечка, пойдем искать твою маму.— И, взяв девочку за руку, Ильич пошел вниз по лестнице, в подвал, где квартировали дворники и уборщицы.

Иванов просмотрел свои записи, сверил их с записями усатого рабочего. Вечером ему предстояло выступить перед рабочими завода «Ленгензипен», доложить о конференции. Теперь, выслушав Ленина, он знал главное направление своей партийной работы.

Во время второго перерыва Иванов бродил по коридорам Высших женских курсов. Девушки-курсистки продавали там партийную литературу. Рядом с «Правдой» лежали московский «Социал-демократ», «Уральская правда», гельсингфорсская «Волна», кронштадтский «Голос правды», екатеринославская «Звезда», харьковский «Пролетарий», «Кавказский рабочий».

Иванов отыскал газету, издававшуюся чарусскими большевиками. С волнением развернул он пахнущие типографской краской листы, увидел статью Арона Лифшица. Его старый партийный друг писал: город в руках рабочих, и недалек час, когда власть полностью перейдет к большевикам. Пролетарии с Паровозного завода работают всюду: в комиссариатах, милиции, Советах и даже в суде.

«Жаль, что Лифшиц не назвал фамилий, а интересно — кто из ребят так вырос?» — подумал механик, отчеркнул абзац статьи карандашом. Мимо, оживленно разговаривая с Землячкой, прошел Дзержинский. Иванов тронул его за плечо.

— Почитайте, что делается в моей родной Чарусе.

Дзержинский прочел.

— Очень интересно... Надо показать Владимиру Ильичу. Можно? — Он поблагодарил, взял газету и пошел дальше, на ходу пожимая руки знакомым рабочим...

Пять дней героическая партия пролетариата на своей Всероссийской конференции разрабатывала генеральную линию в борьбе за победу над буржуазией и ее союзниками.

Всего пять дней прошло, а Иванову казалось, что он пять лет прожил, настолько его обогатили выступления Ленина.

На третий день с докладом по национальному вопросу выступил Иосиф Сталин, но Иванова задержали на заводе неотложные дела, и он не слышал Сталина.

Доклад Ленина решал основной вопрос конференции. Выступающие ораторы лишь обсуждали и развивали идеи, высказанные докладчиком.

Закрывая конференцию, Владимир Ильич сказал в заключительном слове:

— Рыков утверждает, что социализм должен прийти из других стран с более развитой промышленностью. Но это не так. Нельзя сказать, кто начнет и кто кончит. Это не марксизм, а пародия на марксизм.

В зале пронесся гул одобрения, переросший в горячую овацию. На угрюмом лице усатого рабочего, сидевшего рядом с Ивановым, отразилось полное удовлетворение.

— Так ему, так...

Вынув носовой платок, Ленин вытер свой высокий лоб, достал из жилетного кармана вороненые часы, взглянул и положил обратно.

Иванов посмотрел на Рыкова. Слушая Ленина, Рыков шептался с Пятаковым, о котором механик знал только то, что в Киеве он выступал против ленинских тезисов.

Конференция закончилась в пасмурный день. Ленин стоял на кафедре, свежий ветер, налетевший с Балтики, шевелил на его голове чуть рыжеватые волосы.

— Пролетариат найдет в наших резолюциях руководящий материал к движению, ко второму этапу нашей революции,— говорил он, и глаза сотен людей были прикованы к его губам.

Раздались аплодисменты, и, словно порожденный ими, хлынул обильный ливень.

Ленин сошел с трибуны. Его плотным кольцом окружили делегаты конференции. Дзержинский, Ворошилов и Крупская пожимали ему руку.

Вместе с ними возбужденный, взволнованный Ленин двинулся к настежь распахнутому окну, за которым, как пули, барабанили по крышам крупные капли дождя.

XXVII

В Петрограде Иванов поселился у токаря Баулина, в кирпичной казарме завода «Ленгензипен». Казарма битком была набита рабочими семьями; жили, как на утилизационном заводе в Чарусе, за фанерными перегородками, на виду друг у друга. Здесь не существовало никаких секретов. Любое слово, произнесенное даже шепотом, слышали соседи. Семьи были многочисленные: в каждой куча детей. Жили и холостые постояльцы.

Все события в стране получали немедленный отклик в этом до краев переполненном «Ноевом ковчеге». С фронта и из деревень в казарму приходили письма, их читали неизменно вслух, они становились достоянием каждого.

Как-то Баулин пожаловался механику:

— На дворе июль. В деревнях началась уборка урожая. А на Россию надвигается голод.— Токарь показал своему квартиранту письмо от отца, жившего в Саратовской губернии.

В письме были сплошные жалобы, крестьянин просил у сына денег, сообщал, что местный помещик прячет зерно для спекуляции; кулаки отказываются продавать хлеб по твердым ценам, везут его в Саратов и сбывают там втридорога, а воинская команда по заготовкам отобрала у отца Баулина весь урожай. Зять помещика Вожжеватова, особоуполномоченный правительства по заготовкам, выжимает из крестьян последние соки, назначает уполномоченными хлеботорговцев, а те обдирают мужика как липку.

«Зажали нас со всех сторон в тиски. Надежд на получение земли из рук властей нет никаких. Придется землю брать самочинно,— писал дальше отец Баулина.— Крестьяне рубят помещичьи рощи, травят покосы, сожгли экономию Вожжеватова...»

Иванов посмотрел на почтовый штемпель. Письмо шло две недели — живое доказательство разрухи на транспорте.

Механик попросил дать ему это письмо и отнес его на угол Каменноостровского проспекта и Большой Дворянской, во дворец балерины Кшесинской, где сейчас помещался Центральный Комитет партии большевиков. Там таких писем накопилось больше тысячи. Их прочитывали и отсылали в «Правду».

Во дворце Кшесинской было тревожно. Члены ЦК разъехались по заводам, фабрикам и воинским частям. Иванов узнал, что рабочие «Скорохода» требуют передать власть Советам; такие же требования поступили от обуховцев и со «Старого Парвиайнена».

В ЦК Иванову сказали:

— Сегодня на заседание общегородской конференции большевиков явились представители первого пулеметного полка и заявили, что они выступают. Пулеметчики послали своих агитаторов в Кронштадт и на заводы... Но

партия против немедленного выступления, обстановка еще не созрела. Владимир Ильич говорит, что буржуазии выгодно вызвать революционные массы столицы на улицу сейчас, когда революционное движение еще не охватило всю страну. Перед большевиками встала ответственная задача: удержать массы от выступления. Надо предотвратить бесцельное кровопролитие. Отправляйтесь, голубчик, к себе на «Ленгензипен» и постарайтесь удержать рабочих, не пустить их на улицу.

Домой Иванов вернулся ночью. На полу, покрывшись шинелями, спали три солдата, заросшие бородами.

— Кто такие? — спросил Иванов у хозяйки.

— Дезертиры с фронта. Средний — мой брат, а два крайних — его дружки. Три солдата спят на одной шинели, а два царя не смогли ужиться на половине вселенной!

Солдат, лежавший ближе к двери, приподнялся, и механик сразу узнал в нем Серегу Убийбатько, до войны служившего батраком у Федорца.

Убийбатько тоже узнал механика, обрадовался встрече.

— Вот где свидеться привелось! Прислони ты меня, ради Христа, куда-нибудь в этом сбесившемся городе,— попросил он механика.— Не знаю, куда себя деть. Боюсь, как бы не заточили в темницу.

— Ну, что там у вас на фронте? Рассказывай! — потребовал Иванов и присел на табурет, приготовившись слушать.

— Июньское наступление захлебнулось в крови... Тысячи солдат покидают фронт, разбегаются по домам... Солдатские комитеты отстраняют от командования офицеров. Балакают — не сегодня-завтра на фронте снова введут смертную казнь, будут расстреливать нашего брата.

— Знаем. Этого надо было ждать. Война нужна капиталисту Змиеву, а воевать заставляют мужиков. Но дураков становится все меньше... С какого же ты фронта прибыл?

— С Северного, мы прикрывали подступы к Петрограду. Что и говорить, фронт главный... Ну, как там у нас, на селе, как жинка моя, дети? Давно ты оттуда? Старик Федорец, надо думать, свирепствует, он ведь эсер, а эсеры сейчас в силе.

— Пролетарская революция назревает, и, чтобы не дать ей разгореться, все буржуазные партии прислони-

лись к генералам,— повторил Иванов то, что слышал в Центральном Комитете.

Он лег на небольшом сундуке, где для него постелили постель, но уснуть не мог, мешали храп солдат на полу, возня за перегородкой, разговор за открытым окном.

Он прислушался.

— Приезжал хозяин, грозился остановить все цехи, а рабочих выгнать на улицу,— шептал девичий голос.

— Завтра выступаем. Костя Самохвалов не пожалел стеганого одеяла, отодрал красную подкладку, написал на ней призыв: «Долой десять министров-капиталистов!» — отвечал девушке неокрепший юношеский голос.

— Боязно, как бы не постреляли вас,— сокрушалась девушка.

— А ты разве не пойдешь с нами?

— Пойду! Всей семьей выступаем, даже малый братишка и тот собрался.

Механик подошел к окну, сказал в темноту:

— Нельзя выступать... Большевики против.

— Почему нельзя? — удивилась девушка.

— Казаки прибыли с фронта. Броневики вызваны. Как бы не пришлось зазря умыться кровью.

— Перестань пужать, пуганые мы,— разозлился парень, и голос его сразу окреп.— Пойдем, Нюша, подальше от этого уговорителя. Много их развелось. На каждом шагу уговаривают, поучают, будто только они умные, а мы дураки.

— Тише ты, охломон. Это квартирант Баулина, с отцом моим дружит, он зря языком молоть не станет. И слушай ты меня: не пойду я на демонстрацию, да и тебя не пущу. Нечего зря голову подставлять под пули, она ведь у тебя одна-единственная,— зашептала девушка.

Под окном треснула сухая ветка, и невидимые в темноте собеседники удалились.

Сердце Иванова болезненно сжалось в предчувствии неотвратимой беды. Он оделся и пошел по улице поселка. Во всех домах тревожно светились окна, рабочие не спали. Впереди показался конный патруль. Иванов посторонился, прижался к забору; всадники в папахах и черкесках проехали молча. Только один, рысивший последним, скверно выругался.

— Шляешься, сволочь... Скоро мы вам всем головы посымаем!.. — и погрозился плеткой.

«Пугает. Значит, контрреволюция собирается дать бой рабочим»,— подумал Иванов.

Он вернулся домой и в полузабытьи до утра пролежал на сундуке. Не то во сне, не то в бреду виделась ему шумная демонстрация на Невском проспекте, люди, шагающие под сенью красных флагов; он слышал нарастающий гул подков, хриплое дыхание скачущих лошадей, визг шашек, сухие выстрелы, стоны раненых. Иванов в испуге вскакивал. На полу стопал солдат, жалобно умолял пощадить его жизнь.

Вместе с дневной сменой Иванов отправился на завод. Рабочие собирались во дворе, где их уже ждали солдаты, представители пулеметного полка.

Георгиевский кавалер с двумя крестиками на слинявшей гимнастерке, подпоясанной пулеметной лентой, стоял на железнодорожной платформе и кричал в наэлектризованную толпу:

— Наш доблестный полк с «максимами» на грузовиках уже двинулся к Таврическому дворцу!.. Мы требуем выгнать к чертовой бабушке министров-капиталистов, ратующих за продолжение войны!.. Товарищи рабочие, что же вы бездействуете? Выходите все, как один, на улицу и начинайте бой.

Пулеметчика сняли с платформы и принялись подбрасывать в воздух. Он отбивался руками и ногами, но так и не мог вырваться из цепких рук.

На платформу вскарабкался знакомый Иванову мастер Горелов, закричал:

— Все на улицу!.. Все заводы уже выступили, и только «Ленгензипен» пасет коров на задах!

Иванов прыгнул на платформу, заслонил собой маленького Горелова.

— Товарищи! — крикнул он и, выждав, когда стало тише, продолжал громко: — Как ни велико значение Петрограда для революции, мы одни не решим ее исхода — сил не хватит. Без уральского пролетариата, без горняков и металлургов Донбасса, без солдатских масс — выступать нельзя.

— А мы-то что, не солдатские массы? — заорал георгиевский кавалер, появившись рядом с механиком и напирая на него грудью.— Мы-то что, не воевали? Нам эти Егории,— кавалер потряс крестами,— не за красивые глаза давали...

— Армия уже не доверяет Временному правитель-

ству, но она еще находится под влиянием своих комитетов, в которых верховодят эсеры и меньшевики — вроде этого кавалера с кандибобером,— сказал механик.

— Долой его! — закричали с портального крана, и какой-то солдат столкнул Иванова с платформы, да еще на лету огрел его прикладом винтовки.

Иванов упал на землю, больно ударившись коленом о камень. Вокруг весело захохотали. Зная по опыту, что оставить за противником последнее слово — это значит проиграть, Иванов снова взобрался на платформу. Но его не стали слушать.

Живая человеческая река хлынула за ворота завода и растеклась по улице, неся на себе плакаты и красные флаги.

К механику Иванову подошел смущенный Баулин, спросил:

— Что же делать теперь? Начнешь уговаривать — обязательно отлупят.

— Остановить рабочих нельзя. Оставить их одних тоже нельзя. Есть директива партии: идти с рабочими и постараться придать демонстрации организованный и мирный характер. Передай членам партии, каких только встретишь, чтобы они удерживали рабочих от всяких попыток применить оружие.

Баулин исчез в толпе.

Начавшаяся третьего июля демонстрация все разрасталась; она продолжалась и на следующий день. К ней присоединились матросы, прибывшие из Кронштадта и Ораниенбаума с лозунгами: «Вся власть Советам!» Шумная демонстрация, насчитывающая около полумиллиона рабочих и солдат, подошла к дворцу Кшесинской, а оттуда направилась к Таврическому дворцу. Там заседал Всероссийский Центральный Комитет Советов.

Демонстранты здесь же, на улицах, избирали делегации. Представители пятидесяти предприятий явились в Таврический дворец и шумно потребовали, чтобы Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет взял власть в свои руки.

А в это время на замершую, молчаливую Дворцовую площадь стягивались верные Временному правительству части: юнкера Владимирского военного училища, девятый кавалерийский и первый казачий полки. Всадники, спешившись, переговаривались друг с другом, ждали приказа разгонять народ.

Главнокомандующий Петроградским военным округом генерал Половцев в смушковой папахе и кашемировой черкеске с Георгиевским крестом над серебряными газырями подъехал в сопровождении конвоя к демонстрантам. Покручивая лихие усики, он зычным, командирским голосом потребовал разойтись по домам.

Какой-то озорной мальчишка запустил в генерала камень и рассек ему лоб. Взбешенный генерал погнался за мальчишкой, но путь ему преградила толпа, и он ускакал под улюлюканье и хохот, размахивая кривой шашкой.

Через полтора часа дворники расклеивали на тумбах приказ за подписью генерала, в котором он требовал немедленного восстановления порядка.

По улицам, вызывая смех граждан, промаршировал женский батальон смерти. Вооруженные бабы в солдатских штанах, с уродливо толстыми обмотками на ногах обстреляли из винтовок демонстрантов на углу Невского и Садовой, на Литейном проспекте и около Инженерного замка. Было убито человек двадцать.

— Провокация с целью вызвать ответную стрельбу,— разъяснил механик окружавшим его рабочим.

— Да, похоже, бабенок этих вызвали затем, чтобы они заварили кашу,— соглашались рабочие.

ЦК партии охранялся вооруженными моряками, неумело сидящими на конях. Войдя во дворец, Иванов узнал от возбужденных людей, толкавшихся в вестибюле, что к Петрограду для наведения порядка подходят четырнадцатая кавалерийская дивизия, четырнадцатый Донской казачий и сто семнадцатый Изборский полки под командованием известного усмирителя солдатских бунтов — меньшевика, члена Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета поручика Мазуренко.

Возбужденные люди толпились в вестибюле — это были рабочие-большевики, которым полчаса назад Землячка от имени ЦК поручила немедленно выехать навстречу этим частям Временного правительства и любыми средствами задержать их продвижение к столице.

Не все понимали, каким образом удастся выполнить это поручение, никто не знал, где находятся войска. Несколько человек, примостившись на широких подоконниках, делали наметки своих речей, с которыми они готовились обратиться к солдатам.

— Вы должны рассказать войскам всю правду о революции... По-видимому, без митингов там не обойтись,— отвечала на их вопросы Землячка. Она едва держалась на ногах от усталости.

Явился человек в брезентовой куртке, измазанной краской, вероятно маляр, и сказал властно:

— Поехали, товарищи! Железнодорожники приготовили для нас паровоз. Там, на месте, будет видней, как поступать и что делать.

Повеселевшие рабочие пошли за маляром.

На первом этаже особняка, в большом зале, уставленном вынесенными из зимнего сада деревьями, к Землячке подошел связной, дежуривший у входа.

— Розалия Самойловна, вас какая-то барыня спрашивает.

— Кто, что?

— Да вот она собственной персоной.

В зал вошла золотоволосая женщина. Лицо ее было скрыто черной вуалью. Женщина спросила:

— Это правда, что здесь для солдат, прибывших с фронта, устраивают по четвергам концерты?

— А для чего это вам знать? — насторожившись, спросила Землячка.

— Я бы хотела выступить на таком концерте... Безвозмездно, конечно...

— А вы кто, артистка?

— Да, я подруга Матильды Кшесинской, балерина Нина Белоножко... — Женщина глубоко вздохнула. — Раньше я часто бывала в этом особняке.

— Мы будем очень рады, если вы выступите у нас в ближайший четверг.

— Извините за беспокойство.— Нина Белоножко, приподняв вуаль, открыла свое хорошенькое личико, театрально поклонилась и ушла, оставляя следы маленьких ножек на матовом от пыли паркете.

— Отрадное явление: интеллигенты все чаще приходят к нам. Сегодня явились два поэта, читали очень боевые стихи,— сказала Землячка связному.

В зал ввалились солдаты, заросшие бородами, в замызганных, пахнущих дымом шинелях. Они волочили за собой два зеленых ящика из-под снарядов.

— Что это вы? Пол поцарапаете! — возмутилась Землячка, близоруко щуря глаза.

— У нас вся душа исцарапана, и то не хнычем. При-

нимай, мамаша, подарок от фронтовиков на издание «Солдатской правды»: три пуда серебра и четверть фунта золота, все Георгиевскими крестами.

— Спасибо, товарищи!

— Ты нам расписку на кресты напиши, чтобы мы могли отчитаться перед товарищами. И еще расскажи нам — что делает Ленин и когда кончится война?

— Ленин работает на революцию, что же касается войны, то конец ее зависит от вас.

Солдаты расхохотались.

— Если бы только от нас!..

Пришел расстроенный Баулин, рассказал: на улице его остановил патруль юнкеров, осыпал бранью и обыскал.

— Устройте мне свидание с товарищем Лениным,— попросил Баулин Землячку.

— Ну, что вы, товарищ, как маленький.— Землячка сняла очки, протерла их носовым платком.— Контрреволюция на всех перекрестках требует суда над Лениным. Владимир Ильич, чтобы избегнуть ареста, ушел в подполье... Демонстрация закончена!.. Большевики призывают демонстрантов мирно разойтись по домам. Вот, голубчик, пакет со статьей, которую надо немедленно отнести в «Правду»,— сказала Землячка Иванову.

Иванов взял пакет и, позвав Баулина, отправился вместе с ним в редакцию «Правды». По дороге, простояв четверть часа в очереди, они купили желтую газетенку «Живое слово». На первой полосе жирным шрифтом были набраны показания прапорщика шестнадцатого Сибирского полка Ермоленко, переброшенного будто бы немецкой разведкой в шестую армию для агитации за заключение мира с Германией. Ермоленко обвинял Ленина в шпионаже.

— Как только у этого мерзавца язык повернулся так нагло клеветать на Ильича! — возмутился Иванов.— Брехня, как сажа: не убьет, так измажет.

— Слыхал я, будто Зиновьев и Каменев уговаривали Владимира Ильича явиться в суд, но он не послушался их.

— И правильно сделал. Класть голову в пасть зверя — это значит обезглавить партию.

Так, перекидываясь словами, Иванов и Баулин дошли до «Правды». Двери редакции были распахнуты настежь. Железная лестница завалена ворохами бумаг —

статей и писем. На верхней площадке, молодцевато выпятив грудь, стояли вооруженные юнкера, какой-то прапорщик фотографировал их.

— Пойдем в типографию, может, удастся все-таки напечатать статью,— предложил Баулин.

Но типография тоже была разгромлена. В ней — ни души. Товарищам ничего не оставалось, как вернуться во дворец Кшесинской.

Но в полуквартале от дворца они обнаружили, что ЦК занят юнкерами, а из красивых окон с разбитыми стеклами вылетает черный пепел сожженных бумаг.

XXVIII

На рассвете 24 октября юнкера Ораниенбаумской школы ворвались в типографию газет «Рабочий путь» и «Солдат», разбили прикладами стереотипы, конфисковали тираж и запечатали помещение, навесив на входную дверь бечевку, скрепленную двумя сургучными печатями, напоминавшими пятна крови.

В это время в типографии оказался Иванов. Он пришел вместе с Убийбатько за газетами для завода «Лензипен». Иванов давно сотрудничал в «Правде», в последнее время несколько раз менявшей название, присылал заметки еще из Чарусы.

Взволнованный происшедшим, Иванов долго пререкался с юнкерами, а когда протесты не помогли, он из проходной по телефону позвонил редактору газеты.

— Юнкера громят «Рабочий путь»! — выдохнул он.

— Много их? — спросил редактор.

— Человек десять во главе с офицером.

— Ладно! Сейчас пришлю броневики.

Часа через два прибыли три броневика и дежурный взвод Литовского полка. Солдаты прогнали юнкеров, сорвали печати, заняли типографию. Печатники, так и не уходившие домой, снова принялись за работу.

В обед Серега Убийбатько в Смольном рассказал Иванову, что Центральный Комитет партии постановил: всем членам ЦК оставаться в Смольном и связаться с Петроградским комитетом. Для наблюдений за действиями Временного правительства ЦК выделил Свердлова. Дзержинскому поручили почту и телеграф. Организован запасной штаб в Петропавловской крепости, уже приведенной в бое-

вую готовность. Крепость, расположенная на стыке двух рабочих районов — Выборгского и Петроградской стороны,— держит под угрозой своих пушек Троицкий мост и резиденцию Временного правительства — Зимний дворец. Постановление ЦК сообщено Военно-революционному комитету, который по телефону передал всем комиссарам и полковым комитетам приказ привести части в боевую готовность.

— Что ж, выходит — будем брать власть силой? — чувствуя во всем теле небывалую легкость, спросил Иванов.

— Выходит, так,— ответил всезнающий Убийбатько. У него в Смольном среди солдат были такие же, как он, расторопные земляки.

Убийбатько был неутомим: обучал рабочих стрелять из винтовок, научил Иванова обращаться с «максимом».

Механик искренне к нему привязался и держал его при себе. Человек, побывавший на фронте, всегда мог подать дельный совет, а Иванов видел, что без драки не обойтись.

Не прошло и часа после заседания ЦК, как в Смольный, гремя оружием, явился Литовский полк. Он взял на себя охрану, выставил усиленные караулы у всех входных дверей и на перекрестках ближайших улиц.

По приказу Главного штаба Красной гвардии ночью к Смольному стали подходить вооруженные рабочие. По гулким коридорам бывшего института «благородных девиц» раздавались топот сапог и звон оружия.

Постепенно вокруг Смольного расположился вооруженный лагерь. Во дворе зажгли костры, возле них грелись озябшие красногвардейцы.

В полночь токарь Баулин привел отряд рабочих завода «Ленгензипен». Баулин, числившийся у Иванова в заместителях, разыскал его и сдал ему отряд, в который входили красногвардейцы Петроградской стороны — завода Дюфлона, завода Щетинина и трамвайного депо. Иванов доложил членам партийного центра Сталину, Свердлову и Дзержинскому о прибытии отряда, и те включили его в соединение, предназначавшееся для захвата правительственных учреждений.

Принимая из рук Свердлова боевой приказ, Иванов пожаловался, что в отряде не хватает оружия.

— Поезжайте в Петропавловскую крепость, там получите,— посоветовал Свердлов.— В арсенале крепости сто тысяч винтовок.

— Напишите наряд коменданту,— попросил Иванов.

— Ничего я писать не стану, все эти записки, батенька мой, лишняя волокита. Каждый рабочий может получить винтовку по предъявлении рабочего номерка. Дорогу знаете?

— Как не знать.

Иванов взял три грузовика и, придерживаясь правила: если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, делай его сам, поехал в крепость.

Пожилой пулеметчик, устанавливавший пулемет на крепостной стене, сказал ему, что видел в бинокль, как из окна Зимнего Керенский тоже в бинокль рассматривал крепость.

— Наверно, нашими пушками интересуется.

Солдат, помогавший пулеметчику, рассмеялся.

— Раньше эти пушки царя охраняли, а сегодня грозят последнему оплоту буржуйской власти.

Из крепости было видно: по Троицкому мосту навстречу друг другу ходили из конца в конец вооруженные пикеты; рабочие Металлического завода устанавливали на гранитной набережной Невы две трехдюймовки; мальчишка, похожий на Луку, закутанный в материну кофту, протирал рукавами позеленевшие снарядные гильзы.

Возвращаясь в Смольный, Иванов хотел купить хлеба, но ни один магазин не торговал. На витрины были опущены железные шторы. Обыватели попрятались по квартирам, наблюдали за улицами из-за занавесок.

На перекрестке пикет красногвардейцев задержал грузовик. Подошел старик, похожий на ученого, и, узнав, что Иванов рабочий-командир, сказал ему:

— Торопитесь, товарищи,— к Зимнему юнкера Михайловского артиллерийского училища повезли легкие пушки.

Девушка, пробегавшая мимо, стуча тонкими каблучками о тротуар, крикнула:

— Керенский вытребовал к Зимнему все юнкерские училища и приказал казачьим полкам занять Дворцовую площадь!

— А ты откуда знаешь такие секреты, балаболка? — недоверчиво спросил шофер.

— Кому же и знать, как не мне? Я, дяденька, телефонистка, сама слышала его голос. Говорит хрипло. Вероятно, простудился.

— Сквозняком продуло,— рассмеялся красногвардеец, проверявший пропуск.— Сейчас вся Россия распахнута настежь ветрам — от Владивостока аж до фронта.

Иванов вернулся в Смольный, когда Дзержинский направлял шумный отряд солдат Московского полка, прибывший с завода «Русский Рено» для охраны Литейного, Гренадерского и Самсониевского мостов. «Это — чтобы держать связь со всеми районами города»,— подумал Иванов. Два батальона Московского полка и Гренадерский полк послали в сторону Белоострова; Иванов понял, что посылали их с целью предупредить переброску Временным правительством контрреволюционных войск из Финляндии.

Все это время Иванов был в приподнятом состоянии духа, в тревоге и ожидании и чувствовал нервный озноб, хотя и был одет тепло. Он все чаще подходил к костру, штыком помешивая в нем красные угли.

Его волновало, как развернутся события, и он нет-нет да и поглядывал на освещенные окна старинного здания, за которыми работали вожди революции. Хотелось быть поближе к этим самоотверженным людям, но он не мог оставить отряд, ждавший приказа к выступлению.

Солдаты, привыкшие к невзгодам фронтовой жизни, спали на голой земле, подложив под головы подсумки с патронами. Но красногвардейцы не могли уснуть. Они делились друг с другом новостями и слухами. От них Иванов узнал, что радиостанция крейсера «Аврора» передала в эфир приказ Военно-революционного комитета — не пропускать в Петроград ни одной войсковой части, направляемой для поддержки Временного правительства.

Пришел небритый, похудевший Баулин, сказал Иванову:

— Иди, тебя вызывает товарищ Свердлов.

В тесной комнате, освещенной свечами, пропахшей махоркой и сапогами, собрались командиры рабочих отрядов. За стеной стучало несколько пишущих машинок — печатали мандаты и удостоверения.

Свердлов, в кожаной куртке, все время поправляя падающее пенсне, ознакомил их с планом вооруженного восстания, разработанного по директивам Ленина.

— Мы должны захватить телефонную станцию, телеграф, вокзалы, мосты, правительственные учреждения, взять Зимний дворец и арестовать Временное правительство. Вот, кажется, и все... Вопросы будут?

Вопросов не оказалось. В сумерки стало известно — Военно-революционный комитет послал в Гельсингфорс телеграмму: «Центрбалт. Высылай устав». Это был условный сигнал, требовавший, чтобы балтийские моряки вывели на Неву военные корабли и держали под угрозой пушек главного калибра основные дороги, ведущие в столицу.

Убийбатько сообщил Иванову, что ЦК послал в Лесной район, на квартиру Фофановой, где скрывался Ленин, записку с перечислением всех намеченных мер.

— А ты откуда знаешь?

— Я охранял этого человека, который носил записку. Шел за ним с винтовкой. И в каждом кармане — по гранате.

— Ну так и держи язык за зубами,— посоветовал Иванов.

— И держу.

Убийбатько куда-то исчез, вернулся далеко за полночь и сразу же заявил:

— Ну, брат, я Ленина видал.

— Где видал?

— Где, где! Здесь, в Смольном. Четвертый час ночи, а он все пишет. Солдаты балакают, шо он один, без дозволу ЦК, с тайной квартиры пришел и сейчас сам всем восстанием заправляет.

Иванова это не удивило. Он предчувствовал, что Владимир Ильич не сможет долго оставаться на конспиративной квартире и обязательно появится в Смольном, возьмет на себя руководство всей этой массой людей, охваченных одним желанием и стремлением — поскорее ввязаться в бой и одним ударом разгромить контрреволюцию.

Ему хотелось пойти поглядеть на Ленина. Но он удержался от соблазна. В такое время долг каждого — находиться на своем посту.

Убийбатько присел у костра, бросил в него два зашипевших березовых полена. Красное с желтым подбоем пламя осветило смуглое, худое лицо хохла.

— Дворец будем окружать по линии: Зимняя канавка — Мойка до Мариинской площади и дальше к Неве, постепенно стягивая кольцо по улицам, ведущим к Дворцовой площади, — сказал Баулин, достал из кармана пальто сверток в газетной бумаге, вынул из него кусок круто посоленного хлеба и, разломив его на три части, одну

дал Убийбатько, другую Иванову, а третий кусок оставил себе.

— Что-то мы долго толчемся без дела,— пожаловался Баулин, пережевывая хлеб.— Может, ты меня, Саша, домой пустишь переночевать?

— А ты завтра днем переночуешь, завтра, когда возьмем дворец,— ответил механик.

В коридорах Смольного, привалившись друг к другу, как на вокзале, спали люди, подпоясанные пулеметными лентами. Тут же выдавали патроны, по пять обойм на брата.

У Смольного трещали костры, раздуваемые пронзительным ветром, ржали кони, тарахтели мотоциклы, на улицах тихо пели вполголоса. С Балтийского вокзала долетали звуки редкой перестрелки, свистки паровозов. Под эти непривычные звуки Иванов уснул, слыша сквозь сон, как пришел моряк и сказал, что крейсер «Аврора» бросил якорь у Николаевского моста, матросы захватили военную гостиницу «Астория», красногвардейские отряды окружили казармы первого, четвертого и четырнадцатого донских казачьих полков, на которые Керенский надеялся как на бога.

Утро забрезжило голубоватым светом. В этот час Иванов узнал, что в руках Временного правительства остались только штаб Петроградского военного округа и Зимний дворец. Он поднялся с земли весь белый, засыпанный снежной крупой, чувствуя острую боль в левом боку.

Где-то неподалеку весело звонили трамваи — подвозили новые отряды, боеприпасы, продукты. Сигналили автомобили, переполненные вооруженными людьми. Ближайшую улицу заполнили зенитные пушки и бронемашины автобронедивизиона, перешедшего на сторону революции.

Новые люди привозили свежие новости. Красногвардейцы завода «Розенкранц» заняли казармы Михайловского артиллерийского училища и разоружили юнкеров, готовящихся выступить на защиту Зимнего дворца. Дом № 2 по Гороховой улице — управление градоначальника — в руках восставших. Захвачены прямые провода, соединяющие столицу с Москвой, Ревелем, Киевом.

Подошли оборванные, худые, небритые, возбужденные люди — большевики, только что освобожденные рабочими из тюрьмы «Кресты» на Выборгской стороне. Получив оружие, они рвались штурмовать Зимний.

Нетерпение людей все нарастало.

В три часа пополудни Иванов увидел на Неве, покрытой белыми барашками пены, военные корабли «Славу», «Народоволец», «Азию», «Пулково», «Океан» и эскадренный миноносец «Прямислав». Серо-голубые, под цвет балтийского неба, они заслонили собой окоем, жерла их орудий угрожающе были наведены на Зимний дворец.

Вечером примчался мотоциклист, забрызганный грязью, и заявил, что матросы заняли Балтийскую железную дорогу.

Пришел где-то пропадавший весь день счастливо улыбающийся Убийбатько.

— Ты где шляешься? — накинулся на него Баулин.

— Я був на экстренному заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Доклад робыв Ленин. Вин сказав, что рабоче-крестьянская революция свершилась. В корне будет разбит старый державный аппарат и будет створен новый аппарат управления — советское правительство, без якого бы то ни было участия буржуев.

Убийбатько окружила толпа рабочих и солдат. Заставили весь рассказ повторить сначала.

— Пусть утрется теперь главковерх Саша Керенский,— рассмеялся матрос, пекущий на углях костра приятно пахнущую картошку.

— Ленин уже написал воззвание к гражданам России о низложении Временного правительства! — крикнул солдат с «Георгием» на шинели.— Завтра можете прочитать это в газете «Рабочий путь».

— Командиров требуют в штаб,— позвали из Смольного.

Иванов побежал в здание и получил короткий приказ двигаться со своим отрядом по Морской улице до Главного штаба и там поступить в распоряжение начальника Красной гвардии Выборгского района.

Иванов подал команду строиться, запретил курить и зажигать спички.

Красногвардейцы, поеживаясь от дождя, смешанного со снегом, составили колонну по шесть человек в ряд.

Механик вышел вперед, переживая ни с чем не сравнимое чувство слитности с этими вооруженными людьми, и повел за собой рабочих по мостовой пустынных улиц, мимо домов с плотно завешенными окнами.

На Морской — одной из самых аристократических улиц столицы — раздался одинокий, громкий, как удар бича,

выстрел. Старик, идущий с краю колонны, вскрикнул и упал. Ударившись о мостовую, зазвенела винтовка. Раненого старика быстро уложили на носилки и понесли назад, к Смольному.

Иванов рассредоточил людей, повел их по скользким тротуарам вдоль стен домов.

Все выходы на Дворцовую площадь были уже заняты отрядами красногвардейцев, приготовившихся к бою.

Иванов увидел пустынную площадь и дворец; в главных воротах стоял броневик. Виднелась надпись на нем: «Ахтырец». Возле дворца были сложены из дров баррикады, из амбразур выглядывали стволы пушек и пулеметов, направленные на площадь и прилегающие к ней улицы.

— Крепкий орешек,— сквозь зубы процедил Убийбатько, вгоняя в ствол винтовки патрон.

— Теперь не то, что в июле — большинство народа на стороне большевиков,— ответил Иванов и вдруг ощутил, как по вспотевшей спине пробежал неприятный и непривычный холодок страха.

Скоро начнется бой, первый бой в его жизни. Он станет стрелять, и в него тоже будут стрелять. И — кто знает? — может быть, чья-нибудь меткая пуля навсегда пригвоздит его к земле. Он вспомнил Луку; тотчас же услужливая память вызвала перед его глазами образ Даши. Что таить, он любил сына больше жизни и к этой женщине, боясь себе в том признаться, тоже начинал привязываться. Все чаще и чаще непрошено он вспоминал ее, едва начинал думать о сыне.

Кто-то сильно толкнул его винтовкой, шеей он ощутил теплое человеческое дыхание. Вокруг были люди, много людей, и у каждого есть дети, любимые женщины, матери, и все же они пришли сюда, к мертвой, пустынной площади, готовые умереть за свободу народа.

У стены стояла подвода; от нее вкусно несло свежим хлебом.

Кто-то попросил:

— Дай ломоть!

— Приказано раздавать после победы,— ответила с подводы закутанная в платок женщина.

— То есть как это после обеда? — не разобрав, удивился человек, просивший хлеба.

Начальник Красной гвардии Выборгского района, в чье распоряжение поступил Иванов, сообщил ему, что Военно-Революционный Комитет послал Временному прави-

тельству ультиматум — прекратить сопротивление и в 6 часов 20 минут сдаться.

— Центральный телеграф в наших руках. Зимний отрезан от всей страны, министрам ничего не остается, как поднять руки вверх,— сказал начальник.

Но вернулся самокатчик Фролов, носивший ультиматум, и, заикаясь после пережитых волнений, заявил:

— Правительство решило не сдаваться и поставить себя под защиту народа и армии. Черт знает что такое! А ведь армия и народ — это мы!

Ответ министров вызвал дружный хохот красногвардейцев.

Кто-то поинтересовался:

— Какие же там сукины сыны охраняют дворец?

— Юнкера Ораниенбаумской и Петергофской школ прапорщиков да сотня двустволок из женского батальона.

В кромешной темноте нельзя было разглядеть ладони вытянутой руки, и только слышалось, как плещутся на ветру полотнища красных знамен.

В 21 час с Петропавловской крепости раздался гулкий выстрел — казалось, лопнул огромный резиновый мяч. Следом за Петропавловской выстрелила «Аврора». Разрывов не было слышно.

Артиллеристы в мокрых шинелях выкатили на руках трехдюймовку под арку Главного штаба и пальнули по дворцу. Желтый свет, плеснувший из дула орудия, на мгновение вырвал из темноты людей, зажавших в руках винтовки. Красный огонь разрыва осветил мокрую баррикаду и напряженные молодые лица юнкеров, забрызганные дождем и мокрым снегом.

На крыше освещенного дворца и вдоль баррикад побежали проворные змейки ружейного огня, с обеих сторон ударили пулеметы, зазвенели разбитые стекла. Стаи галок, вечером кружившие над городом, устроились на ночь на крышах Зимнего. Выстрелы спугнули птиц, и они носились над озаренным, будто охваченным пламенем, дворцом. Кто-то крикнул:

— Ложись!

Красногвардейцы покорно распластались среди луж. Покоряясь властному окрику, Иванов тоже упал. Но тут же поднялся во весь рост и, вспомнив, что в таких случаях полагается кричать, крикнул, надрывая легкие:

— Товарищи, за мной, вперед! — и побежал, стреляя на ходу.

Рядом с ним, шлепая по лужам, обдавая его колючими брызгами, бежали красногвардейцы. Пули пронзали воздух над головой, кто-то падал, кто-то стонал.

Механик добежал до Александровской колонны и упал, хоронясь за гранитным столбом от пулеметных очередей, подметающих площадь. Юнкера стреляли разрывными пулями; ударяясь о гранит колонны, пули взрывались; казалось, что стреляют не только спереди, но и сзади.

Механик поднял глаза к грозному низкому небу, подумал с тоской: «Хоть бы месяц показался или хоть одна звездочка!» Кругом — темнота. Не горел ни один фонарь. И только дворец освещен изнутри, как на сцене.

— Холодно, а я весь мокрый от пота,— пробормотал Убийбатько.— Полежим минут пяток и сделаем перебежку до баррикад. А у баррикад нас уже никакая пуля не укусит.

Разрезая мрак, из-за крыши дворца вырвался синий прожекторный луч, осветил Александровскую колонну и чугунного ангела на ней, попирающего босой ногой змею.

С Миллионной улицы и Александровского сада слышались раскаты «ура». Иванов знал — оттуда атаковали солдаты Павловского и Кексгольмского полков и второй Балтийский флотский экипаж, побывавшие в боях на фронте.

— Возьмем Зимний, и можно до дому, до жинки,— мечтательно шепнул Убийбатько.— Тут тебе и конец войне. Как она там живет, моя Фрося?

В прожекторных лучах с криками метались галки.

— Товарищи, ползком вперед! — подал команду Иванов и, обдирая о камни руки, пополз, почти вдавливаясь в мостовую.

Несколько проворных пуль джикнули у самого лица. Кто-то, тяжело дыша, ударил его по сапогам. Сзади, со стороны Генерального штаба, тонко ныли пули.

Освещенный холодным прожекторным светом кораблей, окрашенный в красную краску, дворец казался облитым горячей, дымящейся кровью.

Ползком механик добрался до баррикады, почувствовал тонкий запах березовой коры.

— Нечего, друг, прохлаждаться, давай вперед! — крикнул Убийбатько и кинулся к узорным воротам.

Взорвалась граната, брызнуло желтое пламя, осветило Убийбатько, карабкающегося на ворота, и матросов, полезших за ним. Иванов не запомнил — кажется, это они

сбили замки и распахнули настежь тяжелые железные ворота. Юнкера, отстреливаясь, отступали вверх по широкой мраморной лестнице.

Механик устремился за ними. Он добежал до первой, ярко освещенной площадки и, пораженный, остановился: преграждая путь, стояли против него мокрые рабочие, матросы и солдаты с возбужденными лицами, держа винтовки со штыками наперевес.

— Что за черт! — выругался ослепленный светом механик.— Вы кто такие?

— Зеркало! — расхохотался Баулин, увидев свое отражение.

— Да, зеркало. Отроду не видел такого большого зеркала,— признался Убийбатько.— Даже душа в нем видна.

Оставив на площадке караул, механик повел людей дальше.

Где-то позади и сбоку гремели выстрелы и лопались гранаты. Перед каждым взрывом кто-то во всю глотку орал: «Полундра!» Фаянс и фарфор, вывалившиеся из разбитых горок, похрустывали под ногами, как снег.

В золоченой, обитой малиновым шелком комнате лежал безусый мальчишка с черными юнкерскими погонами и обнимал упавшую мраморную статую. У пухлого рта запеклась черная струйка крови. Повстречались три перепуганные бабы в военной форме с поднятыми руками. Люди, кипевшие в атаке злобой, успокаивались здесь, в свете хрустальных люстр.

Внизу, на лестнице, слышался заразительный хохот; так могли смеяться только победители. Раздавались возгласы радости и соленые матросские словечки.

Иванов вел свой отряд из комнаты в комнату, пока не встретил конвой балтийцев, уводивший арестованных министров — напуганных людей с зелеными лицами.

— Куда вы их? — спросил Убийбатько.

— Известно куда, в Петропавловку.

— А Керенский где?

— Убег, подлец, раньше всех,— ответил бородатый матрос; голова его была перевязана розовым бинтом.

За окнами во всю ширь разливалось половодье рассвета.

Заурчал мотор, и к Зимнему подкатил грузовик с пачками газет. Молодая женщина, повязанная теплым платком, с красной лентой на рукаве, раздавала «Рабочий путь».

У грузовика выстроилась очередь красногвардейцев.

Иванов взял газету, развернул ее. Под «шапкой» «Вся власть Советам рабочих, солдат и крестьян! Мира! Хлеба! Земли!» в верхнем левом углу первой полосы на три колонки было напечатано обращение «К гражданам России».

Иванов принялся читать его собравшимся красногвардейцам.

— «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства — это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

Военно-Революционный Комитет при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов.

25 октября 1917 г., 10 ч. утра».

Механик передохнул и восторженно крикнул:

— Этот исторический документ написал Владимир Ильич Ленин! Ура, товарищи!

Сотни голосов подхватили его крик и что было силы закричали «ура».

XXIX

Вечерами при тусклом свете семилинейной лампы Лука продолжал обучать Дашку грамоте. Теперь дни тянулись медленно, а вечера проходили незаметно — быстрее коротких майских дождей. Ученицей Дашка оказалась понятливой, любознательной. Чтобы не попасть перед ней впросак, Лука днем заучивал то, что вечером предстояло ей объяснять. Таким образом, Дашка, сама того не зная, заставляла мальчика упорно учиться, бегать к Аксеновым и брать у них все новые и новые книги, задумываться над вопросами, которые никогда до этого времени не возникали у него в голове.

Дашка выгодно отличалась от всех заводских женщин. Не ворчала по каждому пустячному поводу, не жаловалась на растущую дороговизну. Кутая круглые плечи в теплый платок, она все ждала чего-то хорошего, что вот-

вот должно было случиться. Как-то в радостной истоме, ломая до хруста тонкие пальцы рук, она призналась мальчишке:

— Молодею я. Что там скрытничать, помогли мне твои букварии позабыть Степку и все горькое, что он мне сделал. Растреножил ты меня, снял пута. Степка моя присуха...

— Что Степка? Когда ты выбираешь дерево в лесу, то разве можешь сказать, что оно самое лучшее среди миллионов деревьев? Степку ты даже не выбирала, он сам тебя выбрал, примерил, как сапог. Подошла — и ладно.— Лука обиженно прикусил нижнюю губу.

Было непонятно, как могла эта для многих желанная и много видавшая женщина строго соблюдать себя. В выражении красивых, умных глаз ее было что-то вдовье, что охраняло ее от приставания мужчин. Она без слов влияла на Лукашку. Он каждое утро стал умываться, причесывать свои густые, непокорные, лепестками лежащие волосы.

Дашка прибирала в Лукашкиной комнате, стирала и чинила ветхое, доставшееся ему от отца бельишко. Если бы кто-нибудь предложил ему такую помощь, самолюбивый мальчик обиделся бы. Но Дашка делала все это так умело, что он принимал ее заботы как товарищескую благодарность за вечера, проведенные над букварем.

Вскоре Дашка самостоятельно писала, читала, разбиралась в арифметике и однажды расхрабрилась до того, что послала своему отцу письмо в город Никополь. Все свободное время она проводила за книжками, которые брала в городской библиотеке.

Книжки будили новые мысли, объясняли тяжелую женскую долю, звали куда-то и, как хорошие песни, баламутили душу. Очень часто после уроков по географии и арифметике, когда они засиживались за полночь, Лука доставал из-под матраца запретное. Наклонившись к Луке, так что волосы их соприкасались, еще запинаясь на трудных словах и стараясь не произносить их вслух, читала Дашка хватающие за душу истрепанные брошюрки.

Иногда во время занятий приходил Никанор, грузно садился за медный шар самовара, стоящего в углу, и, не видимый там, бросал скупые слова:

— Все вы здесь, на «собачьем» заводе, люмпен, отбросы общества, в отбросах и возитесь... Никакая рабочая партия вас не примет. Очищаться надо.

— И очищаемся.

— Вижу! Большевики-то скорее всего возьмут вас, а вот Гладилина, Алешку Контуженного, Ведьму — тех не возьмут.

Слушая Никанора, Дашка вставала и грудью ложилась на стол, чтобы свет лампы не мешал ей видеть собеседника и по лицу его угадывать невысказанные мысли.

— Возьмут и Ведьму, одинаковые мы с ней, из одного рабочего теста слеплены, в одной печи выпечены.

— А ты что, из рабочей семьи? — полюбопытствовал Никанор.

— Да, я дочка слесаря из Никопольского депо. Знаешь такое место на земле?

На правой щеке Дашки прилепилась каштановая родинка с двумя завитками темных волос. Разговаривая, она пощипывала эти волоски.

— Знаю, слыхал. Городишко такой на Днепре, за порогами.

Никанор стал заметен на заводе, как бывает заметна среди серых, изодранных туч одна какая-нибудь с разных мест видимая звезда. Он смело заводил разговор о политике, просыпая крошки махорки, доставал из широких пестрядинных штанов скомканную газету, читал и по своему разумению объяснял события об измученной затяжной войною России.

Лука чувствовал — Никанор больше интересует Дашку, чем он, но интерес этот умственный: она смотрела на него как на умную доступную книгу, не имеющую конца. И действительно, Никанор много знал и понимал, что делалось в стране. В человеке этом все больше нарастала внутренняя тревога, ожидание близкой грозы, близких потрясений. Даже ветеринар Иван Данилович Аксенов, известный умник, слушал его последнее время со вниманием. Иногда Никанор пускался во всякие мудрости: например, долго объяснял закон Ома или закон Архимеда, а потом требовал — расскажи. Дашка смущалась, оправдывалась:

— Я как собака: все понимаю, а сказать не могу.

Однажды Никанор, необычно взволнованный, не постучав, тяжело ввалился к Лукашке, поставил на пол желтенький чемодан, сколоченный из фанеры. Высокий лоб его был усеян мелким бисером пота.

— Ну, товарищи, революция! Дали царю по мономаховой шапке, амба самодержавию! — едва переведя дух,

выговорил он и тут же замахал руками, закричал: — Наш Змиев назначен товарищем министра внутренних дел, вошел в буржуазное правительство. Эсер Керенский всплыл на поверхность и уже вопит: война до победного конца, до последнего человека на фронте и в тылу!

Тут только Дашка заметила, что Никанор тщательно и тепло одет.

— Куда это ты собрался? — тревожно спросила она.

— Еду в Питер, будем делать новую революцию, пролетарскую, отбирать у буржуев власть, банки, фабрики. Большевики получили большинство в Московском и Петроградском Советах рабочих и крестьянских депутатов. Теперь таиться мне нечего: токарь я, металлист, с каторги сбежал. Прятался тут у вас, на поганом заводе.

— В час добрый! — задумчиво сказала Дашка. Рука ее потянулась ко лбу, она перекрестилась, зарумянилась и, не в силах удержать слез, громко высморкалась. Потом, как бы сразу решившись, попросила: — Возьми и меня с собой!

Рябое лицо Никанора просветлело. Сильное душевное движение отразилось в его глазах. Он что-то хотел сказать, но махнул рукой. Потом сказал торопливо:

— Живи пока в Чарусе, Даша... Кончилась твоя бесприютная доля, новые времена идут.

Свои книжки и вещи Никанор отдал Кузинче, ушел на вокзал и исчез, как камень в реке.

Лука побежал к Абраму Полонскому, квартировавшему на Петинке — рабочей окраине, где жили рабочие Паровозного завода.

Полонский едва не задушил его в своих объятиях.

— Революция! Понимаешь ли ты, что это такое? Айда с нами! Мы идем на Холодную гору освобождать арестованных.

Возле проходной будки завода собралась большая толпа металлистов. На заводских воротах Лука прочел объявление. «В дополнение к объявлению моему от 22 сего февраля сообщаю, что, ввиду закрытия завода, подлежат увольнению рабочие всех мастерских, за исключением смотрительского и сторожевого цеха и центральной электрической станции.

Директор завода генерал-майор Поляков».

Полонский развернул красное знамя, и рабочие, сразу признав в нем вожака, пошли за ним через весь город.

Шли не по тротуарам, а по мостовой, никому не уступая дороги. Рядом с Полонским, потирая мерзнущие руки, шагал Лукашка. Красное знамя полыхало над ним, как сказочная жар-птица. На Садово-Куликовской улице он увидел, как на крыше губернаторского дома два плотника под улюлюканье толпы топорами рубили двуглавого деревянного орла, и от царственной птицы, выкрашенной золотой краской, во все стороны, будто перья, летели щепки.

У трамвайного депо на Петинке к паровозникам присоединилась большая группа трамвайщиков.

Чем ближе рабочие подходили к тюрьме, тем шли быстрее. В тюрьме Полонский снял караул, отправил солдат по домам, отобрал у надзирателя побелевшие из-за частого употребления ключи от камер.

Вместе с толпой Лука прошел в массивные железные ворота. Рядом с ним ковылял икающий от страха надзиратель.

— Лифшиц здесь? — властно спросил Полонский.

— Никак нет,— отрапортовал надзиратель.— Больше месяца, как по этапу угнали.

— Дяденька, а Иванова где держите? — поймав надзирателя за рукав, спросил Лука.

— Иванов здесь много. Почитай, все Иваны,— не разобрав вопроса, ответил надзиратель.

Из камер выпускали худых, небритых людей. Незнакомые люди бросались на шею своим освободителям, обнимали и целовали друг друга.

Лука обошел всех арестантов, выпущенных из камер, но отца среди них не было. Кто-то из освобожденных повел Полонского на задворки тюрьмы, и Лука, увязавшийся за ними, увидал там у высокой каменной стены виселицу, похожую на детские качели.

На другой день зазвонили колокола всех церквей, и по городу, как на вербное воскресенье, толпами повалил народ. Взвились красные флаги. Из узеньких переулков и душных тупиков люди вышли на широкую, прямую дорогу жизни и уже делали на ней первые шаги, словно заново учились ходить. История перевернула новую страницу. С утилизационного завода, кроме Дашки, Луки, Кузинчи и Яши Аносова, никто не пошел на улицу. Революция им казалась праздной затеей. Только Алешка Контуженный оживился и, скаля зубы, поглядывал, послушивая, напряженно чего-то ждал.

Среди восторженной толпы появилось бородатое купечество с алыми бантами на шубах добротного сукна. Купцы, предводительствуемые Сениным, держались в стороне плотной группой, шли медленно, походкой хозяев, значительно говорили о Кирилле Георгиевиче Змиеве и похвалялись тем, что он заседает сейчас с Временным правительством в Таврическом дворце. В церквах непрерывно служили молебны. Могучие хоры певчих пели молитву, в которой Священный синод слово «царь» заменил словом «народ».

Чаруса заколобродила. Всюду шли бесконечные, бесплодные споры, в которых ничего невозможно было понять.

В городе начались грабежи. Какие-то головорезы врывались в квартиры, грабили прохожих на улице. Алешка Контуженный ушел с завода; передавали, что он тоже занялся грабежами. И еще стало известно, что Алешка состоял в банде Пятисотского, который теперь поспешил объявить себя анархистом. Микола Федорец украсил свою грудь черным бантом и на митинге, созванном Пятисотским на городском дворе, читал собственные стихи, ратуя в них за самостийную Украину.

В городе сразу поднялись цены. В вихре событий крутились новые квадратные деньги, без подписей и номеров, достоинством в двадцать и сорок рублей. На толстых тумбах рядом с пестрыми, красочными, театральными афишами, отпечатанными в типографии Молдаванского, были расклеены приказы Керенского о мобилизации новых возрастов.

* * *

В ноябре Лукашка получил из Петрограда тоненький конверт без марки, узнал почерк отца, застыл от счастья. Опомнившись, он, не распечатывая письма, побежал к Дашке.

Отец скупыми фразами писал о том, что Февральская революция освободила его из ссылки, сообщал о новом, теперь уже пролетарском революционном перевороте, о стихийной демобилизации армии на фронте, о том, что видел Ленина и даже разговаривал с ним, передавал поклон от Никанора, которого встретил в Кронштадте, советовал уехать в деревню к матери, а если мать откажется от него, на время поселиться у сапожника Отченашенко. «Сапожник мой друг и твой крестный»,— писал отец.

В конце письма, после загадочных букв P и S, передавал привет тете Даше.

Дашка схватила письмо, прижала его к груди.

В городе на круглых афишных тумбах появилось набранное крупными буквами обращение большевиков «К гражданам России», в котором сообщалось, что буржуазное Временное правительство низложено и государственная власть перешла в руки Советов. Рядом с обращением был наклеен «Декрет о земле», подписанный Лениным. У этих сообщений с утра до вечера толпился взбудораженный народ.

Ежедневно на стенах домов появлялись грозные приказы местного Совета за подписью председателя Арона Лифшица, недавно вернувшегося из столицы.

Политические споры не только не утихали, но разгорались еще больше. Горячее всех спорил Иван Данилович Аксенов. Хватая Степана за лацканы пиджака, заглядывая в его увядшие сиреневые глаза, кричал:

— Да поймите вы, что «Комитет спасения родины и революции» с вашими эсерами поднял в Петрограде мятеж юнкеров, но пролетарии раздавили мятежников, как клубок гусениц! У Пулковских высот взят в плен генерал Краснов и отпущен под честное слово, что прекратит борьбу против советской власти... Главнокомандующий войсками генерал Духонин отказался повиноваться Советам и убит солдатами... Никому не свергнуть советской власти!

Эти утверждения ветеринара больно ранили сердце Степана. Ходил он грустный, с опущенными руками и упавшим сердцем. Лестница, по которой он успел подняться на несколько ступенек, обломилась у основания. Утилизационный завод стоял. Короткая труба его перестала чадить, отравлять воздух. Сторож Шульга, как во время праздника, запер все служебные помещения и повесил ключи под стекло, на деревянную доску в своей каморке. Дочь его Галька надела новое платье и целыми днями пропадала в городе.

Трещал мороз, лихо посвистывала метель. Жители утилизационного завода притаились, ждали и боялись бури, которая, разгуливаясь, уже мела по всей России.



Часть вторая

I

В январе 1918 года, как и советовал в письме отец, Лукашка собрался ехать в село, к матери, которую не видел сызмальства. Прослышав об его отъезде, Степан, переставший в последнее время шутить, сказал грубо:

— Дождался-таки, что отец послал тебя к матери!

— Увидимся ли? — сквозь слезы, тоскливо спросила Дарья. Она пришла на вокзал проводить мальчика и едва поспевала за ним в густом тумане махорочного дыма.

— Обязательно увидимся,— пообещал ей Лука, радуясь тому, что прежняя трудная жизнь кончилась и начиналась новая.

Он был рад тому, что покидал утилизационный завод, и был уверен, что никогда не вернется назад. Отец был прав, как-то сравнив мрачную царскую Россию с этим каторжным, проклятым заводом.

Лежа на верхней, багажной полке в темном вагоне, положив голову на чей-то мешок, Лука думал о матери, силясь представить ее себе. Перед глазами вставала высокая женщина с темными глазами, с красивыми, полураскрытыми в улыбке губами.

— Мама! Мамочка! — звал он ее шепотом.

Ему казалось, что мать подходила, клала ему на голову ласковую руку. Он жадно тянулся к ней и вдруг обнаруживал, что перед ним стоит Дарья. Мальчик дергался на багажной полке всем телом и приходил в себя.

Он совершенно не знал, какая у него мать. Закрывая глаза, старался представить ее себе со слов отца. Но все, что знал о ней, не создавало ее облика. Из коротких отцовых рассказов возникала обидная до слез картина.

...В село Куприево двадцатидвухлетний механик Иванов, выгнанный из Паровозного завода за неблагонадежность, попал случайно. Шел не спеша по полотну железной дороги в Донбасс и вдруг на стежке, стекавшей с насыпи, встретил дивчину. Она шла ему навстречу босая, жизнерадостная, голубоглазая, в крестьянском платье с вышивкой и мережкой. На его вопрос ласково улыбнулась и, не ломаясь, ответила, что зовут ее Ольгой.

Богато одетые листвой деревья перешептывались между собой, за ними виднелись соломенные крыши хат, над которыми висели шелковые ленты заката. Все вокруг было непривычно и хорошо, так не похоже на жизнь в Чарусе, что механик, ничем и никем не связанный, остался в селе.

За сельскими ярами, поблескивая чешуей стекол, раскинулся шумный и многолюдный винокуренный завод. Мастер на все руки, Александр добился своего — взяли его на завод машинистом.

С Ольгой он встречался вечерами в яблоневых садах. Они садились на приманчивую для влюбленных траву, подминали под себя душистый пырей, молча грызли травяные былки. Иногда Ольга жаловалась на беспросветную жизнь:

— Нет у нас земли, хоть среди хаты паши.

Слова эти, как зерна в землю, падали в чуткую душу механика, давали ростки, заставляли его задумываться над горькой жизнью трудового крестьянства. Он полюбил девушку с первого взгляда, без колебаний и без раздумья. И потом всегда говорил Луке о своей любви к ней, женщине, ставшей матерью его сына. Ни жалобы, ни упрека Лука никогда не слышал от отца, хотя жизнь его с Ольгой сложилась горестно и печально.

Отцвело лето, начались унылые осенние дожди. Небо затянулось тучами, как золою. Против воли родителей Ольги, не доверявших пришлому рабочему человеку, Александр тайно обвенчался с нею в сельской церквушке. На всю жизнь запомнился ему таинственный обряд бракосочетания, медовый запах восковых свечей, красный свет одинокой лампадки, освещавшей икону — молодую мать с голым младенцем на руках.

Через пять месяцев после венчания, в день святого Луки, родила Ольга сына, которого священник, заглянув в святцы. окрестил Лукой.

Семья Ольги была самой бедной в селе, но Ольга росла красивой, сводила с ума парубков, а красота при уме, по понятиям крестьян, может принести выгоду. По ночам, заглушая разговором боль в ревматических ногах, твердила мать Ольги своему слепому мужу:

— Вызвездится Олька, отдадим ее за молодого Брову... Как ты думаешь, не погнушаются они нашей бедностью, пришлют сватов? Или в Чарусе образованную барышню искать будут?

Знал отец, что старик Брова мечтал для своего сына о городской невесте с капиталом, но знал и то, что Гришка, любимец сельской молодежи, парень крутого характера, кохал его дочку, и потому уверенно отвечал жене:

— Не торопись, мать. Сам придет до нас, богом будет просить на коленях. А девка как верба — где посадишь, там и примется.

Очень хотелось бабе породниться с сельским богачом лавочником Бровой; была уверена, что всеми его тысячами, положенными в казначейство, завладают цепкие руки ее Ольги. И вот неожиданно, как колючее перекати-поле, нанесло Александра. Не такой пары ждали родители для своей дочки. Обидела она стариков внезапным замужеством, да еще и сына родила раньше времени. Отец Ольги, дед Семен, успокаивал жену:

— Да оно, может, и краще. Не нам чужими руками жар загребать, а пирог всегда слаще из собственной муки, когда ее сам посеешь, и пóтом своим покропишь, и сам испечешь.

— Суп такой жидкий хлещем, что хоть голову в нем мой, а тоже о пирогах думаем!

— Ты, старая, не вязни! — разозлившись и принимая грозный вид, кричал побагровевший дед Семен и отбрасывал кобзу в сторону.— С кулаками не родичаться надо, а драться. Топить их, как сусликов, в воде!

Черноземная земля Украины открывала большие возможности накопления, взращивала на полях кулацкие хозяйства. Красивое село Куприево, расшитое цветной прошвой садов, считалось самым урожайным в этом хлебном, богатом краю. Осенью в нем собиралась яркая недельная ярмарка, на которой приезжие купцы из далеких городов

закупали тысячи мешков пшеницы, гнали ее за границу и в глубь России, на винокуренные заводы.

Кулаки руками наймитов сеяли пшеницу, жито, ячмень, подсолнух, кукурузу, откармливали свиней на сало, выращивали швицких коров, серых украинских волов. Даже арбузы куприевские славились на всю губернию. Огромные, сочные, яркого красного цвета, отличные на вкус, они ценились высоко и раскупались охотно.

Голубой ставок, длинный, точно клинок сабли, разрубил Куприево на две половины — бедную и богатую. Обе половины ненавидели друг друга, жили обособленно.

Кулаки селились на горе, в кирпичных домах под железными крышами, за добротными плетнями, густо увитыми огудиной тыкв и крученым панычом. По воскресеньям кулаки ездили в церковь в размалеванных цыганских бричках, на пружинных рессорах. Они с презрением поглядывали на голь перекатную, сторонящуюся на улице при виде бешеных их коней.

Бедняки вздыхали и терпели, цеплялись за свои лоскуты земли, дохода с которых хватало лишь на то, чтобы не помереть с голоду и кое-как прикрыть наготу; бедняки рожали детей, работали с утра до вечера, из поколения в поколение ждали избавления от кулацкой и царской неволи; искали утешения в напевных текстах Евангелия да в бунтарских виршах Тараса Шевченко.

Вечером парубки с богатой половины села по гребле переходили через ставок, толкались по проулкам, душистыми ветками сирени отмахивались от комаров. Дивчата, сидя на бревнах, лузгали семечки, смеялись, пели, играли в «тесную бабу» и «испорченный телефон».

Гришка Брова тосковал, перестал ходить на улицу, запил. Ревнивая тоска сосала его сердце; навеки вошла в него Ольга, и никакой царской водкой не вытравить ее. Парень боялся самого себя и потому избегал даже случайной встречи с Ольгой. И, хотя он не любил сплетен, друзья нашептывали ему о беспросветной бедности молодоженов, у которых нет белья на переменку и не всегда найдется кусок хлеба к обеду.

Ехали как-то из степи парни, душ десять. На передней арбе печальный Гришка пел веселую песню. Позади кто-то подстрекающе крикнул:

— Грицько, вон идет тот, кто тебя всю зиму гарбузами годует!

Александр, утомленный работой, возвращался с винокуренного завода, на ходу «концами» вытирал вымазанные в мазуте пальцы. Лучи заката золотили обострившиеся его скулы.

— Эй, ты! — крикнул Гришка, сдерживая коней.

Александр остановился.

— Жену побираться скоро пошлешь? — Гришка зареготал, стегнул лошадей по крупам.

Александр долго стоял, закрывая от солнца глаза ладонью, с ненавистью смотрел на проплывшие мимо арбы.

Давно исчезли за поворотом дороги кулацкие кони, а ему все виделось, как в поднятой пыли яркими языками пламени вспыхнули в последний раз кумачовые сорочки его недругов. Парни правы: положение его было незавидное, впору и в самом деле с женой и ребенком идти побираться.

Мать Ольги каждый день расхваливала Гришку, настраивала Ольгу против мужа, взяла на себя роль сводницы. И свела-таки их, толкнула дочь на грех, а после этого стала бахвалиться перед соседями, чтобы досадить нелюбимому зятю.

По селу поползли грязные слухи. Как-то после постного обеда Иванов спросил жену, пытливо всматриваясь ей в глаза:

— Правда ли то, что судачат о тебе бабы?

Почернела Ольга, стояла как дерево, обожженное молнией. Под отчаянным взглядом мужа сжалась, как под ударом, и тихо вымолвила:

— Не хочу от голода помирать... Брошу тебя, жить пойду до Грини, у них и земля и лавка.

В ту же ночь, поцеловав пьяного деда Семена в его широкий лоб, не попрощавшись с женой и захватив маленького Лукашку, механик ушел на станцию и первым поездом без билета уехал в Чарусу. Там он с большим трудом снова устроился на Паровозный завод...

Все это Лукашка знал частью со слов отца, а частью додумал сам. Об этом и размышлял он сейчас, лежа на жесткой полке в чаду табачного дыма.

Вечером поезд остановился у каменной будки путевого обходчика. Отряхиваясь от снега, в вагон вошел закутанный в башлык старик кондуктор и, прокашлявшись, заявил, что на паровозе выкипела вода. Товарищи пассажиры, если хотят ехать дальше, сами должны натаскать в тендер воды.

— Как это сами? — раздраженно спросил мешочник в пенсне и в чиновничьем картузе с круглой кокардой. Был он перевязан бабьим платком.

— Очень просто,— ответил кондуктор.— Водокачка не работает. Надо всем мужчинам выйти из вагона, образовать живую цепь от колодца до паровоза и, передавая друг другу ведра с водой, наполнить тендер...

Лука не стал слушать спор, разгоревшийся между пассажирами. Он спрыгнул на мерзлую землю и, обходя пустые вагоны, добрался до станции. На вывеске прочел ее название. Это была та самая станция, где ему надо было сходить. Тридцать верст он проехал за двое суток. Вещей у него не было. Лукашка расспросил у стрелочника о дороге и, поеживаясь от мороза, пошел в село Куприево.

Минут через сорок на взгорье он увидел белый с колоннами помещичий дом Змиева и сразу признал его по рассказам отца. Дом был нежилой, ни один огонек не светился в окнах с выбитыми стеклами. Мальчику стало страшно, и он прибавил шагу. Миновав помещичий дом, Лука остановился передохнуть, услышал собачий лай и уловил запах кизячного дыма. Зоркие глаза его разглядели в темноте очертания хат.

Куприево! Здесь жила его мать. Он не выдержал и побежал, торопясь поскорее увидеть ее. Сердце его стучало. Он волновался — как-то встретит его мать, почему она ни разу не написала ему, не попыталась его увидеть? О, если бы она знала, сколько раз он вспоминал о ней, как он любит ее, она бросила бы все и за сто верст пешком прибежала бы к нему!

Потом мальчик стал думать о деде Семене, отце его матери, слепом запивошке и балагуре, о котором всегда с любовью отзывался механик. С дедом не будет скучно, они вместе станут рыбачить, поедут в поле сеять хлеб, будут ловить ревнивых зябликов, разводить ангорских кролей. Отец уверял, что слепой дед все умеет делать, со всем справляются его ловкие руки.

Без труда отыскал Лука дом Бровы — каменный, покрытый синим одеялом снега. Пробрался во двор, под заливчатый лай собаки взбежал на крыльцо, открыл дверь, прошел темные сени, толкнул еще одну, обитую войлоком дверь, ввалился в жарко натопленную горницу, освещенную керосиновой лампой и, ослепленный светом, замер. К нему шагнула полная женщина, неприязненно сказала:

— Ничего нет, бог подаст, иди! — Измазанной в тесте рукой она толкнула мальчика в спину.

От стены отделился розовощекий старик с высоким лбом и широким носом. Он укоризненно пожурил женщину:

— Не скупись, Ольга. Вынеси хлопчику пирога.

Ольга? Кровь бросилась Луке в лицо, голова его закружилась.

Женщина озлобленно сунула ему в руку горячий пирог, пахнущий кислой капустой.

— Ну, иди, иди, чего стал! Шляетесь тут, нет от вас покоя ни днем, ни ночью. А вы, тато, на ночь спускайте собаку с цепи.

Лука хотел повернуться и уйти, но его ноги обмякли, и он, чтобы не упасть, прислонился спиной к стене. Вспыхнула острая жалость к себе. Он едва выдавил священное для него слово:

— Ма-ма!

Женщина вздрогнула. Не ослышалась ли? Спросила:

— Что ты буровишь?

Дед выступил вперед.

— Тебя как зовут, хлопец?

— Лука! — крикнул мальчик и, как под нож, шагнул к свету.

— Внучек мой! А ты что же, людодерка, на сына, как неприятель, глядишь? Целуй, лобызай его! Прощения проси!

Ласковые руки деда охватили шею Лукашки. Мальчик никого не видел, кроме матери. А она стояла у двери, словно он распял ее своими словами.

Лука вырвался из объятий деда, охватил руками располневшую поясницу матери, слезы градом хлынули у него из глаз. Он вдыхал запах ее платья и, как потерянный, лепетал бессвязные слова.

Пока он плакал, мать смахнула с рук остатки теста и ласково, грустно гладила его лохматую, давно не стриженную голову. В этом, пять минут назад еще чужом мальчишке сосредоточился для нее весь смысл ее проклятой жизни. Столько лет жила она без радости и не догадывалась, что есть у нее большое счастье, от которого когда-то она сама отвернулась! Что стоит ее любовь к Брове? Не любовь, а цветок репейника.

— Что ж ты, иди, сыночек, к столу. Наверное, есть хочешь,— покаянно пробормотала она.

Сидя за столом напротив сына, она все собиралась спросить о механике и не смогла. Знала, что Лука никогда не простит ей самую главную ее ошибку, искалечившую жизнь мужа и сына.

II

После падения Временного правительства Кириллу Георгиевичу Змиеву удалось избежать ареста. Бросив на попечение горничной Любы свой петроградский особняк и уговорив ехать с собой Нину Белоножко, он бежал в Киев. Там украинские националисты во главе с Грушевским руководили Центральной радой, созданной в марте 1917 года.

С радой Змиев завязал связи с первых дней ее возникновения. В июле прошлого года вместе с министрами Керенским, Церетели и Терещенко он приезжал в Киев на тайные переговоры Временного правительства с Центральной радой. Уже тогда он наметил Киев как место возможного своего прибежища. Зеленый Киев нравился Змиеву, после Петрограда он считал его вторым по красоте городом в России и ехал туда с радостью. Его отношения с женой давно охладились. С ним была теперь молодая, искренне любимая, всегда желанная женщина, и это увенчивало его радость.

Поселился Змиев на Николаевской улице, в гостинице «Континенталь», где всегда останавливался при наездах в Киев. Он привык к номеру люкс с пальмами у окон и вполне приличным роялем. На этот раз пришлось довольствоваться дрянным одноместным номером без ванной и уборной, с диваном вместо второй кровати. Да и этот номер он получил лишь по записке писателя Винниченко, с которым был знаком еще до войны. Змиев всегда увлекался его романами.

Киев становился центром всероссийской контрреволюции. С Юго-Западного фронта прибыло в украинскую столицу семнадцать эшелонов верных Временному правительству войск. Сюда стягивались казачьи части, чехословаки, «батальоны смерти». Здесь замышлялось черное дело подавления социалистической революции.

Подождав, пока Нина Белоножко закончит свои ежедневные обязательные двухчасовые упражнения, Кирилл Георгиевич спустился с нею в ресторан и, к великому

своему удивлению, встретил там двух министров Временного правительства, кучку эсеровских, кадетских и меньшевистских деятелей и с дюжину царских генералов, благополучно выбравшихся из разгромленной Ставки Духонина.

Среди этого пестрого сборища было много светских дам, а также дам не вполне безупречной репутации. Деятели различных политических партий, высшие чиновники и финансисты сбивались в кучки, расходились и сходились вновь, и Змиев сразу понял, что кто-то, словно карточными валетами и королями, ведет этими людьми азартную игру. В уме он перебрал руководителей рады: Грушевский, Винниченко, Петлюра, Ефремов, Антонович, Порш. Никто из них не был способен на крупную игру. Главные игроки, по-видимому, находились за границей.

Нина Белоножко боялась располнеть, и Кирилл Георгиевич заказал английский завтрак: омлет, овсяную кашу, два апельсина. Для себя он спросил графинчик коньяку.

Официант в безукоризненном фраке, принимавший заказ, позволил себе улыбнуться:

— Новые веяния, пан. Разрешу себе доложить, что теперь у нас малороссийское меню: полтавский борщ, вареники, соленые кавунчики, домашняя колбаса, сало...— Элегантным движением официант положил перед дамой на стол карточку.

Нина Белоножко заказала яичницу.

Змиева узнали, и он едва успевал отвечать на приветствия и поклоны. К столику подсел знакомый старичок, кавалерийский генерал Бабиев. В руках он держал русско-украинский словарь. Подсев, сразу забубнил:

— Центральная рада сейчас единственная сила, способная свалить большевиков. Это настоящая власть, установившая железный режим военной диктатуры, сохранившая на местах в неприкосновенности царский правительственный аппарат. Как вы полагаете — это надежно или нет? Сможет ли рада защитить наши интересы и скрутить рабочих и мужиков?

Не поддерживая разговора, Змиев пожал плечами.

— Франция предоставила Украине заем — кругленькую сумму в семьдесят миллионов франков — и прислала в Киев военную миссию. Конечно, это секрет, и пока прошу никому об этом ни гу-гу.

Бабиев попросил официанта подать вторую рюмку, нацедил в нее из графинчика коньяку, выпил, закусил лепестком цветка, вырванного из букета на столе, поклонился балерине и так же незаметно, как возник, растворился в шумной разношерстной толпе.

После завтрака Змиев и Белоножко прошли в гостиную, где в углу за круглым столом азартно, с выкриками играли в карты. На столе поблескивали груды золотых вещей: часы, кольца, серьги, дамские безделушки. Знакомый сахарозаводчик, пьяный, метал банк. Увидев Змиева, крикнул ему:

— А, и ты здесь!.. Не удержался за гриву, за хвост и подавно не удержишься!..— Сахарозаводчик уронил карту, полез за ней под стол.

— Банда! — брезгливо сказал Змиев.— У каждого в кармане на всякий случай иностранный паспорт припрятан. У большинства греческие паспорта. Я знаю — тут один маклер торговал греческими паспортами, брал золотом по три червонца за штуку.

— А знаешь, нам тоже нужно бы купить на всякий случай...— сказала Нина Белоножко и тут же пожаловалась: — Не нравится мне здесь. Накурено, душно. Хочется на воздух.

Подошел видный лидер партии кадетов. Змиев был знаком с ним, но, как ни напрягал память, не мог вспомнить его фамилии. Не спрашивая разрешения, кадетский деятель сел в кресло.

— Плохи наши дела, Кирилл Георгиевич, ой как плохи! Побаиваюсь, не пришлось бы нам продолжить путешествие — за границу. Харьков, Донецкий бассейн и Екатеринослав очень серьезно угрожают нам. В Харькове власть в руках Советов, верховодит какой-то Артем. Слышали такое имя? В Донбассе мутит воду видный большевик Ворошилов, в Екатеринослав вернулся Петровский, в Одессе... Кто там у них в Одессе? Большевики формируют отряды Красной гвардии, вооружают рабочих, обучают их военному делу, бьют по частям отборные дивизии генерала Каледина, наступающего на Донбасс. Да и в Киеве еще не забыто восстание рабочих военно-металлургического завода «Арсенал», изгнавших из города войска Временного правительства и офицерско-юнкерские отряды. Это арсенальцы вынудили штаб Киевского военного округа бежать на Дон. «Арсенал» — хорошо укрепленная большевистская крепость. Там четыре тысячи рабочих, среди

них много питерцев и москвичей, дезертировавших из армии. «Арсенал» надо взорвать, а рабочих беспощадно расстреливать, как этого до сих пор не понимает Грушевский! Вы сказали бы ему.

— Большевики, Советы, расстрел... как все это мне надоело! — поморщилась Белоножко.— Пойдем, Кирилл, на Владимирскую горку, подышим днепровским воздухом, поглядим на Подол.

— Подожди минутку, я дам телеграмму в Чарусу. Хочу вызвать Степана Скуратова сюда.

Змиев спросил у портье чистые бланки и набросал две телеграммы. Одну — Степану, вторую — жене. Он настаивал, чтобы жена вместе с Зяблюшей по-прежнему оставались в имении. Он все еще надеялся, что ее присутствие удержит мужиков от разгрома экономии. Была и другая причина — он не хотел, чтобы жена видела его с Ниной Белоножко.

Змиев и Белоножко вышли из гостиницы. По засыпанному снегом Крещатику они медленно пошли к Днепру. Мороз был несильный. Падал снег.

С высоты Владимирской горки открывались синие, необозримые дали Заднепровья, с таким мастерством описанные Владимиром Винниченко в его романе «Записки курносого Мефистофеля».

Змиев улыбнулся.

— Ты чему? — спросила Нина.

— Вспомнил одну книгу с оригинальным названием: «Записки курносого Мефистофеля». Не читала? Талантливый человек, но с претензиями. Только подумай: курносый Мефистофель!

— Ты у меня тоже курносый, Кирилл. Не тебя ли вывел Винниченко в своем романе? — смеясь, спросила Нина.

— Может быть. Мы знакомы с ним давно.

На прелестной головке Нины была белая шапочка. Боже мой, ведь каждый мужчина встречает в жизни свою «белую шапочку», он преследует ее на улице и готов простоять вечность у ее окон! Нина Белоножко — его «белая шапочка». Как много усилий, денег, времени, нервов потратил он, чтобы добиться благосклонности этой взбалмошной, избалованной женщины! Он не пропускал ни одного спектакля с ее участием. «Шалости Амура», «Зорайя», «Сильфида», «Щелкунчик», «Спящая красавица»... И всякий раз, когда она, разгоряченная танцем, вы-

порхивала за опустившийся занавес и с заученной грацией традиционно раскланивалась перед публикой, он посылал ей на авансцену корзину живых роз.

Розы зимой! После представления «Сильфиды» он послал ей перстень с изумрудом, продев в него розу. И вот она рядом с ним, милая и притихшая, смотрит за Днепр, в ту сторону, где хозяйничают большевики, отобравшие у него деньги, положение, энергию предпринимателя и замахнувшиеся на его жизнь. Мог ли он думать, что в эти дни катастрофы он сбережет свое нежданное счастье? Нина не бросила его. Она оставила сцену, славу, привычный круг жизни, безропотно и самоотверженно поехала с ним в Киев и вот живет в дешевом номере, где нет умывальника и вместо кровати стоит старый диван, накрытый легким пикейным одеялом. Змиев говорил себе, что только большая любовь может заставить избалованную славой и поклонниками женщину бросить привычный ей образ жизни, комфорт, сцену, бросить квартиру на Сергиевской и кинуться очертя голову в безвестные и опасные скитания вместе со своим избранником. Что ей, артистке, грозило в революционном Петрограде? Оставаясь там, она не рисковала ничем. Большевики ухаживают за актерами, чтобы как-нибудь приукрасить фасад своей новоявленной власти. И все-таки Нина Белоножко уехала с ним.

— Нина, радость моя, о чем ты думаешь? — спросил Змиев, растроганный своими мыслями, и, наклонившись, заглянул ей в глаза. Они были ясны, как всегда. И грустны немного.

Она ответила, помедлив:

— О чем я думаю? Я думаю о своей маме... Ты ни разу не спросил меня, жива ли моя мама. А она жила здесь, в Киеве, на Куреневке.

— Жила в Киеве? — удивился Змиев.— А где она теперь?

— Умерла. Совсем недавно. Ее убили. Она простая работница. Ее убили во время восстания арсенальцев и закопали в Мариинском парке, в братской могиле. Поэтому я и в Киев поехала с тобой. Мне нужно поплакать на могиле мамы. Нужно, нужно! Мы не виделись четыре года. Так вышло. Я могла помогать ей — и не помогала. Могла спасти — и не спасла. Так вышло. Я дочь простой, совсем простой женщины, и ты не знал этого. Тебе это неинтересно, Кирилл?

Они подошли к памятнику. Железный Владимир Святой держал в руках крест, весь унизанный осколками разбитых электрических лампочек. Недавно эти лампочки светились по ночам, и люди видели в небе горящий крест — как знамение господа бога. Сейчас лампочки разбиты, и князь Владимир молчаливо кутается в свою металлическую ризу.

— Хорошее место. Как далеко отсюда видно!

На черном пьедестале памятника белело объявление. Змиев подошел ближе. Это был третий универсал Центральной рады, объявлявший об учреждении Украинской народной республики и о предстоящих выборах в Украинское учредительное собрание. Универсал обещал народу ликвидацию помещичьей собственности, восьмичасовой рабочий день, рабочий контроль.

В пояснительной инструкции к универсалу, наклеенной ниже, было написано, что вопрос о земле окончательно решит Украинское учредительное собрание. Тут же висел приказ Генерального секретариата рады, под страхом смерти запрещающий крестьянам отбирать у помещиков землю.

Есть еще в России сила, на которую может опереться Змиев!

— Третий универсал,— сказала балерина, искренне недоумевая.— А разве был первый?

— Был, конечно. В нем были изложены требования автономии Украины и установления должности украинского комиссара при Временном правительстве. Здешние деятели намечали на этот пост меня.

Кутаясь в шубу с бобровым воротником, мимо прошел господин с заячьей губой. Он узнал Змиева и небрежно кивнул ему своей седеющей бородой.

— Кто это? — спросила Нина.

— Пан Браницкий. Двести пятьдесят тысяч десятин на правобережье,— с нескрываемым уважением ответил Змиев.— Польские земельные магнаты, все эти Потоцкие, Сабанские, Сангушки, Грохольские, слетелись сюда, как черные вороны.

Нина собрала со скамейки снег, скатала снежок и с озорством, которое он так любил в ней, запустила в Кирилла Георгиевича. Она была так мила, так непосредственна! Давно он не видел ее такой оживленной. Она была сейчас как в первую пору их любви.

— Нина, родная моя девочка, ты должна уехать за

границу, я смертельно боюсь за тебя,— сказал Кирилл Георгиевич неожиданно для себя самого.

— А ты? — Нина высоко подняла тонкие, словно нарисованные брови.

— Я должен остаться здесь. Здесь мои земли, заводы, мои деньги. Здесь могилы моих родителей. Я должен продолжать борьбу за великую Россию и за тебя, моя Нина. Должен сознаться — из ложного патриотизма я вел себя как дурак. Все мои деньги заморожены в русских банках, сейфы вскрыты. Я еще не свел счеты с большевиками.

Держась за руки, как дети, они вышли на занесенную снегом площадь, к памятнику Богдану Хмельницкому; железной рукой Богдан осадил железного коня и колючей булавой указывал на Москву.

В санях, запряженных рысаками под вязаной сеткой, в сопровождении конвоя промчался Петлюра. Он был в синем жупане и в лихо заломленной на затылок смушковой папахе. Узнав Змиева, Петлюра приказал остановить дымящихся лошадей.

— Кирилл Георгиевич! — откровенно и бесцеремонно разглядывая балерину, с наигрышем в голосе воскликнул Петлюра.— Нашего полку прибыло...

— Знакомьтесь.— Змиев холодно представил Петлюру Нине: — Военный министр Симон Петлюра.

Петлюра все так же наигранно крикнул ему:

— Ну, какие у тебя планы?

— Милостью большевиков не у дел... Вот приехал к тебе.

— Всем, кто против узурпаторов власти и временщиков, мы открываем братские объятия.— Петлюра взглянул на памятник.— Богдан потерял голову Украины, ноги ее загубил Мазепа. Приходится нам поправлять историю... Вы сейчас куда?

— В «Континенталь»,— ответила Нина, с чисто женским откровенным любопытством разглядывая военного министра.

— Садитесь, подвезу... Но вот беда: в санях у меня только одно место... Не обессудь, Кирилл.— Петлюра усадил Нину Белоножко рядом с собой, запахнул меховой полостью ее божественные ножки.— Здесь недалеко, Кирилл, я тебя подожду в гостинице, мы поговорим.

Сани быстро умчались.

III

Слухи об Октябрьской революции, просочившиеся в село Куприево, наглядно подтвердил Лукашка, захвативший с собой «Декрет о земле», подписанный Лениным.

Внимательно выслушав внука, дед Семен сказал:

— Видать, и золотые удила коню не милы.

Говорил дед приятным тенорком, всегда утешительно, примиряюще. Как и надлежит слепцам, любил поговорки и знал их бесчисленное множество. Лицо у него было и благостное, и в то же время решительное.

Второй революции дед обрадовался сильно. Сидя под божницей на лавке, играя выводком котят в решете, он рассказывал Луке: в селе пятнадцать кулаков, и у них в три раза больше земли, чем у трехсот бедняцких дворов. Он без умолку, словно о чуде каком, тараторил о земле, вкладывая в свои рассуждения много чувства. А под конец сознался:

— Что у кого болит, тот о том и говорит. А декрет, что ты привез, надо повесить в расправе. Пускай все его читают.

О земле толковало все село — и бедные и богатые. Говорили много, и все по-разному, каждый свое. Все эти споры и пересуды о земле вселяли в бедняков надежду. Прислушиваясь к людским толкам, Лука понял, что село разбилось на два враждебных лагеря; вот-вот сшибутся и начнут лютую драку не на жизнь, а на смерть.

И Лука рассказывал все, что знал о декретах советского правительства, о национализации банков, заводов, железных дорог — обо всем, что слышал и видел в Чарусе.

Рассказывая это крестьянам, мальчик вырастал в собственных глазах, чувствовал себя взрослым.

— Ждите,— говорил он убедительно,— большевики скоро будут тут. И поровну для всех поделят помещичью и кулацкую землю.

— Важко ждать, як ничего не видать,— отвечали ему.

— Бедным и на том свити на панов робыть; паны будут в котле кипеть, а бедным — дрова носить.

И все-таки надеялись, ждали.

Вечером, когда мать, все переделав по хозяйству, с грустным видом садилась за шитье, Лука украдкой присматривался к ней. Одевалась она хорошо, просто и ловко, в меру была умна и красива, но мальчик замечал ка-

кое-то беспокойство в ее полускрытых ресницами голубых, как и у него, глазах. Как-то он спросил ее:

— А где же муж твой?

Она вздрогнула.

— Хозяин мой в уезде. Насчет революции поехал дознаваться, справки наводит у знающих людей.

Дед Семен добавил:

— Вместе со свекром поехал. С отцом своим, стало быть. А то бы я и не заглянул сюда, не люблю богатеев. Боятся они революции. Жили промеж собой, как волк с собакой, а вот как до смуты дошло, поехали вместе. Испугались.

Мать оглянулась на окно, негромко проговорила:

— Абы волк заодно был с собакой, то людям и жизни бы не было.

Поднялась, покраснела и, видимо сделав над собой усилие, милым грудным голосом решительно попросила:

— Ну, рассказывай об отце.

И пока Лука говорил, глаза ее, всегда печальные, раскрывались, как два цветка под лучами солнца, и слеза, навернувшаяся на левый глаз, радужная и прозрачная, была словно капелька утренней росы.

Рассказ Луки мать слушала, страдальчески морщась; стараясь удержать слезы, комкала пальцами материю и часто подносила ее к глазам.

— Значит, хороший он человек? — спросила она, когда он закончил. У нее было чувство неловкости, как это всегда случается после серьезного душевного разговора.

— Очень хороший, мама.

Мать тяжело вздохнула; еще минута, и она призналась бы ему, что никогда не была ни примерной женой механику Иванову, ни матерью Лукашке. Но вместо этого с досадой сказала совсем другое:

— Ну, будем ложиться спать. Гасу выгорает пропасть.

Ночью Лука проснулся от властного стука в ставню. Он понял, что это Гришка Брова со своим отцом. Слыхал, как мать говорила мужу о приезде сына.

Сумрачный старческий голос басил:

— Лентяй он, наверно, дармоед и словоблуд. Не иначе. Мы уже слыхали об нем по дороге. Накличет он беду на нашу голову.

Лука поднялся с постели, позевывая, глядел на приехавших. Григорий, высокий, горделивого вида, с краси-

вым, немного болезненным лицом, и глазом не повел на Лукашку. Отец его, осанистый плешивый старик, с красными мясистыми губами, прошамкал:

— Что же ты не здороваешься со старшими? В гости приехал к нам?

— К матери приехал.

— А мать — она, того, наша, у нас живет, нашим хлебушком кормится.

Мать молчала, моталась по хате, ставила самовар, мыла посуду. Видно, несладко ей жилось в богатом доме Бровы.

Пока Григорий ужинал, Лука ревниво разглядывал его, сравнивал с отцом. Мать здорово прогадала, променяв отца на Григория. Брова был одет франтовски: шевровые сапоги, черные плисовые шаровары, цветная рубаха, опоясанная шелковым поясом искусного тканья. Ел он мало, неохотно, весь уйдя в свои мысли.

— Сынок-то надолго завернул к нам? — спросил старик, улыбнувшись по виду кротко.

Вопрос его был неприятен матери.

— Надолго! Отец его революцию делает.— Мать смутилась, старалась не смотреть в глаза свекра.

— Что ж это, кругом недохватка, а к нам лишний рот прибыл?

Мать смолчала. Гришка поднялся, с сердцем сказал:

— Не об этом, папаша, разговор вести следует. Сами видали, как в Чарусе все исконное трещит и валится. Куда ни глянь, один лозунг написан: «Вся власть Советам!» Купцы, словно крысы, по всему городу рыщут. Где бы нору поглубже найти. Тут обмозговать надо, чтобы лавку сберечь, дом, землю, головы свои целыми сохранить. Не иначе как на сторону революции переметнуться надо. Да и жить следует иначе, чем жили: свернуться, затаиться — тише воды ниже травы. А о мальчишке какой разговор! Небось грамотный. Значит, в лавке ему дело найдется, приказчика уволим, его возьмем.

— Рано ты сворачиваться надумал,— возмутился старик. — В Киеве Центральная рада власть захватила. Из Румынского и Юго-Западного фронтов учредила свой собственный Украинский фронт, а главнокомандующим назначила генерала Щербачева... Так что надо нам ставку делать на раду. Назара Гавриловича Федорца следует выбрать в земство, он, говорят, уже получил какие-то

универсалы от Ефремова и Петлюры. Меня треба протащить в управу, а тебе записаться в отряд «Вольного казачества» или в гайдамаки... Торопись, сынок, пока не нагрянули большевики и не спутали нам все карты. А у своих дверей даже собака сильна.

— Обдуманное слово дороже жемчуга,— согласился Гришка.

Прислушиваясь к разговору, Лука понимал, что говорят между собой не друзья, а враги. По всему было видно, что в доме верховодил крепкий и ухватистый старик, не давал Гришке ходу,— остерегался его цепких рук. Отсюда и скрытая ненависть, и вражда между отцом и сыном.

На другой день Лука твердо отказался прислуживать в лавке, а еще через неделю ее пришлось закрыть; повесили на косой пробой тяжелый, как гиря, замок.

Луку отдали в обучение сапожнику Отченашенко. Сапожник в свое время дружил с механиком, хорошо помнил его и готов был без умолку говорить о нем, о его жизни в Куприеве. Он много нового для Лукашки рассказывал об его отце.

В комнатушке сапожника, сплошь, словно паутиной, завешанной дратвой, приятно и остро пахло обрезками кожи, воском, смолой. Здесь никогда не угасал разговор. Приходили нетребовательные заказчики, садились на низкие деревянные стулья, выкладывали напрямую свои сомнения, мечтания, желания; они бросали их, как охапки, в костер дружеской беседы, поддерживая пламя надежды. С двумя сыновьями сапожника, красавцами, еще не достигшими двадцати лет, Лука быстро сошелся.

В конце февраля неожиданно полыхнула весна. Влажный ветер приносил из степи пресные запахи талого снега. Земля освобождалась от снеговой неволи, озимые хлеба жадно тянулись к небу, искали первых лучей солнца.

Луку неудержимо тянуло из дому на простор. Он шел к ставку, в который с шумом врывались бурные снеговые воды, уходил в лес. Кора на деревьях, обожженная заморозками, отошла, посветлела, и по всему видно было: кипят уже соки в стволах и ветвях, и корни деревьев жадно сосут их из земли.

Ранняя весна будила в юном сердце жажду деятельности, непонятную тревогу, тоску.

«Что ж это? — думал мальчик.— Революция пришла, и батька мой революционер, а я сижу в кулацком доме,

как в терему за решеткой. Как же это? Уж лучше бы мне на утилизационном заводе жить, там рабочие близко, город, события всякие. А здесь лисья нора».

Все чаще мысли его обращались к отцу. Что он делает сейчас, где он?

Как-то Лука, прижавшись к материнской груди, вдруг заговорил быстро и горячо: им вдвоем нужно ехать в Питер. И в первый раз со дня его приезда мать горько и безнадежно разрыдалась. Нет, ей никогда не вырваться из ее добровольной неволи.

Все сильнее тосковал Лука об отце. Только отец мог приставить его к настоящему делу. Лука смутно надеялся на его приезд.

И отец действительно приехал — худой, заросший усами и бородой, с красной лентой на солдатской папахе.

— Ты откуда сейчас? Из Москвы? — судорожно охватив руками шею отца, спросил Лукашка.

— Из Москвы. Нас сто человек, всех направили в Харьков к Серго Орджоникидзе, чрезвычайному комиссару при советском правительстве Украины. А уж он послал меня в эти края советскую власть ставить, делить среди крестьян землю, весь живой и мертвый инвентарь Змиева. Завтра заарестую в селе комиссара Центральной рады и судебного пристава, распущу мировой суд.

Остановился механик у деда Семена, рядом с его кобзой повесил свою шашку. Вместе с ним приехали с фронта несколько односельчан-солдат. В первый же день повели они разговоры о революции. Беднота слушала их с радостью, кулаки выжидательно: посмотрим, дескать, что еще из этого выйдет.

На винокурне создали Совет крестьянских депутатов. Избирали его шумно, на сельском сходе. Кто-то выкрикнул имя Гришки Бровы.

Серега Убийбатько — солдат-фронтовик — решительно запротестовал, назвал Гришку петлюровским прихвостнем. Тогда слово взял Гришка и заявил, что многие здесь попрекают его отцовской лавкой и землей. Но он-де здесь ни при чем, ибо жил у отца словно батрак — и тому в селе найдется не один свидетель.

— Дайте мне такую возможность, и я докажу на деле, что, кроме взаимной ненависти, ничто не связывает меня с отцом,— с холодной деловитостью закончил он свое выступление.

Три закадычных приятеля Гришки один за другим подтвердили, что все сказанное им сущая правда.

Проголосовали. Большинством голосов выбрали Гришку в Совет. Чуть заметная улыбочка тронула его губы, оттененные черными усами.

— Кому кнут да вожжи в руки, а кому хомут на шею,— возмутился Убийбатько. Он вернулся в село вместе с механиком и охотно помогал ему во всем.

Ежедневно под вечер к белым заводским стенам винокурни стекался народ. На небольшом майдане у стены лежал сваленный, источенный ржавчиной винный бак, накрыв собой бледно-желтые от недостатка солнечного света подсолнухи; иногда они, как цыплята, вздрагивали крылышками листьев и роняли на землю желтый пух лепестков. Механик приспособил бак под трибуну. Взобравшись на него, он произнес перед жителями села речь.

Освещенный пурпуровыми лучами заката, стоял он на железной трибуне и старался растолковать, за что борется партия большевиков, что такое диктатура пролетариата, кто такой Ленин. Он сказал:

— Завтра мы отберем у Змиевых землю и поделим ее поровну между едоками.

Это было главное. Но Иванов сообщил крестьянам новость, которую в селе еще не знали:

— Двенадцатого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года Всеукраинский съезд Советов в Харькове провозгласил Украину Республикой Советов и объявил власть Центральной рады свергнутой. Понятно?

— Понятно! Вали дальше! — закричали в толпе.

Это было первое настоящее собрание, посвященное земельному вопросу, на него все жители села явились, как на богослужение. Крестьяне стояли плотной толпой, одни в хромовых сапогах, другие босиком. Мальчишки облепили деревья. Пока механик говорил, в тишине можно было услышать, как сдавленно дышат люди. Все, что он говорил, было близко и понятно им. Не знали только, что такое диктатура, и слово это пропустили мимо ушей.

Механик говорил, что мировая война, затеянная буржуазией, превратилась в гражданскую войну против буржуев и помещиков.

— Совнарком Донецко-Криворожской республики поручил мне сколотить красногвардейский отряд из мужиков вашей волости. Нам надо добыть оружие и идти защищать молодую советскую власть.

— В Чарусе на станции пулеметы за муку меняют! — крикнул Микола Федорец, пришедший на собрание с хутора.

— Чтобы укрепить Советы на Украине, надо с винтовками в руках разбить в пух и прах буржуазно-националистическую Центральную раду, придавившую своим задом всю Правобережную и часть Левобережной Украины,— так закончил механик свою речь и рукавом вытер вспотевшую бритую голову.

Лука стоял в толпе, за спиной кулака Маценко. Он слышал, как Грицько Бондаренко шепнул:

— Говорит — будто шелком вышивает.

— Что и толковать — пустобрех, большевистский псалмопевец,— ответил Маценко.

— Бешеная собака кусает хозяина.

В красногвардейский отряд записались пятьдесят семь человек, в большинстве середняки. Но записались и кулацкие сынки, и в их числе Микола Федорец.

Всех вступивших в отряд пригласили в школу.

— Сноп без перевясла — солома,— сказал механик, прочитав список, и предложил новоиспеченным красногвардейцам выбрать командира.

Макар Курочка крикнул:

— Брову! Он первый грамотей на селе. Ему и карты в руки.

— Командира нам надо бедняка, а Брова кулак,— отрезал механик.— И нужно, чтобы командир был военный. Лучше Убийбатько не найти нам никого на эту должность.

— А ты нам не подсказывай. Кого схочем, того и выберем,— огрызнулся Маценко и переломил палку, злобно ударив ею о землю.

— Это он мне за бабу мстит... С его женой я живу! — крикнул Гришка, и слова его больно ударили механика по душе.

Многие значительно улыбнулись, а Курочка так и прыснул со смеху.

Дед Семен, сидя в углу школьного класса, с обидой в голосе заметил:

— Пчела жалит жалом, а человек словом.

Настаивать на своем механику было теперь неловко, и он скрепя сердце согласился с большинством. Командиром отряда выбрали Григория Брову.

Новый командир присутствовал на заседании ревкома

под председательством механика. На этом заседании постановили немедленно отобрать у помещицы Змиевой землю и сельскохозяйственный инвентарь в пользу батраков и малоземельных.

— А у Назара Гавриловича Федорца как? — поинтересовался Грицько Бондаренко, переступая босыми ногами.

— Не спеши, дойдет очередь и до Федорца,— успокоил его Убийбатько.

— У него сын Микола записался в наш отряд,— напомнил Курочка. И добавил, спохватившись: — Много таких, которым грозили, живут себе подобру-поздорову.

Микола слышал этот разговор. Пожав плечами, сказал:

— Кто украдет яйцо, уворует и лошадь. А что касается папашиной земли, то не забывайте: в нашей семье одних мужиков пять душ, да еще бабы, а сейчас бабам равноправие. Одарка тоже хочет выделиться и владеть своей землей.

— Без земли хоть по миру иди,— поддержала брата Одарка; она стояла, прислонившись к раскрытой двери...

В ночь после раздела помещичьей земли крестьяне сняли в экономии железо с крыш, выломали оконные рамы, сорвали тяжелые дубовые двери и принялись разбирать на кирпич каменные конюшни. Возмущенный самочинством, Иванов приказал выяснить, чьих это рук дело, дознался, что пример подали кулаки, и приказал Гришке арестовать пять самых ретивых, в том числе и его отца. Сам же в сопровождении Убийбатько уехал за двенадцать верст, в хутор Федорцы, чтобы на месте выяснить, как поступить с землей Назара Гавриловича.

Гришка с превеликой охотой выполнил приказ, заявив, что он солдат революции и только выполняет распоряжение Иванова, своего прямого начальника, присланного большевиками из Петрограда. Пятерых кулаков забрали и заперли в расправе.

Утром мать Григория принесла ему в сельсовет завязанный в платок завтрак. Внимательно, будто давно не видела его, посмотрела на сына и, заискивая, приторным голосом спросила об отце — скоро ли его отпустят домой? Гришка поцеловал мать в широкий вощинный лоб,— с самого детства он каждое утро целовал ее так.

— Вы, мамо, не беспокойтесь, отправили мы батька в штаб Духонина...— с напускной простецой, не испыты-

вая при этом ни сожаления, ни раскаяния, ответил Гришка.

Мать не поняла, но не расспрашивала. «Ему видней, все-таки родной сын, до греха не допустит». Она забрала опорожненный кувшин, перекрестилась, ушла.

На другой день вечером рыбаки под греблей, у фонтана, там, где спускают из ставка воду, вытянули бреднем старого Брову и куркуля Маценко. На взбухших шеях у них висели двухпудовые гири из лавки Бровы. Собрался народ. Напирая друг на друга, испуганно смотрели на подернутые перламутровой синевой первые в их селе трупы.

— Собакам — собачья смерть! — сказал появившийся у ставка дед Семен и широко осклабился. Сейчас со всей силой прорвалась в его голосе лютая ненависть к убитым.

Краснорожий, ловкий Назар Гаврилович Федорец, прискакавший верхом со своего хутора в Куприево, потрясенно развел тяжелыми короткопалыми руками и смиренно обратился к слепцу:

— Так это выходит: бей свой своего, чтобы чужой духа боялся?

Дед быстро повернулся к Федорцу, губы его запенились слюной, старое, цвета обожженной глины лицо покрылось пятнами.

— А, знает кошка, чье мясо съела! — Подумав немного, как бы взвешивая, многозначительно добавил: — Яке дерево, таки его и квиты, яки батьки, таки и диты.

И всем было понятно, что слова эти касаются не только старика Бровы, но и самого Гришки, не поколебавшегося отправить на тот свет родного отца.

Федорец выпустил из рук сыромятный повод; молодая породистая кобылица, вся в хлопьях мыла, сошла к пруду и, вытянув лебединую шею, жадно стала пить воду.

— Что ты делаешь, Назар Гаврилович, лошадь запалишь! Отдай повод какому-нибудь байстрюку, пускай поводит,— сказал сапожник Отченашенко.

— А пропади она пропадом! Все равно клятый Иванов заберет ее в свою незаможницкую коммуну. Был у меня уже разговор с ним об этом самом,— отмахнулся Федорец.

Дед Семен с отвращением выполоскал в воде руки, касавшиеся утопленников, и быстро, словно зрячий, узким переулком пошел домой. В панском саду дети рвали

яблоневый цвет; дед услышал их голоса, шум ветвей, не выдержал и, надрывая горло, крикнул хозяйским тоном:

— Ах вы ж, анархтисты, сукины сыны, вот я вам пужалпа всыплю! Сад-то теперь не панский, а наш, его оберегать надо!

IV

С приездом Александра Иванова мать Лукашки поняла до конца всю меру своей давней ошибки. Она поняла, что никогда не любила Гришку и шла к нему, покорившись воле своей матери, которая хотела видеть ее хозяйкой, а сделала наймичкой.

«Ради чего бросила я мужа, ребенка, отказалась от радости, погубила свое счастье?» Что же делать теперь? Пойти и броситься в ноги комиссару, слезами вымолить прощение, выпросить запоздалое счастье в собственной семье? Ольга колебалась, мучилась, боролась с собой и решила посоветоваться с дедом Семеном, прибегнуть к его стариковской мудрости.

Она пошла к нему.

Задыхаясь от волнения, вошла Ольга в родительскую хату. На пороге прислонилась к изъеденному временем, почерневшему проему двери. Здесь прошло ее неуютное детство, здесь встретила она свою бедную, полную несбывшихся надежд молодость.

Она давно не была дома, но в хате ничего не изменилось, словно время и не заглядывало сюда. Все тот же чисто выскобленный стол, застланный вышитым рушником, все то же веретено в углу под божницей, те же синие голуби с красными чубами на подсиненной стенке, так же пахнет свежевымазанная доливка. Все, как раньше. Только над кроватью, накрытой пестрым лоскутным одеялом, висит рыжая солдатская шинель ее мужа.

В хате никого. Ольга шагнула вперед, прислонилась зардевшимся лицом к грязному грубому сукну, надеясь вдохнуть знакомый запах. Но шинель пахла землей, дымом костров, едва уловимым горьковатым духом перепрелой листвы. Этот запах ничего не напоминал ей из прежней жизни.

Ольга зажмурила глаза, и тогда Александр встал перед ней, как живой. Она увидела его в этой же комнате

в тихий вечерний час, он сидел на деревянной лавке, жилистой рукой раскачивал деревянную люльку, в которой дремал его сын, и напевал над ним нескладную, здесь же сложенную песню.

Ольга подняла голову. На бантине, поддерживающей потолок, висело кольцо, вытертое до белого блеска. Когда-то к нему прикрепляли люльку, в которой дед Семен, тогда еще зрячий, укачивал ее, потом она сама укачивала своего Лукашку. Зачем? Для того чтобы так легко от него отказаться? Отчаяние затопило душу Ольги, и в первый раз пришла ей в голову мысль, что в кольцо можно продеть петлю, всунуть в нее голову и успокоиться навсегда.

Опомнившись от этого помрачения, Ольга заметила, что пуговицы на шинели грозят оторваться. Она отыскала в печурке иглу и суровую нитку, села на лавку и стала их пришивать. И, пока держала на коленях шинель, сердце ее больно сжималось. Сколько она вынесла в богатых хоромах Бровы, сколько слез пролила на пуховые подушки — и ни разу не попыталась вынуть голову свою из добровольного ярма! А теперь, видно, нет ей возврата назад. С мучительным и блаженным волнением глядела она на старую боевую шинель мужа. Опустошенная, измученная, вспомнила ласковые руки Александра, дыхание его у своего лица.

Знакомый звук кобзы вернул ее к действительности. Она подошла к раскрытому окну, за которым стояла стена цветущей вишни, села на лавку и бросила усталые руки на колени.

В саду пел дед Семен, отец ее, аккомпанируя себе на кобзе. Тяжелыми пальцами, обмотанными проволокой, перебирал он бесчисленные струны, и они торжественно жужжали, словно шмели, запутавшиеся в розовом кусте шиповника.

Я его не знаю, николы не бачив,
Але чув в дытынстви вид дида свого,
Що вин таки прийде, слипця зробыть зрячим,

Выведе з неволи змученный народ.
Вин, як блыскавыця, нибы дождь блыскучий,
Впав на нашу землю, гирку та суху,
И життя зросте на ний ясне та квитуче...

Слепец пел, повышая голос, грубая кобза рождала нежные звуки. Сердце Ольги уже не чувствовало печали чу-

жой испепеленной земли, оно открывалось навстречу цветущему саду, полному света, ароматов, прохлады. Свежие листья касались ее горячего лба, шептали ей в уши: «Все это для тебя, все это твое».

А старик пел. И уже не слова слышала Ольга, а великий их смысл: призыв к освобожденному народу, чтобы полными пригоршнями черпал он счастье, открывшееся ему.

— Про кого это ты, дедушка, сочинил песню такую? — услышала Ольга голос Луки.

— Про нашу мрию — про Ленина, саму велику людыну земли... Мне твой батько много про него успел рассказать. И хоть Ленина не бачил никогда, кобзари давно песни про него спивают по ярмаркам, шляхам, в поле. Знали, значит, стари люды, що вин таки буде, той Ленин, що не прожить народу без него,— суровым голосом ответил слепец.

Потом сразу заговорило несколько голосов.

— Хоть человек убогий, да слово его чистое,— разобрала Ольга. Это говорили об ее отце.

Она выглянула из окна. Крестьяне сидели и лежали на шелковистой мураве, обратив к старику свои лица.

Слепец без шапки, в грубой полотняной рубахе сидел лицом к солнцу, и над его седой головой, словно золотые искры, доверчиво летали пчелы; что-то жесткое таилось в его глубоких морщинах, густо нарезанных временем; косматые брови сурово нависли над белыми пятнами глаз, тонкий орлиный нос обострился, загнулся книзу. Только сейчас дошло до сознания Ольги, как изменился и постарел ее отец за последние годы. А вслушиваясь в его то гневные, то ласковые слова, поняла, что видит он куда дальше, чем эти зрячие люди, доверчиво внимающие ему.

— Жили мы погано, ни ножа, ни образа — ни зарезаться, ни помолиться. Пришел конец этой жизни, а як будем жить дальше, никто из нас не знает. А я так думаю — що надо нам всем записаться в коммуну, работать на себя, на нашу советскую власть,— неторопливо и раздельно говорил старик; рука его изредка падала на кобзу, и она откликалась ему, как живая.

— Кто молиться не умеет, пускай в коммуну идет, там научится,— бормотнул старик Федорец, молча слушавший кобзаря.

Так вот в чем он — смысл жизни! Надо работать на себя, а она работала на богача Брову, была не женой

ему, а наймичкой. Уйти, сейчас же уйти из ненавистного дома, одним ударом разбить ярмо, взять свободу, которую провозгласила для женщины советская власть! Многое поняла Ольга в эти минуты, слушая слепого отца.

Осторожно ступая, чтобы не наколоть босые ноги о побеги молодых колючек, Ольга вышла на улицу, дошла до церкви, словно околдованная, остановилась перед нарядной березой, прислонившейся к белой ограде. Замученное зимней стужей, дерево еще недавно в бессилии прижимало к стволу жалкие почерпевшие ветви, а сегодня они осыпаны изумрудными звездочками пахучих листьев, молодо колышутся под ветром и мягкими, вкрадчивыми прикосновениями ласкают белую атласную кору. Нарядная эта береза напомнила Ольге о ней самой. Час назад она проклинала свою судьбу, не видела просвета, помышляла о петле; а вот сейчас душа вспыхнула, и все вокруг для нее посветлело. Она знала теперь, где искать свою долю. Пусть не может она быть женой механика, она будет его товарищем.

Не колеблясь, Ольга пошла к сельсовету. Через раскрытое окно услыхала характерный, во всех интонациях знакомый голос Гришки, остановилась.

Гришка вкрадчиво и жарко говорил о том, что механика и всех его приспешников следует убить, создать собственную, куприевскую республику, которая никому не подчинялась бы и занимала бы в России такое место, как Швейцария в Европе. Браться за это нужно немедленно, ибо второй такой случай вряд ли еще раз подвернется. Гришка назвал фамилию Назара Федорца как самого подходящего на пост министра. В первое мгновение это показалось Ольге смешным, но она тут же вспомнила, с каким ледяным спокойствием Гришка отправил на тот свет своего отца, и ей стало страшно. Она шагнула назад. В это время ее увидели из окна. Делать нечего, надо было идти напролом и говорить то, ради чего она сюда пришла. Ольга поспешно, делая вид, что ничего не слыхала, вошла в помещение, приблизилась к Гришке, сидевшему за столом, решительно сказала:

— Запиши меня в красногвардейский отряд!

— Тю на тебя! Ты что, сдурела? — Гришка сощурил глаза, недобро засмеялся.— Иди зараз же домой и выкинь эту думку из своей дурной головы, пока я не всыпал тебе вожжей.

— Я с тобой жить больше не буду... Хватит уже, нажилась,— подступая ближе, прошептала Ольга. Дыхание у нее перехватило, только и достало силы на этот шепот.

Кулаки в комнате захохотали.

— Как это не будешь? — спросил пораженный Гришка.

— А так, что придется тебе теперь без батраков обходиться. Кто воды принесет? Невестка. А кто обед сварит? Невестка. А кто на жнива? Невестка. А кого бьют? Невестку. А за что? А за то, что она невестка.— Ольга вызывающе усмехнулась. На одно мгновение былой задор вернулся к ней.— Что же ты смотришь? Записывай...

Брова побелел весь, но стойко переломил себя, вынул из стола список, написал в самом низу столбца имя и фамилию Ольги. Хотел что-то сказать, но смолчал.

— Первая баба в отряде — и, как назло, своя собственная,— съязвил старик Федорец под дружный смех.

На дворе быстро смеркалось. Первая летучая мышь, проворная, как ласточка, слепо резала воздух. Ольга вышла из сельсовета, огородами напрямик пошла домой. У старого высохшего колодца, в который ссыпали золу и мусор, ее нагнал запыхавшийся Гришка.

— Постой, побалакать с тобой надо.

— Нам с тобой говорить не об чем. Обо всем уже говорено-переговорено.

Ольга остановилась, глаза ее встретились с бешеными черными глазами Гришки, она попятилась, хотела крикнуть, позвать на помощь, но ее настиг удар кулака в горло, и она полетела в неогороженную, страшную яму колодца. Гришка перекрестился, торопливо, собачьей рысцой побежал в сельсовет.

Над железной крышей всходила полная луна.

V

С фронта мимо села проходили воинские составы. В товарных вагонах, наискосок перечеркнутых белыми крестами, возвращались казаки домой, на берега Кубани и Дона. Войска Центральной рады не задерживали их. Центральная рада заключила тайное соглашение с генералом Калединым, поднявшим на Дону мятеж против советской власти.

Четверо суток простоял отряд Бровы на станции, безуспешно пытаясь обезоружить хотя бы один эшелон. Напрасно досмерти напуганный начальник станции держал закрытым входной семафор, днем поднимал красный флаг, а ночью красный фонарь. Машинисты, стоя под направленными на них дулами наганов, вели паровозы на всех парах, не обращая внимания на сигналы.

Казаки, наученные горьким опытом на предыдущих станциях, завидев вооруженных людей, нехотя строчили из пулеметов, выкашивая перед станцией молодую озимую пшеницу.

Брова во что бы то ни стало, ценой каких угодно усилий, не взвешивая своих сил и возможностей, стремился учредить Куприевскую республику. Он даже заказал околачивающемуся возле него Миколе Федорцу гимн республики. Хлопец написал несколько гимнов, но ни один из них не пришелся Гришке по душе. Ему хотелось, чтобы в гимне было названо его имя, но Микола не разгадал его тщеславного желания, а подсказывать было неудобно. Надо было вооружить единомышленников, поднять и повести за собой крестьян, уничтожить возможных противников — это Гришка понимал и ради этого держал отряд на станции.

Но оружие не так-то легко было достать. Бойцы его отряда, в большинстве своем не нюхавшие пороха, потягивали под тенистыми кустами глода мутную самогонку, которую по вечерам приносили бабы; истрепанными картами на щелчки играли в «очко», подставляя под удары красные вспухшие лбы; фамильярно называли своего командира Гришкой и старались втянуть его в игру, чтобы украсить чело командира синяками.

Надо было на что-то решиться. Посоветовавшись с ближайшим своим другом Макаром Курочкой, посвященным во все его планы, Гришка решил созвать митинг и, пока нет механика Иванова, высказаться перед отрядом начистоту.

Солнце поднялось вполдуба, когда человек сто двадцать принаряженных крестьян, вооруженных дробовиками, топорами и косами, галдя и поругиваясь, неохотно собрались на небольшом перроне захудалой станции.

Брова быстрыми шагами вышел из конторы начальника станции, подтянутый, ладный, в щегольском офицерском кителе; взобрался на передок рассохшейся, выкрашенной в красный цвет пожарной бочки, поднял руку, на

которой висела узорная плетеная нагайка, выждал, пока утих шум, и начал:

— Нам необходимо оружие...— Он запнулся, стараясь подобрать доходчивые и убедительные слова.— Много оружия надо, чтобы в каждом селянском дворе была винтовка, а на десять дворов — пулемет. Это для того, чтобы начать наконец самостоятельную, ни от кого не зависимую жизнь. Наше село богатое, в нем только птичьего молока нет. Вот и будем жить самосильно, без царя, без Керенского и...— он опять запнулся,— без большевиков. На черта он нам сдался, варнак Иванов! Убить его беспременно надо! Достанем оружие и будем жить отдельной, ни от какого черта не зависимой республикой...

Губы Бровы вдруг побледнели, и на лбу мелкими каплями проступил пот: сквозь беспорядочно сбившуюся толпу к нему пробирался механик Иванов, приехавший на тачанке. Лицо его было багрово и не предвещало добра.

— Агитируешь, предатель! — крикнул Иванов, останавливаясь в трех шагах от него.— Именем социалистической революции я приговариваю тебя, подлого, к смерти! И сам, именем революции, исполняю приговор...

Не целясь, Иванов выстрелил. Словно золотая пчела, мелькнул на солнце выброшенный из маузера патрон. Гришка безмолвно качнулся и, падая, ударился головой о станционный колокол. В душном воздухе пропел медный аккорд.

— Стройся! — зычно прокричал механик, даже не взглянув на труп.

— С ревности это он,— бормотнул Макар Курочка, бесстрашно наклоняясь над убитым дружком.

— Изменник Брова получил по заслугам,— сказал механик.— То же самое будет с каждым, кто подымет руку против советской власти.

— Та он же куркульский сын, а сова не выведет сокола,— добавил долгоногий фронтовик Убийбатько.

— Вот именно,— подтвердил механик Иванов.— Начальником отряда назначаю товарища Убийбатько. Он ваш земляк — старый солдат, участник штурма Зимнего дворца, знает военное дело и будет командовать вами в интересах молодой Советской республики. Думаю, вы все хорошо его знаете.

— Та знаем, чоловик гарный, не подведет,— послышалось в рядах.

— А теперь разбирайте рельсы. Только так мы сможем достать оружие. Через час придет эшелон с фронтовыми казаками. Надо спешить.

Микола Федорец отошел в сторонку, изорвал бумажку с написанным на ней гимном на мелкие кусочки, с сожалением пустил их по ветру.

Где-то далеко, за изломанной линией горизонта, гремела едва слышная орудийная гроза, будя в душе тревогу ожидания и любопытство. На Донбасс надвигалась лавина германо-австрийских дивизий, 18 февраля начавших наступление по всему фронту — от Балтийского моря до Черного.

Механик подошел к Убийбатько, взял его под руку, вместе с ним прошел в здание станции. На окнах звенели мухи, в комнате было сумеречно и прохладно.

— А не дадут казаки нам жару? — осторожно спросил Убийбатько.— Фронтовиков здесь один-два — и обчелся. А то все такой народ, что затвор от мушки отличить не может.

— Обучать их надо военному делу.

Красногвардейцы подожгли на полотне дороги вывернутые из земли смолистые шпалы. Едкий дым поднялся кверху.

— Ты думаешь, что мы будем драться с казаками? И ты не прав,— сказал механик Убийбатько.

— А с кем же мы будем драться?

— Мы подожгли шпалы, чтобы ни один эшелон не смог пройти дальше.

— Ну, это понятно.

— Все, что найдем в вагонах, нам и достанется. Кроме казаков и казацких коней. Казаки, конечно, уйдут дальше походным порядком. А сейчас кликни сюда Балайду, Конвисара, Плюща да двоих Отченашенков.

Хлопцы беспокойно вошли в комнату. На кучерявой голове Балайды вместо шапки — венок из одуванчиков, переплетенных зелеными нитками трав. С ним вошел Макар Курочка, встал у порога, щуря карие насмешливые глаза. Пожурил:

— Зря ты, Шурка, кокнул Григория. За всех скажу — зря.

— Ну, за нас можешь не расписываться,— толкнул его в бок Плющ.

— Я тебе не Шурка, а председатель ревкома. Пора к дисциплине приучаться, товарищ Курочка.— Механик

остановился против окна, спиной закрывая свет.— Я должен познакомить вас с расстановкой политических сил на Украине на сегодняшний день. Главнокомандующий немецкими оккупационными войсками на Украине фельдмаршал Эйхгорн убедился, что хлебные поставки сорваны и Центральная рада бессильна справиться с большевиками. Посему он приказал разогнать Центральную раду... Чрезвычайный штаб обороны Донбасса, в котором работают товарищи Артем, Ворошилов и Руднев, перехватил телеграмму Вильгельма Второго. Немцы соглашаются на избрание генерала и помещика Скоропадского гетманом Украины. Ну, кулацко-помещичий съезд хлеборобов — так они себя там именовали — собрался в киевском цирке, и вот эти-то труженики земли и провозгласили Скоропадского гетманом всея Украины. Испекли гетмана, как блин на сковородке. Первым делом гетман поклялся, что выполнит все обязательства Центральной рады. А обязательства эти вы знаете: гнать в Германию продовольствие и промышленное сырье, грабить мать Украину...: Я хочу объяснить вам, за что будет бороться наш отряд и кто мы такие. Мы пойдем к большевикам, вольемся в Пятую армию Ворошилова и будем драться с гетманом Скоропадским. Он продал Украину немецкому кайзеру и уже собирается вводить панщину, сгонять крестьян на помещичьи земли убирать хлеб. Большевики создают новую, рабоче-крестьянскую армию, но пока не могут прийти на помощь народу Украины, их связывает Брестский мир, по которому советская власть должна демобилизовать армию и флот и уплатить контрибуцию.

— Если ты большевик, то запиши и меня в партию большевиков,— выступил вперед Плющ. Его широкое, побитое оспой лицо светилось чистой, по-детски ясной улыбкой.

— И меня запиши тоже! Десять лет у Змиевых батрачил. Окромя трудовых рук, ничего не имел и не имею,— отозвался Конвисар.

— Я знаю, ты уже говорил на митинге у завода, что большевики — за наши трудовые интересы. Пиши и меня,— смущенно попросил молоденький Балайда.

— Я запишу, а список передам в райком, там вам надо будет оформить свою партийность, получить партийные билеты. В партию ведь не записывают, а принимают.

Механик Иванов записал всех желающих. Внимательно оглядев Макара Курочку, спросил:

— А ты?

Макар вызывающе ответил:

— Меня женить не надо, я уже женатый.

Механик отвернулся. Потом он вытащил карандаш, нарисовал на стене кружок.

— Это вот станция Чаплино, где-то здесь кружит отряд Махно. Что он за человек, пока неизвестно, поживем — увидим. Это,— механик провел жирную линию,— Дибровский лес. В Гавриловке мы соединимся с отрядом Щуся, займем лес и будем колошматить всех, кто только поднимет руку на мужицкое достояние...

Иванов долго объяснял создавшееся положение. Рассказал об условиях «хлебного мира», по которому Центральная рада за обещанную помощь в восстановлении буржуазно-помещичьих порядков на Украине обязалась к 31 июля уплатить немцам семьдесят пять миллионов пудов хлеба, одиннадцать миллионов пудов живого скота, два миллиона гусей и кур, два с половиной миллиона пудов сахара, двадцать миллионов литров спирта, две с половиной тысячи дюжин яиц, четыре тысячи пудов сала.

— После такого мира только и остается, что с торбой за плечами по миру идти,— возмутился Плющ.

— Слыхал я, будто под станцией Морской оккупанты обложили со всех сторон рабочий Таганрогский отряд...

— Слыхал об этом и я,— перебил Убийбатько механик.— Баварский корпус генерала фон Кнерцера.

— Таганрогцы дрались отчаянно, все патроны были израсходованы. С тысячу бойцов угодили в плен. Немцы на другой день расстреляли их под железнодорожной насыпью — всех до одного человека. Даже раненых не пощадили. У станции Родаково Пятая армия здорово всыпала двум германским дивизиям, да и гайдамакам печенки отбила, не пожалела гостинца. Удалось пропустить в Россию около сотни эшелонов угля и заводского оборудования.

В комнату запыхавшись вбежал Микола Федорец; каждые пять минут он прикладывал ухо к рельсу.

— Товарищи командиры, на горизонте дым, приближается поезд!

Партизаны пошли из помещения на платформу, но на пороге их задержал механик.

— Что бы с вами ни случилось, не забывайте, что теперь вы коммунисты. На насилие мы отвечаем вооруженным восстанием. Всюду работают подпольные организации нашей партии. Еще раз напоминаю: под Псковом и

Нарвой красногвардейские отряды разбили отборные немецкие дивизии... Немцы нещадно биты под Николаевом и Херсоном. Отряды партизан долгое время сдерживали наступление сорок первого немецкого корпуса на линии Гомель — Новозыбков — Чернигов. Сейчас они с боями отошли к границе Советской России. Перед нашими отрядами товарищ Ленин поставил задачу — разгромить пятисоттысячную армию германского наместника на Украине, фельдмаршала фон Эйхгорна.

— Наш отряд должен ее разгромить? — наивно спросил молоденький Балайда.

— Это сделают отряды Ворошилова, Сиверса, Киквидзе, Щорса и наш в том числе. Безоружный, терроризируемый, угнетаемый народ справится с этой задачей. Рабочий класс и крестьянство Украины поднимаются на борьбу против армии немецких генералов, баронов, помещиков... Теперь пошли, товарищи!

Вышли на перрон, усыпанный шуршащим гравием. На вишневом склоне неба жемчужно мерцала Венера. Младший Отченашенко долго глядел на ее ясный, серебряный блеск, мечтательно проговорил:

— Точь-в-точь как брошка на груди моей барышни.

Балайда, не видевший сейчас ничего, кроме этой звезды, почему-то напомнившей ему единственный глаз его кривой матери, спросил:

— А что твоя барышня сейчас делает?

— Разве не знаешь? Носит кирпичи в Межевой, на цегельном заводе,— ответил Отченашенко и любовно улыбнулся.

— Неужели начнут стрелять и начнется сражение? — спросил кто-то позади.

«Начнут стрелять! — Отченашенко вздрогнул и оглянулся.— Может, пока не поздно, домой уйти, подальше от греха?»

Зелеными пятнами светились железнодорожные огни на стрелках, речным блеском серебрились накатанные рельсы. Вдалеке, хекая, будто великан рубил топором дубы, шел паровоз.

Убийбатько быстро и умело, не хуже боевого офицера, расположил свой отряд по обе стороны железнодорожной линии.

— Держись, хлопцы! — ободрял он.— Казаки разговорчиков не терпят, это уж я на себе испытал, в Питере... Без моей команды никому не стрелять!

Из-за посадки показался пыхтящий паровоз. Шел он тяжело, из-под колес летело красное пламя, горели незалитые буксы — на какой-то станции железнодорожники незаметно подсыпали в них песку. Эшелон дошел до разобранного партизанами пути, дернулся всеми вагонами, заскрипел железом и остановился. В окошечке паровоза показалось бесстрастное усатое лицо видавшего виды машиниста.

— Слезай, приехали! — крикнул машинист и дал продолжительный гудок, спугнувший птиц с деревьев.

Из теплушек спрыгнули на землю несколько казаков; звеня шпорами, побежали к паровозу. Навстречу казакам, стегая пыльные сапоги веткой глода, беззаботно шагал механик Иванов.

— Что вы тут наделали, душегубы! — крикнул здоровенный высокий казак с забинтованной головой, озлобленно тыча в лицо механика листком бумаги.

Это был мандат Центральной рады за подписью генерального секретаря Винниченко, разрешавший казачьему полку беспрепятственный проход через Украину. Полк следовал по железной дороге на Дон, к генералу Каледину.

— Так вот она какова, эта Центральная рада! Красногвардейские отряды питерских и московских рабочих, поднявшихся на Каледина, задерживает, а вас, казаков, посылает к Каледину. Не хватает ему пушечного мяса.

— Мы домой поспешаем, к детишкам и женам... На черта нам сдался твой Каледин!

— Каледин, гутаришь? Покойника вспомянул: застрелился твой Каледин, царство ему небесное... И Центральной раде крышка, сбежала в Житомир. Киев большевики ослобонили, а вы, видать, и не знаете этого,— проговорил высоченный худой казачина.

Сердце механика забилось. Он знал, что в Киеве сейчас хозяйничают немцы, но весть о том, что Киев недавно был в руках большевиков, обрадовала его.

При бледном свете звезд партизаны разглядывали разбитые вагоны с ободранными крышами, раскрытые теплушки, морды голодных коней, грызущих деревянные двери. Казак оставил механика и, путаясь в сбитой набок шашке, побежал обратно. Несколько минут он совещался с однополчанами, обступившими его.

Из последнего вагона высунули «максим».

— Стой, стой, не стреляй, свои, черти, нашкодили!

Казак, который разговаривал с Ивановым, вернулся.

— Эй ты, хохлячий ревком, давай сюда свою банду, подсоби выгружаться, мы пойдем на Дон в конном строю. Так я и знал, что через Донбасс нам не пробиться.

Возле них собралась толпа казаков, не спускающих глаз с напряженно-спокойного лица механика.

Низкорослый батареец с двумя Георгиевскими крестами на груди жадно смотрел в поле и бормотал воспаленными, обметанными язвочками губами:

— Стоит пшеница, скоро косить, а вы ее кровью кропить удумали.

— Что же ты медлишь? Забирай, жри, пхай, пхай в две глотки. Воевать заохотились, оружию реквизировать! Намулит она еще ваши холки! — кричали рассерженные казаки.

По перрону шаркали изношенные солдатские сапоги.

Не меньше часа по деревянным помостам сводили истощенных коней. Чувствуя зыбкость опоры, кони приседали на задние ноги, не хотели идти; их тянули за уздечки, пожнами и плетями сгоняли вниз. Казаки торопились, быстро седлали коней. Брали они с собой только самое необходимое, оставляли в вагонах лишние пулеметы, винтовки, цинки с патронами.

Балайда остановил молодого чубатого донца, тайком при свете звезд разглядывающего цветастый женский платок.

— И что вы горячку тачаете? Загорелось вам!

— Погоди трошки, всыпят вам еще гостинцев. Ты кумекаешь, что мы барахло вам оставляем? Германцы сюда нагрянут, с ними лясы не поточишь... Как половодье идут они за нами. Все отнимают, даже баб реквизируют.

Парни, засев в посадках, безучастные к чужому горю, песней подзадоривали и бесили всадников:

И твий батько и мий батько
Булы добри козаки,
Посидалы середь хаты...

Всадники не слушали обидной песни. Еще из вагонов они видели мутную полосу далекого шляха и приняли ее за реку. Теперь они спешили напоить вторые сутки не пивших коней.

Казак, первым подбегавший к механику, натягивал суголовный ремень уздечки, крутился на коне возле вы-

строившихся трех сотен и, ругаясь сорванным голосом, выкрикивал распоряжения. К нему подошел Иванов.

— Дозвольте несколько слов молвить казакам.

Не дожидаясь разрешения, он взволнованно крикнул:

— Товарищи казаки! Иноземное иго надвигается на нас с запада. Народ Советской Украины поднялся на освободительную войну. А вам свои курени способней защищать не на Дону, а на Украине. Давайте поделим нашу судьбу, грудью встанем за молодую советскую власть!

Его нетерпеливо перебили:

— Опять за рыбу гроши... Слыхали, хватит! Мы уже по самую завязку наагитированы.

— Тебе хорошо языком молоть, а мы с бабами три года не спали.

Механик поднял руку, но озверевший казак изо всей силы, накрест, привычным ударом огрел его нагайкой по голове, задев лицо.

— Это тебе за энту молитву! — и показал рукой на полоскавшееся на ветру красное полотнище, на котором мелом было написано «Вся власть Советам!».

Сотни на стоялых конях рысью пересекали посадки. Сзади билось об их спины:

И твий батько и мий батько
Булы добри козаки...

Командир сотни, обернувшись в скрипнувшем седле, крикнул назад:

— А сыпаните им на спомин гостинца! Пали по кустам, пуля виноватого сыщет!

Пожилой унтер короткими очередями стал бить по станции из ручного пулемета.

Из товарного вагона, держа в руках новенький карабин, выпал молодой Отченашенко. Из головы его хлестала кровь, в ушах отдавался чеканный топот удаляющихся коней. Он ничего не слышал, кроме этого топота, в голове было ясно, так ясно, как никогда прежде. Он удивленно подумал, что эта необычайная ясность ему уже ни к чему, разве только для того, чтобы понять: это и есть разлука — смерть. И здесь вдруг вспомнилось все с той же пронзительной ясностью, что он никогда не спал с дивчиной. Потом взяла тоска, что, добыв оружие, так и не отомстил врагу. Хлопец с трудом раскрыл отяжелевшие

веки, но увидел только серый чумацкий шлях, пересекающий небо, и на нем месяц, блестевший истертой подковой.

Механик подошел к хлопцу. Умирающий уже не мог ни видеть его, ни слышать. Горько стало Иванову. Ему показалось, что он разгадал последние мысли Отченашенко и думал то же, что думал хлопец, теряя сознание навсегда. Механик снял кожаный картуз. Сзади кто-то неслышно подошел к нему, окликнул. Механик обернулся. Перед ним, приподняв узкие плечи, стоял Макар Курочка.

— Гришка, умирая, попа звал... Наказал передать тебе, что это он убил Ольгу и столкнул ее в пустой колодец в ревкомовском дворе. Слезно молил поховать ее рядом с ним на цвинтаре, с певчими и хоругвями...— Издевательски Макар Курочка добавил: — Я думаю — надо уважить покойника, зарыть их вместе.

VI

Механик Иванов хоронил Ольгу. Гроб стоял в маленькой комнатенке Отченашенко. Единственное окно было занавешено фартуком сапожника, в сумеречной темноте горела красная лампада, освещая строгое лицо божьей матери; потрескивали свечи в руках баб, и, хотя Иванов отказался от услуг отца Пафнутия, в хате приторно пахло ладаном. Взятые в церкви носилки вынесли с открытым гробом Убийбатько, Плющ, Балайда, старший сын Отченашенко и пристроившийся к ним Макар Курочка.

Первыми, как ближайшие родственники покойницы, взяв друг друга под руки, шли за гробом подавленные горем механик, дед Семен и Лукашка. За ними, поднимая ногами пыль, брели жители села. Впереди — одетые во все темное старухи, потом — бабы с младенцами на руках, еще дальше — девчата и парубки (они шутили и даже щипались) и наконец — красногвардейцы с непокрытыми головами и при оружии, взятом из казачьего эшелона. Так уже было заведено в Куприеве: на свадьбы и похороны сходились все жители села.

Механик объявил, что хоронит свою жену. И потому красногвардейцы, как подчиненные, вызвались провожать гроб, хоть он и не просил их об этом.

Сквозь слезы Лука не отрываясь глядел на красивую, словно из воска вылепленную голову матери. Ему хоте-

лось насмотреться на нее на всю жизнь. И было обидно и больно, что он так и не приласкал ее ни разу, не сказал того, что думал о ней во время долгой их разлуки.

В первый раз он почувствовал, как мать близка и дорога ему.

«Почему я не сказал ей этого?» — мучился он, и, если бы его крепко не держали под руки дед и отец, бросился бы на дорогу, лицом в пыль, и зарыдал бы во всю силу. Он не мог поверить, что вот эту красавицу, словно уснувшую в гробу, избивал Гришка Брова, потом целовал ее и, наконец, убил как зверь.

— Папа, за что ее убили, что она сделала плохого людям? — спросил он отца.

И отец первый раз в жизни не смог ответить ему.

А Лука все думал и думал. Неразрешимые вопросы встали перед ним. В детстве он много наслышался от взрослых о загробной жизни. Взрослые с малых лет прививали любовь к богу и страх перед ним; он верил, что бог все знает, все видит и слышит — и стоит сделать что-либо дурное, украсть, обмануть или солгать, всемогущий бог рано или поздно обязательно накажет.

С годами отец исподволь, осторожно разуверил его в существовании бога. Но может быть, отец ошибался и загробный мир все-таки существует? А если существует, то Лука обязательно встретится с матерью в новой жизни. Обрадуется ли она ему и что скажет при встрече?

Хоронили Ольгу без священника, без хоругвей и певчих. Это были первые гражданские похороны в селе.

— Ховают, как самовбивцу,— свистящим голосом говорила опухшая от водянки мать Курочки, поминутно с неприятным любопытством поглядывая на Луку.

Кто-то из молодежи резонно ответил:

— Ишло раньше на попа и с живого и с мертвого. А теперь не будет идти.

— В хате даже зеркало не завесили.

«Зачем они все это болтают?» — с тоской думал Лукашка, вслушиваясь в гомон людских голосов.

— Надо было ей, сердешной, бросить его, басурмана, и опять сойтись с механиком. Нету ближе человека, как первый муж. Его завсегда всем сердцем помнишь.

— Хорошая была женщина, царство ей небесное. Бывало, приду за щеткой для крейды или за тестом для опары — никогда не откажет.

— И поминок, говорят, никаких не будет. Какие же это похороны без пирогов?

Привычный, столетиями сложившийся порядок впервые был нарушен. Гроб несли до самого кладбища открытым.

Когда его выносили из хаты, старик Отченашенко положил в возглавие сухие колосья пшеницы, и стайка воробьев, забавляя детей, кружилась над открытым лицом покойницы; отважные маленькие птахи воровато клевали зерна.

Процессия доплелась до бедного, окруженного чахлым ракитником кладбища и спугнула пасущихся на могилах коз.

У прохладной ямы, выкопанной под высокой раиной, поставили носилки; люди вопросительно взглянули на механика, не зная, что делать дальше. Похоронами всегда распоряжался священник; помахивая кадилом, он тянул «вечную память», и люди под эти знакомые всем слова опускали на рушниках гроб в сырую яму.

— Что ж вы? Действуйте, как полагается,— ответил Иванов на немой вопрос Убийбатько. И тут же впервые сознался: — Тяжело мне. Вместо сердца — холодный камень в груди... Холодный, а жжет.

С тех пор как увидел после долгой разлуки Ольгу, он затаил мысль снова сойтись с нею, вернуть Лукашке родную мать. Но так и не довелось ему сказать любимой женщине хоть несколько ласковых слов. Все думал: «Успеется». А сейчас уже поздно.

Сосновая крышка плотно легла на гроб, и вот уже один за другим четыре трехдюймовых гвоздя ушли в нее по самые шляпки.

— Одну минуту, погодите, там шмель! — крикнул механик и, выламывая белые щепки из домовины, крашенной суриком, сдирая на пальцах кожу, сорвал крышку.

— Пускай подышит в последний раз, в последний раз поглядит на людей,— проговорила мать Курочки.

В скромном букете полевых цветов, продолжающих жить и в гробу, запутался сердитый мохнатый шмель. Механик смахнул его, и шмель, зажужжав, сделал несколько прощальных кругов и так стремительно взмыл в синее небо, словно навсегда решил покинуть землю.

Отгоняя шмеля, Иванов в последний раз прощался взглядом с самой дорогой для него в этом жестоком и неласковом мире женщиной. Если бы она могла его слышать, он сказал бы ей самые заветные слова, которые

десять лет отбирались из тысяч других слов и бережно складывались для нее в его сердце. Эти слова подняли бы ее из гроба, и она пошла бы за ним, куда он велит: на каторгу, в огонь, на смерть.

Почему же он не сказал этих слов, когда проходил мимо нее и она с ожиданием — он видел это по ее глазам — безмолвно глядела на него?

Убийбатько снова, теперь уже торопливо, приподнял крышку, взялся за молоток. Механик бросил последний взгляд на покойницу. Как сильно исхудала и постарела она за последнее время! Какие мучительные думы сплели паутину морщин у ее глаз? Горько жилось ей под нерадостным для нее солнцем!

Гроб на веревках опустили в узкую яму, и тотчас по крышке застучали высушенные солнцем комья глины. Красногвардейцы быстро работали лопатами, словно делали нехорошее дело и торопились поскорее его закончить.

Ничего уже не слыша и не видя, Лука свалился на траурно-черную землю и зарыдал. Впервые смерть так близко коснулась его. И, плача о матери, он плакал от сознания, что люди неизбежно умирают и смерть — это общая участь, что рано или поздно умрут все и через восемьдесят или сто лет из тех людей, которых он знает, не останется ни одного человека. Сапожник Отчепашенко наклонился над Лукой, легко поставил на ноги и ласково начал упрашивать:

— Не плачь, не расстраивай отца, на него и так смотреть больно, почернел весь.

По дороге домой Иванов положил руку на плечо сына, сказал:

— Учиться тебе надо.— Подумал немного и добавил: — Надо, а негде. Кругом война.

Они шли рядом, опустошенные и усталые, будто без отдыха работали несколько суток подряд. Утверждая незыблемый закон жизни, яро полыхала весна. В теплом воздухе кружил густой тополиный снегопад.

— Вот и мать твоя собиралась в народные учительницы пойти, учить детей уму-разуму. Очень хорошо помню эту ее мечту. Плохо наш мир устроен: люди рано сдаются судьбе и, ослабев, перестают бороться.

Весь вечер отец и сын говорили — один о матери, другой о жене. Но так и не сказали они ничего нового друг другу о женщине, ставшей уже воспоминанием для живых.

Ночью, когда легли спать покотом на прохладной доливке, посыпанной, словно на троицу, свежей травой, дед Семен спросил Иванова:

— Женишься теперь? Церквой вдовцам это дозволено.— И, не дождавшись ответа, принялся выкладывать несложные свои соображения о судьбе Лукашки: — Мать родная бьет — как гладит, а мачеха и гладит — как бьет. А я тебе, Сашко, прямо скажу. В молодости, еще до пожара, на котором спалил себе очи, имел я большую удачу и увеселение от баб. В любви был прямо-таки неистовый. Со всеми почти девками в селе переспал: бывало, сегодня у одной в клуне почую, а назавтра с другой на сеновале. А сейчас прямо скажу: если б можно было от них от всех отказаться и с одной женщиной всю жизнь проголубить — отказался бы, и глазом бы не моргнул. От них, от баб этих чужих, вся неприятность идет: и вешаются, и бьются, и плачут. Они, бабы, все одного вкуса, и нет для человека лучше его богоданной супружницы...

Потом старик, совсем уже некстати, заговорил о Гришке Брове:

— Коптил человек божий свет, а для чего — неведомо. Капитал сколачивал, а после себя даже дите не оставил. В Евангелии же сказано довольно внушительно: «Всяко убо древо не творяще плода посекается и в огонь вметается». Скушно, конечно, без бабы: прижмешься к ней и забудешь про все на свете, все равно как горилки хлебнешь.

В настежь открытую дверь видно было, как месяц поливает землю струями голубых лучей. Голос старика воспринимался как шум дождевых капель, барабанящих по сухой и плотной листве. Под его мерный лепет Лука уснул, тесно прижавшись головой к твердой и теплой груди отца. Проснулся он один только раз и расслышал слова деда:

— Любили и кохали один одного и померли разом, в один день.

«О чем это он?» — подумал Лука, но тотчас забылся и снова уснул — до утра, ослепившего его своим лазурным светом. Все ликовало в мире, радовалось и восторгалось. Блаженно мычали в хлевах коровы, пели птицы, свивая гнезда. В саду среди травы одуванчики подняли кверху белые шары, ожидая порыва ветра, который унес бы легкие их семена и обсеменил ими добрую, милую землю. Каждый час, каждую секунду свершался на земле

круговорот вечной жизни. Все рождалось, жило, оставляло потомство и умирало, продолжая жить в своем потомстве. Никогда на свете не переведутся люди и деревья, напоминая будущим поколениям о своих предках, которые тоже украшали землю, благословляя жизнь.

Уже на следующий день мальчик среди природы почувствовал себя легче. Молодая душа его рвалась к жизни, и смерть стала забываться, как непонятный и страшный сон.

Он лег на землю, щедро позолоченную цветами лютиков, обрызганную пахучими каплями ландышей, и, рассматривая мирное сплетение трав и цветов, подумал, как было бы хорошо, если бы так же, без всяких войн и без драк, уживались между собой люди.

Но механика Иванова грызла тоска. Он не сразу мог оправиться после удара, примириться со смертью Ольги. Несколько дней Иванов ходил как пьяный, глядя себе под ноги, словно отыскивал на земле следы любимой женщины, ушедшей от него навсегда.

В безоблачном небе погромыхивал орудийный гром. Убийбатько тревожно прислушивался к нему. Как-то пришел к механику и настойчиво потребовал:

— Надо с отрядом уходить в леса, немедленно.

— Не могу я ее оставить.

— Кого?

— Ну, кого! Ольгу, конечно. Понимаешь, люблю я ее. Вот только сейчас и понял, как сильно люблю. Жить без нее не могу.

Убийбатько улыбнулся доброй и ласковой улыбкой. Так улыбаются детям да, может быть, тяжелобольным.

— Все мы своих жен любим. Но я вот живую Фроську в селе оставляю, а тебе мертвую и подавно можно оставить. Не украдут, не обидят, не обманут.

— Мне бы еще разок на нее взглянуть. Ведь даже фотографии не осталось.

— Сквозь землю не глянешь.

— Откопаю ее! — решительно заявил механик.— Посмотрю на нее в последний раз, и поедем.

— Ты что? В селе разговор пойдет нехороший. Закон не дозволяет откапывать мертвяков.

— Оно-то верно... Живешь среди людей, так и поступай по-людски,— согласился механик.

Но колебался он недолго. Прихватив с собой лопату, пошел на кладбище и разрыл могилу.

Балайда и Убийбатько, которые пошли с ним, помогли вытащить гроб, сняли успевшую отсыреть крышку.

Сердце механика гулко забилось. В безжизненном свете луны увидел он мертвую голову жены, убранную совсем уже увядшими цветами, увидел, как, потревоженный голубоватым лучом, зашевелился могильный червь. Поспешно опустился на колени и, весь содрогнувшись, поцеловал жену в уже почерневшие губы. Потом поднялся и как слепой пошел прочь с кладбища.

— Прах! — сказал он.

Только теперь дошло до него неотвратимое значение этого слова.

Убийбатько и Балайда зарыли гроб, насыпали над ним неуютный холмик земли.

— Будет время, украсим могилу хрестом,— задумчиво сказал Убийбатько, шагая вслед за Балайдой.

VII

Через земляную греблю ставка испуганные ребятишки гнали стадо коров. Страх детей передавался скотине, коровы бежали с задранными хвостами, теряя по дороге перламутровые молочные капли. Возле крайнего двора самый ловкий из пастухов, переведя дух, выпалил:

— Нимцы! — и щелкнул конопляным кнутом, будто выстрелил.

С горы, освещенные оранжевым предзакатным солнцем, медленно спускались вниз, в село, всадники в незнакомой форме. Рослые, маслаковатые кони шли боязливо по ненаезженному, высохшему после недавнего дождя шляху. Немецкий лейтенант, отнимая от глаз «цейс», самодовольно сказал ехавшему подле вахмистру:

— Видишь, сколько свиней, коров, птиц! Через неделю пошлешь матери первую посылку, довольно ей сидеть на картофельных очистках.

— Так точно, господин лейтенант,— осклабился вахмистр. Он знал, что каждый немецкий солдат имеет право еженедельно посылать продукты из оккупированной страны на родину.

Возле школы сошлись семеро крестьян, выжидательно смотрели на шлях. Все ближе накатывал глухой, неспешный топот конницы, окутанной густой пылью; покачивались пики с пестрыми флюгерами.

— Из пулемета бы их полоснуть! — с нескрываемой злобой сказал крестьянин, недавно вернувшийся с фронта. — Наделали бы из них колбасы! Как на параде едут и не хоронятся, черти.

Но тут одна баба сунула фронтовику под нос дулю.

— Из пулемета!.. Шел бы до Убийбатько, да и пулеметил там, а то к бабской юбке прилип, оторваться не можешь.

Фронтовик густо покраснел, выругался.

Дед Семен обратил незрячие глаза в сторону врагов, многозначительно проговорил:

— Будет с ними мороки, поминай как звали змиевскую землю.— И, глубоко вздохнув, добавил: — А у меня на ней подсолнухи посажены, да и жита немного.

Старый Отченашенко, будто землю уже отобрали у него, пожалел:

— А земля была — чистый тебе бархат! Сладко пожила на ней Змиева! Не иначе, германцы опять введут панщину.

Из раскрытого окна высунулась раскосмаченная голова жены Отченашенко.

— Никифорыч, ты бы пошел на баштане схоронился. Потому — выбьют тебе бубну за сына-красногвардейца.

— Пока нам выбьют, им скорей морды залатают.

Всадники не спеша проехали мимо пруда, устало начали подниматься в село. Командир, красовавшийся впереди, остановил игривого коня, пропуская мимо себя колонну, оглянулся назад. Позади, за прудом, словно солдатская папаха, курчавился зеленый лес. Командир снял каску с острым шишаком, рукавом гимнастерки вытер пот, взмахом стека подозвал к себе офицера.

— Как вам нравится эта могильная тишина? Уж не ловушку ли нам готовят махновцы?

— Да, большевики мастера на всякие засады,— плохо разбираясь в политической обстановке оккупированной страны, сказал молодой, весь запыленный офицер и так сладко потянулся, что новенькое седло под ним заскрипело. Его тянуло поскорей кинуться на охапку сена, заснуть, забыть и кайзера и большевиков.

Квартирмейстер, делая мелом надписи на воротах, быстро распределил солдат по хатам. Среди них толкался сын управляющего винокурней, гимназист, приехавший в село на каникулы. Подыскивая по учебнику Глезера и Петцольда слова, он длинным тонким пальцем тыкал в окно — «дас фенстер»; подходил к печке — «дер оффен».

Немцы кивали головами, тщетно пытаясь вытянуть из гимназиста хоть какие-нибудь сведения о наличии партизан, об их семьях.

— Есть в селе большевики?

Гимназист, как недавно в классе, смотрел в потолок, стараясь понять, чего от него хотят.

Поверив в напускное добродушие немцев, крестьяне похлопывали их по плечам.

— Ну, германские морды, стребует с вас Убийбатько за наше сало, собственной юшкой умоетесь, подавитесь нашим хлебом!

Солдаты только передергивали плечами, обнажая в улыбке меловые кромки зубов.

Последними, в конце обоза, въехали в село походные кухни, остановились возле белой церковной ограды. К ним тотчас сбежались дети. Лука был твердо уверен, что видит перед собой пушки, стрельбой из которых хаты можно валить.

— Пушки, это пушки,— торопливо объяснял он товарищам.

Но когда краснорожие кашевары стали разливать по медным солдатским котелкам ароматный суп, Луке стало не по себе. Он, сын большевистского комиссара, привел ватагу мальчишек и котлы с фасолевым супом во всеуслышание назвал пушками! Со всех сторон посыпались на него насмешки. Лукашку охватил стыд. С этой минуты он мстительно возненавидел чужеземцев, их беспечные по виду, заросшие рыжей щетиной лица, гортанный говор, вонючий дымок сигарет.

Молодому немецкому лейтенанту не спалось. Под Павлоградом немцы потерпели поражение. Лейтенант уже имел кое-какое понятие о тактике партизан, в корне отличавшейся от фронтовой позиционной войны. Офицер потянулся, пристегнул к поясу тяжелый парабеллум и, выйдя на улицу, направился к пруду. Ноги его глубоко уходили в остывшую пыль, сквозь тонкую кожу подметок он чувствовал ее холодок. Когда он проходил мимо поста, солдаты окликнули его. Лейтенант усмехнулся: «Окликнули, чтобы показать, что не спят».

От воды шла влажная, пахнущая плесенью прохлада. Пруд с выдвинутым высоким полуостровком был сейчас необыкновенно красив. Крутые берега его, заросшие черным лесом, напомнили лейтенанту старинный замок над

Рейном, хорошо знакомый ему. Среди пруда стальной полосой лежал лунный свет.

— Везде, даже над этими мирными берегами тяготеет проклятье войны! — пробормотал офицер и, слегка звякнув шпорами, зашагал назад.

Он знал многое, о чем не догадывались его солдаты. Ему были известны соображения генерала Людендорфа, считавшего, что без оккупации Украины нельзя выполнить проектируемое на французском фронте большое наступление. Это наступление должно было загладить все допущенные раньше промахи и решить исход мировой войны. Лейтенант знал, что 18 февраля, в день наступления на советские территории, многие германские и австрийские дивизии не имели даже однодневного запаса муки. Без украинского хлеба грозила немедленная катастрофа, гибель. Трудовое население Германии уже открыто выступало против войны. Утомленные окопной войной войска, проникнув во вражескую страну, могли поддаться большевистской пропаганде. Им грозили инфекционные болезни. Он все это знал и учитывал — человек, мечтавший в начале войны о военной славе, изучивший Клаузевица, Шарнгорста, читавший Маккиавелли, недавно выбросивший из своей походной сумки книгу Шлиффена «Канны», которая долгое время заменяла ему молитвенник. Война опустошила его душу. После двух ранений он охладел к войне. Его пугали успехи быстрого продвижения немецкой армии по Украине. Большим куском легче подавиться!

Проходя мимо школы, лейтенант остановился и несколько минут смотрел на протянутую во дворе веревку, унизанную прищепками для белья. Воображение его разыгралось. До войны служил он техником на электровозной линии, и эта веревка с прищепками напомнила ему троллейный провод и сидящих на нем ласточек с опущенными книзу раздвоенными хвостами. А вспомнив ласточек, лейтенант не мог не вспомнить своего маленького сына; мальчик, впервые увидев этих ласточек на проводах, спросил с изумлением: «Папа, почему их не убивает током?»

Утром в село вошла сотня опереннo разряженных гайдамаков, а на станцию прибыл пустой эшелон с намалеванными на вагонах одноглавыми немецкими орлами; у орлов были крепкие когти.

Ударили в колокол, сзывая крестьян на сходку. Со свойственным украинскому народу стремлением сразу идти навстречу неприятности, люди собрались быстро.

Дед Семен прихватил с собой кобзу.

— Зачем ты тянешь с собой эту бандуру? — спросил его сапожник Отченашенко.

— Без кобзы и шагу зробыть не можу. Она мне розрада и порада. Встану ночью воды напиться, трону ее — она живет, кличет куда-то...

Первым на сходе выступил гайдамацкий сотник. Лука сразу узнал в нем Степана Скуратова. Придерживая запыленную шапку за кончик алого шлыка, размахивая ею, точно кадилом, Степан басил:

— Вы уже, наверно, знаете, зачем вас собрали сюда. Отныне зарубите себе на носу: неметчина — союзник самостийной неньки Украины! — Он вытер верхом шапки пот со лба и, как бы не замечая, что слова его вызывают протестующий гул голосов, принялся читать по бумажке: — Ваше село обязано дать в помощь Германии двести десять коней, двенадцать тысяч пудов зерна, триста пудов сала, десять тысяч яиц. Вы уже знаете, что по моему приказу взято двадцать заложников из местных жителей. Если через три дня продовольственная контрибуция не будет собрана, заложников придется пустить в распыл. Да здравствует... Знаем що!

Майдан загудел.

— Долго вы еще продавать нас будете?

— Годи вже, досоюзничались!

— Хватит с нас нахлебников! — раздавались выкрики.

Степан запахнул полы широкой синей чумарки, раздраженно хлестнул плетью по зеленым, измазанным лебедой сапогам, громогласно крикнул:

— Сволочи! Большевики! Село сожгу, а бунтовать не дозволю! Я здесь ответственное лицо.

Его перебил дед Семен. Потянувшись к гайдамакам, обступившим Степана, он закричал на весь майдан:

— Дать бы тебе по твоему ответственному лицу, собака! — И, обернувшись, подначивая и в то же время насмехаясь, крикнул сходу: — Хлопцы, а ну, умойте этих запорожцев!

Деда потянули в толпу, пригнули к земле, но несколько гайдамаков кинулись за ним, схватили его под руки. Разъяренный Степан брызгал слюной:

— К стенке его, немедленно!.. Нагоните им, хлопцы, холода, пусть знают, что мы не станем с ними цацкаться!

— Боженьки, боженьки, над кем вы боговать будете, як нас не станет? — насмехался над гайдамаками дед, пока его волокли к ограде.

Старуха Отченашенко бросилась к Степану, повисла у него на руке, запричитала:

— Грех кобзаря убивать! Кобзарь — то ж голос народа, люди песни его сердцем слухают.

Степан толкнул старуху, и она упала на землю.

Лука не сводил глаз с лица Степана — оно было таким же страшным, как в ту ночь, когда он люто избивал Дашку.

Шесть гайдамаков подняли винтовки. Лука рванулся к Степану, повис на его руке. Задыхаясь, крикнул:

— Что ты делаешь? Ты ведь человек, а не зверь!

Ударом кулака Степан свалил мальчика на вытоптанную сапогами траву.

Толпа замерла. Люди вставали на цыпочки и через головы передних смотрели на деда. Он насмешливо повернул лицо к гайдамакам, услышал, как защелкали затворы, вгоняя в стволы патроны.

— Рятуете Украину, ну, рятуйте! Дорятуетесь на свою голову.— Разозлившись, закричал: — Думаете, испугали? Наплевать на ваши расстрелы! — И, повернувшись к церковной ограде, деловито начал мочиться.

Коротко, вразброд щелкнул залп, выпала из старческой руки на землю кобза, всхлипнула, как ребенок. Лука дико крикнул и забился в сильных руках старика Отченашенко. Толпа закричала, заволновалась, люди, прыгая через плетни, побежали к хатам.

Началась повальная реквизиция хлеба. Гайдамаки вместе с немцами сбивали на дверях замки, врывались в каморы, нагружали арбы мешками с зерном, пахнущим плесенью и мышами. Нескончаемая вереница возов потянулась от села к станции. С каждым отнятым мешком все густел гнев крестьянский, загоралась думка о тяжкой расплате. Немцы бесцеремонно залезали в скрыни, забирали девичьи и женские наряды, вымогали деньги, брали продукты. Вместо денег выдавали расписки, нацарапанные на клочках бумаги.

Никто не заметил, как Лука на коне наметом выскочил за село и скрылся за посадкой.

Под вечер со стороны станции в село ворвался отряд Убийбатько. Испуганной квочкой заклохтал на околице

немецкий пулемет и смолк мгновенно. Кривыми проулками, вытаптывая цветущий репейник, мчались свои, деревенские всадники, размахивая шашками, стреляя на всем скаку. Рядом с Убийбатько мчался Лукашка, только о том и думая, чтобы настигнуть Степана, рассчитаться с ним сразу за все обиды.

Запыленные мукой, захмелевшие от выпитого самогона враги растерялись. Почти ни у кого из них не оказалось оружия под рукой. Человек десять во главе с лейтенантом отбили две конные атаки, но на отражение третьей не хватило патронов, и они полегли под ударами сабель: на каждого врага приходилось по двадцать партизан. Немцев и гайдамаков добивали косами мирные селяне, сбрасывали их с чердаков, куда те попрятались.

Лука видел, как Степан прыгнул на тачанку и что есть мочи, нахлестывая коней, вырвался из села в просторную степь.

Через какой-нибудь час немецко-гетмановский отряд был разбит, на улице валялись раздетые, деревенеющие на ветру трупы. Изредка из кучи убитых доносился стон раненого. Оружие, патроны и прекрасные кони достались партизанам.

Лука снял с убитого немецкого лейтенанта бинокль и заглянул в его сумку. Там лежало несколько писем, фотография белокурой женщины и голубоглазого мальчика, сидящего верхом на деревянном коне, с игрушечной сабелькой в руках.

— Нет ли в этой сумке какого-нибудь секретного приказа? — поинтересовался Убийбатько, отбирая сумку. Он достал из нее тоненькую брошюру.

Побывавший в немецком плену Макар Курочка развернул брошюру, улыбаясь, перевел с немецкого:

— Пустующие колыбели Германии должны быть заполнены: отечеству нужны здоровые дети. Каждый новорожденный здоровый мальчик через двадцать лет станет сильным солдатом... Вы, женатые мужчины, и ваши жены должны выбросить из головы ревность и задуматься над тем, не лежит ли на вас долг также и перед вашим отечеством. Вы должны подумать над тем, не можете ли вы вступить в честный союз с одной из миллионов одиноких женщин. Увидите, что ваша жена одобрит такую связь. Помните все вы: пустующие колыбели Германии должны быть заполнены.

— Сволочи,— выругался Убийбатько. — Знают, что проиграют войну, и уже готовятся к новой.

— О, кайзеровский генштаб организовал в Германии массовое производство незаконпорожденных детей, разработал программу «побочных» и «вторичных» браков,— объяснил Курочка.— Они даже мне, военнопленному, подсунули фрау Эльзу.

— Это правда, что в Германии ведутся опыты по искусственному оплодотворению женщин? — спросил Убийбатько.

— Чего не знаю, того не знаю,— ответил Макар и сплюнул под ноги.

На майдане, у самой церкви, возле того места, где расстреляли деда Семена, изрубленный шашкой немецкий лейтенант валялся до утра.

Всю ночь со станции крестьяне возили домой отобранную у врагов пшеницу.

VIII

В нарядном фаэтоне на дутых шинах в сопровождении мадьярского капитана прикатила в бывшее свое имение молодая жена Георгия Змиева, Анна Павловна. Крестьяне в тот же день послали к ней Отченашенко узнать, как теперь быть с землей.

Сапожника у каменных ворот встретил садовник, с нескрываемым злорадством сказал, что барыни нет дома, поехала смотреть свои поля.

— Поля-то теперь наши, своим зерном засевали,— осторожно возразил Отченашенко.

— Были ваши, а теперь опять господские. Знаешь, долги помнит не тот, кто берет, а тот, кто дает.

— Землю-то ведь мы забрали по закону, декрет такой был.

— Сами забрали, сами и отдадите,— наглея еще больше, ответил садовник, оттеснил непрошеного гостя на пыльную улицу и закрыл за ним железную витую калитку.

«Вот он и весь ответ»,— подумал сапожник. Все еще на что-то надеясь, он повернулся и, крупно шагая, припадая на хромую ногу, пошел в степь.

Случилось так, что Анну Павловну сапожник встретил на полосе своей ржи. Скрытая по пояс колосьями,

ярко и безвкусно одетая, она рвала розовые и желтые скабиозы, ярко-синие васильки, нежные раструбы повилики. За эти годы она сильно изменилась, пополнела, из глаз ее давно исчезло выражение мечтательной кротости, они смотрели недружелюбно и остро. Уже ничего не оставалось в ней от хрупкой мещаночки. Это была хозяйка.

Рядом с Анной Павловной стоял дородный капитан с букетом полевых цветов в руках.

— Бурьян пропалываете? — спросил Отченашенко и тут же, разъярясь, хозяйским тоном крикнул: — Зачем топчете чужое жито?

— Чье, чье жито, вы сказали? — насмешливо улыбнулась Змиева.

— Мое!

— Не твое, а мое. Ты без моего разрешения посеял его на моей земле. Не правда ли, это мое жито, господин капитан?

Офицер задумался, стараясь понять, и коротко ответил по-русски:

— О да!

Змиева затараторила по-французски. Капитан свистнул. Из ложбины, ведя в поводу коней, вышли молодцеватые венгерские солдаты. Капитан что-то приказал им на непонятном своем языке, двое из них схватили упирающегося Отченашенко под локти и повели, почти неся на руках.

Привели на майдан, вынесли из расправы скамью, сняли с сапожника штаны и прилюдно выпороли гибкими розгами.

Подъехала на фаэтоне Анна Павловна. Держась рукой за кушак кучера, она приказала дать солдатам на водку. После этого, окинув крестьян быстрым взглядом, сказала, что вся помещичья земля со всем ее урожаем является ее неприкосновенной собственностью и находится под защитой дружественных немецких войск.

— Советую крепко это помнить, — закончила она веско, но не повышая голоса.

Господский дом был построен в мавританском стиле. После недавнего погрома вставили новые цветные витражи в рамы, внесли в комнаты шелковую мебель, перекочевавшую в куприевские хаты; садовник Афанасий расчистил заросший лебедой двор, привел в порядок клумбы, газоны и цветники, поднял на толстой зубчатой башне флаг германской империи.

В нижних комнатах двухэтажного дома разместился шумный штаб немецкого карательного отряда. Целый день стучала там пишущая машинка, сновали военные, наводя на всех обитателей дома тоску своими постными физиономиями. Дом энергичной, жизнерадостной Анны Павловны напоминал улей, покинутый маткой. Несколько раз она пыталась подчинить себе всех этих людей, но никому не было дела ни до ее дома, ни до хозяйства. Только садовник неутомимо возился в саду да несколько человек старой прислуги тщетно пытались ввести жизнь экономии в прежнее русло.

Садовник настоятельно требовал, чтобы Змиева съездила в Чарусу и привезла Степана Скуратова в имение.

— Только такой человек, как Степка, может утвердить ваши права, Анна Павловна. Да и несподручно вам тут без мужской защиты проживать. Банда Махно поблизости колобродит. Ненароком налетит, порежет!

— Все пугаете меня, Афанасий! Никаких банд поблизости нет. А Степан Скуратов жулик. Не понимаю, почему Кирилл Георгиевич доверяет ему. Революция подавлена. Жизнь постепенно налаживается. Я ценю вашу преданность, Афанасий, и, поверьте, она не будет забыта.

Садовник почтительно наклонял лобастую голову и шел в сад срезать розы для ежевечернего букета барыне. Срезанные цветы он поливал из лейки и, в радужных каплях воды, в простом глиняном кувшине вносил их в гостиную, ставил на круглый стол и молча выходил.

Чем-то печальным и траурным веяло от гордых, преждевременно умиравших в кувшине роз. И все вокруг казалось неверным, зыбким. Нет поблизости преданных, близких людей. Каменный дом казался карточной постройкой. Дунет ветер — и разлетится. Анна Павловна не скрывала от себя, что вряд ли удастся ей удержать землю, к которой тянется столько рук. А удерживать землю насильно — как бы не расстаться с жизнью.

Было тоскливо и скучно. Что-то надо сделать, развлечь господ офицеров. Анна Павловна после долгих раздумий и колебаний решила устроить деревенский бал. Телеграммой она пригласила вновь назначенного начальника варты, о котором слышала как о светском, остроумном поляке, восхищавшем своими любовными похождениями весь Киев.

Начальник варты приехал под вечер в сопровождении многочисленного карнавально одетого конвоя. Он сошел

с забрызганного грязью тарантаса и небрежной, немного усталой походкой направился к крыльцу, куда вышла его встретить хозяйка.

Невысокий, узкогрудый, с желто-чахоточным, слегка тронутым оспой лицом, на котором лежала печать страдания, начальник варты Анне Павловне не понравился.

«Неужели этот неинтересный послушник способен вызвать громкие пересуды и сплетни?» — подумала Зяблюша, кутаясь в теплый платок. Располнев, она не оставила этой привычки. Но долг обязывал, и она гостеприимно протянула начальнику варты унизанные браслетами свои маленькие руки.

Потом по скользкому, как лед, натертому воском паркету она повела его в просторные комнаты.

Немецкий духовой оркестр с большим блеском играл давно знакомый задорный и нежный венский вальс.

«Хороша наша жизнь, хороша, хороша!..» — казалось, выговаривали трубы. В зале певуче звенели шпоры, местные учительницы, охмелевшие от счастья, вскинув хорошенькие головки, кружились в своих стоптанных башмачках с немецкими офицерами.

Анна Павловна познакомила начальника варты с постоянным своим поклонником — дородным мадьярским капитаном. Начальник пристально вгляделся в лицо офицера, бормотнул сквозь зубы:

— Этому вахлаку недолго осталось жить.

— Что вы?! — испугалась Зяблюша.

— Поверьте мне. У человека, которому суждено скоро умереть, что-то потустороннее в лице. Душа человека — чуткий барометр, она всегда чувствует приближение смерти.

К ним без тени почтительности подошел приближенный начальника варты. Показывая глазами на бритый череп капитана, хихикнул.

— Ну и лысина, хоть ножи на ней точи!

— Не забывай, Кийко, где ты находишься. Прибереги свои шуточки для птиц твоего полета,— оборвал его начальник варты.

Зяблюша удивленно подняла тонкие брови. Начальник варты, желая замять неловкость, осторожно спросил ее о муже. Зяблюша сказала, что Георгий Кириллович служит в офицерском полку генерала Дроздовского, свекор Кирилл Георгиевич — в Киеве, министр в правитель-

стве гетмана Скоропадского. На ней одной лежат заботы об этом имении, которое доверила ей родня.

— А вы не боитесь, что Махно нападет на ваше имение? — полушутя, полусерьезно спросил начальник варты.

Зяблюша ответила беспечно:

— Ну нет! У меня сотня вооруженных людей, а Махно, говорят, не любит бросаться на штыки.

— Впрочем, под защитой таких храбрецов, как капитан, вы можете быть спокойны и ничего не бояться.

— Вот-вот, это я и хотела сказать,— проговорила Анна Павловна и яркими кукольными глазами невинно посмотрела на рослого капитана.

Капитан, не понимая русского языка, глуповато улыбнулся. Все чаще он поглядывал на стол, на котором длинным рядом выстроились разноцветные, разной формы графины. Зяблюша заметила эти взгляды и, снисходя к его понятному нетерпению, пригласила гостей к столу. Задвигались стулья, зашуршали женские платья, послышались остроты, захлопали пробки, и обильный ужин начался.

Капитан поднялся с бокалом в руке, произнес несколько отрывистых фраз и поцеловал в щеку сидевшую рядом Анну Павловну.

— Что он пробубнил? — спросил начальник варты.

Учительница, сидевшая напротив, перевела по-русски:

— Он сказал: «Кто превратит белую лилию в красную розу? — и тут же ответил: «Поцелуй белоснежную Галатею, и она, покраснев, улыбнется».

Не дожидаясь приглашения, с молчаливого согласия начальника варты вошли и сели за стол десять человек его конвоя. Пили они много; по столу пробежал осуждающий шепоток. К тому же они громко смеялись и мешали другим. Один из них — Лященко вытащил из кармана измятую матросскую бескозырку с Георгиевской лентой и стал вытирать ею раскрасневшееся лицо. Вскоре незваные гости затянули песню, но соседи осторожно уняли их.

Все это Анне Павловне показалось немного странным. Странным показалось и то, что начальник варты, не спросив у нее разрешения, вышел из-за стола. Она тотчас же поднялась и пошла вслед за ним, чтобы потребовать вывести вон распоясавшуюся вольницу. Но начальника варты нигде не было. На пороге Анна Павловна лицом к лицу столкнулась с садовником. Он сказал ей шипящим шепотом:

— Беда, барыня! Махновцы захватили во дворе все немецкие пулеметы.

— Ты бредишь? Или пьян? Иди спать, Афанасий,— сказала Зяблюша.

— Махновцы за столом сидят, а начальник варты — сам Нестор Иванович, вот вам крест святой! — садовник широко перекрестился дрожащей рукой. Лицо его было бело как бумага.

Быстро повернувшись, Зяблюша вернулась в столовую. В эту минуту капитан поднял сверкающий в свете люстры бокал и с напускным, театральным пафосом возгласил:

— За здоровье его величества императора Вильгельма Второго! За здоровье императора и короля Франца-Иосифа!

— Отставить! — громовым голосом оборвал его Лященко. Он расстегнул китель, и на груди его мелькнули синие и белые полосы тельняшки.— Пьем за здоровье батька Махно!

Округлившиеся глаза капитана обратились к двери. Зяблюша тоже обернулась. Навстречу ей развинченной походкой, как-то по-лошадиному засекая одной ногой, медленно ковылял начальник варты, держа револьвер в руке. Лицо его преобразилось, что-то исступленное появилось в горящих, как угли, глазах. Приближенные начальника вскочили из-за стола и направили револьверы на офицеров.

— Довольно ломать комедию!.. Я Махно! — заикаясь от волнения, выкрикнул начальник варты.

Зяблюша шатнулась и рукой оперлась о стол.

Махно подошел ближе. Она повалилась на колени перед бандитом.

— Пощадите, я беременна...

— Шлюха несчастная! — Махно толкнул ее сапогом.— Уведите ее отсюда,— приказал он.

Лященко, опираясь рукой на валторну, которую отобрал у музыкантов, крикнул:

— Братишки, батько по-флотскому отколол номер! Пустим под откос немцев... Ура! — Он зычно захохотал, хватаясь за живот.

Махно грозно взглянул на него.

— Что смеешься? Рад, что дурной?

Махновцы, ввалившиеся в столовую со двора, видели, что батько через силу сдерживает себя. Они знали его, их

не обманывал его безразличный ко всему на свете, меланхоличный вид — маска, которой он жестоко обманывал людей, веривших в его поддельную доброту. Махно не терпел чужого вмешательства в свои дела и распоряжения. Он — атаман и один волен распоряжаться жизнью пленных. Еще со времен своей уголовной каторги возненавидел он тюремщиков и офицеров. Но сейчас, чтобы показать, что предложение Лященко для него пустой звук, он решил не расстреливать офицеров. Гонор — его слабость, и это знают люди, составляющие его окружение. Только Лященко никак не может уразуметь этого; он пьян и, по-морскому расставив ноги, кивает на батька, хохочет.

— Поцелуйте его, так он вам черта родит!

Не на шутку встревоженный Кийко подошел к Лященко, стукнул по плечу. От кителя поднялась, как облачко мошкары, дорожная пыль.

— А ты не смейся, со смехом и люди родются.

— Знаешь что? — Лященко отмахнулся вялой рукой.— Пошли вы до биса!

Махно сбросил маску безразличия. С поднятыми маленькими кулаками он подбежал к матросу и, заикаясь, крикнул:

— Ты... ты... землю грызть заставлю!.. Кийко, всыпать ему шомполов — и только!

Здоровенный Кийко легко одной рукой схватил Лященко за пояс, потянул во двор.

Били Лященко не сильно, а побив, бросили навзничь в густую, холодком его обнявшую траву, где он под смех собравшихся махновцев начал «малый флотский загиб» — тридцатипятиминутную беспрерывную ругань, ни разу не повторив дважды одно и то же слово.

Протрезвившись, смотрел Лященко на ракушечную россыпь звезд; то наваливаясь, то открывая их, черноморскими бурунами падали на звезды тучи. С крыльца спускались подвыпившие махновцы, выводили из конюшен коней, запрягали в тачанки, грузили на них немецкие пулеметы. В конце двора, у скотных изгородей, переговариваясь между собой, стояли напуганные обезоруженные немцы.

Ни один из офицеров не нашел в себе сил смотреть в твердые, немигающие глаза Махно. Они стояли перед ним, словно провинившиеся мальчишки, опустив глаза, и в этой их подавленности Махно находил подтверждение

своей власти над людьми, опьяняющей его сильнее первака-самогона.

Все вышли из зала, оставив батька с офицерами. Махно, поминутно откидывая назад густые патлы, прошелся по комнате, поскрипывая новыми сапогами, обдумывая, как поступить со Змиевой — расстрелять ее или повесить. Подошел к офицерам, вытащил из-за голенища потрепанную колоду карт, предложил играть с ним в «очко» на их собственные жизни. Долго жестами объяснял им, чего хочет.

Игра завязалась долгая и упорная. Немцев было много, они легко могли задушить замухрышку, но не решались. Льстивые и покорные, офицеры надеялись удачливой игрою спасти свои жизни. Лица у них были синие, испуганные и жалкие. Напрасно они старались держаться достойно, волнение выдавало их.

Махно играл небрежно и вяло, очевидно что-то обдумывая. Спустя два часа офицеры, не скрывая своей радости, обыграли Махно. Он поднялся. Усталым взглядом оглянул стены помещичьего дома, сказал себе:

— Как в тюрьме! — и быстро выбежал во двор.

Махно не выносил больших каменных зданий, напоминавших ему тюрьмы. Любое напоминание о каторге ожесточало его. Он окликнул Кийко, из оцинкованной конской цибарки жадно пившего воду.

— Чего тебе, батько?

Махно сощурил маленькие глазки.

— И офицеров и солдат расстрелять — и только!..

— А со Змиевой как быть?

— В расход! Хай удобряет землю. Все лучше хлеб на ней будет родить.— Он взглянул на книжные шкафы, тянувшиеся вдоль всей стены, подобие улыбки появилось на его сморщенных губах.— А ну, зови ее сюда.

Зяблюшу втолкнули в двери. Медленно передвигая ноги, она вышла на середину комнаты и остановилась, ослепленная светом.

— Ну, николаевская барышня, нет ли у тебя сочинения Пушкина Александра Сергеевича о Пугачеве?

Змиева отыскала в шкафу толстую, пылью покрытую книгу, подала ее Махно. Тот быстро перелистал страницы, нашел рисунок, изображающий Пугачева, творящего суд и казнь, и жадно всмотрелся в него.

— Вот император народный! — с восхищением сказал он.— Похож?

— Кто похож? На кого?

— Пугачев на меня?

— А ведь и в самом деле большое сходство. То же лицо, тот же характер,— ответила Анна Павловна.

Слова эти потрафили бандиту и решили участь Зяблюши.

— Хай живет,— милостиво произнес он.— Мы с бабами не воюем.

Кийко сбежал с крыльца, тяжестью своего тела накренил на один бок тачанку, сбросил с пулеметного кожуха персидский ковер, привычными пальцами заложил ленту, из которой торчали тупоносые австрийские пули. Махно вышел во двор, заполненный его людьми. Увидев батька, бандиты, как куры, разбежались кто куда, подальше от его глаз. Махно сел в свою расписанную цветочками тачанку, всадники поспешно бросились по коням.

— Хлопцы, гайда!

Над степью широким половодьем разливался синий предутренний полусвет. Возле старого, покосившегося придорожного креста, обтянутого зеленым бархатом мха, кони круто повернули направо. Далеко, будто кто-то выбивал ложками, застучал пулемет. Киевский анархист Барон, сидевший рядом с Махно, глянул в лицо батьку. Тот спал, уткнувшись головой в вязанку полыни. Чахоточно-желтое лицо его было бесстрастно-спокойным. Полные лиловые губы полураскрылись, обнажив мертвый оскал неровных, обкуренных зубов.

IX

Жалкая, измученная Анна Павловна забилась в мокрые кусты смородины. Оттуда она видела, как Махно уехал в окружении своей банды, видела, как дворовый пес Шкода лизнул холодное лицо убитого садовника, сел на задние ноги и, задрав морду кверху, завыл. Ей стало страшно. Она огляделась и вдруг уловила едва слышный запах утреннего сельского дыма, примешавшийся к сладкому аромату липового цвета. Значит, там, за оградой, в селе, продолжалась жизнь. Мирные бабы готовили мужьям и детям свой нехитрый завтрак.

Анна Павловна поднялась и, едва передвигая ноги, пошла прочь, подальше от дома. У ворот валялся изрубленный капитан, отец ее будущего ребенка. Неистребим

человек на земле. Капитан мертв, но в ней бьется новая жизнь, продолжение его жизни, и вскоре появится на свет маленький человечек с его кровью в жилах, с чертами его лица.

Она почувствовала приступ тошноты, но справилась с собой и медленно пошла вперед, вытянув руки, как слепая.

Идти было мучительно трудно, ноги подкашивались. Анна Павловна дошла до первой хаты, села на землю и, раздвинув высокие стебли мальв, собрала последние силы и постучала в размалеванную резную ставню.

— Помогите, ради бога! — простонала она.

Сильные руки подхватили ее и понесли к двери, у которой висела связка красного, словно лаком покрытого, перца.

В хате, раскрыв глаза, Анна Павловна увидела перед собой угрюмое лицо сапожника Отченашенко. Душа ее заныла, ей стало страшно.

— Думав я, на гнев нету лекарства, а теперь вижу, есть — клятая жалость,— с сердцем сказал старик.

— Я не виновата, что тебя избили... Ни в чем не виновата...

— И Гнат не виноват, и Килина невинна, только хата винована, що впустила на ночь Гната.— Старик неожиданно ласково улыбнулся, достал кресало и трут и стал высекать из куска кремня неяркие, веселые искры.

Слушать сапожника было легко и приятно. Уже с первого его слова Зяблюша поняла, что здесь ей плохого не сделают, что сапожник прежде всего видит в ней беременную женщину, будущую мать.

Но из темного угла хаты в одном белье появился мальчишка, которого она где-то видела. Он сказал неприязненно:

— Гони ее. Это по ее приказу тебя пороли.

— Нехай отойдет, бедолашная, сил наберется,— миролюбиво ответил старик, раскуривая трубку, и спросил у Зяблюши: — Молоко кислое будете пить? — И, не дожидаясь ответа, поставил на стол кувшин, накрыл его ломтем пшеничного хлеба, испеченного на душистом капустном листе.— Не побрезгуйте.

— Спать я хочу, дедушка,— жалобно призналась Зяблюша.

— Ложитесь в хлопцеву постель. Он уже выспался. Одевайся, Лука.

— Выгнал бы ты ее из хаты! — еще раз потребовал мальчик.

— Что ты! Человек ведь, женщина...

— Ну какой же она человек, если другого человека заставляет пороть до полусмерти!.. Зверь и тот не позволит...

Анна Павловна с опаской прошла мимо мальчика. Не раздеваясь, потерянная и бессильная, легла на жесткую постель, на грубое рядно. Слышала, как в комнату вошла старуха, занавесила окно черным платком, от утреннего солнца, шепотом принялась рассказывать:

— Перестреляли бедолашных в лощине, раздели догола, переоделись в ихнюю одежу. Порубали их всех до одного, а сами до Змиевой на пикник прискакали...

— Так им и надо,— сказал старик и вышел, громко звякнув щеколдой.

Слова Отченашенко подняли в душе Змиевой волну ненависти. Ей показалось, что старик говорит о ней.

В комнате темно. Анне Павловне вспомнилось счастливое время, когда она была гимназисткой. Жорж звал ее чайкой. Он предрекал ей судьбу Нины Заречной из чеховской пьесы. Вряд ли он знал, что она однажды на унылом берегу Каспийского моря видела, как чайка-хохотунья, облюбовав нырковую утку, порывисто кружилась над ней. Напугав утку, чайка отбила ее от стаи и начала преследовать, стремясь с лету ударить в спину. Утка, спасаясь, все время ныряла. Но стоило ей показаться над водой, как чайка снова заставляла ее нырять. Тогда это зрелище очаровало молодую девушку. Все показалось ей милой игрой. Но чайка проклевала своей обессилевшей жертве спину, выдрала кусок мяса, взмыла вверх и слилась с небом, точно растаяла в нем.

«Вот на эту чайку я больше похожа»,— подумала Зяблюша, пряча голову под подушку; ей хотелось забыться, уснуть, не помнить всего, что сделали с ней этой ночью.

Проснулась она через несколько часов вся в поту. На лавке сидели немецкие солдаты с куцыми винтовками; они мирно держали их меж колен. Молодой офицер с лихими усиками, сидя у изголовья Анны Павловны, ждал ее пробуждения.

Как только Анна Павловна опустила ноги на холодный земляной пол, в хату ворвалась старуха и, всхлипывая, бросилась к ней.

— Ради бога, спасите мого чоловика, забрали его, окаянные! Только вы его и можете врятувать!

Присутствие офицера и солдат говорило о том, что положение в корне изменилось. Недоброе чувство опять шевельнулось в душе Анны Павловны.

— Я, бабушка, ничего не могу,— сказала она холодно.— Здесь военное положение. Здесь командуют немцы.

— Что же теперь робыть, хоть живой у яму лягай!

— А где тот маленький чертенок, который хотел меня выгнать?

— Лукашка? Забрали и его. Скоро баб вешать начнут клятые.

— Кто это клятые? Я тоже клятая? — спросила Зяблюша. Она чувствовала, что теряет самообладание.

— Все вы клятые, буржуи недорезанные.— Старуха выпрямилась, потом нагнулась и плюнула в лицо помещицы.— На вот, утирайся подолом.

Змиева взяла рушник со стола, вытерла лицо и спокойно сказала офицеру по-немецки:

— Выпорите ее шомполами.

Офицер схватил упиравшуюся старуху за руку и с силой потянул ее из хаты во двор. Там уже собрались соседки, любопытство которых перебороло страх. Среди них был только один мужчина, старик учитель.

— Расстреляйте ее! — уже не помня себя, кричала Зяблюша.

Учитель осторожно тронул ее за руку.

— Вынужден напомнить вам истину: чем бесчеловечнее наказание, тем сильнее ожесточаются души людей. На вас ведь крестьяне смотрят.

— Возьмите и его! — все тем же диким голосом крикнула Анна Павловна.

— Ну, это уж не умно. Всех невозможно взять. К тому же советую помнить: смертная казнь не пойдет вам на пользу. Казня людей, вы подаете пример жестокости их единомышленникам. А вам — вы слышите, госпожа Змиева? — именно вам не мешает знать, что ненависть является чувством более сильным, чем любовь...

Толчками прикладов выгнали всех за ворота.

Офицер, с нахмуренным, растерянным лицом, тщетно пытался втолковать Зяблюше, что он не имеет права без суда расстрелять старуху.

Солдаты, позевывая, молча наблюдали эту дикую сцену. Потом явился еще один офицер, годами постарше, небритый, грязный, щелкнул каблуками, лихо взял под козырек и приказал вести старуху за собой. Зяблюша пошла за ними.

Они вошли в поповский двор. В сарае сидели арестованные. Зяблюша решительными шагами прошла к офицерам, квартировавшим у попа, и те сказали ей, что старуху и ранее задержанных старика и мальчика придется освободить из-под стражи.

— Но почему же? Ведь они враги. Мои враги и ваши.

— Все знают, что они спасли вас от бандитов, и было бы неблагодарно с вашей стороны...

— Ваша гуманность мне кажется странной. Крестьяне восстают на законные права помещиков.

— В происшествии этой ночи арестованные крестьяне не замешаны,— едва сдерживая раздражение, говорил офицер.— Я прекрасно понимаю, госпожа Змиева, ваше возбуждение, но этим крестьянам вы обязаны жизнью. Они проявили милосердие к вам, и вы это знаете лучше, чем я.

Офицер повернулся и приказал освободить арестованных.

— Я немедленно поеду в Киев и буду жаловаться имперскому наместнику фон Эйхгорну.

Чуть заметная улыбочка пробежала по сухим губам офицера.

— Госпожа Змиева, фельдмаршал фон Эйхгорн убит в Киеве.

Из темноты сарая, с паутиной на одежде, бледные, щурясь от ослепившего их света и поддерживая друг друга, вышли старик Отченашенко и Лукашка.

— Вы свободны,— на ломаном русском языке сказал им офицер.

И тогда, подстегнутая этими словами, уже не помня себя от бешенства, Змиева с кулаками набросилась на мальчишку. Солдаты едва оторвали ее.

— Вот они какие черти, помещики! — вытирая тыльной стороной ладони кровь, текущую из разбитого носа, сквозь слезы пробормотал Лукашка.

— Бачу, бачу, сынку,— говорил Отченашенко.— Бачу теперь, кто ворог, кто друг.

Собравшиеся люди смотрели на него и молча соглашались с ним.

X

Смелость и бесшабашность при захвате имения Змиевой принесли Махно славу, которая с быстротой ветра разносилась во все стороны от его родных мест. К его стремительному отряду, колесившему на тачанках от села к селу, стали примыкать крестьяне, поднимавшие оружие против оккупантов. Среди них были фронтовые солдаты, затаившие ненависть к врагам родной земли, умеющие стрелять из пулемета, бросать гранаты, драться штыком и саблей. Этими людьми надо было руководить и разговаривать с ними на привычном для них языке военных приказов.

Ночи напролет просиживал Нестор Иванович Махно над картой Екатеринославской губернии, всматриваясь в маковую россыпь хуторов и сел, и, словно стихотворение, заучивал на память боевой устав царской армии. Вчитываясь в скупые слова устава, он понимал, что его следует переделать, чем-то дополнить применительно ко времени. Война, которую вел народ с чужеземцами, захватившими его землю, принимала новые формы ведения боя, о которых в уставе не было ни слова.

Отряды, подобные махновскому, стихийно возникали и в других волостях. Уже одно сознание, что они являются нападающей стороной, поднимало моральное состояние людей в этих отрядах. Они нападали на оккупантов дерзко и неожиданно и всегда добивались успеха. Даже крупные немецкие соединения эти отряды держали в состоянии тревоги и беспокойства, отбивая у немцев оружие и награбленное добро.

Соединить под своим командованием все партизанские отряды на Украине — была тайная цель Махно. Тем более она казалась ему осуществимой, что Пятая армия, к которой тяготели повстанческие отряды, в конце мая во главе с Ворошиловым ушла к Царицыну.

Всей душой ненавидел Махно чужеземных завоевателей. И это роднило его с любым крестьянином. В остальном же Махно был полной противоположностью людям, с которыми связала его судьба. Еще на каторге, куда он попал за ограбление Бердянского казначейства, выработалось у него твердое мировоззрение. Революцией, так кстати разразившейся, хотел он воспользоваться для достижения своей затаенной цели. Мысль о горностаевой мантии и скипетре, о которых в бессонные ночи думал

он на каторжных нарах, преследовала его. Политически наивные мечты, рожденные еще в детстве, убаюкивали и тешили его честолюбие.

Он помнил себя десятилетним забитым мальчиком, когда после утомительной работы в магазине, прочитав перед иконой «Отче наш», молил бога, чтобы всевышний сделал его царем Сколько раз он молился об этом, и как безответны были до сих пор его молитвы! Уже тогда маленькая обозленная душа его жаждала власти, самой прочной и сильной в мире.

Сейчас Махно вспоминал об этом с улыбкой.

Не прошло и десяти дней после первой его удачи, как его отыскал переодетый крестьянином Волин, бывший его учитель, и властно напомнил, что юность свою Махно толкался среди анархистов. Теперь они возлагают на него большие надежды и стремятся овладеть партизанским движением, во главе которого он волею случая оказался.

Нестор помнил этих болтливых, неряшливых, но не лишенных ума людей, всегда поучительно беседовавших с ним. Опереться на их опыт было очень кстати. Вскоре две группы анархистов, одна из Екатеринослава, другая из Киева, приехали к нему и сразу же развили бешеную деятельность. Надо было временно принимать их вероисповедание, это могло помочь ему в скорейшем осуществлении задуманного.

И Махно объявил себя анархистом. Жена его, Галина Гаенко, следовавшая за ним неотступно во всех походах, так и записала об этом в своем дневнике.

Продвигаясь по Дибревскому лесу вдоль железнодорожного полотна, отряд Махно на станции Просяной встретил большой отряд Убийбатько. Махно со своим штабом, состоящим сплошь из анархистов, расположился в квартире начальника станции. Нестор Иванович приказал позвать Убийбатько к себе. Тот приехал верхом в сопровождении Илюща. Весело вбежал он в полутемную казенную комнату.

Махно в наглухо застегнутой выгоревшей венгерке привалился к спинке ситцевого дивана и с карандашом в руке читал «Историю пугачевского бунта», взятую у Змиевой. Рядом с ним на диване лежали привезенные Волиным партизанские записки Дениса Давыдова; скрученный золоченый генеральский погон был вставлен между страницами книги вместо закладки. У окна, завешенного кружевной гардиной, стояла Галина Гаенко, вы-

сокая, худая, неуклюжая женщина с жалким и робким лицом. Она держала в руках ноты.

— Все непонятно. Я думаю, Нестор Иванович, если бы в нотах были буквы и на клавишах буквы, как на пишущей машинке, то я сразу бы научилась играть.

— Отстань со своими глупостями! — Махно сердито нахмурился.

Не вставая навстречу вошедшим, он вяло пожал им руки и сразу заговорил о деле.

— Я позвал тебя вот зачем,— обращаясь к Убийбатько, сказал он,— хочу соединить наши два отряда в один крупный отряд. Один палец ничто, а пять пальцев легко зажать в кулак, а кулаком можно крепко драться.

Убийбатько хотел возразить, но Махно, то повышая, то понижая голос, спешил высказать все, что хотел. Над правым глазом его вопросительно поднялась черная, немного прижженная солнцем бровь.

— Наши шляхи сошлись, и я вам прямо скажу,— на ломаном украинском языке гневно частил Махно,— анархия — мать порядка. И точка. Мы уничтожим города и всех заставим жить в хуторах. Мы вырежем офицеров и комиссаров и будем выбирать вольные советы.

Ужаленный речью Махно, Плющ наклонился над столом и перебил:

— Без силы зряшный гнев. А то, что ты мелешь, мы уже давно забыли.

Махно втянул голову в узкие плечи, медленно поднялся, внутренне зажигаясь, прокричал:

— Не к вам барабан, так вы не танцуйте! — Круто повернувшись к Убийбатько, он не то вопросительно, не то подчеркнуто сказал, указывая на Плюща: — Сагитировали его кукурузники.

Уронив на пол полушалок, к нему кинулась жена.

— Нестор, перестань, тебе же вредно серчать, у тебя больное сердце!

Махно посмотрел на нее спокойным, невидящим взглядом, крикнул:

— Замри! — Закашлялся, хлопнул дверью и выбежал на перрон.

За ним, заламывая руки, бросилась Галина Гаенко.

— Сволочь, бандит, червяк, выросший в змею! Отпустил бабские волосы на срамоту людям,— мигая белыми от бешенства глазами, ругался Плющ.— Шлепнуть его, подлеца, немедленно, а то натворит он делов!

— Ну-ну, шлепнуть! — придержал его Убийбатько.— Или не знаешь, что в нашем отряде только Махном и бредят? Смелый он человек, вот крестьяне за ним и пошли. Но это до поры, пока нашу землю поганят оккупанты. А придут красные, с Махном одни кулаки останутся да подкулачники, он ихний вожак.— Убийбатько печально посмотрел на узорчатую, в изломе гардин угасающую солнечную дорожку, пересекающую стол, покачал головой.— Кулаки — зубастый класс, его со временем придется вымести, как выметают из избы пауков и всякую нечисть. А сейчас его надо натравлять против немцев, это на пользу большевикам. Когда двое дерутся, третий всегда выигрывает.

Он подошел к окну, увидел неподалеку черный ставок. Махновцы гранатами глушили в нем рыбу. Несколько партизан из его отряда плавали, вытаскивая рыбу из воды.

Плющ любовно оглядел длинную фигуру своего командира, сказал:

— Фамилия у тебя хорошая, батрацкая — Убийбатько. Вот такие, как ты, и убьют батька Махно.

— Если он заслужит того.

— Обязательно заслужит.

Скрипнула дверь, вошел полупьяный махновец, пригласил Убийбатько на заседание штаба повстанческих отрядов.

На заседание Убийбатько явился вместе с Плющом. В кабинете начальника станции за столом, уставленным едой и бутылками с самогоном, сидели Махно, теоретики анархизма Волин и Барон, а также Кийко, Лященко, бежавший из Москвы Попов, Аршинов, Артен, Петриченко, Гаврюша Троян и Виктор Белаш со своим штабом, недавно приехавший на переговоры. Председательствовал высокий, худой, покрытый неравномерно растущими седыми волосами Волин. Взгляд его блуждал, как у пьяного, хотя он был убежденным трезвенником.

Жизнь Махно переплелась с дикой, как чертополох, жизнью Волина. Давно, еще в девятисотых годах, накачивал Волин ядом анархизма молодое сознание Нестора, заставлял его стоять на коленях перед портретом Бакунина, говорил о жизни простой, как жизнь зерна, брошенного в теплую и пахучую землю. И вот теперь состарившийся в ссылках теоретик анархизма был начальником штаба у своего ученика. В пафосных, бурно красно-

речивых словах он говорил о бандитизме, как о героике, ратовал за разрушение всего, что можно разрушить, вплоть до семьи. В частных беседах он доказывал, что большую долю несчастья люди находят у домашнего очага.

Неожиданно в комнату вошел Щусь — чернявый, высокий парубок. Несмотря на теплую погоду, он был в серой смушковой шапке. Отыскав глазами Махно и описав полукруг рукой с золотыми перстнями на пальцах, Щусь, как жених, поклонился батьку.

— О, вас уже столько набилось, что и пальцем не проткнешь! — сказал он тоном атамана, говорящего с равными себе.

Голос у него был бархатный, приятный. И, слушая его, Убийбатько подумал, что этот парубок, вероятно, замечательно поет с девчатами вечерами в селе, а может быть, и на клиросе в церкви. Этот парень создан для войны, хотя, по молодым своим годам, вряд ли умеет отличить гаубицу от пушки.

— Я привел тебе, батько, полторы сотни чертей,— сказал Щусь и весело захохотал, моргая длинными ресницами.

— Это подарунок одного еврея. Перстни повросли ему в мясо и не снимались, пришлось поотбивать пальцы саблей,— ответил он на вопрос Убийбатько, рассматривающего золотые кольца на его руках.

Повстанцы захохотали, Троян крикнул:

— Это по-нашему, по-махновскому!

Заседание начальников повстанческих отрядов продолжалось недолго, Щусь и Белаш, люди смелые, убедились на деле, что руководить массой людей в море политических страстей они не способны, поэтому и протянули руки Махно. То же самое вынужден был сделать и Убийбатько, понявший, что убить одноголовую гидру легче, чем двадцатиголовую. Махно взмахнул короткой рукой и сказал, что согласен. Он принял командование над их отрядами. После этого Махно прочитал вслух предложение Реввоенсовета республики о переходе махновских отрядов в Красную Армию.

— Черта с два! — Волин поднялся и с ненавистью заговорил о комиссарах, чрезвычайках, «совдеповских» насилиях, поминутно оглядываясь на Махно. Он хорошо знал необузданный, жестокий и вспыльчивый характер своего ученика.

Волина перебил Плющ:

— Постой! Наговорил ты сорок бочек арестантов, а дела не видно Ты, значится, против большевиков, против нас? — Он раздраженно снизу вверх посмотрел на Волина. Вспотевшие руки его взволнованно теребили край скатерти, махровый, словно конская челка.

— Баста! — Махно с силой ударил кулаком по столу, приходя в обычное для него состояние неистовства; на столе закачались бутылки, задребезжали стаканы, в соседней комнате заплакал ребенок.— Ты из себя дурачка не валяй, окрутили тебя Карлы Марксы вокруг пальца. Вот с нами побудешь — мы тебе мозги выправим.

Щусь, которому надоела непривычная обстановка заседания, поднялся, потянулся, расправил мускулы и сказал, обращаясь к Плющу:

— Революция — это ж очко: черная выиграет — червонная проиграет. Во тебе и вся политика.

— Правильно, верно! — закричали махновцы, снова доверху наполняя самогоном стаканы.

— Без доброго командира войско — отара! — кричал Щусь, любовно оглядывая Махно.

Убийбатько и Плющ не стали пить. Не прощаясь, они вышли. Во дворе Плющ посоветовал товарищу:

— Пошел вместе с собакой, так не выпускай теперь камня из рук.

Махно, подойдя к окну, медленно проводил их глазами. И никто не мог разгадать выражения этих обманчивых глаз: они были прикрыты темными ресницами. Он был явно недоволен исходом совещания. Подозвал жену — в это время она слушала Виктора Белаша, который читал ей свои лирические стихи.

— А теперь, хлопцы, пей-гуляй и духу набирайся, будем коммунистов крестить, а гайдамаков перекрещивать! Наша работа сама за себя скажет.

...Все лето и осень отряд Махно, обросший кулаками, метался по Украине, сжигая хаты незаможников, убивая коммунистов. Уже не только пулеметы, но и орудия возили с собой махновцы в отряде, передвигавшемся невдалеке от железных дорог, по которым уходили с Украины эшелоны немцев,— в Германии началась революция.

Измученные бессонными ночами, немецкие солдаты, прислонясь к мокрым стенкам вагонов, смотрели, как

увядающим червонным листом падало солнце на чужую, нерадостную для них землю.

Офицеры с болью говорили — а у солдат не было основания не верить им,— что начинается закат великогерманской империи.

Война кончилась. Немецкие солдаты рвались домой. Но партизаны преграждали им путь и безжалостно убивали их, не думая о том, что люди — все равно кто, русские, немцы или турки,— одинаково любят жизнь и все, что их окружает в этом мире, только укрепляет в них эту любовь.

А жизнь была поистине прекрасна. Желтые, красные и бурые пахучие листья кружились в воздухе и залетали в загаженные вагоны; такие же милые листья падали и там, далеко, на родине, и воспоминания о ней бередили и волновали души, зачерствевшие на войне. Холодный ветер раздевал зябнущие деревья, а на опушках посадок еще цвела красная гвоздика, радовали глаз колокольчики и лиловый вереск, на лугах синели горечавки и васильки. Птицы улетали на юг, но стоило поезду остановиться, как невдалеке начинали порхать пеночки, вертлявые горихвостки, малиновки и дрозды, появлялись дикие голуби-клинтухи и вяхири.

Солдаты бросали птицам крошки хлеба. Дни заметно уменьшались, а с ними уменьшалась и надежда на спасение: все неистовей и чаще нападали партизаны на немецкие эшелоны. Не проходило дня без ожесточенного боя.

Налеты партизан злили немецких генералов.

Как бы появляясь из-под земли и снова уходя под землю, неуловимый Махно действовал на сообщениях оккупантов, заставлял их держать значительные силы для охраны тылов. Против Махно немцы начали операцию, продуманную до мелочей, в результате которой батько со всем своим отрядом попал под Токмаком в тесное, крепко сжатое со всех сторон кольцо. Немцы, как всегда, остались верны своей тактике: они пять часов потратили на артиллерийскую подготовку атаки. В сером, нерадостном небе белыми шарами одуванчиков вспыхивали шрапнельные разрывы, свинцовым градом осыпались на землю. Тяжелые снаряды рвались в селе, в котором расположился отряд. Загорались хаты, лаяли собаки, мычал скот, плакали женщины и дети. Донесения разведчиков были неутешительны: враг обложил отряд со всех сторон. Гибель была неизбежной.

Волин предложил созвать совещание командиров, но Махно бросил на него свирепый взгляд и велел позвать к себе Убийбатько.

Убийбатько пришел в полушубке, наброшенном на плечи, правая, раненая рука его висела на рушнике с вышитыми петухами, голова была обмотана бинтом со следами фиолетовых чернил и свежей, просочившейся сквозь марлю крови.

Махновцы, пользуясь рецептами народной медицины, не без успеха лечили рваные и гноящиеся раны чернилами.

— Мы окружены и должны выйти из окружения,— сказал ему Махно.— Чудеса в решете: дыр много, а вылезть негде.

— Я знаю, что мы окружены, и знаю, что надо выйти. Не тот казак, что поборол, а тот, что вывернулся.— Убийбатько улыбнулся веселой, жизнерадостной улыбкой, осветившей его лицо.

Где-то поблизости разорвался снаряд, послышался тонкий звон разбитого стекла, по улице закружилась гнилая, с крыши сорванная солома, камнем упал срезанный осколком в воздухе голубь. Из-за плетня показалась повязанная платком голова голосящей бабы.

— Я думаю так: нам надо нащупать слабое место в кольце противника и всей силой ударить по этому месту, как это в свое время сделал немецкий генерал Шеффер, попавший в окружение русских. Веревку рвут там, где она тоньше.— Глаза Убийбатько лихорадочно блеснули, он даже порывался взмахнуть больной рукой.— А еще надо обдурить врага, это касается места и времени прорыва. Прорываться лучше в сторону противника. Недурственно бы нанести отвлекающие удары на других участках с обманной целью, а также сберечь как можно больше места, чтобы можно было маневрировать в середке кольца. На войне самое главное — обдурить.

«Ладно говорит, как офицер»,— с завистью подумал Махно и сказал:

— Я не о себе забочусь, я о бойцах пекусь. Сам-то я всегда отсюда выйду. Да и сейчас ухожу. Прорывайся, Убийбатько, а старшим здесь назначаю Лященко, ты ему подчиняйся во всем. Он ответчик передо мной за сохранность войска.

Махно отозвал в сторону матроса, шепотом приказал ему — как только отряд вырвется из окружения, застре-

лить Убийбатько, ушел в хату, в которой артиллерийский обстрел прервал свадьбу, и вскоре его увидели переодетым невестой, с венком на голове и монистом на шее. Щусь изображал жениха. Восковой цветок, вынутый из иконы, был приколот к лацкану его пиджака, на руке висела узорчатая плеть.

— Комедия! — усмехнулся Убийбатько, глянув на этот маскарад, но в душе одобрил его. Он любил украинскую хитрость и невольно пожалел, что не ему первому пришла в голову мысль о переодевании. В счастливом успехе затеи он ни минуты не сомневался.

С невольным восхищением посмотрел Убийбатько на Махно, на его длинные волосы, украшенные венком из бумажных цветов. Но сказал он обидное:

— Если бы колбасе крылья, то наикращей бы птицей была!

С раздражением плюнул и пошел к бойцам, встретившим его одобрительным гулом.

Оккупанты прекратили обстрел, и вскоре в их сторону поскакал свадебный поезд с попом, с женщинами и детьми; на подводах горланили пьяные песни. Впереди ехал шестилетний мальчик и, словно жар-птицу, держал в руках икону, на слепящей позолоте ее сказочными перьями играли трепетные лучи заходящего солнца. Вся ставка у Махно была на этого мальчика. Станут в него стрелять или нет? В этом заключался весь фокус.

С замиранием сердца смотрели партизаны вслед свадебному поезду. По ту сторону пруда вражеская застава остановила подводы; спустя несколько минут они двинулись дальше и вскоре исчезли за ветряками, там, где стояла невооруженным глазом видимая батарея.

В то же мгновение, упредив немецкую атаку, основные силы Махно, предводительствуемые Убийбатько, ударили в противоположную сторону, где их меньше всего ожидали. Сорок тачанок, вооруженных пулеметами, со свистом вырвались на крутой холм, перед которым лежала дорога, и, развернувшись по двадцать в каждую сторону, строчили до тех пор, пока весь отряд не ушел в образовавшийся прорыв. После этого тачанки замкнули отступление и ушли, словно растаяли в наступившей темноте.

На последней тачанке ехал Убийбатько, грел озябшие руки на горячем кожухе пулемета. Рядом с ним, закусив зубами ленты бескозырки, чтобы ее не сорвало вет-

ром, сидел Лященко. Микола Федорец лихо правил конями

— Скоро красные придут, надо вливаться в их регулярную армию. Хватит разбойничать! Тошнит меня от анархистов ваших,— говорил Убийбатько, облизывая воспаленные губы.— А ты почему с ними путаешься? Видать, не настоящий ты матрос, если не с большевиками. Как кинулся я на оккупантов, не было страха, а сейчас страшно. Ведь убить могли! А у меня мать, Фроська, дети. Вся моя жизнь около них. Ты свою мать помнишь?

— Помню, как мать не помнить! — ответил матрос и, отклонившись, выстрелил Убийбатько в затылок. Запел: — Эх, яблочко, куда котишься? Махно в лапы попадешь, не воротишься.

Микола Федорец, сидевший на козлах, испуганно обернулся, уронил кнут, свалившийся на землю.

— Тише, так надо,— сказал ему Лященко и велел погонять, чтобы выбраться в голову отряда.

Почти весь отряд вышел из окружения. Пройдя за длинную осеннюю ночь семьдесят верст, он соединился со штабом, остановившимся по уговору в селе Байдаках.

Падал первый снежок, от которого становилось светлее; медленно, с неохотой садился он на грязную землю. Тачанки, встреченные лаем собак, въезжали в богатое село, над которым, словно дым от пожара, кружилась стая раскричавшихся галок. В голых ветвях серебристых сибирских тополей свистел резкий ветер, и только на кустах сирени да на ольхе молодо зеленели листья, второй раз набухали почки, напоминая о кратковременности зимы.

Тачанку с телом Убийбатько Лященко остановил у хаты, в которой расположился Махно. Обметя веником снег с сапог, поспешно вбежал в избу.

Атаман сидел у стола, на котором горела стеклянная граненая лампа, наклонился над истертой на сгибах картой. На лавке, положив под голову седло, спал в помятом жениховском наряде Щусь.

На скрип несмазанных дверных петель Махно поднял тяжелую голову и, увидев Лященко, не выказал ни радости, ни удивления, даже не спросил его о судьбе отряда. Первым же вопросом он озадачил привыкшего ничему не удивляться матроса:

— Что, думаешь, Наполеон так же начинал, как и мы, или по-другому как?

— Отвяжись, ради бога, со своим Наполеоном! Дались они тебе, эти Ганнибалы всякие. Вот Суворов — это другое дело. Суворов русский — и потому понятней всем и каждому.

Махно, вспыльчивый, как порох, зло посмотрел на Лященко. Тот спохватился и отрапортовал о благополучном выходе отряда из окружения. Брошены только раненые да четыре орудия. Тут же Лященко добавил:

— Убийбатько, как было приказано, я с парабеллума жизни решил и по настоянию бойцов труп его привез с собой.— И тут же признался: — А не будь его, не вырваться бы нам из ловушки. Все до одного полегли бы, вместе со всей твоей славой.

Не спрашивая разрешения, в хату ввалились засыпанные снегом махновцы. На руках они несли застывшее тело Убийбатько.

— От убили славного командира, самого любимого нашего товарища. Предадим его сырой земле со всеми воинскими почестями,— сказал один из них и сдернул с лохматой головы баранью шапку.

— Прощайся, батько, со своим верным дружком,— сказал второй махновец.

— Пошел человек по шерсть, а вернулся сам стриженый,— проговорил третий, в драной свитке и сыромятных постолах, и приложился к фляге, из которой остро дохнуло спиртом. Махновцы не разбавляли спирт, чтобы больше можно было взять с собой.

Нагрели воды, обмыли мертвое тело, одели в чистое, из солдатской неотбеленной бязи белье, выпрошенное у хозяев хаты; несмотря на недовольство хозяйки, вынули из божницы венчальную восковую свечу, обведенную золотой ниткой, зажгли ее и вложили в руку убитому.

И пока плотники, отыскавшиеся в отряде, мастерили в клуне гроб, в хату, наполненную холодом и запахом ладана, один за другим входили партизаны. С неподдельной грустью прощались они с Убийбатько. Простой, храбрый и доступный командир успел им полюбиться.

Хоронили Убийбатько, как запорожца, на высоком кургане, со всех сторон открытом ветрам. И, когда гроб опустили в яму, партизаны закричали:

— Говори, батько! Говори до нас свое слово!

Поеживаясь от холода, пряча от людей осатанелые, кровью налитые глаза, Махно сказал:

— Матери одинаково всех детей своих жалко, потому — какой палец ни обрежь, все равно больно. А я потерял своего лучшего друга. Он заплакал и еще что-то долго бормотал, но слов нельзя было расслышать за ветром и криками воронья, кружившего над головами.

XI

Над бескрайней степью в синем безоблачном небе, словно подсолнух, цвело солнце — уходила надоевшая зима. От соломенных крыш отваливались желтые сосульки, падали светлые, прозрачные капли. В середине дня, когда жарче пригревало солнце, вблизи дорог принимались журчать звонкие ручейки. Крестьяне подолгу задерживались на дворах, смотрели в небо, выискивали жаворонка — первую птицу, вестницу весны,— потом переводили взгляд на дорогу. Будто ждали кого-то.

Так же как в природе, появились признаки весны и в крестьянской жизни. Ходили упорные слухи, что большевики возвращаются на Украину, восстанавливают в селах советскую власть, снова отдают беднякам помещичью землю.

В один из ласковых, тихих вечеров на попутной подводе приехал со станции отец Лукашки. На голове его был кожаный картуз с красной звездой. Возница остановил лошадь у хаты Отченашенко. Иванов снял с подводы осыпанный сенной трухой сундучок, достал из кармана кожаной тужурки деньги.

— Что ты, товарищ Иванов! С таких, как ты, денег не берем, а за разговор про землю — спасибо, обнадежил ты нас. Всему селу расскажу...

— Расскажи, расскажи,— проговорил механик, удивляясь, что чужой человек назвал его по фамилии. И вдруг увидел Лукашку.

Мальчик сразу узнал отца. От неожиданности он уронил кувшин с молоком, который держал в руках, наклонился, чтобы поднять, но махнул рукой и бросился в объятия отца.

— Папа, папа! — кричал он и, как маленький, прижимался к его небритому лицу.— Где же ты все время пропадал?

— Далеко, сынок, в Царицыне. Ну, как тут у вас дела? Старик Отченашенко жив?

— Жив, славу богу,— по-взрослому отвечал мальчик.

— А про Убийбатько ничего не слыхать?

— Брехали, будто убили его немцы под Токмаком. Да идем в дом, что ты расположился здесь! — Лукашка видел: подходят люди; боясь, что они задержат отца разговорами, он потянул его в хату.

Даже всегда спокойная старуха, жена сапожника, засуетилась, узнав Иванова.

— Не ждали мы тебя... А молоко где? — накинулась она на Лукашку.

— Мы на радостях кувшин разбили. Но вы не серчайте, я вам подарок привез,— сказал механик и, открыв сундучок, вынул оттуда и подал старухе плисовую кофту, два куска мраморного стирального мыла и головку сахару, завернутую в синюю бумагу.

Лукашке он подарил новые ботинки, старику — медную зажигалку в виде дамской туфли.

Старуха взяла подарки, прикинула на руке сахар, сказала:

— Лучше бы ты соли привез. Соль теперь дороже сахара, а на зажигалку и вовсе напрасно вытратился. У деда кресало есть. С одного удара зажигает трут, в золе варенный.

Механик поужинал. В беззвездном небе показалась луна, заглянула в окно.

— Пойдем, сынок, погуляем,— предложил отец.

Они вышли из хаты и, не сговариваясь, по чуть подмороженной к вечеру дороге пошли на кладбище, остановились у одинаково им близкой, уже осевшей могилы.

— Бываешь у матери? — спросил механик.

— А зачем? Она ведь мертвая, слезами не воскресишь.

Синий безжизненный свет заливал могилы, позеленевшие от времени кресты, голые кусты и деревья, проникал, казалось, в самую душу, холодил ее, выгонял из нее тепло.

— Не люблю вечеров, утро завсегда лучше,— промолвил Лукашка, чтобы отвлечь отца от горького раздумья.

— Надо будет цветы посадить на могиле. Пусть знает мать, что мы помним ее и любим.

— Да ведь неживая она. Как же знать-то будет?

— Понимаешь, Лука, в бога я не верю, давно не верю. Не было его и нет. А все-таки скажу тебе: самое прекрасное, что создал на земле человек,— это веру в свое бессмертие. С верой и жить и умирать легче. Помнишь,

когда хоронили мать, из гроба вылетел шмель? И показалось мне, что это душа ее улетела. И знаю, что чепуха, дедовы пережитки, а помнилось... Видно, с детства осталось, в детстве я часто в церковь ходил, пение слушал, иконам кланялся...

— Чудак ты, папа.— Лукашка потянул механика за руку: — Пойдем отсюда. Живым, говорят, не место среди мертвых.

— Ну, ну, не сердись, это я так, пошутил... Бог, загробная жизнь, душа — все это выдумки... А мать жалко, ужасно жалко.

Они вернулись домой, легли спать.

На рассвете осторожно, чтобы не разбудить сына, Иванов встал, вырыл в саду опаленную зимними морозами яблоньку с оттаявшей, уже посветлевшей корой и посадил ее у могилы жены. Долго, бездумно сидел против яблоньки, умиленный теплом и красотой рождающегося дня.

Мир стоил того, чтобы жить в нем, а для этого надо было бороться, защищать свободу людей в этом несправедливом мире, который взялись переделывать большевики.

Иванов поднялся и пошел навстречу выплывшему солнцу.

В сельсовете уже собрались и ждали его. Столько накопилось у крестьян безотложных дел! На рассвете видели, как механик шел на кладбище с деревцом на плече, но никто не пошел за ним, оберегая его уединение, боясь вспугнуть его тоску.

Время засевать влажную от снежного половодья землю, а кулаки и сами не выезжали в поле, и сеялки, бункера и скотину держали в сараях, под замками.

Собрали сельский сход, на который пришло все село, как на первый весенний праздник.

Выступая, Иванов только плечами передернул.

— Да чего же вы ждете? Забирайте у кулаков инвентарь и выезжайте в степь. Земля ждать не станет, выпьет из нее солнце влагу, и тогда, считай, пропадут семена. Сей овес в грязь — будешь князь. Да что я вам толкую, когда вы это лучше меня знаете!

Старый Отченашенко крикнул из задних рядов, словно ударил:

— Ты у нас кулаков не трогай! Кулаки у нас — сила, на своих харчах махновскую банду содержат; а чтобы беднякам зерна на посев занять, так на то бог даст.

Краска гнева бросилась в лицо Иванова, тронутое апрельским загаром, ноздри его квадратного носа раздулись, глаза сузились. Он оглядел разношерстную толпу, в которой узнал знакомых кулаков, и, подчеркивая каждое слово, проговорил:

— А ну, хотел бы я посмотреть — кто завтра откажет обществу в плугах, сеялках и волах? Советской власти хлеб нужен.

Федорец, у которого два сына — Илько и Микола — служили в махновской банде, подступил ближе, багровея, закашлял.

— Ты нас на глотку не бери, тонка у тебя глотка. А сеять для городских комиссаров не будем... Нет такого закона, чтобы силком заставлять сеять. Согнуть можно молодую ветку, а не старый дуб.

Сквозь поднявшийся шум слышал Иванов, как Грицько Бондаренко, дергая его за рукав пиджака, гудел над самым ухом:

— Сашко, у него и немцы хлеба не брали.

Слышались голоса:

— Межа не стена, перелезть нельзя.

— У него среди зимы льду не выпросишь.

— Не мешало бы занять у него пудов триста пшеницы на незаможницкую громаду, а то все равно согреется, пропадет или на самогон переведут.

— И заберем, просить не будем,— как о решенном деле сказал Иванов.— Поле словами не засевают.

— С одного вола двух шкур не дерут,— пробормотал Федорец и, шатаясь, будто пьяный, побрел к коням — ехать к себе, на хутор.

Зеленоватая податливая земля мягко пружинила под стоптанными широкими каблуками сапог. Чуяли крестьяне, топча перед сельсоветом майданную землю, что она ждет, настойчиво просит зерна.

Механик объявил о том, что змиевские земли снова возвращаются крестьянам.

— Спасибо за подарок советской власти,— сказал Отченашенко, осенил себя крестным знамением, поясно поклонился, встал на колени и поцеловал землю.

Все сняли шапки.

— Поляжем в эту землю, но никому ее больше не отдадим! — крикнул Грицько Бондаренко, повернулся и пошел домой, припадая на раненую ногу.

— Жизнью своей отблагодарим советскую власть!

— Кормильцы вы наши! Дай я тебя обниму!

К механику лезли бородатые знакомые и незнакомые люди, он обнимал их и целовался с ними.

— Эх, кабы покойнички наши дознались, до какого рая мы дожили! Встали бы, наверно, из могил — да сразу за чапиги, плуги и в поле.

Иванов долго смотрел вслед Бондаренко, вспоминая, как Микола Федорец спустил на него кобеля.

«У него с куркулями старые счеты. Он мог стать головой коммуны, недаром работал на Паровозном заводе».

— Скажи, пожалуйста, Грицько Бондаренко служил у Махно? — спросил механик у Отченашенко.

— Что ты! Махновцы сына его убили за то, что писал в газету, кулаков хаял.

— Хочу я в Куприевом коммуну организовать. Вот бы голова был подходящий.

— Кращего не найти,— согласился сапожник.— Убийбатько — тот был потверже, но, говорят, убили его немцы.

День цвел нестерпимо ярко, жгло солнце, свежая зелень пробивалась по всему широкому майдану. Надо было торопиться с дележом земли, выезжать в степь.

— Соберите весь инвентарь возле кузни, будем его чинить совместно,— присоветовал механик.— Сеять тоже будем гуртом, помогать друг другу, сделаем шаг в коммунизм.

— Как это так? — спросил кузнец Романушко.

— А так, что дед Данила поделает вам новые штильваги, а вы ему перекуете лемехи. Что делаешь сам, то сделаешь скоро.

Народ одобрительно загудел:

— Гуртом батька легко бить.

Не прошло и часа, как ветер уже погнал по улице белые перья сосновых стружек, вылетающих из-под рубанка деда Данилы. У деда золотые руки. Нет такой деревянной вещи, которой они не смогли бы сделать. Из твердого мореного дуба мог дед вырезать портрет человека, из пахучего черноклена как-то смастерил цветок, и он, словно живой, веселил в январскую стужу глаза соседей, напоминал, что есть на свете такой веселый месяц — май.

Старик трудился с тем пьянящим азартом, с каким работается на виду у других, зажигал людей своим примером.

К Даниле, хромая, подошел Отченашенко. Не прошло и минуты, как старики уже смеялись здоровым, заразительным смехом.

Отченашенко, вытирая глаза, крикнул:

— Олександр Иванович, иди послушай, что дед Данила кажет! Уверяет, будто вчера видел скворца.

Обходя желтоватые, подкрашенные навозом лужи, к старикам подошел механик.

— Скворец, он даром не прилетит. Значит, весна всерьез,— сказал дед и с разгона повел рубанком по дереву, от которого исходил сладковатый медовый дух.

Словно трудовой улей, гудело село. Из кузницы доносились веселый перезвон молотков, шипение меха. Сквозь распахнутые двери видны были маковые лепестки огня. Три кузнеца в расстегнутых полотняных рубахах перековывали вытертые до белого блеска лемехи плугов, впервые в жизни не спрашивая, чьи они, и не собираясь брать за работу плату. Там же, возле кузницы, зубьями кверху лежали внавал покрытые ржавчиной бороны.

— Больше всего на свете люблю свою работу,— говорил дед Данила, шаркая рубанком по дереву.— Дай мне все, что завгодно, назначь самым главным начальником на земле, все равно не кину я свой инструмент. Без работы в аккурат помереть можно. Вот и теперь режу я из дуба в свободный час хрест резной на могилу своего дружка, деда Семена. Поставлю хрест, и каждого перехожего будет он останавливать, рассказывать ему про слепца, про чистую правду, ради которой он помер. Хай люди смотрят на этот резной хрест и учатся, как надо жить и вмирать, штоб потомкам не было стыдно.

Стружки из-под рубанка падали на землю и клубились у ног старика, белые, будто пена морского прибоя.

На другой день пришлось воскресенье, впервые в праздник крестьяне отправлялись в поле. Земля заслонила бога.

Под желтым рассветным небом, нагибая головы до копыт, тяжело потянулись отобранные у кулаков волы. Поблескивая лазурью, вгрызались лемехи в туго переплетенную сетку травяных корней.

— Цоб-цобе! — с азартом покрикивали на волов крестьяне.

Волы, с налитыми кровью глазами, отваливая масленые пласты чернозема, паутинили землю слюной. Но волов было мало: оккупанты угнали скот в Германию.

Иванов встречал группы селян, по очереди впрягавшихся в плуги. Трудную эту работу делали они ловко и весело и будто молодели, здоровели в работе.

Обходя поля, механик встретился с Грицьком Бондаренко, почерневшим за один день на солнце и ветру. Солдат, горделиво откинув голову, шел за плугом, погружая босые ноги в мягкую землю. Впереди жена вела на поводу сильную лошадь, неуклюже припадавшую на деревяшку, заменявшую ей переднюю, выше колена отбитую снарядом ногу. Это была единственная на все село лошадь, уцелевшая после бесчисленных реквизиций.

— В соседней волости бедняки организовали коммуну, пора бы и нам организоваться,— предложил Грицько.— Я говорил с мужиками, восемь семей согласны.

— Организуй, Грицько, и советская власть тебе поможет,— обрадованно ответил механик.

— Спасибо за поддержку.

Грицько, не останавливаясь, погнал лошадь дальше и зашагал за ней по рыхлой прохладной борозде.

В чистом, отстоявшемся воздухе далеко слышны были звонкие голоса баб, оживленно перекликавшихся друг с другом. Доносился церковный благовест, но никто не откликался на его ласковый, печальный призыв.

В сумерки червонными звездами зажглись огни костров, запахло подсолнечным маслом и луком — хозяйки у возов на пригретой за день солнцем земле готовили вечерю, варили житные галушки, величиной в ладонь каждая. Чтобы не терять времени, никто не уходил домой.

Иванов в устроенной им походной кузнице доварил последнюю борону, вышел взглянуть на степь. Куда только достигал взгляд, паровала свежевспаханная земля, слышались веселый говор, песни, смех, почти совсем умолкший при оккупантах.

Утомительный день прошел, но никому не хотелось спать, возбуждение, вызванное работой, не остывало. Иванов тоже не мог уснуть. Он пошел вдоль поля, присел на корточки у костра. Иванов всегда любил огонь и часами мог любоваться его игрой.

— Не боишься один ходить? — спросил его из темноты Романушко, протянул вперед огромную руку, выдернул из костра головешку и стал разжигать ею трубку.

— А чего мне бояться? Я не вор, не бандит.

— Ну, знаешь, кулаки убить могут. Ты все-таки комиссар. Федорец хоть и разделил свою землю между сы-

нами и дочкой, а все остался кулаком. Я его звал в поле. Ты знаешь, что он ответил? «В рай за волосы не тянут!»

— Меня убьют, а правду мою не убьют.— Механик прилег у костра, оперся на руку.— В хорошее время выпало нам жить, товарищи. Вот вчера мы друг другу сеялки ремонтировали, сегодня сеять помогали. Да ведь это первые ростки новых человеческих отношений. Придет блаженное время, оно не так уже далеко: заживем мы одной дружной семьей. Поле у нас будет общее, и все будут на нем трудиться, не будет ни лентяев, ни тунеядцев, и будем мы собирать урожаи, какие и не снятся сейчас.

Язык пламени с треском вырвался из костра, на мгновение повис в воздухе, осветил лицо механика, зажег зрачки его глаз.

— Рабочие и крестьяне, как родные братья, заняты одним делом. Вы собственными глазами увидите, что вам дает рабочий, а рабочий увидит, что ему дадите вы. Все народы России заживут дружной семьей. Мы уничтожим навсегда все ничтожное, грязное и злое, сделаем все, как велит Ленин.— Механик поправил огонь в костре.

Иванов не видел, что вокруг него собирается все больше и больше людей; они стягивались из темной степи на светлый огонь костра.

— Ты мне расскажи, какой он есть, этот Ленин, и я вырежу его погрудье из дерева,— попросил дед Данила.— Дерево это я припас себе на труну, но все равно теперь дело к жизни пошло, а не к смерти. Вырежу погрудье Ленина и поставлю на перекрестке четырех дорог, нехай все милуются, какая она такая есть наша народная правда. Эх, умел бы я резать из камня!.. Камень — материал вечный.

XII

Вокруг механика собирались бедняки. За две недели полевых работ записались в партию тридцать семь незаможников. А через полмесяца, 19 мая, деникинская кавалерия под Юзовкой разбила рабочие шахтерские отряды и двинулась на Гришино.

Иванов получил из губкома приказ провести мобилизацию и вместе с сельскими коммунистами, не теряя ни одного часа, выступить на фронт. Мобилизацию в селе встретили неохотно.

На второй день в камышах поймали трех дезертиров, отобрали у них узелки с харчами, бутылками самогона и молока, привели в село. Грицько Бондаренко, замещавший Иванова, уехавшего в соседнее село, приговорил расстрелять их ночью за левадами, возле старинной казацкой могилы.

Девятнадцатилетние хлопцы сами рыли для себя яму. Один из них — Роман Мормуль посмотрел на Балайду, с тревогой в голосе спросил:

— Так это правда, Василь?

— Что правда?

— Що нас побьете?

Балайда сорвал венчик чертополоха и, не чувствуя колючек, впивающихся в нос и пальцы, жадно понюхал цветок.

— А ты думаешь — в жмурки с тобой приехали играть?

Дезертир — пожилой, набожный дядько — просил Бондаренко, командовавшего отделением, исполняющим приговор:

— Только в голову не поцеляйте, а как забьете, тело отдайте матери, пусть поховает.— Он несколько раз тоскливо тянул: — Только в голову не поцеляйте, пусть хоть голова цела останется.

Через несколько минут Роман бросил холодно сверкнувшую под лунным светом лопату.

— Хай ей трясця, земля — чисто камень! Не хочу копать, поеду лучше с вами губить кадетов.

— Ну, ну, стройся! — строго закричал Бондаренко, заглядывая в черную квадратную яму, из которой тянуло влажным холодком.

Роман долго всматривался в изменившуюся в ночной темноте фигуру Балайды, заплетающимся языком сказал:

— А помнишь, как мы с тобой яблоки тырили у Змиевой?

Вокруг него в воздухе мельтешила летняя пороша — тополиный белый пух заносил землю.

У Балайды на глаза навертывались тяжелые слезы. Парень на мгновение представил себе, что не он, а его будут расстреливать, и чувство жалости и любви к своему другу больно сжало его сердце. Ему хотелось упасть перед Бондаренко на колени и просить за Романа, поручиться за него своей головой, но было стыдно, и он вздохнул с облегчением, когда, обрывая сказанную ка-

ким-то дядьком фразу: «Через три минуты райских яблок отведаешь»,— Бондаренко скомандовал красноармейцам, поднявшим винтовки:

— Пли! — и махнул рукой.

Но залпа не последовало. Со стороны села послышался конский топот. Кто-то мчался во весь опор.

— Пли! — раздраженно повторил Бондаренко.

— Кто-то скачет, может быть, к нам,— словно не слыша команды, сказал Балайда, приставил к ноге винтовку и вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб.

Его примеру последовало все отделение.

— Дядько Грицько, не убивайте нас... Мы ведь молодые... Мы больше не будем...— взмолился Роман, переступая с ноги на ногу и не понимая, что происходит.

К могиле галопом подскакал Иванов, и конь его, тяжело хрипя, брякнулся о землю, поднял было голову с оскаленными зубами и, весь задрожав, издох.

— Отставить! — заорал Иванов во всю глотку и, обратясь к Бондаренко, закричал на него: — Ты что тут самоуправничаешь? Приехал я в село, а ко мне бабы со всех дворов со слезами бегут. «Пошел он, говорят, басурман, наших детей кончать». Да я тебя самого под ревтрибунал упеку! — И, обращаясь к дезертирам, спросил: — Будете еще тикать от советской власти?

— Не будем,— в один голос выдохнули дезертиры, понимая, что спасены.

— Ну, марш по домам, и чтобы никому ни слова!.. Жаль, хорошего коня загнал из-за вас, дураков, реквизировал у Федорца, он его в роще прятал.

Обнявшись, Роман с Балайдой пошли в село, а за ними все остальные. Иванов и Бондаренко шагали сзади.

— Надо было бы шлепнуть хоть одного на устрашение, чтобы другим не повадно было,— сказал Бондаренко, оправдываясь.

— Ну, ну, я тебе шлепну. Людей надо беречь, и любить тоже надо. Каждый человек сейчас на счету, как патрон. А ты вздумал тратить патроны на своих... Скорей бы домой! Умираю, как хочу спать.

Солнце стояло вполдуба, когда механик разыскал сына. На песчаной, усыпанной гравием школьной дорожке Лука играл с сельской детворой пустыми патронами. Механик ласково взял сына за руку, отвел в сторону, по-

садил рядом с собой под светлым, чистеньким кустом барбариса.

— Папа, куда ты собираешься ехать? — спросил Лука.

— На кудыкину гору. Так, что ли, говорили когда-то на утилизационном заводе? — Механик весело рассмеялся, прижал голову сына к своей груди.— А ты не убивайся, еду не я один, половина села едет.

— И я с вами,— настойчиво сказал Лука.

Механик временами и сам подумывал взять сына с собой. Но, поразмыслив, решил, что рисковать жизнью мальчика не имеет права.

— Нет и нет. Не мели вздора.

Лука хотел еще что-то сказать, но отец, не слушая, поцеловал его в упрямый рот.

Сеялся слепой, вперемежку с солнечными лучами, теплый дождь. Люди охотно подставляли под него свои непокрытые головы. Семицветная радуга возникла в небе, словно арка, ведущая в новый, счастливый мир. Лука смотрел на нее очарованными глазами и думал, что, наверное, нет на свете такой птицы, которая смогла бы перелететь через сияющую ее вершину. Но в небе вдруг послышался нарастающий шум, он все приближался, и вскоре над радугой показался самолет с тремя цветными кружками на крыльях. Он сделал два плавных круга над станцией, стал заходить на третий.

— Сейчас начнет бомбы скидывать,— вскочив на ноги, закричала баба, сидевшая под кустом.

— Замолчи, дура! — крикнул на нее Лукашка.

Самолет разрушил все очарование радуги. Летчик, словно устыдясь, полетел дальше, не сбросив бомбы. Он исчез так же внезапно, как появился.

Все село провожало новобранцев на станцию. Родственники их усаживались под изумрудно-свежими от недавнего дождя шатрами молодой листвы, доставали бутылки с самогоном, на разостланных на земле скатертях раскладывали закуску — точь-в-точь как на кладбище в троицын день; чокались, пили за здоровье родных и близких, пили за скорую победу над врагом, который шел отбирать у них змиевскую землю.

Вскоре из Гришина на дрезине приехали донбасские комиссары и, в ожидании состава для погрузки людей, ходили среди вооруженных, собравшихся на войну крестьян. Все были спокойны. Казалось, никому нет дела до того, что за каких-нибудь сорок верст уже плескалось

мутно-зеленое половодье грозного, выступившего из берегов своих Дона. Казачьи полки приближались.

...Лука весь день не покидал отца, ходил с ним по желтоватому перрону, шуршащему раковинками, и не мог насмотреться на его лицо. Отец жилистой рукой перебирал слежавшийся пшеничный чуб сына.

— Лукашка,— твердый голос Иванова дрогнул,— если убьют меня, проживешь ты один на земле, не затопчут тебя, не сломают?

Лука сквозь слезы крикнул:

— Ну вот! Ну ясно!.. Ну, что такого, что ты уедешь? Разве я никогда не оставался один?

— Э нет, теперь не то. Может быть, мы в последний раз видимся с тобой... Но я так и знал, так и знал: ты проживешь... От этой мысли мне все легче на позициях будет...

Они в десятый раз подошли к станционной водокачке. Лука уже давно следил за тем, как от высокой кирпичной башни неумолимо справа налево темной стрелой передвигалась тень. Лука знал, что тень дотянется до багажного склада — и... тогда уже не будет с ним отца, а будет ничем не заполнимая, незнакомая пустота. Он внимательно слушал отцовы наставления, в душе клянясь выполнять их.

— Если услышишь, что меня убили, в селе не оставайся.— Отец хотел было сказать, что старый Федорец станет мстить Лукашке, но не сказал, раздумал.

Тяжело погромыхивая на стыках рельсов, подошел пустой товарный поезд. Грузились долго, а еще дольше целовали мокрые от слез лица баб.

Иванов долго смотрел на небо, тронутое по краям предзакатной желтизной. Потом крепко поцеловал Луку в губы, скороговоркой сказал:

— Ну, ну, иди, я договорился, опять перебудешь у Отченашенко. Он мне как брат родной.— Еще раз поцеловал сына и исчез в сумеречной глубине теплушки.

Лука выбрался на шлях, шел долго, часто оборачиваясь назад, на ровную линию железной дороги. Возле села он задержал шаги, ему до боли захотелось снова увидеть отца. В воображении он силился воскресить его лицо, но перед ним вставало изуродованное, судорожно сведенное болью, жалкое и в то же время страшное лицо убитого деда.

Лука рванулся и помчался на станцию. Бежал быстро, боясь услышать отходной свисток паровоза. Эшелон еще стоял на путях, и Лука долго разыскивал по вагонам механика, а когда нашел, схватил его за рукав.

— Папа!

Луке показалось, что отец безразличным голосом спросил:

— Разве ты еще не ушел?

В вагоне светились огоньки папирос.

Густо краснея в темноте, мальчик соврал:

— Нет, я в посадках ломал маслину.

— Ну, иди, иди, на всю жизнь все равно не насмотримся. Слушайся Отченашенко, читай книжки...

Он еще что-то сказал, но Лука не расслышал. Паровоз рванулся вперед, увлекая за собой поскрипывающие вагоны, залязгали буфера, мимо Луки медленно, наддавая ходу, поплыл поезд. Возле одного вагона, держась рукой за дверь, долго бежала молодая подвыпившая женщина, кляня Иванова, путаясь в длинной широкой юбке.

Лука пошел через дозревающие поля; справа в последний раз мелькнул и погас за поворотом рубиновый огонь железнодорожного фонаря на хвостовом вагоне.

И тогда мальчиком овладела изнурительная слабость. Идти в село не к чему и незачем. Он вошел в невысокую озимую, ко всему безучастную рожь, по-звериному лег, сложил руки меж колен и уснул.

Проснулся он от пронизывающего рассветного холода. Он почувствовал голод. Хотелось пить, и хотелось сразу чем-то занять себя, забыться на все время, пока не вернется отец.

XIII

Дня три спустя по дорожке прохромал в палисадник старый Отченашенко. Вдыхая густой запах цветов, долго смотрел из-за деревьев на кресты недалекого погоста. Здесь, в палисаднике, он облюбовал себе местечко для отдыха и размышлений, ревниво оберегал его и не любил, чтобы кто-нибудь неосторожными шагами мял свежую траву. Его жена следила с крыльца, как взволнованный старик ходил взад-вперед, а потом открыл калитку, позвал Луку.

Старик недавно вернулся из сельсовета, и мальчик знал, зачем он зовет его.

— Ну, что там слышно про наших? — предчувствуя недоброе, силясь быть спокойным и от этого неестественно, деревянно выпрямясь, спросил Лука.

— Каюк хлопцам. Как цыплятам, головы свернули. Большевики даже оружие не успели им выдать, с пустыми руками смерть приняли, не защищаясь.

В глазах закачались деревья, старик Отченашенко, калитка, палисадник.

— Не верьте, то куркули слухи распускают! Не такие в нашем селе люди, чтобы без боя смерть принять,— через силу выговорил мальчик, и тут же в самое сердце уколола мысль, что слухи верны, что он никогда уже не увидит отца.

— И как только матери доложить? Забили людей трясця его разберет где. Может, и собаки давно растащили,— пробормотал сапожник.

Лука не мог есть, лишился сна. Подолгу просиживал он на крутом берегу ставка, всматриваясь в бледно-зеленое, будто ковыльный перелив, вечернее небо, над которым вспыхивали далекие, едва уловимые взглядом зарницы орудийных сполохов.

Слезы, казалось, выжгли его синие глаза, они приняли оттенок серого дымка. Как и у каждого на изломе жизни, когда детство переходит в юность, а юность в возмужалость, у Луки неуловимо менялся цвет глаз: живость взгляда не исчезла, но какой-то металлический блеск появился в глазах, все меньше оставалось в них нежной лазури.

Через несколько дней на станцию, тяжело урча на стрелках, притащился неуклюжий бронепоезд «Мировая революция». Поблескивая узором царапин и вмятин, поезд стоял долго, а ночами далеко выбрасывал лучи прожекторов.

Одиноко толкался Лука между красногвардейцами, с наслаждением ощупывал броню вагонов, разглядывал вытатуированные на ней пулями причудливые рисунки. Он ни о чем не спрашивал и только надеялся услышать хоть слово об отце. Робкая надежда ожила у него в сердце, и он снова поверил, что отец его жив, и они встретятся.

Из вагона вылез красногвардеец, окликнул Луку:

— Эй ты, дружок, поди-ка сюда!

Лука подошел, широко раскрытыми глазами уставился в черное лицо матроса.

— Что у вас в селе, махновщина? Нас, наверно, с потрохами готовы съесть.

Закусив губу, смотрел Лука, как бездумная малая птаха таскала тополиный пух в темное орудийное жерло.

— А отец твой с кем водится, с бандитами? — строго спросил матрос.

— Разве ты не знаешь моего отца, большевистского комиссара Иванова? Его, говорят, убили кадеты! — давясь слезами, выкрикнул мальчик и по бесстрастному лицу матроса понял, что тот ничего не слышал об Иванове. Кровная обида проснулась в мальчике, он был убежден, что его отца знает вся Украина.

Матрос поймал горячую, дрожащую руку Луки.

— А ты не заливаешь? А мамка твоя где?

— Нет у меня матери.

Страдальческое выражение на детском лице произвело впечатление на красноармейца.

— Вот что, браток, надо тебя к делу приставить. Пойдем к Рашпилю, нашему комиссару. Он любит таких ершистых.

В вагоне, просматривая приказы, напечатанные на оберточной бумаге, и подперев рукой щеку, побитую оспой, сидел Никанор, старый знакомый Луки по утилизационному заводу. На фронте его прозвали Рашпилем. Лука сразу узнал Никанора. И верно, лицо его напоминало рашпиль. Никанор тоже узнал мальчишку, обрадовался.

— Вот где свидеться привелось! Садись, рассказывай о себе. Где отец?

Лука скупо поведал о своей жизни, о гибели отца.

— Да, может, он еще и не погиб. На войне часто бывает так — считаем человека убитым, а он вдруг объявится целехонек, да еще издевается над смертью.

Эти слова ободрили мальчика.

— Ну, а вы, дядя Никанор, как живете?

— Как видишь, назначили комиссаром... Командую хорошими, преданными советской власти людьми. Бронепоезд наш соорудили на Паровозном заводе в Чарусе, и в команде его много рабочих с завода, твоих земляков. Даже Гладилин — помнишь его? — служит у нас. Про Чарусу ничего не слыхал? Как Даша? Оторвался я от них совсем, даже письма написать некогда. Да и дойдет ли в такое беспокойное время письмо?

— Про Дашу не знаю, а вот Степку Скуратова видал, он у гайдамаков, ходит разряженный, как индюк.

Никанор рассмеялся.

— Тамбовский кацап подделался под щирого украинца. Вот это перевертень!

— Вы не смейтесь... Он деда моего приказал расстрелять, и гайдамаки его убили. На моих глазах.

— Ах, вражина клятый! Я давно, еще на утилизационном заводе, не доверял ему. Ну что ж, раз он у гайдамаков, не миновать нам встретиться. Уже лежит где-то отлитая для него пуля... Но как же мне с тобой быть, куда определить тебя?

— Возьмите меня на броневик! Хоть помощником кочегара.

— На каком расстоянии от нас вон то дерево? — спросил Рашпиль, указывая Лукашке на обожженный молнией пирамидальный тополь со сломанной верхушкой.

— С версту, наверное, будет,— неопределенно ответил Лука, пожимая плечами.

— А точнее?

— Четыреста саженей,— уверенно ответил мальчик.

— Правильно! Глазомер у тебя есть. Сделаю я тебя пулеметчиком. Дело это не тяжелое, но почетное. Все красноармейцы просятся в пулеметчики. С пулемета в бою можно положить целую вражескую роту.

— Спасибо вам, дядя Никанор.

— За что ж благодарить? В рабочем классе издавна так повелось: сыновья продолжают дело своих отцов. И должен ты отомстить за батька. Оставайся на бронепоезде, я отдам приказ занести тебя в список личного состава, поставить на вещевое, пайковое и котловое довольствие. «Максим», брат, понятливая машина, ребята обучат тебя, как обращаться с нею. Пойдем, познакомлю тебя с этой штучкой.

Вдвоем поднялись они в боевую рубку, где стоял станковый пулемет системы «максим», образца 1910 года. Рашпиль умело снял пулемет со станка, со вкусом и знанием дела объяснил его устройство. Начал с более простых деталей, рассказал о назначении каждой из них, об их взаимосвязи.

— Вот это ствол, это рама с мотылем, шатуном, рукояткой барабана и цепочкой, а вот замок — сердце пулемета. Ну, а это кожух. Слово-то понятливое. В кожухе помещаются ствол, пароотводная трубка и охлаждающая жидкость.

Лука слушал внимательно. Это был самый интересный урок в его жизни.

Рашпиля позвали, и он ушел, пообещав прислать пулеметчика, который научит Луку стрелять.

Вскоре явился пожилой длиннотелый красноармеец в чистом, аккуратно пригнанном обмундировании. Шутливо отрапортовал:

— Фамилия моя Баулин, комиссар приказал обучить тебя, шпингалета, пулеметному делу и на это время состоять при твоем пулемете вторым номером. Пока время есть, давай учиться, ума-разума набираться. Мне и самому не мешает повторить всю эту премудрость. Дело тонкое, хитрое, требует ума и выдержки. Это тебе не винтовка, хоть ты, надо полагать, и из винтовки стрелять не умеешь. Боевая скорострельность пулемета — триста выстрелов в минуту. Понимаешь, если стрелять без промаха, за минуту можно отправить на тот свет триста кадетов! Начнем с азов, сегодня урок на тему: «Устройство «максима». Покажу я тебе работу частей и механизмов пулемета. Завтра проведем второй урок: «Нарушение нормальной работы пулемета». И так каждый день будешь узнавать что-нибудь новое... Сказывай: вот это что? — спросил Баулин, положив руку на прицельное приспособление и щуря свои карие насмешливые глаза в легких крапинках.

— Дядя Никанор говорил — прицельное приспособление.

— Правильно! А для чего оно сдалось?

— Наверное, для наводки пулемета на цель,— догадался мальчик.

— Верно!

Долго и терпеливо объяснял Баулин устройство прицельного приспособления и его отдельных деталей — мушки, прицела, стойки, прицельной планки, хомутика, целика, маховичка, тормоза. Он с закрытыми глазами мог ловко разобрать и собрать машину.

Баулин принадлежал к тому сорту рабочих, которые любят учить своих подручных. Слушая, как он складно и понятно объясняет, Лука спросил:

— Дядя, вы до войны учителем были?

— Что ты, дорогой! Токарь я с завода «Ленгензипен». Но, если хочешь, и учитель тоже: обучил токарному ремеслу не одного парнишку. Учитель — самая главная должность на земле, вторая — доктор, ну а третья, пожа-

луй, инженер. Когда победит советская власть, то будет им самое большое жалованье платить.

За неделю напряженного учения, измотавшего неутомимого Баулина, Лука, страшась и каждый день ожидая боя, научился стрелять, наблюдать за местностью. Он умел теперь выбирать цели и определять расстояние до них. Конечно, он сознавал, что еще много ему предстоит осилить, прежде чем стать настоящим пулеметчиком: надо отработать стрельбу поверх своих наступающих солдат, стрельбу по целям — внезапно появляющимся, быстро скрывающимся и двигающимся, научиться бить по самолетам и танкам. Баулин сказал, что все это придет само собой, в опыте боев. Бой для солдата — самая главная школа.

В конце недели, когда Баулин объяснял Луке, как устранять неисправности пулемета, нарушающие нормальный бой, в рубку заглянул Рашпиль.

— Научился взводить ударник? — шутливо спросил он Луку и как-то болезненно улыбнулся.

— Так точно, товарищ командир, научился! — И мальчик, видавший в своей жизни лишь шоколадные бомбы, да и те только в витринах магазинов, передвинул на своем поясе настоящую бомбу с ввинченным взрывателем.

— Вся эта наука, которую преподал тебе Баулин, проверяется стрельбой по живым целям.— Заглядывая в голубые, с грустинкой глаза Луки, проверяя впечатление, какое производят на мальчика его жестокие слова, Рашпиль добавил: — Придется тебе перед вечером при всей команде бронепоезда расстрелять человека...

Лука побледнел, покачнулся. По сердцу словно полоснули чем-то.

— ...нашего врага. Ты знаешь этого человека, это Гладилин. Он пристал к нам в Чарусе, но остался, как был, бандитом, махновцем.

— Никанор, а ты подумал, что зеленому мальчишке говоришь такие слова? — хмурясь, спросил Баулин.

За неделю, проведенную на бронепоезде, Лука встречал Гладилина раза три, даже разговаривал с ним, поборов в себе неприязнь к этому дрянному человеку. Узнав от Луки, что Степан Скуратов служит у гайдамаков, Гладилин долго расспрашивал о нем и даже сказал, усмехаясь, что у гайдамаков, наверное, служить веселее, чем в железной консервной банке — так он назвал бронепоезд.

Случилось так, что Гладилин покинул бронепоезд и, зайдя в будку к путевому обходчику, отобрал у него пару белья. Обходчик явился к Рашпилю с жалобой и в строю команды, которую тут же построили, сразу узнал своего обидчика. Гладилин стал отпираться, но белье с метками оказалось на нем. Рашпиль, комиссар с неограниченными правами, приказал арестовать Гладилина и расстрелять на закате солнца, после поверки, перед всей командой — для науки. Исполнение приговора после долгих колебаний решил поручить Луке. Этим он преследовал две цели: опробовать нового пулеметчика и, приказав ему убить врага, приучить к тяжким обязанностям на войне. Никанор хотел, чтобы Лука понял: уничтожение врага революции не убийство и зло, как сначала могло ему показаться, а есть священный долг и обязанность каждого гражданина Советской республики.

Все это Рашпиль рассказал мальчику в присутствии обозлившегося Баулина. Лука поднял на командира глаза, взял его за руку, попросил:

— Дядя Никанор, не надо... Очень прошу тебя, не надо...

— Чего не надо? — жестко перебил его Рашпиль.

— Не надо убивать Гладилина... Он ведь знакомый человек, вы ведь вместе работали. Богом прошу — не надо, пускай отдаст белье, и все.— Мальчик побледнел, губы его дрожали.

— Нет, надо! — загораясь духом противоречия, повысил голос Рашпиль.— Я твой командир, я приказываю тебе, и ты обязан выполнить мой приказ, иначе какой же ты боец? А пацаны нам не нужны, мы здесь не в бирюльки играем.

Недовольный мальчиком, а еще больше собой, Рашпиль ушел.

Весь день Лука ходил сам не свой. Вечером, ударяясь головой и всем телом о какие-то углы, поднялся он в башню, где его уже поджидал дежурный пулеметчик, сменивший Баулина.

Перед бронепоездом, спиной к открытой могиле, стоял полураздетый Гладилин. На голой груди осужденного темнело ровное пятно загара. Лука почувствовал, что у него не хватит сил лишить человека жизни. Сердце его то замирало, то яростно билось. Слишком тяжелому испытанию подверг его командир в первые дни службы! Мальчик так и впился взглядом в Гладилина, в его не-

уклюжую, слегка наклоненную вперед фигуру. Лукашка ничего больше не видел — ни малинового заката, ни кипящих под ветром верхушек тополей, ни солдат, молча выстроившихся вдоль бронепоезда. Весь мир заслонила жалкая фигура человека, покорно ожидающего смерти.

«Что же такое вина? И почему один человек может приказать другому убить третьего человека?» — так думал мальчик, исходя жалостью ко всему живому. И он вдруг увидел в воображении своем распростертое, исколотое штыками мертвое тело отца, увидел так ясно, будто сам присутствовал при убийстве. Нет, у ямы стоял не человек, а враг. Еще вспомнилось Луке, как во время его драки со Степкой, когда он заступился за Дашку, Гладилин исподтишка, с криком: «Он еврея спасал!» — ударил его в ухо и свалил на землю.

— Видишь грабителя, врага советской власти?— спросил мальчика Рашпиль, появляясь в тесной рубке.

— Вижу.

— Так что ж ты медлишь? Давай! Раз, раз — и точка!

Лука опустил неумелые пальцы на шершавые ручки затыльника. Как пламенем, обожгла его решимость покарать Гладилина смертью. Мысли его по-прежнему неслись вихрем, и в мыслях он видел Шурочку Аксенову, Дашку, мать. Они бы не допустили убийства. У Гладилина тоже была мать, и он тоже когда-то был мальчиком, забитым и несчастным.

Лука умоляюще посмотрел на Рашпиля, глотая слюну, твердо сказал:

— Стрелять я не буду! Пускай живет! — как будто только от его воли зависело — жить осужденному или умереть.

— Ты не будешь, так я буду.— Раздраженный таким оборотом дела, Рашпиль оттолкнул мальчика и стал поправлять пулеметную ленту.

Лука выскочил из башни, спрыгнул на землю, стремительно побежал к Гладилину и, закрывая его своим телом, обливаясь слезами, в исступлении закричал:

— Не надо!.. Не надо!.. Не надо!!

С ним случилась первая в жизни истерика.

Гладилин обнял дрожащего мальчика и нежно, с отцовской нежностью, чего никак нельзя было ожидать от него, поцеловал в обе щеки.

— Спасибо, родной мой! — И крикнул: — Что ж вы стоите! Принесите ему воды.

Строй красноармейцев рассыпался, смешался. Баулин побежал к своему ученику.

— Не надо его стрелять!.. Он больше не будет воровать!.. Мы за него ручаемся! — закричали красноармейцы.

Рашпиль сошел с бронепоезда. Приблизившись к красноармейцам, сказал:

— Ну что ж, раз вы так хотите, пускай живет! Но второй раз попадется — не сносить ему своей головы.

Он уже не жалел, что все так обошлось. Время сейчас такое — каждый человек, умеющий держать винтовку, на счету.

XIV

Гражданская война велась вдоль железных дорог.

Бронепоезда были оружием революции, и хотя они не обладали ни подвижностью полевых батарей, ни прочностью укрепленных бастионов и были ограничены железнодорожными путями, они наводили ужас на белогвардейские войска.

Девятые сутки под Гришином гремят горячие бои, подогретые стремлением овладеть донецким углем. Ночами, глядя, как скрещиваются в небе длинные клинки прожекторов, красноармейцы вели разговоры о черноморских гаванях, о женщинах, о детишках, о земле. Всех тянуло домой.

Посредине блиндированного вагона чубатый балтийский матрос Максим Ковалев тремя иголками, связанными суровой ниткой, татуировал Лукашкину грудь. В раскрытую дверь вливалась душно-липкая темнота. Матрос нагревал над церковной свечкой металлическую коробку из-под ваксы, и, дав ей чуть поостыть, водил ею над орошенной потом, покрасневшей грудью, загоняя в дырочки сажу.

— Ну как, похож? — преодолевая боль, спрашивал Лука у своих новых товарищей, расположившихся вокруг него.

— Будто живой. Я ведь в Питере стоял рядом с ним на трибуне,— хвастаясь тем, что видел Ленина, говорил смуглый горбоносый Хмель, слесарь с Паровозного завода, рассматривая свежую татуировку на груди Лукашки.

За последние дни Хмеля не узнать. Он все куда-то спешил, не находил себе места... В его разномастных, как цветок братик-и-сестричка, глазах светилась неуемная жажда познания. Он торопил Максима:

— Ты мне на всю грудь наш бронепоезд намалюй. Я ведь в депо под него скаты подгонял, на домкратах парился... А внизу напиши: «Смерть кадетам и буржуям несет Хмель!»

— И куда ты только спешишь? Или у тебя не все дома? — скаля белые зубы, проговорил шутник Голиус.

— Да, это бывает с каждым — за три дня до смерти,— бросил кто-то со двора, услышав Голиуса.

К группе товарищей, мягко ступая на согнутых в коленях ногах, подошел куприевский крестьянин Паляница. С высоты башенного своего роста взглянул, что делают хлопцы, потянул за рукав Максима.

— Кинь, не рекомендую. С таким паспортом в лапы кадетам лучше не попадайся.

Разбрасывая красноармейцев, к нему бросился Хмель. Роняя на разутюженный черный матросский клеш хлопья слюны, закричал:

— Ты думаешь, мы прикидываться будем? Нет, браток, раз мы коммунисты, так пускай весь мир знает, что мы коммунисты! — Он с силой ударил себя в ребристую грудь, проговорил, чуть не плача с досады: — Вот мой документ, на котором я прошу ясно написать, кто я такой, а с таким документом живым до кадетов не захочешь. Скорее сам себя жизни решишь.

Лука спрыгнул с вагона, перешел железнодорожные линии, выбрался на насыпь, обвеваемую ветром, прорвавшимся через яблоневые сады. С полчаса мальчик прислушивался к едва уловимому собачьему лаю. Возвращаясь назад, встретил Рашпиля, любовно посмотрел на командира. Будто воробьями поклеванное лицо его в сумеречной темноте потеряло суровость.

Рашпиль узнал Лукашку. Поставив на подножку ногу, обутую в деревянную, с разрезом у пальцев сандалию, окликнул мальчика:

— Ну, Лука Александрович, надевай чистое белье, идем в бой. Армия отходит, а мы будем прикрывать отступление.

Когда Рашпиль ушел, Лука радостно побежал налаживать свой пулемет, у которого уже возился второй номер, Баулин.

Над пирамидами терриконов наклонялись зеленые пальмы ракет. Мимо броневика в тыл прошло семь эшелонов с шахтерами. Горняки ехали молча, без песен — побаивались, что конница Шкуро перережет им путь. Где-то

недалеко, словно колотушка ночного сторожа, баламутил ночной покой пулемет Гочкиса, вселяя в людей уверенность, что кто-то еще прикрывает фронт.

Наконец вслед за последним эшелоном двинулся броневик. Возле переезда, освещенного газовым фонарем, паровоз затормозил. Прихватывая скаты, просверливая тишину, завизжали чугунные тормозные колодки: железнодорожную линию переходила беременная женщина.

— Пусть перейдет. Дашка говорила мне, что если женщина в положении переходит дорогу, то это к счастью.

Лука узнал хрипловатый голос Рашпиля.

Дашка! Лука вздрогнул при звуке этого имени. Как она сейчас живет там, на утилизационном заводе, что делает, учится ли, вспоминает ли о нем? Как живет Ванька Аксенов?

С соседней платформы вырвался слепящий клин света, широким концом припал к лесу, как на экране, озарил цепи противника, идущие вдоль яра. Свет прожектора словно испарялся над человеческими фигурами. Лука видел темные, очевидно синие, брусочки погон и белые кокарды на зеленых фуражках.

Баулин приложился к горлышку бутылки, завернутой в тряпку, потом, дико озлившись, не допив, отшвырнул ее, как гранату, и тоном приказа сказал:

— Ты не стреляй за версту, нехай в притул подойдут, тогда ни одна пуля даром не пропадет.

Лука ждал, пока цепь противника приблизится к каменной бабе, торчащей в поле. Он успел промерить на глаз расстояние между нею и броневиком.

В соседнем вагоне пулеметчик не выдержал и без команды, дико вращая «максим», открыл стрельбу. Лука тоже припал к холодному пулемету, короткими очередями выпустил ленту, чувствуя, как в пулемете, словно в живом теле, возникает нежная теплота. Он видел: будто поваленные ветром, падали кадеты, беспорядочно стреляя из винтовок. Несколько пуль, словно жуки, ударились в броню башни, в которой сидел Лука, и рикошетом зарылись в землю.

Из-за посадок дикой маслины и колючего глода по броневику ударила трехдюймовка.

Красноармейцы по звуку проследили полет снаряда.

— Перелет! Гатит в белый свет, как в копеечку.

Волна возбужденных голосов прокатилась по платфор-

мам. За броневиком разорвался снаряд, потом второй, третий. Комья земли застучали по железным вагонам.

Жажда уничтожения, как это всегда и со всеми случается в начале боя, овладела Лукой. Он ничего не видел, кроме цепи белогвардейцев, по-змеиному подползающих к броневику. «Вот этот упавший — мой, и вон тот — тоже мой, и вон тот, еще живой, который что-то кричит, он будет тоже мой»,— думал Лука, поливая врагов огненной струей из пулемета.

— Хорошо стреляешь. Видишь, противник залег,— похвалил Баулин, наблюдавший за результатами огня.

Стало жарко, во рту сворачивалась клейкая слюна, нестерпимо хотелось пить. В прорез башни веяла умиротворяющая свежесть ночи. Батарея противника изменила направление огня. Снаряды ложились все ближе к броневику, взбивали землю.

— Полный ход! — подал команду Рашпиль.

Лязгая и гремя железом, поезд рванулся вперед.

Из артиллерийской башни выскочил Хмель и, перебирая руками, как по скользкой ветке тополя, полез по орудийному стволу, ощущая под пальцами плотную обитую краску. Возвращаясь назад, он оборвался и упал на платформу; из рук его выпало маленькое, изящно сотканное гнездо. Пуля наповал убила парня. Лука видел, как он лежал мертвый, с раскрытыми, словно целлулоидными глазами. И долго, то отлетая, то возвращаясь, летала над ним встревоженная, знакомая Луке птичка. С жалобным писком она взмахивала крыльями над холодеющим лицом Хмеля.

В свете прожекторов красноармейцы не упускали противника, упрямо и упорно идущего на них.

Рашпиль выбрал удачную позицию — закрыл бронепоездом продвижение Добровольческой армии по железной дороге и держал в сфере своего огня обе дороги, идущие вдоль посадок.

Генерал Май-Маевский, руководивший операцией, имел под рукой конный корпус и приданные ему батареи. Провести несколько тысяч конницы через узкий лесной коридор на виду хорошо вооруженного бронепоезда не представлялось возможным. Обойти лес по радиусу в тридцать верст — значило потерять время и свести на нет успех Юзовской операции, позволить деморализованному противнику опомниться и снова сформироваться на ближайшем участке в крепкий кулак.

Май-Маевский бросил на бропевик несколько спешенных сотен. Отбрасываемые огнем добровольцы с удвоенной энергией возвращались назад, как возвращается подвешенный на цепях таран. Лука видел освещенные светом выстрелов лица офицеров, уже успевших приблизиться на расстояние пятидесяти метров. Трупы белых валялись повсюду, но атаки не прекращались, и Лука, как и все пулеметчики бронепоезда, вел непрерывный автоматический огонь.

Так вошел он в новый, столь желанный для него мужской мир борьбы.

Отдавая приказ задержать конницу белых, командующий Донецким плацдармом Сиверс просил Рашпиля продержаться хотя бы пять часов. Это время незаметно для прислуги бронепоезда уже истекло.

Тяжелый, разогретый, словно утюг, бронированный поезд начал медленно отходить с выгодной для красных позиции.

За поворотом железнодорожный путь оборвался, на насыпи валялись расщепленные шпалы, исковерканные взрывом рельсы. Человек десять красноармейцев быстро спрыгнули с платформ и сразу же повалились на землю. По ним, словно кнутом, хлестнула длинная пулеметная очередь. С базового вагона саперы спустили на землю новенькие рельсы, потеряв при этом двух человек убитыми. Они начали поспешно исправлять колею. И, пока саперы были заняты своим рабочим делом, Лука вместе с пулеметчиками и артиллеристами отбивал белогвардейцев, ожесточенно атаковавших броневик.

В башню попал снаряд, разворотил броню, будто кто-то сильной рукой рванул рубашку. Лука видел, как железо распоролось по шву и вниз полетели заклепки — словно пуговицы. Какая-то еще не изведанная, необъяснимая слабость овладела мальчиком. Он не понимал, как это могло случиться, но к горькому пороховому дыму, выедающему глаза, примешался отвратительный запах кала. Железный пол ушел из-под ног. На мгновение Лука почувствовал языком вкус крови и уже в полубредовом состоянии, теряя сознание, увидел, как целительно разворачивается свежестираный бинт прожекторного огня.

...Лука поднял отяжелевшие веки. Прямо на него смотрели стеклянные, пустые глаза Голиуса. В них, как в объективе, преломились кристальная голубизна высокого неба, оконная рама в виде буквы «Т», ряды больнич-

ных коек. А в двух шагах от трупа молодого парня, за раскрытым окном лазарета, золотые пчелы оплодотворяли цветы. Лука до боли зажмурил глаза, а когда раскрыл их, как в тумане увидел Рашпиля. Голова командира, перевязанная марлей, снежно белела. Рашпиль с Паляницей, сидя за маленьким столиком, играли в шашки. Лука присмотрелся к ним. У Паляницы не было одной руки.

В комнату в сопровождении двух миловидных сестер вошел чисто одетый военный лет двадцати пяти, не больше. Лука подумал: «Наверное, Сиверс». Военный громким среди госпитальной тишины голосом прочел приказ о награждении команды бронепоезда орденами Красного Знамени.

— Измерять мужество надо не орденами, а ранами. Храбрый без ран не обойдется, а рана — она всегда виднее,— произнес Рашпиль, на мгновение напомнив Луке прежнего Никанора, всегда и во всем имевшего собственное мнение.

Лука с замиранием сердца слушал длинный список награжденных. Вдруг его обожгло страшной нечеловеческой болью. Как утопающий, поднявший над поверхностью воды голову, он глотнул воздух. Этот воздух был отравлен смешанным запахом карболки, йодоформа и еще чего-то опьяняющего, позывающего на рвоту. Лука откинулся на подушку и уже в бреду увидел зеленую скатерть полей, отороченную красной бахромой вражеских винтовочных выстрелов.

XV

Выписавшись из госпиталя, Рашпиль с Лукой поехали в Чарусу. Город показался Луке не таким большим, как раньше: улицы словно стали у́же, дома меньше. С вокзала они пешком побрели на утилизационный завод.

Встретил их постаревший и опустившийся сторож Шульга, всполошился, кликнул дочку Гальку, и та, припадая на раненую ногу, быстро накрыла на стол, поставила полбутылки самогону. Две чарки с отломленными ножками нельзя было поставить, приходилось все время держать в руках.

— Где же Даша? — нетерпеливо спросил Рашпиль.

— Уехала в родные края, на Днепр, к своему отцу. А мужчины все подались в войско, одни — до красных, другие — до белых, третьи — до Махна... Була чутка, что

Гладилина поставили к стенке, а про то кто знает, может и неправда. Люди выдумывают друг на друга такое, що и во сне не приснится... Скорей бы кончилась вся эта заварушка да возвертались хлопцы с войны. Галька на выданье, а женихи кровь пущают друг другу.

— Кузинча что делает? — расспрашивал Лука.

— Работает курьером в горкоммунхозе у Гришки Цыгана. Гришка теперь начальником коммунхоза, заведует и городским двором, и бойнями, и нами, грешными. Правда, работы у нас сейчас никакой, все засовы и замки поржавели... Да, чуть не забыл! Кузинча-то оказался сыном Светличного. Лавочник его с какой-то хохлушкой прижил, та подбросила ребенка ему в лавку, а он отказался, а сейчас, через шестнадцать лет, сам признался и забрал хлопца к себе.

— А Ведьма?

— Миссис живет со Светличным, так что у Кузинчи сразу и отец и мачеха объявились. Самогон варит, ее продукцию сейчас пьете.

Гости допили самогонку, поели хлеба с салом, посидели с часок и, пожав старику руку, ушли в город. Рашпиль предложил заглянуть в зоологический сад.

«Зоосад»,— прочитал Лука на золоченой вывеске. Ему не терпелось пройти за чугунные витые решетки. Пока Рашпиль, нагнувшись к маленькому окошечку, покупал билеты, Лука разглядывал на вывеске эти приятные на глаз, по-японски сверху вниз расположенные буквы.

В саду гуляла публика. Мальчишки Лукашкиного возраста шли с родными под руку, щелкали семечки, смеялись.

«Счастливые: отцы у них есть, и матери расчесывают им на ночь волосы. Они и не замечают своего счастья. А я... прижаться бы к груди отца, уснуть бы с ним рядом!» И тут же вдруг Луке захотелось, чтобы все знали — он герой гражданской войны. Но люди проходили, не замечая его, повернув головы к металлическим клеткам, в которых на ветвях деревьев сидели сказочно раскрашенные природой птицы.

Лука шел быстро, почти бежал. Всю свою короткую жизнь мечтал он увидеть этот роскошный сад, о котором с наслаждением читал в книгах. В толпе потерял самоуверенность, он уже был не пулеметчик грозного бронепоезда «Мировая революция», а обыкновенный мальчишка, впервые увидевший диковинных зверей.

Лука так увлекся, столько болтал с Рашпилем, так энергично качал своей курчавой головой, что на них наконец обратили внимание. Один мальчик спросил у женщины, идущей рядом:

— Мама, смотри, как они глазеют! Наверно, мужики из деревни? Ну, мама, правда?

— Замолчи, все тебе надо знать.— Женщина дернула сынишку за руку, потащила за собой.

Лука посмотрел вслед мальчику — длинные волосы, коротенькие штаны с перламутровыми пуговками.

— Вот за таких сопляков мы на фронте кровь проливали,— пробормотал он.

— Ну что ты, кровь мы проливали за советскую власть,— сказал благодушно настроенный Рашпиль и повел Луку к обезьяньим клеткам.

Мальчик в штанах с пуговками, забыв о зверях, все оборачивался и разглядывал возбужденного Луку. А тот подошел к клетке с обезьянами, бросил конфету за железные прутья и все не мог оторваться от забавных зверьков. В таком же восторженном состоянии находился и Рашпиль. Комиссар думал: «Вот бы показать этих зверей моему сынишке!» Его сын остался в Сибири.

Медленно прошли они парк; всюду клены, дубы, ясени и березы. Между деревьями в вольерах, пощипывая зеленую траву, бродили худые северные олени, косули, маньчжурские пятнистые лоси. И все они восхищали Лукашку.

Вдруг прямо перед собой на сложенной из камней скале он увидел белых медведей. Ему показалось, что звери на свободе. И только подойдя ближе, увидел мальчик барьер, облицованный поверху камнем. За барьером зиял глубокий и широкий ров, наполненный светлой водой. Три медведя, как малые дети, играли в воде: то забавлялись падающей сверху водяной струей, то ныряли за листьями на дно водоема, то ловили собственную лапу или брошенное им яблоко. По временам, выбравшись на бетонный берег, медведи неуклюже преследовали друг друга; с них стекала обильными струями вода; вымокшие, взбегали они на скалу, нависшую над бассейном, и с высоты трех аршин бултыхались в воду. И снова повторяли все ту же игру.

Гул голосов и детский визг несмолкаемо висели в воздухе.

Незаметно потускнело небо, медленно наползли тучи. В душе Луки шевельнулась грусть. Ему стало жалко

зверей с их призрачной свободой. В голове возникали странные мысли. Почему бы, например, льву не работать на пользу людей, как работают сейчас лошади и волы? Надо всех диких животных приучить к труду. И они перестанут быть дикими. Он посмотрел на своего начальника, но сказать ему об этом постеснялся.

Перед Рашпилем неподвижно лежала львица. Ее зеленые глаза глядели поверх людей. Над головой хищницы теплилось бледное солнце. Холодное, почти человеческое презрение в ледяных звериных глазах поразило комиссара.

«Каторга»,— подумал Рашпиль.

Он догнал Луку, и они вместе торопливо, словно из душного помещения, вышли из сада, отправились на вокзал.

Город жил шумной, давно ими не виденной жизнью. По тротуару семенили девушки в белых платьях, соломенных шляпках и деревянных сандалиях с разрезанной подошвой. На круглых деревянных тумбах висели афиши, извещая о постановке пьесы Луначарского.

Лука шел среди несметной толпы, и ему было хорошо в мирном окружении людей, где ничто не нарушало установившегося порядка. Лишь холодный ветер, гнавший охапки туч, напоминал о войне, о краткосрочности отпуска по болезни.

XVI

Деникинцы наступали на Чарусу, под самым городом шли бои. Несколько снарядов разорвалось на Змиевском шоссе, убили лошадь и торговку семечками. Ваня Аксенов принес домой пяток горячих осколков, а потом, взобравшись на забор городского двора, с тоской глядел, как уходили на север последние составы с оборудованием Паровозного завода и семьями рабочих. Было жалко выглядывающих из вагонов детей с куклами, кошками и щенятами на руках. Люди уезжали из города, уходили пешком. Никто их не принуждал, они уходили сами, как от чумы.

Город умирал. Перестали дымить трубы завода, на обезлюдевших улицах стояли пустые трамваи — не стало тока. Закрыли Народный дом, не выходили газеты.

Иван Данилович привез с утилизационного завода стеклянные банки с заспиртованными лошадиными внутренностями, взял микроскоп и, сидя на веранде с утра до

вечера, разглядывал через увеличительные стекла кусочки сапных легких.

— Ты бы отдохнул, Ваня,— просила Мария Гавриловна.— Взгляни на себя в зеркало, на кого ты стал похож!

— Для меня деятельность — самый лучший, освежающий и оздоровляющий отдых. А самая мучительная, тягостная и непосильная работа — это безделье,— отвечал ветеринар.

— Может, уедем вместе со всеми? — сказал Ваня. Ему передалась общая тревога.

— Я не политик, а ученый, и мне безразлично, какая будет власть, лишь бы не мешали работать,— ответил отец.

Но за напускным безразличием отца Ваня угадывал беспокойство.

Кузнец дядя Миша, к тому времени вступивший в партию, взял жену и ребенка и, не сказав ни слова Ване, с которым дружил, исчез из казармы.

Постаревшая за последний год Мария Гавриловна попрежнему хлопотала по хозяйству, стирала белье, готовила обед. Шурочка целыми днями простаивала у колодца в очереди, чтобы принести ведро воды,— водопровод не работал.

Гимназия закрылась. Семья Калгановых занималась изготовлением замков. Нина и Юра, преодолев стыд, продавали их на Конном базаре.

Пожалуй, только на базаре и продолжалась прежняя шумная жизнь. Правда, вот уже неделя, как никто не брал советских денег, в ходу были старые николаевские бумажки.

Мать посылала Ваню на базар продавать книги, и там он встретил учителя русского языка Николая Александровича Штанге. Старик торговал пакетиками с сахарином. На вопрос, как живет Боря, ответил, что сын делает примусные иголки.

На дом к Ване пришел Колька Коробкин, нетерпеливо ждавший белых. Советская власть закрыла их обувной магазин, отца арестовала ЧК.

— Придет Деникин, может, выпустят моего батька,— высказал Колька свою сокровенную надежду.

— А я боюсь, как бы моего батьку не забрали, мой-то ведь за красных, дружил с Ивановым. Все это знают.

— Интересно — где сейчас Лука Иванов? — сказал Колька.— Наверное, у красных, а может быть, и в живых

уже нет. Смелый пацан. Помнишь, как он из-за твоей сестры на меня с кулаками кинулся?

— Ты знаешь, я ему завидую. Он знает, что делать, и отец его знает. А мы с тобой на каком-то перепутье.

— Ну, я-то знаю, для чего живу. Буду офицером и женюсь на Альке Томенко,— ответил Колька, пощипывая черненькие усики под своим крючковатым носом,— отобью ее у этого проклятого махновца, Миколы Федорца.

По Змиевскому шоссе на мобилизованных в селах подводах уезжали семьи партийных и советских работников, везли жен, детей, оцинкованные корыта, швейные машины и похожие на гигантские цветы граммофонные трубы.

Колька перебежал через дорогу, сорвал с ворот нарисованный на фанере портрет Ленина, бросил его на землю.

Последним из Чарусы ушел бронепоезд, построенный на Паровозном заводе перед самой сдачей города.

Ваня с Колькой видели, как проплыл мимо городского двора этот некрашеный бронепоезд, набитый вооруженными рабочими. На паровозе мелом написано: «Владимир Ленин». Окошко машиниста открыто, и из него выглядывал человек в кожаной куртке с курчавой непокрытой головой. Медное от загара лицо его было угрюмо.

— Арон Лифшиц! Чекисты — те еще вчера навострили лыжи, а комиссар бежит последним. Значит, конец советской власти,— с облегчением выдохнул Колька.

— Ну, до конца еще далеко,— поддразнивая, ответил Ваня.— Ты вот бросил портрет Ленина на землю, а Ленин — вон, грозно прошел мимо. Видал, какие пушки на бронепоезде?

— Ты что ж это, за красных? — насупив брови, спросил Коробкин.— Не нравится мне твоя фанаберия. И вообще многие мне не нравятся, например вся семья Калгановых. Если Андрея Борисовича не стукнуть вовремя по башке, он в конце концов снюхается с большевиками. Да это и понятно — всю жизнь вертится среди рабочих. Ведь это по его чертежам бронепоезда для красных делают.

— Мальчики, идите обедать! — позвала Мария Гавриловна.

За столом молчали. Иван Данилович долго перчил суп, Шурочка, не поднимая глаз, дула на тарелку, Коробкин нервно катал хлебные шарики.

На шоссе раздался отчетливый звон подков. Мчались всадники. Колька выбежал на веранду и сразу вернулся. Едва не задохнувшись от восторга, выпалил:

— Наши!

Мария Гавриловна перекрестилась, промолвила:

— Зря мы не уехали со всеми, Иван.

И, как бы соглашаясь с женой, Иван Данилович ответил:

— Теперь поздно сокрушаться об этом.

Ваня тоже вышел на веранду, обрадованно крикнул:

— Красные!

Всадники с пятиконечными звездами на лихо заломленных фуражках, размахивая обнаженными шашками, галопом промчались мимо и скрылись под железнодорожным мостом.

— Наши! Переодетая разведка!—настаивал Коробкин.

Никто ему не возразил. Больно уж хороши были кони и слишком уверенно держались всадники в седлах. Красные так не ездили.

— Пойдем в город, посмотрим, что там делается,— предложил Колька другу.

— Никуда я вас не пущу. Не ровен час подобьет шальная пуля,— забеспокоилась Мария Гавриловна.

— Пускай идут, поглядят, расскажут, что там происходит,— сказал старший Аксенов.

Мальчики выбрались на пустынное Змиевское шоссе, пошли в город. Мимо бешено промчалась подвода. Ваня успел разглядеть двух перепуганных мужчин, двух женщин и девочку, державшую на коленях узел. Мужчина, правящий лошадьми, что было силы нахлестывал их вожжами.

— Не убегут! — со злорадством сказал Коробкин.— Вон она, погоня, скачет.

С Державинской улицы вырвалась кавалькада всадников. На плечах у них сверкали погоны, на фуражках, как ромашки, белели кокарды.

— Господи, наконец-то свершилось,— молитвенно прошептал Коробкин и перекрестился.

Всадники увидели подводу. Один из них, приподнявшись на стременах, крикнул: «Стой!» — и, пришпорив коня, выхватил саблю.

Между подводой и скачущими всадниками стремительно сокращалось расстояние. Томительная минута, и вот уже, разгоряченные погоней, белогвардейцы у подводы, рубят шашками, украшенными георгиевскими темляками, кричащих людей, поднявших для защиты ладони.

Один из всадников, вытирая носовым платком окровавленную шашку, подъехал к мальчикам, спросил:

— Кто теперь хозяин на городском дворе?

— Горкомхоз,— ответил Ваня.

— А ветеринар Аксенов жив?

— Жив... Я его сын.

— Ну, так скажи ему, что законный хозяин вернулся.— Всадник пришпорил лошадь и ускакал.

— Кто это?

— Георгий Змиев. Я его знаю,— ответил Колька Коробкин.

Мальчики пошли в город. Там уже полно войск. На мостовой тарахтели зарядные ящики и полковые кухни. Над зданием горсовета вилось трехцветное царское знамя. На круглой тумбе наклеены портреты адмирала Колчака в белом морском кителе, генерала Деникина в смушковой шапке и генерала Шкуро в черкеске. Рядом с портретами — объявление о том, что в воскресенье в чарусском театре дадут концерт в пользу доблестной Добровольческой армии.

По Сумской улице к Николаевскому собору, на котором уже трезвонили колокола, валила разряженная толпа. У решеток Университетского сада встретили Алю Томенко. Она была в белом платье, в широкой соломенной шляпе с муаровой лентой. Точеные ножки обуты в белые туфли. Девушка шла под руку с щегольски одетым юнкером-грузином и, обнажая жемчужные зубы, заразительно хохотала. На рукаве грузина светились нашитые треугольником три полоски: белая, синяя, красная — царь, дворянство, народ — и корниловский шеврон: череп и скрещенные кости.

— Вот она, твоя невеста,— съязвил Ваня.

— И когда она только успела познакомиться? — удивился Колька.— Ох, уж эти мне женщины! Обожают военспецов. Здравствуй, Аля! — крикнул он.

Девушка остановилась.

— Ах, это вы! Знакомьтесь: мой друг князь Иоселиани,— представила она своего грузина.

Юнкер насмешливо оглядел мальчиков и, не подавая руки, пошел дальше, увлекая за собой свою хорошенькую спутницу.

По мостовой провели одетых в робу арестованных мастеровых. Впереди шел солдат, вооруженный винтовкой с примкнутым штыком, и сзади два солдата с винтовками и штыками. На них были ботинки на толстой подошве.

«Началось»,— с тоской подумал Ваня. И сказал товарищу:

— Ботинки, видать, из слоновой кожи. В России таких ботинок не шьют.

— Английские,— ответил сын торговца обувью.

Ваня холодно попрощался с Колькой и боковыми улицами отправился домой.

Уже совсем стемнело, когда он подошел к городскому двору. На улице никого. Мальчишка завернул за угол и вдруг увидел человека с винтовкой, поднявшегося из канавы. Человек подошел к нему и что-то быстро залопотал на непонятном языке. Ваня присмотрелся. Перед ним стоял китаец с красной звездой на фуражке.

Китаец показывал рукой и что-то спрашивал — видимо, куда идти, где найти своих.

— Опоздал, брат. Красные отступили, кругом враги... Куда ни пойдешь, все равно поймают...

Казалось, китаец понял, что говорил ему мальчик. Он вогнал в ствол винтовки патрон, поставил на предохранитель затвор, расстегнул висевший на поясе подсумок.

— Товалис.— Он поднял приветственно руку и легко пошел прочь, стараясь держаться в тени забора.

Мальчик вспомнил, как белые рубили людей на подводе, и чувство жалости и восхищения мужеством китайца вошло в его сердце. Он слышал от отца, что китайцы бесстрашны и дерутся до последнего патрона. Белогвардейцы не берут их в плен, да и сами китайцы не сдаются, предпочитая плену смерть в бою.

— Эй, ходя, постой! — Мальчик догнал красноармейца и зашептал: — Пойдем к нам, спрячу тебя... У меня самый лучший друг тоже в Красной Армии.

Китаец понял.

Вдвоем они перелезли через забор. Тайком, чтобы никто не заметил, Ваня провел китайца в деревянный сарай и спрятал там на сеновале, объяснив жестами, что будет носить ему еду и воду. Он решил ничего не говорить даже матери, от которой у него никогда не было тайн.

Мальчик знал, что китайцы питаются рисом, и попросил мать, чтобы она завтра напекла пирогов с рисом. Мария Гавриловна удивилась такой просьбе — сын терпеть не мог рис.

Ночью в доме Аксеновых неизвестно откуда вынырнувший жандармский ротмистр Лапшин с тремя юнкерами произвел обыск: искали кузнеца дядю Мишу.

Юнкера опрокинули и разбили банки Ивана Даниловича и, как он ни умолял их, унесли с собой его многолетние записи в качестве вещественного доказательства — а чего доказательства, они и сами не могли объяснить.

Белогвардейцы обыскали казарму, обошли весь городской двор, и, пока они производили обыск, сердце Вани учащенно билось: мальчик боялся, как бы не нашли его китайца.

XVII

Белые не задерживались в Чарусе, и основная масса их войск продолжала наступать на север. В городе остались немногочисленные тыловые учреждения и неизменная контрразведка, облюбовавшая для себя красивое здание гимназии Пузино, расположенное в тихом переулке.

Контрразведчики на первых порах расстреляли душ двадцать рабочих Паровозного завода, повесили трех учителей и как будто притихли.

Колька Коробкин, возмущенный вероломством Али Томенко, послал ей дерзкое письмо, пересыпанное крепкими выражениями. Письмо перехватил князь Иоселиани, служивший в контрразведке. Кольку вызвали в гимназию Пузино, где трое дюжих казаков без лишних разговоров розгами спустили с него шкуру, после чего гимназист возненавидел белых.

В типографии Молдаванского крупным шрифтом печатались афиши с сообщениями о победном продвижении Деникина. Афиши, пугавшие население, наклеивались на круглых тумбах ежедневно в продолжение всего лета.

В конце осени афиши перестали появляться. Пошли упорные слухи, что красные разбили Деникина под Москвой и гонят его на юг. С испугом заговорили о банде Махно, куролесившей невдалеке.

В начале зимы белые неожиданно ночью покинули Чарусу. Два дня в городе царило гнетущее безвластие. На третий день большевики, пребывавшие до этого в подполье, собрали актив профсоюзов, на котором после шумных споров избрали ревком, объявивший себя городской властью.

...Из покосившейся хаты вышел высокий худой человек. Несколько минут смотрел на черные ряды домов, в которых кое-где светились окна. Метель всюду навали-

вала копны сугробов. Человек вернулся в хату, сказал женщине, наклонившейся над люлькой:

— Слушай, Мария, я пошел.— Он достал из-под подушки немецкий парабеллум, заткнул его за пояс, прикоснулся губами к горячему детскому лбу, поцеловал женщину и вышел в ночь, в неизвестность. Ветер донес до него умоляющий голос жены:

— Миша, не ходи, останься со мной, убьют тебя! Богом прошу!

Ветер рванул ставню, заглушил слова женщины.

Человек этот был дядя Миша, кузнец, работавший до революции на городском дворе и учивший когда-то Луку и Ваню Аксенова ковать подковы.

Во время наступления Деникина коммунисты под прикрытием Пятой армии успели эвакуировать на север Паровозный завод, вывезти много рабочих семей. Дядя Миша тоже собирался уехать, но в самый последний момент городской комитет партии оставил его в Чарусе для подпольной работы.

Он бросил казарму городского двора и вместе с женой и новорожденным сыном переселился к сторожу костяного склада, за собачий завод. Там его никто не знал.

На ступенях школы дядю Мишу встретил председатель временного ревкома — доктор Цыганков, подал ему широкую, в кольцах курчавых волос руку, скороговоркой попросил:

— Миша, голубчик, наконец поймали Контуженного. Допроси его как член ревкома, будь добр.

— Таких типов и без допроса не грех к стенке ставить.— Кузнец прошел в класс, из ведра на столе выпил воды, крикнул Кузинче, стоявшему на часах с охотничьим ружьем:

— Ведите!

Кузинча ввел Контуженного, грабителя и бандита, орудовавшего в городе. Контуженный, как озадаченный ученик, остановился возле черной классной доски, на которой еще сохранилось написанное мелом алгебраическое уравнение. К бандиту подошел возбужденный дядя Миша, вытянул парабеллум, тяжело выдавил:

— Ну, развязывай язык... Называй своих сподвижников. Кто вырезывал еврейские семьи на Холодной горе?

— Я ничего не знаю...

— Ты меня за нос не води.— Кузнец медленно поднес парабеллум к перекошенному лицу бандита.

Перетрусивший Кузинча раскрыл печку, принялся бросать в огонь куски изрубленной парты.

После того как увели Контуженного, в комнате долго переливался красный свет, лившийся из печки. К свету собралось человек семь дружинников. Доктор Цыганков растерянно спросил дядю Мишу, как самого отважного среди них:

— Что мы будем делать, когда придут махновцы?

Вертлявый ювелир Говор, будто вопрос относился к нему, сказал:

— Мы соберем контрибуцию и отдадим в наложницы батьку красавицу Алю Томенко... Или еще лучше: женим Махно на еврейке, и тогда прекратятся погромы. Клин вышибают клином.

— Опять вы со своими непроходимыми глупостями! — Цыганков схватился за голову.

— Мы представляем сейчас в городе выборную власть, и наша задача удержать Махно от погромов, грабежей и насилий. Я запрещаю кому бы то ни было стрелять в махновцев,— приказал дядя Миша.

— Посмотрим. Во всяком случае, хуже, чем при белых, не будет,— философски разрешил спор Цыганков.

— Знаете, кто мы такие? — Из темного угла поднялась седобородая фигура старого еврея.— Мы — трибунал смерти. Заседая здесь, мы сами подписали свой приговор. Нам нет спасения ни от белых, ни от Махно, а красные далеко... В городе — прекрасная молодость, наши дети, обреченные на смерть. Слава им, что они готовятся умереть с оружием в руках, иначе их перережут, как ягнят. Придет блаженный час, и над нашими могилами грянет «Интернационал», и будут цвести самые голубые на свете Петровы батоги — есть такие цветы, так их называют мужики,— закончил старик.

— Расходился дед, будто святой пророк. Я слышал — вы музыкант? Вот бы сейчас послушать «Интернационал», а смерть дело последнее.— Кузнец поднялся.

На улице сквозь завывание ветра послышались выстрелы, словно доски отрывали от забора. На лестнице загремели сапоги. Дядя Миша бросился к двери, но на пороге путь ему преградил вооруженный Контуженный.

— Ну, субчики, комиссарчики, не надеялись на такое скорое наше возвертание с того света?

В класс ввалилось человек десять махновцев в крестьянских кожухах и шапках. Внизу щелкали выстрелы,

ржали кони, бухали «лимонки»; гимназисты и ученики коммерческого училища под командованием бесстрашного Кольки Коробкина стреляли из дробовиков.

Дядя Миша вышел в коридор, прислонился к исцарапанной стене, подумал: «Как глупо, попались в лапы бандитам, точно цыплята». Решив испробовать последнее средство, он сказал Контуженному:

— Слушай, ты, я уполномочен вести переговоры с батьком Махно.

Контуженный засмеялся.

— Что нам Махно? Захотим — и Махно поставим к стенке... Мы здесь хозяева, а не Махно.

Перед глазами кузнеца мелькнул образ Марии с ребенком на руках. Как сквозь воду, видел он искаженное гримасой лицо Контуженного, слышал его голос и почти не понимал смысла произносимых слов.

— А ну, поглядим, как умирают коммунисты...

Контуженный взвел курок пистолета. Этот звук отрезвил дядю Мишу. Жажда жизни охватила его. Он знал, что за десять шагов по коридору есть дверь, ведущая на черный ход. Об этом не знают махновцы. Рванувшись, он выскочил на лестницу, задвинул тяжелым засовом дверь, выбежал во двор.

По улице валила десятитысячная махновская армия: крестьяне, одетые в шинели, в матросские бушлаты, чумарки и кожухи, вооруженные винтовками, обрезами, драгунскими палашами.

Дядя Миша побежал домой. Двери были открыты настежь, в комнате — двадцатиградусный мороз. Изнасилованная Мария лежала на столе. В люльке окоченел шестимесячный его сын.

— Собственными руками задавлю этого патлатого дьявола Махно! Клянусь богом! — выдохнул кузнец, подняв глаза к золотистому образу в углу.

Разгорался день. Солнечные лучи, как штыки, распороли сатиновую подушку неба, посыпался белый пух облаков.

В городе начинался еврейский погром.

XVIII

Добровольческая, Донская и Кавказская армии, кавалерийские корпуса Шкуро и Мамонтова под общим командованием генерала Деникина гнали красных на север.

Двадцать пятого июня деникинцы взяли Харьков, а в конце месяца прорвались к Волге и после тяжелых, кровопролитных боев захватили Царицын — место предполагаемой встречи с Колчаком. Она не состоялась, армия Колчака к тому времени была разбита.

Третьего июля Деникин отдал приказ о наступлении всех своих армий на Москву.

Главный удар по линии Донбасс — Харьков — Орел — Тула — Москва наносила Добровольческая армия. Вспомогательные удары наносились Кавказской армией под командованием генерала Врангеля по линии: Пенза — Арзамас — Нижний Новгород — Владимир — Москва и Донской армией по двум направлениям: через Воронеж — Козлов — Рязань и через Новый Оскол — Елец — Каширу.

Многочисленные отряды красногвардейцев, созданные почти во всех городах, под ударами белогвардейцев отходили на север.

Добровольческая армия, на одну треть состоявшая из кадровых офицеров царской армии, восстановила на Украине помещичий режим. На юге появился Махно. Он за короткое время собрал восьмидесятитысячную армию. К 20 октября 1919 года Махно занял Екатеринослав, Никополь, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Александровск, Павлоград, Новомосковск. Главнокомандующий Вооруженными силами юга России снял с фронта два корпуса Слащова и Шкуро, особую кавалерийскую бригаду генерала Морозова и чеченскую дивизию и бросил их вместе с запасными частями армии на уничтожение махновцев.

Против Махно невозможно было держать сплошной фронт. Разбитые в отдельных боях, махновцы растекались по селам, как ртуть, растворялись среди крестьян, искать их было бесполезно, военной формы они не носили, оружие прятали в стогах соломы и сена, в погребах и на чердаках.

Разбитые в одном месте, они возникали в другом, создавая фронт повсюду: спереди, сзади, справа, слева.

...В четыре часа ночи дежурного телеграфиста станции Никополь разбудил резкий телефонный звонок. Телеграфист, жуя со сна губами, с досадой снял трубку, вслушался в пьяный икающий голос:

— Батько Махно приказывает подать на станцию Кичкас специальный поезд, а не то...— Говоривший пе-

пристойно выругался, в трубке прогремел оглушительный выстрел, и наступила тишина.

Телеграфист поглядел в окно. Сквозь верхнее стекло, заплетенное паутиной четко вырезанных на фоне неба оголенных веточек, просвечивали звезды. Телеграфист, проклиная судьбу, пошел разыскивать начальника станции.

...Утром группа махновцев, всю ночь провозившись в городской управе над несгораемой кассой, подложила под нее пироксилиновую шашку. Взорванное здание превратилось в груду щебня, кирпичей и балок. Во многих домах лопнули стекла, толстый слой пыли инеем осел на деревьях.

Часов в одиннадцать в город верхом въехал темноликий Махно. Никто из жителей, за короткое время успевших привыкнуть к махновцам, гарцевавшим на породистых конях в ильковых и лисьих шубах, не обратил внимания на низенького, одетого в нагольный кожушок всадника, медленно едущего на невзрачной лошаденке. Махно был зол. Его армия погибала от тифа. Его бесили пестро одетые люди, обвешанные оружием. «Маскарад какой-то, а не армия»,— думал он с неприязнью.

Начальник махновской контрразведки Левка Задов недавно доложил батьку, что в армии коммунистический заговор, руководит им командир третьего Крымского повстанческого полка Полонский — тот самый Полонский, которому Махно доверил никопольский плацдарм. Батько был сумрачен и раздражен, но в глубине души радовался, что заговор против него замыслил именно Полонский. Присланный в его армию толковый коммунист не замедлил окружить себя своими людьми, которых теперь, как рассчитывал Махно, ничего не стоит захватить.

В эту ночь Махно проехал от Александровска до Никополя и, останавливаясь на станциях, самолично расстреливал комендантов, назначенных Полонским.

Одичавший, заглохший, заваленный трупами город поразил даже бессердечного, привыкшего ничему не удивляться бандита. Его встречали кладбищенская тишина на улицах, развалины и мягкий пух из вспоротых перин. Батько подъехал к еврейской школе. Дощатые тротуары перед ней были загажены, возле забора сажнями навалены голые трупы. Молодые крестьянки сновали между мертвецами, разглядывая их лица. Возле женщин, пропустив хвосты меж ног, путались собаки. Махно подошел к женщинам, спросил, что они здесь делают.

— Мужей ищем,— глухо ответила одна, метнув злобный и тоскливый взгляд.

— Что ж, война,— сказал батько, как бы оправдываясь.

Он прошел в нетопленную школу. На полу на охапках соломы валялись тифозные. Махно внимательно всматривался в желтые, конвульсивно перекошенные предсмертными муками лица, вслушивался в стоны. Кого мучил бред, кто просил воды; обрубок в бурых бинтах запрокинул лицо с алыми ямами вместо глаз, монотонно тянул: «Пристрели-те... братики, пристрели-те, да сволочи же, пристрели-те...»

С досадой думал Махно, что никто из этих людей не признает в нем вождя. Вспомнился советский плакат: «Или социализм победит вшу или вошь социализм». Коммунисты уничтожают этого врага социализма, а он, у которого сотни пудов реквизированных медикаментов, не может побороть тиф, добивающий его армию. Махно знал, что в этом никто не виновен, но вину целиком приписывал Полонскому. На нем он собирался сорвать весь свой гнев.

Нестор Иванович сел на коня. Жмурясь от слепящего зимнего солнца, долго всматривался в далекие бархатно-синие плавни. Не лучше ли бросить на милость красных свою братву, а самому махнуть через границу и где-нибудь на берегу Дуная ловить краснопёрых карасей, есть золотой виноград и любить какую-нибудь непокорную, злую бабу? Впервые вспыхнула в нем и тотчас же погасла тоска по детям, по мирной, обыденной работе. Из-за Днепра долетал легкий морозный ветерок, путался в длинных, сбитых на сторону волосах атамана, навевал смутные мысли.

От фаэтона, остановившегося на углу, бежали, придерживая сабли, Каретник и Клейн.

— Батько, яким витром?

Лицо Махно приняло выражение каменной суровости.

— Пропили вы свое атаманство.

— Як так?

— Да так, что у вас под боком коммунистический ревком армию распродает и меня уже со света списал.

Атаманы посадили батька в фаэтон и широкой рысью погнали на Ярмарочный майдан, в ветеринарную лечебницу, где у врача Коралева квартировал Полонский.

— Батько, это правда, що красные тебе предлагают

командовать у них дивизией? — льстиво спросил по дороге Каретник.

— Красные дивизию дают, белые — звание генерал-лейтенанта. Видать, и тем и другим мой талант нужен,— ответил Нестор Иванович.

Приехали в лечебницу. Махно постучал в обитую войлоком дверь. Щелкнул английский замок, и на крыльце появилась Анна Павловна Змиева, сожительница Полонского. Из донесений контрразведки батько знал, что она должна его отравить.

Они сразу узнали друг друга. На одно мгновение Анна Павловна замерла, красивое лицо ее побледнело, губы задрожали. Она совсем растерялась, и в ее взгляде Махно прочел подтверждение всех доносов на Полонского.

Вчетвером вошли в комнату. Жалюзи на окнах были спущены, в темноте Махно едва разглядел койку, на которой в бреду лежал Полонский, сваленный тифом. В комнате сидели адъютант Полонского подпоручик Семенченко и коммунист Иванов, оставленный для подпольной работы на Украине. Оба они, узнав Махно, не произнесли ни слова, только иронически улыбнулись.

Полонский то терял сознание, то снова приходил в себя. Он как бы качался на туманных волнах неверного, лихорадочного сна. На короткие мгновения он узнавал Махно, но язык его деревенел, а когда приходило забытье — мысли кидались вскачь и хитро заплеталась торопливая, бредовая речь. Он разрывал фразы на клочья:

— Обманутые! Да, да, вбить в голову, и семьдесят пять процентов пойдут за нами. А-а-а-а... пить!.. Агитаторов пошлите, пошлите нам как можно больше агитаторов!..

Батько постоял над метавшимся Полонским; склонив свою большую патлатую голову, послушал его бред. Потом, словно в рассеянности, уставился на молчавшего Иванова, перевел взгляд на кусавшего губы Семенченко, потом на Зяблюшу, которая то краснела, то бледнела. Сзади него тяжело переминались с ноги на ногу Каретник и Клейн. Они знали, что Махно вершит судьбы людей, как ему заблагорассудится.

— Вот мучается хлопец,— буркнул батько, достал из широкого галифе маленький браунинг, придержал рукой мокрую от пота голову Полонского и, вставив ему в ухо дуло, нажал курок.

На выстрел поспешно вошел хозяин дома, ветеринар-

ный врач Коралев, курносый, с растрепанными волосами, в пенсне.

— Василий Митрофанович, назначаю тебя главным терапевтом армии,— сказал Махно.

— Помилуйте, я ветеринар.

— Вот и хорошо. В пику гомеопатам, будешь лечить моих людей лошадиными дозами.

— Напрасно ты, батько, убил его, допросить надо было сначала,— заикаясь, проговорил Каретник, ощущая в затылке холодок страха. Он вспомнил, как на совместном заседании штабов двух банд — Григорьева и Махно — Нестор Иванович неожиданно для всех наповал уложил из маузера своего соперника и конкурента в кулацкие вожди.

В соседней комнате, разбуженный выстрелом, заплакал ребенок. Зяблюша, опрокинув стул, бросилась к нему.

— Когда же ты его допрашивать будешь, если у него температура сорок? Именем военно-революционного совета армии одобряю поступок главнокомандующего,— льстиво сказал Клейн и неприязненно посмотрел на Иванова.

Механик вынул из кармана какую-то бумажку, скомкал и проглотил ее. Это движение, а еще больше бесстрашное и презрительное выражение умных блестящих глаз Иванова поразили Махно. Против своего обычая, он решил откровенно поговорить с этим человеком, узнать, чего он хочет, почему так спокоен, наперед зная, что его ждет участь Полонского.

XIX

Махно слыхал об Иванове, знал, что в свое время этот человек по поручению большевистской партии занимался повстанческим движением, что под его влиянием отряд Убийбатько неудержимо стал тяготеть к большевикам. Он сам решил допросить ненавистного ему пленника. Контрразведка помещалась в подвалах Бабушкинской школы, верхние этажи которой занимал тифозный лазарет. Схваченные на улицах гимназисты таскали в классы со двора школы солому, покотом укладывали на нее тифозных. У ворот два санитара с драгунскими саблями на боку били водовоза, отказавшегося везти с Днепра шестнадцатую бочку для больных. Махно спустился в подвал.

На скрип двери Иванов повернулся. Чтобы убить время, он при чахоточном свете, проникавшем в камеру через высокое окошко, читал надписи, нацарапанные на по-

крытых плесенью и паутиной стенах. При всех властях, занимавших город, школа служила тюрьмой, поэтому на стенах подвала соседствовали самые противоречивые изречения и призывы — целая поэма человеческих страстей, записанная в короткие, богатые воспоминаниями часы между смертными приговорами и их исполнением. Махно увидел на стене корниловский шеврон и рядом с ним коричневую, кровью нарисованную пятиконечную звезду. Ниже такими же коричневыми буквами было написано: «Нас предал Т.»; а еще ниже нацарапано стеклом: «Мы умираем, но живы наши дети, которые отомстят вам за нас». Слово «дети» написано через «ять».

Иванов кивнул на табурет и, не дожидаясь вопроса, насмешливо сказал:

— Видал я твоих анархистов, разговаривал с ними. Недалекий народ. Мелковатый.

Неподвижное лицо Махно покрылось тусклой бледностью, он раскрыл рот, обнажив больные десны, но механик не дал ему говорить.

— Ты не пыли, Нестор Иванович, сначала выслушай меня. Никогда не мешает послушать врага, а я тебе враг заклятый и вечный, ибо ты предатель революции.

— Это ваше московское правительство обманом захватило власть и ведет социальную революцию к гибели! — Узенькие глазки Махно угрожающе сверкнули.

— Не перебивай, выслушай меня, а потом я буду слушать твой приговор. Я знаю, ты пришел убить меня, потому что правда глаза тебе колет. А я и те товарищи, которые меня послали, ведут за собой людей силой правды. Наше оружие — правда. А твое оружие — невежество и насилие.

— Ну, ну, продолжай. Казнить тебя я всегда успею.

— Неужели две русские революции ничему не научили тебя? А ведь надо было задуматься. Надо бы понять, что анархические бредни никогда не завоюют трудовой народ...

Махно понуро сидел на табурете; видимо, твердо решил слушать до конца.

— Вспомни историю. Она не соврет. В 1905 году анархисты выступили против «программы минимум» социал-демократии. Они выдвинули свою «программу максимум», объявили борьбу за анархическую коммуну. А что вышло? Ваша борьба выродилась в отвратительные, вредные террористические убийства и грабежи, к вам хлынули уго-

ловники и бандиты, не имевшие ничего общего ни с социалистической идеей, ни с революцией. Ты думаешь, эта твоя разудалая братва пошла за тобою потому, что уверовала в проповеди Волина? Как же! Просто ей по нутру разбойная, буйная и пьяная жизнь. Не кровь в жилах твоих головорезов, а самогон.

— Язык-то у тебя хорошо привешен.— Ноздри Махно раздулись.

В разбитое окошко вместе с морозцем потянуло душистым дымом горящих вишневых сучьев: часовые разожгли костер из нарубленных в саду веток.

Махно знал: пленник говорил правду, его, Махно, окружают уголовники, прикинувшиеся анархистами. Как бы отвечая на свои мысли, он проговорил:

— Да, верно, рукава в драке всегда мешают.

Под рукавами он разумел военно-революционный совет своей армии, сплошь состоящий из анархистов.

Этот человек одной ногой стоял в могиле и резал ему правду в глаза. Могут ли уживаться две правды в мире? За правдой большевиков стоит вся страна — этого не мог не видеть Махно,— а следовательно, их правда и есть самая крепкая и настоящая, ибо большинство всегда меньше ошибается, чем меньшинство. «Но в таком случае — кто же я?» — задавал он себе вопрос. К чему? Этот вопрос давно решен. Его решил Волин. В присутствии видных анархистов, восхваляя храбрость и доблесть Махно, Волин говорил: «В мировой истории партизанских войн, Нестор Иванович, не было человека, равного тебе по отваге, решимости и энергии, по умению проводить сложные военные операции. Никто так не знает зажиточных крестьян и их сокровенные думы, как ты. Ни испанская гверилья, ни русская Отечественная война не выдвинули партизанского военачальника, равного тебе. Перед тобою меркнут знаменитые Давыдов и Фигнер и даже вождь французских шуанов Кадудаль. Ты превзошел их. Ты ввел новую тактику боя и новый вид оружия — тачанку, вооруженную пулеметом».

Махно знал, в чем его сила. Все, кого не устраивали ни красные, ни белые, шли на службу к нему. В его армии были фельдфебели, вахмистры, хорунжие и унтер-офицеры из кулацких сынов, люди, умеющие воевать, ярые противники советской власти. Он атаман украинских кулаков, поднявшихся против разверстки, закопавших хлеб в ямах, тайком поджигавших клуни и хаты ком-

мунистов-односельчан, стрелявших из обрезов в селькоров и беспартийных активистов.

Тщетно Махно пытался прикинуться равнодушным. Слова Иванова не столько оскорбили, сколько взволновали его. Он покраснел, рассердился на себя за то, что покраснел, и крикнул в коридор:

— Левка!

Вошел начальник контрразведки, толсторожий, жирный Задов, любивший называть себя Малютой Скуратовым. С лакейской почтительностью стал у двери и положил руку на висящий у его пояса капитанский кортик.

— Раскали несколько шомполов, вот комиссара гладить и ласкать будем,— приказал Махно.— Не то этот человек говорит, что мне слышать хочется. Пусть попробует воды, огня и раскаленного железа.

На голом, бабьем лице Задова возникло подобие улыбки, он поклонился, попятился, толкнул спиной дверь. Иванов молча усмехнулся, посмотрел на бандита и проговорил:

— Чем вы хотите перешибить социалистическую революцию? Насилиями, болтовней о Советах без коммунистов, да? Даже такое здоровое вначале партизанское движение на Украине, как повстанчество, под вашим руководством выродилось в бандитизм, в махновщину. Теперь твои анархисты повернули это движение против советской власти, стало быть, оно становится контрреволюционным, кулацким, оно подрывает силу русской революции... В уездах, занятых твоей бандой, беспорядок, произвол и нет законов.

— Ты меня на цугундер не бери! — припадочно закричал Махно, белая пена проступила на его обметанных лихорадкой губах.— Какого черта вы лезете из Москвы к нам на Украину со своими порядками? Кто вас просил?

— Мы должны уничтожить контрреволюционеров всех мастей и построить социализм. А ты запомни: карлик всегда остается карликом, даже если взберется на высокую гору.

— Это ты обо мне? — спросил Махно.

— О ком же еще!

Вошел Задов, поставил на землю жаровню с розовыми углями. Шомпол с деревянной рукояткой, погруженный в угли, быстро накалился докрасна.

— Дозволь, батько, приступить к делу,— сказал палач и сбросил чумарку светло-зеленого сукна на табурет.

Во дворе, заглушив пение часовых, прокатился звонкий выстрел. Пение прекратилось. Где-то прогорланил пе-

тух. Махно повернул голову к двери. Реденькая перестрелка разгоралась над обреченным городом.

— Нечего канителиться. Расстрелять — и только! — пробурчал Махно и выбежал из подвала.

У Задова, который с утра расстреливал на кладбище приговоренных к смерти людей, в револьвере не оказалось патронов. Он пошел за ними к себе и увидел из окна — охрана тюрьмы улепетывала через двор.

На лестнице Левка Задов натолкнулся на командира батьковской конвойной сотни Трояна, бегущего вниз с узлом. Он схватил его за шиворот.

— Ты куда, Гаврюша?

— Я ж говорил — напрасно батько шлепнул этого дьявола Полонского... Бойцы третьего Крымского полка, все эти слесаря да токаря, прознали об убийстве своего командира и порубили наших начальников. Да вот они...

К воротам школы приближались вооруженные, возбужденные люди. Стреляли на ходу.

— Вот это номер! — ахнул Задов, пятясь по лестнице вверх.

— Бежать поздно. Надо спрятаться на чердаке, а там видно будет. Пошли наверх,— частил Гаврюша.

В слуховое окно чердака Задов видел, как во двор выбежали арестованные, выпущенные из подвала. Среди них он сразу признал Иванова, механик на голову возвышался надо всеми.

Махно бежал из города, не забыв прихватить с собой жену Галину Гаенко и своего любимого петуха, которого вывез из Гуляй-Поля.

Батько терпеть не мог часов. Петух, которого он повсюду таскал с собой, будил его на рассвете всегда в один и тот же час. К тому же напоминал ему о доме.

В поле батька встретил мягкий ветер, свежестью веяло от молодого снега, сытые кони резво несли сани, и конный конвой едва поспевал за ними.

Привалившись к узорной спинке, Махно жаловался Пятисотскому, сидевшему на козлах с кучером:

— Одни кулаки поддерживают меня. Лупцевал я белых — все мужики были за меня; стал бить красных — и крестьяне бегут из моей армии, проклинают меня... Я ненавижу сброд, которым командую. Не будь ты уголовником, и ты при случае предал бы меня... Признайся — предал бы? Ведь за мою голову Деникин назначил мильон.

Пятисотский, поминутно оглядываясь на скачущих по-

зади всадников и лихого пулеметчика в стихаре, молча кивал головой, во всем соглашаясь со страшным своим собеседником.

Помолчав немного, Махно отдал Пятисотскому приказ: пока не поздно вывезти в Бессарабию как можно больше награбленного золота и драгоценностей. Он уже чуял, что время его проходит. Здесь, в санях, он сказал Пятисотскому слова, записанные потом в дневнике Галиной Гаенко:

— В России возможна или монархия, или анархия, но последняя долго не продержится.

XX

Выбравшись из школы, Иванов во что бы то ни стало решил добраться до Екатеринослава и разыскать товарищей, направленных на Украину Центральным Комитетом партии для руководства повстанческим движением. Оставаться в Никополе было небезопасно: бойцы третьего Крымского полка митинговали: кто-нибудь сгоряча мог убить коммуниста, приговоренного к смерти самим Махно.

Иванов вышел на скользкий, знакомый ему шлях и зашагал на север; через каждую версту встречались старинные полосатые столбы, воскрешая в памяти полузабытые пушкинские строфы. В воздухе чувствовалась близкая оттепель. В спину, подгоняя, дул южный ветер.

К утру Иванов дошел до большого села Дмитриевки и, к своей большой радости, был остановлен заставой красноармейского отряда.

Командир отряда, усатый краматорский доменщик, выслушал его и сказал:

— Ничего из твоего похода в Екатеринослав не получится. Оставайся у нас в отряде. Путь твой — через Чумаки, а там стоит петлюровский полк имени Шевченко. Не знаю, что мне с ним делать. В бой ввязываться страшновато. Так и стоим, караулим друг друга.

— Полк имени Шевченко у петлюровцев? Это черт знает что такое! — выругался Иванов.— Так испоганить имя поэта...

— Мы и сами возмущаемся,— согласился доменщик и пригласил гостя к столу.

— Значит, закрыли тебе петлюровцы дорогу на Екатеринослав?

— Да, закрыли.

— Где нельзя проскочить, там надо перелезть,— сказал Иванов.

Под вечер красноармейцы захватили вражескую разведку — трех вороватого вида всадников. Пленных допрашивали в присутствии Иванова. Дядько в серо-голубой галицийской шинели, с дряблым лицом, откровенно рассказал, что большинство в полку имени Шевченко — мобилизованные крестьяне из бедных украинских сел Волыни. Есть, конечно, и местные, взятые в армию на этой неделе, но проку от них мало, военному делу не обучены.

— Каждый из нас знает, на чьей стороне правда, но, как говорят, «сказал бы богу правду, да черта боюсь»,— так закончил свои показания пленный.

В нем не чувствовалось ни угнетенности, ни испуга, и держал он себя так, как если бы явился добровольно. Когда его уводили, пленный повернулся, с порога сказал:

— Вы на нас не серчайте. Заставили служить — ну, и служим. Особого старания не выказываем. Была бы шея, а хомут найдется.

Иванов задумался над этими словами. Было ясно, что в петлюровских войсках появились пораженческие настроения.

«Полк Шевченко! Шевченко я его и возьму».

Иванов решительно поднялся с лавки, пошел в школу и попросил у учителя «Кобзаря». Весь вечер с карандашом в руках просидел над книгой, столь любимой им с детства. Мужественные стихи, призывающие народ к борьбе за свободу, снова захватили его, заставили многое вспомнить и заново пережить. Он знал по опыту, что мобилизованные крестьяне не хотят уходить далеко от своих хат, не хотят класть свои головы за непонятные им лозунги, за Петлюру, неведомо откуда свалившегося на них. С таким народом разговаривать можно, и ради этого разговора стоило рискнуть.

«Да, собственно говоря, чем я рискую, если отправлюсь в Чумаки? Какой-нибудь фанатик-националист может накинуться на меня, но если даже и найдется такой, он из простого любопытства даст мне высказаться, прежде чем пристрелит. А если я начну говорить на людях, у меня сразу найдутся сторонники, которые не допустят расправы». Так рассуждал Иванов, отложив в сторону взволновавшего его «Кобзаря».

Поздно ночью вернулся командир отряда, сбросил ши-

нель, устало присел к столу, посмотрел на бритую голову Иванова, освещенную светом церковной свечи, заглянул в книгу.

— Стишками балуешься?

— Силы от них набираюсь.— Механик поднялся из-за стола.— Какая силища в стихах Шевченко! Ею полки покорять можно.— И заявил как о решенном деле: — Я поеду к петлюровцам, почитаю им Тараса.

Если бы перед ним был не старый большевик, о котором он много наслышался, командир расхохотался бы. Кто-кто, а уж он-то хорошо знал, что стихами врага не одолеешь. Но он не сказал этого, а только передернул крутыми плечами.

— Опасная затея. Знаешь поговорку: «В полую воду за рекой не ночуй»?

Иванов приказал ввести пленного петлюровца, внимательно взглянул ему в глаза и спросил, может ли он проводить его в Чумаки, в расположение своего полка?

Пленный не удивился, сказал:

— Купил я себе лихо за свои деньги! — Он достал из широких полотняных штанов кисет домашнего тканья.

Иванов обратил внимание на то, что табак самосадный. Такое курево в армии Петлюры не выдавали. По всем признакам, пленный местный житель.

Иванов вытащил из кармана наган, сунул его под подушку, положил в карман «Кобзаря».

Петлюровец ждал его на улице на коне. Командир отряда сошел с крыльца, коснулся ноги Иванова, вскочившего в седло.

— Еще раз: не советую ехать. Ухарство до добра не доводит. Вас расстреляют и фамилии не спросят.

Кто-то предостерегающе бросил из темноты:

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Иванов улыбнулся.

— Ну, ну! Плохо вы знаете силу большевистского слова. Я ведь агитатором работал.

Выехали в поле, за боевое охранение красноармейского отряда. Иванов плохо держался в седле, не в ритм коню, срывающемуся на галоп. Петлюровец скакал рядом, рассказывал, как в их части офицеры избивают солдат, а командир полка, помещик Багмет, отобрал хлеб, посеянный крестьянами на бывшей его земле. Недовольство в полку растет. Каждую ночь расстреливают пойманных дезертиров.

— Посадили блоху за ухо, да и почесаться не дают.

Было еще темно, Иванов не сразу заметил черную фигуру часового с винтовкой, отделившуюся от телефонного столба на дороге.

— Хто йдэ?

Донесся лязгающий звук затвора, но Иванов, не останавливая коня, продолжал ехать вперед.

— Хто йдэ? — уже скороговоркой повторил часовой, делая шаг вперед и прислоняя приклад винтовки к плечу.

— Свои,— ответил дрябл олицый петлюровец.

— Це ты, Мыкыта? — спросил часовой.

— Мы,— ответил петлюровец, проезжая мимо и скашивая глаза на пулемет, у которого, прикрывая ладонями искры цигарок, сутулились люди.

Когда въехали в село, утренний туман рассеялся, становилось все светлей и светлей, горланили петухи, брехали собаки. Дорогу перешла молодица с пустыми ведрами на расписном коромысле. У нее были крутые черные брови, карие глаза, иссиня-черная коса, завернутая на затылке в корону. Женщина неприязненно посмотрела на всадников. И этот взгляд сказал Иванову: в селе ненавидят непрошеных постояльцев.

На улице стояли повозки, в них на соломе и сене спали петлюровцы, накрывшись жупанами, попонами и голубыми шинелями. Возле колодца с длинным журавлем солдаты поили коней и, широко расставляя ноги, умывались холодной водой.

На майдане возле церкви стояла готовая к выступлению батарея. Колеса орудий покрывал толстый слой обмерзлой грязи с налипшим на нее сеном. Невдалеке молодой офицер лупцевал по лицу ездового, который годился ему в отцы. Видно, драться он умел, бил сильно, с наслаждением. Солдаты с ненавистью поглядывали со стороны.

Иванов подъехал, поздоровался.

— Что это за полк? — строго спросил он, наезжая конем на офицера.

— А вы кто такой? — откликнулся тот с явным польским акцентом и встал «смирно».

— Извольте отвечать прямо, а не вопросом на вопрос. Что за часть? И почему бьете рядового? — сурово допрашивал Иванов.

Офицер принялся оправдываться, доказывать, что солдат виноват и его надо проучить. Избитый солдат ответил за офицера:

— Полк имени Шевченко.

Солдаты, привлеченные шумом голосов, подходили ближе, окружали их. У всех были напряженные лица. По одежде они догадывались, что дерзкий всадник — красный, и мужество этого человека, в одиночку явившегося к ним, было им непонятно. А может, он вовсе и не один и, пока разглагольствует здесь, село окружает красная дивизия? От таких сорвиголов всего можно ждать.

— Давайте, хлопцы, почитаем Тараса Шевченко. Если вы служите в полку его имени, вам следует знать его вирши.— Иванов вытащил из кармана «Кобзаря» и стал громко читать:

Поховайте, та вставайте,
Кайданы порвите,
И вражою злою кровью
Волю окропите...

Закончив читать, он сунул книгу в карман куртки и с высоты коня оглядел петлюровцев; многие переминались с ноги на ногу, и безошибочно можно было сказать, что стихи дошли до сердца. Шевченко был близок, понятен крестьянам. Кто из них не пел: «Реве та стогне Днипр широкий»? Ежедневно они слышали, как их дети читали, заучивая, его певучие стихи. В те времена в украинских деревнях читали только две книги: «Псалтырь» да «Кобзаря». В каждой хате висел портрет Шевченко. С высоким умным лбом, с мужицкими усами и добрыми глазами, он был для них как отец.

А человек в кожаной комиссарской куртке продолжал бередить им душу:

— Бедняки, а своей волей полезли в панское ярмо! Где ваша земля, которую вам навечно отдал товарищ Ленин?.. Вы без боя вернули ее помещику Багмету. Это вам кричит Тарас во весь голос: «И вражою злою кровью волю окропите!»

Стало тихо, так тихо, что слышно, как с железной церковной крыши падают на землю дождинки росы. За ивовым плетнем показалось лукавое лицо крестьянина, он улыбнулся Иванову: так, мол, их, чертей, пусть знают!

Наказанный офицером солдат, вытирая рукавом жупана разбитый нос, бормотал солдату, стоящему рядом с ним:

— Пошел я к Петлюре, думал попить да поесть, а они танцевать заставили!

Он сказал это громко, так, что его все услышали. Кто-то из толпы с насмешкой заметил:

— Если не ела душа чеснока, то и вонять не будет.

— Шлепнуть бы его, смутьяна! — выкрикнул какой-то волосатый дядько, похожий на попа-расстригу, и повел дулом винтовки в сторону Иванова.

Механик продолжал говорить об измене Петлюры украинскому народу, о социалистической революции. Он снова вынул книгу, переложенную сухими цветами, и громко читал:

— «И навикы проклянетесь своими сынами...»

И говорил и читал он сердечно и все время ощущал в спине знакомый холодок опасности. Он слышал, как среди петлюровцев вначале шепотом, а потом все громче и громче заговорили:

— Брехень богато, а правда одна.

— Как ни товкли офицеры правду в калюжу, а она все-таки чистой осталась.

— Только красные отдадут беднякам землю.

К Иванову уже бежал, придерживая саблю, сотник, лицо его было нахмурено, брови насуплены.

— Ваши начальники заставляют вас воевать под чужими знаменами. Они служили австро-венгерской монархии, затем кайзеровской Германии, сейчас пресмыкаются перед панской Польшей.

— Ты что тут брешешь, чертово быдло? — крикнул сотник, расшвыривая толпу возбужденных солдат.

Конь механика с испугом посмотрел на разъяренного сотника и отшатнулся.

— «Кобзаря» Шевченко читаю. Разве нельзя? — с насмешкой спросил механик. И вдруг узнал в сотнике Степана Скуратова. От неожиданности он даже откинулся в седле. Так вот где судьба свела их как врагов!

— А ты кто такой будешь? — закричал Степан и растерянно умолк, тоже узнав механика.— Александр Иванович, ты?

— Я комиссар... Приехал с вашими солдатами потолковать по душам, рассказать им, что правда Шевченко — наша правда, а не польских да немецких панов, не кулаков да бандитов. А ты что же это, от гетмана по наследству Петлюре достался, да? Все новых хозяев ищешь, кто подороже заплатит?

Загривок Степана стал наливаться кровью. Опять этот механик встал ему поперек пути! Какой смысл пререкать-

ся? Надо валить с одного удара, не давая опомниться. Степан выхватил из-за пазухи наган, но солдат с холодными, ничего хорошего не обещающими глазами выбил у него оружие и наступил на него сапогом.

— Подлюга,— выругался солдат,— продажная подлюга...

Сиреневые глаза Степана вспыхнули, но он смолчал. Толпа солдат была настроена явно против него. Со всех сторон на площадь сбегались петлюровцы, их винтовки зло щетинились штыками. Многие колебались, они еще помнили военно-полевые суды, и не один из них водил своих товарищей на расстрел.

Никита, проводник, поддержал Иванова:

— Хлопцы, я побывал в гостях у товарищей, ничего плохого про них не скажу. Никто даже пальцем меня не тронул. Видал я у них душ пять наших земляков. Так что предлагаю: айда служить до красных!

В толпе послышались крики:

— Пошлем Петлюру к черту и отберем у Багмета землю!

— Хлопнуть бы этого комиссара, нечего с ним цацкаться... Вяжи его, сукина сына!

С седла видел Иванов, как человек десять, заспорив между собой, начали рубиться саблями; как собирались у церковной ограды местные крестьяне, ненавидевшие петлюровские порядки; как вышел из поповской хаты полковник, видимо Багмет, крикнул: «Это что, бунт?» Полковник сразу догадался, что вмешиваться уже поздно, вскочил на коня и, увлекая за собою штаб, поскакал из села к ветрякам, у которых стояла батарея трехдюймовок.

Петлюровцы молча прислушивались к тем, кто открыто ратовал за переход к большевикам. Офицеры, какие поумнее, садились на коней и наметом удирали из села, вслед за своим полковником.

Опыт большевистского агитатора и пропагандиста подсказал Иванову, что петлюровские солдаты все больше склоняются на его сторону. Было бы хорошо, если бы командир отряда, оставшийся в Дмитриевке, догадался и ввел сейчас в Чумаки красноармейскую часть.

Перепуганный Степан вскочил на тачанку, ударил из «максима» в солдатскую толпу, надеясь зацепить пулей ненавистного механика.

Несколько человек с проклятьями упали на землю. Оставшиеся в живых без команды бросились через трупы

убитых к своим не успевшим бежать командирам и обезоружили их, связали зелеными и красными матерчатыми поясами.

Какая-то рота полка, поднятая по тревоге, в полном порядке уходила из села.

— Дуй в Дмитриевку, скажи командиру красных — пускай идет со своим войском сюда! — приказал Иванов Никите и спрыгнул с седла.

Петлюровец сел на коня и скрылся в проулке.

С полкового слинявшего желто-блакитного знамени сорвали красивый, вышитый цветным шелком портрет Шевченко, и молодица, та, что с пустыми ведрами перешла комиссару дорогу, достала из своей скрыни червонную китайку и нашила на нее портрет. Она сказала комиссару:

— Если будете ночевать в нашем селе, приходите к нам в хату.— Подошла ближе, шепнула на ухо: — Мой чоловик тоже у червонных.

На красном фоне знамени усатое лицо поэта ожило и словно помолодело. Молодица вынесла знамя на улицу. Под ним большевистский комиссар Иванов построил шумящий от возбуждения полк украинских крестьян.

Вскоре послышался конский топот, и в Чумаки на рысях с шашками наголо вошла полусотня красных.

Иванов вздохнул. Он чувствовал невероятную усталость, лицо его осунулось, постарело.

К нему подскакал командир отряда и, покручивая усы, сказал простосердечно:

— Спасибо, друг. Признаться, не ожидал, что мужиков можно так легко с одних рельсов перевести на другие. Подождем, пока подтянется наша пехота, и пойдем на Александровку, Соленое, Волошино, на соединение с нашими частями, наступающими на Екатеринослав. Город занят махновцами. Надоел мне этот Махно хуже горькой редьки!

XXI

Заняв Чарусу, белогвардейские войска, преодолевая слабеющее сопротивление, по кратчайшим Курскому и Воронежскому направлениям устремились на Москву. Кто мог сказать тогда, что эти крепко сбитые боевые полки спешат навстречу своей гибели?

Нетерпеливый и честолюбивый Деникин торопил армию. Он кусок за куском отрывал от Советской России

плодороднейшие губернии, лишал ее хлеба, военных припасов, людских пополнений для армии. Белые дивизии комплектовались за счет мобилизованных. По донесениям штаба, состав Вооруженных сил юга за пять месяцев возрос с шестидесяти четырех до ста пятидесяти тысяч штыков и сабель.

Вместе со своим правительством — членами Особого совещания — Деникин из Ставки, расположившейся в Таганроге, выехал в Чарусу. К специальному поезду прицепили товарный вагон, из которого доносилось ржание белого жеребца. На этом коне генерал собирался въехать в Москву.

...Вернувшись ночью из театра в особняк, Деникин машинально заглянул в комнату, занятую его адъютантом штабс-капитаном Гнилорыбовым. Адъютант сидел за маленьким палисандровым столиком и рассматривал три портрета Ленина, вырезанных из какого-то советского журнала. Он не слышал, как подошла к дому машина, как простучали винтовками о пол казаки караула. Встретившись с недоумевающим взглядом генерала, который увидел портреты, Гнилорыбов смутился и виновато встал. С минуту длилось неловкое молчание.

— Ваше превосходительство, гляжу на эти портреты и думаю, что главный наш противник не Троцкий и не главком Вацетис, а вот этот сугубо штатский человек,— медленно проговорил Гнилорыбов, обдумывая каждое свое слово.

Деникин переспросил. Недавно он был слегка контужен разорвавшимся снарядом и плохо слышал. Гнилорыбов отчетливо, как на уроке, выговаривая слова, повторил все, что сказал.

Генерал взял со стола один из портретов, поднес его к лицу, бросил на пол. Вспомнилось: как-то ему попалась на глаза подшивка газеты «Правда», он взял ее к себе в кабинет и весь вечер с обостренным интересом и неприязнью читал отчеты о XVIII съезде РКП(б), состоявшемся в конце марта. Съезд принял решение о переходе от политики нейтрализации середняка к политике прочного союза с ним.

За спиной Деникина Гнилорыбов заметил поучительным тоном:

— Теперь, после раздела помещичьих земель, середняки составляют большинство в деревне. Брось палку, и обязательно попадешь в середняка.

— Не только большинство в деревне, но и большинство населения России — середняки,— согласился Деникин. Он сразу понял все значение удара, нанесенного ему большевистским съездом.— Власть земли — страшная вещь.

Генерал знал, что многие высшие командиры Красной Армии не доверяли военспецам и наплевательски относились к военной теории, отрицали централизацию военной власти и дисциплину, поощряли партизанщину в своих частях. Все это было на руку белогвардейцам и радовало Деникина. Но на съезде Центральный Комитет РКП(б) обнародовал тезисы, требующие создания регулярной армии. К великой радости Деникина, большинство членов военной секции съезда встретило тезисы в штыки. Образовалась военная оппозиция, противопоставившая тезисам ЦК свои тезисы, в которых приводились сотни фактов измены военспецов; оппозиция требовала отказаться от их сомнительных услуг, просила предоставить комиссарам право вмешиваться в оперативные дела командования, расширить права военных партийных организаций, не вводить военного устава, отказаться от отдания чести.

На съезде выступил Ленин и камня на камне не оставил от тезисов военной оппозиции. С мастерством хирурга он вскрыл недостатки Красной Армии и указал, как следует их исправить. Ленин потребовал широкого привлечения в армию старых военных специалистов, критически использовать достижения буржуазной военной науки, выковать железную дисциплину, прекратить митингование, с корнем выкорчевать партизанщину.

Съезд большинством голосов принял тезисы ЦК РКП(б) и сурово осудил разглагольствования лидеров военной оппозиции. Просматривая «Правду», Деникин пережил много неприятных минут. До сих пор он тешил себя мыслью, что имеет дело с дивизиями и полками неграмотных, разложившихся красноармейцев. Жизнь показывает другое. Против белых армий стояла железная, разумная, целеустремленная сила, которую он так долго старался не замечать.

Уже давно с ревнивым и болезненно обостренным чувством Деникин следил за борьбой Колчака с большевиками. Адмирал с армией в четыреста тысяч человек уверенно продвигался на запад, согласовывая свои операции с опытными иностранными генералами: французом Жаненом и англичанином Ноксом. За время своего военного наступления Колчак захватил территорию в триста тысяч

квадратных километров, с населением более чем в пять миллионов человек. В руках Колчака оказались богатейшие продовольственные районы. В прифронтовых уездах Самарской, Симбирской и Казанской губерний полыхали мятежи против красных. В Совдепии вспыхнула эпидемия тифа. Сам бог был против большевиков.

Контрразведка докладывала: на железных дорогах Советской России более половины паровозов «больны». Большинство фабрик из-за отсутствия угля и сырья стоит. Голод душит Советы своими костлявыми пальцами.

Интерес к советской печати, как источнику непосредственной информации, все возрастал, и главнокомандующий приказал ежедневно доставлять ему советские газеты. 12 апреля 1919 года в «Правде» были опубликованы «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта». В них сжато были сформулированы основные стратегические указания. Деникин чувствовал, как много взрывчатой силы, способной поднять народ, заложено в них, и поинтересовался, кто автор тезисов. Начальник контрразведки доложил — тезисы написаны Лениным.

Ленин требовал, чтобы в прифронтовых освобожденных районах были мобилизованы в Красную Армию все мужчины от 18 до 45 лет и три четверти всех членов партии и профсоюзов. По его настоянию в РСФСР была введена обязательная воинская повинность.

Изучая распоряжения Ленина, попавшие к нему в руки, Деникин пришел к выводу, что Ленин своевременно разгадал северный вариант адмиральского плана. Согласно этому плану главный удар наносила Сибирская армия чешского генерала Гайды по линии Пермь — Вятка — Вологда. Здесь предполагалось соединение белогвардейцев с интервентами, с тем чтобы совместными усилиями ударить на Москву.

Успехи западной армии, оказавшейся в восьмидесяти километрах от Самары, заставили Колчака отбросить прежний план и главным направлением избрать южное. Это не укрылось от внимательных глаз Ленина, и он стал принимать решительные меры, чтобы не дать Колчаку соединиться с Деникиным.

Общее контрнаступление на Восточном фронте началось в конце июня. 1 июля Красная Армия захватила Пермь и Кунгур, 13 июля — Златоуст, 14-го — Екатеринбург, 24-го — Челябинск. Попытка Колчака удержаться за Уральским хребтом не увенчалась успехом. Рабочие

Симского, Миньярского, Катав-Ивановского, Михайловского, Сергинского и других заводов подняли восстание в тылу белых.

Раздумывая над причинами трагической гибели Колчака и его армии и никогда не лукавя перед собой, Деникин пришел к выводу, что Ленин, со своей точки зрения, был прав, выделив Восточный фронт как главный: захват Урала и Сибири принес Советам десятки миллионов пудов чугуна и стали, десятки тысяч солдат.

Деникин успокаивал себя тем, что, воспользовавшись отвлечением главных сил Красной Армии на Восточный фронт, добился полного превосходства на юге страны. «То, что не удалось Колчаку, с божьей помощью сделаю я!» — самодовольно думал Деникин. Он уже видел себя в покоях Кремлевского дворца.

Адъютант кашлянул, прервав раздумье генерала.

— Принесите мне сводку производства военных материалов в Совдепии,— приказал Деникин Гнилорыбову и, обойдя лежащий на полу портрет, пошел в свой кабинет.

Через четверть часа Гнилорыбов постучал в дверь. Кабинет был освещен луной. Деникин устало сидел за роялем и рассеянно играл «Песню без слов» Мендельсона. Седая голова его отражалась в черной глубине открытой рояльной крышки.

— Разрешите.— И, не ожидая ответа, Гнилорыбов подошел к окну, поднял к глазам листки с отпечатанной на них сводкой и принялся читать: — В апреле изготовлено шестнадцать тысяч винтовок, в мае — двадцать одна тысяча, в июле — сорок три тысячи; в апреле большевистские заводы выпустили семнадцать миллионов патронов, в мае — двадцать восемь миллионов, в июле — тридцать четыре миллиона.— Гнилорыбов с каким-то наслаждением, со все возрастающей энергией называл эти цифры.

Деникин прекратил игру и слушал не перебивая, облизывая тонкие губы. Как все генералы, он не любил подсчитывать и ненавидел цифры.

— И все же в телеграмме Совнаркому Украины Ленин рекомендует: под одну винтовку ставить трех солдат... Ленин погубил Колчака! — с истерическим надрывом выкрикнул адъютант.

Деникин исподлобья взглянул на него, не совсем понимая, чего больше в голосе офицера — восторга или ненависти?

— Ваше превосходительство, вы не согласны со мной?

— Н-да! — неопределенно ответил генерал.— Зажгите свет.

Гнилорыбов повернул выключатель, зажмурился от света.

— Бог всегда на стороне многолюдных полков.

— Мы должны присматриваться к Ленину, прислушиваться к каждому его слову — от него вся большевистская премудрость... Он прикончил адмирала Колчака, может погубить и нас,— пробормотал адъютант, видя, как побагровели щеки командующего.

— Все это бредни. В Кремле занимаются созданием чеквалапов — чрезвычайных комиссий по заготовке валенок и лаптей... Вы мальчишка, Гнилорыбов, фендрик, вас надо сечь розгами... Не пройдет и месяца, как мы будем в Москве... Я не Колчак!

Адъютант вытянулся, ногти его впились в кожаный ремень. Спорить было бесполезно. Да и имел ли он право прекословить этому честолюбивому, мнительному, изнервничавшемуся и стареющему генералу? Одно его слово, одно движение пальца — и адъютанта поставят к стенке. Это Гнилорыбов знал лучше, чем кто-либо другой.

XXII

Дивизия, которой командовал Арон Лифшиц, спешно перебрасывалась с Восточного фронта на Южный, и в середине октября, холодной дождливой ночью, первый эшелон ее прибыл в Москву.

Состав загнали в темный, глухой тупик и отцепили паровоз. Позванивая котелками, из вагонов стали выпрыгивать красноармейцы. Пританцовывая на земле, они разминали задубевшие от долгого сидения ноги.

Невдалеке темнели едва различимые, пахнущие сырым деревом дома. Глухой старческий голос спросил из аспидной темноты:

— Откуда прибыли, служивые? Никак опять из Сибири?

— Откуда прибыли? Да за такой вопрос и в Чеку угодить нетрудно. Это, дед, военная тайна,— ответил задорный молодой голос.— Где тут у вас куб с кипятком? Озябли в дороге, чайком не мешает побаловаться.

Долго путаясь между бесчисленными вагонами с военным снаряжением, пушками и бронемашинами, Лифшиц

выбрался на перрон, забитый пассажирами, прошел в комендатуру станции.

Комендант, бородатый матрос в лихо заломленной набекрень бескозырке, отмечал командировочные удостоверения, по которым выдавали хлеб и махорку.

— Долго вы нас здесь мариновать будете? — крикнул Лифшиц, ввалившись в комендатуру и расстегивая портупею.

Матрос рассмеялся.

— Чудак человек, чай пьет, а пузо холодное! Не успел сойти с поезда — и уже в амбицию. До утра наверняка простоите... Вперед пропустили тридцатую Сибирскую дивизию. Хороша дивизия, в ее полках пять тысяч коммунистов. Командует слесарь Блюхер. Ну, что ж ты стоишь? Пей чай — и на боковую. Евтушенко, уступи командиру скамейку,— растолкал комендант спящего красноармейца, налил из бака в железную кружку кипятку и подвинул Лифшицу спичечную коробку с крохотными белыми крупинками сахарина, напоминающими пуговки на Дашкиной кофточке.

— Чай с дороги — хорошо, но мне бы газету. Десять дней печатного слова не видели,— взмолился комдив.

Комендант вынул из шкафа и бережно положил на стол двадцать экземпляров «Правды» за октябрь, напечатанных на плохой желтой бумаге. Лифшиц с жадностью принялся просматривать попахивающие керосином листы.

Газета сообщала о партийной неделе, печатала «страничку красноармейца». Под рубрикой «На защиту революции. Мобилизация коммунистов» приводился список девяноста двух товарищей, которым надлежит сдать все дела по занимаемой должности и явиться в политуправление Реввоенсовета республики, на Сретенский бульвар, дом 6, кв. 34, комната 1, к начальнику инструкторской части товарищу Захарову.

— Не так уж плоха погода на земном шаре. В Англии — забастовка металлистов. В Америке бастуют портовые рабочие. Между Северным и Южным Китаем снова вспыхнула гражданская война,— читал Лифшиц вслух.— Командир кавкорпуса Миронов за измену делу революции приговорен военным трибуналом к расстрелу.

— Да, но ВЦИК, принимая во внимание прежние заслуги и чистосердечное раскаяние, помиловал его,— заметил комендант бесстрастным голосом, и было непонятно, одобряет или осуждает он это решение.

— Напрасно помиловали,— сказала коротко остриженная усталая женщина, стоявшая в очереди командировочных.— Я бы его, подлеца, шлепнула собственноручно. Он моего мужа расстрелял, большевика.

Лифшиц отхлебнул несколько глотков кипятку, отдающего ржавчиной, прочел вслух напечатанный в газете лозунг:

— «Коммунисты — правящая партия, которая пилит дрова, сражается на фронтах, грузит вагоны, расстреливает своих собственных членов, если они оказались негодяями. Идите, товарищи, в эту партию!»

— Ну что ж, оставайся здесь за меня, а я пойду погляжу Москву. К утру вернусь,— сказал после чаепития Лифшиц своему молчаливому комиссару, который засел за газеты. Лифшица неудержимо влекло в город.

Удостоверясь, что все красноармейцы эшелона получат паек, комдив перемотал обмотки на своих худых ногах и отправился в город.

На привокзальной площади, залитой жидкой грязью, внимание его привлекла толпа, собравшаяся вокруг упавшей ломовой лошади. Напрасно старик возчик ругал и нещадно хлестал обессилевшую от голода конягу — она уже не могла подняться и только дергалась и мелко дрожала.

— Что ты ругаешь своего одра на все корки? — спросил Лифшиц.

— Этот Буцефал обозный мне от артиллеристов достался и ни единого слова, кроме мата, не понимает,— ответил возчик.

— Зарезать ее, горемычную, надоть! — взвизгнула бойкая баба, закутанная в теплый платок.

— Я те зарежу! — огрызнулся возчик и в сердцах стал бить кнутовищем по лошадиной морде, норовя попасть по глазам.

— Надо прирезать, пока не подохла. Хоть какое ни есть, а все-таки мясо,— посоветовал постовой милиционер.

— Хоть мы и не татаре, но тоже не откажемся...

— Ладно, так и быть, режьте,— весь сразу как-то обмякнув, согласился биндюжник.— Все равно я ее с собой не уволоку, а чуть отойти — вы тут ее и прикончите.

Верзила, пахнущий варом, видимо сапожник, выхватил из-за голенища остро сверкнувший нож и перехватил лошадиное горло. Кровь не хлынула, и это было страшно. Кто-то нагнулся и стал рубить конскую ляжку.

Лифшиц пошел дальше. Перед ним стояли умоляющие изумрудные глаза лошади. Гибель ее напомнила ему утилизационный завод в Чарусе, и он по ассоциации вспомнил механика Иванова и сына его Луку. Где-то их мотает сейчас судьба?

С тяжелым сердцем Лифшиц прошел мимо длинной очереди, вытянувшейся у закрытой на замок булочной.

— По сколько дают на брата? — спросил он у стоящей с края женщины.

— Четверть фунта на работника в день. Да и хлеб-то сырой, как глина.

— Вот прогоним Деникина, хлеба будет вдоволь,— пообещал Лифшиц.

Никто ему не ответил. Голодные люди неразговорчивы. Дул сильный, пронзительный ветер.

На перепутье стояла круглая афишная тумба. Лифшиц чиркнул зажигалкой, при бледном крохотном огоньке прочел объявление о том, что в театре Корша идет «Сон в летнюю ночь», а в Народном доме имени Ленина на Бутырской состоится третий вечер поэзии с участием С. Есенина, С. Фомина, С. Обрадовича и В. Казина.

«Пойти бы на этот вечер. Выйти на трибуну и сказать поэтам в глаза: «Мало вы, черти, пишете про Красную Армию. Один Демьян Бедный работает за вас всех»,— подумал Лифшиц и улыбнулся.

У какого-то узкого переулка его грубо остановил патруль — три красноармейца и рабочий в кожанке с маузером в руке. Придирчиво проверили документы. Найдя, что все в порядке, извинились, попросили закурить и пошли дальше.

Человек в кожанке обернулся, предупреждающе крикнул:

— Будьте осторожны, товарищ, по городу еще шляются анархисты, а с ними лучше не связываться.

Лифшиц плохо знал Москву. Он приезжал сюда только раз за свою жизнь. Не было у него здесь ни родственников, ни друзей, ни знакомых. И в город идти было незачем. Но это милая его сердцу столица молодого Советского государства. Необъяснимая сила толкала его вперед.

Город был безлюден. Фонари не горели. Ветер трепал на заборах обрывки афиш, крутил на Цветном бульваре охапки мокрых листьев. У кинотеатра «Бельгия», заставленного щитами с рекламой американского боевика в трех сериях «Тайны Нью-Йорка», его остановила жалкая, из-

мученная проститутка, закутанная в белый вязаный платок. Подняв на него большие глаза, неумело предложила:

— Пойдем, красавчик, со мной... Дорого не возьму, полфунта хлеба.

Она оглянулась в темноту, где, наверно, притаился сутенер или, быть может, ее голодный ребенок.

У Лифшица мелькнула мысль: не взять ли девушку с собой на фронт? Но он тут же отказался от этой затеи: начнутся неизбежные ухаживания, ссоры, сцены ревности. Подняв воротник шинели, Лифшиц зашагал дальше.

На Лубянской площади у круглого фонтана чадил костер, у раскаленных углей грелись отрепыши-беспризорники, закутанные в чудовищные лохмотья. Из железных ворот ВЧК, пыхтя, выехала грузовая автомашина с арестованными. Один из них простуженным голосом насмешливо крикнул:

— Садись, подвезем!

— А куда вы?

— На кладбище...

— Стоит ли торопиться?

Если бы не этот краткий диалог, то можно было бы подумать, что проехали тени.

Лифшиц вышел к Большому театру. Из-за туч выглянула луна, осветила у белых колонн красноармейца, старавшегося прикрыть от холода худенькую девушку полами своей кавалерийской шинели. Красноармеец с силой притягивал ее к себе, а она, упершись руками ему в грудь и откидывая голову назад, задорно и молодо хохотала.

«Отталкивает и притягивает одновременно. Поди разбери, чего ей хочется,— с теплотой в сердце подумал Лифшиц.— Какие бы бедствия ни испытывал народ, какая бы война ни терзала страну, любовь продолжается и всегда согревает людей...»

Давным-давно он вот так же обнимал, и целовал, и звал, сам не зная куда, свою медноволосую Дебору. Где-то она сейчас? Жива ли? Вспоминает ли о нем?

Зачем иллюзии? Никогда ты больше не увидишь своей Деборы. И детей не увидишь тоже. Трудно семье комиссара, к тому же еврея-комиссара, уцелеть в такое время на Украине, занятой деникинцами. Мир пока устроен плохо, за все рано или поздно приходится платить, за революцию тоже надо платить. Одни расплачиваются своей жизнью, другие жизнью своих близких.

Потом Лифшиц поймал себя на том, что все его мрач-

ные мысли — лишь дурное предчувствие беды, навеянное подыхающей ломовой лошадью, обездоленной проституткой, плохой погодой. Он стал убеждать себя, что и жена и дети его живы; вот окончится война, и он снова увидится с ними.

Лифшиц прошел через Красную площадь, чисто подметенную ветром, и очутился на набережной. От Москвы-реки тянуло пронизывающей сыростью.

Со стороны храма Христа Спасителя шли три человека: один, в расстегнутом пальто, впереди и два, в солдатских шинелях, чуть сзади. Эти люди поравнялись с ним. Лифшиц поднял глаза, и у него перехватило дух. Товарищ Ленин! Последний раз Лифшиц видел его 19 апреля, после окончания Академии Генерального штаба, на проводах выпускников академии, уезжающих на Восточный фронт. Тогда вместе с Лениным приехали Дзержинский и Калинин. Сейчас, при лунном свете, Лифшиц заметил, как изменился и похудел вождь, как резко проступили на его лице крутые надбровные дуги.

— Здравствуйте, Владимир Ильич! — Лифшиц вытянулся и приложил руку к козырьку.

Ленин запахнул пальто. Его спутники прошли вперед и остановились под деревом, прижавшимся к кремлевской стене.

— Здравствуйте, здравствуйте! Вы, по-видимому, издалека? — спросил Ленин. Увидев, что Лифшиц все еще держит ладонь у козырька, он добавил своим особенным, слегка картавым, приятным говором: — Я вижу, вы не сторонник военной оппозиции, отрицающей отдание чести в армии.

— Вы угадали, Владимир Ильич. Я командир дивизии Арон Лифшиц. С Восточного фронта перебазируемся на Южный. Побили Колчака, теперь примемся за Деникина.

— С Восточного фронта? Это очень интересно. Лифшиц! Слыхал о вас, Троцкий хвалил. Ну что ж, давайте знакомиться.— И Ленин пожал своей горячей рукой вспотевшую ладонь Лифшица.— Я вот допоздна работал над статьей в газету, окончил ее и решил прогуляться на свежем воздухе. Если у вас есть время, проводите меня немного и расскажите о нуждах, о настроениях красноармейцев вашей дивизии.— Ленин поднял голову, прислушался, улыбнулся.

В телеграфных проводах, словно бабочка в паутине, бился бумажный мальчишеский змей. Ленин подошел к

каменным перилам, поглядел на дегтярно-черную воду, потянул раздувшимися ноздрями прохладный воздух.

— Люблю реки. У каждой свой цвет и запах. Нева пахнет разрезанным арбузом.— Ленин был без перчаток и руки держал в карманах пальто.

Лифшиц пошел рядом с ним, укорачивая шаг и стараясь идти в ногу. Узнав, что Лифшиц часто встречался с Фрунзе, Ленин заметил:

— Деникин сейчас — главная угроза революции. Михаила бы Васильевича на Южный фронт... Но, к сожалению, он в Туркестане, воюет с басмачами.

Ленин начал расспрашивать о партизанском движении в Сибири, об отряде Мамонтова. Ласково улыбаясь, сказал:

— ЦК РКП(б) принял специальное постановление: партизанским отрядам установить между собой постоянную связь. Необходимо переходить к централизованному командованию.

Владимир Ильич знал и помнил невероятное количество людей и интересовался, что делают сейчас командиры дивизий Азин, Карпов, Эйхе, Блюхер, командиры бригад Кутяков, Плясунков, Хаханьян. Некоторых из них Лифшиц знал и точно отвечал на вопросы.

— А вам не приходилось встречать деревенского кузнеца, командира двести сорок второго полка Вострецова? — Остановившись, Ленин начал раскачиваться взад-вперед на каблуках, как часто это делал на трибуне.

— Как же не приходилось! Вострецов первым вступил в Челябинск. Его наградили орденом Красного Знамени.

Все время светила луна, и Лифшиц был благодарен ей — она позволяла видеть Ленина, его полускрытую усами улыбку и прищуренные, внимательные глаза.

— Сколько в вашей дивизии пулеметов?

Лифшиц ответил.

— А коммунистов?

— Каждый восьмой в дивизии — коммунист.

Ленин достал из бокового кармана пальто блокнот, занес в него несколько цифр, названных Лифшицем.

— Это просто замечательно! У Деникина основной состав — кадровые офицеры и казаки, против них мы должны выставить отборные части... Вы направляетесь на Украину, и вам, конечно, не избежать встречи с Махно. Примените против него его собственную тактику, действуйте мелкими отрядами, так будет лучше! Вы согласны со мной?

— Спасибо за хороший совет... Владимир Ильич, разрешите вас спросить, если это, конечно, не военный секрет: почему мою дивизию придают Тринадцатой армии, а не Девятой или Десятой на Юго-Восточном участке фронта? Не лучше ли главный удар по врагу наносить силами Девятой и Десятой армий, через Царицын на Новороссийск? Ведь эти армии наиболее боеспособны, в их составе почти вся наша конница. Наконец, к ним быстрее можно подкинуть резервы с Восточного фронта.

Ленин чуть-чуть лукаво усмехнулся, ничего не ответил, заторопился и, сунув Лифшицу на прощание руку, исчез в воротах Кремля. Лифшиц понял, что задал бестактный вопрос.

...Вернувшись к себе в нахолодавший кабинет, Владимир Ильич закрыл форточку, включил электрический чайник, подошел к вращающейся книжной этажерке, заглянул под белую салфетку. На тарелке лежали хлеб и два куска сахару.

Потом он подошел к стенной карте европейской части России, утыканной красными и трехцветными флажками, которые были соединены белыми нитками, обозначавшими линии фронтов. Он встал на стул и долго смотрел на карту; на ней его рукой была нанесена красным карандашом линия наступления.

Комдив Лифшиц неспроста заговорил о движении на Дон и Кубань, через Царицын. Это были уже устаревшие, отброшенные самой жизнью соображения. Еще в конце июня Вацетис предложил главный удар по войскам Деникина наносить силами Четырнадцатой, Тринадцатой и Восьмой армий, через рабочие районы Харькова и Донбасса, на Новочеркасск. Девятая и Десятая армии, находившиеся на Юго-Восточном участке фронта, должны были провести вспомогательную операцию.

Новый главком Каменев не без основания не согласился с предложениями своего предшественника и разработал смелый план, по которому нанесение главного удара возлагалось на левый фланг фронта. Этот план, не требовавший ломки конфигурации войск, предусматривал поход по бездорожному краю, населенному казаками, в большинстве своем враждебно настроенными к советской власти.

Потеря Курска и Орла, угроза Москве сделали Южный фронт первостепенным. На этот фронт было направлено свыше пятидесяти тысяч пополнения.

Уже тогда Ленин чувствовал, что ветер переменился,

и понял, что действовавший план борьбы против Деникина не обеспечивает защиту Москвы, не способен создать коренной перелом в ходе военных действий.

Своим решением от 15 октября Политбюро ЦК РКП (б) предложило войскам Юго-Восточного фронта, на которые возлагалась задача нанесения главного удара, временно перейти к обороне и послать часть своих сил для усиления Южного фронта. Этим решением, продиктованным в решающий час, план главкома Каменева был фактически отменен, и тогда Владимир Ильич уверенно нанес на свою карту линию нового наступления — через Харьков и Донбасс.

Вошел дежурный телеграфист с бумажной лентой в руках, глаза его счастливо улыбались.

— Взят Воронеж, Владимир Ильич!

Ленин весь озарился внутренним светом, снял телефонную трубку:

— Соедините меня с «Правдой».— Повременил немного.— Мария Ильинична?.. Машенька, газета еще не сверстана? Нет? Дайте на первую полосу крупным шрифтом: «Красные герои освободили Воронеж! Вперед, товарищи красноармейцы! На бой за рабоче-крестьянскую власть, против помещиков, против царских генералов! Победа будет за нами!»

XXIII

Казалось, окончательная победа уже в руках Деникина. Об этом с ликованием писала вся мировая пресса. Но в Чарусе после принятия из рук лавочника Светличного хлеба-соли адъютант Гнилорыбов вручил Деникину донесение генерала Врангеля о том, что большевики готовятся к большому контрнаступлению. Это было столь невероятно, что главнокомандующий только улыбнулся.

«Красные организовали две подвижные группы,— писал Врангель,— одну из резерва главкома и частей 14-й армии, расположенной к северо-западу от Орла, нацелившуюся на Курско-Орловскую железную дорогу, и вторую группу к востоку от Воронежа, в которую целиком вошел конный корпус Буденного. Буденному поставлена задача — разбить нашу конницу под Воронежем и ударить в тыл нашей орловской группе, в направлении на Касторную».

«Пугает барон, пугает»,— думал Деникин. Но, вернув-

шись к себе в вагон, сверил донесение по карте. Выходило, что большевики собирались нанести главный удар по Добровольческой армии, выдвинувшейся к Орлу. Несколько минут генерал обдумывал создавшееся положение. Если все, что сообщал Врангель, верно, то стратегически этим ударом красные преследовали цель отсечения Донской армии от Добровольческой и разгрома последней; политически — достигалось разъединение добровольчества и казачества.

Деникин не любил барона Врангеля и знал, что барон давно плетет против него тонкую паутину интриг. Еще во время своего наступления на Царицын Врангель ежедневно слал в Ставку нервные, требовательные, временами оскорбительные телеграммы, доказывая в них превосходство своих стратегических и тактических прожектов. Порой казалось, что он пишет свои депеши не чернилами, а ядом и желчью.

Неприязнь к Врангелю побудила Деникина оставить без внимания и это его серьезное предупреждение.

Вечером Деникин со своим штабом отправился в Николаевский собор на молебен. Согласное пение певчих, набатный бас дьякона, запах талого воска и горклый дымок ладана — все это, привычное с детства и столь милое сердцу, отвлекло генерала от неприятных раздумий. Телеграмма Врангеля забылась сама собой.

За чуть сутулой спиной Деникина топтались прибывшие вместе с ним из Ставки штатские люди, члены Особого совещания: Астров, Бернацкий, Челищев, Змиев. Деникин знал: помыслы их сейчас заняты Москвой, Кремлем, министерскими портфелями.

«Смотрят на мои погоны и видят во мне богоданного спасителя России. Разные люди, а все, как один, болтуны. В Москве придется всех их вытолкать. Военная диктатура не терпит словоблудов»,— думал генерал, осеняя свой китель мелкими крестами. Он чувствовал, что изо всех углов переполненного собора сотни глаз смотрят на него, как на икону.

После молебна Кирилл Георгиевич Змиев втихомолку шепнул генералу на паперти собора:

— Ваше превосходительство, протопресвитер отец Георгий Шавельский показывал мне памфлет барона Врангеля, направленный против вас. Отец Георгий познакомил с этим наветом многих генералов. И даже больше того — показывает его офицерам.

Деникин повернулся лицом к Змиеву.

— Интрига уже давно плетется вокруг меня, но я не придаю ей значения. Я испытываю только чувство брезгливости, когда она доходит до моих ушей.— Генерал приложил пухлую ладонь к околышу фуражки.— В двадцать один час я жду вас и всех членов Особого совещания у себя в салон-вагоне. Настало время огласить положения, которых правительство должно придерживаться в своей деятельности.

Деникин взял под руку председателя Особого совещания генерала Лукомского, очень похожего на него самого, вместе с ним сошел со ступеней мимо конвоя с обнаженными шашками и сел в открытый серый автомобиль с желтыми спицами на колесах. Возле собора, теснимая конными казаками, гудела толпа чиновников и домовладельцев; охрана не пропустила их на молебен.

По дороге на вокзал главнокомандующий сообщил Лукомскому содержание телеграммы Врангеля.

— Цель этой телеграммы — выклянчить у вас резервы,— сказал Лукомский.

— У меня нет резервов... Все мои резервы брошены на Махно. Кстати, есть ли успех на этом участке? Скоро ли повесят этого разбойника?

— Ничего утешительного нет, Антон Иванович. За последнюю неделю Екатеринослав трижды переходил из рук в руки и в конце концов остался за батьком... В руках махновцев Мелитополь и Бердянск, они взорвали там артиллерийские склады. Вчера мужицкая кавалерия ворвалась в Мариуполь, а это ведь в ста километрах от нашей Ставки... Махновцы атакуют Синельниково и угрожают Волновахе. По приказу Ивана Павловича Романовского в районе Волновахи сосредоточены Терская и Чеченская дивизии и бригада донцов. Общее командование над этими частями поручено генералу Ревишину, он смел и энергичен. Тринадцатого октября генерал Ревишин перешел в наступление по всему фронту. Наши войска в течение месяца наносят один за другим сокрушительные удары по бандам и разбивают их. Но банды, распылившись, тут же пополняются и начинают действовать снова.

— Сколько у Махно сабель? — живо спросил Деникин.

— На этот вопрос вряд ли ответит сам Махно. По одним сведениям — десять тысяч, по другим — сорок. Много банд действуют самостоятельно и только организационно связаны со штабом Махно.

— Этот дьявол полнейшая для меня загадка,— признался главнокомандующий.— Совсем недавно под Уманью он попал в полное окружение: с севера и запада его зажали петлюровцы, с юга и востока — части генерала Слащова...

— Это верно. Казалось бы, положение его безвыходно. Но он атаковал, разбил два полка Слащова и снова вырвался на восток и, как всегда, к Днепру. Они летели на сменных подводах и на конях. Быстрота фантастическая: тринадцатого сентября — Умань, двадцать второго — Днепр, двадцать четвертого — Гуляй-Поле. За одиннадцать суток свыше шестисот верст! Невольно позавидуешь такой маневренности.

— Вы слишком восторженны, — нахмурился Деникин.— Пошлите телеграмму Слащову — пусть немедленно кончает с этим выродком. Когда Махно будет уничтожен, я переброшу корпус Слащова на усиление Добровольческой армии.— Несколько минут Деникин молчал, окидывая взглядом переполненную толпой главную улицу Чарусы.— Объективно махновщина — положительный фактор для нас на территории, занятой врагом, и ярко отрицательный, когда он действует на нашей территории.

— Это истина, которую хорошо усвоили большевики.

Вечером в ярко освещенном салон-вагоне собралось Особое совещание, на которое пригласили сторонника абсолютной монархии, руководителя «Братства Животворящего креста» священника Востокова.

Змиев сел на противоположном от Деникина конце стола. Он старался держаться в тени. Его репутация была замарана связями с гетманом и Петлюрой, и до поры до времени он старался не бросаться в глаза, не напоминать о себе.

В последнее время во всех партиях дискутировался вопрос о главе правительства. По неясным для Деникина причинам все упорно предлагали на этот пост гражданское лицо. Называли Челищева, Кривошеина, Соколова. По мнению Змиева, никто из названных лиц не годился. Появление Востокова обрадовало Змиева: если бы стали выдвигать кандидатуры, отец Востоков мог назвать его имя. Они давно знали друг друга и были связаны родственными отношениями: священник доводился троюродным братом жене Кирилла Георгиевича.

Можно было предполагать, что Деникин собрал совещание именно с целью избрать главу правительства; еще

каких-нибудь десять — двадцать дней, и белые войска войдут в Москву.

Деникин опустился в резное дубовое, похожее на трон, кресло и ясным голосом, отчеканивая каждую букву, проговорил:

— Приказываю Особому совещанию принять в основание своей деятельности следующие положения моих словесных и письменных заявлений и указаний. Первое.— Он поднял кверху палец.— Основа всех основ белого движения — единая, великая, неделимая Россия, защита православной веры и борьба с большевизмом до полного его уничтожения. Второе.— Он поднял второй палец.— Военная диктатура. Всякое влияние отдельных политических партий надлежит отметать. Всякое противодействие власти, откуда бы оно ни исходило,— карать. Смертная казнь — наиболее действенное наказание...

— Как вы мыслите власть? — перебивая главнокомандующего, бестактно спросил отец Востоков и поправил на малиновой рясе тяжелый серебряный крест.

— Вопрос о форме правления—дело будущего.—Деникин недовольно поморщился и зажал седой клинышек бородки в кулак.—Я полагаю—мы должны стремиться укрепить связи с казачеством путем создания южно-русской власти... Внешняя политика — национальная, русская... Невзирая на возникающие иногда колебания в русском вопросе у союзников, идти с ними до конца. Другая комбинация морально недопустима и реально неосуществима.

Все это давно было знакомо Змиеву. «Надеяться на милости Деникина не приходится. Антон Иванович сугубо военный человек, терпеть не может штатских и постарается протащить в свое правительство одних генералов,— подумал Змиев, и вдруг отважная мысль пришла ему в голову: — А если стать к нему в оппозицию? Врангель и все казачьи атаманы терпеть не могут Деникина. Переметнуться сейчас на сторону Врангеля, высказаться в его пользу, и, когда барон свалит старого упрямца, мое выступление не будет забыто... Впрочем, действовать нужно осмотрительно. Сейчас еще не время».

На папке, лежащей перед ним на столе, Змиев чертил тоненькую фигурку Нины Белоножко в кружевной пачке.

А генеральский бас рокотал:

— Органам снабжения пора наконец выйти на путь самостоятельности, использовав все еще богатые возможности страны. Нельзя рассчитывать только на помощь

извне. Надо заставить, черт возьми, население обувать, одевать и кормить мои войска.— Он выделил слово «мои».

Присутствующие молчали, изредка иронически переглядываясь. Все знали — Деникин не терпит возражений. Несогласные с генералом попросту изгонялись. Невдалеке гудел маневровый паровоз, стучали буфера, перекликались рожки стрелочников. В салоне едва уловимо пахло мазутом, мятым паром и яблоками.

Деникин в упор посмотрел на Змиева. Под тяжелым, холодным взглядом генерала Кирилл Георгиевич перевернул страницу с рисунком Нины и приготовился внимательно слушать.

— Несколько слов о внутренней политике. Прессе, сочувствующей нам,— помогать, не согласную — терпеть, разрушающую — уничтожать. Привлекать местное население к самообороне против повстанческих большевистских отрядов. Оздоровить фронт и войсковой тыл работой особо назначенных генералов с большими полномочиями, полевым судом и применением крайних репрессий... Сильно почистить контрразведку и уголовный сыск тоже. Сильнее подкрутить налоговый пресс, главным образом для лиц, не несущих воинской повинности... Товарообмен — исключительно за боевое снаряжение.— Деникин поднялся, ударил ладонью по столу.— На этом совещание закрываю.— Сдерживая себя, зевнул через ноздри, не раскрывая рта.

Вошел штабс-капитан Гнилорыбов, ждавший за дверью конца совещания. Звякнув шпорами, подал депешу. Главнокомандующий быстро пробежал ее, нахмурился.

— Одну минуту, господа... Должен сообщить вам неприятное известие... Вчера добровольческие части сдали Новосиль, Тульской губернии, крайний пункт нашего продвижения на Москву. Сегодня конница Буденного потеснила конные дивизии Мамонтова и взяла Воронеж.

— При такой свистопляске на фронте правительству оставаться в Чарусе небезопасно,— заметил Бернацкий и, сбросив пенсне на черном шнурке, принялся нервно раскачивать его на указательном пальце.

— Вас никто здесь не держит... Можете отправляться в Таганрог, к жене,— резко, голосом человека, привыкшего командовать, ответил Деникин.

— Это разумно. Но как мы туда доедем? Говорят, все узловые станции в каменноугольном бассейне захвачены повстанцами,— вмешался Астров.

— Это уже ваше личное дело. Не считаю возможным вам помочь.

Деникин подошел к карте, висевшей на стенке вагона, и сдернул с нее белое покрывало. Генерала окружили члены Особого совещания.

Несколько минут все молчали.

— Надо переходить к обороне,— посоветовал Лукомский, поглаживая Георгиевский крест на гимнастерке.

— Мы слишком слабы, чтобы надежно удерживать растянутый фронт. Свою задачу мы можем выполнить только наступлением, только лихими атаками и преследованием,— ответил Деникин.

«Вот подходящий момент упрекнуть главнокомандующего в просчетах. Это, бесспорно, станет известно барону Врангелю. Второй такой момент вряд ли скоро представится. Сейчас, сию минуту надо решать, на кого делать ставку — на Деникина или на барона Врангеля...» Змиев зажмурил глаза. Мелькнула детская мысль: развести руки и попробовать соединить два указательных пальца. Он удержал в себе это побуждение. И вдруг решился: «Я ставлю на барона!»

Змиев громко проговорил:

— Выслушав вашу непристойную нотацию, ваше превосходительство, и будучи неспособен оценить по достоинству основы вашей политики, я решительно подаю в отставку... Полагаю, что и мои коллеги не преминут сделать то же.

— Не понимаю причин вашего возбуждения... Во время войны законы молчат.

— Вы не понимаете, ваше превосходительство? В таком случае я разъясню.— Огромным усилием воли подавив волнение, Змиев продолжал: — Все бремя власти, военных и государственных решений вы взяли на себя одного, не доверяете нам, своему правительству, не считаетесь с мнением молодых, но уже опытных и талантливых генералов, отлично проявивших себя на фронте.

— Таких, как барон Петр Николаевич,— вставил отец Востоков и, поднявшись со стула, отряхнул рясу.

— Петр Николаевич, Петр Николаевич! Все помешались на Петре Николаевиче! Я прекращаю неуместные прения. Мне надоело это глухое чириканье. Отставки вашей не принимаю. Заседание считаю закрытым. Благоволите разойтись по вагонам.

Змиев закусил удила:

— Необходимо решительное и кардинальное изменение политики или хотя бы видимость перемен. Крестьяне требуют земли. Если мы пообещаем им землю, мы этим выбьем из-под ног большевиков почву. В дальнейшем, после окончательного разгрома красных, вопрос можно перерешить.

Деникин засмеялся:

— И это предлагаете вы, крупный землевладелец? Не вы ли неделю назад твердили мне, что третий сноп — уже недопустимая уступка домогательствам крестьян? Надо быть более постоянным в своих суждениях. Игра с землей — опасная игра. До свидания, господа! Генерала Лукомского попрошу остаться.

Конец октября и весь ноябрь Деникин провел вдали от Ставки, квартировавшей в Таганроге. Он жил в своем поезде, отведенном в дальний тупик на станции Чаруса. Стояла мягкая золотая осень, без дождей и туманов, ветер выстлал у вагона ковер опавшей листвы. Но главнокомандующий не замечал красот увядающей природы. События вели к катастрофе и требовали от него нечеловеческой работоспособности. Он не отходил от карт и прямого провода, требовал, чтобы весь штаб работал по восемнадцать часов в сутки. Здание, с таким трудом создаваемое им, пошатнулось. Но Деникин еще поддерживал его своей широкой спиной.

Как и предупреждал Врангель, армия Буденного, отбросив конницу Шкуро, взяла Касторную и ушла в рейд по тылам белой пехоты, повсюду сея панику и внося беспорядок. Под ударами Тринадцатой и Четырнадцатой советских армий Добровольческая армия, неся большие потери, особенно на своем правом фланге, цепляясь за каждый рубеж, медленно отступала на юг.

В середине ноября генерал Май-Маевский сдал Курск. Фронт Добровольческой армии откатывался на линию Сумы — Лебедин — Белгород — Новый Оскол, выйдя на одну параллель с Донским фронтом.

Конный корпус Шкуро, которого по болезни сменил Мамонтов, самоотверженно дрался в стыке между Добровольческой армией и Донской, но по своей малочисленности, разрозненным действиям и внутренним раздорам не был способен сдержать ударную группу Красной Армии.

Кубанцы все грехи валили на донцов, а те, в свою очередь,— на кубанцев.

Ежедневно на столе Деникина скоплялись генеральские жалобы. Не стесняясь в выражениях, генералы чернили друг друга.

Сообщения контрразведки упорно били по самому больному месту. Лидер украинских самостийников на Кубани Макаренко заявил на сходе в станице Ахтырской: «Хлеб дорог потому, что весь урожай тысяча девятьсот девятнадцатого года Деникин отдал Англии в уплату за оружие и снаряжение. Не давайте армии хлеба... Особое совещание — тот коршун, который только и дожидается времени, когда можно будет выклевать глаза кубанскому краю и отнять у него землю и волю».

Второй лидер — Воронинов возмущался, что кубанцев заставляют проливать родную кровь украинцев Петлюры.

Третий лидер — Омельченко подбивал кубанских казаков покинуть ряды Добровольческой армии.

Деникин знал, что кубанские власти тайно посылали делегации на Дон и на Терек искать поддержки в борьбе с ним, Деникиным. Кубанская группа федералистов-республиканцев даже выкинула лозунг: «Единая Кубань в Единой Федеративной Российской Республике».

Зная обо всем этом, зная, что Врангель разжигает самостийные страсти кубанцев, Деникин не мог не считаться с Кубанской радой. Кубанские казаки в Вооруженных силах Юга составляли двенадцать процентов и были наиболее стойкими войсками.

После долгих размышлений Деникин издал приказ об отстранении спившегося генерала Май-Маевского от должности командующего Добровольческой армией. На его место он назначил генерал-лейтенанта барона Врангеля, придав армии конную группу Мамонтова.

Пятнадцатого декабря после сдачи Харькова, как всегда, в двадцать три часа Деникин принялся за просмотр документов, накопившихся за день.

Он прочел ежедневную сводку контрразведки. В ней подробно сообщалось о действиях большевистских подпольных групп в городах каменноугольного бассейна, через которые предстояло отступать.

— «Почти во всех депо железнодорожники умышленно портят паровозы. На перегонах Славянск — Краматорск и Межевая— Гришино машинисты пустили под откос два воинских эшелона...» — вслух читал Деникин.

Сняв с крупного носа очки, он сунул их в футляр, приказал узлу связи соединить его с начальником контрразведки, отрывисто проговорил:

— Каждого десятого из задержанных железнодорожников вешайте на телеграфных столбах вдоль железнодорожного полотна. Надеюсь, вы меня поняли?

Возле донесения лежало пахнущее знакомыми духами письмо от жены из Константинополя. Он неторопливо разорвал конверт, быстро перечитал два листка, исписанных мелким, бережным почерком. Это тоже было донесение. Описав распорядок своей жизни, жена спрашивала, что ей делать. Они подробно обдумали свою предстоящую встречу в Москве, и вдруг совсем неожиданно турецкие газеты начали печатать ужасные известия из России.

«Можно ли верить всему этому нелепому вздору?» — спрашивала жена.

Деникин выдвинул ящик письменного стола, достал подарок жены — колоду карт с золотым ободком, вытащил на счастье карту. Оказалось — пиковая дама, ведьма. Он вытащил вторую — пиковый туз. Вытащил третью — трефовый валет, чем-то похожий на адъютанта Гнилорыбова, самого порядочного офицера его свиты.

И в эту минуту штабс-капитан Гнилорыбов вошел в салон-вагон, устало прислонился к косяку двери. Гнилорыбов был молод, он недавно сменил князя Лобанова-Ростовского, раненного в грудь. Главнокомандующий вопросительно посмотрел на адъютанта.

— Ваше превосходительство, я пришел проститься с вами... Решение принято. Я пущу себе пулю в висок... Белое дело безнадежно...— Привычным движением он собрал колоду карт, напомнившую пачку денег.

Прозвонил телефон. Главнокомандующий снял трубку.

— Как, Полтава сдана?

Деникин, красный и потный, побелел. Положив трубку и беспомощно разводя пухлыми руками, он сказал взволнованно:

— Илюша, я не знаю, что заставило вас прийти к столь необдуманному и, простите меня, малодушному решению. Ваша матушка поручила вас мне.

— Разрешите мне говорить с вами откровенно, ваше превосходительство,— проговорил Гнилорыбов, опираясь спиной о стенку вагона. Он был мертвенно бледен, и губы у него были синие.— В ваших планах возрождения великой России вы упустили из виду мужика. Изменение цар-

ских законов землепользования стало экономической необходимостью. Этих изменений требует народ, а вы, ваше превосходительство, земельную проблему решаете так, что у семисот помещиков земли снова будет втрое больше, чем у шестисот тысяч богатых крестьян. Я подчеркиваю — богатых... Я ведь слышал вашу речь на Особом совещании.

— Глупости, Илюша, все это вы вычитали у Ленина,— прервал адъютанта Деникин.

Гнилорыбов бросил на стол, застланный картой России, перчатки. При слабом освещении они вызывали на память худые кисти рук матушки адъютанта, далекой обедневшей родственницы Деникина.

— Антон Иванович, простите меня. Вы говорите — я вычитал это у Ленина. Нет, Ленина я не читал. Но я знаю: у красных есть земной бог — Маркс. А у нас — только царь небесный. Красная Армия имеет опору в населении. А мы на кого опираемся? На бестелесных ангелов и угодников божиих? — Гнилорыбов поднял руки к лицу и сухо, без слез, разрыдался.

Главнокомандующий взял со стола флакон одеколона «Ветка сирени» и смочил им свои седые, коротко подстриженные виски. Взгляд его упал на зеркало. В неверном свете золотой погон его казался зеленым, словно покрытым плесенью,— это было дурное предзнаменование, тлен гибели уже тронул его армию.

Гнилорыбов повторил сквозь рыдания:

— Единая, неделимая! Инородцы не идут с нами. И это все, что мы противопоставили большевистской «Декларации прав народов России». Туполобый консерватизм в земельном вопросе породил партизанщину в тылу, расшатавшую фронт. Полюбуйтесь-ка на последнюю сводку, Антон Иванович.— Адъютант вытащил из кармана гимнастерки листок бумаги, сложенный вчетверо.— Во всех крупных городах нашего тыла действуют подпольные большевистские организации. Они срывают нормальную работу транспорта и промышленности, объединяют многочисленные отряды партизан... Нужно было отказаться от царского знамени и этих вот ненавистных народу погон, национализировать землю, нужно было выдвинуть проект сельского хозяйства на американский манер... Союз рабочих и крестьян... Что мы противопоставили этой силе?

Деникин нервно прошелся из одного конца вагона в другой. Сдали нервы у этого мальчишки! Деникину стало

не по себе. Он избегал алкоголя из-за болезни почек, но сейчас позвонил официанту и велел принести бутылку розового массандровского муската. Подойдя к окну, он отдернул бархатную портьеру. Поезд Ставки, как щепку, попавшую в поток взбаламученной воды, неудержимо несло на юг, к морю. За окном проносились разрушенные постройки, мелькали военные ценности, оставляемые противнику: ящики со снарядами, пушки, грузовики. На перронах, обметанных снегом, валялись неубранные трупы сыпнотифозных. Сотни недавно преданных ему людей глазами, полными ненависти, провожали его блистательный поезд.

Деникин выпил бокал вина, вызвал дежурного офицера.

— Гнилорыбова под арест! Предать полевому суду! Такие мерзавцы не заслуживают милосердия.

— Благодарю вас, ваше превосходительство,— сказал Гнилорыбов, отстегнул саблю и положил ее на стол.— Я четыре года сидел в сырых окопах. Для честного человека это хорошая школа. Людям осточертела война.

Во время стоянки на Лозовой какой-то мальчишка запустил в поезд камень, разбил окно и убежал. Пробоину в стекле заткнули смушковой генеральской папахой.

Деникин рассвирепел, вызвал конвойных, приказал: мальчишку поймать и повесить. Приказ выполнили, но генерал не был уверен, что повесили именно того мальчишку, который разбил окно.

В салон-вагон вошел фатоватый комендант станции, отрапортовал:

— На узле собралось четырнадцать составов с арестованными, вывезенными из тюрем оставленных нами городов. Эти составы мешают продвижению войск... Что прикажете делать с ними?

— Что делать, что делать! Самостоятельно ничего не можете решить. Составы загнать в тупики, арестованных расстрелять из пулеметов.

— В вагонах есть женщины и дети...

— Расстрелять женщин и детей!

— Среди них беременные женщины...

— Вы еще долго будете меня мучить?

Вечером Деникин поинтересовался судьбой Гнилорыбова. Полевой суд приговорил его к расстрелу.

Генерал постучал пальцами по столу, сказал:

— Пошлите матери Гнилорыбова извещение, что сын ее пал смертью героя на поле брани.

Деникин вернулся в Таганрог, в свою Ставку. Здесь все смешалось: Особое совещание, военные миссии иностранных держав, дивизии и полки. В армии царил хаос, все линии управления спутались. Невозможно стало руководить событиями. Поражения на фронте следовали одно за другим. Красные войска словно преобразились: войной люди были сыты по горло, они рвались разом покончить с белыми, мешавшими им вернуться домой, к женам и земле, которую советская власть отдавала крестьянам. Соглашательские партии — меньшевики и эсеры потеряли всякий авторитет в глазах народа. Это было полное их банкротство. Самый энергичный человек среди генералитета белой армии — барон Врангель без разрешения Деникина покинул войска.

Разбитая белая армия, в тело которой красные вогнали клинья своих частей, беспорядочно отступала в разных направлениях. Казачьи армии и Добровольческий корпус генерала Кутепова с линии Орел — Воронеж — Царицын отходили на Донбасс. Часть войск под командованием генерала Слащова держалась крымского направления. Группы генералов Драгомирова и Шиллинга отходили в сторону Киева и Одессы. Все эти генералы завидовали первенствующей роли Деникина и ненавидели его, считая виновником своих поражений и бед. Он знал, что правительства Антанты тоже разочарованы в нем и ищут подходящую кандидатуру на его пост. Ходили упорные слухи, что они уже ведут соответствующие переговоры с Петром Николаевичем Врангелем. Пора было уходить со сцены самому.

Тюхи да Матюхи выдвинули из своей среды новые имена, приводящие в трепет боевых генералов: Буденного, Ворошилова, Пархоменко, Сиверса, Киквидзе. Что это за люди, в чем их сила? Ни один из этих новоявленных полководцев не окончил даже кадетского корпуса. Главнокомандующий растерялся. Он не только был враждебен народу, но не знал и своих собственных солдат, которые не хотели воевать за чуждые для них интересы. Деникин испытывал жгучий, смертельный стыд. Было стыдно смотреть в глаза штабистам, волокущим за собой чемоданы с награбленным барахлом.

И как-то сразу, вдруг, как это всегда бывает после неудач, у Деникина опустились руки. Явилась мысль о бесплодности дальнейшей борьбы. Деникин гнал от себя эту мысль. Не он один отступал перед большевиками. Отсту-

пили Корнилов, Юденич, Миллер, Колчак, Петлюра, гетман, Махно, немцы.

Неужто прав расстрелянный Гнилорыбов, и военный успех красных — это результат их политики, отвечающей чаяниям народа? Деникин любил называть себя солдатом, человеком дела, а не политики. Трагические события сейчас говорили ему, что военное дело подчинено политике.

Тем не менее он продолжал отчаянную, упорную, но бесполезную борьбу.

«Что красные будут делать дальше, это мне точно известно, но что буду делать я сам — ей-богу, не знаю». Деникин прикусил губу. Капля крови упала на грозный, но уже бессильный приказ, который он писал,— держаться до последнего солдата.

Деникин вспомнил пугающие его слова: «диктатура пролетариата», трагическую гибель Колчака, сброшенного под лед Ангары. Что ждет его в России, если победят большевики?

И здесь впервые отчетливо и ясно оформилась мысль: сдать армию барону Врангелю и ехать за границу, на покой, заняться писанием мемуаров. Он представил себе свои еще не написанные книги и тут же придумал для них хлесткое название: «Очерки русской смуты».

XXIV

Красная Армия с боями перешла границу Украины и, сокрушая на своем пути деникинские части, стремительно продвигалась на юг. Украинский народ хлебом-солью встречал своих освободителей.

Махно вовремя почувствовал неудержимую тягу крестьян к советской власти и тут же начал хитроумные переговоры с Главным командованием Красной Армии, предложив создать из разношерстных махновских частей две дивизии, влить их в Красную Армию и таким образом принять участие в окончательном разгроме деникинских войск.

И хотя красные мало доверяли ему, они охотно пошли на переговоры. Но уже на первом совещании, когда Каретник заявил о том, что Деникин предлагал Махно звание генерал-лейтенанта, командир красной дивизии Лифшиц насмешливо и даже оскорбительно заметил:

— Собака остается собакой, все равно — белая она или черная.

Переговоры еще продолжались, когда Махно захватил эшелон с оружием и обмундированием, направляющийся из Москвы на фронт. Дерзким налетом занял он освобожденный красными город Чарусу и перестрелял там весь советский актив. Это вероломство переполнило чашу терпения, и Реввоенсовет Южного фронта выделил для борьбы с махновцами дивизию под командованием Арона Лифшица. Эта дивизия наполовину состояла из рабочих Москвы, Тулы и Брянска. Одним из полков дивизии командовал Иванов.

В ночь перед наступлением на Чарусу Лифшиц, взволнованный предстоящей операцией, позвал Иванова к себе на квартиру поужинать.

Они сидели в украинской хате на длинном деревянном залавке, под божницей, и неторопливо ели огромные, величиной с ладонь, вареники с картошкой, облитые поджаренным с луком подсолнечным маслом. Перед ними стояли граненые чайные стаканы с желтым самогоном. Яркий свет самодельной карбидовой лампы освещал опрятное убранство крестьянской горницы, иконы, рушники, вырезанный из газеты портрет Ленина, вставленный в осыпанную ракушками рамку,— старший сын хозяина служил у красных. Свет лампы падал на тщательно выбритое, усталое лицо Лифшица. Иванов глядел на это лицо и сокрушался, как сильно изменился его товарищ за последний год: черные курчавые волосы густо присыпала изморозь седины, никогда не стихающая душевная боль перекосила рот, веки припухли, глаза слезились и, казалось, видели то, что недоступно другим.

— Что с тобой делается, Арон? Таешь с каждым днем, как свеча, зажженная с двух концов. Сам на себя не похож.

— Душа болит... Дебора моя осталась в Чарусе, и дочка Роза тоже с нею. Помнишь ты их?

— Как не помнить! До революции я у тебя частым был гостем. Очень даже хорошо помню. И батька твоего помню...

— Отец помер от тифа. Много людей покосил тиф, больше, чем пули. Жива ли жена, уцелела ли дочка? Кто мне на это ответит? При белых прятал их на утилизационном заводе сторож Шульга, сердечный старик, вечное

ему спасибо. Когда наши освободили Чарусу, семья моя вышла из подполья, я письмо от Деборы получил. Ношу его вместе с партбилетом.— Лифшиц похлопал по нагрудному карману френча.— Может быть, это последняя весточка от нее. В городе теперь хозяйничают махновцы, а от них всего можно ждать...

Иванов сказал:

— Говорят, жена у Махно еврейка.

— Врут... Впрочем, с антисемитами это случается. Ну что ж, давай свершим опрокидонт за победный штурм Чарусы. Возьмем город, тогда все узнаем.

Командиры чокнулись и выпили по полстакана вонючего самогона. Поморщились.

— Всю жизнь ховаю семью от смерти. Когда тебя перед революцией законопатили в тюрьму, знаешь, кто спас меня и мою семью от погромщиков?

Механик пожал плечами.

— Твой Лукашка... Прятал на утилизационном заводе, на сеновале. Каждый день приносил нам еду и воду и даже газету умудрялся где-то доставать.

— Вот как! А я ничего не знал об этом. Он мне не говорил. Ну, что ж, давай допьем, и я поеду к себе в полк. До рассвета недалеко, многое надо проверить, с людьми поговорить.

— Посиди еще немного... Тошно мне наедине со своими мыслями,— сознался Лифшиц.— Начштаба живет со мной в одной избе и только бередит душу: подсмеивается и дразнит однолюбом.

Несколько минут командиры помолчали, прислушиваясь к привычному уличному шуму — сытому ржанию коней, слитному гулу людских голосов, скрипу деревянных двуколок, визгу натачиваемых штыков и сабель.

Село было занято бойцами. В каждой хате квартировало душ по двадцать красноармейцев.

— Хороший народ собрался у нас в дивизии. Завтра бой — опять многих недосчитаемся.

— Великое это искусство — беречь людей на войне,— задумчиво промолвил Лифшиц.— А у нас часто получается так: скормил ездовой лишний мешок овса лошадям — его волокут в трибунал, а угробил зря какой-нибудь нерадивый командир взвод бойцов — никто даже словом его не попрекнет. Есть такие хлюсты, что даже бравируют этим: у меня, мол, от роты только дюжина бойцов осталась, вот какой я храбрый!

— Ты к чему завел эту песню? — насторожился Иванов: накануне у него пропали без вести три разведчика, ходившие в Чарусу за «языком».

— Говорю к тому, что нам поставили задачу — взять завтра Чарусу. Срок малый, и, чтобы выдержать его, надо штурмовать город. А штурм — тяжелый вид боя. При штурме всегда самые большие потери. Вот я и думаю: нельзя ли одновременно с нашим ударом долбануть еще и из города? Чаруса — рабочий город, население там за нас.

— Большинство паровозников ушло в Красную Армию,— напомнил механик.

— Ушли, да не все. Кое-кто остался: старики, женщины, подростки, родители и дети тех, кто ушел.— Лифшиц поднялся из-за стола, поправил на солдатской гимнастерке скрипучий ремень, оттянутый наганом. Переходя на деловой тон, добавил: — Возьми из своего полка человек двадцать коммунистов, войди с ними тайком в город и постарайся за ночь организовать население. Полагаю — там в подполье работает партийный комитет, найди его. С махновцами надо действовать по-махновски: бить их мелкими отрядами. Утром мы двумя полками начнем атаку, а вы поддержите нас, не дайте ускользнуть махновскому штабу. Возьмите с собой несколько ручных пулеметов да гранат побольше.

— А мой полк?

— Полк твой я отвожу в резерв и в случае неустойки сам буду им командовать.

Иванов надвинул на голову фуражку, взял под козырек. В сенцах столкнулся с начальником штаба и адъютантом командира дивизии. Они пропустили вперед какого-то огромного бородатого дядьку.

Иванов слышал, как адъютант обрадованно доложил Лифшицу:

— Перебежчика привели. Божится, что добрая половина махновцев не желает драться с красными... Интересуется, правда ли, что Ленин обещал махновцам амнистию.

Иванов, обогнав полк, вышедший на Чарусу, верхом доскакал до хутора Федорцы, в котором расположился штаб его полка и один из батальонов. Там он передал начальнику штаба приказ командира дивизии, сдал ему полк и, вызвав политруков рот, по их совету отобрал тридцать человек, членов партии.

Отобранные коммунисты при оружии собрались в школе. Иванов объяснил им задачу, как бы невзначай заметил:

— Махновцы мастера наступать и вовсе не гожи в обороне. Мы заставим их обороняться. Теперь, когда на Украину пришла Красная Армия, песенка Махно спета, народ не верит ему.

Коммунисты быстро собрались, оседлали коней.

Немногочисленный конный отряд за полтора часа добрался до мертвого утилизационного завода. На настойчивый стук в ворота вышел Шульга, заросший, словно леший, седым волосом. Старик обрадовался, как ребенок, и очарованно глядел на Иванова.

— Вовремя ты заявился, Сашко. Паровозники надумали тут учинить бучу.

— А ты, дед, откуда это знаешь? — спросили из темноты.

— В воздухе носится, дитятко. Чуешь, мается город, не может больше терпеть издевки, люди живут, как на Везувии.

Шульга посмотрел в сторону города. По всему окоему, облизывая небо, метались красные отблески пожаров. Шульга прислушался к глухому лаю собак, одиночным выстрелам, насторожившемуся гулу.

— Все равно как перед ледоходом.

— Не знаешь, где семья Лифшица?

— Эва, вспомнил покойников!.. Все до одного, царство им небесное, смерть приняли от башибузуков.— Старик снял шапку, широко перекрестился.

— Так, так... убьет это известие Арона.— Механик крепко сжал губы. Потом спросил: — Как же нам связаться с рабочими?

— По Змиевскому шоссе не проехать; возле бойни выставлены махновская заградиловка, два орудия и пулеметы. Подавайтесь кружным путем на Паровозный. Рабочие там и живут, на заводе, ждут, когда придут большевики. Ходят чутки, что они где-то поблизу. Вот уже пятый день батько переговоры с рабочими ведет, хочет перетянуть их на свою сторону, да они не согласны.

— Ну, а ты, старик, как живешь?

— Один, как на острову.

— Совсем, совсем отцвел... Галька где?

— Ушла в деревню моя перезрелка... А я вот жду, когда возвернутся большевики, пустят наш заводишко.

Иванов стороной, левадами, обойдя Балашовский вокзал, пробрался на завод со стороны Кирилло-Мефодиевского кладбища.

В сборочном цехе коптили керосиновые фонари, взад-вперед прохаживались возбужденные вооруженные рабочие, у ворот стояли две трехдюймовки, тут же на соломенном мате лежали четыре надраенных наждаком снаряда, дежурили артиллеристы.

Паровозники сразу узнали Иванова.

Слышно было, как по улице промчался на тачанках махновский патруль, обстрелял из пулемета какой-то проулок.

— Что вы здесь затеваете? — спросил механик.

— Вовремя вы прибыли... завтра в полночь начинаем восстание. Вместе с нами выступают железнодорожники и трамвайщики,— отрапортовал Иванову секретарь партийного комитета, знакомый ему по городскому двору, кузнец дядя Миша.— Больше нет мочи терпеть. На деревьях в университетском саду третьи сутки висят повешенные.— И, кривя губы, обметанные огневицей, крикнул: — Там и сестренка моя болтается вниз головой!.. Сам видел!

— Как у вас с оружием?

— Мало. Все больше охотничьи берданки.

— Мы вам подсобим пулеметами... Ты, что ли, командуешь этим народом?

— Командует военно-революционный комитет. Я член комитета и командир дружины... Столько вопросов, голова кругом идет. Видно, две жизни надо человеку: одну — чтобы опыт нажить, вторую — чтобы действовать без промашки.

— Так вот что, товарищ Миша. Восстание начнем не завтра, а сегодня, сейчас!

— Вот это номер!.. Да ведь мы еще не готовы. Как бы не оплошать!

— Ты меня знаешь? — спросил Иванов.

— Как не знать. Весь город вас знает.

— Посылай своих людей во все дружины, скажи: приказ выступать немедленно получен из штаба Красной Армии.

Кузнец не стал спорить, вызвал связных из всех районов города, дежуривших на заводе, и передал им устно приказ Иванова.

Дядя Миша рассказал: город заняла целая орда махновцев, город не укреплен, на окраинах даже окопы не

вырыты. Каждый день грабеж, погромы, пьяные оргии. Махно захватил типографию, на газетной бумаге отпечатал новые деньги с комической надписью: «Ой, гоп, кума, не журися, в Махна гроши завелися». «Лимоны» эти ни к чему, в городе нет никакой торговли.

— Надо перво-наперво атаковать тюрьму и освободить заключенных,— распорядился Иванов.— За счет арестованных можно укрепить свои ряды.

— Острог отсюда далеко, на Холодной горе... Да эту задачу взяла на себя дружина паровозного депо. Я думаю, они не допустят, чтобы людей постреляли. Железнодорожники должны также взять вокзал, они там каждый тупик знают.

— А у тебя какая задача?

— Ворваться в центр, захватить телефонную станцию, телеграф, типографию. Мы уже и листовку заготовили — обещаем всем, кто сложит оружие, полную амнистию.

— Покажи листовку.

Дядя Миша достал из кармана стеганки листок бумаги, исписанный крупными, размашистыми буквами. Механик быстро прочел листовку.

— Ладно сочинили... Махно где квартирует?

— В гостинице «Карфаген».

— Вот мы по этой гостинице и стукнем,— заявил Иванов.

Он потребовал оперативную карту, на которой была набросана схема действий рабочих отрядов. План сводился к захвату центра города и был рассчитан на то, что после первых ударов махновцы сами оставят Чарусу.

Иванов написал записку с просьбой спешно вести войска на город. С этой запиской он послал трех всадников к Лифшицу.

— Доставить немедленно... Аллюр три креста!

Всадники выбрались на кладбище и тотчас же ускакали.

Построили отряд рабочих и вывели его за ворота. Пушки катили на руках. Улица тонула в кромешной темноте, она разливалась повсюду, только над центром города кровоточило небо, освещенное пожаром.

Выслав боевое охранение вперед на два квартала, дядя Миша повел вооруженных рабочих. Иванов со своими людьми шагал с ним рядом по мостовой, уже успевшей покрыться скользкой ожеледью,— начиналось первозимье. По дороге наткнулись на убитого махновца; он лежал с

раскроенным черепом, лисья шуба на нем была расстегнута, и он, словно ребенка, прижимал к груди самовар.

— Отграбился парень! — сказал командир дружины, осторожно шагавший впереди.

— Ну, а сынок-то твой где?—спросил кузнец Иванова.

— Не знаю!

— А дружки его нам помогают... Помнишь сына ветеринара Ванечку, Кузинчу? Их там добрая дюжина была. Сейчас приспособил я их к пропаганде, листовки по городу расклеивают. Типографии у нас нет, так они их от руки пишут.

Никем не остановленный, отряд дошел до реки, отделяющей центр города от рабочей окраины. На том берегу в окнах домов густо светились огни, слышались людские голоса, конское порсканье.

Из ворот паровой мельницы вышло душ двадцать вооруженных жителей. Пошушукавшись, они присоединились к отряду. Среди них механик узнал доктора Цыганкова.

Посоветовавшись с Ивановым, дядя Миша решил перевести отряд через реку по Горбатому мосту. На мосту стояла охрана, ее предательски выдавали огненные точки цигарок, мелькавшие у перил.

Охрану решили снять хитростью. Послали вперед четырех женщин помоложе. Они должны были затеять с махновцами веселый разговор и, если удастся, сбросить в реку пулемет, тело которого угадывалось на каменном парапете моста.

Женщин на мост не пустили. Какой-то махновец грубым окриком остановил их на полпути, выстрелил из винтовки и поднял тревогу. Скороговоркой затарахтел «гочкис», вдоль набережной заискрили пули, убили двух бойцов отряда. Люди кинулись врассыпную, залегли где попало, открыли беспорядочный огонь.

Задерживаться на этой стороне было нельзя.

— За мной! — крикнул механик и, согнувшись в три погибели, потеряв на ходу фуражку и зажимая в руке пулемет «гочкис», побежал на мост.

Несколько рабочих обогнали его, замелькал острый свет выстрелов, и все смешалось в неразберихе ближнего боя, где не поймешь, кто свой, кто чужой.

Иванов не помнил, как очутился на другом берегу реки, обсаженном голыми осокорями. Пулеметы били вдоль набережной, к ногам падали срезанные пулями горьковато пахнущие ветви деревьев.

Бахнула махновская трехдюймовка. Снаряд, прошумев над головами, упал в реку. Молодой, неокрепший ледок разлетелся во все стороны, словно разбитое зеркало. По улице, дико ругаясь, проскакала орава всадников с подушками вместо седел, и механик пустил им вслед длинную очередь из ручного пулемета, сразу согревшего озябшие руки.

— Ложись, дурень! — крикнул на него бородатый рабочий и потянул к холодной, обжигающей, как железо, земле.

Иванов распластался рядом с бородачом, раскинувшим в стороны длинные ноги, обутые в опорки. Но сразу же встал на колени.

— Лежа победы не добьешься. Надо продвигаться вперед, только вперед, ориентир — кафедральный собор... Каюков! — заорал он.

Красноармеец его полка Каюков оказался шагах в десяти от него. Обернулся, обиженно прошептал:

— Чево?

— Продвигайся вперед со своим взводом, захвати перекресток, оставь там отделение и давай дальше, до следующего перекрестка.— Иванову было жарко.

— Понятно! Мне не впервинку.

Каюков поднялся на мгновение, ружейная вспышка осветила его осатанелое лицо. Потом, согнувшись, он словно на четвереньках побежал вперед. Сбоку, из окна третьего этажа, хлопнул выстрел, и в наступившей тишине слышно было, как со звоном ударилась о мостовую винтовочная гильза.

— Ранен я... в плечо,— простонал рядом хриплый голос.

— Ранен, так отдай мне свое ружье, а то наступаю с орясиной — холодное оружие, только собак гонять.

Голос показался Иванову знакомым. Он побежал вслед за парнем и при вспышке разорвавшейся гранаты узнал в нем Кузинчу.

В дом, из которого стреляли, вбежала группа рабочих, дверь была не заперта, в подъезде, приткнутая к перилам, догорала наплывшая грибом свеча.

В тесной толпе дружинников Иванов продолжал бежать вперед, ловя слухом звон разбитого стекла, крики, грузный удар о мостовую. Это покончили с махновцем, стрелявшим из окна.

На другом конце города застучали частые пулеметные

очереди. То ли там началось восстание, то ли красноармейцы пошли в наступление. Связи никакой не было.

Стремительно светало.

На улицу из Скатертного переулка вырвалась сумасшедшая тачанка, запряженная четверкой лохматых коней, за ней вторая, третья, четвертая. Обгоняя друг друга, давя зазевавшихся дружинников, они помчались вдоль набережной. Иванов едва успел отскочить к стене, в азарте боя заорал:

— Огонь! Плутонгами! — Приложился к пулемету, пустил вслед тачанкам длинную очередь.

Сзади оглушительно хлопнул выстрел из броневика, ожег пламенем ухо Иванова. Словно капли сильного дождя, дробно забились звуки стрельбы.

— Ушли, дьяволы... как молния,— пожалел Кузинча.

Из задней тачанки, ударившейся колесом о дерево, выпал человек. Дико ругаясь, он, как собака, пополз в ворота, тщетно стараясь выхватить из кармана не то гранату, не то бутылку. Его схватили за шиворот, приволокли к механику.

— Куда вы так разогнались?

— Красные!.. Уже на Холодной горе. Батько приказал вырываться из города, сгинуть по хуторам,— сразу отрезвев, выпалил оробелый, похожий на орангутанга подраненный махновец.

С боем дружинники продвигались вперед, освобождая от махновцев квартал за кварталом.

Сзади послышался слитный конский цокот. Кавалерийский эскадрон, приданный дивизии Лифшица, с обнаженными шашками на рысях шел к центру города, где мела огненная завируха боя.

Иванов, не хоронясь, пошел следом за всадниками, добрался до гостиницы «Карфаген», у которой густо валялись трупы порубленных махновцев. В загаженном мраморном вестибюле испуганно толпились пленные, одетые в господские шубы и деревенские овчинные полушубки.

— Где Махно?

— Еще с вечера со штабом и отпетой конвойной сотней Гаврюши Трояна драпанул из города,— ответил ему щуплый махновец.— Полк имени Бакунина не схотел биться с красными, намогался заарестовать батька, да он хитрый, чертяка, не дался, утек, сразу почуял перебор в игре... Эти отступники на Клочковской улице пересекли нашего брата страсть сколько.

Со всех концов города являлись в гостиницу, превращенную в штаб, возбужденные победой красноармейцы, лихо докладывали:

— Бандиты сдаются оптом, кидают обрезы. Осточертело им зазря проливать свою и чужую кровь.

Город еще не был очищен от бандитов, а по улицам уже повалил народ с красными флагами. Оживленно разговаривая, прошли ветеринар Аксенов и ювелир Говор. На фоне бедно одетой толпы возник Обмылок — лавочник Светличный — в чинарке из синего сукна, под руку с принарядившейся вальяжной Вандой. Механик громко окликнул его. Лавочник не удивился, деловито пророкотал:

— Вот радуюсь с женой возвертанью Красной Армии. Я человек среднего достатка, а советская власть взяла курс на союз с середняком. Так что и мы с Вандой тоже советскую власть признали! Да и сынок мой единокровный — ты его знаешь: Кузинча — вместе с вами принимал участие в сражении, колошматил махновцев. Не мешало бы ему подкинуть Егория, или как там у вас теперь называется — орден, что ли... Ну, а твой Лукашка где?

— В армии, только в другой части.

— Подумать только, молокососы — уже вояки! — радостно удивилась Ванда.

— Миколу Федорца помнишь? — спросил Обмылок.

— Как не помнить, поэт.

— Тоже мальчишка, а ведь помощником коменданта Чарусы был у Махно. Все книги реквизировал.

— Вот как! А я и не знал.

Из разбитого окна «Карфагена» Иванов видел, как на военном грузовике повезли в пекарню муку, как на телеграфный столб полез телефонист с железными крючьями на ногах, любовно тронул провода, будто струны.

Пришли сумрачные работницы табачной фабрики с плерезами на платьях. Напротив, в сквере, принялись копать лопатами братскую могилу. Яма еще не была выкопана, а возле нее уже сложили окрашенные суриком, словно кровью облитые, гробы. Люди в трамвайных спецовках положили рядом с гробами красный плакат, на нем жидким мелом было выведено: «Мученикам авангарда мировой социалистической революции».

Часов в десять утра прискакал Лифшиц, спрыгнул с мокрого от пота ордынца, обнял Иванова за плечи и, смущенно отводя в сторону черные семитские глаза, пробасил:

— Вот и вызволили мы свою Чарусу, вернули наро-

возникам советскую власть. Меня на улице остановил инженер Калганов, говорит, что рабочие могут пустить два цеха, начать ремонт паровозов... Едем в типографию, надо наладить выпуск газеты. Главное сейчас — объяснить народу, что карта Махно бита. Ну, а вечером похороним жертвы бандитского произвола...— Почерневшее лицо Лифшица дрогнуло, выдавая страшное ранение души, ранение, которого не увидишь глазами.— И Дебору мою предадим земле. Снял я ее с дерева в городском саду.

Механик не стал успокаивать товарища. Зная, что Лифшиц может забыться только в работе, сказал ему:

— Поехали в типографию!

XXV

В день занятия красными Батайска Деникин, так много переживший за последние месяцы и чувствующий себя одиноким, как никогда, пригласил Змиева. Он знал, что Кирилл Георгиевич теперь уже явный сторонник Врангеля, знал, что он вошел в состав Особого совещания по рекомендации Кубанской рады, а на Кубань приехал с тайным поручением от Петлюры — вести переговоры, направленные против главного командования.

При первом же появлении Змиева в Ставке Деникин приказал контрразведке собрать самые подробные сведения о нем. Из полученных донесений было ясно, что Змиев — человек русский, никакой не самостийник, а к Петлюре попал волей случая, закинувшего его в Киев. Будучи членом Особого совещания, он не оказал Петлюре ни одной услуги. «Политикан, который при первом удобном случае продаст меня так же, как продал Керенского, гетмана, Петлюру»,— беззлобно и устало думал о нем Деникин.

Змиев вошел к главнокомандующему, как всегда, тщательно выбритый, пахнущий тонкими духами; в светлом галстуке сияла булавка с изображением Адамовой головы, на безымянном пальце белел серебряный перстень в виде черепа. И булавка и перстень понравились Деникину. Череп и скрещенные кости носили на черных шевронах офицеры и солдаты корниловских, марковских и дроздовских полков — лучших частей Добровольческой армии.

— Я пригласил вас, Кирилл Георгиевич, с тем, чтобы мы наедине по-дружески обсудили создавшееся положение,— сказал Деникин, слегка розовея щеками. Он плохо

надеялся на то, что многоопытный Змиев поверит в его искренность.— Со мной вчера беседовал английский генерал Хольман и дал понять, что недоволен мной. Члены Особого совещания тоже не расположены ко мне. Втихомолку все говорят, что я единственный виновник поражения. Может быть, пришел момент, когда я должен найти популярного в войсках, энергичного преемника и сдать ему верховную власть. Не могли бы вы назвать мне достойную кандидатуру?

— Признаться, я не вполне понимаю, чем обязан вам этим доверием.— Змиев нервно затрещал пальцами, оглядывая Деникина любопытным взглядом.— Впрочем, полагаю, что, если бы вы действительно стали искать кандидатуру, вы остановились бы на бароне Врангеле. Генерал молод, энергичен и пользуется популярностью в войсках, особенно среди казачества... которое... которое... как вам известно, недовольно вами.

— Я знал, что вы назовете этого человека,— раздумчиво ответил главнокомандующий.— В моем окружении, кажется, нет человека, который не думал бы о бароне Врангеле. Все будто сговорились называть только его.

— Больше некого назвать, Антон Иванович. Не Май же Маевский! — Змиев пожал плечами, достал из золотого с монограммой портсигара папиросу и, постучав ею по ногтю большого пальца, закурил.

Пухлой рукой главнокомандующий отогнал голубоватый дымок. Он не курил и не выносил табачного дыма. Несколько минут собеседники помолчали, поглядывая на затянутое морозом окно.

— Я сделал последнюю попытку заставить боевое счастье снова повернуться ко мне лицом. Самые преданные боевые офицеры и солдаты были сведены в конную группу генерала Павлова. Эта группа, в двенадцать тысяч сабель, должна была следовать вверх по Манычу и совместно с первым корпусом ударить во фланг и тыл Буденному. Но заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет... Павлов почему-то повел людей по левому, безлюдному берегу Маныча. Там ни привала сделать, ни обогреться. И это в лютые морозы и метели! Сегодня я получил донесение. Павлов потерял половину людей замерзшими, обмороженными и больными. Он атаковал Торговую и, конечно, безо всякого успеха. Казаки взбунтовались, выгнали Павлова и на его место выбрали донца, генерала Секретева... Под влиянием донских начальников генерал Си-

дорин предложил мне глупейший план: оставить Кубань, бросить тылы, пути сообщения, базу и двинуться на север. Вы понимаете что-нибудь? Это же чистейшая авантюра, отказ от планомерной, организованной борьбы и переход к партизанщине. Что это даст, кроме неотвратимой и скорой гибели? Разумеется, я совершенно категорически отклонил этот план. Я уже не сомневался: казаки горят желанием пробиться на Дон, распылиться по родным хуторам и предоставить добровольцев их собственной участи... Я мог бы опереться на естественные водные рубежи: сначала — на Дон, теперь — на Кубань. При создавшемся положении они уже не смогут задержать противника... Позади нас Кавказский хребет и враждебно настроенное Закавказье... Куда прикажете отступать? — Генерал развел руками.

— В Крым! — решительно ответил Змиев.

— Да, да, вы правы. Крым — последний клочок русской земли. Но казаки вряд ли пойдут туда от своих куреней. Сейчас непогода наш самый верный союзник. Грязь на кубанских дорогах надежно сдерживает большевиков. Сегодня я отдам приказ Ставку перевести в Новороссийск, а войскам в случае оставления Кубани отходить за реку Белую.

...Деникина душили припадки бессильной ярости, сменяясь минутами и часами фатальной нерешительности. Он чувствовал, что потерял управление армией, отступающие полки которой перемешались с толпами беженцев, бредущих по дорогам куда глаза глядят.

В метельную ночь на второе марта правый фланг Донской армии, потерпев жестокое поражение под станицей Кореновской, в беспорядке, по непролазной грязи отошел к Пластуновской, находившейся в тридцати верстах от Екатеринодара. Добровольческий корпус продолжал сдерживать атакующие красные части в районе Тимашевской, в девяноста верстах от переправы через разлившуюся Кубань, имея в своем тылу конницу Буденного, пополненную казаками, перешедшими на сторону большевиков.

Неустойчивость фронта и разгром на тихорецком направлении припудили генерала Кутепова благоразумно отвести свой корпус на один переход южнее. Взбешенный генерал Сидорин, отменив это распоряжение, приказал Добровольческому корпусу перейти в контрнаступление и восстановить положение у Тимашевской. Этот ничем не оправданный приказ угрожал добровольцам окружением

и гибелью. Кутепов отказался его выполнить. Конфликт принял острые формы. Деникин, узнав о нем из кляузных донесений обоих генералов, телеграфным распоряжением изъял корпус Кутепова из оперативного подчинения Донской армии и подчинил его себе.

Спустя десять минут после того как телеграмма была подписана, Змиев принес главнокомандующему резолюцию Верховного круга Дона, Кубани и Терека, подчеркнув в ней красным карандашом фразы: «Считать соглашение с генералом Деникиным в деле организации Южнорусской власти не состоявшимся... Изъять немедленно войска Дона, Кубани и Терека из подчинения генералу Деникину в оперативном отношении».

— Этого надо было ожидать.— Обрюзгший Деникин на листке блокнота написал лаконичный приказ: «Всем войскам отойти за Кубань и Лабу. Все переправы сжечь!»

Пятый день у Деникина мучительно болел зуб на левой стороне нижней челюсти. Нестерпимая боль отдавала в ухо и глаз, щека вздулась. Он обмотал голову теплым шарфом.

В Армавире генерал ездил на квартиру к дантисту Эпельбауму, известному тем, что он собирал коллекцию зубов знаменитых людей города.

Увидев у себя Деникина, Эпельбаум перепугался до смерти, но, собрав все мужество, высверлил полуразрушившуюся пломбу, тоненькой проволочкой прочистил каналы, смазал йодом кровоточащую десну; генералу следует полоскать рот теплым содовым раствором, а при острой боли принять таблетку пирамидона. Доктора подмывало пополнить свою коллекцию зубом главнокомандующего, но не хватило смелости.

Боль не унималась. На второй день Деникин решил вырвать зуб и опять поехал к Эпельбауму. На этот раз доктор вовремя сбежал из дому.

Сидя сейчас перед Змиевым, Деникин страдальчески скривился и потянулся к стакану с содовым раствором.

— Ваше превосходительство, я пришел просить вашего разрешения уехать в Новороссийск,— сказал Змиев, выждав, когда генерал прополощет рот.

Находившийся в комнате адъютант главнокомандующего — генерал Шапрон язвительно заметил:

— Не торопитесь. Скоро мы все окажемся в этом развороченном муравейнике. Сейчас все бегут туда: тыловая шушера, кокотки, щелкоперы, спекулянты.

— Барон Врангель уже там и, как мне известно, занят укреплением Новороссийского района. Он жалуется на свое вынужденное боевое бездействие... Вы к нему?

Змиев посмотрел в затуманенные болью, свинцовые глаза главнокомандующего и честно ответил:

— Вы угадали, ваше превосходительство.

— Новороссийск — это готовая ловушка,— проговорил Деникин.— Я уже отдал приказ об эвакуации беженцев, больных и раненых за границу, но для всех не хватит судов. Многих придется бросить на произвол судьбы. Новороссийск не справится с этой задачей. Но есть другой путь в Крым — через Тамань.— Деникин повернулся к генералу Шапрону.— Прикажите спешно стягивать транспортные средства в Керчь, мобилизуйте все сейнеры, моторки, лодки, а также приготовьте верховых лошадей для оперативной части Ставки, в которой я перееду в Анапу, а оттуда проследую с войсками вдоль берега на Тамань.

Это решительное и откровенное распоряжение заставило Змиева насторожиться; он понял, что момент бегства в Новороссийск упущен, и ему с Ниной Белоножко безопасней оставаться с Деникиным. Кто знает, может быть, придется сесть в седло и вместе со штабом пробиваться на Тамань. Кириллу Георгиевичу было известно, что четвертый Донской корпус, стоявший за Кубанью выше Екатеринодара, без приказа обнажил фронт и на рысях уходит на запад; совершенно дезорганизованные кубанские части по горным дорогам пробиваются на Туапсе, с ними потеряна всякая связь; два Донских корпуса нестройными толпами движутся на Новороссийск; казаки полками переходят к зеленым.

— Новороссийск! Новороссийск! — Шапрон постучал длинными пальцами музыканта по столу.— Два дня назад я был в этом тифозном вертепе, забитом митингующими дезертирами. Офицеры создают там десятки подозрительных военных обществ с единственной программой: в момент эвакуации захватить пароходы.

Деникин в присутствии Змиева просмотрел оперативные сводки и, посоветовавшись с начальником штаба, написал приказ: «Кубанской армии, бросившей рубеж реки Белой, удерживаться на реке Курге; Донской армии и Добровольческому корпусу немедленно, обойдя кружным путем, занять Таманский полуостров и прикрыть от красных северную дорогу от Темрюка».

Вечером разбитый, изнервничавшийся Кирилл Георгиевич вернулся в чистенький, уютный домик с голубыми ставнями, отведенный ему на окраине станицы. Его встретила заплаканная Нина Белоножко.

— Где ты пропадаешь? Мне страшно одной... Только что забегал Астров, сказал, что в Анапе и Гостогаевской станице восстание зеленых... Все пути на Тамань отрезаны.

В комнате царил беспорядок, повсюду картонки со шляпами, раскрытые чемоданы и саквояжи, на гнутых спинках венских стульев висят платья, халатики, костюмы для сцены, будто нафталином, пересыпанные блестками, на кровати, словно рассыпанная колода карт, разбросаны фотографии Нины в ролях и в жизни. Из кухни выглядывала хозяйка квартиры, дебелая казачка, на круглом румяном лице ее было написано нескрываемое злорадство; это выражение было знакомо Змиеву, он встречал его на тысячах лиц простых людей.

Прибежал запыхавшийся Шапрон.

— Господа, приятное известие! Наконец-то к Новороссийску подошла английская эскадра адмирала Сеймура. Главнокомандующий едет к нему. Собирайтесь, через час поезд Ставки уходит.

Когда Кирилл Георгиевич и Нина подъехали к поезду, в их постоянном купе уже сидели три пьяных офицера с корниловскими шевронами на рукавах гимнастерок. Змиев и не пытался удалить их — он хорошо знал, что они не послушаются, поднимут скандал и чего доброго выбросят из купе его самого: во время войны офицеры не церемонились со штатскими.

— Повстречай я его сейчас — не задумываясь, пустил бы ему пулю в лоб,— пробормотал седой полковник с грубым лицом, перечеркнутым багровым сабельным шрамом.

— Кого?

— Романовского...

— Начальника штаба главнокомандующего?

— Так точно... Ненавижу и презираю... Собака!

Поезд конвульсивно дернулся, в окне поплыли назад кирпичные станционные здания и бегущие по перрону солдаты с болтающимися за спинами башлыками. Полковник, не спрашивая дозволения, открыл окно, в купе ворвался холодный ветер. Полковник высунулся в окно по грудь.

— Слава богу, впереди и позади нас по бронепоезду... Вполне вероятно рандеву с зелеными.

Поезд мчался на всех парах, не останавливаясь на станциях, забитых составами с вооружением. Пьяные офицеры, извинившись перед Ниной, завалились спать. Они храпели на весь вагон. Нина, прижавшись к мягкой подушке сиденья, молчала, упорно думая о своем, синие глаза ее в полумраке купе светились недобрым огнем.

— О чем ты думаешь, Нинуля?

— О тебе.

— Я спрашиваю серьезно.

— Как всегда, только о тебе, о том — куда и зачем ты меня везешь?

— Песенка Деникина спета... Мы едем к барону Врангелю, я поддерживал его в борьбе с Деникиным. Меня, возможно, ждет назначение министром.

— Министром какого правительства?

— Правительства России...

— Ты все-таки наивен, Кирилл. Вся Россия осталась у нас позади.— Нина вздохнула и немного театрально заломила руки.

Кирилл Георгиевич подошел к окну. Он глядел в кромешную темноту, куда, как в бездну, летел железный поезд. Кирилл Георгиевич размышлял: «Поблизости должна быть шоссейка, по ней идут сейчас отчаявшиеся, обозленные офицерские части. Куда и зачем?» Порой светлело, мелькали деревья, редкие огоньки, силуэты невысоких гор, словно вырезанные из слоновой кости. В недавно проветренном вагоне держался крепкий запах чернозема и незнакомых трав — волнующий запах кубанской земли. Ни одна земля так не пахнет. Было холодно, ветер дул с моря. Нина, не шевелясь, полулежала все в той же бессильной позе.

В начале четвертого часа Змиев с высоты моста, по которому проходил поезд, увидел освещенный кострами Новороссийск, маяк и широкое полудужье Цемесской бухты, в которой спокойно и буднично переговаривались огнями азбуки Морзе корабли английской военной эскадры. На душе Кирилла Георгиевича потеплело.

— Ну, не забыл нас господь бог.— Он отошел от окна, сел на диван и обнял Нину.

На станции стоял поезд начальника английской военной миссии — генерала Хольмана. Адмирал Сеймур был у него. Глубоко несчастный Деникин в сопровождении Романовского, Шапрона и охраны с унизительной поспешностью направился к адмиралу.

На загаженном перроне Деникина встретил усталый, небритый генерал Сидорин, командующий Донской армией. Генерал был в полной прострации. Он вяло отрапортовал:

— Все развалилось, никто не хочет защищать город... В Крым, очевидно, не пойдут, поднимут руки. В Новороссийске пять тысяч донских офицеров. В случае сдачи в плен все они погибнут, их ждет жестокая смерть... Как быть, что делать?

Деникин, сохраняя полное самообладание, посмотрел на Сидорина налившимися кровью глазами.

— Что делать, что делать? Черт бы вас всех побрал! Занять донскими войсками ближайшие подступы к городу, установить на вершине Сахарной головы батарею и постараться во что бы то ни стало выиграть хотя бы два дня. За этот срок, несомненно, подойдут недостающие транспорты... Наконец, можно лично повести свои части вдоль берега, по маршруту Геленджик — Туапсе. Туда будут направлены пароходы после разгрузки их в крымских портах. Вот что надо делать!

— На этом маршруте, в Кабардинке, скопилось около четырех тысяч дезертиров... Там не пройти...— Сидорин приложил руку к папахе; на тыльной стороне кисти была вытатуирована голая женщина с хвостом русалки.

Деникин не стал слушать и, обойдя Сидорина, как столб, направился к освещенному синими лампочками поезду Хольмана.

Маленькие непальские гурхи в широкополых шляпах, охранявшие поезд, бесстрастно взяли на караул.

Через полчаса в купе к Змиеву вошел неравнодушный к Нине Шапрон. Его сопровождали четыре дюжих казака. Шапрон велел им взять чемоданы.

— Отправляемся в порт,— пояснил Шапрон.— Приказано: штабу главнокомандующего, штабам Донской армии и донского атамана погрузиться на пароход «Цесаревич Георгий». Вам разрешена посадка на русский миноносец «Капитан Сакен», на который уже переехали генералы Деникин и Романовский. Вот пропуска.— И он подал Змиеву две картонные карточки с оттиснутыми на них печатями.

Шли пыльными, загаженными нечистотами улицами, мимо длинной очереди ждущих посадки на суда голодных, небритых солдат. Шинели и сапоги их были покрыты белой цементной пылью. Синяя рука прожектора с

французского миноносца стирала с неба линялые звезды. На горном перевале злобно тарахтел пулемет, на кладбище у Станички с перерывами в несколько минут стучали короткие залпы — контрразведчики приводили в исполнение поспешные приговоры полевого суда.

Поддерживая под локоток озябшую Нину, закутанную в широкую генеральскую шинель, Шапрон, шепелявя, рассказывал:

— Адмирал Сеймур сказал, что, по техническим условиям, он возьмет на борты своих кораблей не больше шести тысяч мальчиков... Генерал Хольман уверяет, что Ивана Павловича Романовского собираются убить. Он просил его перейти на английский дредноут «Император Индии». Романовский наотрез отказался.

— Эй, мамзеля! — крикнул заросший, похожий на цыгана казак, хватая за руку Белоножко.— Ставай за мной в чергу, вдвоем сподручней нам в Трапезунде будет.

— Ну, ты, помолчи мне, развязал язык! — крикнул генерал Шапрон, повышая свой писклявый голос.

— А ты что за защитник такой выискался? Проваливай поскорей со своей сукой, а то как бы я вас обоих враз к Михаилу Архангелу без пропуска не направил! — И казак до половины выдернул из ножен клинок.

— Хам! — выругался Шапрон.

— Сейчас же извинись, сучье вымя! — крикнул маленький с облупившимся носом офицерик, грудью наваливаясь на генерала.

— Да вы что, белены объелись... Я адъютант...

Генерала сзади ударили прикладом по голове, он упал на мостовую, и в него, лежачего, солдат бесстрастно, как в чучело на ученьях, воткнул штык. Шапрон был жив, но солдаты стащили с него шевровые сапоги с серебряными шпорами, вытащили из кителя бумажник, часы, сняли нательный золотой крестик.

— Какой ужас! Идем, идем, Нина! — Змиев потянул ее за собой.

На зеленом зарядном ящике, по грудь возвышаясь над гудящей толпой, стоял могучий бритоголовый человек в рабочей одежде, чем-то напомнивший Змиеву механика Иванова с утилизационного завода в Чарусе. Голосом заядлого агитатора он кричал:

— Товарищи, не поддавайтесь провокациям золотопогонников, не покидайте родину!.. Красная Армия уже в

Крыму. А на чужбине вас ждет неволя... Товарищ Ленин обещает амнистию всем белякам, добровольно сдавшимся в плен!..

— Застрелить бы его, смутьяна, а они слушают, раскрыли рты! — в сердцах сказал Кирилл Георгиевич.

С трудом он и Нина добрались до порта, забитого плотной толпой обтрепавшихся беженцев и солдат без оружия и погон. То здесь, то там подпимались над головами грязные кулаки. Люди с остервенением боролись за место на пароходе. Повсюду валялись выпотрошенные чемоданы, разорванные дамские платья, кружевное белье, раздавленные свертки. Ветер переносил с места на место яркие деникинские кредитки, ценившиеся теперь дешевле бумаги, на которой они были напечатаны. Толпа топтала погоны, кокарды, офицерские темляки, валявшиеся под ногами в пыли. Деревянные сходни, перекинутые на купеческий пароход, скрипели и гнулись под напором обезумевшей, охваченной паникой толпы, сдерживаемой конвоем. Кирилл Георгиевич видел, как усатый конвойный солдат тычком приклада в грудь сбил старика полковника в воду, на которой волна кружила баулы, попоны, седла, гармошку. На глазах у всех полковник утонул.

У расщепленного снарядом баркаса, вытащенного на берег, валялись рядком в одном белье пять трупов. Вокруг шумела толпа, но живым не было никакого дела до мертвецов.

Змиев спросил у бородатого георгиевского кавалера, разрывающего желтыми зубами сухую тарань:

— Что за люди?

— Самовбивцы, пострелялись с перепугу...

— Вот она, матушка Россия! — пробурчал Змиев, с трудом протискиваясь к пирсу, у которого, наведя на толпу тяжелые стволы орудий, разводил пары «Капитан Сакен».

— Что ты сказал, Кирилл? — спросила Нина, кружевным платком вытирая пот со лба. Она попятилась, словно подошла к краю пропасти.— Слушай, я думала всю ночь. Давай останемся... Кирилл, давай останемся... Я же родилась здесь, я не хочу... Ну их к черту, этих англичан и турок... Ты слышал: рабочий говорил, что будет амнистия... С тобой ничего не случится, Кирилл, ведь мы никого не убивали, ты не военный, ты мирный человек, Кирилл...

Ожерелье давило ей горло, она рванула его, дорогие жемчужины посыпались ей под ноги, она не стала собирать их.

— Ты с ума сошла! — возмутился Змиев.

— У вас два пропуска, она не хочет ехать, продайте мне второй пропуск, плачу долларами! — Толстенький спекулянт с черными усиками на потном лице схватил Змиева за руку.

— Как хочешь. А я остаюсь! Я вернусь в Москву или Петроград и буду по-прежнему танцевать там.

Нина сбросила с плеч генеральскую шинель и, наступив на нее, повернулась и решительно, как в танце, почти паря над землей, пошла прочь.

С минуту Змиев, широко раскрыв глаза, глядел ей вслед. Она уходила от него навсегда. Кажется, он услышал, как кричит его сердце... Безумие! Эта женщина безумна!

— Нина, вернись!

Но Нина Белоножко уже пропала в серошинельной толпе. Только между головами мелькал порой ее лиловый воздушный шарф.

— Это равно самоубийству,— пролепетал спекулянт, цепкими пальцами держась за пальто Змиева.

— Что вам от меня надо?

— Пропуск!

Не думая о том, что делает, Кирилл Георгиевич отдал пропуск спекулянту и сунул в карман хрустящие бумажки.

Со стороны Гайдука с птичьим клекотом прилетели четыре снаряда, один ударил в гущу лошадей и людей, остальные упали в бухту. Два французских миноносца быстро снялись с якорей и, разворачивая орудийные башни, стали уходить на внешний рейд.

— Кирилл Георгиевич, скорей! — крикнул Змиеву священник Востоков, откуда-то вынырнувший, и молодо побежал к трапу. Змиев догнал его и, задыхаясь от горя, оборвав в толпе все пуговицы на пальто, вместе с Востоковым выбрался на вымытую до блеска деревянную палубу миноносца.

Отдышавшись, Змиев услышал частые винтовочные выстрелы и пулеметную скороговорку. К пристани со стороны Мефодиевки с криками «ура» перебегали спустившиеся с гор густые цепи красных. Их еще сдерживал брошенный на произвол судьбы третий Дроздовский полк, самоотверженно прикрывавший посадку. Змиев знал — полком этим командовал сын его Георгий, которого он не видел больше года.

«Капитан Сакен» быстро отдал швартовы и стал отваливать от скрипящей деревянной стенки, покрытой зеленым бархатом водорослей. Два добровольца бросились в море, поплыли к миноносцу, моля взять их с собой.

— История — жестокая дама,— громким басом сказал Деникин, подойдя к иллюминатору, чтобы задернуть занавеску.

На берегу улюлюкала толпа, хлопали одиночные выстрелы. Брошенные на произвол судьбы солдаты стреляли по миноносцу; было убито и ранено несколько человек; за минуту до того они радовались, что им удалось выбраться из пекла.

Английская эскадра, уходя из бухты, дала залп по Цементному заводу, откуда местные рабочие стреляли из пулеметов по переполненным пароходам, спешно снимавшимся с рейда.

До боли в глазах Кирилл Георгиевич всматривался в разбегавшуюся толпу, надеясь еще хоть раз увидеть лиловый шарф. Но толпа, удаляясь, сливалась в одно темное расплывчатое пятно.

«Капитан Сакен» вышел из бухты, развернулся за пустынной Суджукской косой и, набирая ход, взял курс к берегам Крыма. Следом за ним, подняв королевские флаги, шла английская эскадра, а еще дальше — французские миноносцы.

Змиев плотнее завернулся в пальто, но не мог согреться: душа его окоченела. Он поймал себя на том, что стоит на корме и по-прежнему держит в руках круглую желтую коробку со шляпой балерины. Это было все, что осталось от нее. Не раз он думал, что эта связь, причинившая ему так много страданий, неизбежно оборвется когда-нибудь. Но мог ли он предполагать, что она оборвется так внезапно и так страшно? Нет, не любила его Нина Белоножко...

Кирилл Георгиевич болезненно улыбнулся и, чтобы навсегда освободиться от прошлого, оставленного на берегу, решительно швырнул коробку в зеленый бурун, пенящийся за миноносцем, над которым с криком летели чайки.

— Прощай, Нина!

Маленькая капризная женщина была ему дороже сына, который еще дрался в Новороссийском порту, дороже всей России.

На корме стоял офицер в морском кителе, держал у глаз цейсовский бинокль. Змиев бросился к нему.

— Дайте мне на минутку бинокль.

Офицер снял бинокль с шеи.

— Хотите в последний раз взглянуть на русскую землю?

— Мы держим курс на Крым, а Крым ведь тоже русская земля.

— А я полагал, что мы идем в Турцию.

Кирилл Георгиевич приложил бинокль к глазам, все еще надеясь увидеть Нину, но увеличительные стекла вырвали из толпы фигуру рабочего, похожего на механика Иванова. Рабочий снял со столба на пристани трехцветный флаг, разорвал его и, стащив сапоги, начал обвертывать ноги полотнищами флага, будто онучами.

Это было настолько страшно, что Змиев тотчас же отдал бинокль офицеру и, опустив руки, отвернулся.

Мимо на полном ходу прошел назад к берегу миноносец «Пылкий».

— Что они, сдаваться пошли? — спросил морской офицер.

— Кутепов приказал подобрать остатки третьего Дроздовского полка, прикрывающего посадку,— услышал Змиев за спиной чей-то ответ.

«Уцелел ли Георгий?» — подумал Кирилл Георгиевич, но сердце не шевельнулось в нем, он подумал о сыне както безразлично, отвлеченно. Только Нина жила в его душе — странная, безумная, бесконечно дорогая женщина, ушедшая навстречу новой своей судьбе.

XXVI

Деникин с большими усилиями вывез из Новороссийска в Крым тридцать пять тысяч солдат и офицеров — все, что осталось от его армии. За несколько месяцев до этого генерал Слащов, имея две тысячи штыков, тысячу сабель, пятьдесят орудий, шесть танков и пять бронепоездов, преследуемый всего лишь одной бригадой сорок шестой стрелковой дивизии, входившей в состав Тринадцатой Красной Армии, благополучно ушел за Перекопский перешеек, где на всю глубину его на Чонгарском полуострове, Арабатской стрелке и в южной части Сиваша были возведены мощные оборонительные укрепления. Солдаты давно разбежались по домам, и в армии остались лишь кадровые офицеры, непримиримые враги советской власти.

Прибыв в Крым, Деникин вместе с начальником штаба генералом Махровым написал секретную телеграмму — приказ о сборе командиров всех частей на Военный совет в Севастополе 21 марта «для избрания преемника главнокомандующему Вооруженными силами юга России». Скрепя сердце Деникин сжигал свои корабли.

Первое совещание совета состоялось на квартире генерала Витковского, под председательством генерала Драгомирова. На совещании присутствовали подавленные событиями генералы Кутепов, Слащов, Сидорин, Кельчевский, Богаевский, Улагай, Шиллинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзефович и Топорков.

Главнокомандующий на совет не явился, он оставался в Феодосии. Споры на совете продолжались два дня. Большинство генералов высказывалось за оставление главнокомандующим Деникина.

На второй день на заседание совета, происходившее во дворце, явился барон Врангель, только что прибывший из Константинополя. Несколько человек выдвинули его кандидатуру. После голосования Драгомиров послал Деникину телеграмму:

«Высшие начальники, до командиров корпусов включительно, единогласно остановились на кандидатуре генерала Врангеля. Во избежание трений в общем собрании, означенные начальники просят Вас прислать ко времени открытия общего собрания, к 18 часам, Ваш приказ о назначении, без ссылки на избрание Военным советом».

Оскорбленный Деникин запросил по телеграфу: присутствовал ли Врангель на заседании и знакомо ли ему постановление? Получив утвердительный ответ Драгомирова, Деникин красными чернилами написал свой последний приказ, отходную самому себе:

«1. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается Главнокомандующим Вооруженными силами юга России.

2. Всем, шедшим честно со мной в тяжкой борьбе,— низкий поклон. Господи, дай победу армии и спаси Россию!

Генерал Деникин».

Четвертого апреля Антон Деникин подал в отставку и на английском миноносце отбыл с генералом Хольманом в Константинополь. Так бесславно окончилась военная и политическая карьера этого жестокого, властного и неумного человека, пролившего море крови рабочих и крестьян.

В тот же день на американских пароходах «Сангоман» и «Честер Вальси» в Крым были доставлены сорок одна тысяча ящиков со снарядами, шесть тысяч ящиков взрывчатки, большое количество винтовок и пулеметов. Правительство Великобритании передало Врангелю четырнадцать с половиной миллионов фунтов стерлингов из кредитов, ранее предоставленных Деникину. Фотография Врангеля во весь рост (он снялся в черкеске) появилась в газете «Таймс». На него теперь возлагали надежды политические и финансовые воротилы Антанты.

Барону Врангелю к тому времени было сорок два года. Честолюбивый и деятельный, он провел несколько мобилизаций среди населения Крыма и свел свою армию в четыре корпуса: первый армейский генерала Кутепова (Дроздовская, Марковская и Корниловская пехотные дивизии); второй армейский корпус генерала Слащова, состоявший из тринадцатой и тридцать четвертой пехотных дивизий и отдельной кавалерийской бригады; Донской корпус генерала Абрамова (первая, третья Кубанские и Чеченская дивизии).

В июне 1920 года первая и вторая кавалерийские дивизии были сведены в отдельный корпус под командованием генерала Барбовича.

Взамен старого генералитета Врангель выдвигал на командные должности молодых офицеров, охотно повышая в звании.

И сделался их кумиром.

Ночь — самая пора наводить понтонный мост. Человек не видел под собой собственного коня. Осенний ветер волнами перекатывался через плавни, шелестел сухими листьями, заглушал стук молотков и скрип досок.

— Добрый выбрали час для переправы,— сказал начальник красноармейского секрета, грея закоченевшие пальцы над невысоким пламенем костра и всматриваясь в штопорообразное отражение огня на воде.

— Темно, хоть глаз выколи,— поддержал командира бодрый голос какого-то сапера.

Мимо секрета проплывали тени пехотных солдат, спускавшихся вниз, на понтонный мост. В ночной темноте казалось, что это не пехота идет, а идут они, секретчики. Красноармейцы сидели, опираясь спинами о дерево. Изредка дерево вздрагивало, будто живое, тогда на них сыпался медленный дождь крылатых кленовых семян.

— А когда ж наступать думают? — спросил голос из темноты.

— Наверно, послезавтра с вечера. Потому что за одну ночь не успеют перевезти всех бойцов в плавни.

— Не иначе новый командующий Фрунзе решил собрать главные силы Южного фронта на Каховском плацдарме и оттуда нанести удар.

Перед рассветом командир спустился с котелком к реке, зачерпнул воды, но гадливо отдернул руку: мимо, медленно поворачиваясь, плыл труп, за ним второй, третий... «Где их столько наколотили?» — подумал командир, выплескивая воду на песок.

Реввоенсовет Тринадцатой Красной Армии подготовил атаку на левом берегу Днепра. В плавни из Никополя переправили несколько тысяч красноармейцев первой стрелковой дивизии. Наступление на Каменку — богатое село с каменными домами на левом берегу Днепра — решили начать артиллерийской подготовкой, для чего в Никополь перевели пятьдесят вторую латышскую батарею, а также бронепоезд «Мировая революция». На широкую поляну возле станции опустилось восемь боевых самолетов — Павловский авиационный отряд.

Утром в Никополь на четырех автогрузовых платформах прибыла зенитная батарея. Артиллеристы установили ее между двумя запорожскими курганами, густо поросшими татарником.

Бронепоезд в девять часов утра обстрелял из пушек Каменку. После обстрела Лука пошел поглазеть на никогда не виданные им, необыкновенно подвижные зенитные орудия и порасспросить зенитчиков, как лучше стрелять из пулемета по аэропланам.

На снарядном ящике, склонясь над сковородкой с яичницей, сидел безусый красноармеец. Он насмешливо сказал Луке:

— Смотри, смотри, браток, на орудия наши, потому — завтра не дотолпишься.

Лука попробовал отвести насмешку:

— Вы только собираетесь на ярмарку, а мы уже воротились с нее.

— Да оно и видно: штаны на заду пожелтели.

«Дурак, я ж его не задеваю»,— подумал Лука и вспомнил о своей ране, полученной под Гришиным. Было досадно, что никто, кроме команды броневика, не считал его бойцом.

Как всегда, будто по расписанию, ровно в половине двенадцатого белые начали артиллерийский обстрел. Четыре снаряда, нащупывая латышскую батарею, легли на ярмарочной площади, один из них срезал дерево. Умирало оно с шумом, ветвями царапая землю, словно хотело и не могло подняться.

В первом часу над городом появились аэропланы противника. Попав под зенитный обстрел, они круто повернули на север, пролетели над станцией и, видимо, заметили бронепоезд.

Недалеко от батареи длинным раскатанным рядном, прошитым обтрепанными будяками, тянулся битый шлях. Часов в шесть вечера на шляху появились грязные, запыленные всадники и двуколки, заваленные войсковым снаряжением. Зенитчики не обратили на них внимания: мало ли ездит по дорогам солдат! Пылюга, поднятая конями, стояла в воздухе как дождь, соединяя небо с землей, настилалась на батарею, мешала дышать. Командир первого орудия собрался было пойти — спросить, куда и откуда едут красноармейцы. Но к батарее, свернув со шляха, подъехал кавалерист.

— Вы что, сдурели? Прохлаждаетесь тут!

— А почему бы нам и не прохлаждаться?

— На этом берегу Днепра, за двадцать верст отсюда, конная армия белых.

Всадник не шутил. Голова его, повязанная окровавленным, черным от пыли бинтом, была явным тому доказательством.

— Видно, Врангель этим макаром хочет вновь вернуть себе Каховку, связавшую его по рукам и ногам. Да оно и понятно: Каховка срывает все его попытки наступать в глубь территории. Он боится нашего удара в тыл со стороны Каховки.— Всадник приложил раненую руку к сломанному козырьку и тронул ногой потного, измученного коня.

— Вот это номер! — сказал Лука и бегом кинулся на станцию, к своему бронепоезду.

— Приготовьтесь к отступлению,— приказал командир батареи своим зенитчикам и на мотоцикле умчался в город.

В городе, стоящем в стороне от дороги, по которой двигались отступающие войска, никто не знал о появлении белых на правом берегу Днепра. Только полоски бу-

маги на окнах придавали милым, утопающим в зелени улицам военный вид.

Командиру поверили не сразу. В ревкоме кто-то спросил:

— Да ты откуда, дружок, сорвался?

Сказавший засмеялся, но смех был натянутый, не к месту, никто его не поддержал.

В Никополе, с каждым часом нарастая, ширилась паника. В ближайших селах мобилизовали подводы, стали вывозить из города снаряжение, продовольствие, семьи партийных и советских работников.

Ночью на бронепоезде не спали. Опираясь на орудия, слушали доносимые ветром выкрики подводчиков, женский плач, торопливый стук подвод.

Помрачневший Рашпиль свирепо выругал Троцкого, достал из своего обклеенного открытками сундучка газету, сказал красноармейцам:

— Вот послушайте, как оправдывается Троцкий.— Он поднес к глазам газету, густо исчеркапную красным карандашом, прочел: — «Врангелевский фронт может стать важным и значительным только при условии побед на польском фронте... Мы говорили себе: он, этот крымский партизан, который соединится с украинским партизаном Махно, он продвинется на север, может быть, на сто верст, возьмет Александровск, Орехов, Херсон, Екатеринослав... Но большей опасности нам там не грозит».— Рашпиль поправил карбидовую лампу.— Вот он вам, результат близорукой стратегии.— Рашпиль протянул руку в сторону города.— Все, что там дышит сейчас, все это завтра погибнет.

— Говорят, Троцкий с меньшевиками якшался? — спросил кто-то из темноты.

— Лысым телок родился, лысым и сдохнет,— ответил Баулин, все еще опекающий Лукашку.

Утром с бронепоезда заметили белых. В окружья бинокля видел Лука исправных коней, круглые кубанки, трехцветные нарукавные шевроны.

— Корниловцы,— определил Рашпиль.

— Разведка... А кони, кони какие! Так и просятся в плуг,— подтвердил Манжаренко.

Броневик стал отходить к станции Апостолово, куда приближалась тринадцатая стрелковая дивизия. Но по дороге мост был взорван.

— Двухсотый мост, покалеченный белыми,— заметил Рашпиль.

Пришлось остановиться невдалеке от изуродованного моста: там были вкопаны неприятельские пулеметы и вблизи гарцевали всадники.

— Надевайте все чистое, товарищи, будем драться до последнего патрона,— строго сказал Рашпиль.— Пути у нас теперь нет ни вперед, ни назад.

— Бесполезное это дело. Видать, вся врангелевская армия перекинулась на правобережье... Может, сдадимся? — наивно и трусливо предложил Паляница.— Мы земляные мужики, ни хрена нам не будет.

— Раньше за такие подлые выражения ссылали в Сибирь и запрещали жениться, дабы трус не оставил России потомство трусов,— ответил командир.

Красноармейцы дружно захохотали.

— Ой, что это? — крикнул Лука, оглянувшись назад.

На бронепоезд мчался паровоз. Он все увеличивался в размерах и летел как торпеда.

— Без машиниста мчится! — крикнул Рашпиль, бросился к переднему орудию и стал бить по паровозу прямой наводкой. Два снаряда пролетели мимо цели. Паровоз мчался на всех парах.

Опасность нарастала с каждой минутой. Рашпиль понимал, чем это может кончиться для бронепоезда. Он подавал команду номерам орудия ровным, спокойным голосом. Снаряд сбил трубу, но паровоз продолжал мчаться вперед. Лука представил силу его удара и ужаснулся, «Цейс» упал ему на грудь и повис на ремне. Но последний снаряд, который еще успели выпустить до столкновения, разворотил котел и машинное управление паровоза. Шальной паровоз замедлил ход; с каждой саженью теряя силы, он приблизился и как бы в нерешительности толкнул бронепоезд.

— Ловко придумали, черти! — крикнул Рашпиль, вытер вспотевший лоб, спрыгнул на землю и тотчас опустился на колени, навылет пробитый пулей.

Его втянули в вагон.

Командир лежал на носилках, окутанный дымом самосадного табака. Возле него хлопотал фельдшер, бинтуя сквозную рану.

— В хорошем месте меня сразили: недалеко плавни, река. Здесь и умереть не жаль,— в полубреду бормотал Рашпиль.— Заройте меня в землю, ветер засеет ее семенами, вырастут на ней дикие травы, вспоенные моими соками, будут веселить людей цветами... Так и будет жизнь

моя продолжаться в цветах и травах.— Сознание Рашпиля снова прояснилось.— Только не смогу я уже отдать боевой приказ, повести вас в бой за великое дело Ленина.— Раненый заскрипел зубами и застонал от боли.

Лука напомнил:

— Помнишь, ты говорил: «Умереть каждый дурак сможет, а вот победить, не умирая...»

— Все помню: Дашку, отца твоего, Алешку Контуженного... он все еще в банде... А без жертв как же победишь?.. Между прочим, хлопцы, ой же как не хочется умирать!.. Нет ничего краше жизни, и надо, чтобы недешево доставалась наша жизнь врагу... Вот умираю, без обмана говорю: радостной умираю смертью, потому что каждый день боролся я за человеческое счастье...— Рашпиль отдышался, сплюнул кровью.— Когда-то на каторге читал я запоем книги, и все про горе, про обман, про страдания. И ни одной книги не помню, чтобы была про радость. Значит, либо не попадались мне радостные книги, либо не было тогда счастья на свете, а если и было, так на чужом горе построенное...

— Замолчите, вам вредно разговаривать,— сказал фельдшер.

Рашпиль закрыл глаза, собираясь с силами.

— Не было, видно, счастья у нашего народа, так мы обязаны его завоевать. Вот уж прижали мы сейчас буржуев в России, выгнали их из дворцов, изводим паразитов, пивших кровь нашу, как воду. Защищайте, товарищи, революцию до последней капли крови... Это вам мой командирский завет.

Обессиленный Рашпиль умолк.

Перед тускнеющими глазами его плыл тихий туман, на какие-то мгновения он рассеивался, и тогда видел Рашпиль яркие орудийные гильзы и лица своих товарищей.

Вечером разведчики донесли, что красноармейские части, переправившиеся в плавни, после короткого боя капитулировали. Трусы выдали коммунистов, комиссаров и пулеметчиков. Белые постреляли их над Днепром, у обрыва, там, где растут коралловые, как бы кровью обрызганные, рябины.

Прилетели четыре аэроплана с цветными кругами на крыльях, принялись бомбить. Одна бомба попала в паровоз, пробила котел, броневик окутался паром, как облаком.

Все пулеметчики, и Лука тоже, стреляли по аэропланам, бесстрашно кружившимся над бронепоездом.

Один из них «Сопвич» загорелся, пошел на посадку и, обломав шасси, сел в двухстах саженях. Летчика взяли в плен. Одетый в кожаный костюм, держа в руках шлем с прикрепленными к нему большими очками, он испуганно озирался вокруг.

Рашпиль допрашивал летчика, лежа на койке, застланной персидским ковром, который отобрал у Махно.

— Назовите мне части белых, переправившиеся через Днепр. Можете их назвать? — спросил он летчика.

— Могу! Третий армейский и конный корпус Барбовича во главе с командующим Второй врангелевской армией генералом Драценко. Они вчера переправились у сел Ушкалки и Бабина.

— Какая задача поставлена перед ними?

Летчик помолчал, обдумывая ответ.

— Я уже давно собирался перелететь к вам. У меня жена в Харькове, живет на Клочковской улице...

— Все так говорят, попадая в плен. Отвечайте на вопрос,— вмешался в разговор присутствовавший при допросе Лука.

Летчик удивленно посмотрел на мальчика.

— Я слышал в штабе, будто генералу Драценко поставлена задача — в районе станции Апостолово разгромить Вторую советскую конную армию, затем, наступая на юг, уничтожить Шестую советскую армию и ликвидировать Каховский плацдарм.

— Вы говорите правду? — недоверчиво прошептал Рашпиль.

— Правду. Даю слово офицера.

— Благодарю вас за ответы... Уведите пленного.

Когда летчика увели, Рашпиль слабеющей рукой нацарапал записку, приказал своему комиссару:

— Это донесение с показаниями пленного любой ценой надо доставить командующему Второй армией, чтобы он передал его содержание товарищу Фрунзе.

Комиссар сунул записку за пазуху, спрыгнул с вагона и растаял в наступившей темноте.

Решив, что бронепоезд никуда от них не уйдет, белые прекратили обстрел.

Рашпиль приказал в полночь взорвать бронепоезд, команде пробиваться к своим.

Крестьянин, когда зимой нечем топить хату, срубает на дрова единственную яблоню, дававшую плоды его детям, плачет навзрыд. Такие же примерно чувства испытывали

сейчас красноармейцы. Взорвать бронепоезд... Баулин напомнил, что точно так матросы затопили черноморскую эскадру в Новороссийске, чтобы она не досталась немцам.

— Уходите, хлопцы! — потребовал Рашпиль.— Желаю вам остаться в живых и обязательно победить.

— А как же ты? — удивленно спросил Манжаренко у командира, собираясь спрыгнуть на высушенную первыми заморозками землю.

— Мне, как капитану корабля, полагается умереть на броневике. Да и не жилец я уже на белом свете.

Рашпиль закрыл покрасневшие глаза.

— А может, мы все-таки возьмем его с собой? — спросил товарищей однорукий Паляница. Кости его тонких ревматичных ног похрустывали, будто в печи стреляли сухие березовые поленья.

На соседней бронеплощадке запели:

Горсть коммунаров без страха, с отвагой
Сражалась с тучами барских сынков,
Мундир генерала сошелся с сермягой,
Дворянская шпага — с мужицким клинком.

Красноармейцы прислушались, на их лицах появились улыбки. Песня ободрила их.

— Лапта затягивает, матрос. Мировой голос,— похвастал Баулин, дослушав песню до конца.— Я вот что расскажу вам, ребята. В тысяча восемьсот тринадцатом году в кровопролитном бою под Лейпцигом гвардеец Леонтий Коренной, единственный из всего батальона оставшийся в живых, израсходовал заряды. Он отбивался от французов штыком и прикладом. Противники не могли схватить его — со страшной силой Леонтий крошил головы нападавших. Застрелить его они тоже не могли: вышли все патроны. «Храбрый русский, сдавайся!» — кричали французы. Но Леонтий продолжал неравный бой. Истекая кровью, он свалился на трупы товарищей. Наполеон, узнав о подвиге Коренного, в приказе по армии поставил в пример своим войскам русского гвардейца. А солдаты гвардейского полка сложили песню о геройстве своего однополчанина. Более ста лет песня, прославлявшая доблесть славного воина, распевалась солдатами этого полка.

— Вот так когда-нибудь и о нас сложат песню,— прошептал Рашпиль.— Ну, счастливый путь, товарищи!

— Не пойдем мы без тебя, ты отец наш! — взмолился Гладилин.

— Приказываю: оставить меня, взорвать бронепоезд и уходить к своим,— пробормотал Рашпиль, подымаясь, и тут же, подкошенный болью, упал на парусиновую койку.

Спорить дальше было бесполезно. Бойцы, бросив последний взгляд на своего командира, один за другим прыгали на землю и исчезали в темноте.

Лука и Баулин закладывали пироксилиновые шашки. Нетерпеливо поглядывали они в сторону, куда нужно было уходить,— там над землей горело созвездие Стожаров. Баулин поджег длинный фитиль и, схватив Луку за руку, побежал догонять товарищей. Но через двадцать шагов они, не сговариваясь, остановились, вернулись назад, затоптали сладко пахнущий горящий шнур, торопливо влезли в вагон и осторожно, будто к сонному, подошли к Рашпилю. Командир узнал их, попросил пить. Лука нацедил воды из фляги в медную кружку, сделанную из снарядной гильзы, подал ее раненому и подождал, пока тот напьется.

После этого Баулин поднял Рашпиля, с трудом спустил с вагона на землю, взвалил на плечи и, низко пригибаясь, понес в сторону от броневика. Разгоралась винтовочная перестрелка. Лука помогал Баулину, поддерживая ноги Рашпиля.

Баулин опустил командира на разостланную на земле шинель. Лука наклонился над ним. Рашпиль собрал последние силы, прошептал:

— Вырастешь — учись на командира... Народу нужны будут свои полководцы... Много еще придется воевать нашему народу.

— Дядя Никанор, как фамилия твоя?

— Фамилия?.. Чугунов.

— Дядя Никанор, дядя Никанор!..— Мальчик, изнуренный тревогами дня, бессильно прилег рядом, всхлипнул, губы его тотчас же вспухли. Вся его выдержка улетучилась, словно дым.

Сухой хруст бурьяна заставил его насторожиться. Лука оглянулся. Возле него нерешительно топтался Паляница, из темноты вынырнул Манжаренко.

— Вот явились за командиром. Решили так: оставим его на попечение жителей. Человек он крепкий, может, выдюжает,— промолвил Гладилин.

— Я так и думал, что вы вернетесь. Разве можно было не вернуться? — Лука вскочил на ноги.

Вчетвером они подняли раненого, по кукурузным полям обошли белогвардейские дозоры. Долго несли они своего командира по степи, пока не увидели хутор, притаившийся в ложбине. Постучали в окно первой хаты. Дверь отомкнула женщина.

— Возьми, ради бога, раненого. Может, выходишь его... Советская власть тебя весь век за то благодарить будет,— стал просить Баулин.

— Кладите его под божницу, мой бедолажный тоже у красных.— Женщина вздохнула, зажгла тряпицу, опущенную в блюдце с подсолнечным маслом, поднесла светильник к лицу раненого.— Страшный-то какой, лицо будто воробьями поклевано! — Она метнулась по хате, зашумела горшками, принялась растапливать печь, греть воду.

На броневике рвались снаряды, и ночь от этого была воробьиная — в непрерывных молниях, полосующих небо.

... Бронепоезд «Мировая революция» был выведен из строя в начале Заднепровской операции, предпринятой Врангелем с целью выхода на Правобережную Украину, на соединение с белополяками и восьмидесятитысячной Третьей русской армией, формирующейся в Польше. Вместе с этими силами Врангель стремился образовать общий фронт против Советской республики.

Белые вышли на степную равнину, что благоприятствовало действиям крупных конных масс и широкому маневру. Первая стрелковая и двадцать первая кавалерийская дивизии красных оставили Никополь и, потеряв в плавнях половину своего состава пленными, отошли к северу от города.

Когда через села гнали, как скот, грязных, избитых в кровь пленных красноармейцев, народ выносил на шлях куски хлеба, яблоки и помидоры, ставил ведра с водой.

Врангель ворвался в Северную Таврию. Он поставил перед своей армией широкие стратегические цели: разгромить группировку красных, захватить города Александровск и Екатеринослав, провести операцию по очищению Донбасса от красных, пробиться на Дон и Кубань, где рассчитывал пополнить свою поредевшую в бесконечных боях армию казаками и лошадьми.

Солдат не хватало, и по приказу Врангеля захваченных красноармейцев вливали в белогвардейские части. Чтобы их сразу можно было отличить, пленным обвязывали фуражки белой марлей.

По мере продвижения белых мужчины прятались от

мобилизации. Женщины по ночам не зажигали огня и даже днем боялись выходить из хат. Четыре дня на правом берегу Днепра продолжались расстрелы. Контрразведчики убивали всех заподозренных в симпатиях к большевикам, всех, кто не хотел служить под белыми знаменами. Лужи примороженной крови на окраинах Никополя и близлежащих сел взывали к мести. Ночами ветер раздувал пожары, горели хаты незаможников и коммунистов.

Перед началом операции командующий врангелевской конницей генерал Барбович, напутствуя генерала Бабиева, командовавшего кавалерией, переправившейся через Днепр, просил передать войскам его слова:

— Любое изменение может произойти только к лучшему. Идя в бой, вы должны считать, что погибаете за Россию.

Бабиев стремился как можно быстрее выполнить свою основную задачу: занять станцию Апостолово, и при поддержке пехотной дивизии разгромить Вторую Красную Конную Армию, и соединиться с главной ударной группой Второй армии генерала Драценко, возглавлявшего всю Заднепровскую операцию.

Он знал, что во время его наступления корпус генерала Витковского — старого его товарища по турецкому фронту — должен решительно атаковать Каховский плацдарм, овладеть им и, переправившись через Днепр южнее Берислава, соединиться с ударной группой своей Второй армии, сковать на этом направлении войска Шестой Красной Армии.

Бабиев любил Витковского, словно родного сына; после неудачного десанта Улагая на Кубань он не виделся с ним и теперь спешил обнять его. Предстоящее свидание с Витковским заставляло старика торопиться.

Утром 14 октября Бабиев из района села Шолохова перешел в наступление на станцию Ток и Каменку, где к тому времени сосредоточилась тринадцатая советская стрелковая дивизия, Отдельная кавбригада Шестой армии и Отдельная кавбригада Второй Конной армии.

На равнине между двумя речонками — Бузулуком и Соленой — начался беспорядочный, вне всяких военных правил, бой. Гремел гром. Клубы орудийного дыма трудно было отличить от низко несущихся туч, а огонь — от стремительных молний. Ветер ломал деревья, сбивая всадников с седел, крутил между солдатскими рядами бог знает откуда взявшиеся солому и сено.

В этом сражении красноармеец Отдельной кавбригады, неуклюжий, поседевший в боях Яша Скопец в бинокль увидел своего лютого врага, командира белогвардейского конного полка Георгия Змиева.

Георгий гарцевал в группе всадников, рядом с генералом Бабиевым, который руководил боем.

Не раздумывая, Яша дал шпоры своему трофейному коню и, выхватив из потерханных ножен шашку, помчался на своего обидчика. Он вертел шашкой над головой, и лезвие ее, мерцая, образовало в воздухе белый круг.

Офицеры, окружавшие генерала, недоуменно глядели на красноармейца, мчавшегося на них во весь карьер.

— Что за черт! — выругался Бабиев.— Сумасшедший или парламентер?

Чубатый хорунжий выскочил вперед, навстречу всаднику. Косым ударом Яша развалил его от плеча до пояса. Он был страшен. Георгий Змиев, узнав Яшу, сразу вспомнил предбанник и пьяного драгунского лекаря с мотком шелковых ниток и острым ланцетом в руках.

Офицер умело выхватил сверкнувший клинок. Ловким движением кисти он выбил шашку из рук красноармейца, но Яша прыгнул на него с седла, свалил на землю и двумя руками схватил за горло.

Со свистом упал крупный снаряд, брызнул кверху землей, разорвался под шарахнувшейся лошадью генерала и убил Яшу, так и не выпустившего из рук горло хрипящего врага.

С развороченным животом и выбитым глазом Бабиев, ни во что не ставивший свою и чужие жизни, запретил отступать и приказал изрубить полк белой пехоты, сплошь состоявший из военнопленных.

— Все равно они изменят,— это были последние слова генерала, скончавшегося через пять минут после ранения на руках своих соратников, деливших с ним невзгоды войны еще на турецком фронте.

Старенькое тело Бабиева накрыли двухцветным знаменем с волчьим хвостом. Похудевшие за какой-нибудь час, черные от пыли и пота офицеры сняли фуражки и не надевали их в продолжение всего сражения. Они дрались умело и храбро, но слишком велико было численное превосходство противника.

В село Шолохово ворвалась вторая кавалерийская дивизия Второй Конной армии красных. Белые не выдер-

жали удара свежей части, дрогнули и бросились бежать, подгоняемые ветром, дувшим им в спины. Во фланг им налетела двадцать первая кавалерийская дивизия красных и в каких-нибудь полчаса разрушила заднепровский план Врангеля. Охваченные паникой, белые всадники топтали копытами собственную пехоту, прорываясь к вспененным, холодным волнам Днепра.

XXVII

Человек двадцать сослуживцев Лукашки по бронепоезду попали в плен. Расстреливали их в жаркий полдень над глинистой канавой, заросшей курчавой повиликой, и умирали они как товарищи, поддерживая друг друга, и пели «Интернационал», торжественно звучавший в настороженной тишине. Над их головами летели гуси, шумным клекотом прославляя жизнь. Какой-то казак выстрелил из винтовки по гусям, но трудно поразить пулей летящую в поднебесье птицу.

Лука попал в группу обреченных. Как теленок к матке, жался он к Баулину, когда их вели по дороге, густо по краям заросшей колючками, и Баулин, обняв левой рукой и стараясь отвлечь своего друга от мыслей о близкой смерти, рассказывал ему, как рабочие и революционные солдаты штурмовали Зимний дворец.

— Что убить могут, об этом не думали,— говорил Баулин.

— А отец с вами был?

— Со мной. Крепко мы с ним дружили.

С пленными поравнялись всадники, скачущие навстречу. Один из них, старший по чину, спросил:

— Куда гоните?

— Известно куда. На распыл.

— А этот сопляк откуда среди вас? — спросил офицер у пленных, увидя жалкое лицо Луки.

— Так, мальчик один, вчера приблудился. А вы его сразу присобачили к нам, в попутчики на тот свет,— сказал Баулин.

— Дайте ему по шее, и пусть катится на все четыре стороны,— приказал офицер конвойным и, огрев коня плетью, поскакал дальше.

— Ну, иди, иди, чего стоишь! — Баулин вытолкнул Луку из группы пленных.

Молоденький конвоир крикнул на мальчика:

— Проваливай, да поживей!

Лука отошел в сторону и долго стоял на дороге. Через пять минут он услышал слитный залп.

И вот он один в незнакомой местности. Белые не обращали внимания на загорелого, с недетским лицом мальчишку, упрямо шагавшего по дороге на Никополь. Мимо него мчались усталые всадники, вдали гремела артиллерия. Белогвардейцы торопливо двигались на север.

Выйдя на железнодорожную линию, Лука побрел к городу. У будки путевого обходчика он остановился. Кирпичный домик уныло ссутулился неподалеку от линии. У ворот женщина доила пятнистую корову. Лука спросил, далеко ли до города. Женщина молчала. Так и не дождавшись ответа, Лукашка обозвал ее дурой и пошел дальше. В воротах показалась девочка в солдатских ботинках на босу ногу.

— До Никополя восемнадцать верст, а если пойдете вот так, навпростец,— она показала рукой,— то будет верст семь. А мама моя не дура, а немая и ничего не слышит.

Лука извинился, стал сходить с насыпи. Вслед ему девочка закричала:

— Будешь идти мимо хутора, ночевать не оставайся, там махновцы людей убивают!

День окончился, в небе все больше появлялось звезд. Лука шел долго, вечерняя роса пала на землю. По расчетам Луки, до Никополя оставалось версты две. На повороте дороги встретил он воз с пахучим сеном. С ним испуганно поздоровались и на вопрос, далеко ли до Никополя, ответили:

— Верстов с десять будет.

Лука выругался, пошел дальше. С каким бы наслаждением лег он сейчас на этот воз сена, лицом кверху, бездумно смотрел бы на звезды и так бы ехал вечность, думая о Шурочке Аксеновой. Где она, что делает сейчас?

Через полчаса шлях, как канат, раскрутился на три стороны. Куда идти? Лука пошел направо, но, не пройдя и трехсот саженей, увидел хаты, услышал ржание лошадей, подчеркнуто строгие голоса людей. Несколько минут в раздумье смотрел он на огни в хатах. Дорога падала вниз, к хутору. Мальчик вернулся к развилке, пошел средней дорогой.

Усталость и неодолимое желание спать заставили Луку свернуть с дороги, лечь на почерневшую от времени копну хлеба. Его удивил пресный запах гнили. Давно связанные снопы брошены в степи, и зерно из колосьев просыпалось на землю. Мальчик сразу уснул, но спал недолго. С противоположной хутору стороны ветер доносил едва слышные собачьи голоса. «Там город»,— подумал Лука, поднялся, пошел дальше.

Перед ним из темноты внезапно вынырнула станция. Изумрудно светился семафорный огонь. Станция была маленькая, белая, плыла навстречу, как льдина. Что-то трогательное было в ней, в ее слабо освещенных окнах. Лука подошел к раскрытому окну, за которым сидел одинокий телеграфист, попросил:

— Дядя, пусти переночевать.

Телеграфист был в светлой студенческой куртке с белыми, до меди протертыми пуговицами. Он оторвался от бумажной телеграфной ленты, устало посмотрел на Лукашку.

— Оставайся.— Он мотнул головой на постель, сложенную из попон и с седлом вместо подушки.

Лука вошел в комнату, лег. Сладкая истома охватила его.

— Есть хочешь? — спросил телеграфист и положил перед Лукой ножку вареной курицы, кружку с молоком, плоский пирог с тыквенной начинкой.

Так, с куском пирога в руке, Лука и заснул, блаженно пуская слюни на пахучую кожу седла.

На рассвете, поблагодарив гостеприимного телеграфиста, Лука пошел в Никополь.

Город показался незнакомым. Бабиев не оставил в нем даже гарнизона, только развязные контрразведчики встречались на вымерших улицах. Магазины были закрыты, волнистые железные шторы в окнах спущены.

Проголодавшийся Лука остановился возле какого-то дома, решил постучать, попросить кусок хлеба. Путаясь в широкой юбке, пробежала испуганная женщина, схватила его за руку, потянула в калитку. Лука вырвался. По мостовой вели пленных. Головы их были повязаны окровавленными, почерневшими от пыли бинтами, рваные шинели висели на голых плечах. Босыми ногами пленные вздымали холодную пыль, брели в ней, точно по лужам.

Среди пленных Лука увидел отца. Это было так неожиданно, что он онемел. Иванов сорвал с придорожной

канавы запыленный стебель полыни, растер ее между пальцами, поднес ладонь к лицу, вдохнул горьковатый аромат скомканных листьев.

— Брось! — закричал на него конвойный.— Перед смертью не нарадуешься!

Иванов посмотрел на свою ладонь, на небо, на маленькие опрятные домики и вдруг, размахнувшись, с силой ударил конвоира в лицо. Солдаты схватили его, бросили на влажную после росы пыль, начали бить ногами, прикладами. Синее от ударов отцово лицо раза два мелькнуло перед Лукашкой.

Уже смертники и их конвой давно исчезли за поворотом улицы, а Лука все стоял, пораженный. Отец, это был отец, и его вели на смерть... Лука опомнился. Он почувствовал прилив злой, отчаянной энергии. От прохожего он узнал, что пленных отвели в подвал Бабушкинской школы. Он решил делать подкоп. Выпросив у какой-то старушки лопату, он ночью из соседнего сада начал копать. Земля была мягкая, работа подвигалась быстро.

Вечером на другой день Лука встретил женщину с ведрами на плечах, покрытую знакомым цветастым платком. Он попросил напиться и, наклоняя ведро, заглянул ей в лицо. Это была Дашка.

Он оторопело выпрямился.

— Даша, ты? Как ты здесь?

— Лукашка, боже мой! — Даша всплеснула руками.— Вот уж чего не знала, не ведала... Разве я не говорила тебе? Я же никопольская. Вот приехала, живу у отца. Видела Миколу Федорца, он у Махно какой-то начальник.

Лука рассказал о встрече с отцом. Даша слушала с испугом, плечи ее дрожали под тонкой ситцевой блузкой в голубых слинялых цветочках. Здесь он, ее любимый, совсем близко, и смерть держит его за горло... Даша закрыла глаза. И, когда открыла их, такая же решимость, как у Лукашки, горела в ее зрачках. Нужно действовать. Решительно и смело.

— Из подкопа ничего не выйдет,— сказала она, подумав.— Ко мне ходит один казак из охраны. Он говорил, что всех пленных побьют на кладбище, как только красные начнут наступать.

— Что же нам делать теперь? — вскрикнул Лука.

Дашка перебросила через плечо толстую косу, дрожащими пальцами стала вплетать в нее сухой бессмертник, сорванный у ограды.

— Не додумаюсь я, как нам поступить,— сказала она чистосердечно.—Пойдем к моему отцу, что-нибудь он да посоветует. Голова у него мудрая.

Отец Дашки, старый Слеза, квартировал в маленькой завалюшке на окраине города. Когда они вошли, старик лежал на койке, положив седую голову на свернутый овчинный тулуп. Перед ним на опрокинутой бочке стояла недопитая бутылка водки, высыхали огрызки хлеба, огурцы, кольца нарезанного лука.

— Вот уж сколько дней отец валяется, будто пьяный. А я, чтобы его не трогали, с дроздовцами гуляю,— проговорила Дашка.— Ты не кривись,— улыбнулась она Луке печальной улыбкой.

— Ну что? — нетерпеливо спросил старик.— Что слышно?

— Сегодня их, наверное, побьют на кладбище...

Слеза вскочил было с койки, но тут же упал: у него было прострелено бедро.

— Зря провалялся день! — крикнул он.— Валялся тут с утра до вечера, а надо было дело делать! Ничем не вернешь такой день!

— Слезами моря не добавишь, отец... Мы пришли к тебе совета просить.

— Эх, Даша, Даша! Какие люди! И командир полка Иванов среди них! Наши хлопцы уже доложили мне.

Старик не мог двигаться, боль приковала его к постели. Он повернулся к дочери.

— Я знаю этого человека.

Где-то далеко заурчал гром.

— Надо спешить,— заметалась Дашка.— Это красные наступают. Скоро начнут пленных стрелять.

Слеза попытался стать на ноги, но, подкошенный болью, вновь повалился на койку.

— Беги, дочка, на Днепровскую улицу, отыщи дом номер тридцать семь. Там, во дворе, во флигеле квартирует стрелочник Бондарев Трофим Кузьмич. Передай ему мой приказ — силой выручать товарищей. Скажи — постановление комитета. У Бондарева есть и оружие и люди. Пускай устраивают на кладбище засаду, перебьют палачей.

— А поверит Кузьмич мне на слово? Ты бы записку написал,— засомневалась Дашка.

— Поверит! Он тебя видал. Ну, с богом!

Дашка схватила Лукашку за руку, и они побежали на Днепровскую улицу. Стрелочник, по счастью, оказался

дома. Это был дюжий, еще не старый бородатый человек. Он спокойно выслушал сбивчивый рассказ женщины.

— Рискованное предприятие... У меня под рукой есть три человека вооруженных. Но для такого дела четырех человек мало.

— А мы двое! — сказал Лука.

— С вами будет шестеро. Все равно маловато... Но приказ партии есть приказ, и обсуждать его не положено.

Стрелочник вышел в сенцы, открыл дверцу погреба, крикнул в темноту:

— Забирайте оружие и поднимайтесь на поверхность, ребята!

Из погреба поднялись трое рабочих с карабинами в руках и наганами за поясами.

Бондарев объяснил им задание.

Снова послышался гром — как будто сильней и ближе. Дашка нервно схватила стрелочника за руку. Завечерело. Все окрашивалось в синий прохладный цвет.

— Айда на кладбище, ребята,— приказал Бондарев.

На кладбище было уже свежо, по-осеннему шумели деревья. Где-то недалеко пулеметы веяли железные зерна, которые никогда ни в какой земле не дадут урожая.

Бондарев стукнул в темное крохотное окно кладбищенской сторожки. Вышел мужчина на деревяшке.

— Ты не знаешь, где здесь в расход пускают нашего брата?

— Знаю!

— Ну, так проводи нас туда.

Ничего не спрашивая, сторож вывел людей на далекий пустырь, густо поросший кустами бузины.

— Здесь,— сказал он и собрался уйти.

— Постой, ты нам поможешь. Все лишний боец,— сказал стрелочник и расположил своих людей в засаде, скрытой кустами.

— А если пленных перебьют в подвале? — спросил Лука. На душе его было муторно.

Никто ему не ответил.

Вскоре на дорожке послышались быстрые шаги. Вели пленных. Дашка концами платка вытерла пот на лице, крепко сжала руку Лукашки.

Пленных вывели на пустырь, дали лопаты, и они молча принялись копать для себя могилу, швыряя влажную землю в сторону своих спасителей, лежащих в засаде.

Взошел месяц. Лука увидел, что белые ветви берез почернели, листья на них желтеют с краев, в середине еще держится зелень. Иванов копал, повернувшись спиной к сыну. Внезапно он обернулся. Лицо его было спокойно и мужественно, будто он и не думал о смерти, а копал, чтобы размять мускулы, задубевшие после сидения в подвале. И другие смертники, глядя на Иванова, работали так, будто не могилу себе копали, а боевой окоп.

Конвойные сидели на траве, положив на землю винтовки, и громко обсуждали, кому продать манатки расстрелянных.

Мурластый унтер злыми глазами следил за работой смертников. Только он один нервничал, сжимая в руке маузер, был настороже.

— Девять осужденных да нас шесть — всего пятнадцать. А солдат десяток. Вот и выходит, что нас больше,— шепотом подсчитал Бондарев.

Он приказал изготовиться, а через полминуты крикнул:

— Огонь!

Выстрелил и вскочил на ноги.

Грянул нестройный залп. С деревьев поднялась стая галок, закружилась над головами.

Лука видел, как упал в яму унтер, как отец схватил его маузер и всадил две пули в ближайшего солдата, видел, как второй солдат пырнул отца голубым, похожим на сосульку штыком.

С криками «папа, папа!» он бросился к свалившемуся на землю Иванову.

Видно, рана была не смертельна. Трое осужденных, захватив оружие, стреляли в растерявшихся солдат. Конвойные испуганно топтались на траве, подняв руки. Один из них слезно просил:

— Пощадите, товарищи, я ведь на своем веку мухи не забидел!

— Серый волк тебе товарищ, а не мы,— сказал Бондарев и напомнил своим: — Слеза наказал всю эту команду истребить...

— Истреблять не к чему,— возразил Александр Иванович, тяжело дыша.— Берите их в плен. Как-никак тоже русские люди, и незачем нам зазря переводить друг друга. Может, сгодятся еще. Кончится гражданская война, там разберемся.

На севере глухо и беспрестанно гремело.

Раненного в плечо Иванова подняли на руки и понес-

ли с кладбища, к первой хате. Лука затарабанил в окошко. Выглянула женская голова.

— Чего вам?

— Человека недострелянного принесли. Отопри дверь.

— Звиняйте,— сказала женщина,— что я буду с ним делать? Горя с этим комиссаром не оберешься.

Она была непреклонна. Товарищи взвалили на плечи тяжелое тело Иванова и понесли его в город. Долго нести не пришлось. Их догнали всадники с красными звездами на фуражках — авангард Второй Конной армии красных. Всадники узнали своего раненого товарища, осторожно положили в тачанку и, накрыв шинелью, повезли вперед, навстречу солнцу.

Палевое солнце всходило над плавнями, куда спешили люди и кони.

Дашка долго глядела вслед всадникам. И в ней зрело сознание, что прежняя жизнь кончилась и начинается новая.

XXVIII

Дашка поднялась на курган, села на его облысевшей макушке. В тысячный раз смотрела она за Днепр, за синюю полосу плавней,— на белую свечу колокольни села Каменки. Там, в Каменке, доживал век ее дед. Она любила это село и часто в детстве вплавь переплывала Днепр. Одной только ей известными тропками, через болота и колючие заросли терна, она пробиралась в Каменку, богатую абрикосами, дынями и арбузами.

Отец Дашки, слесарь никопольского депо, взял себе жену из Каменки. Вот и вышло, что Дашкино детство блуждало между Никополем и Каменкой. Больше нигде в те годы не пришлось ей побывать, зато она хорошо знала никопольские места: Днепр, притоки его, болота, даже едва уловимые глазом стежки, протоптанные козами. Оно и понятно — Дашке приходилось то пасти в плавнях чужую скотину, то плавать с дедом-рыбаком по многочисленным притокам реки.

Грустно было у Дашки на сердце. Кутая лицо в цветастый полушалок, она думала об Иванове. Дрогнуло ее зачерствевшее сердце.

Солнце уже пряталось за станционную водокачку, когда Дашка услышала, что кто-то легко поднимается на курган. Она обернулась. Позади нее стоял человек лет

тридцати от роду в грязной красноармейской форме. Горбатый нос его был красиво очерчен. Человек снял фуражку, обнажив аккуратный пробор в волосах. Этот пробор, военная выправка и особенно белая, точно у больного, рука насторожили Дашку.

— Здесь хорошо, не правда ли? Вы обладаете вкусом, выбрав для уединения это красивое место. Далеко отсюда видно во все стороны — не меньше чем на десять верст,— проговорил человек и присел рядом.

Дашка повернула к нему бледное лицо. Свободная, непринужденная речь красноармейца все больше настораживала ее. Он говорил о самых разнообразных вещах, с подкупающей простотой спросил, не замужем ли она и с кем знакома из командиров.

Дашке приходилось встречаться со многими красноармейцами и политруками, но этот говорил не так, как они. Что-то пытливое было в его словах.

— Признаться, люблю войну, люблю риск,— говорил он, и на губах его блуждала улыбка.

Дашка никогда не слышала, чтобы кто-нибудь так говорил о войне. Она возмутилась. Человек снисходительно и ласково спорил. Неожиданно среди болтовни он спросил, не видно ли отсюда, с кургана, красноармейской батареи. Дашка сказала, что не знает.

— Вот вы местная жительница, а не знаете, сколько на станции аэропланов!

Солнце зашло. Над травами дымчато поползли сумерки — смешение бледно-лиловых красок, почти черных, темно-зеленых и голубых. Прямо перед глазами на темной лазури горизонта ясно обозначилась Каменка; освещенная последним ярким отблеском солнца, она как бы приблизилась.

— Ну, прощайте!—печально сказал незнакомец, встал и быстро стал сходить с кургана в цепкие заросли пожелтевших кустов держидерева.

Эта поспешность поразила Дашку. «Шпион»,— подумала она. Теперь она уже не сомневалась в своих подозрениях. Она спустилась вслед за красноармейцем и ловко проследила его до кладбища. Он раздвинул кусты боярышника, вошел в склеп помещика Бабушкина. Там красноармеец и остался, очевидно выжидая ночи, чтобы переправиться на другой берег Днепра. Дашка побежала к Иванову, постепенно оправляющемуся от раны, и рассказала ему все.

Привычно спокойное лицо командира, прикрытого шинелью, успокоило ее. Он вызвал несколько красноармейцев, и Дашка, сбивая ноги от спешки, провела их на кладбище. Человек еще сидел в склепе и сдался без боя. Дашка смотрела в серые глаза его, стараясь уловить в них хотя бы тень беспокойства. Они были ясны, в них застыло полное безразличие к жизни. Он не отрекся ни от одного своего слова и только добавил:

— Трудно с вами воевать. Даже бабы за вас.

Дашке больше никогда не довелось встретиться с ним.

Случай этот как-то приподнял ее в глазах механика и знакомых красноармейцев. Время шло, а белые удерживали Каменку. Все попытки форсировать реку они отбивали жестким пулеметным огнем. В плавнях у белых были расставлены засады с пулеметными гнездами, мимо которых невозможно пройти.

Как-то на дом к Дашке пришел красноармеец, сказал, что Иванов вызывает ее в штаб полка. Через пять минут, похолодевшая от волнения, она сидела перед Александром Ивановичем.

— Вот что, Даша. Я уже много о тебе знаю. Знаю, что ты хорошо плаваешь, что отец у тебя подпольщик, что ты несколько лет прожила в Каменке. Тебе надо пробраться в Каменку, выведать, где находятся засады белых, вернуться назад. Стоит там туземная бригада. Не боишься? Вода холодная как лед, почти верное воспаление легких.

— Есть, товарищ командир! — улыбнувшись, шутливо ответила Дашка, застегивая расстегнувшуюся кнопку на кофте.

Ей хотелось сказать Иванову что-нибудь теплое, провести рукой по голове, поцеловать спутавшиеся пряди волос. Но он движением руки отпустил ее.

Не заходя домой, по знакомой тропинке отправилась Даша к Днепру. По речной равнине ветер, торопясь, гнал белогривое стадо низеньких волн. Бичами хлопали выстрелы. Даша разделась, чалмой повязала на голове одежду, вошла в холодную воду и, подхваченная течением, поплыла. Вдоль берега вспыхивали желтенькие светлячки ружейных выстрелов.

В ту же ночь Дашка ночевала у своего деда. Он разрезал для нее красный арбуз, подернутый в середине изморозью, поставил чашку прозрачного меда.

— Вот бы угостить этим медом Иванова!

— А кто он такой будет? — прислонив ладонь к волосатому уху, спрашивал дед.

Даша рассказала.

— Что ж, пусть приходит. Туда никто ему не понесет, не свят вечер.

В этих словах высказал дед свою обиду на командира полка. Уж очень долго он не может отвоевать этот берег, на котором белые запретили ловить рыбу.

Два дня Даша бродила по знакомым плавням, собирала вязанки хвороста и ничего не пропускала мимо глаз. Белоармейцы грубо шутили с ней, иногда гнали.

На третий день, ночью, когда Даша переплывала Днепр, ее заметили белые. Едва не утонув под обстрелом, она добралась до берега, а через час уже стояла перед Ивановым. Он внимательно выслушал длинный ее рассказ.

— Сильно устала? — спросил Иванов.

— Нет, не сильно.

— Ложись спать. Ночью поведешь на Каменку мой полк.— Командир сказал это так, словно посылал ее к соседке за кувшином молока.

Даша легла в комнате штаба на расстеленную попону. Иванов накрыл ее своей во многих местах простреленной шинелью. Любопытство Даши было возбуждено, ее охватила судорожная веселость, замирало сердце. Она с трудом заснула, бессмысленные видения сменялись одно за другим.

На колокольне пробило двенадцать, когда Лука разбудил Дашку. Кружевные облака занавесили звезды. Полк стоял у Днепра, дожидаясь, когда саперы закончат наводку понтонного моста. Говорили вполголоса, шутили. Всеми овладело беззаботное настроение, желание поскорей ввязаться в бой. Через два часа переправились на ту сторону. Минуя высмотренные дозоры белых, повела Дашка людей через плавни. Рядом с ней, поддерживаемый под руку адъютантом, шел раненный в плечо Иванов.

Стояла такая тишина, что слышен был шелест высокой высохшей травы под ногами. Полк пробирался берегом небольшой речонки, разлившейся от недавнего ливня. Дашка шла впереди, изредка из-под ног ее взмывала белая чайка, заставляла вздрагивать; птица кружилась над людьми, потом или садилась на песчаный берег, или, перевернувшись в воздухе, делала быстрый круг, исчезала из глаз. Пахло водой, травами, рассветным туманом.

Дашка прислушивалась к едва уловимому в траве шороху красноармейских шагов, поглядывала на Иванова, но на лице его не отражалось той тревоги, которую она чувствовала в себе. В темноте кусты казались ей двуколками белых, а маленькие деревья — вражескими часовыми.

Было влажно, хмуро. Ни разу Дарья не подумала о том, что ее могут убить. Наконец, поднявшись на песчаный холм, они увидели бледные огни Каменки. В ту же минуту грохнул сухой выстрел. Тревожный голос крикнул:

— Кто идет?

Полк обнаружили. Но Каменка была уже близко. Можно было различить на фоне побелевшего неба пирамидальные тополя. Красноармейцы счастливо миновали опасную оборонительную полосу в плавнях.

— За мной! — крикнул Иванов.

И полк, топоча, бросился вперед, через глушняк. Дашка побежала за командиром, выдержка которого невольно подчиняла красноармейцев.

Где-то сбоку застучал пулемет. Дашка видела, как упали сразу двое, как споткнулся Лукашка. Через десять минут красные были уже на улицах Каменки. Чеченцы, стоявшие в селе, почти не отбивались; в нижнем белье они вскочили на расседланных лошадей, бежали в степь. Только артиллеристы пытались вывести батарею. И вывезли бы, если б не подоспели обозленные крестьяне и не перерубили постромки.

Дашка отвела командира в хату своего деда.

— Дедуся, я привела вам Иванова,— хвастливо, будто мужа представляя, сказала она.

В комнату ввалился полковой врач, недоучившийся студент Харьковского медицинского института.

— Товарищ командир полка, несчастье — ваш сын ранен.

— Сильно? Куда? — крикнула Дашка, чувствуя, как все похолодело у нее внутри. Вспомнила: ведь мальчик споткнулся на ее глазах в плавнях, а она даже не остановилась.

— Пулевое ранение, в грудь.

Александр Иванович торопливо, не попадая в рукава шинели, оделся и вместе с Дашкой и полковым врачом побежал в санчасть, расположившуюся в школе. Но Луки там уже не было: вместе с другими ранеными его переправили на захваченном у белых катере через Днепр, в Никополь.

XXIX

В Никополе у Луки вынули пулю, застрявшую в лопатке, и направили дальше в тыл, в чарусский госпиталь, на излечение.

В Чарусе Лукашку поместили в длинной светлой палате городской больницы, у раскрытого окна, в которое глядела разросшаяся бузина. В палате в два ряда, одна к одной, стояли двадцать железных кроватей. На них, покрытые серыми одеялами, лежали раненые красноармейцы из разных полков и батарей.

На молодом теле раны заживают быстро, и уже через месяц, чувствуя себя значительно лучше, Лука по почте послал секретку Ване Аксенову с просьбой проведать его в госпитале. Он знал, что Ваня обрадуется и прибежит не один, а с сестрой. Да, наверно, и товарищей позовет с собой. Как они там живут без него?

Он плохо спал ночью, прислушиваясь к храпу, стонам и бреду раненых, к госпитальной возне с кислородными подушками и уколами, и все думал, как встретит товарищей и что им скажет. Он послал секретку в пятницу утром, и, по его расчетам, Аксенов должен был прийти в субботу. Но вот прошла длинная суббота, а Ваня не пришел, и Лука снова не спал всю ночь, не подозревая, что почта доставила его послание по адресу только на третий день.

В воскресенье, в полдень, когда Лука уже перестал ждать, Ваня явился с сестрой своей Шурочкой и с компанией сверстников, товарищей Луки.

Они ворвались шумной ватагой в палату, внеся молодой задор и вызвав улыбки на искаженных страданием лицах раненых.

— Здравствуй, Лукашка! — дружно закричали мальчики.— Что с тобой, куда ты ранен?

— Легкая царапина... Дура пуля поцеловала. Да вон она лежит, на тумбочке.

Ваня взял с розетки маленькую остроносую пулю с едва заметным винтом нарезки ружейного ствола на никелевой оболочке, подержал в руке, словно прикидывая на вес, попросил: — Подари ее мне на память.

— Возьми,— небрежно ответил мальчик, хорошо зная, что пулей завладеет Шурочка, которая потупившись стояла позади всех.

Перед кроватью толпились Боря Штанге, Юра и Нина Калгановы, три брата Соловьевы, Кузинча, похожий на молодого приказчика. Все они выросли, повзрослели, и Лука долго разглядывал каждого.

— Папа обрадовался, что ты здесь, хотел прийти с нами. Но у него какие-то дела на Паровозном заводе, он обещал навестить тебя вечером,— сказала Нина Калганова.

— А что делает на заводе Андрей Борисович? — поинтересовался Лука.

— Главный инженер! — с едва уловимым хвастовством ответил Юра.

— Делают первый паровоз. Отец днюет и ночует на заводе. Говорит, что этим паровозом сам Ленин интересуется. Неделю назад звонил из Кремля по телефону,— объясняла Нина, пристально всматриваясь в возмужавшее, загорелое лицо Лукашки.

Она считала его необыкновенным, выдающимся человеком и пророчила ему большое будущее. Если бы знал он, сколько дум передумала девушка о нем, какие картины рисовало ее воображение! Мальчишка! Солдат! Герой!! Нина подошла ближе и, забыв обо всех, взяла его горячую руку в свои холодные ладони.

— Шурочка, что ж это вы спрятались во втором эшелоне? Подходите ближе, я хочу на вас посмотреть. О, выросла как! Была девочкой, а стала девушкой,— не замечая того, что творится в душе Нины, сказал Лука.

Нина вспыхнула, выпустила Лукашкину руку и отошла к соседней кровати, на которой стонал раненный в голову парень.

— Это правда, ребята, что первый паровоз делают? — спросил усатый красноармеец с черной повязкой на глазах и приподнялся с койки.

— Правда! Правда! — ответили ему ребята.

— Значит, война на исходе,— обрадовался другой раненый. В его изголовье стояли свежевыстроганные костыли.

— Все говорят о конце войны. В городе появились первые демобилизованные красноармейцы. Мастеровых в первую очередь отпускают из армии,— вмешался в разговор Боря Штанге и почему-то посмотрел на свои рваные ботинки с крашенными чернилами бечевками вместо шнурков.— Ну, а ты после госпиталя куда? Опять на фронт?

— Опять на фронт. Я уж теперь с Красной Армией на веки вечные,— ответил Лука.

— А ты знаешь, когда папа узнал, что ты в армии, он даже не удивился. Сказал: «В Луке Иванове всегда было что-то особенное, что отличало его среди мальчишек».

— Как живет Николай Александрович? — снисходительно выслушав эту похвалу, спросил Лука.

— Скоро кончаются каникулы, пойдет в школу учить ребят. В этом году в Чарусе открывают все школы. Тебе ведь тоже надо учиться,— напомнил Штанге, усаживаясь на мраморный подоконник.— Даже Кузинча и тот записался в школу.

— Покончим с Врангелем, вот тогда и буду учиться. Тогда все будем учиться,— совсем по-взрослому ответил Лука и нахмурился. Ему почудилась насмешка в голосе товарищей; своим замечанием Штанге как бы напомнил ему, что он хоть и красноармеец, а все такой же мальчишка, как и они.

Штанге, высунувшись из окна, сорвал веточку дикой бузины, густо усеянную чернильно-черными ягодами, измазал их соком пальцы, посмотрел на небо, дразняще проговорил:

— День-то какой! Только гулять! Парит, как бы не было дождя.

— Сестрица... Утку! — выдохнул раненый с землисто-серым лицом и потянул Шурочку за новое батистовое платье, видимо впервые надетое.

Девочка растерялась, она даже не знала, что за утку просил раненый, но Нина Калганова, презрительно взглянув на подругу, нагнулась, достала из-под кровати стеклянную утку, подала раненому, отвернулась.

— Спасибо... красавица,— ответил раненый, и на его полумертвом лице пробился румянец.

Лука оглянулся и вдруг увидел, что все раненые с улыбкой рассматривают Шурочку и любуются ею, будто, кроме нее, и нет никого в палате. Видно, одним она напомнила сестру, другим дочку.

— Ты, девочка, приходи к нам почаще, одно это будет целить наши горькие раны,— попросил пожилой командир; он по-турецки сидел на койке, к отвороту его серого бумазейного халата был привинчен орден Красного Знамени.— Приходи почаще, век тебя будем любить и помнить.

Шурочка действительно была прелестна в своем беленьком платье, вся она дышала чистотой, юностью, све-

жестью. Ею нельзя было не любоваться. Лука не спускал с нее восторженных глаз.

Пришел седой доктор Цыганков в белом халате в сопровождении двух сестер, ласково напомнил ребятам, что разрешил им свидание только на пятнадцать минут. Прошло полчаса, и уже пора уходить.

— Мы еще наведаемся к тебе,— пообещал Ваня.

Лука сказал:

— Ваня, помнишь, мы как-то всей компанией читали в степи книгу, называется «Капитан молокососов Сорвиголова». Если она у тебя сохранилась, принеси... Она будет у меня вроде учебника. Как воевать.

— Если найду, принесу обязательно.

Нина задержалась и, когда товарищи были уже у двери, шепнула:

— Я приду к тебе с папой... Можно?

— Если хочешь, приходи,— разрешил Лука, счастливыми глазами провожая тоненькую фигурку Шурочки.

Когда ребята ушли, сиделки принесли в палату обед, и пожилые няни, как детей, принялись кормить с ложек тяжелораненых.

Лука съел миску супа, заправленного шрапнельной крупой. На второе принесли две груши. Одну он съел, вторую положил в тумбочку, чтобы угостить Андрея Борисовича.

Он ласково думал о городе, в котором прошло его детство. Вспомнил, что ничего не спросил о Кольке Коробкине, не успел поговорить по душам с Кузинчой. Ребята пришли и своим приходом отодвинули войну куда-то далеко, за тридевять земель. В углу палаты монотонно, словно часики, тикал кузнечик. Лука прислушался и вновь почувствовал себя мальчуганом. Он принялся думать о своих сверстниках и незаметно уснул. Во сне видел, будто он ученик, разговаривает в школе с доброй учительницей немецкого языка Кларой Карловной и прячется подальше от грозного директора Андрона.

Разбудили мальчика капли дождя, бившие в распахнутое настежь окно и падавшие ему на лицо. В комнате стоял сумеречный полусвет, а на кровати, у ног его, сидели Андрей Борисович и Нина в гимназической пелерине, с зонтиком в руках.

— Проснулись? Вот и хорошо. А мы уже полчаса сидим, перезнакомились со всей палатой,— сказал Андрей Борисович.

Пиджак его был замаслен, и от него исходил пресный душок железа.

— Признаться, я не поверил, когда Нина сказала, что вы придете.

— Почему?

— У вас столько дел. Юра говорил, что вы строите новый паровоз.

Инженер оживился и с увлечением принялся рассказывать о паровозе. Затаив дыхание, раненые не спускали с него глаз. Среди них были рабочие, и всем интересно было послушать о том, как работает Паровозный завод.

Лука тоже слушал — и Андрея Борисовича, и шепот дождя за окном — и думал о Шурочке, легко вызвав в памяти ее бледное личико, ее застенчивый смех, ее голос и тонкие голые руки с тремя оспенными знаками у острого плечика.

— Вы кто же, красноармеец или командир? — спросил Андрей Борисович.

— Пулеметчик,— избегая прямого ответа, сказал мальчик.

Он хотел спросить о здоровье жены Андрея Борисовича, но из головы вылетело ее имя, и он никак не мог его вспомнить.

— Что ж, вы, конечно, теперь курите? — Инженер щелкнул портсигаром, наполненным махоркой.

— Нет, я не курю и никогда не буду. Давно я дал слово Шурочке Аксеновой не курить.

Нина покраснела.

Все больше темнело. Пришла няня с зажженной лампой без стекла, поставила ее на стол, и тотчас вокруг огня закружились, обжигая пушистые крылышки, белые бабочки.

— Еще каких-нибудь десять дней, и рабочие пустят электростанцию,— оживленно сказал Андрей Борисович,— и все коптилки можно будет списать в расход.

Лука наконец вспомнил имя жены инженера, спросил:

— Как поживает Зинаида Лукинична?

— Хорошо. Она вам гостинец прислала.— И Андрей Борисович достал из кармана брюк два сладко пахнущих пирога с фасолью, завернутых в обрывок газеты.

— Спасибо!

— Вы, кажется, служили на броневике «Владимир Ленин»? Что с ним? — словно о живом человеке, спросил инженер.— Ведь его строили по моим чертежам. Этот

бронепоезд — моя гордость, самое лучшее, что я сделал за всю свою жизнь.

— Я служил на «Мировой революции», тоже неплохая крепость на колесах,— ответил Лука.

— Я, я служил на «Владимире Ленине»! — просиял командир с орденом Красного Знамени на халате.— Так это вы его строили? Очень рад познакомиться. Спасибо вам от всей команды. Чудесная броня и легок на ходу.

— Что же ты все молчишь? — спросил Лукашка Нину, воспользовавшись тем, что отец ее увлекся разговором с окружившими его ранеными.

— О чем говорить?.. Мы еще дети, а ты хоть и наш однолеток, а вроде как взрослый, ранен, а храбрый без ран не бывает. Тебе мальчишки завидуют. Я принесла книжку, которую ты просил у Вани: «Капитан Сорвиголова». Писатель Луи Буссенар. Мальчишеская повесть, но я ее прочла с интересом. Неужели и ты такой, как Жан Грандье?

— Жан Грандье француз, а я русский. Русские ведь не раз лупили французов.

Дождь перестал. За раскрытым окном остро пахло мокрой землей и садом.

— Жив ли ваш отец? — спросил Андрей Борисович у Луки.— В тысяча девятьсот пятом году я слушал его речь на Паровозном заводе. Он очень образно говорил о будущем, когда рабочие и крестьяне возьмут власть в свои руки. Это время пришло. И хотя кругом разруха, а на душе весна.

— Папа в армии, на Южном фронте. Соскучился я по нем,— признался мальчик.

— Ну, нам пора... Прощайте! Пойдем, Нина.— Андрей Борисович поднялся и, поклонившись всей палате, взяв под руку дочь, ушел.

— А ведь эта девчонка втюрилась в тебя, Лука, ей-богу, втюрилась. Я следил, как она смотрела на тебя,— сказал командир с орденом Красного Знамени.

— Зачем шутить! — ответил Лука и натянул на голову одеяло, чтобы не слышать добродушного смеха товарищей.

XXX

Задумав во что бы то ни стало погубить ненавистного ему Иванова, Степан Скуратов, прятавшийся на хуторах у родичей Федорца, послал в Особый отдел Тринадцатой

армии анонимное письмо, обвиняя своего врага в связях с Махно.

Степан писал, что Иванов не бежал из-под расстрела, как это утверждает и пишет в анкетах, а отпущен махновцами для подрывной деятельности в Красной Армии.

Расчеты его оправдались. Грубо состряпанная анонимка попала в цель и послужила поводом для ареста.

Иванова вызвали за сорок километров от расположения дивизии и там арестовали, сняли с него наган и шашку, и уже в полдень его допросил молоденький прыщеватый следователь.

Следователь не стал вызывать в Особый отдел Дашу Слезу, на которую ссылался арестованный, а допросил лжесвидетеля, обиженного на Иванова ротного каптенармуса, и протокол допроса, занявший две мелко исписанные страницы, составил не в пользу обвиняемого. Перечитывая протокол перед тем, как его подписать, Иванов убедился, что следователь, не имея на то по советским законам права, взял на себя роль обвинителя и во что бы то ни стало стремился доказать его вину, отбрасывая все, что говорит в его пользу.

— Вы забываете, что вы только следователь, а не прокурор,— сказал Иванов, отодвигая порочащие его листки бумаги и не подписывая их.

— Не вам меня учить, гражданин,— свысока ответил следователь, уверенный, что судьба арестованного всецело зависит от него.

Что-то лисье было в вытянутом, очкастом, приторном его лице, когда он задавал хитроумные вопросы и тут же подсказывал на них ответы.

После допроса арестованного отвели в темную крестьянскую клуню, где сладко пахло обмолоченным зерном. Клуня была набита бандитами, дезертирами, самогонщиками и спекулянтами, ожидающими вызова в ревтрибунал. Иванов, как и большинство людей, плохо разбирался в тонкостях судопроизводства и, несмотря на вызывающее поведение следователя, верил, что его оправдают. Слишком уж смехотворны были обвинения. Он сразу раскусил следователя, видимо поставившего своей целью быструю карьеру и заинтересованного не в том, чтобы отыскать истину, а в том, чтобы, вопреки истине, во что бы то ни стало доказать несуществующее преступление.

«Почему эта судебная крыса так старается очернить человека? Или награды ему дают за это? — думал Иванов.— Какое еще надо трибуналу доказательство моей невиновности, если на моем теле до сих пор ноет штыковая рана? Даша и Лука могут рассказать, как я из маузера всадил две пули в беляка. Наконец, за меня должны хлопотать бойцы моего полка, командир и комиссар дивизии, у которых я всегда был на хорошем счету. Ведь командир моей дивизии — старый друг по партийной работе Арон Лифшиц. Он-то уж никак не поверит этой галиматье, состряпанной ловким следователем».

Лежа на свежей ржаной соломе и глядя, как тускнеет в прорехе клуни клочок неба, Иванов обдумывал защитительную речь.

Но речи этой произносить ему не пришлось. В сумерки вместе с одиннадцатью арестантами, вызванными из клуни, его под конвоем привели в ропщущую под ветром рощу. Посредине рощи, на поляне, стоял ломберный стол, накрытый кумачом. За ним сидели три усталых небритых человека — выездная тройка. Стол завален окурками и папками с делами обвиняемых. Тройка работала с утра, разбирала дела партиями, по дюжине в каждой. Механик с любопытством всматривался в людей, от которых зависела сейчас его жизнь. Они вольны были убить его или оставить жить.

Председатель тройки, с непокрытой взлохмаченной головой, с седеющей бородкой, подстриженной клинышком, в пенсне на тонком носу, всеми манерами подражал Троцкому и не понравился Иванову. «Мерзавец и карьерист, вроде следователя. Такие излишнюю жестокость выдают за твердость души, жестокостью доказывают свою любовь к советской власти,— решил Иванов.— По всему видно — человек неполноценный и потому обозлен на людей». Два других члена тройки, матрос и рабочий, вызывали симпатию.

Первым вызвали к столу черноглазого, совсем еще юного парубка в вышитой полотняной сорочке.

— Вы обвиняетесь в бандитизме. Служили вы у Махно?

— Служил! — чистосердечно сознался парубок.— У него все наше село служило. Красные отступили в Россию, деникинцы издевались над народом. Куда податься крестьянину? Вот и шли к нему, все-таки свой человек — народный учитель.

— Добровольно?

— Да!

Механик видел, как председатель тройки остро очиненным красным карандашом поставил в длинном именослове против фамилии парубка крестик.

— Трибунал приговаривает вас к высшей мере...— отчеканил председатель.

Арестанты, все как один, переступили с ноги на ногу.

— Вы знаете, а я ведь вирши пишу...— наивно произнес парубок и откинул упавший на глаза черный чуб, открыв высокий лоб, сразу покрывшийся потом.

— Вирши? Это хорошо... Советской Украине нужны поэты... Я против того, чтобы его расстреливали,— произнес смуглый от въевшейся в кожу заводской копоти член тройки, сидевший по правую руку председателя.

— А что ты предлагаешь? — спросил председатель, сняв с носа пенсне и протирая его носовым платком.

— Освободить! Пускай пишет стихи.

— А ты? — нервно вскидывая пенсне на нос, спросил председатель второго члена тройки, молодого матроса с юношески чистыми голубыми глазами.

— Освободить — и никаких гвоздей... Сколько у твоего батька земли было?

— Три десятины,— ответил парубок.

— Надо послушать, какие стихи пишет, может, это графоман какой-нибудь,— предложил председатель.— Ну-ка, парень, прочитай нам свои вирши! Знаешь их на память?

— Но у меня тетради нет... Следователь забрал как вещественное доказательство моей контрреволюционной деятельности.

— А ты на память читай. Настоящий поэт должен знать свои произведения на память,— сказал член тройки — рабочий.

Приподняв кверху бледное лицо с густыми бровями, парубок приятным голосом начал читать:

О моя бездоганная Іно,
Обдурила сама ти себе,
Ти не любиш мене і понині,
Я замовк, бо твоє піаніно,
Ні би море шумить золоте.

Все як море, і очі, і душі,
Все глибоке, безкрайне без дна,
Я жалкую, що серце зворушив,
Що його ти мені віддала.

Читал парубок проникновенно, с глубоким чувством.

Прийде час, все осипеться, зв'яне,
Я без тебе зовсім не живий.
Замісіць серця велику рану
Віддам дівчині, може, другій.

Парубок приложил руку к сердцу, прислушался к своему голосу, как бы творя заново.

Може статься, вона пожалкує
Про веселіх поетів мету,
Гільки знаєш, таку дорогую
Я ніколи, ніде не знайду.
Вітер лащить дерева в саду.

— Кто такая Ипа? — полюбопытствовал матрос, сочувственно улыбаясь.

— Моя нареченная, учительница.

— Так, понятно! — промолвил матрос.

Чтение стихов отвлекло членов трибунала от их суровых обязанностей. Забылся поэт, и они па какие-то минуты забылись, отдыхая. Как выгодно отличались дивные строки стихотворения от бюрократического, суконного языка допросов, которые они читают с едва сдерживаемым отвращением!

— Недурно, совсем недурно... Ну что ж, вы свободны, отправляйтесь домой. Но если второй раз попадетесь в банде, не сносить вам головы. Комендант, освободите товарища из-под стражи,— приказал председатель, поглядывая на часы.

— У меня еще есть произведения, я могу прочесть,— все так же наивно предложил парубок. И вдруг понял, что стихи его здесь не к месту, спасибо и за то, что судьи терпеливо выслушали одно стихотворение. Тогда он спросил о том, что его больше всего волновало: — Может, можно мне в Красной Армии остаться?

Не дождавшись ответа, он отошел от молчаливой толпы подсудимых.

Председатель назвал фамилию Иванова, взял со стола кипу бумаг, скрепленных булавкой, нечаянно наколол палец, выступила капелька крови. Человек, проливший немало чужой крови, побледнел, как полотно, и чуть не лишился чувств. Едва совладав с собой, он нахмурился, сунул палец в рот, пробежал глазами обвинительное заключение и сказал, что Иванова обвиняют в измене. Потом,

посоветовавшись со своими товарищами, поставил в списке против фамилии обвиняемого жирный крест и объявил именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, что обвиняемый приговорен к расстрелу.

Произнеся эти жестокие слова, председатель взял из пачки, лежащей на столе, сухую галету, откусил кусочек и назвал фамилию Федорца.

Всему конец. «Не бойся суда, а бойся судьи»,— говорит народная пословица. Иванов вздрогнул, кровь отлила от сердца, ударила в голову, красные круги поплыли перед глазами.

Красноармейцы, сидевшие на пыльной траве, захлопали в ладоши. Так они встретили приговор. И ни у одного из них не отразилось на лице ни сочувствия осужденному, ни жалости.

— Позвольте, ведь у следователя нет никаких улик и доказательств моей виновности, кроме анонимного письма,— очнувшись от ошеломления, громко проговорил Иванов.— Как можно защищаться от клеветы, когда она окружена тайной?

— Уведите приговоренного,— раздраженно бормотнул председатель тройки.— Следующий — Микола Федорец...

Микола шагнул из толпы затравленно озиравшихся подсудимых, подошел к столу, узнал Иванова и приветствовал его поднятием руки, на которой блеснул золотой браслет.

Безразличные ко всему конвоиры увели Иванова с поляны и заперли его в каменном сарае, где уже томилось несколько человек, приговоренных к смерти. Изнеможенные после долгой и безрезультатной борьбы со следователями, они уже апатично ждали своей участи. Смерть, даже близкая, всегда представляется людям в туманном будущем. Только местный кулак, уже в летах, по фамилии Тихоненко, стоял на коленях перед столбом, на котором висел пахнущий дегтем хомут, и молился вслух.

Приговор ошеломил, но не удивил Иванова.

«Лес рубят, щепки летят,— подумал он.— В такой спешке легко пустить в распыл и невиновного». Вдруг его обожгла мысль о Луке. Каково-то будет Луке всю жизнь писать в анкетах, что его отец расстрелян советской властью!

С этим он не мог примириться.

Время шло, надо было что-то предпринимать, а в голову, как назло, лезли посторонние мысли. Может быть, Арон Лифшиц и комиссар дивизии, на которых у Иванова оставалась последняя надежда, не знают о его беде и им сообщат о решении суда, когда уже будет поздно?

Иванов подошел к двери, забарабанил кулаками по доскам.

— Чего тебе? — спросили со двора.

— Дайте мне бумаги и чернил, я заявление командиру дивизии напишу... Объясню ему все, как было.

— На том свете господу богу объяснишь,— ответил молодой голос.— Ждать-то недолго.

Иванов вспомнил, как председатель тройки жевал галету. Но сейчас он думал о нем без прежней злобы. Такая уж у него неприятная должность — посылать на смерть споткнувшихся в жизни людей. Ведь его тоже партия чуть было не назначила председателем губчека в Чарусу. Всегда ведь так — украл один человек, а подозревают многих. Иванову тоже много раз доводилось распоряжаться жизнью людей — и кто знает, всегда ли он был справедлив? — и ни разу совесть его не замутилась. Ставя к стенке врагов, мог ли он поручиться, что все они действительно злодеи и что среди них в спешке не погибли невиновные? Такое время! Все бурлит, и некогда глубоко заглядывать в человеческие души.

У председателя много дел. Ни у кого, пожалуй, нет столько маеты, вон сколько папок лежало на столе, а в каждом деле возможен брак.

Совсем стемнело, когда отворилась дверь и в сарай втолкнули еще нескольких падающих от усталости, застращанных, сломленных приговором людей. Среди них был Микола Федорец. Он окликнул механика и, когда тот отозвался, свистящим шепотом предложил:

— Давай бежать!

— Как бежать? С тобой-то, бандитом?.. Да и куда, как? Кирпич голыми руками не разломаешь, стену башкой не прошибешь.

— Подкоп надо делать, нас тут много, а до рассвета еще далеко. В нашем распоряжении часов восемь осталось. Будем сменять друг друга, руками пророем яму, а там — ночь, лес, свобода.— Глаза лихорадочно возбужденного Миколы в темноте блестели, как у кошки.

Иванов слушал наигранно веселый голос Миколы — последнего человека, связывающего его с жизнью. Толь-

ко с ним, бандитом, он имел возможность говорить перед смертью. И больше — не с кем. Иванов молчал, но все кричало в нем: «Бежать! Бежать для того, чтобы оправдаться, доказать советской власти свою правоту!»

Можно ли умереть зазря, безропотно и покорно? Иванов подошел к Миколе, опустился на колени у стены и вместе с ним, разбивая в кровь пальцы и ломая ногти, принялся разгребать твердый пол из камней и глины.

Несколько осужденных стали им помогать.

За дверью слышались мягкие шаги часового, отдаленный лай собак, то вдруг пронзительный смех девушки, то монотонный скрип колодезного журавля — привычные и милые звуки жизни, прелести которых он раньше не ценил. Вскоре донесся запах поджаренного на подсолнечном масле лука — поблизости готовили ужин. Иванов почувствовал голод, жизнь звуками, красками, запахами настойчиво напоминала о себе.

— Я ведь тоже вирши пишу. Мне бы первому признаться, и меня отпустили бы,— произнес Микола, отбрасывая в сторону пригоршни земли.

Он боялся думать о своей уже решенной чужими людьми судьбе и, чтобы отогнать назойливые мысли, говорил и говорил без умолку.

— Взяли меня в бою... Два махновских полка побили своих командиров, перешли на сторону красных, оголили фронт, пришлось батьку тикать. Я с ним на одной тачанке ехал, стрелял из «максима» и, сам не знаю как, выпал, ударился головой о землю, потерял сознание. А тут ихние конники налетели, скрутили. И вот развязка. Еще семь часов жизни, и каюк... Тихоненко легко, он в загробную жизнь верит, а я не верю ни в бога, ни в черта... Земля крепкая, как железо, заклякла.

— Да замолчи ты, а то не ровен час часовой услышит. Все наши старания прахом пойдут.

— Пить хочу,— пожаловался Микола.

И Иванов тоже всем своим пересохшим горлом ощутил жажду.

— Раньше осужденных исповедовали, дозволяли проститься с семьей. Теперь ничего этого нет — убьют и даже не закопают,— шепотом продолжал Микола.

Сладостная и нежная песня, звучавшая на воле, неожиданно оборвалась, и наступила тишина, изредка прерываемая лаем собак. Потом к двери подошли какие-то люди. Иванов поймал обрывок разговора.

— Имейте в виду, из партии его не исключаем. Значит, вы расстреляете коммуниста,— произнес мягкий баритон.

— Я получил приказ расстрелять семь человек, в том числе и его, и на рассвете мы должны это выполнить. Без приказа командующего армией об отмене приговора я ничего не смогу сделать,— ответил хриплый голос.

— Комиссар дивизии ездил в штаб, но командующий, как нарочно, уехал на рекогносцировку, а куда — никто не знает. Это ведь не шемякин суд. Отложи исполнение приговора на сутки. Кто с тебя за это взыщет?

— Не могу! Дружба дружбой, а служба службой.

Иванов узнал хрипловатый голос Лифшица. Задыхаясь от волнения, крикнул:

— Арон, друг!..— Голоса стали удаляться, и слов уже нельзя было разобрать.

«Обо мне шел разговор,— с надеждой подумал Иванов.— Меня стараются выручить товарищи, а я пользуюсь помощью отпетого бандита! Сговорился с ним, вместе подкоп делаем»,— на мгновение появилась и исчезла непереносимая мысль.

Пропели первые кочеты, потом вторые, а в сарае никто не спал, с тоской отсчитывали движение времени. Какой-то парень попробовал запеть, но на него зацыкали, заставили замолчать. Было не до песен.

Ночь выдалась темная и холодная, и, чтобы согреться, чужие люди, лежа на соломе, тесно жались один к одному.

— Если бы можно было написать письмо жинке,— вздохнул Тихоненко,— порадить ей — пусть продает бычка...

— Я вот все думаю, что ни болезни, ни голод, ни всякий там мор не переводят столько народа, как сами люди,— бабьим голосом пожаловался кто-то, подойдя к двери.

— И зачем только меня мать на свет породила! — всхлипнул молодой парнишка в углу и замолк, словно захлебнулся.

Было около трех часов ночи, когда Микола с Ивановым проделали под стеной подкоп. В него вместе с ароматом мяты хлынула предутренняя прохлада.

— Ну, с богом!.. Дуй первым, а я за тобой... Если там часовой, души за горло, чтобы без выстрела и без крика,— наставлял Микола, дрожа от нетерпения.

С трудом протискивая свое грузное тело, Иванов по-

лез в узкое отверстие, ожег израненные руки о крапиву. Часового не оказалось за стеной. Иванов рысцой пробежал саженей десять по лопушнику, перепрыгнул через плетень, запутался в цепкой огудине тыкв и упал, спиной ожидая выстрела. Силясь отдышаться, подождал с минуту Миколу, но тот не показывался, и Иванов побежал, с каждым шагом все дальше удаляясь от сарая смертников. Вдруг послышались шум, крики. «Обнаружили. Сейчас кинутся в погоню»,— кнутом стегнула мысль. Иванов побежал быстрее.

Он не мог знать, что произошло после его побега. Когда он, ободрав на спине кожу, протиснулся в подкоп и вырвался на волю, осужденные бросились к яме и передрались — каждый хотел первым пролезть в спасительный подкоп. В ту же минуту заскрипела дверь, в сарай вошел полувзвод красноармейцев, которому было поручено привести в исполнение приговор. Поеживаясь от утреннего холодка, невыспавшиеся красноармейцы не сразу заметили отсутствие одного осужденного, а когда дознались — время было упущено.

На лугу паслась породистая кобылица. Иванов вскочил на нее и бешеным наметом поскакал в степь.

Властный и вечный инстинкт самосохранения гнал его вперед. Что было силы он колотил каблуками дымящиеся от пота бока лошади.

XXXI

Так старый большевик Александр Иванович Иванов оказался вне закона. Для каждого гражданина молодой республики он был враг.

Привыкнув отдавать строгий отчет в своих действиях, Иванов пытался разобраться во всем, что с ним случилось за последние сутки. Он, кто никогда не отступал перед опасностью, испугался смерти, бежал. После этого бегства товарищи по дивизии, верившие в его невиновность, конечно, осудят его. Друзей у него теперь нет. И если он будет искать защиты у Даши Слезы — кто поручится, что она не выдаст его властям? Никто теперь не поверит ему, никто не подаст руки. Когда человек осужден, он остается в одиночестве, товарищи отказываются от него, и он вынужден бороться один. А на свете нет ничего страшней одиночества.

Как легко письмо, написанное рукой врага, вычеркнуло его из жизни! Низкий донос оказался пострашнее пушек и пулеметов.

Коммунист не должен бежать от советского суда. Но он бежал не от советского суда, а от нарушения советской законности. Это ошибка? Если это и ошибка, то она спасла ему жизнь. Он дышит, чувствует, мыслит. У него сейчас нет ни партийного билета, ни документов, ни оружия, нет даже красной звезды на фуражке — все, что кровно связывало его с советской властью, все отобрал дотошный следователь, враг. Но осталась верная душа, осталось преданное советской власти сердце, и этого никто и никогда не сможет у него отобрать.

Конечно, уже выслана погоня, которую надо сбить со следа. С юга доносился гром стрельбы, там наступали белые, там особисты не стали бы его искать. Но у него даже и мысли не возникло искать спасения там. Иванов доскакал до какой-то речушки, заросшей пожелтевшими плакучими ивами; бросил заморенного коня, переплыл на другую сторону речки и, пройдя верст пять вверх по течению, схоронился на день в шуршащих сухими листьями зарослях кукурузы. Голова раскалывалась от боли, хотелось спать. Иванов вымостил из стеблей кукурузы неприхотливое ложе, упал на него ничком и моментально уснул без сновидений.

Проснулся он на закате солнца от мучительного голода. Пошарив, нашел початок, словно патронами, плотно набитый золотистыми зернами, вышелушил их в картуз и стал жевать. Но кукуруза не утолила голод, а лишь вызвала жажду. Возвращаться к реке было опасно, там могли его увидеть. Ведь он должен сейчас по-звериному хорониться, как огня опасаться людей.

Все пережитое расслабило, утомило Иванова. Ничего не хотелось делать. Будь на месте следователя честный человек, все повернулось бы по-иному. А теперь... Апатия охватила Иванова. Но разум продолжал свою настойчивую работу. Он требовал действий, борьбы за жизнь, а жизнь по-прежнему была под угрозой.

Что делать? Написать письмо Арону Лифшицу? Но дойдет ли письмо? Теперь после побега даже Арон не поверит ему. Явиться с повинной и потребовать пересмотра дела? Но станут ли его слушать?

Но остается нерушимая истина: он не виноват и не может быть виновным в измене пролетарскому делу. И мо-

жет ли быть так, чтобы для оклеветанного не нашлось выхода? Есть же на свете справедливость! Произошла судебная ошибка, и каждый честный человек обязан помочь исправить ее.

Так думал Иванов, глядя на звездное небо. Когда он был ребенком, мать уверяла: стоит человеку умереть, и на небе загорается новая звезда. Его поймают, расстреляют, и в небе появится еще одна звезда. А на земле жизнь будет продолжаться, смерть одного человека ничего не изменит.

«Что же такое смертная казнь? — рассуждал Иванов.— Почему один человек может распоряжаться жизнью другого? И справедлива ли смертная казнь вообще? Пожалуй, да, но только в одном случае — если она является единственным средством удержать других от свершения преступления. Только в этом случае она еще имеет какое-то оправдание и смысл. Но ведь никто, кроме исполняющих приговор, не видит мук осужденного. Люди порой и не знают о совершенной казни. Значит, бессмысленно убивать человека, который еще может принести какую-то пользу. Я решительно против смертной казни. Я за отмену этого варварского пережитка».

Через минуту Иванов улыбнулся своим мыслям. «Революция в опасности, и в такое время народ обязан уничтожать врагов, покушающихся на его свободу». Такой итог он подвел своим размышлениям.

Неожиданно раздался в тишине пронзительный свисток паровоза. Иванов, не остерегаясь, встал во весь рост и увидел черный силуэт поезда, уходящего на север, в сторону Москвы. Вот куда ему надо подаваться! Там, в Москве, в Кремле живет высшая справедливость, там надо искать правды.

Не следователь и не председатель тройки в пенсне олицетворяли революционную справедливость, а гроза контрреволюции — железный Феликс Дзержинский, перед которым дрожат все враги советской власти. После убийства германского посла Мирбаха Дзержинский прямо с Пятого съезда Советов, рискуя своей жизнью, бросился в Трехсвятительский переулок, в штаб мятежников, чтобы арестовать убийцу — «левого» эсера Блюмкина. Человек, способный на такой шаг, не может быть жестоким и равнодушным. Иванов поедет к нему, расскажет все, как было. Дзержинский поверит ему и реабилитирует, и снова он вернется в свой родной полк.

Это окончательное решение успокоило Иванова.

Размышлениям наступил конец. Теперь Иванов твердо знал, что ему делать. Он пешком дойдет до Александровска, сядет там в поезд и отправится в Москву, к Дзержинскому. Как перед судом он верил, что его неизбежно оправдают, так и сейчас думал, что все устроится легко.

Откладывать нельзя ни минуты. Иванов вышел на железнодорожную насыпь. Подгоняемый в спину теплым ветром, он зашагал по шпалам. На рассвете у каменной будки путевого обходчика встретил невысокую женщину с зажженным фонарем, с медным рожком, с гаечным ключом и петардами, подвешенными к потерханному кожаному поясу.

— Можно у тебя поспать часа два-три? — смело спросил Иванов. Он уже не боялся, что его могут арестовать, будто бы то, что он собирался к Дзержинскому, само собою снимало с него осуждение.

— Шагай на сеновал, там кожух постеленный, сынишка на нем зорюет. Ложись с ним.— И, поглядев в измученное, заросшее лицо Иванова, женщина предложила: — Попей молочка, подкрепись на сон грядущий.

Иванов с наслаждением выпил кружку холодного, вынутого из погреба молока, съел ломоть ржаного хлеба и ушел на сеновал, прилег с мальчиком, обнявшим котенка.

Он начинал засыпать, когда на сеновал, легко ступая босыми ногами, пришла хозяйка, бесстыдно упала рядом, обдала горячим шепотом:

— Третий год без мужика маюсь...

Механик сделал вид, что уснул.

— Спишь, служивый? — Женщина бесцеремонно толкнула его под бок.

— Сплю! — процедил сквозь зубы механик.

Рукой, пахнущей мазутом и стиральным мылом, женщина в темноте провела по колючим щекам Иванова и стала ласково перебирать его слежавшиеся космы. И, странное дело, легкие прикосновения женской руки сняли с него смертную тяжесть, под которой он жил все эти дни.

— Ни молодица я, ни вдова, ни девка, ни баба... Голова раскалывается по ночам от боли, а мужики проходят мимо, будто не замечают, ночевать не остаются, боятся... Напьются дуриком молока, раздразнят и бегут...

— А ты не боишься? Живешь на отшибе, тут и убить могут запросто.

— А чего мне бояться? У меня весь капитал — сынишка, корова, да еще флаги зеленый и красный... Ну, что ж ты лежишь как деревина! Живая я ведь, пойми.

Женщина обдала лицо механика теплым дыханием, закрыла рот поцелуем, и он почувствовал, как прижались к нему голые колени.

Давно отвыкший от женщин, Иванов быстро охмелел от ненасытных вдовьих ласк. И, уже засыпая, положив голову на пышную белую руку, как сквозь сон, слышал:

— Часа два назад прибегали верхи двое с красными звездами на картузах, ищут какого-то бандюгу, говорят — убег из-под расстрела...

Иванов не шелохнулся, будто речь шла не о нем.

— Не ты ли будешь?

— Я.

— Ну, спи, спи, Христос с тобой. Мой тоже с махновцами, может, и в живых давно нет, далеко ли до греха в такой скаженный час...

Иванов проснулся в полдень. Через прореху в крыше падал блестящий, узкий и длинный, как сабля, луч света, а кругом разливалась сумеречная темнота. Было прохладно и тихо.

Иванов минут пять лежал неподвижно.

«А я даже имени ее не спросил,— думал Иванов о хозяйке,— и она меня не спросила».

Встав, он приоткрыл дверь, выглянул во двор, заросший лиловыми, розовыми и белыми астрами. На веревке, протянутой от кирпичного домика к забору, сушились выстиранные его гимнастерка и портянки.

— А, встал уже! — услышал Иванов голос хозяйки.— Умывайся, я бритву мужнину отыскала, помазок и камень, брейся и садись снедать. Я тебе вареников наварила. Любишь вареники? Все москали любят!

Женщина подошла к двери сарая и стояла перед ним, освещенная ярким солнцем. Только сейчас он смог рассмотреть, с кем свела его судьба на одну ночь. Было ей не больше тридцати, и рядом с ним она казалась совсем маленькой. У нее были прямой нос, пухлые губы и мягкие каштановые волосы, собранные на темени в корону.

Женщина вытянула из колодца ведро воды, принесла кружку, кусок печатного мыла и грубый, из сурового полотна рушник. Смеясь простодушно и ясно, она долго сливала Иванову на руки, а он, фыркая, с наслаждением плескал на себя холодную воду.

— Переменись, я тебе исподнее мужа достала.

Иванову стало грустно от мысли, что вот он уйдет, а она с улыбкой и смехом, обнажая белые зубы, будет привечать другого и скоро позабудет о нем, как с ним забыла прежних своих.

— Как зовут-то тебя? — спросил он.

— Евдоха.

Иванов переменил белье, побрился тупой бритвой, пожалел, что голову побрить себе не сумеет. Он ведь до войны всегда ходил бритоголовый.

— Вот и помолодел ты лет на десять. А то увидела, думаю — старик; а ты повеселей молодого оказался.— В глазах Евдохи мелькнуло озорство.

Сидя за столом напротив хозяйки, обмакивая вареники с творогом в сметану, Иванов расспрашивал, скоро ли пойдет поезд на север. Тревога опять терзала его.

— Поезда ездиют без расписания. Но сегодня ночью пойдет товарняк с углем. Москве уголь нужен. Ленин, говорят, какой-то декрет об угле подписал. А тебе это к чему? Уезжать надумал, да?

— Сегодня уеду. У меня в Москве дела неотложные,— сказал Иванов, чувствуя смущение перед этой женщиной.

— Не пущу. Неделю поживешь со мной, тогда лети на все четыре стороны. А то как же так, подразнил, да и тикать, а я опять сохнуть должна без милого.

Весь день Иванов работал по хозяйству. Починил повалившийся забор, достал из колодца ведро, упущенное с месяц назад, сложил в кучу разбросанные по двору старые, пахнущие креозотом шпалы. Под вечер, когда белобрысый сынишка Евдохи пригнал корову, пасущуюся в посадках, Иванов вырезал для него из куска бузины сопилку и, сам себе удивляясь, сыграл на ней бравурную польку.

Следователь, суд, сарай смертников — все было позади и начинало забываться, как дурной сон.

Евдоха отнесла на сеновал рядно и подушку и велела Иванову отдыхать. Выдоила корову, умылась и пришла к нему на сеновал. И ласки и поцелуи — все повторилось снова.

— Так и питаюсь случайной любовью, перепадающей от мужиков, проходящих мимо,— бесстыдно призналась она.

Несколько минут лежали молча, каждый думал о своем.

— Люб ты мне! Так бы и лежала с тобой целую вечность.— И, словно разгадав все, что творилось в душе любовника, посоветовала: — Будь пожаднее к жизни. Нет на свете ничего краше жизни, и надо ее любить. Никогда ни в чем не сумлевайся. А то есть такие гамлеты: идет по дороге, видит, валяется сторублевка, он и начинает сумлеваться — а может, кто нарочно подкинул и подстерегает. Не люблю я таких подозрительных... Мы с тобой родились не для того, чтобы воевать или чинить железные путя, а чтобы оставить на земле детей, да и помереть с богом. Вот уйдешь ты, а у меня, может, дитя под сердцем завяжется от тебя.

Механик вздрогнул. Ему показалось, что Евдоха подтрунивает над ним. Он давно хотел второго ребенка, но, конечно, не от случайно встреченной Мессалины.

Послышался шум и из-за посадки выехала и остановилась у будки ручная с флажком дрезина. На ней сидели три красноармейца, вооруженные ручным пулеметом системы «Кольт».

— Эй, хозяйка! — позвал старшой в кожаной куртке.— Не видала ты здесь какого-нибудь подозрительного типа?

Иванов зарылся в сено. На какое-то мгновение страх схватил за горло. Все начинается сызнова.

— Нет, никого не видала,— безразличным тоном ответила Евдоха, спокойно выходя из сарая.

— А ты, мальчик, никакого дяденьку здесь не встречал? — спросил второй красноармеец у сына Евдохи.

— Встречал.

Евдоха подавала сыну отчаянные знаки.

— Путевого обходчика встречал, деда с соседнего участка, а так больше никого не видел,— ответил мальчик, помолчав, и попросил: — Дядя, дай мне патрон.

— Ну, вынеси хоть воды напиться,— сказал старшой.

Евдоха поспешно вынесла ведро воды с привязанной к нему веревкой и кружку. Спросила:

— Поезд на Александровск скоро пропустите?

— Вечером пойдет, так что ты осмотри перегон,— ответил командир в кожаной куртке.— Преступник бежал, как бы чего не натворил на линии.

Механик, слышавший весь разговор, весь так и залился краской, будто дали ему пощечину. На одну какую-то сотую долю секунды появилось в нем неудержимое желание сказать красноармейцам, что они глубоко ошибают-

ся, плохо думая о нем. Выйти бы к ним сейчас и рассказать все по порядку. Они, видно, рабочие парни, не чета следователю и председателю тройки. Они поймут. «Ну, какой я им враг, какие они мне враги, если вместе не один раз дрались с белыми, махновцами и Петлюрой?» Усилием воли Иванов сдержал себя.

Красноармейцы напились, выплеснули остатки воды на порыжевшую траву и, сильно работая рычагами, погнали дрезину дальше.

— Сама видишь, нельзя мне здесь оставаться. Ищут,— сказал Иванов Евдохе.

— Вижу, нельзя,— согласилась Евдоха.— Тут и не оглянешься, как сцапают... Могу тебя сховать на хуторе у наших.

— Поеду дальше, как решил. Не в моей привычке решенное менять.

Евдоха напекла пирогов с тыквой, сварила десяток яиц, зажарила курицу. Завернув снедь в капустные листья, сунула в торбочку Иванову на дорогу.

Была глубокая ночь, когда из-за посадки, разбрасывая искры, показался на линии паровоз с двумя горящими, как у кошки, желтыми глазами.

— Ну, не поминай лихом! — горячо зашептала Евдоха и перекрестила механика. На прощание она сунула ему в руки баклажку с самогоном.

Он пропустил несколько вагонов, вскочил на ступеньку пульмана и через минуту уже лежал на мелком курном угле, пахнущем серой; оглянулся, с грустью проводил зеленый огонек фонаря — последний привет Евдохи.

Лежать на угле ночью под пронзительным ветром, задувающим угольной пылью, было холодно. Иванов долго не мог уснуть, изредка прикладывался к баклажке.

Ночь и следующий день прошли благополучно. На станциях поезд долго не стоял. Топливо было сложено в вагонах, и железнодорожники быстро меняли паровозы на узловых станциях.

В Харькове на буферах вагонов пристроились мешочники, но в Белгороде их сняла охрана, сопровождавшая поезд.

Все станции были забиты мешочниками, беспризорными детьми и красноармейцами. Поезда ходили редко, не хватало паровозов, вагонов, топлива. В Курске орточекисты в матросской форме придирчиво проверяли на перроне документы.

На пятые сутки вечером Иванов добрался до Москвы. С толпой, высадившейся с пригородного поезда, ему удалось пройти мимо заградотряда, стоявшего у проходных туннелей Курского вокзала и проверяющего документы.

Лил проливной дождь. У водосточной трубы под хлещущей струей Иванов вымыл руки, лицо. Пройдя пешком по пустынной Мясницкой, он, весь вымокший, добрался до Лубянки и решительно, чтобы не передумать, вошел в бюро пропусков ВЧК.

Иванов заглянул в окошечко, освещенное свечным огарком, и сказал коротко остриженной барышне, что приехал с фронта и хочет видеть товарища Дзержинского.

— Зачем? — коротко спросила барышня.

— Я был по ошибке приговорен к расстрелу, бежал из-под стражи и вот приехал, чтобы товарищ Дзержинский разобрался в моем деле.

— Что, что? — переспросила барышня.

Иванов рассказал более подробно и более спокойно.

— Подождите немножко.

Барышня закрыла окошечко, и механик слышал, как она куда-то звонила, что-то настойчиво объясняла, после чего окошечко снова открылось.

Барышня сказала:

— Ваши документы...

— Нет у меня никаких документов, все отобрал следователь.

— Без документов я не имею права выписать пропуск... Впрочем, подождите... Фамилия ваша как?

Минут через десять, показавшихся Иванову вечностью, барышня вернулась вместе с военным в накинутой на плечи шинели.

— Пойдемте, я проведу вас к Феликсу Эдмундовичу... Я уже доложил ему о вашей просьбе. Только, пожалуйста, говорите с ним покороче. Он очень занят.

Они поднялись по лестнице на третий этаж, прошли несколько длинных, плохо освещенных коридоров и оказались у двери с маленькой табличкой, на которой было написано «Председатель ВЧК».

Военный толкнул дверь, и механик вместе с ним вошел в пустую приемную, уставленную фикусами. Раскрылась обитая клеенкой дверь, и из нее, покашливая в седые усы, вышел, опираясь на суковатую палку, высокий худой человек.

— Приговор отменил! — по-волжски окая, взволнованно сказал он, пожал военному руку.— Спасибо вам за хлопоты и беспокойство.

Худой человек вышел. Военный скрылся за дверью, но не прошло и минуты, как он вернулся и, показывая глазами на дверь, тихо сказал Иванову:

— Идите! Да идите же, что вы стоите!

В противоположном конце комнаты за столом с лампой под зеленым абажуром, отбрасывающей свет на букет астр, поставленных в жардиньерку, сидел Дзержинский. На нем была аккуратная гимнастерка. Оторвав глаза от бумаги, он поднял желтое продолговатое лицо с острой бородкой, встал. Ярко блеснул орден Красного Знамени на его впалой груди.

— Здравствуйте, товарищ Иванов, садитесь. — Дзержинский пододвинул к посетителю стул.— Чем могу служить? — Он позвонил. Вошел подтянутый молодой курсант.— Пожалуйста, принесите нам два стакана крепкого чая.

Иванов кратко объяснил свою просьбу. Лоб его покрылся каплями пота.

— Говорите, был вынесен необоснованный и несправедливый приговор? Хоть и редко, но такие случаи бывают... Иные товарищи черствеют на нашей работе. А если человек покрывается ржавчиной, он уже не годится, надо его увольнять из ЧК.

Принесли чай.

— Выпейте. Озябли, я вижу. Сырая погода, пробирает до костей.— Дзержинский поежился, помешал ложечкой в стакане.

Иванов глотал горячий чай, откусывая крохотные кусочки розового постного сахара, и следил за выразительным лицом Дзержинского, стараясь разгадать его отношение к себе.

Позвонил телефон. Дзержинский снял трубку, с минуту слушал.

— Хорошо, Владимир Ильич, детскую трудовую коммуну для беспризорных в Барвихе откроем через пять дней... Горький только что ушел — и остался доволен, он любит выручать людей из беды... Эсеровский заговор раскрыт, нити ведут в английское посольство, я сам выезжаю на место.— Он посмотрел на часы, висевшие над дверью.— Еду через два часа... До свидания, Владимир Ильич, берегите себя!

Крупными глотками Дзержинский допил чай, засунул длинные пальцы рук за кожаный ремень.

— Я разберусь в вашем деле. Оставьте у моего помощника заявление, укажите в нем фамилии всех замешанных лиц... Пропуск на выход из здания подпишет мой помощник.

— Может быть, пока будут расследовать дело, меня лучше посадить в тюрьму?

Дзержинский улыбнулся, достал из кармана галифе черную табакерку с нарисованным корабликом под белым парусом, поискал длинный янтарный мундштук.

— Уж если вы сами явились ко мне, то зачем вас держать за решеткой? Как человек, я верю вам, но как председатель ВЧК никому не верю на слово, во всем следует разобраться... У вас, конечно, нет угла в Москве? Вот записка к коменданту общежития курсантов, поживете у них эти дни.— Дзержинский набросал коротенькую записку, отдал ее механику, внимательно посмотрел на него и сказал: — До свидания, товарищ, можете идти.

Всю неделю Иванов хворал, его то знобило, то бросало в жар. Курсанты привозили врача. Потом он почувствовал себя лучше. В субботу его вызвали в ВЧК. Помощник Дзержинского известил Иванова, что Феликс Эдмундович лично разобрался в его деле и восстановил во всех правах гражданина Советской Республики. Председатель тройки отстранен от работы, следователь арестован.

— Сегодня пришло письмо командира вашей дивизии Лифшица. Он просит оправдать вас, сообщает, что вы бежали, и пишет, что, случись с ним такая история, он тоже не моргнув глазом бежал бы. Феликс Эдмундович еще не видел этого письма, но я ему обязателно покажу.— Помощник вручил Иванову пакет, запечатанный сургучной печатью.

— Пакет отвезете командующему Тринадцатой армией. Вы снова вступите в командование своим полком.

XXXII

Осужденных расстреливали ночью. Шесть человек сами для себя рыли могилу. И, хотя разговор мог отвлечь от страшного дела, все работали молча. Никто не думал о будущем, для них уже не существующем, думали о прош-

лом, о детстве, о женщинах, о солнце, которое не придется больше увидеть. Вся жизнь с ее невзгодами и горем, с радостью и печалями проносилась перед глазами как торжественный светлый праздник. Мягкая, влажная земля, словно подушка, сохранившая запах слез, сберегала пресный запах дождя.

«Хорошо бы прислониться к земле щекой и лежать так целую вечность, слушать, как шелестит трава; быть цветком, на который прохожий человек даже не вскинет глаз, дружить с пчелами и не знать, что такое кровь, что такое тяжелый бандитский обрез»,— так думал Микола Федорец.

Кулак Тихоненко, вдыхая винный запах взрыхленной почвы, бормотал:

— Пройтись бы по этой земле с плугом. Ничего больше не хочу перед смертью.— Он помолчал немного, вытирая рукавом рубахи вспотевший лоб.— Жалею, сына нет у меня. Кто отомстит за кровь мою? Девчонка есть, а вот сына бог не дал.

— Э, э, поторапливайся, хлопцы! — Командир полувзвода бросил чадный окурок, растоптал его сапогом, подошел к яме, заглянул внутрь.— Пожалуй, хватит копать, яма глубокая. Ну, становись, ребята... Спать чертовски хочется.

Командир безучастно зевнул, прикрывая усы ладонью. Потом подошел к Федорцу, тяжелой рукой поднял его подбородок, заглянул в глаза, покачал головой.

— Эх, хлопцы, хлопцы! Сеять бы вам жито, ухаживать за скотиной, жен и детву кохать, а вы полезли в банду, грабили, убивали, баб чужих сильничали. А через вас и нам руки марать приходится.— Он помолчал немного.— Может, курить кто хочет? Кури, табачок пайковый, бесплатный.— Из кармана шинели он достал пригоршню махорки.

— Спасибо, комиссар, по дороге в рай курева не потребуется,— проговорил Тихоненко, голос его сорвался.— Кажется, копал бы эту проклятую яму день и ночь, день и ночь... до самой воды...

Человеческая речь пробудила Федорца, убаюканного думами о прошлом. Говорят о смерти. Значит, всему конец. Не красоваться ему больше в кожаном, рипливом седле, не смущать девчат бархатными своими бровями, не купаться на зорьке в быстрых водах Днепра, не ставить под рождество вишневые ветки в бу-

тылках с водой, не расстреливать коммунистов и незаможников. Как говорил батько Махно: осталось померетъ — и только.

— Ну, становись, ребята, будем кончать обедню,— сказал командир и отошел в сторону.

— Больно мелка ваша могила. Я привык для себя все делать всерьез. Еще надо копать, хотя бы с аршин.

— Перед смертью все равно не надышишься. Становись!

Осужденные покорно выстроились над краем могилы. Красноармейцы стояли в семи шагах от них. По команде они подняли винтовки.

Федорец с ненавистью посмотрел на них, сказал со злостью:

— Эх, был бы у меня сейчас наган, перестрелял бы я вас, как щенят. Один десятерых...

— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! — затянул Тихоненко.

Напевные эти слова вызвали у Федорца новые воспоминания. Церковь, жарко нагретая огнем свеч. Вербное воскресенье. Ивовые пруты в руках мальчишек, и он бежит от них, чтобы они не стегали его по икрам. Да, да, бежать! Как убежал Иванов! Вот сейчас рвануться, прыгнуть в яр и уйти. Бежать! И потом без жалости и пощады убивать всех этих комиссаров, придумывать для них адские муки. Вот этот усатый командир, отобравший у его отца землю,— попадись он в его руки, не так бы легко простился с жизнью. Уж он, Федорец, нашел бы для него мучительную, медленную смерть. Федорец рванулся, прыгнул вперед, навстречу ударившей в него молнии.

Грянул залп. Словно ламповое стекло, на мелкие осколки разбилась в небе луна. Федорец качнулся и головой вперед полетел в бездонную пропасть.

Все было кончено. Красноармейцы поспешно засыпали могилу, сровняли ее с землей. Только десять винтовочных гильз могли рассказать посвященному в такие дела человеку, что произошло здесь. Гремя тяжелыми сапогами, красноармейцы ушли, провожаемые грустным криком проснувшихся, потревоженных выстрелами птиц.

И тогда из яра, наполненного туманом, поднялась женщина с лопатой в руке, подошла к месту казни, перекрестилась и принялась откапывать могилу. Рыдания сотрясали ее полные плечи, покрытые теплым платком. Пот

и слезы смешивались на ее круглых щеках. Поминутно посматривая на небо, чтобы успеть к рассвету, она отбросила комья чернозема, державшиеся на корнях трав, и, надрываясь, вытащила из ямы труп, отряхнула землю, заглянула в лицо. Нет, это не муж ее. Женщина снова принялась рыть и откопала тело Федорца. Парубок едва слышно застонал. Не ослышалась ли она? Маленьким ухом припала к груди Федорца. Едва слышно, словно крохотные часы-браслетка, подаренные ей мужем, тикало в груди сердце.

«Жив! Жив!» Волна радости прокатилась по телу женщины.

Она сняла платок, разостлала на росной траве и положила на него Федорца. Потом вытащила из ямы тяжелый труп Тихоненко, своего мужа. Пуля через правый глаз вошла ему в мозг. Человек был мертв, и приставшая к нему земля, словно пепел, покрывала его остывающее тело.

Женщина села на землю рядом с трупом, горестно смотрела в изменившееся лицо мужа, и слезы бежали из ее глаз. Она старалась осознать, что человек, с которым прожила двадцать лет, больше не существует. Его нет. Он никогда не вернется. Сможет ли она прожить без него? Что станет с хозяйством? И тут же, ища ответа на свои вопросы, говорила себе, что одной ей не прожить. Не вдовье время теперь. Все перевернулось, пошло криво, как норовистый конь сбочь дороги. Где искать хозяина? Рядом лежит раненый. Что за человек? Но он был уже ей близок, хотя бы тем, что вместе с мужем прошел через страх, принимая одну с ним смерть.

Женщина была здоровая, не больше сорока лет, крестьянка, всю свою жизнь с утра до вечера работавшая в большом кулацком хозяйстве. Она снова положила труп мужа в яму, теперь уже по церковному канону — головой на восток, и засыпала землей. Потом взвалила Федорца себе на плечи, спотыкаясь, понесла его, словно мешок, огородами к себе в хату. Нести было тяжело, но она ни разу не остановилась отдохнуть, боясь кого-нибудь встретить.

Войдя в дом, она прежде всего заглянула на печь. Там, разбросав ручонки, спала безмятежным сном на горячем просе ее маленькая дочка Люба. Женщина накрыла ее рядном, потом достала из печи горшок с горячей водой, обмыла лицо раненого. На плече его чернела маленькая дырочка, забитая землей и запекшейся кровью. Женщина

промыла ранку. Федорец застонал, открыл непонимающие глаза и вновь впал в беспамятство... Женщина внимательно посмотрела на него. «Красивый какой, молодой!» Она вышла во двор. Предутренний голубой туман клубился над садом, остро пахло вишневым листом, в кустах просыпались птицы. У плетня женщина ощупью отыскала тоненький стебелек подорожника, сорвала несколько листьев, прильнувших к земле, обмыла их и, вернувшись в хату, приложила к воспалившейся ране парубка.

Отныне целыми днями просиживала над изголовьем раненого, прислушиваясь к его ровному, спокойному дыханию, перебирая черный, преждевременно поседевший чуб. Она ждала и боялась той минуты, когда сознание вернется к нему, когда он встанет на ноги и захочет уйти. Несколько раз женщина подходила к зеркалу, вмазанному в комель, деловито разглядывала себя и отходила прочь.

Как-то вечером, не постучавшись, в хату вошли два усталых красноармейца, попросились переночевать. Увидев Федорца, спросили:

— А это кто у тебя, хозяйка?

Растерявшись, женщина едва нашлась ответить:

— Брат. В тифу он...

Красноармейцы потоптались, держась подальше от постели, с завистью оглядели богатое убранство хаты и, не скрывая сожаления, ушли.

И с этого дня женщину не оставляли тяжелые предчувствия, ожидание какой-то беды. Проскачет ли всадник по дороге, забрешет ли собака — она сразу бросалась к окну, приоткрывала край занавески. Не за ним ли? И много раз ей казалось, что только затем она спасла человека, чтобы снова его поставили под расстрел.

Однажды, сидя у постели Федорца, вдова почувствовала на себе его пристальный взгляд. Охнув, прижала руки к груди.

— Где я? — едва слышно спросил Федорец.

— Вы в схороне. Я жинка Тихоненко Каллистрата Федоровича. Меланка. Меня все махновцы знают. Может, чулы?

— Тихоненко? — Раненый нахмурился.

— Его расстреляли в той час, як вас только поранили.

— Ага, помню.— Раненый закрыл глаза.

Через несколько минут он уснул.

Проснулся ночью, после шестичасового глубокого сна. Под потолком, отбрасывая круг света, мерцала керосиновая лампа. Меланка вязала толстый чулок из овечьей шерсти.

— Ну, рассказывай,— попросил Федорец.

Меланка наклонилась к нему, рассказала, что Махно, бросив на произвол судьбы людей, бежал из окружения красных. Пленные махновцы или расстреляны, или посажены в тюрьмы.

— Как, батько бежал, когда мы еще сражались? Брешешь ты, старая карга!

Раненый хотел встать, но боль заставила его откинуться на подушку. Преодолев страдание, он тихо спросил:

— Кто здесь, в селе?

— Красные.

Федорец испуганно пошевелился.

— Так что же ты меня в хате напоказ держишь! В погреб надо, на чердак.

— Лежи и не кипятись,— строго сказала Меланка.— Я лучше знаю, где тебя схоронить. Выдужаешь — в Харьков поедешь, в столицу. Там много наших, богатых, они даже в правительство пробрались. И для тебя дело там найдется.— Она отошла к печи, зашумела заслонками.— Я тебе качку спекла с черносливом.

Блестящими глазами бандит посмотрел на Меланку. В нем снова пробудился неукротимый дух беспечности и веселья, который отличал его среди махновцев и приблизил к самому батьку.

— Вот что, старуха,— сказал он и улыбнулся,— неси-ка сюда четверть дымка-первачу. Горя не заедают, а запить можно.

XXXIII

— Ты бы женился на мне,— через несколько дней виновато попросила Меланка.— У меня одной земли двадцать десятин с одной осьмой.

Бандит умел смеяться молодо и заливисто. Даже убивая, смеялся. Несколько минут он хохотал, держась за живот. На столе дрожали граненые стаканы, тонко пела плохо вмазанная шибка на окне.

— У тебя двадцать, а у моего батька двести. У кого больше? — Он прищурил глаза и грубовато спросил: —

А зачем тебе замуж? Батрак нужен, хочешь, чтобы я работал на тебя, а ты мне натурой будешь платить?

— Хозяина надо,— откровенно сказала Меланка.— Опять же девчонке отец требуется. Знаешь, есть поговорка: «Я за мужа затулюсь и никого не боюсь».

Меланка, не таясь, говорила все, что думала.

Она подробно рассказала Федорцу о том, как вынула его из могилы и, сама того не подозревая, разбередила сердце Миколы.

— Погнался Махно за зайцем, да коню голову сломал,— говорила она певуче, неторопливо.

Мелькнула мысль: он обязан Меланке до гроба — чем может отблагодарить?

Четырехлетняя Люба совсем не дичилась его. Она взбиралась к нему на колени и требовала сказок, а так как он не мог припомнить ни одной из тех, что слышал в детстве, то ему приходилось выдумывать их. Впрочем, выдумывал он мало, больше рассказывал истории, происшедшие с ним самим, приукрашивая и расцвечивая их, и девочка воспринимала эти истории как взаправдашние сказки. Ей было невдомек, что она сидит на руках у того самого разбойника, о котором он рассказывал сказку.

Больше всего ей нравилось слушать о разбойнике, которого живьем закапывают в яму, а добрая вдова спасает его, излечивает ключевой водой, настоянной на целебных травах. Девочка заставляла рассказывать об этом по нескольку раз, и Федорец каждый раз выдумывал новые подробности, история приобретала стройность. Сам того не сознавая, он создавал живописную легенду.

Девочка была курносенькая, черноглазая, живая, болтала без умолку. Микола искренне к ней привязался. И часто, играя с Любой, вдруг опускал руки, ронял на пол тряпичную, разрисованную чернильным карандашом куклу. Жалел, что Люба не родная ему, что не его ярая кровь течет в ее тоненьких жилах, словно васильки, затканных в пшеничные волосы ее на висках.

У Меланки Федорец жил словно в тюрьме. Почитать бы. Но, кроме Евангелия, набранного церковным шрифтом, в хате не нашлось ни одной книги. Целыми днями он валялся на грубых узорчатых ряднах, разложенных на высокой, разрисованной голубями деревенской печи, и там, в полумраке, встревоженная память его перетасовывала минувшие события. Он старался разобраться во всем, что видел и пережил за последнее время, но собы-

тия слишком уж быстро чередовались одно за другим, и он не мог найти связи. И люди тоже. Их неудержимо несло вперед, мимо незнаемых берегов, скрытых туманом. Их сталкивало, вертело во все стороны и разбивало о берег. Половодье захлестнуло всю Россию.

Микола лежал и думал: «Почему я пошел в бандиты? Мне двадцать лет, я учился в гимназии и в походной сумке возил исчерканные карандашом книги Бальзака, взятые в имении Змиевых. Двести десятин отцовской земли? Но зачем мне они? Какой из меня хлебопашец?»

Но, размышляя, он должен был сознаться себе, что дрался с красными именно за эту землю, за свое прибыльное место в жизни, за власть, которую ему давала земля и которую полюбовно не вернут ему ни паровозники Чарусы, ни сталевары Макеевки, ни горловские шахтеры, ни собственные его батраки. Думая о хаосе, в котором он жил, Микола приходил к выводу, что неудавшийся расстрел его остался самым сильным впечатлением жизни и окончательно сформировал его как человека. Никогда он не простит красным своего страха и бессилия, пережитого у края могилы, так же как и ему никто не простит всех, кого он замордовал и забил шомполами насмерть. Эта мысль обрадовала его, она как бы осветила его положение. Надеяться на пощаду не приходилось. Он не верил объявлениям коммунистов об амнистии для тех, кто явится добровольно. Оставалось только бороться до конца.

Люба взбиралась на печку, садилась ему на грудь и задавала один и тот же вопрос:

— О чем ты думаешь?

Этот вопрос всегда заставал его врасплох. Микола слезал с печки и, ничему не удивляясь, принимался ходить по хате, рассматривая бесчисленные фотографии Тихоненко, украшавшие сыроватые стены; фольговые ризы на широких иконах; аляповатую праздничную посуду в шкафу. Хата отдаленно напоминала этнографический музей, виденный им в Екатеринославе, все вещи здесь рассказывали о том, как хозяева живут, спят, едят, одеваются.

На одном снимке хозяин Каллистрат был снят в форме гвардейца. Нелепая высокая шапка с белым султаном еще более увеличивала его богатырский рост. Стройный, широкоплечий, с растопыренными усами, он имел геройский, невозмутимый вид. Этот снимок всегда вызывал на губах Миколы улыбку. Ему вспоминалась ночь перед рас-

стрелом. Тихоненко крупными, бугаинными шагами бегал по сараю, засыпанному сенной трухой, и успокаивал себя словами, слышанными от казаков на фронте: «Пока я есть — смерти нет, смерть придет — меня не будет». А потом, перед самой казнью, забыл эти умиротворяющие слова, испугался.

Другое дело механик Иванов. Он и перед казнью оказался на высоте и, трезво оценив свое положение, бежал, воспользовавшись его услугой.

Почему-то из людей, виденных за последнее время, больше всех запомнился Тихоненко, хотя раньше он казался замкнутым, незаметным. Когда их вели на расстрел, Каллистрат споткнулся на улице о подкову, поднял, повертел в руках, положил ее в карман. Жена его потом вынула подкову у него из кармана, прибила ухналями к порогу — на счастье.

Думал он о Тихоненко с нескрываемой ненавистью. Никак не мог примириться с мыслью, что этот неотесанный мужик — отец Любаши, и ревновал к мертвому.

Микола стал замечать, что Меланка становится скупее. С каждым днем все больше обнажалось ее жадное нутро. Она жалела молоко не только для Миколы, но и для себя, для Любы. Молоко скисало, и его приходилось выливать свиньям. Меланка стала запирать шкаф, в котором стоял графин с самогоном, и даже хлеб прятала в железом обитую скрыню. Как-то она сказала в сердцах:

— Кто ты мне? Ни муж, ни работник.

Все это бесило Миколу. И в то же время его влекло к этой умной, расчетливой женщине, в которой он угадывал родственную себе натуру. А тут еще тоска. Он подходил к окнам, отодвигал горшки с геранью. Манила к себе вольная земля, чистое небо. К черту бросить все страхи, уйти в поле и бродить бы там с утра до заката?

Однажды вечером, когда Меланка доила корову, в хату вошли двое в шинелях, с красными звездочками на картузах. Но Микола сразу признал в них махновцев.

— Здравствуйте! — сказал первый.— Я Гриценко, по прозвищу Окаянный. Наверно, слыхали.

Второй, не здороваясь, вытащил из кармана шинели бутылку, ударил в донышко широченной ладонью, выбил пробку, залил вспененным самогоном клеенку на столе.

— А де ж кума? — спросил Гриценко и, не дожидаясь ответа, вышел во двор, больно ударившись головой о притолоку.

Второй махновец внимательно оглядел Миколу, сказал:

— Так вот ты какой, Федорец!

— Что вы! Моя фамилия Остапенко.

— Брось дурить, мы люди свои. Я ж видал тебя в бою, на тачанке за пулеметом. Ничего плохого сказать о тебе не могу, человек ты храброго десятка. Такие нам нужны.

«Кому это?» — хотел спросить Микола, но не спросил, рассчитывая, что махновец сам о себе расскажет.

Со двора вошла Меланка с дымящимся подойником, а следом за ней Окаянный.

— Ты бы нам солоного кавунчика вынесла, огурчиков, капустки. У меня, как у бабы на сносях, душа соленого просит,— тоном хозяина, словно не просил, а приказывал, сказал Окаянный и сел на лавку под божницу, едва не толкнув лохматой своей башкой голубенькую лампадку.

Меланка внесла соленья, достала круг домашней колбасы, покрытый салом, присела на краю лавки, приветила:

— Кушáйте на здоровье.

— Ну, кума, как живешь?

— Живу погано. Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик.

Окаянный разлил самогон по чаркам.

— Дайте закрашу, у меня наливка вишневая есть.— Меланка поднялась, оправляя на себе ворох спидниц, но второй махновец придержал ее тяжелой рукой.

— Не надо, кума.— Высоко поднял он чарку, повернул заросшее лицо к Федорцу.— За твое здоровье, Микола!

— Почему же за мое? — удивился Микола и даже чарку поставил на стол.

— А потому, что пришли тебя просить. Собираем силы против коммун всяких да разверсток. Хотим стать под твое начало. Ты по махновскому чину самый старший середь нас.

Микола выпил, закусил хрустящим на зубах огурцом. Сняв с колен Любу, он не спеша ответил:

— Устал я. Да и какой из меня атаман! — Поглядел в звероватое лицо Окаянного.— Вот Гриценко этот чин больше к лицу. Да и ни черта из этой организации не выйдет. Народ против нас, а против течения не поплывешь.— Последняя фраза ему понравилась, он повторил: — Против течения далеко не поплывешь.

Дыша жаром и хмелем, к нему наклонился Окаянный. В усах его запутались огуречные семечки.

— Что ж, по-твоему, за дурняка землю им отдавать?

— Сила у них. Народ на их стороне,— уклончиво сказал Микола.

Сидел он чинно, говорил сдержанно, и это не правилось махновцам. Они все чаще наливали в стаканы, пили, не пьянея. Кум Тихоненко ел много, рот у него был маленький, словно у окуня. Он завел было песню, но Меланка испуганным шепотом остановила его. Кум хвастливо заметил:

— Красных в селе нет. Одна милиция. А что сделают пять милиционеров супротив нас троих? Так, одна видимость.— Он легко, словно молоко, допил самогон и, не закусывая, понюхал кусок ржаного хлеба. Потом оперся кулаком о стол, поднялся, спросил Миколу: — Ну, как? Пойдешь с нами? Ты человек заметного калибра.

— Нет, не пойду,— ответил Микола,— рана меня мучает.

Хоть и был он хмельной, а что-то бессильное чувствовалось в нем.

— Вот оно что! — Окаянный вплотную подошел к Федорцу. Кривя губы, сказал: — Не пойдешь с нами, выдадим тебя милиции. Тут дело такое — или за нас, или супротив нас, середины нема.

Микола тоже поднялся со скамьи и, округлив глаза, крикнул побелевшими губами:

— Сказал — не пойду, и баста! А пугать меня нечего, я больше вас пуганый. Да я сам в ЧК заявлюсь, амнистируют...

Голос его вдруг ослабел. Он в первый раз, не таясь, вышел во двор, глянул на улицу через плетень. У соседнего двора стояли девчата. Одна из них что-то рассказывала, остальные хохотали.

«Проходит война»,— подумал Микола. От девичьего смеха и от спокойного лунного света, заливавшего улицу, на душе у него стало спокойнее.

Когда Микола вернулся, Окаянный кричал на Меланку, чтобы она стелила ему постель на двоих.

— Ты теперь вдовая. Все мы тебе хозяева.

Ища у Федорца сочувствия, он спросил:

— Правильно я говорю?

Микола разозлился и, хотя у него не было оружия, закричал:

— Вон отсюда, постреляю, как собак!

— Ну, ну, уймись,— бросилась к нему Меланка.

Бандиты покорно ушли, видно довольные, что хоть под конец Микола показал свой характер.

XXXIV

Ночью во сне заплакала Люба. Микола спустился с печи, подошел к кровати, на которой девочка спала с матерью, зажег медную зажигалку. При бледном мерцающем свете увидел полуобнаженное пышное тело Меланки. Она спала, и в углу ее красиво очерченного рта застоялась капелька прозрачной слюны. Белая городская сорочка с кружевами внизу сбилась выше колен, оголив сильные, стройные ноги.

С минуту он стоял возле нее затаив дыхание. Потом, словно пчелу отогнал, сдул желтый огонек, неуклюже прилег на широкую деревянную кровать, попросил:

— Подвинься.

Женщина тотчас охватила его полной рукой, обдавая горячим дыханием, зашептала:

— Пришел-таки... Я так и знала, что придешь.

Растроганный ее вдовьими ласками, Микола быстро устал, веки его слипались.

— Что же ты квелый такой? С виду будто бы красивый, сильный...

— Раненый я... не до любви мне сейчас...

Он долго слушал, как Меланка хвалила неутомимого Тихоненко, как бы не понимая, что хвальба эта сейчас не к месту, обижает любовника.

— Не найти мне теперь мужика такого, как мой Каллистрат. Бывало, рассказываю бабам, подругам — не верят. Жили мы широко, напоказ.

— Каллистрат, Каллистрат... а родила только одну девчонку. Хвастаешь все.

— Было чем, вот и хвастаю.

Отвернувшись к стене, приятно попахивающей мелом, слушал Микола, как Меланка упрашивает его сделать крест на могилу Тихоненко. Ее забота о мертвом почему-то была неприятна ему.

Засыпая, он думал о том, что с этой женщиной, вероятно, легко в жизни, что она, пожалуй, могла бы стать ему женой, родить сына. Но все это было несбыточно. Недаром

Окаянный грозит. Он, Федорец, вне закона. И жизнь его будет совсем нелегкой, и угроза второго расстрела, словно тень, следует за ним неотступно. Он почувствовал холодный нервный озноб и, чтобы избавиться от него, плотно прижался к горячему телу, заслонился им, словно горой.

С женщиной было хорошо и легко, она умела успокоить, утешить, и Микола скоро забыл все свои дурные мысли и в первый раз за последнее время уснул крепким, здоровым сном, ни черта не думая, ничего не боясь.

Проснулся от громкого разговора. За ситцевым занавесом, отделявшим кровать от остальной части комнаты, какая-то косноязычная баба рассказывала Меланке, трудно ворочая мятым языком:

— Убили Ульяну, замучили...

— Что ты! За что они ее, такую хорошую? Подруга она мне была. Разом у Каллистратового отца батрачили, а потом Каллистрат посватал меня, и теперь вот все хозяйство свалилось на мои вдовьи руки.

Меланка всхлипнула.

Микола приподнялся на локте, прислушался. Про эту Ульяну Меланка рассказывала ему — была она председателем сельского совета. Микола тогда уловил в голосе Меланки человеческую теплоту, добрую зависть.

— Троих убили, а два милиционера ускакали на конях в город, привели с собой отряд красноармейцев. Вместе с ними сейчас по всему селу шарят.

Вместо «р» баба произнесла «л», говорила «шалят», так что Федорец не сразу понял, а поняв, съежился. «Найдут, на меня подумают».

Микола натянул на голову одеяло. Слышал, как баба сказала:

— Ты б побегла посмотреть на побитых, лежат они возле расправы. А я с Любкой побуду. Кровищи там натекло!

— Нет, нет, ты иди, Мироновна, я зараз.— Почти силком Меланка выпроводила непрошеную гостью, кинулась к окну. Три красноармейца не спеша привязывали коней к ее плетню. Один из них, высоко подняв Любу, смеялся.

— Ой, боже мой, что же нам делать? Найдут тебя.

— Есть у тебя какое оружие?

— В клуне пулемет закопанный.

— Не годится. Давай сокиру!

Он взял из рук женщины топор, пошел в сени, сжал

в руках гладкое семивершковое топорище, тронул указательным пальцем, словно струну, певучее лезвие.

Во дворе звонко рассмеялась Люба, смеялись красноармейцы.

— Что ж это ты — и себя погубить хочешь, да и меня заодно губишь? — Испуганный взгляд Меланки метнулся по хате, на минуту задержался на открытой чердачной ляде.— Лезь на горище. Там с левой стороны сон, заройся в него, лежи, пока не дам тебе знак вылезать.

И вот Микола Федорец, вытянув вперед руки, идет в темноте на свет, сеющийся сквозь слуховое окно, натыкаясь на острые предметы. На чердаке пахнет густо смазанной дегтем лошадиной сбруей, сухой пылью. На деревянных стропилах висят хомуты, венки лука, паутина. Снизу долетают шумные голоса красноармейцев, звонкий смех Любаши. Вот голоса стихли. Красноармейцы вошли в хату.

Время тянется медленно. Глаза постепенно привыкли к темноте. Микола увидел кучу румяных яблок, над ними кружатся тонкие полосатые осы. В одном яблоке осы проели дыру, облепили его, старательно пьют сок. А вот и гнездо их между балкой и железным листом крыши, похожее на кусок подсолнуховой шляпки без семян.

«Хорошо бы жить на свете осой»,— в тоске и страхе думает Микола, берет яблоко, машинально подносит ко рту.

Что это? Кажется, снизу в ляду ударили. Так и есть, лезут на чердак. Микола отшвырнул недоеденное яблоко и поглубже зарылся в кучу подсолнечных семян. В рот и нос набилась терпкая пыль, подмывало чихнуть, но он закусил губу, сдержался. Слух его болезненно обострился.

Вот они прошли весь чердак, остановились невдалеке от Федорца, видно свыкаясь с темнотой.

— Ничегошечки не ведает о бандитах. Ядовитого характера тетка.

— Богато живет, красивая.

— Ну, пойдемте. Никого здесь нет. В лесу надо бандитов искать.

— Э, нет, здесь кто-то есть. Видишь яблоко? Недавно кто-то надкусил.

Федорец сразу узнал хриповатый голос начальника команды, которая расстреливала его. Он весь обомлел: «Господи, помоги!»

— Надо поискать хорошенько.

Красноармейцы снова пошли по чердаку. Слышно было, как они переворачивали деревянные хода, рылись в сене и наконец остановились у кучи семян, в которую зарылся Микола.

— Надо еще здесь пощупать.

Красноармеец с силой воткнул винтовку в кучу, штык, обжигая холодом ногу, прорвал на Миколе штанину.

«Господи, не лиши разума, не дай закричать»,— молился бандит.

Штык прошел у самого его лица, потом, в третий раз войдя в семена, неглубоко вонзился ему в плечо. Собрав все свои силы, Микола сдержал стон. Штык еще несколько раз шаркнул поблизости от тела.

Красноармейцы спустились вниз.

Зажав ладонью рану, почти в беспамятстве лежал Федорец, высунув голову из своей засады. Вот и свет, льющийся из окна, порозовел. Заходит солнце, а Меланка все не идет к нему. Наконец свет померк, как бы испарился. На чердак хлынула темнота. Тотчас все исчезло в ней. Микола уснул.

Меланка разбудила его ночью. Он спустился вниз, пыльный, окровавленный и грязный.

— Что они с тобой сделали?

Микола рассказал.

— Ах, изверги! Нет на них казни!

Меланка достала из печи казан с водой и, как в тот раз, промыла рану, приложила к ней во всех случаях помогающий листок подорожника. Рана была пустячная.

— Ну что, поймали Окаянного? — спросил Федорец.

— Махновцы не курчата,— не без гордости ответила женщина.

— Верно говоришь, Меланья Устиновна.

Во дворе залаяла собака, в ставню осторожно постучали. Микола прислушался, за стеной шелково шелестел дождь.

— Что за люди? — спросила Меланка и вдруг шепнула Миколе: — Полезай на печь. Рядном накройся.

— Что ты! Надоело мне все это! Давай сокиру! — Он схватил под лавкой топор, стал за дверь.

— Открывай, кума. Не бойся. Свои,— послышался со двора голос Окаянного.

Меланка отбросила крюк, отодвинула кованый засов. В хату осторожно вошли три бандита, одетые в мокрые полушубки. В волосах Окаянного запутался желтый ду-

шистый листок, в бороде светились капли дождя, на тяжелые сапоги налипли комья грязи.

— Ты хотя бы ноги вытер,— пожурила его хозяйка.

— Не до чистоты нам зараз,— глухо сказал Окаянный.— Выкапывай пулемет. Ставь хлопцам вечерять. Ничего не жалей. Ставь колбасу, сало, пока продармейцы не забрали. В село продармейцы наведались. Все, как один, городские.

Товарищи Окаянного были крепкие пожилые мужики, ели они много и жадно, словно свиньи над корытом, наклоняясь над столом. Съели по тарелке холодца, два круга колбасы, втроем выпили четверть сладкой наливки.

— Побили мы милиционеров,— сказал один из бандитов.

— Знаю,— ответил Микола,— и жалею, что не было меня с вами. Смалодушничал я тогда, Гриценко, а сегодня пойду. Под расстрелом был — теперь чего же мне бояться?

— А я думала — пагоревался ты, скуподушный стал, негожий к делу,— призналась Меланка.

После ужина выкопали смазанный подсолнечным маслом пулемет, несколько цинок патронов, два нагана, с десяток гранат.

— У меня во дворе, в гною, трехдюймовка закопана,— похвастал один из бандитов,— а снарядов нет.

Федорец с удовольствием поиграл наганом, сунул его в карман, к поясу подвесил две гранаты, Меланка подала ему широкую Каллистратову чумарку синего сукна.

— Ну, прощай, Меланья Устиновна!

Он подошел к кровати, поцеловал Любу в лобик.

Вдова рванулась к нему.

— И я с вами!

Федорец засмеялся.

— Ты ж баба. Тебе у печки жить, вот и вся твоя судьба.

Вышли на улицу. Затяжной осенний дождь смочил землю, ноги разъезжались в грязи. Окаянный тащил за собой железное тело пулемета на катках, глухо говорил:

— Люди сейчас самый дешевый товар. Как подумаю, сколько их набили, озноб по спине идет.

На колокольне печально ударили в колокол: раз, два, потом еще и еще. Церковный сторож отбивал часы.

— Словно по покойнику звонит,— заметил один из бандитов.

Микола насчитал тринадцать ударов, вздрогнул,— а не ему ли быть сегодня покойником? На какое дело идет!

На углу улицы из палисада вышли еще трое взъерошенных, мокрых. Спросили:

— Достали пулемет?

В поповском дворе стояли подводы продармейцев, в доме масляно светились окна. У двора несколько человек разговаривали, курили. Окаянный закрепил механизм горизонтальной наводки, взялся за шершавые ручки затыльника.

— Ну, с богом!

Затарахтел пулемет. Пули со свистом врезались в гущу подвод, лошадей и людей. Из окон дома посыпались стекла, послышались крики. Раздались редкие, словно удар батога, выстрелы.

Бандиты кинулись вперед, ворвались в дом. Встретил их продкомиссар — старый еврей в пенсне с черным шнурком, закрепленным за большим волосатым ухом. В руке у него дымился маленький револьвер.

— Сволочи вы! — выругался комиссар.— Обреченные...

Микола выстрелил в него, не целясь. Комиссар повалился навзничь, запрокинул кверху бескровное, измученное лицо. Он пытался что-то сказать, руки беспокойно шарили по полу, а Окаянный уже поднял его, опустил на стол, на котором стояла недоеденная яичница, оглянулся. В дверях, словно в раме, стоял бородатый священник в лиловой рясе, с высоко поднятым медным подсвечником, на котором потрескивала тоненькая восковая свеча.

— Так ему, христопродавцу, и надо...

— Батюшка, давайте нож или бритву,— попросил скуластый немолодой кулак.

Словно крест, вынес поп острый нож, которым колют свиней. Бандит расстегнул красное комиссарское галифе, ловким ударом ножа вспорол еще живому человеку живот, а со двора уже несли две полные шапки пшеницы. Зерно всыпали в дымящиеся внутренности человека.

— Вот тебе продразверстка! — сказал бандит и принялся стягивать с мертвеца хромовые сапоги, испачканные глиной.

Со двора несся набат. Церковный сторож неистово дергал веревку, и над селом летел требовательный, призывный голос колокола, поднимая мужиков.

В хату вбежал сын попа, гимназист, в фуражке с двумя белыми металлическими листами над расщепленным козырьком.

Размахивая разряженным монтекристо, крикнул:

— Спасайтесь, мужики окружают!

— Нас? Мужики окружают? — оторопел Микола и выбежал во двор.

До этого дня он продолжал думать, что махновцы — это армия крестьян, и даже себя считал маленьким крестьянским вожаком.

По ним стреляли, пули сыпались отовсюду, откалывая от ставен, дверей и заборов сосновые щепки. В пулемете что-то заело, и Микола видел, как Окаянный в пылу битвы бросил пулемет, взвился над плетнем и провалился в темноту, на ходу крикнув ему:

— Бежим, побьют!

Что бы в этом случае сделал Махно? Но думать было некогда, и Микола побежал вслед за другими. Бессильная ярость душила его. На дороге он споткнулся о чье-то тело, наклонился, узнал махновца, снявшего сапоги с комиссара. Махновца убили наповал, и ноги его в ненужных теперь сапогах были широко раскинуты. Федорец пробежал мимо, но потом вернулся, двумя рывками сорвал сапоги и, прижимая их рукой к груди, побежал дальше. Огородами он пробрался к усадьбе Тихоненко, неистово забарабанил кулаками по ставне. Меланка впустила его в хату и снова отправила на чердак. Микола боялся, что по свежему следу ворвутся разъярившиеся мужики. Но никто его не преследовал, и он напрасно бодрствовал всю ночь, прислушиваясь к каждому шороху.

Через два дня на чердак поднялась Меланка, рассказала, что всех бандитов переловили. Крестьяне встретили эту весть одобрительно, многие из них говорили: «Всех их, подлюк, перестрелять надо».

Федорец молча выслушал Меланку. Сказал:

— Нельзя мне здесь оставаться.

— В Харьков до своих тебе ехать треба...

XXXV

Через день Микола, тайком пробравшись на станцию, поехал в Харьков.

Забравшись на самую верхнюю, багажную полку, закрыв лицо мохнатым воротником полушубка, он жадно слушал разговоры словоохотливых пассажиров. Разговоры для него были нерадостные. Чувствовалось, народ сжился с советской властью, поверил в нее.

Сойдя с поезда в Харькове и свернув в первую от вокзала улицу, Микола встретил похоронную процессию. Впереди несли венки из веток хвои и бумажных цветов. Ветер играл кистями и бахромой легкого катафалка, белыми рваными сетками, наброшенными на худых лошадей. Сам не зная зачем, Федорец присоединился к процессии. Никто не обратил на него внимания. Это дало уверенность, что в шумном городе он легко затеряется, может быть, приспособится к советским порядкам и заживет незаметной жизнью.

Поселился Микола Федорец в конце Клочковской улицы, за зоологическим садом, в старом деревянном доме, на отшибе, в квартире одной из многочисленных родственниц Тихоненко. Родственница эта, благообразная старушка с очками, вздернутыми на узкий лоб, с утра ставила на стол большой медный самовар, а потом уже в течение всего дня подбрасывала через конфорку кусочки древесного угля. Она бесконечно пила чай. Запах углей и самовар, окутанный облаком пара, придавали уют этой квартире.

В комнате царила строгая чистота. Было несколько шкафов, набитых книгами. Это обрадовало Миколу. Он облюбовывал книгу, брал в руки карандаш и ложился на продавленный ковровый диван. С утра и до вечера читал, обдумывал понравившиеся ему места, смутно сознавая, что надо заняться чем-то более существенным, как-то действовать, подыскивать себе работу. Жить на содержании старушки было стыдно, но пойти по адресу, который дала ему Меланка, не хватало воли. Он подозревал, что люди, которых встретит, опять втянут его в политику.

Вечерами Микола выходил прогуляться и долго бесцельно бродил сырыми улицами. Харьков, немного неряшливый, нравился ему. Особенно Благовещенская церковь, чем-то напоминавшая Собор Парижской богоматери,— сейчас по ночам он читал роман Гюго.

Городу не хватало реки, зеркала, в котором он мог бы увидеть свою красоту.

Однажды на Сумской улице, у памятника писателю Карамзину, Микола совершенно случайно встретил Степана Скуратова. Степан был в мягкой шляпе, в хорошем пальто и резко выделялся среди толпы, в которой преобладали серые солдатские шинели. Несмотря на то что на розовощеком лице Степана появилась остренькая эспаньолка, Микола сразу узнал его. Да и Степан тоже узнал

Миколу, попятился было назад, пытаясь избежать встречи, но раздумал, шагнул к Миколе и рявкнул:

— Здорово!

Уведя Миколу подальше от света, к высокой железной ограде, он засыпал его вопросами.

— А я слыхал, будто шлепнули тебя. Значит, брехали... Ну, как живешь, чьим хлебом кормишься? Кого видел из наших?

Они прошли в университетский сад, сели на мокрую скамью. Микола отвечал не таясь. Резко спросил:

— А ты как?

— Я, брат, почти в наркомы вылез. Кстати, фамилия у меня теперь революционная: Буря. Пойдем ко мне, поговорим по душам. Надо и тебе пристраиваться. Познакомлю с женой. Женщина она во всех отношениях полезная.

— С женой?.. Ты что, бросил Одарку? — взорвался вспыльчивый Микола.

— Видишь ли, обстоятельства иногда сильнее нас, они-то и заставили меня связаться с этой женщиной... Ты о ней слышал. Это невестка Змиева. Муж ее, Жорка, врангелевский офицер, погиб в бою. Она еще до его смерти путалась с комиссаром Абрамом Полонским, считалась его женой. Комиссара хлопнул батько Махно, и она сразу попала в великомученицы, в героини. Красивая, умная женщина, даже при советской власти вертит влиятельными людьми. Это она меня в комиссары выдвинула.

— Ну, а про моего батька что слышно?

— Скрипучее дерево два века живет... Был я у него недавно. Все чудачит, стены в хате от потолка до пола обклеил николаевскими деньгами, словно обоями, окончательно потерял надежду на возврат прошлого. Я ему присоветовал добровольно отдать землю. Со скрежетом зубовным отдал, вступил в коммуну и сейчас на хорошем счету у советских властей. Не обошлось, конечно, без озорства: вырубил старик фруктовый сад на дрова.

Они вышли из сада. На углу двух улиц заместителя наркома поджидал длинный заграничный автомобиль. Шофер предупредительно открыл дверцу, тронул машину; шелково шелестя шинами по мостовой, она легко покатилась вперед.

Жил Буря-Скуратов в конце Сумской улицы, в сером особняке с колоннами и с большим стеклянным куполом на крыше. Особняк оберегали милиционер и четыре ка-

менных льва — два у витых железных ворот, два на крыльце, на которое ветер нанес охапки желтых кленовых листьев.

В гостиной, отделанной ореховым деревом, сидели хорошо одетые гости — трое мужчин и две женщины. Одна из них, маленькая красивая шатенка, и была хозяйкой. Крепко, по-мужски, пожав руку Миколе, пригласила его к столу, на котором желтел в бутылках коньяк и были расставлены блюда с закусками.

Вторая женщина, молодая и тоже красивая, в строгом, по фигуре сшитом костюме, в лакированных туфельках на высоких каблучках, внимательно взглянула на Миколу, длинными ресницами стыдливо прикрыла глаза. На подкрашенных кармином губах ее мелькнула еле заметная улыбка. Федорец напряг память. Он уже где-то видел и эту улыбку, и губы, и черные проницательные глаза.

— Мне нравится ваше лицо. Если бы у вас был еще тенор, вы могли бы петь в опере,— чуть хрипловатым, насмешливым голосом объявила женщина.

И как только Микола услышал голос, так сразу и вспомнил: Серафима Сатановская из Особого отдела ВЧК Юго-Западного фронта. Она руководила подавлением восстания махновцев в 1-м запасном полку, помешала передаче красного бронепоезда батьке, смело проникала в банды, сходилась с атаманами, заманивала их в ловушки, присутствовала при расстрелах своих любовников. Как-то Микола Федорец застукал ее у себя в штабе за важными документами, долго допрашивал с пристрастием, бил по прекрасному лицу рукояткой нагана, настаивал перед Нестором Ивановичем, чтобы ее расстреляли. Но красные легко согласились обменять ее на Гаврюшу Трояна и еще трех махновских командиров, захваченных в плен, и пока велись переговоры, красавица соблазнила часового и, пырнув его снятым с винтовки штыком, сбежала из-под замка. «Узнала ли она меня? И почему оказалась в доме Степана? Случайность ли это, или все подстроено заранее?» — мучительно думал Микола, и мятный холодок страха от затылка катился по его спине.

— Ну, видел новые деньги? — спросил Степана один из гостей, оказавшийся народным комиссаром Украинской республики.— День ото дня креппет советская власть.

— Слышал, но еще не видел, хотя имею о них представление. В газетах были напечатаны снимки,— ответил Буря.

Нарком вытащил из жилетного кармана билет, на ладони подал его Буре.

— Теперь конец астрономическим цифрам: коробка спичек — сто семьдесят пять тысяч рублей!

— Ну, это пошло на пользу, народ научили считать,— помешивая золоченой ложечкой чай в стакане, заметила жена Бури.— Неграмотные бабы с миллиардными цифрами управлялись.

Свет от хрустальной люстры падал на ее темные узкие брови, на слегка подкрашенные губы.

Откуда-то издалека, из отдаленных комнат, послышалась детская песенка. Голос приближался, и в комнату с куклой на руках вбежала крохотная девочка в коротеньком кружевном платьице, остановилась на пороге.

— А, папа! А я и не слышала, как ты приехал. Привез мне шоколад? — спросила она, щурясь на яркий свет.

— Привез, привез, моя певунья. Коробка в кармане пальто.

Изумленными глазами смотрел Микола на девочку. Степан наклонился к Федорцу, сказал:

— Что ты смотришь на нее, как на чудо? Это моя падчерица. Мне в моем положении без семьи никак нельзя, я на виду. Да и залог соответствующий нужен. В случае чего — семья в ответе. Ну, а ты как — в партии?

— Нет, не в партии.

— Первым делом надо тебе в партию записаться. Сейчас перед беспартийным человеком все дороги закрыты. Не доверяют. Берут только на черную работу. Что ж, подавай заявление. Мы вот с Никодимом Васильевичем словечко за тебя замолвим.— Буря указал головой на соседа, с лицом кутилы, и сказал ему громко: — Это наш человек, Никодим Васильевич, товарищ Федорец Микола Назарович, был у Нестора в штабе.

Никодим Васильевич с интересом посмотрел на Миколу, спросил:

— Что же вы умеете делать, молодой человек?

Вопрос застал Федорца врасплох.

Что он умел, если сознательную жизнь начал с бандитизма? Подумав немного, сознался:

— Кажется, практически ничего не умею. Сижу дома, то есть у хозяйки моей, перечитываю приложения к «Ниве».

— Послушай, а ты, насколько мне помнится, что-то

пописывал. В гимназии тебя вроде дразнили рифмачом,— вспомнил Буря.

— Так, баловство одно. Хотя стихи действительно писал и даже сочинил гимн махновцев.

— А мне поручили наладить украинскую литературу. Вот ты бы попробовал что-нибудь накропать. Республику создали, а настоящих писателей не слышно, Винниченко сбежал. Попробуй. Если даже и арестуют тебя потом за старое, все, как писателю, снисхождение будет. Напиши и ступай к Остапу Александровичу Вражливому — он редактор, газета «Прапор» в его руках.— Буря кивнул на третьего гостя, бледного и, очевидно, чахоточного.

Тот поднял от книги худое лицо, с раздражением сказал:

— К чему эти откровения при женщинах?

— Ну, за них можешь не беспокоиться, бабы у меня в руках.

Вошли новые люди. Разговаривали здесь свободно. Беседа оживилась. О Миколе постепенно забыли. Он встал из-за стола, пошел по комнатам, рассматривая старинные картины и богатое убранство. Предложение Бури показалось заманчивым. Но о чем написать?

Возбужденный, вернулся он к себе, нашел пачку веленевой бумаги, сел за стол. Подумал: «Вот она начинается, новая жизнь». Недавно он читал, что французский писатель Бальзак жил одно время на Украине и венчался в церкви святой Варвары в Бердичеве. Он кое-что читал о Бальзаке и ясно представлял себе толстого, неутомимого человека, ценой бессонных ночей создавшего пирамиду своих романов.

Он подумал: у Бальзака могли быть случайные связи с украинками, значит, и в нем, Миколе, может быть, течет кровь Бальзака. Сумасбродная мысль понравилась Миколе, и он размашистым почерком написал на листке бумаги заглавие: «Кровь Бальзака». Потом походил немного по комнате, сел за стол и начал писать.

Первая фраза долго не давалась. А когда он написал ее, показалась корявой, и он перечеркнул ее жирным крестом. Потом написал другую фразу, но и ее пришлось зачеркнуть безжалостно. Казалось бы, чего проще — сиди и записывай, что видел, а между тем, оказывается, писать трудно, не знаешь, с чего начать, не находишь нужных слов. Пожалуй, вслух рассказать, что надумал, еще можно, а вот на бумаге записать — не получается.

Все-таки он исписал целую страницу, перечитал, и его охватило отчаяние бессилия. Все не так, и все не то. Написанное ничем не отличалось от посредственного школьного сочинения. Интересно — как пишут знаменитые писатели? Из книжного шкафа он достал однотомник Пушкина, открыл страницу наугад. «— Молчать, или вы пропали. Я — Дубровский»,— прочитал он.

Обыкновенные слова, а все ими сказано, весь человек перед глазами.

И лучше не скажешь. В чем же секрет, почему у него, Федорца, столько слов на странице, а ни одно не горит, не западает в душу?

Разве все бросить к черту и завалиться спать? Нет, работать, работать до пота, но добиться своего! Поразмыслив, он решил записывать все, что придет в голову, а потом уже отобрать хорошее и нужное; он стал писать быстро, не перечитывая, не дописывая окончания многих слов и не замечая этого.

Стоп! Эвелина Ганская. Какая она? Какого цвета у нее волосы? Как она одевалась, о чем могла говорить с Бальзаком? Проклятое ремесло, сколько оно ставит перед писателем вопросов, и на все нужно ответить. Все надо знать: и как одевались люди в середине прошлого века, и какие были экипажи, какая разница между кленом и ясенем.

Но он так и не смог представить себе внешность Эвелины Ганской, не слышал ее голоса, не видел ее манер. В воображении его вставала Меланка, и он стал описывать ее под видом Эвелины Ганской.

Бальзак, как это вычитал Микола в журнальной статье, во время работы пил кофе, чай. Это отгоняло сон, возбуждало. Из чайника, разрисованного цветами, Микола налил чашку бордового чая. Чай назывался «чинчи-пу», был приготовлен из какой-то дряни, противен на вкус. Но Микола мужественно выпил всю чашку без сахара и снова сел за стол. Остро отточенный карандаш полетел по бумаге.

Иногда Микола откидывался на спинку стула и, покачиваясь на задних его ножках, начинал воображать, как с помощью Степана Бури сделается знаменитым пролетарским писателем. Таким знаменитым, что потом, когда он признается в своих грехах, большевики простят ему заблуждения молодости. Ради одного этого стоило потрудиться.

За стеной у соседей задребезжал будильник, задвигались стулья. Душная тьма за окном рассеялась, наступило утро. Микола бросился на диван и тотчас уснул сном праведника.

В первом часу он встал, положил рукопись в карман и отправился в редакцию.

Вражливого еще не было. Его пришлось ждать часа два. В редакции кипела жизнь, журналисты приходили, уходили, рассказывали анекдоты, перекидывались шутками, выслушивали посетителей, пришедших в газету с личными своими делами. Это был мир, еще незнакомый Миколе.

Среди сотрудников в глаза бросился маленький горбатый старичок в очках. Суетливый, пронырливый, он несколько раз прошел мимо Федорца, внимательно его оглядывая. Наконец спросил:

— Вам к кому, товарищ?

— К редактору,— ответил Микола, сразу невзлюбив неприятного старичка.

— Редактора еще нет. Вы по какому делу?

— Да вот рассказ принес.

— Рассказ. Это хорошо. Как раз по моей части.— Не спрашивая дозволения, старичок вырвал из рук Федорца рукопись, уткнул в нее нос и быстро пробежал глазами.

— Плохо, очень плохо, молодой человек. Зачем это вам понадобился Бальзак? Вы же о нем только краем уха слышали. Вздор, чепуха. Вы красноармеец?

— Да, служил в Красной Армии,— покраснев, соврал Микола.

— Вот бы и описали какой-нибудь боевой эпизод. То, что на своей шкуре испытали. Получится. Самое главное — знать, о чем пишешь. А искорка в вас тлеет. Раздуть ее надо, раздуть.

Федорец грубо вырвал рукопись из цепких старческих пальцев. Старичок не смутился, сказал назидательно:

— Смею вас уверить, что вдохновения не существует. Выдумки для несовершеннолетних. Секрет успеха в литературе — упорство, как, впрочем, и в любой области жизни.

Старичок еще некоторое время потарахтел и исчез. Но слова его внесли сомнение в душу Миколы. Выходит, он зря потерял время, писал не то, что надо.

Все же, когда явился Вражливый, Микола пошел к нему в кабинет. Редактор узнал его, встретил приветливо

и тотчас отправил к машинисткам — продиктовать написанное.

Когда Микола диктовал, машинистка удивленно поднимала брови и смеялась. Особенно рассмешило ее слово «мистраль», а это слово очень нравилось Миколе. Смех машинистки показался ему плохим предвестием.

Поминутно краснея, он все же продиктовал до самого конца свирепым голосом. Отпечатанные листы он понес к редактору.

Вражливый прочел, постучал длинными пальцами по зеленому сукну стола.

— Бальзак у вас говорит, как ломовой извозчик, а Эвелина похожа на деревенскую бабу. Товарищ Буря рассказывал, что вы ушли из-под расстрела. Вот об этом и напишите.

XXXVI

Вернувшись домой, Микола подождал, пока старушонка, помолившись перед ласковыми ликами Иисуса и богородицы, улеглась спать, и снова принялся за сочинительство. Теперь он напишет о расстреле, о Меланке, о чудесном своем избавлении. Рассказ этот должен потрясти читателя. Нечего особенно изощряться: десятки раз Микола рассказывал об этом Любе. Только садись и записывай.

Поработав часа два, Федорец устал, поднялся из-за стола и вдруг впервые почувствовал затхлый, застоявшийся воздух комнаты, увидел мебель в чехлах, не снимавшихся, наверное, много лет.

Воздуха! Он рванул створки окна, заклеенного газетными полосками, они лопнули и разорвались. За окном стояла осень. В темноте угадывались нависшие тучи. Унылый дождь барабанил по подоконнику. Шумел сад. Земля пахла сыростью. Порыв ветра тронул исписанную бумагу на столе, она зашевелилась, словно живая.

В соседней комнате заскрипели пружины на кровати старухи. Вероятно, струя свежего воздуха проникла к ней под ватное одеяло, покрытое легкой изморозью нафталина. Федорец захлопнул окно и снова принялся за работу. Описывал так, как было, и лишь одно внес изменение — белые расстреливали красного комиссара, он был отважен, красив, молод.

В церкви на Клочковской улице глухо пробили четыре удара. Глаза смыкались, а Микола все писал, и казалось — бумага дымится у него под пером. Теперь он был уверен в успехе.

Наконец рассказ был готов. Микола прочитал его, вымарал то, что показалось лишним, и, несмотря на смертельную усталость, принялся переписывать. Так, сидя за столом, опустив голову на исписанные листки, он и уснул.

Разбудила его старуха. В комнате было светло, на столе, словно комар, запутавшийся в паутине, тонко пел самовар. По окнам стегали прутья дождя.

— Что не спишь, полуношник? Живешь, денег вон сколько время не платишь, а керосину выжигаешь пропасть. Мне приживальщики не нужны, мне квартирант нужен с продкарточками.

— Пишу я, писателем буду...

— С твоим ли умом, батенька?

Вот и еще одна невера нашлась. А сама тоже в рассказ просится. Опиши ее вот так — в чепчике, в капоте,— с удовольствием каждый прочтет.

— Деньги я вам уплачу.— Микола сунул в карман исписанные листки, нахлобучил шапку, надел чумарку и вышел на улицу.

Вражливый был занят. Опять пришлось ждать. Микола пошел по коридорам, заглядывая в комнаты. Знакомый старичок увидел его, спросил:

— Что, переделали рассказ?

— Написал новый.

— Забавно.— И побежал дальше.

Звонили звонки, метались курьеры, один из них подошел к Федорцу, сказал:

— Идите, вас товарищ редактор просит к себе.

Вражливый прочитал рассказ, молча позвонил. Вошла девушка.

— Позовите мне Босяка.

Через минуту вошел горбун, неуютный, небритый, похожий на подбитую птицу.

— Вот вам, товарищ Босяк, новоиспеченный писатель. Прошу любить и жаловать.

Вражливый протянул горбуну рукопись, тот быстро пробежал ее глазами.

— Хорошо!

— Не слишком. Надо подправить, основательно почистить и дать в номер. Поставьте подвалом на пятую по-

лосу.— Подумал немного.— А теперь подпись. Фамилией подписывать нельзя, она слишком известна в органах ЧК. Надо придумать крепкий, выразительный псевдоним, что-нибудь вроде Горького.

— Краснопартизанский,— услужливо предложил горбун.

— Не годится. Надуманно и громоздко. Есть хорошее старинное украинское прозвище: Кадигроб. Ну?

— Загнибога тоже можно,— сказал Босяк.

Федорец подумал, махнул рукой.

— Ладно, как хотите.

— Итак, отныне вы Микола Кадигроб. Советую и документы переделать на эту фамилию. Пусть на всю жизнь.

Вечером Микола пришел в кабинет к Босяку и прочитал гранки. В кабинете безо всякого дела сидело несколько человек.

— Я давно не читал ничего подобного. Заглянул — и оторваться не мог,— сказал секретарь редакции в красноармейской форме.— Вы что, красноармеец?

— Да, служил в Красной Армии.

— В какой дивизии?

Федорец сделал вид, что не расслышал. Подумал: «Подобные вопросы будут преследовать меня всю жизнь».

Оценка секретаря заинтересовала всех. Рассказ прочитали вслух и нашли, что написан он свежо, оригинально.

Из редакции Федорец ушел без вина пьяный.

На другой день с утра пошел купить газету. Но газеты еще не подвезли в киоски. Тогда он дошел до редакции и на витрине увидел свежий номер «Прапора». Внизу на пятой странице был напечатан его рассказ. Прочитал его одним духом.

Тучный мужчина, стоявший рядом, тоже заинтересовался рассказом. Микола подождал, когда он прочтет до конца, спросил:

— Ну как, нравится?

— Занятно. А фамилия незнакомая — Микола Кадигроб. Впервые слышу.— Толстяк медленно отошел от витрины, он страдал одышкой.

Федорец едва сдержал себя, чтобы не крикнуть вслед ему, что этот хороший рассказ написал он.

Потом увидел в киоске газеты и купил сразу пять экземпляров. В сквере у бюста Гоголя сел на скамью и

прочитал рассказ во всех пяти экземплярах. Ему не верилось, что это написано им.

Весь мир окрасился в розовый цвет. Хотелось прыгать, целовать людей, кричать во всю глотку. Никогда он не испытывал ничего подобного.

К вечеру небо прояснилось. Крупные звезды переливались зеленоватым мерцающим светом. В зоологическом саду зычно ревели львы.

Вернувшись домой, Кадигроб опять присел к столу. Ему не терпелось писать. Чернильницы на столе не было. Хотел спросить хозяйку, но старуха уже спала, с головой покрывшись стеганым одеялом. Обозленный Кадигроб обшарил всю квартиру и нашел чернильницу в духовке.

Проклятая ведьма! Кадигроб перенес чернильницу на стол и приступил к работе. На этот раз — об убийстве продкомиссара. Сначала набросал его портрет: худощавое лицо, не выговаривает буквы «р», веселый нрав. А походка? Походку почему-то хотелось изобразить хромающую, а чтобы найти оправдание хромоте, описал сапоги, которые жмут.

Находясь все время под угрозой нападения бандитов, комиссар целую неделю не снимает сапог, спит в них. Когда с него, смертельно раненного, стаскивают сапоги, он чувствует в ногах странное облегчение. Комиссар встает и, зажимая рану рукой, кричит о правоте своего дела.

— Получилось здорово,— сказал себе Кадигроб и посмотрел на свои ноги; они были обуты в сапоги, снятые с убитого комиссара.

Написав этот рассказ, молодой писатель тут же принялся за новое сочинение. Теперь он писал о маленькой девочке, положив за основу свои отношения с Любой. А начав писать, не мог не задуматься над тем, как живет без него Меланка.

Рассказ о продкомиссаре Кадигроб отнес в редакцию тонкого литературного журнала. Его обещали напечатать и даже заплатили гонорар вперед; он сполна отдал его своей хозяйке, чтобы прекратить ее воркотню и придирки.

Теперь Кадигроб писал только о том, что видел и испытал, и сам убеждался, что это лучше у него получается. Он сознавал: по молодости лет запас наблюдений невелик, и надо его пополнять. Завел дневник — толстую тетрадь, в которую подробно записывал острые словечки, впечатления от людей, от их привычек и внешности.

В тетради можно было найти записи о том, как сладко пахнет акация, как поют снегири, о том, что пчелы из цветов горчицы делают сладкий мед, что у писателя Кирилкина откормленное, плутоватое лицо, а сам Кирилкин хам и язва. Во время писания рассказов Микола заглядывал в тетрадь и все использованное зачеркивал карандашом.

К концу года Кадигроб написал семь рассказов, три из них были напечатаны. Он назвал их «Баллады» и отнес к Вражливому. Редактор старательно выправил текст, прочел Кадигробу лекцию о строении сюжета и написал предисловие, в котором говорилось, что в украинской литературе загорелась новая звезда.

Книга вышла зимой. В газетах появились отзывы, тираж книги быстро разошелся. Газеты соглашались с оценкой книги, данной Вражливым.

Так Микола Федорец стал писателем Кадигробом.

XXXVII

Полгода он провел в непрестанной работе над самообразованием. Писал мало, все больше сидел в читальном зале городской библиотеки. Садился за стол у широкого окна и, обложившись книгами, принимался за чтение, делая выписки в своей толстой тетради.

Служащие библиотеки и посетители давно привыкли к его фигуре, склонившейся над столом. Читал Кадигроб без разбора: политическую экономию, философию, классическую литературу, пытался одолеть Маркса.

Каждый день он просматривал газеты. Изредка в них упоминалось имя Махно, который появлялся то на берегах Днепра, то в Бердянске, то у Геническа, повсюду сея смерть, грабя и поджигая села. Но уже ясно было, что песенка его спета, и это радовало Миколу. С гибелью Махно он избавлялся от самого опасного свидетеля своего прошлого.

Его знали. На улице он часто слышал, как за его спиной вполголоса называли его фамилию.

С величайшими предосторожностями и осмотрительностью Кадигроб сочинил себе революционную биографию. Закончив этот труд, он подал заявление в партию. Принимали легко, веря на слово: его рекомендовали Вражливый и Буря.

«Ну вот, и достал я отмычку ко всем советским дверям»,— цинично подумал Кадигроб, небрежно опуская партийный билет в карман.

«Баллады» имели успех. Нашлись желторотые подражатели его манере писать.

В то время, как грибы, появлялись мелкие писательские группы, сочиняли литературные платформы и вели междоусобную борьбу. Главой одной из таких группок оказался Кадигроб. Осмотрительный и осторожный, он сначала решил отказаться, но Буря сказал, что отказываться ни в коем случае нельзя.

Противником Кадигроба была группа, руководимая поэтом Крашанкой. Обе группы имели свои журнальчики, и в них с наивной запальчивостью поносили друг друга, доказывая свою истинную приверженность делу пролетариата.

Однажды Буря вызвал Кадигроба и Крашанку в наркомат. Время для вызова было необычное — первый час ночи. Здесь, в строгой, ярко освещенной приемной, они впервые могли как следует рассмотреть друг друга. Кадигроб был уверен, что сразу разгадал высокого чернобородого Крашанку.

«Враль и хвастун»,— подумал Кадигроб.

Хлопнув по плечу Кадигроба и глядя на него исподлобья, Крашанка дружелюбно сказал:

— Мы с тобой единоверцы. Враждовать нам незачем.— И, поглаживая ладонью бороду, сверкая изумрудом на пальце, добавил: — Нечего нам с тобой драться, мы вроде как пальцы одной руки. А впрочем, не люблю болтать, я человек дела.— Помолчав немного, предостерег: — Ты с Бурей особенно не балагань, не спорь, не терпит противоречий.

Их позвали к наркому.

В кабинете у письменного стола стояла кадка с большим фикусом. Крашанка ткнул в землю окурок, спросил:

— Зачем тревожишь?

— Слабо вы деретесь. Надо больше нападать друг на друга, чтобы была видимость ожесточенной борьбы. Партийных литераторов нужно ссорить, сталкивать друг с другом, злить... выбивать из седел... В литературу прутся рабочие парни, красноармейцы, мужики.

Крашанка снова закурил, спрятал насмешливое лицо в дыме папиросы.

Кадигроб, уже уверенный в себе, воспринял слова Бури как насилие. Словно его, сытого, заставляют есть не-

вкусное блюдо. Он взглянул на Бурю. Взгляды их встретились. Кадигроб понял. Внутренний его протест — не больше чем самообольщение. Это нужно признать раз навсегда. У него — хозяин, который требует повиновения, иначе его сотрут в порошок, уничтожат.

Литературные дела Кадигроба шли в гору. «Баллады» были переведены на русский язык. Кадигроб продолжал жить в сонном домике у старушки, работал при свете керосиновой лампы. Старуха, когда он исправно стал платить ей, прекратила свою воркотню. Она была неразговорчива, хорошо готовила, заботилась о его белье.

В свободное время Кадигроб уходил в конец Барачного переулка и садился на краю глубокого глинистого яра. Там, внизу, на песчаном дне, промытом дождевыми водами, рос могучий, словно кованный из металла дуб. Яр был такой глубокий, что гигантская крона дуба не дотягивалась до краев. Маленький человек смотрел на могучее дерево сверху вниз. Ему казалось, что оно унижено. Было что-то общее между ним и этим царственным дубом, посаженным в яму. Какое чудесное стихотворение можно об этом написать!

Кадигроба по-прежнему тянуло к стихам, но они не удавались ему. Он безжалостно рвал все свои творения.

Заботами Бури Кадигробу в старом многоэтажном доме отвели квартиру из трех комнат с балконом, выходившим на городской парк.

В тот же день Кадигроб нанял на базаре телегу, поставил на нее свой чемодан, связки книг, расплатился с хозяйкой. Телега, нагруженная скарбом холостяка, тронулась к новому жилью.

Широкоплечий возчик в полосатой матросской тельняшке, крупно шагая рядом с лошадью, говорил:

— Имущества у тебя на две корзины. В руках донести можно, а ты ломового взял. С запасом, значит, живешь. Русский человек все делает с запасом.

— Я не русский, а украинец,— с раздражением заметил Кадигроб.

— Украинец — родной брат русскому. Я как служил на «Мировой революции» — бронепоезд так наш назывался,— были там и китайцы, и мордва, и узбеки. И все жили как братья. Одна, значит, семья.

Кадигроб не ответил. Шагая рядом с лошадью, возчик тихонько запел:

Скакал казак через долину, через Кавказские края,
Скакал он, путник одинокий, кольцо сверкало на руке,
Кольцо казачка подарила, когда казак пошел в поход,
Она дарила, говорила, что «через год буду твоя».
Вот год прошел, казак стрелою к себе в станицу прискакал.
Навстречу шла ему старушка, с насмешкой речи говорит:
«Напрасно ты, казак, стремишься, напрасно мучаешь коня:
Тебе казачка изменила, другому сердце отдала...»

Эту песню Кадигроб уже слышал где-то. Спросил возчика, откуда он ее знает.

— С бронепоезда. Любимая наша песня. Как побьем, бывало, французов, Деникина или Махно, так и поем ее,— ответил возчик.

И тотчас Кадигроб вспомнил, где слышал эту песню. Ее пели пленные матросы в Бердянске в ночь перед расстрелом. Красиво пели, и ночь была лунная, красивая, и люди те умирали красиво, не так, как он с Тихоненко. Расстреливали их на берегу моря. Было холодно, замерзали брызги соленой воды. Крутые волны смыли трупы с песка и унесли с собой.

Значит, никуда ему не уйти от этих напоминаний, от ненависти народа к белякам. Знал бы этот возчик, что везет имущество махновца...

Кадигроб отстал, пошел вдали от телеги, по тротуару. Холодный дождь хлестал ему в спину.

Комнаты в новом доме оказались просторны. Обставлять их нечем. Гулко раздавались шаги. Хмурая, унылая тоска.

«Надо обзаводиться всякой ерундой»,— с отвращением подумал Кадигроб. Сама собой пришла мысль о женитьбе. На ком жениться? На Мелашке? Он и не знает, как она живет, за все время не написал ей ни строчки.

Вышел на балкон. Осенний ветер низко гнал над землей тучи. Словно медные, поблескивали деревья в парке. Кадигроб оделся, вышел в парк, долго бродил по пустынным аллеям. Стало жарко, он расстегнул пальто, присел на мокрую, источенную червями деревянную скамью и так, в бездумье, просидел до темноты.

Поднялся с головной болью, его знобило. Дома, не раздеваясь, повалился на кровать. Этажом выше кто-то передвигал тяжелые вещи. Грохот воспринимался как обвал, на него будто рушились каменные глыбы, он убегал от них, падал, подымался и... приходил в сознание.

— Кажется, я заболел,— говорил он себе и снова впадал в томительное забытье.

Потом почудилось, что в комнату, журча, вливается вода. Прислушался. Звонил телефон. Он снял трубку, прислонился к стене. Женский голос спрашивал, как он устроился на новой квартире.

— Кто это?

— Анна Павловна. Сейчас приеду, посмотрю своими глазами.

— Как хотите,— ответил он, не отдавая себе отчета, кто такая эта Анна Павловна.

Снова побрел к кровати. Ему стало совсем плохо. Казалось, дом качается, как на волнах. Он свалился на жесткий тюфяк и потерял сознание. Очнулся от яркого света, бившего прямо в глаза, открыл отяжелевшие веки. В комнате горело электричество, окна были совершенно черны. Перед ним стояли две женщины в мокрых меховых манто. Одна из них говорила:

— Серьезно болен... Посмотри — весь в огне.

— Надо вызвать доктора, позвонить мужу. Что это с ним?

Кадигроб всмотрелся и узнал в женщинах жену Бури и ее подругу Серафиму Аполлоновну Сатановскую. Ему было безразлично, что они делали у него в комнате, а они суетились, звонили по телефону. Вскоре явился Степан Скуратов-Буря, как всегда энергичный, кипучий, а с ним маленький седенький врач — столичное светило.

Врач долго осматривал больного, выслушивал, потом сказал докторальным тоном:

— Немедленно в больницу!

Этому сразу же воспротивился Кадигроб. Он подозвал к себе Бурю и, обдавая его горячим дыханием, зашептал на ухо:

— В больницу ни в коем случае... Я разговариваю по ночам... Наболтаю лишнего, Степа...

— Ну, знаешь, больной невменяем. К тому же писатель. Сочтут, что бредишь.

— Нет, нет!

— Тогда лежи здесь. Но кто за тобой будет ухаживать? Ни Одарку, ни твоего отца вызывать сюда нельзя. Они думают, что ты со Змиевым у Врангеля.

Кадигроб вспомнил о Меланке, назвал ее адрес.

Через два дня Меланка приехала на машине Бури вместе с Любой, с двумя огромными сундуками. Больной бредил уже вторые сутки. Температура вскочила до сорока.

Удрученная сиделка, поднявшись навстречу Меланке, сказала:

— Брюшняк.

С этого дня началась упорная борьба Меланки за человеческую жизнь. Она не отходила от постели больного и спала сидя, просыпаясь от каждого шороха. Часами смотрела на обострившиеся черты лица Миколы, на его высокий лоб, на безжалостно остриженную голову. Кадигроб бредил и в бреду звал ее. Меланка обомлела, когда с его потрескавшихся губ сорвалось ее имя. Подумала: «Помнит все-таки».

Кадигроб таял у нее на глазах. Стонал, просил есть, а есть ему ничего нельзя, кроме сухариков и молока. Каждый вечер являлся врач, давал советы, которые надо было точно выполнять, чтобы отогнать смерть, неусыпно дежурившую у изголовья.

На четырнадцатые сутки, когда миновал кризис, врач сознался:

— А я полагал — не выживет. Выходили. Ну, теперь главное — покой и питание.

Дня за три перед этим больной впервые узнал Меланку, и она увидела, как в глазах его засветилась радость.

— Как живешь? — спросил и, преодолевая слабость, хорошо улыбнулся ей.

С лица Меланки не сходило выражение горя.

— Землю забрали...— сказала она.— Приехала к тебе жить, возьми хоть прислугой.

— А Люба где?

— Со мной.

— Веди ее скорее сюда.

На оклик Меланки в комнату вошла резвая, крепкая девочка. Кадигроб с трудом признал в ней Любу, настолько она выросла.

— Ну, узнаешь дядю Колю? — спросила мать.

— Узнаю, хоть стриженый он. Смешной.

Какую-то легкую боязливость, застенчивость уловил Кадигроб в словах девочки.

— Значит, землю забрали. Этого надо было ждать. Но мы даром ничего не отдадим. Будем бороться.

— Как же ты будешь бороться?

— Ну, для этого найдутся способы.— Кадигроб откинулся на подушку.— Ты от меня не уходи. Стану на ноги, отцом Любе буду...

XXXVIII

Кадигроб лежал на кровати, накрытый овчинным кожухом Меланки, и бездумно смотрел в окно, наливавшееся вечерней синевой. Он с детства любил сумерки. Еще мальчишкой ему нравилось уединиться в этот тихий час в хате и смотреть, как темнота бесшумно борется со светом. Сколько раз темнота выручала его из беды, спасала от смерти!

Вспомнилась бешеная скачка по глухой таврической степи, когда он в тачанке с батьком Махно уходил от кавалерийской погони. Как всегда в таких случаях, батько метко, экономя патроны, бил короткими очередями из «максима», ветер рвал его черные кудлы; а он, Микола, нахлестывал вожжами взмыленных, напуганных стрельбою коней, ожидая с замиранием сердца, что вот-вот пуля свалит коренника — и тогда сразу амба!

Кадигроб раздул ноздри и невольно почуял острый запах лошадиного пота, сухой пыли и цветущей полыни. Кони, как птицы, летели над темнеющим шляхом, пластаясь над землей, словно хоронясь от беспорядочных винтовочных выстрелов, хлопающих сзади.

«Гони! Гони!.. Еще каких-нибудь четверть часа — и исчезнем в темноте, как в море!» — кричал Махно, поглядывая на угасающую красную полоску на горизонте.

Казалось, куда уйдешь в открытой степи? Но еще двадцать минут дикой скачки,— и дымящаяся тройка свернула в первую же встречную балку, растворилась в густой, как деготь, темноте.

Только по стуку копыт, тяжелому храпу загнанных лошадей и людскому гику они догадались, что погоня промчалась мимо. Это были бойцы сорок второй дивизии красных...

С улицы вошла пахнущая холодком Любаша, зажгла электрический свет, и сразу же книжный шкаф, письменный стол и портрет Маркса на стене заслонили картину степи, вытеснили из комнаты запах пороха и лошадиного пота.

Оправившийся от болезни организм властно требовал движений. Проснулся острый интерес к жизни. Кадигроб попросил Любу принести газеты, которых он не видел больше месяца. Люба притащила их из кухни целый ворох. За многие числа газет недоставало. Люба объяснила: мамка порезала на узоры, застлала ими кухонные полки.

При свете электрической лампочки, подвешенной у изголовья, Кадигроб, лежа в постели, с болезненным вниманием просматривал заголовки, останавливаясь на наиболее интересных заметках.

В Харькове состоялась IV Всеукраинская партийная конференция, с правами съезда.

Это было событие, и Микола жадно прочел в «Коммунисте» все сообщения о конференции. Как он и ожидал, на съезде разгорелись страсти, возникла жаркая борьба с руководителями харьковской партийной организации, возглавляемой Сапроновым. Этот человек яростно выступил против установок ЦК РКП(б), против милитаризации угольной промышленности и введения единоначалия на предприятиях, против создания в деревнях организаций сельской бедноты.

Микола припомнил: однажды он встретил Сапронова на квартире у Бури, но сейчас никак не мог вызвать в своей памяти его бесцветное, невыразительное лицо.

Несмотря на сопротивление единомышленников Сапронова, конференция поставила перед украинскими большевиками задачу — восстановить разрушенную промышленность, воспитать командиров производства из рабочих, установить строгую дисциплину и порядок на предприятиях, в шахтах и рудниках.

Кадигроб отложил газету. Все, что он прочел сейчас, волновало его своей неожиданностью. Живая жизнь грубо вторгалась в его планы.

Еще шли бои с Врангелем, белополяки угрожали нападением на Советскую Россию, а в город уже возвращаются из Красной Армии рабочие-коммунисты. С путевками райкомов партии они как хозяева приходят на бездействующие фабрики и заводы, очищают их от хлама, ремонтируют станки и машины.

Лозунг «Все для фронта» большевики сменили лозунгом «Все для народного хозяйства».

Кадигроб перечитал газетные заметки.

Для восстановления железнодорожного транспорта и добычи угля создана Украинская трудовая армия; в качестве рабочей силы ей приданы воинские резервные части, в том числе и сорок вторая дивизия. Та самая, о которой он только что вспоминал.

Введена обязательная трудовая повинность для мужчин от восемнадцати до сорока пяти лет.

Рабочие Харьковского электромеханического завода отремонтировали двадцать моторов, из старых деталей собрали пять новых динамо-машин. И моторы и динамо-машины посланы в Донбасс, где из шестидесяти пяти доменных печей пока еще ни одна не дает чугуна. Но только пока! Рабочие уже приступили к ремонту домен.

Создан Политотдел угольной промышленности, которым руководит секретарь Донецкого губкома партии.

Вот они, новые события, которые, как половодье, заливают все на своем пути, угрожая затопить Кадигроба. Что он должен делать? Отдаться на волю волн или сопротивляться изо всех сил и плыть против течения? Да и хватит ли у него сил для длительного сопротивления, если каждый день возникает что-то новое, неумолимо враждебное ему?

Щелкнул английский замок, и в коридор устало ввалилась Меланка. Крикнула ему:

— Четыре часа толкалась в очереди в распреде, получила соль, мыло, спички. Первый раз за все время.

«Вот, лучше начнут снабжать — это тоже новое, что будет привлекать к советской власти все новых сторонников»,— с неприязнью подумал Кадигроб, вышел на кухню, отодвинул гардину из газетной бумаги, над которой, наверное, смеются соседи, и долго стоял у окна, глядя, как по улице с песней валит бедно одетая толпа. Спросил:

— Кто такие?

— Советские служащие возвертаются с воскресника. Раньше люди по праздникам грехи замаливали, а теперь на станции расчищают путя, разгружают вагоны, колют дрова. И все задаром.

Субботник. Воскресник. Тоже новые слова. И сколько бы он ни закрывал глаза и ни затыкал уши, это новое, непонятное и грозное ежедневно будет наваливаться на него.

Тут пожалеешь, что выздоровел. Валяться бы в забытьи, ничего не читать, ни о чем не думать. За полтора месяца болезни он отдохнул от ежедневного нервного напряжения, от никогда не покидавшего его предчувствия беды. Здесь, пожалуй, не лучше, чем там, в степи, на тачанке...

Кадигробу стало тоскливо. Он оделся и впервые после тифа вышел на улицу. Комиссариат, где работал Буря, помещался в пятиэтажном купеческом доме на Сумской улице. В вестибюле, на широкой мраморной лестнице, в просторных коридорах сновали плохо одетые пожилые мужчины и женщины — судя по разговорам, учителя.

— Нет учебников. Мела нет, грифелей...

— В школе уцелела одна-единственная книга для чтения — «История ветхого завета»...

В кабинете Степана он увидел трех незнакомцев в военном обмундировании, перепоясанных новенькими, пахнущими кожей ремнями. Разговор шел о создании трудовых школ для детей.

— А, писатель! Присаживайтесь, я скоро освобожусь,— сказал Степан, увидев Миколу.— Воскрес-таки из мертвых!

Высокий человек с орденом Красного Знамени на гимнастерке вопросительно посмотрел на заместителя наркома.

— После тифа он первый день, как вышел,— объяснил Буря.

— Вся страна придавлена тифом. Тиф косит людей, чума — скот,— сказал высокий человек.— А врачей мало, не хватает медикаментов.

Микола опустился в старое кожаное кресло у камина, оглядел просторный кабинет с амурами на потолке. На широком письменном столе, покрытом зеленым сукном, стопкой лежали книги, среди которых Кадигроб разглядел сочинения Ленина.

«Читает. Учится. В его положении без этого нельзя»,— усмехнувшись, отметил Микола.

Когда военные, извинившись за то, что накурили, ушли, Микола с тревогой спросил Степана:

— Откуда эти вежливые товарищи?

— Политработники из штаба Юго-Западного фронта. Присланы к нам в наркомат для укрепления аппарата... Тот высокий, с орденом, назначен редактором «Прапора».

— Как «Прапора»? А Вражливый? — Кадигроб вскочил с кресла.

— Да разве ты ничего не знаешь? — Степан присвистнул и защемил в руке черный клинышек бороды.

— Ничего! И много их, этих политработников? — кивнул он головой на дверь.

— До черта! Нагнали эту шушеру во все шесть наркоматов Украины. Обстановка круто меняется. Не доверяют нашему брату. Да ты не смотри на меня такими глазами. Меня твой батя втянул в партию боротьбистов, а в компартию я был принят с условием, что навсегда порву с националистами и целиком перейду на марксистскую платформу. Дал честное слово. Помнишь моих го-

стей — в тот день, когда ты впервые ввалился ко мне в дом? Ты тогда еще удивился нашим откровенным разговорам. Но так уж устроено в природе, что птицы одного оперения собираются вместе. Все они бывшие боротьбисты, питавшиеся соками деревни, как было сказано о них на Всеукраинской конференции. Мы не чистокровные коммунисты, и нам доверяют лишь постольку, поскольку.

— Что же все-таки случилось, пока я валялся в постели? — чувствуя легкое головокружение от слабости, спросил Микола.

— О, много неприятных событий. ЦК РКП(б) распустил избранный на Четвертой Всеукраинской конференции ЦК КП(б)У.

— Распустил! Зачем? — Микола наморщил кожу на лбу и прикусил губу.

— Старая песня, и она еще не раз повторится, ЦК якобы не отражал воли большинства коммунистов Украины, спутался с буржуазными националистами. Пока ты валялся в тифу, москали провели перерегистрацию всех украинских коммунистов, а попросту говоря — чистку партии от петлюровцев и махновцев. За какой-нибудь месячишко вышибли из партии двадцать два процента наличного состава. Никодим Васильевич — помнишь его? — вылетел как из пушки.

— А Вражливый?

— Остап Александрович Вражливый тоже исключен,— сказал Степан со вздохом,— а заодно и половина коммунистов из редакции «Прапора».

— А Крашанка?

— Выгнали и Крашанку. Не только выгнали — посадили. Он ведь из куркулей. Дома при обыске пулемет нашли. Да тебя что в жар бросает? Умные уцелели, и я вышел сух из воды, хоть еще не раз будут нашего брата просеивать через решето... Вот наболтал я тебе всякой дряни с три короба. Но могу и порадовать.— Глаза Бури непримиримо блеснули, он расправил богатырские плечи.— Большевики подбили в Кремле на счетах, и вышло, что на Украине кулаки накопили шестьсот миллионов пудов хлеба. Ну, и порешили большевики взять сто шестьдесят миллионов по разверстке; по их арифметике выходило, что на сегодняшний день они выкачают сорок миллионов пудов. А взяли? Только два. Забыли, что просо полоть — руки колоть. Сорок — и два! Цифирьки утешительные. Комиссары жалуются на махновцев, говорят: махновцы

охотятся на продовольственных работников, как на зверье. Бесхлебье и голод, Микола,— наши союзники, только они теперь могут задавить Советы.

Думая о себе, Микола спросил:

— Выходит, мне тоже придется пройти через это чистилище, чтобы остаться в большевистском раю... Может, бросим, Степа, все к черту и махнем на юг, к Махно?

— Без паники, дорогой. Песенка Нестора Ивановича спета, и драться теперь надо другим, скрытным оружием.— Крупно шагая, Буря прошелся по кабинету.— Тебе, писателю, и карты в руки. Над нами гроза уже пронеслась, а тебе уцелеть легче, парень. Ты — литератор, о тебе кричат: «Талант!» И отнесутся к тебе снисходительней, чем к нам, грешным. Писателей в партии не так уже много, раз-два — и обчелся.— Буря вынул из жилетного кармашка вороненые часы.— Фирмы «Павел Буре» — подарок твоего папани. Сегодня в шесть в Народном доме вечер пролетарских поэтов. Тебе полезно будет показаться, пусть все видят, что ты не брезгуешь обществом товарищей рабкоров. Да и мне, как заместителю наркома, не мешает там покрасоваться. Поехали?

— Поехали! — не долго думая, согласился Кадигроб.

Буря позвонил в гараж и вызвал автомобиль.

Длинный «Фиат» мчался по Плехановской улице, обгоняя недавно выпущенные трамваи с выбитыми окнами. Буря смотрел сквозь толстое стекло на прохожих, зябко шагающих по тротуару. Неожиданно спросил:

— Читал резолюцию ЦК РКП(б) о советской власти на Украине?

— Нет.

— Почитай! Резолюция Ленина. Он требует использовать украинский язык как орудие коммунистического просвещения трудовых масс... И еще требует не допускать в советские учреждения украинских городских мещан, которые нередко прикидываются коммунистами.

— Ненавижу я всю эту возню.

Степан приложил палец к губам, наклонил голову к уху собеседника и, показав глазами на шофера, прошептал:

— Говори тише. Уверен, что он из Чека, присматривает за мной.

— Фу, черт! — громко выругался Кадигроб.

Автомобиль вынесся на пустынную Конную площадь и, миновав безлюдный рынок, остановился у освещенного

Народного дома. Возле подъезда гудела толпа молодежи.

Начальник комендантского патруля с красным бантом на отвороте шинели отдал честь, сказал вышедшим из машины Буре и Кадигробу:

— Пришло времечко! Вся Рассея стихи кропает.

— И вы тоже? — улыбаясь, спросил Микола.

— Балуюсь помаленьку,— смущенно ответил начальник.

— Будете сегодня выступать?

— Никак нет. Не могу. На посту я.

Буря и Кадигроб вошли в переполненную ложу бельэтажа и оглядели затемненный партер, до отказа набитый людьми. На освещенной сцене, под портретами Ленина и Луначарского, написанными на фанере, сидел президиум — пожилые рабочие и молодая женщина в красной косынке. Все пришли прямо с работы, а может, у них не было во что переодеться.

У края сцены, наклонившись вперед, словно собираясь взмыть в воздух, стоял красноармеец в расстегнутой кавалерийской шинели и, поднимая руки кверху, громко читал стихи. Свет падал на него снизу, от рампы, освещая огромные солдатские ботинки и зеленые обмотки на худых ногах.

Ми йдем вам відплатить за сльози, кров, за муки,
Що бідний люд віки тернистим шляхом лив...
За це ми душим вас, ломаєм ноги, руки
І топимо в крові наш нескінченний гнів.

Красноармеец прочитал строфу и отошел на два шага назад. Свет упал на его матовое лицо. Он отбросил чуб с высокого лба, поднял черные вдохновенные глаза и снова сделал шаг вперед.

А в полі... сонце, май... Гудуть червоні дзвони,
В полях і городах останній бій кипить...
І падають, як дощ, двірці, корони, трони...
То ми йдемо... Тремтіть і ждіть!..

Под гром аплодисментов, топот красноармейских сапог чтец медленно, словно что-то обдумывая, сошел со сцены в зал.

— Вот это поэт! — восторженно крикнул рабочий, облокотившись на край ложи.— Наш, пролетарский!

— Кто, как его фамилия? — властно спросил Буря и достал блокнотик.

— Фамилию не разобрал: не то Каюра, не то Сосюра,— ответил рабочий, громко сморкаясь в клетчатый платок.

Глаза освоились с полутьмой зала, и Кадигроб увидел в партере много военных. Спросил:

— Откуда столько красноармейцев?

— Проездом. Катят на фронт, бить Врангеля,— ответили сзади.

На сцену выпорхнул паренек лет шестнадцати в замусоленной стеганке и, держа под мышкой видавшую виды шапку, прочел звонкие стихи о том, как он с кузнецами перековывает планету.

Потом к рампе вышел из президиума лысый человек в старорежимной шинели трамвайного вагоновожатого. Напялив на нос очки в железной оправе, он промолвил:

— Я не поэт и не писатель... я критикан.— Подумав немного, он пояснил: — Как Белинский... Я перечитал немало рассказов современных литераторов и хочу навести на них нашу пролетарскую критику — в смысле того, насколько они удовлетворяют запросы трамвайщиков: слесарей, кондукторов и прочих трудящихся городского транспорта. Вот о чем, например, разглагольствуют некие писаки! — Вагоновожатый выхватил из кармана книжку в ярком голубом переплете и грозно потряс ею над своей лысой головой.

Микола сразу разглядел в его руке недавно изданный томик своих новелл.

— Вот сюда, на сороковую страницу, влепили рассказ под священным заголовком «Мать». И что же с этой матерью учинил автор?.. Ее убивает собственный сын! Не знаю, какой изверг может угробить свою мать, разве что какой-нибудь отпетый махновец... Но я понимаю, что под шумок хотел сказать сочинитель: мать — это революция, которую убивают порожденные ею дети!

— Ну, пошло-поехало. Слышишь, Микола? В твоем деле так: нога спотыкнется, а голове достанется.— Возле рта у Бури обозначилась жесткая складка, он схватил приятеля за горячую руку.

— Я думаю, что книжица эта вредная, вроде как опиум для народа,— издевательским тоном продолжал вагоновожатый.— Все твердят: «Кадигроб талант», «Кадигроб талант». А по-моему, никакой он не талант, а пока несознательный элемент.— Трамвайщик, провожаемый

аплодисментами, вернулся к столу и опустился на стул.

Председатель объявил перерыв и сказал, что через десять минут начнут показывать пьесу про французского революционера товарища Марата.

— Пойдем потолкаемся среди народа,— предложил Буря, зажигая папиросу.

В центре зрительного зала вспыхнула стеклянная люстра, отсвечивающая всеми цветами радуги. Буря еще раз, теперь уже при ярком свете, оглядел театр. Лицо его нахмурилось, он дернул Миколу за пиджак.

— Узнаешь вон того молокососа у колонны?

Микола взглянул и обомлел. У колонны, разговаривая с командирами, стоял Лукашка Иванов в военной форме.

— О, черт, механика еще недоставало встретить! — выругался Кадигроб.

— Изыдем отсюда, яко дым,— шепнул Буря.— Не ровен час узнает щенок, и тогда пропали мы с тобой ни за понюх табаку.— Он скомкал в ладони зажженную папиросу и двинулся к выходу.

Испуг Степана поразил Миколу. Ему всегда казалось, что Степан ничего не боится. Вот тебе и «без паники, дорогой»!

Торопливо они вышли из Народного дома. На улице Микола признался:

— Страшная это штука — все время ходить в чужом обличье. Томик, который раздраконил этот лысый дурак, хотели издать с фотографией. Но я не дал. Мне себя рекламировать пока не к чему.

Нагнув головы, они шли против ветра.

— Степа, я давно хотел спросить тебя: как ты попал в заместители наркома?

Буря расхохотался.

— А ты как стал писателем?.. Я тебя сделал писателем! Нашлись дружки, которые и меня подсадили в высокое наркомовское кресло. Жизнь — она, брат, заставляет комбинировать.— Степан помолчал, раздумывая, говорить ли, и вдруг выкрикнул, словно выстрелил: — Крашанку посадили по моему доносу!

— Как по твоему? — возмутился Микола и даже попятился назад.

— Да так. Иногда выгодней бросить во чрево кита одного Иону, чтобы спасти дюжину других... И тебя в том числе!

XXXIX

Полк Иванова, в котором на положении бойцов остались Лукашка и Дарья, входил в дивизию Лифшица. Дивизия расположилась в районе станции Апостолово, слева от нее Вторая Конная армия занимала Никополь, еще левее и ниже — Четвертая армия, а за ней, почти у Ногайска,— Тринадцатая армия. Справа, в Снегиревке, стояла Первая Конная, пришедшая с польского фронта, а ниже ее, в Бериславе,— Шестая армия. В этих армиях не было слабых, ненадежных, не верящих в свое дело людей. Войска красных расположились дугой. Самой высокой северной точкой ее был Никополь.

В ночь на 25 октября Иванов, к тому времени вернувшийся из Москвы, отыскал Дашу. Она бездумно лежала на возу, подбив под себя пышную охапку сена. Механик сел рядом, не замечая, как вспыхнули ее щеки, задрожала рука.

— Наступать завтра будем...

— Слыхала.

— Не боишься? Многих недосчитаемся после боя.

— Одно плохо — ребенка у меня нету, только дите от смерти спасти может.

— Почему так?

— Да так. Помрешь — дите останется. Кровь-то одна, а человек только кровью и жив.

Из степи тянул теплый, выстоявшийся над морем ветер, припадал к многострадальной земле, доносил с вражеской стороны конское фырканье, стук колес, сплошной невнятный гул большой массы людей. Механик прислушался.

— Готовятся к встрече. Дивизии перетасовывают легко, будто карты. Обучены военной науке,— донеслось из темноты.

— Вояки из колена в колено. Отец — генерал, дед — генерал, от самого Адама все генералы...

— Послушай,— Даша сунула холодные пальцы под шинель механика, накинутую внапашку,— погрей, иззябли...

Механик не отдернул руку.

— Знаешь, ты мне эту ночь снился,— промолвила Даша и, отбросив голову, уронила ее на грудь Иванова.

Он бережно накрыл ее длинной полой шинели.

— Будто разделась я, легла спать, а ты пришел, подложил под спину руки и целуешь, целуешь... Потом ушел ты. Я проснулась, долго сидела на кровати, ждала, пока ты вернешься, наконец поняла, что вовсе тебя и не было и все это только сон. Тогда я заснула снова, и снилось мне, будто дождь идет, и вроде не дождь, а растет такое жито высокое, до самого неба, а я иду над пропастью, а внизу цветов такая сила, ты и представить себе не можешь. Не знаю, как я туда попала, только нарвала цветов охапку и поднимаюсь наверх узкой тропой. Как вдруг летит навстречу на лихом коне какой-то парубок, веселый и молодой, а посторониться некуда, потому — сбоку яр такой глубокий, что и дна не видать. Подлетает конь, бросила я под ноги ему цветы, а сама поцепилась коню на шею, думаю — убей, не разожму пальцы. Тогда тот парубок поднимает меня в седло и говорит: «Не узнаешь меня, загордела». Я смотрю и тебя узнаю. И просыпаюсь. И хоть не снилось мне, что я плакала, а подушка мокрая, вся в слезах...

— Хороший сон.— И, вспомнив о вечном желании Даши иметь ребенка, механик проговорил: — Знаешь, к чему это снилось тебе? К тому, что будет у тебя маленькая лялька.

— От кого, от ветра? — Даша вздрогнула, подумала с внезапной уверенностью: «А и в самом деле, будет у меня дите от тебя, желанного человека». И тут же решилась, сказала:

— Люб ты мне, больше всех на свете люб. Давно люб. Хоронилась, молчала, а теперь не могу.— Припала к нему, обдавая ухо горячим дыханием.— Что ж ты, может, и не увидимся больше, ну что же ты! — Жадно притянула к себе.— Женщина я, пойми...

— Понимаю, сам не из дерева, только люди кругом, нельзя, командир я! — вздохнул тяжело, спрыгнул с воза.— Надо нам подождать, Даша. Останемся живы — поженимся. Матерью будешь Лукашке.— Поцеловал ее в холодный лоб и сразу провалился в темноту.

— В лоб целовать — заботу снимать,— проговорила счастливо Даша.

Мимо нее, обдав ее комками грязи, проскакал ординарец, хриплым голосом крикнул:

— Иванов где?.. На совет к Фрунзе кличут!

XL

Совещание командующих армиями, реввоенсоветов армий и наиболее выдающихся командиров назначено было в неуютном здании станции Апостолово. Совещание долго не начинали: ждали Буденного, который почему-то запаздывал. По просьбе Фрунзе в комнате не курили. Никто не шутил, не смеялся — вспоминали недавние операции, путались в подсчетах штыков и сабель, участники поправляли друг друга, негромко спорили.

Говорили о том, что маловато снарядов, плохо с обмундированием и продовольствием, о том, что сама природа создала непреодолимые укрепления на Перекопе. Отмечали, что базы снабжения еще в двухстах верстах от фронта.

У стола в летней выгоревшей косоворотке сидел, внимательно прислушиваясь к разговорам, невысокий человек с редкой бородкой. Иванов тотчас узнал в нем Фрунзе. Рядом с главнокомандующим у стратегической карты, висевшей на стене и испещренной разноцветными флажками, стоял личный его адъютант-секретарь Сиротинский.

Иванов подошел к командиру дивизии Апанасенко.

— Пойдем покурим,— предложил Апанасенко.

Иванов вышел с ним на перрон.

Дул колючий северный ветер, крутил обрывок веревки, медный, осколком разбитый и позеленевший колокол трогательно позванивал. На станции не было ни одного дерева, ни одного куста, кругом голая, прилизанная осенними ветрами степь.

Апанасенко звякнул шпорами, уселся на рассохшуюся пожарную бочку.

— Чего он хочет, Троцкий? — Апанасенко зло затянулся цигаркой и сплюнул.— Если бы не он, Крым давно бы нашим был. Ведь план ЦК по разгрому белогвардейщины разорвал деникинский фронт на три части: главные силы Деникина бежали на Северный Кавказ, западные группы добровольческих войск были отброшены в Юго-Западную Украину, и только Слащов, в тылу белых дравшийся с Махно, ушел за Крымский перешеек, а у него не больше трех тысяч штыков и тридцати орудий. Вот здесь и можно было их раздавить в короткий срок, с малой кровью...

Хлопнула дверь. На перрон вышел комдив Блюхер.

— Опять на близорукого капаешь?

— Отвожу душу.

Апанасенко еще хотел что-то сказать, но в это время к станции галопом подскакали три всадника. Один из них, путаясь в полах бекеши, быстро вбежал в помещение, двое других остались около лошадей.

— Пойдемте, Буденный приехал,— сказал Блюхер, бросая на землю окурок и раздавливая его ногой.

Но это был не Буденный, а Ворошилов, приехавший на своем неизменном коне Маузере. Вошедшие вслед за ним Иванов и Апанасенко увидели непривычную сцену: Ворошилов и Фрунзе крепко сжимали друг друга в объятиях. Приятное и доброе, ласковое лицо Фрунзе покрылось густым румянцем.

— Сколько лет не виделись мы с тобой, Клим!

— Да, Арсений, как встретились на Стокгольмском съезде партии, с тех пор...— сказал Ворошилов. Сбросив бекешу, он сел к столу. На нем был синий, наглухо застегнутый френч с двумя орденами, приколотыми один над другим.

В эту минуту в комнату вошел Буденный.

Фрунзе, проведя пухлой рукой по начинающим седеть волосам, строго посмотрел на командарма. Буденный прислонился к окну. На лицах присутствующих отразилась тревога.

— Наша задача сводится к тому, чтобы окружить и уничтожить Врангеля в Северной Таврии, не дать ему ускользнуть в Крым через Перекоп и Чонгар,— отчетливо проговорил Фрунзе.— Все это мною сформулировано в следующем приказе.— Фрунзе взял со стола блокнот, прочел: — «Во что бы то ни стало не допустить отхода противника в Крым и согласованным, концентрическим наступлением всех армий уничтожить его главные силы, группирующиеся к северу и северо-востоку от перешейков, отрезать пути его отхода в Крым и стремиться на плечах бегущих овладеть перешейками». Я прошу вникнуть в приказ. Помните — семь раз отмерь, а один раз отрежь.

Ворошилов поднялся, что-то шепотом сказал Фрунзе. Фрунзе улыбнулся. Слушал он, слегка наклоняя голову вправо, словно был глуховат на правое ухо.

— Шестой армии разгромить части противника, находящиеся перед ней, ворваться в Перекоп, отрезав Врангелю единственный путь отступления в Крым.

Иванов посмотрел на фигуру командующего Шестой армией. Корк, сняв пенсне, протирал носовым платком стекла; потом Иванов с завистью взглянул на его маузер в деревянной оправе, подумал: «И зачем этому увальню такое дорогое оружие?»

— Семену Михайловичу со своей армией двинуться от Каховки на фронт Аскания-Нова — Громовка, ударить оттуда на Айгаман, Серогозы, окружить и уничтожить главные конные силы противника. Второй Конной армии двинуться на Серогозы и участвовать с Первой Конной в окружении и уничтожении главных сил противника; Четвертой и Тринадцатой армиям наступать в западном и юго-западном направлениях.

Комдив 4 — Тимошенко, вытянувшись во весь свой богатырский рост, стал объяснять что-то Буденному, тот нетерпеливо махнул рукой. Человек решительных действий, он давно ждал этого приказа. Приказ поднял в душах командиров бурю. Все знали: Фрунзе сейчас предрешил гибель белых. Конец войне. Десятки тысяч красноармейцев вернутся к своим семьям, к земле, к заводам, к оставленному труду. Все знали, что пулеметчики мечтали взяться за ручки плугов, а кавалеристы не раз вынимали шашки и наотмашь косили вызревшие колосья пшеницы.

Иванов понял, что дивизии, составлявшей главную колонну Шестой армии, в которую входил его полк, Фрунзе поставил задание: наступление с Каховского плацдарма в полосе шляха на Перекоп — разгромить находившийся на этом направлении второй корпус генерала Витковского и овладеть Перекопом.

Комдив Лифшиц увидел Иванова, подозвал к себе, передал ему приказ передвинуть полк в Каховку. Лицо Лифшица было смуглое, небритое, глаза по-прежнему необычайно светлы.

Получив приказание, Иванов мог уйти, но ему хотелось до конца услышать все, что говорил Фрунзе, и он остался, с нескрываемым волнением всматриваясь в этого веселого, энергичного человека, который, как это было известно, в царское время, в тюрьме, в промежутке между двумя смертными приговорами, успел изучить два иностранных языка. Он надеялся, что они ему пригодятся.

Маленький ростом командарм 2 Городовиков, с худым, желтым и изможденным лицом (Иванов видел его впер-

вые), предложил использовать для наступления Арабатскую стрелку — узкую песчаную косу, отделяющую Сиваш от Азовского моря и тянущуюся к югу от Геническа вплоть до Керченского полуострова.

Фрунзе внимательно выслушал командующего Второй Конной армией. Те, кто близко знал главнокомандующего, по выражению его лица, которое как бы говорило, что все это ему уже знакомо, поняли, что он отрицательно отнесся к новому предложению, и ждали критики этого предложения. Они не ошиблись. Как только Городовиков окончил и, расправляя пышные усы, сел, заговорил Фрунзе:

— Все, что вы сказали, дельно и умно, но неосуществимо. И вот почему.— Фрунзе оглянулся.— Внесите доску и дайте мне кусок мела.

Пока вносили доску, Фрунзе, заложив свои пухлые, с короткими пальцами руки за широкий армейский ремень, продолжал говорить. Говорил он негромко, но все улавливали малейшие интонации его голоса.

— Разрабатывая план Перекопской операции, мы обратили внимание на Арабатскую стрелку, по которой можно обойти сильно укрепленные Чонгарские позиции. К тому же там сосредоточены лучшие части Врангеля...

Внесли черную школьную доску, исписанную арифметической задачей. Фрунзе продолжал говорить. Голубые глаза его поблескивали.

— Этот маневр в сторону в тысяча семьсот тридцать втором году проделал фельдмаршал Ласси. Армия Ласси, обманув крымского хана, стоявшего с главными силами у Перекопа, двинулась по Арабатской стрелке и, переправившись на полуостров в устье Салгира, вышла в тыл войскам хана и быстро овладела Крымом. К сожалению, нам не удастся повторить этот маневр. Мешает то обстоятельство, что наш флот, стоящий в Таганроге, не может пробиться сквозь сковавшие Таганрогскую бухту льды и подойти к Геническу, чтобы обеспечить операцию со стороны Азовского моря, а там безнаказанно действует флотилия мелких судов Врангеля. Лично обследовав все побережье и убедившись, что на скорое прибытие нашего флота надежды нет,— а время не терпит,— я с величайшим сожалением отказался от намерения использовать для удара Арабатскую стрелку.

Открылась дверь, вошел забрызганный грязью опоздавший на совещание командарм 4 Уборевич. Вместе

с ним в комнату ворвался запах свежей баранины. Во дворе в полевой кухне на ужин варили суп. Невдалеке прокричал голосистый петух. Фрунзе взглянул на часы на левой руке и, как бы не доверяя им, прижал их к маленькому уху.

— Ну, товарищи, будем действовать. Время дороже всего,— сказал он и, накинув на плечи широкую шинель, мягко ступая теплыми белыми сапогами, впереди всех вышел из помещения.

Следовало поужинать и поспать. Но главнокомандующего уже ждал открытый автомобиль, серебристый от изморози. Фрунзе устало сел на холодные подушки, всунув правую ладонь в левый рукав шинели, а левую в правый, и, поеживаясь от холода, заломив смушковую папаху, поехал вперед, навстречу зареву орудийных разрывов.

Нагнав на улице Иванова, Блюхер обнял его за плечи, сказал:

— Теперь я спокоен насчет общего хода дела. Михаил Васильевич все видит, все поставил на свои места.

Недалеко от них, звеня шпорами, прошли двое коренастых военных. Один проговорил:

— Чем быстрее опрокинем мы Врангеля, тем меньше потеряем бойцов.

Второй ответил:

— Никто не знает, где сапог жмет, никто — кроме того, кто его носит.

По голосу узнали Роберта Эйдемана.

В ту же ночь Иванов перевел свой полк в Каховку.

XLI

— И кто это такой махиной заправляет? — не видя конца-краю войскам, движущимся на юг, спросил Лукашку пожилой надоедливый возчик, с которым он ехал на бричке от Никополя до Каховки.

— Главнокомандующий фронтом Фрунзе,— охотно ответил Лукашка, поставив на грязную ступицу колеса ногу и бинтуя ее чистой, им самим выстиранной обмоткой.

— Какой он из себя? Хотя бы взглянуть довелось.

— Поглядишь ишшо, дядя, до моря ехать далеко,— вмешался в разговор молоденький красноармеец, проводя мимо них мослаковатого артиллерийского коня, припадающего на переднюю ногу.

— Что ты — до моря! Христос с тобой. Я и так за сто верстов от дома отбился.

— Ничего, назад будешь возвертаться — соли наберешь, соль в Крыму дюже дешевая,— крикнул с соседнего воза чубатый малый.

— А я видал его,— сказал Лукашка.

— Хвастаешь.

— Ей-богу, видал.

Лука живо вспомнил митинг на станции Синельниково, огненный закат, предвещавший ветреный день. На фоне заката на орудийном лафете стоял Фрунзе, говорил речь бойцам. Лука пробрался вперед. Прямо перед собой видел он главнокомандующего с непокрытой головой, румяное лицо в бороде, свисающие усы, приподнятую левую бровь, короткий нос и яркие глаза. Фрунзе что-то говорил, Лука не слышал что, но знал, это были ясные, простые слова о том, как надо жить, бороться и побеждать. Мальчик чувствовал ток живого отклика, бегущий по телам людей. Так это иногда бывает в тихую погоду, когда вдруг без ветра подымается невольный трепет листвы. После короткой речи пролетарского полководца тысячи людей закричали, захлопали ладошами, затопали сапогами, подняв с земли тяжелое облако пыли.

Все это Лука, запинаясь, рассказал слушавшим его красноармейцам. Подошло еще несколько человек, попросили рассказать все сначала. Лука рассказал — складнее и лучше, чем в первый раз.

— Кто же он такой, что генералов побить собирается? — снова спросил любознательный возчик.— Генерал для того и генерал, чтобы воевать. Всю науку эту смертоубойную вдоль и поперек превзошел... Должность какая у Фрунзе будет?

— Коммунист. Стало быть, с любой должностью справится,— ответил за Луку красноармеец, надвигая на лоб папаху шпанского меха.

Вокруг, будто марево в знойный день, висели многоголосый шум, говор людей, конский топот, дребезжание телег. И наплывали запахи выцветших трав, соломы, лошадиного пота.

— Что ж, и ты в бой пойдешь? — спросил красноармеец Луку, снял с головы папаху, достал из прохудившейся подкладки бумагу и, зачерпнув из кармана шинели щепоть махорки, принялся крутить цигарку.

— Пойду!

— Сомнут тебя, цветочек, преждевременно.— Возчик жалостливо, как на покойника, посмотрел на мальчика.

По улице прорысил загорелый усатый Городовиков в серой бекеше и курчавой шапке с цветным верхом. Недалеко ударили из орудия. В маленьких крестьянских окнах по-комариному отозвались стекла.

Приближались сумерки. Комдив Лифшиц отдал распоряжение зажечь костры. У невысокого огня, пожимаясь от холода, подложив под себя шинель, лежал Лукашка, вокруг сидели красноармейцы, вполголоса пели. Вдруг Лука вспомнил: сегодня ему исполнилось пятнадцать лет. Он уже комсомолец, занимает должность помкомвзвода в одной из рот отцова полка.

Ночью, не гася костров, дивизия снялась и под Чаплинкой и Натальином при поддержке конной бригады почти врасплох атаковала второй корпус генерала Витковского, расположившийся на отдых. Корпус начал отходить на юг, полки дивизии, преследуя его, ринулись к Перекопу.

Утром, встав на забрызганное кровью сиденье тачанки, Лука взглянул вперед и ахнул: прямо перед ним, ярко освещенная солнцем, расстилалась во все стороны голубоватая полоса степей Северной Таврии, докатываясь вплоть до Азовского моря и болотного, камышом покрытого Сиваша. Темно-синий издали, Турецкий вал, поднятый при татарском хане Саиб-Гирее на костях запорожцев, протянулся от моря до моря, поперек всего перешейка. Широкий умиротворяющий простор открывался там, и не верилось, что перед Турецким валом, невидимый, притаился ров, в который, как в могилу, столетия назад скатывались воины разных племен и народов. Сейчас этот голубоватый вал был покрыт сложной системой долговременных фортификационных сооружений, за ним пряталась тяжелая крепостная и береговая артиллерия, а перед ним были разбросаны искусно сплетенные из колючей проволоки сети для уловления людей.

В трех шагах от Луки упал знакомый ему красноармеец в папахе из шпанского меха. Мальчик подбежал к нему.

Лицо убитого было серое, в кулаке зажата безымянная травка. Лука подумал о себе, что ничего не оставил в Чарусе, ничто не связывало его с этим городом. Вся жизнь его была здесь и впереди, и ему ничего больше не надо, кроме того, что существует рядом с ним и ждет его в дальнейшем. Мысль о том, что он может быть убит сейчас, ни разу не пришла ему в голову.

Холодное солнце поднималось все выше, окрашивая в розовый цвет сплошной туман, клубящийся у Сиваша. В этом тумане, как горный кряж в облаках, стоял теперь уже утерявший свою синеву Турецкий вал. Лука видел, как на подступах к нему заклокотала гроза, заклубились тучи черного порохового дыма, замелькали частые молнии орудийных вспышек, загремел град пулеметных и винтовочных выстрелов. Мощным шумом наполнился прозрачный утренний воздух, будто по всей необъятной степи, шурша высохшим прошлогодним бурьяном, шел зрелый апрельский ливень. Изредка, когда вдруг налетал сиверко, сгонял облака дыма и рассеивался туман, Лука видел несметные массы наступающих красных войск и злился на то, что полк их все еще стоял в бездействии рядом с перевязочным пунктом.

Наконец отдано было приказание наступать. Полк поротно двинулся вперед по серой сухой земле, пригибая высушенные первым морозом стебли полыни, принимавшей впереди приятный голубоватый тон. Из-под ног Иванова, идущего впереди полка, выпорхнула какая-то птичка, поднялась на два метра и упала, пробитая пулей. Даша, шагавшая рядом, подняла птичку, заглянула в ее окольцованный, величиной с маковое зернышко радужный глаз, жалостливо проговорила:

— Пеночка.

— Да...— сказал идущий рядом с нею красноармеец и, не договорив того, что собирался, ткнулся безусым лицом в искрошенную копытами землю.

В центре второй роты, подняв жирный фонтан земли, разорвался восьмидюймовый снаряд.

Полк шел вперед под обстрелом. Лица бойцов нахмурились и побледнели. В воздухе поднялась пыльная мгла, богатые краски выгорели, посерели, будто их задернула дождевая завеса. Серо-лиловые облака орудийного дыма клубились впереди. Сильный северный ветер поднял столбы пыли, крутил их между рядами, забивал дыхание тяжело дышавших людей.

Все чаще по рядам сплошным ревом катилось:

— Смерть Врангелю!

— Даешь Крым!

Со стороны Турецкого вала пчелиными роями летели пули, жалили беспощадно, насмерть.

К вечеру, потеряв одну треть своего состава, полк Иванова залег в километре от Турецкого вала. Левее его находились части ударной огневой группы. Более десяти часов никто не пил и не ел; нечем было дышать, густой пороховой дым пропитал воздух. Орудия и пулеметы с обеих сторон били беспрестанно. Противник тщательно вскапывал землю, засевая ее человеческими телами.

— Добьем Врангеля — конец войне. Поеду к женке. Там ей земли советская власть отвалила чертову гибель, самой неуправка, без мужика,— лежа в воронке, говорил Луке раненый красноармеец, отказавшийся уйти в полевой госпиталь.

С начала войны твердо укоренилось убеждение, что в снарядную яму никогда не попадет второй снаряд, выпущенный тем же орудием, если даже на нем не изменить прицела. Красноармейцы норовили лечь в вырытую воронку. Но здесь, у Турецкого вала, в одну снарядную яму попадало по два, а то и по три снаряда.

Слушая отрывистые фразы соседа, окончания которых приходилось восстанавливать догадкой, Лука понимал, откуда у красноармейца ненависть к Врангелю. Конец Врангеля знаменовал конец войне, мирную жизнь рядом с женами и детьми, мирный любимый труд. Крым был последним клочком русской земли, занятой неприятелем. Блокада, интервенция, голод, холод, эпидемии — все это были злокачественные язвы на теле народа. Здравый смысл руководил людьми, идущими на штурм Перекопа. В нем, в этом штурме, они видели начало мира и свободы.

День прошел, быстро наступили сумерки. Холод усиливался. В небе ни тучки, но ни одной звезды не видно сквозь густой пороховой дым. В семь часов бойцы Иванова, голыми руками разметав несколько рядов колючей проволоки, захватили две линии укреплений и докатились до рва перед Турецким валом.

Иванов отыскал сына, послал его с донесением в штаб дивизии в Чаплинку. Три километра полз мальчик, пока не добрался до небольшой лощины, где стояли артиллерийские кони. Он взял верховую лошадь и, вскочив в сед-

ло, во весь дух поскакал в горящее село. Там находился штаб.

В каменной школе у стола с телефонными аппаратами сидел молчаливый Фрунзе в кожаной тужурке.

— Что такое? — спросил он подростка и поднял похудевшее за одну ночь лицо.

Лука передал поручение отца, подчеркнуто лихо взял под козырек, повернулся на стоптанных каблуках.

— Постой! Сколько лет тебе? — спросил Фрунзе. Едва уловимая улыбка пробежала по его плотным губам.

— Пятнадцать и две недели. Но когда мне было десять, я уже был взрослый.

— Маловато. А вот Грязнову двадцать один.

Лука знал: Грязнов командовал дивизией, переброшенной на Южный фронт из Сибири. В этой дивизии было свыше пяти тысяч коммунистов, рабочих уральских заводов.

— Ложись спать,— посоветовал Фрунзе, кивнув головой на койку,— у меня на завтра поручение для тебя есть.

Долго не думая, Лука лег. Комдив Лифшиц накинул на него офицерскую шинель, подбросил в печку зеленых щепок от двуколки, разбитой снарядом.

По ступенькам загремели тяжелые сапоги, в сенях о ведро ударила шашка, звякнула щеколда, и в комнату, едва переводя дыхание, ввалился ординарец. Выпалил:

— Шестая рота четыреста пятьдесят шестого полка, сплошь из коммунистов, ворвалась через рогатки на вал... Другие полки снова идут в атаку!

Спокойное лицо Фрунзе оживилось. Ординарец поскакал на своем заморенном коне назад, и в это время вошел другой ординарец. Зажимая ладонью раненое плечо, он заявил, что броневики белых отбросили от вала роту отчаянных смельчаков.

Фрунзе опустил голову, закусил губу. Но это длилось одно мгновение, и никто, кроме Лукашки, не спускавшего влюбленных глаз с командующего, не мог заметить перемены в его лице. Фрунзе, словно торопя время, подошел к мерно тикающим ходикам, подтянул медную гирю.

Зазвонил телефон. Лифшиц снял трубку, стал передавать вслух то, что ему говорили:

— Белые перешли в контратаку и ворвались на Перекоп. Четыреста пятьдесят шестой полк, неся невосполнимые потери, цепляясь за каждый выступ, медленно пятится назад.

Фрунзе внимательно посмотрел на карту.

— Передайте командиру первого ударного полка мой приказ: немедленно атаковать противника.

Со всех сторон подлетали на конях засыпанные землей ординарцы и адъютанты, и все, как сговорившись, твердили одно: о ярости атакующих и непоколебимой стойкости белых.

— Прикажите подать мне лошадь,— сказал Фрунзе своему адъютанту.— Я должен видеть собственными глазами.

Пока командующий надевал шинель и пристегивал шашку, штабные молчали. Лука порывался удержать Фрунзе, сказать, что он рискует собой. Но мальчик осилил себя и молча, тоскующим взглядом проводил до двери коренастую фигуру главнокомандующего.

Не успел заглохнуть на мерзлой земле топот копыт, как по телефону сообщили: командир первого ударного полка, находясь левее шляха, перешел в атаку с целью помочь четыреста пятьдесят шестому полку и вместе с ним отбросил белых на вал.

— Вал, вал,— чтобы не заснуть от усталости, бормотал начальник дивизии Арон Лифшиц.

— Вал, вал! Пленные иностранцы показывают, что в разработке планов оборонительных сооружений Перекопского перешейка и этого чертова вала принимали участие английские адмиралы Сеймур, Гоп, Перси, Мак-Малей, французские генералы Кейз, Манжен. А фортификационными работами на Перекопе руководил генерал Фок. Не забывайте, что Врангель тоже инженер.

Это говорил начальник дивизионной разведки, прохаживаясь по гулкому классу.

С отъездом Фрунзе штаб дивизии потерял для Луки всю свою привлекательность. Он вышел и стал бродить по зданию. В учительской стояли шкафы, набитые книгами. Лука стал рыться в них. Здесь были учебники по алгебре, физике и геометрии. До самого утра Лука с куском мела в руке решал на школьной доске задачи. Он так увлекся, что забыл все на свете.

Начальник разведки, зайдя поутру в комнату, проверил задачи, решенные Лукой. Сказал:

— На учение потянуло, это хорошо! Пока ты здесь воюешь, сверстники твои уже ходят в школу, тебе придется их догонять. А то, гляди, отстанешь года на два и будешь сидеть в классе переростком.

XLII

К утру 1 ноября по всему фронту наступило затишье — красные не возобновляли безуспешных атак, врангелевцы не стреляли. Над полем недавнего боя носились черные вороны.

Поле сражения было ужасно, и этот ужас подчеркивала красота восходившего над Сивашом солнца.

Стараясь не глядеть на степь, сплошь покрытую изувеченными и убитыми, Лукашка смотрел в небо. Там, над Турецким валом, над Чонгаром и еще дальше — над Юшуньскими укреплениями, стайкой белоснежных голубей кружились прокламации, сброшенные с нашего аэроплана. Часть прокламаций занесло на сторону красных, и одна из них белой трепещущей бабочкой опустилась к ногам Лукашки. Мальчик поднял ее, прочитал:

«Солдаты и офицеры Перекопского гарнизона!

Посмотрите вокруг себя и к себе в тыл: разве вы не видите, что ваша цель войны — «спасение и возрождение России» — превращается в закабаление ее «союзниками» и капиталистами!

...Ведь вы же в большинстве пролетарии, крестьяне, рабочие — не заинтересованы в бойне, хотите вновь жить спокойной жизнью. Если это так... предлагаю вам, солдаты и рядовое офицерство, немедленно составить революционный комитет и приступить к сдаче Перекопа... О принятии этих решений немедленно довести до моего сведения поднятием красного флага и высылкой парламентеров, которым идти безбоязненно».

Прокламация была подписана Фрунзе. Лука вспомнил, как еще до революции в Чарусе отец писал и печатал прокламации, а он, мальчишка, вооружившись банкой клейстера из ржаной муки, расклеивал их ночью на заборах и стенах домов.

Мальчик уже тогда знал, что прокламации — сильное оружие партии.

В четыре часа дня, наблюдая за Турецким валом в бинокль, Фрунзе на одном из участков фронта увидел парламентера с условленным флагом.

Надо было навстречу ему отправить своего парламентера, у которого хватило бы мужества пройти по открытому, ничем не защищенному полю к Турецкому валу, все

подступы к которому врангелевцы держали под огневой завесой.

Впереди Фрунзе, опираясь на короткий кавалерийский карабин, стоял Лукашка и смотрел в сторону белых. Командующий признал в нем ночного ординарца, и выбор его остановился на Лукашке.

— Позовите-ка мне этого молодого человека,— приказал он Сиротинскому.

Лукашка явился. С замирающим сердцем взял под козырек. С минуту Фрунзе смотрел подростку в глаза, потом передал ему плотный конверт с приказом, который следовало доставить парламентеру белых.

— А дойду ли я до белых? — спросил Лукашка.

Фрунзе откровенно ответил:

— Как знать? Могут убить еще до вала... Беретесь ли вы за это поручение?

— Умирать — дело солдатское,— не дрогнув, ответил юноша словами, вычитанными из какой-то книжки.

— Дело красноармейское — жить и бить врага... Идите! — раздраженно сказал Фрунзе.

И Лукашка пошел. Он шагал один на виду двух войск, испытывая почти то же чувство, которое владело им на льду, когда он шел на кулачки в Чарусе. Лука старался дышать спокойно, ни о чем не думать. Земля утратила свои степные запахи, над нею стоял серный запах гари. Даже розоватые на закате блестки мороза мало красили ее.

Между убитыми валялись раненые, они бредили, просили воды; один из них схватил Лукашку за ногу, сорвал обмотку. На ничейной полосе, разделяющей два лагеря, Лука вспугнул стаю воронья. Озлобленно каркая, черные птицы лениво поднялись и тяжело опустились невдалеке. Встречались большие куски земли, сплошь пропитанные подмерзлой кровью.

«Какую же огромную братскую могилу придется рыть для всех этих убитых людей! — с тоской подумал мальчик.— И как будут их хоронить? Всех вместе или красных и белых отдельно? Или красных похоронят, а белых бросят на растерзание воронам и волкам? А люди-то все русские, и часто один брат с беляками, другой — коммунист, а третий — в махновской банде. Матери-то небось всех троих жалко».

Лука благополучно дошел до Турецкого вала. Перед ним поднималась стена аршин на восемь. Ото дна и до

самого гребня на валу разросся железный обледенелый терновник. То здесь, то там на колючих шипах висели трупы.

Парламентер торопливо сбежал навстречу. С первого взгляда Лука узнал его. Это был Пятисотский, уголовник, бандит, который однажды с Ленькой Светличным остановил его на Золотом шляху в Чарусе.

Теперь на Пятисотском была зеленая английская шинель. Он нервно разорвал конверт, прочел приказ. Белесые брови его сдвинулись, холодные глаза блеснули.

— Крым защищают офицеры русской армии, и брать его надо военными действиями, а не политическими,— сказал он. Потом внимательно посмотрел на Луку, как бы припоминая, где он мог его видеть, и неприязненно добавил: — Вопрос о сдаче я решать не уполномочен... Перекопа вам не взять. Катись!

Лука повернулся и, спиной ожидая пули, медленно, напряженной походкой, ни разу не обернувшись, пошел к своим. Слишком много узнал и увидел он за короткий срок. И как тогда, на броневике, когда он впервые стрелял в человека, кончилось его детство, так теперь кончилось его короткое отрочество.

XLIII

Фрунзе оставил Лукашку при штабе ординарцем для особых поручений. Влюбленный в командующего, Лукашка с нескрываемой радостью стал справлять эту должность. Штаб был центром, руководившим полками, бросавшим их то в наступление, то в отступление. Сюда стекались все сведения, здесь распоряжались снарядами, отдыхом и довольствием бойцов; назначали новых командиров на места раненых и убитых, поднимали моральное состояние бойцов; сюда приезжали десятки людей с бесчисленными, самыми разнообразными вопросами, на которые надо было немедленно отвечать четкими распоряжениями. Всем этим сложным механизмом руководил неутомимый Фрунзе.

Однажды ночью, сидя в заставленном телефонными аппаратами школьном классе — приемной Фрунзе,— Лука услышал за дверью необычный шум. Кто-то настойчиво требовал проводить его к главнокомандующему.

— Здесь нет никакого главнокомандующего,— охрипшим голосом отвечал адъютант Фрунзе.

— Я хочу передать ему дуже ценные сведения. Я сам в Галиции воевал, так що я знаю, що вам треба.

— Ценные сведения передавай мне.

— Это, брат, не тыща карбованцев. Могу доверить сведения только самому главному коммунисту.

На шум с остро отточенным красным карандашом в руке вышел Фрунзе, сказал Лукашке:

— Кто там разоряется? Зови его сюда.

Лука вышел во двор, позвал. Вместе с недовольным адъютантом в класс вошел с ног до головы забрызганный грязью крестьянин лет сорока в коричневой свитке. Он сразу догадался, что Фрунзе тот самый человек, которого он ищет.

— Едва пробился через все ваши пикеты. Куда ни ткнусь, кругом задерживают, вымогают документы. А какие сейчас у мужика документы? Разве только по мозолям и можно угадать человека.

— Ну что ж, здравствуйте! — Фрунзе протянул крестьянину руку, тот крепко сжал ее пальцами.

— Я человек местный, хлебороб и рыбак, все тут в совершенстве изучил за долгую свою жизнь — и землю, и воду... Самое хлипкое место у белых — Литовский полуостров. Барон поджидает вас сбоку Турецкого вала и не ведает, что в Сивашском заливе есть броды...

— А вы знаете эти броды? — взглядом изучая крестьянина, спросил Фрунзе.

— Знаю и могу проводить солдат... На Литовском полуострове укреплений мало, и меж собой они не связаны. Так что, мил человек, головной удар наносить треба не по Турецкому валу, а на полуостров... Да и климат вам способствует. Морозы да штормы обмелили Сиваш, вот уже неделю северный ветер гонит воду из Сивашей в море.

— Пошлите разведчиков с этим товарищем — пускай они найдут броды через Сиваш и нанесут их на карту,— приказал Фрунзе адъютанту.

Простившись с крестьянином, он ушел в свою комнату, где — Лука знал — висела закрытая одеялом, разрисованная красным и синим карандашом подробная, сугубо секретная карта Крыма.

После неудачной атаки в ночь на 1 ноября командующий понял, что усилиями одной Перекопской группы, без согласованного наступления других частей Шестой

армии через Сиваш, где разведчики уже нашли броды, взять Перекоп невозможно. Фрунзе отдал приказ частям отойти на семь километров к северо-западу от Турецкого вала.

Холода усиливались. Крепчал мороз. Разутые и раздетые красноармейцы кутались кто во что горазд. Спать приходилось на голой земле у редких костров, ибо вокруг не найти ни одного дерева, ни одного куста, ни одной хаты.

Накануне третьей годовщины Октябрьской революции Шестая армия приготовилась к генеральному штурму. В ночь на 8 ноября пятнадцатая, пятьдесят вторая дивизии и сто пятьдесят третья отдельная бригада пятьдесят первой дивизии в десятиградусный мороз, утопая в болоте Сиваша, под артиллерийским и пулеметным обстрелом двинулись в атаку на Литовский полуостров. Люди на себе тащили орудия и пулеметы. Раненые сваливались в болото и так и оставались там, многие тонули; о тела красноармейцев, идущих вброд, билась холодная незамерзающая волна. Ветер поднимал дробную водяную пыль, настоянную на древних болотных цветах, забивал ею дыхание. Красные шли в атаку на Литовский полуостров, угрожая флангу и тылу расположенных на Перекопе частей. Простуженные бойцы сморкались, кашляли, чихали, покрикивали на лошадей, свирепо ругались. И хотя смерть поджидала их не на воде, а на берегу, все стремились пройти леденящую кровь воду и как можно скорей выйти на берег. А там уже умирали под огнем белых бойцы авангардных частей.

Небритый, похудевший, с провалившимися глазами, изнуренный бессонницей Фрунзе не отходил от телеграфных аппаратов.

Командир сто пятьдесят третьей бригады сообщил: ветер гонит воду в Сиваш, затопляет броды и переправы. Генерал Кутепов снял тридцать четвертую дивизию, защищавшую полуостров, и заменил ее кубанскими частями генерала Фостикова...

После этого связь с комбригом оборвалась. Замолк телеграф, в телефоне в сплошном урчанье пропадали фразы. Фрунзе короткими пальцами постучал по столу, застланному картой, приказал Лукашке вызвать начальника связи. Простуженный начальник с чахоточным румянцем на изможденном лице сутулясь вошел в комнату, с порога доложил:

— Соленая сивашская вода разъела истрепанную изоляцию проводов...

— Я это знаю,— прервал его Фрунзе.— Части на полуострове ждут моих распоряжений — надо наладить связь.

— Для этого есть только один способ...— Начальник связи закашлялся, сплюнул в платок.

— Говорите!

Начальник сказал. Штабисты нахмурились, кое-кто вздрогнул, будто по их спинам прошла волна пронзительного холода.

— Делайте,— сказал Фрунзе.

Начальник связи отыскал у горько дымивших кизячным дымом костров свою последнюю роту, варившую в котелках конину, позвал:

— Адамович!

Подошел командир роты, моложавый, расторопный рабочий.

— Вот что, Адамович, голубчик,— сказал начальник связи,— надо будет тебе с ротой войти в Сиваш и сменить провода.

— Как же мы, босые, раздетые, в воду?.. Хотя бы сапоги какие-нибудь дали. У меня самого ботинки каши просят.— В доказательство Адамович поднял ногу, обутую в рваный, ощерившийся деревянными гвоздями башмак.

— Там все оденемся.— Начальник связи махнул рукой в сторону бирюзового зарева, неугасимо стоящего над Перекопом.— Там конец всем нашим лишениям.

Адамович скомандовал, люди его крупным шагом направились к Сивашу. Рота вошла в воду, образовала живую цепь. В рваных ботинках и летних штанах, кто по пояс, а кто и по горло в воде, красноармейцы окоченевшими руками заменили провода. Фрунзе снова получил возможность руководить частями, занявшими полуостров. Ночью, около двадцати четырех часов, комдив седьмой кавалерийской дивизии, переправившейся на Литовский полуостров, вызвал к аппарату командующего.

— Сиваш заливает водой. Мою дивизию на Литовском полуострове могут отрезать. Надо брать вал во что бы то ни стало. Эту же просьбу передает и командующий махновской армией Каретник, стоящий рядом со мной.

— Послушайте,— сказал Фрунзе Лукашке,— скачите сейчас к своему отцу и передайте ему мой приказ — немедленно атаковать вал! Я сам позабочусь о доставке красноармейцам ужина на укрепление Турецкого вала.

Выслушав сына, Иванов с холодной неустрашимостью двинул свой полк вперед. Справа и слева, наполняя топотом воздух, поднялись соседние с ним полки.

— Можно мне остаться с тобой? — попросил у отца Лукашка.

В это время доложили, что убит командир роты, в которой Лука раньше служил пулеметчиком.

— Оставайся в роте,— переведя дыхание, приказал сыну Иванов.— Тебя любят красноармейцы, и ты способен увлечь их своим примером. Продвигайтесь вперед, но почаще прижимайтесь к земле.

Лука, падая и подымаясь на вспаханной снарядами земле, побежал к своей роте. Интенданты раздавали ножницы для резки проволоки, лестницы, соломенные маты.

Первая штурмовая колонна, составленная из коммунистов, поднялась в атаку. Люди шли по голой, заранее пристрелянной противником местности. Убитые падали головой вперед, своими телами прикрывая отвоеванную землю. Вместе с этой колонной, держа винтовку наперевес, шла Дарья. Разорвавшийся снаряд осколком сбил папаху с ее головы. Так, с непокрытой головой, с растрепавшимися на ветру черными блестящими волосами, исчезла она с Лукашкиных глаз в клубах порохового дыма.

Встреченные тучей свинца, штурмующие колонны вынуждены были остановиться, залечь под проволокой. Они ожесточенно принялись резать, рубить ее.

Через два часа поднялась в атаку вторая штурмовая волна. Вместе со стрелками на вал шло пятнадцать бронемашин с намалеванными на них красными звездами. Но и вторая атака с большими потерями была отбита артиллерийским огнем.

Наступил рассвет. Где-то на недосягаемой высоте томилось бескровное солнце. Около десяти часов слоистый туман стал рассеиваться. Перед полками вновь обнажился проклятый Турецкий вал, снизу доверху поросший колючим терновником проволочных заграждений.

Весь день рвались снаряды, стаями проносились пули. Голодные бойцы лежали, не поднимая головы, об отступ-

лении нечего было думать, все, что подымалось над землей, поражалось сплошным пулеметным огнем.

В сумерки Иванов сделал третью попытку атаковать вал. Он понимал, что в этом бою решалась будущность народа.

Бойцам удалось захватить несколько саженей второй полосы проволочных заграждений. Под проволокой бездыханными полегли почти все штурмовавшие. Больше пятисот человек недосчитал в своем полку Иванов.

В полночь, освещенный красным светом прорвавшегося сквозь туман месяца, Иванов бросился в четвертую атаку. Он не знал, сколько еще раз ему придется подымать людей, чтобы пройти каких-нибудь двести аршин, отделявших его от вала.

Атака следовала за атакой. На стены Турецкого вала одна за другой наваливались волны атакующих. Артиллерийский, пулеметный и винтовочный огонь, усиленный огнем двух белых крейсеров, стоявших в Каркинитском заливе, расстроил ряды красноармейцев.

Быстро перестроив полк, Иванов снова пошел в атаку. Несколько десятков смельчаков, среди которых была Дарья, спустились к заливу, чтобы по мелководью обойти вал и выйти в тыл противнику. Ничто уже не могло остановить этих несокрушимых, сутки не евших и не пивших людей.

Все пережитое, казалось, изгнало из сердца Луки страх. Три общих для всех красноармейцев побуждения владели им: не оказаться трусом в глазах товарищей, обязательно победить, остаться в живых.

Лука поднялся вместе с отцом. Вал был совсем близко. Красноармейцы, швыряя гранаты, бросились вперед с неистовым криком:

— Даешь Крым!

Грохот орудийных выстрелов накатился со стороны неприятеля; стреляли в упор, на картечь. Все окуталось дымом. Пахло серой и терпкой кислотой крови. Иванов первым с криком: «Смерть Врангелю!» — взобрался на скользкий от крови вал, следом за ним, ударяясь о его сапоги, карабкался Лукашка, а за ними ворвались на вал штурмующие, оставшиеся в живых. Ширина вала была не больше четырех аршин, повсюду стояли лужи крови, холодно сверкавшие под луной, валялись раненые и убитые. Белые артиллеристы спокойно, как на учении, повернули жерла орудий вдоль вала. Никто из них не бежал.

На секунду наступила прозрачная тишина. Среди нее отчетливо было слышно, как офицер, очевидно повторяя чью-то напыщенную фразу, крикнул:

— Могущество армии определяется калибром ее орудий... Огонь!

«Черт знает что за люди это офицерье, даже умирают с позой»,— подумал Иванов.

Раздался последний артиллерийский залп с Турецкого вала. Когда дым разошелся, Лука увидел вокруг себя кровь и трупы, покрывшие узкую полосу земли, и еще увидел он офицера в светло-зеленой английской шинели, поднявшегося из-за орудия.

— До скорого свидания, товарищи! — насмешливо крикнул офицер и выстрелил себе в висок из нагана.

Пять белогвардейцев подняли руки, но тут же упали на землю — кто-то из своих срезал их из ручного пулемета. Вокруг валялись винтовочные гильзы, сорванные впопыхах золотые погоны и, как цветы иммортелей, жалобно глядели с земли втоптанные в грязь белые офицерские кокарды. Пленных на валу не было. Его защитники погибли все, до последнего человека. Иванов, окровавленный, лежал на орудийном лафете, кто-то уже успел накрыть его полковым знаменем. Вокруг него толпилось человек пятьдесят товарищей — все, что осталось от полка.

— Передай командующему, что в два часа семь минут нами взят Турецкий вал...— приказал Иванов сыну.

В прожекторном мертвенном луче, упавшем с французского миноносца, появилась Даша. Узнав Иванова, заголосила по-бабьи, припала к его телу. Вся она была залита кровью.

— Как покалечили тебя, мой ненаглядный, весь в дырах, как решето,— запричитала она.

— Негоже живому человеку думать о смерти... смерть — дело последнее,— прошептал Иванов. Появление Даши в эту грозную минуту перевернуло его сердце.

Горели бронемашины и бревна, вывороченные снарядами из траншей. Скаженный ветер раздувал пламя, клонил его книзу. Казалось, горит земля, было светло, как днем. Красноармейцы обыскивали убитых, забирали подсумки с патронами, кто-то жадно пил из трофейной фляжки, проливая на шинель пахучий коньяк. Появились сестры и санитары с носилками.

На валу, обкуренный пороховым дымом, с ног до головы засыпанный землей, показался Фрунзе. Он внимательно выслушал рапорт раненого командира, спросил:

— Где комиссар полка?

— Убит!

— Командиры рот?

— Убиты все до одного!

— Дорогой ценой достался нам Перекоп,— проговорил Фрунзе. Оглянулся, увидел Луку, сказал ему: — Вы знаете дорогу в Чаплинку. Соберите остатки полка и отправляйтесь в тыл на отдых... Преследовать отступающего противника будут наши конные части.

— Как на отдых? — изумился Лука. Им уже владело нетерпеливое желание поскорее добраться до моря; он еще никогда его не видел.

От Сиваша тянуло тиной. В воздухе по-утиному пролетела брошенная граната, едва слышно разорвалась где-то внизу. Ближайший к Луке красноармеец вдохнул полной грудью воздух, счастливо промолвил:

— Пахнет Волгой... Из Самары я... Еще один рывок — и поедем, браток, по домам... Столяр я...

...Только на пятый день Лука отыскал в полевом лазарете отца. Весь забинтованный, он лежал в одной палатке с Дашей, койки их стояли рядом. Увидев сына, Иванов быстро овладел собой, и на чисто выбритом, помолодевшем лице его появилась виноватая улыбка.

— Хорошо, что пришел... Хочу сообщить тебе новость... Дарья Афанасьевна будет женой моей...— Он достал из-под подушки кожаный портсигар, вынул трофейную папироску с золотым ободком, закурил.— Так что поздравляю тебя с мачехой.

Лука покраснел, глубоко вдохнул воздух, пропитанный карболкой. Голова его закружилась от радости, от неловкости, от стыда, что он стоит здесь и ничего не умеет им сказать.

Наконец он проговорил, волнуясь:

— Я это давно знал. Я люблю тетю Дашу так же, как и тебя, папа... Ведь когда тебя арестовали, она была мне как мать родная... Что же теперь вы собираетесь делать? Наши части уже где-то за Симферополем.

— Война кончается, Лука. Последняя ставка Антанты бита. Вероятно, скоро демобилизация. Попрошусь на хозяйственную работу, поеду в Донбасс восстанавливать заводы. Дарья Афанасьевна собирается учиться. Народной

учительницей будет... А ты что собираешься делать? Детство твое давно кончилось.

Лука хорошо знал отца. Сейчас отец жил уже не нынешним днем, а будущим.

— Я уже определился — подал рапорт командиру дивизии. Прошу послать меня курсантом в военное училище. Не хочу уходить из Красной Армии.

— Ну что ж, как отец и командир, одобряю твое решение,— сказал Иванов.

— Вот и дождалась я, что стал ты моим сынком, Лука,— проговорила Даша.— Давно об этом мечтала, и вот сполнилось.

Ее точно подменили. Какая-то мягкая раздумчивость появилась в ней, кирпичное от загара лицо помолодело, даже морщинки у светящихся счастьем глаз улыбались. Сама себе она казалась легкой и свежей, как десять лет назад. Много сил положила она, чтобы добиться счастья — самого большого счастья, какого могла ждать в жизни. И это счастье было теперь у нее в руках.

Далеко за Джанкоем, словно отзвуки отшумевшей грозы, перекатывался едва уловимый шум артиллерийской канонады.

В полутемную палатку, позвякивая шпорами, вошел Арон Лифшиц. Крикнул:

— Сашок, радуйся — полная победа! Сегодня части Первой Конной заняли Севастополь... Врангель на крейсере «Корнилов» драпанул в Константинополь... Конец войне!.. Правда, махновцы опять озоруют. Воспользовались нашим наступлением, выскочили из Крыма и опять развернули в Таврии борьбу против нас, нападают на наши тылы. Но эту гвардию в кожухах мы быстро расчехвостим — крестьянам надоело таскаться с пулеметами, они хотят пахать землю.

— Арон, поздравь меня — женился я на старости лет. И хорошо, и неловко, и стыдно... Вот она, моя жена, рядом со мной...

Комдив, улыбаясь в усы, молча пожал обоим руки.

— Поздравляю, поздравляю... А у меня, друзья, ни детей, ни жены, ни матери, ни отца, один как перст... Никого, кроме родины, да еще дивизия... вот и вся моя родня.— Арон Лифшиц замялся и отвернул лицо.

Вошел врач в белом халате, и разговор оборвался.

— Был я сегодня на Турецком валу, глянул вперед — и, признаться, восторг меня охватил,— сказал врач.—

Вся Россия видна оттуда — огромное поле деятельности для каждого человека.

Иванов улыбнулся, сказал:

— Да я и сам, когда несли меня на носилках, хотя и полумертвый был, а оглянулся вокруг — и ахнул! Какой необъятный простор!.. Какой простор!

1929, 1958



рассказы



Плацдарм

Никитин склонился над двухкилометровкой, застилавшей грубый стол, сколоченный из досок. Адъютант глянул на усталое худое лицо полковника и вышел из блиндажа на цыпочках, как будто его осторожные шаги могли нарушить не существующую на плацдарме тишину.

Командир дивизии мучительно думал. Десант, которым он командовал, сделал больше, чем от него ждали: в самом широком месте форсировал пролив, захватил плацдарм на полуострове, привлек на себя несколько немецких дивизий, дал возможность основным силам фронта перебраться через пролив там, где ширина его не превышала пяти километров. Советские войска подошли к главному городу полуострова, безуспешно его штурмуют и не могут прийти на помощь десанту, полтора месяца удерживающему клочок земли.

Полтора месяца... За это время произошло много событий. Всех участников десанта наградили орденами. Особо отличившимся присвоили звания Героев Советского Союза. Наши армии успешно наступают на других фронтах. А здесь, на полуострове...

Всем своим умом и огромным опытом Никитин понял: десанту не продержаться и одного дня. Люди, способные еще держать оружие, имеют по две гранаты и по одному неполному диску патронов. План, который обдумывал комдив, не был новым, он намечался в начале десанта и носил позывной номер «три». Это был дерзкий план: обмануть врага, ночью, без боя ускользнуть из плотного окружения, пройти двадцать километров по голой степи,

ударить с тыла и одновременно с войсками фронта овладеть главным городом полуострова.

Но удерживала мысль о раненых. В наспех отрытых укрытиях лежат искалеченные люди, без медикаментов, без воды. Взять их с собой невозможно. Эвакуировать некуда, да и не на чем. Уже с месяц ни одно суденышко не причаливает к береговой кромке, у которой, зарывшись в камень, обороняется десант. Боеприпасы и сухари на парашютах сбрасывают самолеты, но большинство контейнеров достается противнику или падает в море. К тому же, как назло, весь ноябрь и первую половину декабря шли дожди.

Но и тянуть дальше нельзя. Уходить надо ночью. Завтра будет поздно: по всем данным, утром фашисты навалятся на десант всеми силами.

Справа, по фронту, тянулось болото, поросшее камышами. Полковник несколько раз посылал туда разведку. Вот и вчера три лучших следопыта дивизии пробыли там до ночи и, вернувшись, снова подтвердили, что по ту сторону топи нет немецких укреплений и через болото, хоть и с трудом, но пройти можно.

— Только вот раненых не пронести,— сокрушался командир разведки, бывший учитель.

Никитин посмотрел на ходики, висевшие на стене: на девятнадцать тридцать он назначил совещание командного состава дивизии, чтобы объявить свое решение.

Первым в железобетонный дот — не пробиваемый бомбами и снарядами бывший немецкий командный пункт на побережье — явился командир полка Харченко, он безмолвно присел на корточки перед раскрытой печкой, протянул к огню грязные, потрескавшиеся руки. Перевязанная бинтом голова его снежно белела в полутьме. От Харченки пахло порохом, потом.

— Как дела, Анатолий Павлович? — участливо спросил комдив.

— Плохи дела. Только что осколком убит Овчинников, последний комбат-офицер. На его место поставил старшего сержанта. Теперь всеми батальонами и ротами командуют сержанты... Патронов нет, гранат нет, курева нет, ни черта нет.

Комдив промолчал. Все это было уже известно.

К назначенному времени собрались офицеры с автоматами в руках, искалеченные, голодные, злые. Сидеть было не на чем, и они, опираясь спинами о мокрые стены, устало

опустились на корточки. Никитин попросил доложить обстановку. Каждый говорил две-три фразы и умолкал — без слов было понятно, что положение отчаянное.

— Мы можем продержаться ночь, а днем нас уничтожат, так я вас понял, товарищи? — подводя итог сказанному, спросил Никитин и, натянуто улыбаясь, скривил заросшее рыжей бородой лицо.

— Немцы подтянули два стрелковых полка, танки и пушки и, конечно, не станут дожидаться хорошей погоды,— выпалил начальник политотдела, подкладывая в печку куски дерева.

— Так что же делать дальше? — спросил Никитин и зазубренным осколком, которым придавливали карту, постучал по столу.

— Надо прорваться в каменоломни, к партизанам,— предложил Харченко.

Он сосал пуговицу, как леденец, обманывая ноющий желудок.

— А как ты прорвешься?

— Ударим слева и пойдем.

— А раненые? Их оставим здесь? — спросил Никитин.

Наступило тягостное молчание.

— Раненых понесем,— сказал Харченко.

— Шестьсот человек?

— Вынесем Героев Советского Союза, и то хорошо,— вставил прокурор дивизии, примостившийся у порога.

— Не годится... Нести надо или всех, или никого,— отрезал Никитин.— А раненых больше, чем здоровых.

— Герои — цвет армии,— настаивал прокурор, впервые попавший в столь сложную обстановку.

Всю войну он пробыл в тылу, на приличном расстоянии от передовой. И на этот раз он мог преспокойно отсидеться во втором эшелоне, но ему давно хотелось хоть раз испытать себя — узнать, на что он способен, и вот отправился в десант. Была к тому и деловая причина. Недавно выяснилось, что в полку Харченки получали водку на «мертвые души»: убитые продолжали числиться на довольствии. Эти махинации всплыли наружу накануне десанта. Прокурор вызвал Харченко на допрос, но тот не явился. Раздраженный прокурор поехал к нему в полк, и Харченко при людях обругал его «тыловой крысой». Проглотив обиду, прокурор решил показать грубияну, какая он крыса, и продолжить следствие не где-нибудь, а на плацдарме.

Поначалу все было не так страшно, хотя и пришлось идти в атаку сквозь метель трассирующих пуль, наравне с солдатами палить из автомата, бросать гранаты, перепрыгивать через колючую проволоку; увлекая за собой десантников, бежать в темноте через поле, густо утыканное противопехотными минами патяжного действия.

Как-то в один из редких часов затишья, уже на плацдарме, когда десант не обстреливали и не бомбили, он попытался допросить Харченко. Но тот с хохотом напомнил, как прокурор у него в полку за обедом выпил триста граммов водки из НЗ «мертвых душ», и разговор пришлось прекратить.

У входа в блиндаж послышался шум, возбужденные голоса. Вошел адъютант комдива.

— Товарищ полковник, там Акимов требует, чтобы его пропустили к вам. Я толкую ему — совещание, а он ни в какую.

— Да ведь у него обе ноги перебиты,— удивился Никитин.— Откуда он взялся?

— Его санитары на носилках приволокли.

Знаменитый сержант Акимов появился в блиндаже, освещенном трофейными плошками. В день высадки, в первый час боя, из противотанкового ружья он подбил танк, а затем со взводом пехоты, потерявшим своего командира, трое суток удерживал безыменный холм, который в сводках стали называть «высотой Акимова».

— Товарищи офицеры, меня делегировали к вам раненые. — Акимов, Герой Советского Союза, пока еще без Золотой Звезды и ордена Ленина, которых, по всему выходит, ему не придется увидеть, перевел дух.— Мы знаем: вам надо прорваться, но мы, как якоря, держим вас на месте... Уходите, раненые прикроют ваш отход, мы еще способны стрелять, только вот патронов...

— Спасибо, Акимов.— Комдив поклонился сержанту.

Немцы открыли беспорядочный огонь. Рядом с блиндажом разорвался тяжелый снаряд.

Акимов и те, кто принес его, были уже за дверью.

— Уходим в полночь, через болото. Первым отправится разведбатальон, затем уйдут автоматчики, затем штаб... Прикрывает отход полк Харченки... Головная группа поджидает его у подножия господствующей вы-

соты. Ждем вас, Харченко, не больше двадцати минут. Понятно?

— Перелазят через плетень там, где он ниже... Уходить надо в каменоломни,— упрямо возразил Харченко.— И раненых грех бросать...

— Может, лучше пробиваться вдоль берега. Там хоть артиллерия с противоположного берега поддержит,— предложил прокурор.

— Пойдем через болото... Мы не спасаем свою шкуру, а выполняем задачу, поставленную вышестоящим штабом. Мы должны захватить господствующую над полуостровом гору, подавить там немецкую артиллерию, помочь войскам фронта захватить город. Пулеметчики поведут огонь короткими очередями и снимутся последними. Все! — Комдив ударил кулаком по столу.— Идите и выполняйте приказ.

Офицеры неохотно покинули теплый блиндаж. Никитин связался с командующим фронтом по радио и доложил свое решение.

— Согласен,— сказал командующий.— Действуйте, мы вас поддержим. Берите гору, закрепитесь на ней и ждите нас.

Пока продолжался разговор с командующим, начальник политотдела, стоя на коленях у раскрытой печки, скрепя сердце сжигал партийные документы.

— Прошу принять меня в партию коммунистов... Отдам за светлые идеи всю жизнь, до последней кровинки,— прочел он заявление, написанное на зеленом листке немецкой квитанционной книжки, предназначенной для приема зерна от населения.

— Кто написал? — спросил комдив.

— Сапожков.

— Не знаю такого.

— Сапожков подполз и гранатой уничтожил фашистский пулемет; раненный осколками своей гранаты, остался на ничейной земле. Ночью за ним ходил Харченко и вытащил на своей спине... Петров... Плешаков... Лебанидзе... Колесниченко...— Начальник политотдела перечислял фамилии, прочитанные на заявлениях, которые бросал в огонь.

— Эти все убиты,— подтвердил начальник штаба, ожидая своей очереди жечь оперативные бумаги.

— Медики остаются при раненых? — неуверенно спросил начальник медсанбата.

— Добро,— согласился Никитин.— Оставайтесь...

Со стороны противника слышался шум передвижения огромной массы войск. Урчали грузовики, ревели танковые моторы, ржали лошади. По проливу пробегали прожекторные лучи, вырывая из темноты немецкие быстроходные баржи, караулившие остатки десанта, чтобы он не ускользнул морем.

В 23 часа комдиву доложили: раненые, неспособные самостоятельно передвигаться, заняли окопы переднего края. В 23.40 пулеметчики открыли экономную стрельбу. По всему переднему краю взлетели зеленоватые немецкие ракеты, и только справа, над болотом, не зажегся ни один огонек. Остатки десанта, построившись в колонну, пошли в ночную темень, навстречу неизвестности.

Никитин шагал во главе остатков 49-го полка, потерявшего в боях весь командный состав. Болото подмерзло, но идти было трудно, вязкая грязь засасывала ноги, в сапоги заливалась холодная вода. Шли часа два, молча, стиснув зубы. На противоположном берегу болота комдива ждали разведчики. Они курили, пряча цигарки в рукава шинелей. Только у них и был табак, да и то трофейный. Два человека сидели на земле босые, сапоги их остались в трясине. Никитин послал разведчиков вперед, сократив интервал между ними и головным полком.

Прошли еще метров семьсот. Неожиданно впереди взвилась ракета, загремели выстрелы, стали рваться гранаты. Никитин выругался. Ему хотелось без шума незаметно дойти до горы; и вот на́ тебе — пальба.

Он поспешил вперед. Оказалось, боковой дозор напоролся на зенитную батарею, которой еще вчера не было у болота. Немецкие часовые открыли огонь — и пошло, и пошло... Орудийная прислуга не ожидала нападения, и ее быстро перебили в блиндажах, откуда она не успела выбежать. Переводчик Володя Куликов — любимец дивизии, черноглазый, красивый лейтенант — предложил переодеть двадцать человек в немецкую форму, и как только Никитин разрешил, напялил на себя шинель и картуз убитого гауптмана. Переодетые солдаты сняли замки с пушек, вооружились немецкими автоматами, наполнили карманы гранатами и пошли веселей. Во время стычки с зенитчиками двое стрелков были ранены. Никитин приказал нести их. Он часто оглядывался, ждал Харченко. Далеко-далеко, по переднему краю, мельтешили золотые светлячки выстрелов: раненые вели огонь.

На условленном месте, у холма с деревянной тригонометрической вышкой, остановились, перевели дух, принялись грызть сухари. По расчетам, Харченко должен был подойти минут через двадцать, но прошло полчаса, а он не показывался. В его полку оставалось человек триста, и без них атаковать высоту, занятую противником, было невозможно.

Миновал утомительно длинный час, а Харченко не появлялся.

— Смылся, подлец, в каменоломни,— выругался прокурор.

— Как это «смылся»? — возмутился комдив.

— Да так, смылся, и все.

— Ослушался приказа?

Прокурор посмотрел на часы со светящимся циферблатом и, словно не доверяя, поднес их к уху.

Небо серело, медленный зимний рассвет, как вода, разливался по окоему. Время упустили. Затемно до горы теперь уже не дойти. Каждую минуту могут нагрянуть фашисты, навязать бой, перекрыть путь.

Никитин подал команду:

— Вперед, ребята, только вперед!

Шли напрямик, через мокрую степь. Комья грязи налипали на обувь, срывался снег, видимость ни к черту, и это радовало солдат: по крайней мере, не будет бомбежки. Звуки боя на передовой слышались все глуше и глуше и наконец пропали совсем, то ли их поглотило расстояние, то ли там все было кончено.

Будто острая игла вонзилась в сердце комдива. Он вспомнил раненых — снайпера Денисова, бронебойщика Круглова, лейтенанта Муху — и пожалел, что не отдал приказ нести их на руках. Никто не простит ему, что он бросил на произвол судьбы Героев Советского Союза, покинул шестьсот раненых. Оставление плацдарма, если посмотреть на дело со стороны, походило на бегство.

Совсем рассвело, когда колонна приблизилась к шоссе, пересекавшему ее путь, подобно широкой реке без переправ.

Никитин подал приглушенную команду:

— Прячь оружие... Смыкай ряды... Вперед!

По шоссе мчались грузовики, шагали фашисты, трое гражданских гнали стадо овец. Два танка остановились против колонны, повернули в ее сторону стволы орудий. Краснорожий, видимо, пьяный офицер, высунувшийся из

башни с пистолетом в руках, хищно всматривался в советских солдат, настороженный взгляд его скользнул по вооруженным людям, одетым в немецкую форму, встретился с наивными, почти детскими глазами Володи Куликова. Немец спросил:

— Господин капитан, ведете пленных?

— Да, пленных... С десантом русских покончено навсегда...— Движением руки Володя неохотно нарисовал в воздухе крест.

Танки, отравив воздух бензиновой гарью, отправились дальше. Колонна благополучно перешла дорогу и, отшагав еще километра два, стала подыматься на зубчатую гору, заслонившую посветлевшее небо. На ее склонах располагались основные артиллерийские позиции врага.

Люди были голодны и утомлены до предела, но комдив торопил их. Через четверть часа советская артиллерия откроет огонь по немецким пушкам, расположенным на вершине, после чего Никитин должен атаковать их с тыла, укрепиться и ждать. Ждать, как он уже ждал полтора месяца. Комдив переместился в голову отряда и пошел с разведчиками, все еще надеясь, что Харченко нагонит его.

Неожиданно сзади, внизу, в начале горной дороги, возникла автоматная перепалка, сухо застучали пулеметы, грохнули пушки. «Харченко со своими орлами»,— обрадовался полковник. Но радость оказалась преждевременной.

Прибежал запыхавшийся от быстрого бега начальник штаба, доложил: колонна танков с пехотой на броне нагнала арьергард отряда.

Никитин оставил батальон для прикрытия, приказав ему любой ценой удержать противника, хотя бы на час, а сам с остатками дивизии устремился вверх. Солдаты бежали, и он бежал, чувствуя, как у горла колотится тяжелое, будто гиря, сердце.

В условленное время артиллерия фронта накрыла обращенные к ней скаты горы. Четверть часа огонь перекатывался по вершине, затем все пушки разом умолкли, наступила минутная тишина, и Никитин, размахивая «ТТ», во главе своих солдат кинулся на доты, обращенные амбразурами в сторону белого города, видневшегося внизу кристаллами рассыпанной соли. Он видел, как, распахивая двери, улепетывали фашисты, заметил, как офицер с перекошенным от страха лицом обернулся и выстрелом из парабеллума ранил прокурора. Прокурор ткнулся лицом в

камень, потом поднял голову, опершись на локоть; медленно прицелился и убил бегущего офицера. Фашист упал, картинно разбросив руки, на левом запястье поблескивал браслет с квадратными часами.

Разорвавшаяся мина обдала Никитина красноватой каменной пылью, запорошила глаза. Он не был ранен, но перестал видеть, глаза следовало промыть, но ни у кого не было даже капли воды. Все полтора месяца десант мучился от жажды. Пресную воду сбрасывали на парашютах, но ее не хватало, и приходилось пить из луж. Некоторые пытались глотать морскую воду, но от нее рвало... В ушах гудело, и Никитин не разобрал, кто именно усадил его на камни и коньяком протер ему веки. Ужасно щипало, было больно, но, приподняв ресницы, он увидел сначала одним глазом, затем другим, как его солдаты врываются в доты, атакуют пушки, гонят врагов, берут их в плен. И предметы вблизи, и бегущие люди были неясны, как на плохой фотографии.

Подбежал штабной связист с развернутой рацией, антенна раскачивалась на ней, как зеленый стебель с распустившимся диковинным цветком.

— Передай хозяину, мы уже на вершине горы,— приказал комдив.— Спроси, что делать дальше? А затем — кровь из носу — найди мне Харченко.

— А г-де его най-найдешь? — Контуженый связист заикался.

Человека следовало заменить, но, кроме него, никто не умел обращаться с аппаратом, и пришлось оставить все, как было, и продвигаться дальше.

Незнакомый молоденький солдатик подал Никитину цейсовский бинокль, отобранный у пленного офицера. Приложив окуляры к воспаленным глазам, полковник увидел за городом извилистую линию фронта. С десяток «тридцатьчетверок» догорали в открытой степи, наша пехота, покинувшая траншеи, торопливо окапывалась в неподатливом каменистом грунте. Атака по фронту явно не удалась. Все надо начинать сначала. Критическое положение можно спасти только неожиданным ударом с тыла — комдив это понял сразу, как только увидел охваченное огнем поле боя и двигавшиеся из города к переднему краю немецкие части.

Никитин подозвал к себе командиров поредевших рот. Двое были убиты на горе, на их место он назначил прокурора и какого-то расторопного сержанта.

— Приказываю атаковать город с тыла.— Комдив быстро перестроил свои подразделения, разобравшие трофейное оружие, и повел их вниз, к домам, охваченным огнем и дымом.

Неожиданный удар с тыла, откуда уже никак нельзя было ожидать русских, видимо, ошеломил фашистские части в городе, не приспособленном к круговой обороне.

После двухчасового боя на улицах и переулках остатки десанта, совместно с войсками фронта, освободили город. Сотни жителей вышли из подвалов, вывешивали на воротах красные наволочки, как флаги. Солдат зазывали в дома, приглашали к столам, уставленным угощениями.

Командующий фронтом, подъехавший на «виллисе», обнял комдива:

— Спасибо, спасибо, дорогой, что догадался сам.

Не слыша самого себя, Никитин выпалил:

— Надо спасать раненых, оставшихся на плацдарме.

Он выпросил танковый батальон, вступивший на главную площадь, и, прыгнув на броню головной машины, со своими воскресшими для битвы ребятами, густо облепившими танки, отправился туда, откуда пришел. Но теперь уже в обход болота. Рядом с ним оказался прокурор, которому не терпелось дознаться о судьбе ускользнувшего от него Харченки.

Комдив чего-то не доделал, упустил из виду что-то важное, но что — вспомнил только в пути: забыл утолить жажду. А ведь в городе, в каждом доме, наверное, есть вода, и можно было вдоволь напиться.

Вернувшись на вершину горы, где еще лежали убитые, свои и чужие, он с высоты увидел, как по всем дорогам отходили немецкие войска, узнавшие о прорыве фронта. Справа бригада «тридцатьчетверок», вошедшая в прорыв, вела бой с немецкими танками. Клубились синие облака дыма, пролетали ослепительные молнии выстрелов и разрывов.

Спустившись вниз, танки обогнули все еще подернутое туманом, загадочное, тревожное болото и помчались к изрытым бомбами и снарядами позициям десанта. Как ни странно, но немцам не удалось прорвать их, видимо, не хватило каких-нибудь десяти минут.

Сраженные десантники застыли в своих окопах, похожих на могилы. Снайпер Денисов лежал окровавленный, но еще живой; на винтовке, подаренной ему командую-

щим фронтом, был разбит оптический прицел, а в магазинной коробке не осталось ни одного патрона — дюжина трупов в зеленых шинелях валялась перед развороченным окопом. Жив был и бронебойщик Круглов, и лейтенант Муха, только каждого дополнительно продырявили по нескольку раз. На Мухе была изодранная, обожженная, измазанная засохшей грязью шинель с новенькими погонами, украшенными блестящими, как снежинки, белыми звездочками.

На черной от разрывов высоте Акимова лежало два тела, прикрытых изодранным полковым знаменем, посеревшим от пыли.

Комдив, качаясь от усталости, подошел, приподнял край полотнища, увидел желтое, с обострившимися чертами мертвое лицо Харченки, а рядом совсем юную голову с дыркой посредине лба. На груди Харченки поблескивали три ордена, все пробитые пулями, и алели пятна запекшейся крови — пулеметная струя перерезала его пополам.

Откинутые назад, отливающие сталью волосы, умное лицо мертвого Харченки притягивали к себе. Комдив почувствовал, как близок ему этот упрямый человек и как его будет не хватать ему в дальнейшем. За свою сорокалетнюю жизнь Никитин встречал много людей, соприкасался со многими судьбами, видел много смертей, но никогда не был так огорчен, как теперь.

— Кто тут среди вас старшóй? — спросил комдив у стоявших вокруг десантников.

— Я, командир полка,— сержант Акимов,— сказал лежавший на плащ-палатке окровавленный человек. Акимова было трудно узнать.— Когда майора Харченко убили, я как старший по званию принял командование. Вот все, что осталось от нашего полка.— Акимов показал на горстку бойцов.

— В одном бою убило отца и сына,— сказал бронебойщик Круглов.

— Какого сына? Разве у Харченки есть сын?

— Был... Ваня, младший лейтенант... ранили его третьего дня, а сегодня убили... Только фамилия ему не Харченко, а Сапожков, наверное, записали по материнскому паспорту... Мы положили их рядом и похороним в одной могиле.

Так вот почему Харченко ослушался приказа!

Но Акимов развеял догадку комдива:

— Как только вы скрылись в болоте, немцы с моря нам в спину высадили свой десант. Майор, не раздумывая, повернул полк супротив них. Когда фашистов все-таки скинули в море, занялся рассвет, и догонять вас было не с руки. Полк занял прежние окопы... А потом ударили минометы, налетели ихние самоходки, начальника политотдела убило, и майора Харченко — тоже, по, как видите, десант устоял, а тут и вы со своими танками выручили нас...

Кусая бескровные губы, бледный от потери крови, прокурор слушал рассказ Акимова, затем достал свою заветную записную книжку, пашел заметки о Харченко, разорвал листки и пустил их по ветру.

Выглянуло солнце, и клочки бумаги, замелькав, словно белые бабочки, напомнили о весне.

1968



Братья

Маршал авиации в служебном самолете летел в черноморский городок, празднующий двадцатипятилетие своего освобождения. В салоне вместе с ним находился генерал-полковник, бывший начальник политотдела одной из армий, защищавших город в 1942 году. Весь путь спутники играли в шахматы. Оба не уступали друг другу в настойчивости и мастерстве, но чем ближе подлетали к цели, тем большее волнение охватывало их.

— Хорошо бы пролететь вдоль берега, взглянуть на места, где довелось воевать,— предложил генерал-полковник.

Маршал согласился, отправился в кабину летчиков и оставался там, пока самолет не оказался над Туапсе. Генерал-полковник, прильнув к окну, смотрел вниз. Словно огромная льдина, по морю плыл белый теплоход, на рейде дымили танкеры, сновали проворные катера. Справа горстью рассыпанной соли заискрились светлые домики знакомого поселка и растаяли, словно растворились в синеве неба. Среди тронутых осенней позолотой лесов замелькала небрежно брошенная на невысокие горы лента шоссе. Показалось полукружье курортного городка с Толстым и Тонким мысами. Через несколько минут открылось сверкающее лукоморье и возник город, куда спешили военные: огромная бухта, перегороженная каменным молом, голова господствующей высоты, расцвеченные флагами суда, знакомые до боли и в то же время выглядевшие чужими ровные кварталы и площади.

Генерал-полковник посмотрел на трубы цементных заводов:

— Дымят, как эскадра, готовая в далекий поход.

— А вон дом Юккерса,— заметил маршал.— Единственный дом, уцелевший в городе во время войны. Я несколько раз просил артиллеристов не обстреливать его. Облицованное золотистой глазурью здание служило нашим летчикам великолепным ориентиром при налетах на город. Сейчас в этом доме горком партии.

Самолет с ревом прошел над городом и поплыл над виноградниками совхоза шампанских вин. Среди пожелтевших лоз, как цветы, мелькали косынки женщин, убиравших урожай.

Маршал не сказал своему спутнику, что родился в этом городе, провел в нем детство, окончил фабзавуч, работал на цементном заводе, по путевке комсомола ушел в авиацию.

Самолет резко пошел вниз и мягко опустился на бетонные плиты аэродрома. В середине войны в генеральском звании маршал командовал авиационным корпусом, и его люди сражались с фашистскими летчиками, базировавшимися на этот аэродром, построенный в 1942 году.

Гостей, прибывших из Москвы, как положено в таких случаях, встретили с почестями и повезли в город. Ехали молча. И маршал и генерал-полковник прильнули к открытым окнам автомобиля. Каждый поселок, мост, поворот шоссе напоминали позабывшееся, казалось, навсегда. Новое все разрасталось, старое ветшало, отмирало, гибло. Прошло четверть века, как они были здесь в последний раз.

Незаметно въехали в город, обсаженный высокими молодыми деревьями, в ветвях бились бумажные мальчишечьи змеи. В центре толпами ходили пожилые люди в пиджаках, обвешанных орденами и медалями: бывшая морская пехота, моряки, летчики, артиллеристы, танкисты, стрелки, санитары...

Приезжих поселили в двухместном, еще пахнущем свежей краской «люксе» недавно построенной гостиницы. Маршал подошел к открытому окну, выглянул на празднично разукрашенную широкую улицу, на восторженную молодежь, с любопытством разглядывающую необыкновенных гостей, собравшихся со многих мест Советского Союза, и пожалел, что не взял гражданский костюм. Хорошо бы заправить в брюки белую рубаху и никем не узнанным бродить по шумным улицам своего детства. Впрочем, знакомых улиц нет и в помине — их слизал

огненный язык войны. Но разрушенный до основания завод, на котором он работал, восстановили, поставили новые цеха и более мощные вращающиеся печи для обжига клинкера, размалываемого на цемент. Еще в Москве он решил: обязательно сходить на завод.

В дверь весело постучали: вошел секретарь горкома партии, молодой, но с военной медалью. «Подростком воевал»,— про себя отметил маршал. Секретарь поймал взгляд, объяснил: мальчиком упросился в бригаду морской пехоты. Вместе с Красниковым одним из последних отходил с клочка побережья, которое впоследствии окрестили Огненной Землей.

Генерал-полковник помнил эту прокаленную в огне каменистую землю. Он тоже уходил в числе последних и тоже шел рядом с командиром бригады Митей Красниковым, которого уже нет в живых...

— Пойдемте в горком. Там собралось много народу. Вам будут рады,— предложил секретарь.— Человек десять упоминали ваши имена.

— В дом Юккерса? — улыбаясь, спросил маршал.

Но секретарь не знал, кто такой Юккерс. Многое забывается с годами, и время безжалостно стирает имена и названия.

В горкоме было полным-полно народу. От стены шагнул широкоплечий, пахнущий табаком человек, протянул маршалу руку.

— Сколько лет, сколько зим!..

Им уступили стулья, и они сели рядом, счастливые тем, что видят друг друга.

— Четверть века как не бывало. Я давно на пенсии, а мне все еще снятся бои над бухтой, над городом, над Огненной Землей...

Об Огненной Земле вспоминали во всех концах обширной комнаты, но постепенно вокруг маршала и его друга образовался плотный круг людей.

— А помните, как первая немецкая танковая армия неожиданно исчезла из Прикубанья? На ее поиски посылали разведсамолеты, и ни один не возвращался, а вы полетели на трофейном «мессершмитте» и нашли.

— Такое не забывается,— ответил маршал.

Мысленно он увидел раскрашенное желтой краской осиное туловище трофейного самолета, отремонтированного усилиями технарей и летчиков, вспомнил, как он осваивал его, как впервые поднялся в немецкой машине

над землей, а затем получил задание — пролететь и найти ускользнувшую танковую армию фашистов. На него напялили узковатую, с чужого плеча немецкую форму. За линией фронта на советского летчика не обращали внимания. Фашистские самолеты летели к позициям советских войск и, отбомбившись, возвращались. Почти рядом продымил подбитый «юнкерс» и врезался в пшеничное поле. «Не дотянул до аэродрома»,— равнодушно подумал советский ас. После долгих блужданий он нашел задернутые облаками пыли колонны танков, и сердце его радостно затрепетало. Дело было сделано, оставалось только доложить начальству.

На обратном пути к нему приблизился другой «мессершмитт», и генерал увидел горбоносое, перечеркнутое осколочным шрамом лицо пилота. Немец поднял руку, в шлемофоне раздался резкий возглас предупреждения:

— Над нами пять «яков»! — Самолет стремительно пошел в облака, только на фюзеляже мелькнул намалеванный киноварью бубновый туз.

Русский летчик забыл на мгновение, что летит на «мессере», и обрадовался «якам». Но свои бесцеремонно навалились на него со всех сторон и повели на аэродром. Не на тот, с которого он взлетел, а на другой, что находился в стороне. Прижимая ниже и ниже, его заставили опуститься на прогибающиеся под тяжестью самолета металлические полосы. Он сел, с облегчением вылез из кабины, смахнул со лба капли пота. Со всех сторон бежали возбужденные люди, кричали:

— А, попался!

— Я свой, товарищи! Свой! — обрадованно кричал он подбегавшим к нему парням.

— Как свой?

— А, продался фашистам! — Бравый старшина с ходу залепил ему оплеуху.

— Я советский генерал, летал в тыл с важным заданием.— К нему вернулось обычное равновесие. Он назвал свою фамилию, которую знали.

Офицеры угомонили разбушевавшихся солдат. Последовала серия телефонных звонков, и недоразумение прояснилось.

Еще несколько раз летал смелый ас на обжитом «мессершмитте» в далекие и опасные рейды. Но теперь всякий раз в сопровождении своих истребителей, поджидавших его возвращения в условленной зоне.

Один пенсионер предложил пройтись на Огненную Землю. В шумном вестибюле гостиницы к ним присоединились еще люди, пошли оживленной группой человек в двенадцать...

Там, где проходил передний край, высились новые дома с балконами, украшенными коврами. Повсюду алели красные флаги — все вокруг словно замело маковыми лепестками. Не было разбитого здания радиостанции, где помещались штабы; срезанный артиллерийскими снарядами лагерный сад разросся, и куда только достигал глаз, зеленели квадраты виноградников. Нигде не виделось ни единого дота, исчезло все, что напоминало о боях...

По Огненной Земле бродили немолодые мужчины, как дети, клали в карманы ржавые осколки. Каждый искал свой окоп. И не находил: все засыпало время. Встречались холмы братских могил с золотыми столбиками фамилий, и многие находили в них имена своих товарищей. Дорога была как бы проложена вдоль бесконечного кладбища, и маршал думал, что ряды безмолвных могил способны говорить,— они как бы строки в страшной книге войны, по которым и через сто лет можно прочесть о жестокости оккупантов, о мужестве защитников Родины.

Пригреваемые нежарким сентябрьским солнцем, незаметно дошли до винсовхоза, называемого теперь «Огненная Земля». В прохладной столовой рабочие угощали молодым вином красавца адмирала — бывшего командующего Черноморским флотом — и уцелевших командиров батальонов морской пехоты.

У двери висела чугунная доска. Генерал-полковник прочел: «Здесь помещался штаб 255-й бригады морской пехоты»,— улыбнулся, сказал:

— Штаб этой бригады и не ночевал тут, он помещался на радиостанции.

Кто-то сказал:

— Как жаль, что не оставили развалин радиостанции!

Маршал слушал и думал, что время путает события, даты, цифры. Сотрудница городского музея и директор совхоза обещали все написать заново, так, как было.

Весь день маршал с любопытством бродил по земле, над которой провел не менее сотни воздушных боев. До этого он никогда здесь не был, но каменистая, красноватая, словно впитавшая в себя кровь, земля была ему дорога. Над нею гибли его товарищи...

Вернувшись в город, он, никого не предупредив, отправился на цементный завод. В его время там выпускали портландский цемент, теперь, он слышал, производят пуццолановый, тампонажный, быстро схватывающийся.

Он ехал на задней площадке в полупустом трамвайном вагоне.

— Обратите внимание, здесь проходила линия фронта,— сказал ему бородатый человек.

На бетонном пьедестале, как напоминание о годах величайшего проявления человеческого духа, стоял железный остов товарного вагона, снизу доверху источенный пулями. Какой-то любознательный мальчишка насчитал в нем одиннадцать тысяч пробоин. Вагон этот перегораживал шоссе и, как баррикада, разделял две враждующие армии.

Маршал сошел на остановке у завода. До проходной оставалось каких-нибудь сто шагов. Работала вечерняя смена. Невысокий дежурный инженер со смуглым решительным лицом узнал маршала: в заводоуправлении висел его портрет при всех звездах и орденах. Инженер стоял у электрической схемы диспетчерского щита. На схеме, как в зеркале, отражалась работа завода, и маршал понимал, что веселые зеленые огоньки утверждают: все вращающиеся печи работают полным ходом.

Инженер охотно повел гостя по высоким, просторным цехам, показал, как происходит помол, превращая мергель в сметанообразный шлам, как шлам насосами подается в огромные бассейны.

— Машин и всяких механизмов у нас больше, чем людей,— похвастал инженер.

Закрывая от жара кепкой загорелое лицо, он прошел к огромным вращающимся железным печам, поставленным с едва уловимым на глаз уклоном. В печах, наполненных сырьем, рождался цементный клинкер. Здесь люди имели дело с огнем, который требовал ритмичной работы, «чувства» печи, знания ее особенностей и капризов. Постояли у пульта управления, где умные измерительные приборы контролировали работу печи: скорость вращения, температуру, силу горячего воздушного дутья. Печь медленно вращалась, в ее железной утробе шумело разноцветное пламя, глухо бился о металлические стенки спекшийся клинкер, и в этом движении и звуках был вечный круговорот жизни.

Маршал все оглядывался вокруг — искал свое рабочее место и не находил, как десантники сегодня на Огненной Земле не находили своих окопов. Было жарко. Хотелось пить. Инженер вывел гостя из цеха, повел на карьер. С подножия господствующей высоты хорошо просматривался вечерний порт — суда, украшенные мозаикой красных, желтых, зеленых ламп. На длинных пирсах, как на бульварах, гуляла молодежь. Морской ветер гнал с бухты медные волны музыки духового оркестра.

— Смотрю на вас, товарищ маршал, и кажется, что я вас уже знаю, приходилось раньше встречаться,— взволнованно сказал инженер.

— Да, и у меня такое впечатление, будто вы когда-то приснились мне,— добродушно ответил маршал. И было непонятно, сказал он это всерьез или в шутку.

Инженер показал кратчайший путь в порт, пожал собеседнику руку, и маршал, попрощавшись, зашагал по тропинке, круто сбегающей между валунами к морю. Через полчаса он был на пирсе, у которого фашистские бомбардировщики потопили лидер «Ташкент». На эту обгрызенную бомбами и снарядами полоску бетона в сентябре 1943 года высадился десантный полк войск НКВД.

На пирсе маршал встретил генерал-полковника. Он стоял у самого уреза воды, смотрел в черную даль и видел то, что происходило тут более четверти века назад. Во время отступления на этом, уже отрезанном врагами пирсе, садясь в торпедный катер, пришедший за ним, он попал под страшную бомбежку. Одной из причин, заставивших его приехать на торжества, было острое, никогда не покидавшее желание взглянуть на место, где его могли убить, да не сумели.

Маршал положил на плечо товарища руку.

— Вот мы гуляли по Огненной Земле, и каждый из нас мог наступить на забытую мину и взорваться. Чем не сюжет для рассказа? — сказал генерал-полковник.

Корреспонденты во время войны не написали о нем ни строки, хотя он постоянно находился на передовой. Он не только переживал все перипетии боев, но и знал в лицо сотни солдат и матросов. Ему хотелось поведать другу о пережитом в боях за город, но он смолчал. Собственные подвиги ему казались бледными по сравнению с крылатыми победами маршала. Они вернулись в гостиницу, утомленные переживаниями дня, легли в прохладные постели и моментально уснули.

На другой день на Огненной Земле состоялся митинг. Пришли стар и млад — все население города. Выступали участники обороны и штурма. Секретарь горкома партии просил маршала выступить, но тот наотрез отказался: он не любил, да и не умел говорить, считал себя плохим оратором.

Люди называли имена погибших товарищей, говорили о мужестве, о войсковом товариществе, о стойкости, о том, как бойцы, испробовав свои силы в бою, становились коммунистами.

Затем моряки продемонстрировали высадку морского десанта у мыса Любви, стараясь повторить все, как было во время штурма. Среди разрывов и цветных дымов спешили мелкие суда. Молодые люди с оружием бросались в воду, выскакивали на каменистый берег, кидали гранаты и палили из автоматов.

— На самом деле все было не так красочно и картинно,— сказал генерал-полковник.— Бой невозможно повторить. Никогда не бывает два одинаковых боя.

— Тогда, двадцать пять лет назад, подожженные суда пылали жаркими кострами, на море горел разлитый бензин и по горячей воде хлестал свинцовый ливень,— припомнил маршал. Он видел штурм родного города с неба, затянутого облаками дыма. Штурм длился пять суток, и пять суток он во главе своих летчиков дрался с фашистскими самолетами... «Об этом и расскажу, если придется выступить»,— решил маршал.

И вот он на торжественном заседании в театре, заполненном до отказа. Никогда, пожалуй, не видел сразу столько орденов, как в этот вечер. Защитники Огненной Земли награждались по четыре, по пять раз. Он сидел в президиуме. Член Политбюро ЦК КПСС Андрей Павлович Кириленко говорил о военной и трудовой славе города. Оглашал имена героев. Назвал и фамилию маршала... Затем под гром аплодисментов к знамени города прикрепил орден.

На трибуну выходили ветераны. И оттуда лились воспоминания, воспоминания, воспоминания — живой, кипящий поток слов. Сотрудница музея едва успевала стенографировать выступления.

Председательствовавший секретарь горкома партии назвал фамилию маршала. Волнуясь, он вышел на трибуну, напомнил о своих товарищах-летчиках, живых и мертвых, и замолчал на минуту, задумался.

— Ну, что вам еще поведать? — сказал наконец маршал.— Расскажу, как сбили меня. Трижды я встречался с фашистским асом. Даже в лицо запомнил: горбоносый, с осколочным шрамом. На борту его самолета — бубновый туз. Первый раз я летел в разведку, он принял меня за своего, и мы разошлись без боя. Во второй встретились, когда я, отстав от товарищей, последним возвращался на аэродром. Над морем меня настиг этот ас. Я узнал его. Узнал ли он меня, не знаю. Завязался бой. Я еще раньше расстрелял боезапас и вступил в этот бой безоружным. И был сбит... Плюхнулся в море. Открыл фонарь самолета и вывалился в холодную воду. Берег едва проглядывался. Я поплыл было кролем, но, сделав несколько резких движений, почувствовал, что ранен. Остановить кровь было нечем, и мне казалось, что вместе с нею вытекала из меня и жизнь. Я наверняка знал, что до берега не добраться. Но инстинкт самосохранения заставлял плыть. Не хватало дыхания. Быстро темнело, а может, мутилось в глазах. Берег вместо того, чтобы приблизиться, исчез. Последние силы покидали тело. И вдруг я услышал шум — подумал, что это гудит в голове. Но рядом застопорил торпедный катер. Меня подняли на борт, я потерял сознание и очнулся в далеком госпитале... Прошла целая вечность, а я до сих пор не знаю, кому обязан жизнью.

В зале стояла тишина, и в этой напряженной тишине, словно удары колокола, раздались энергичные слова.

— Это был я, товарищ маршал! — В конце зала поднялся мужчина в белом пиджаке, на котором поблескивал орден Красного Знамени.

Все взоры обратились к этому человеку. Маршал узнал в нем вчерашнего инженера с цементного завода.

— Идите сюда, на сцену,— сказал председатель. И все в президиуме замахали руками, приглашая его.

Человек под аплодисменты двинулся армейским шагом. Его осыпали цветами. Он, не торопясь, поднялся в президиум, стал рядом с маршалом, низенький, щуплый, похожий на мальчугана. Несколько минут они стояли молча, заново узнавая друг друга, улыбаясь и радуясь столь необыкновенной встрече.

— Расскажите, как все это произошло,— сказал председатель.

— Обыкновенно. Наш корабль возвращался на базу. Видим: упал советский самолет. Ну мы и помчались к месту происшествия с надеждой, что летчик жив. Ко-

нечно, было не по себе: слишком близко город. Подошли к масляному пятну, и, когда подняли человека на борт, тут нас с берега взяла в работу фашистская батарея. Снаряды рвутся вокруг, а мы маневрируем среди разрывов. Как видите, не оплошали, ушли без потерь... А вы, товарищ маршал, говорили, что вам и в третий раз пришлось встретиться с тем фашистским асом. Чем окончилась третья встреча?

— В третий раз я его сбил. Видать, он узнал меня, опешил... И эта заминка стоила ему жизни...

Затем за городом, в уютной гостинице винсовхоза, был банкет. Маршал и инженер-цементник сидели рядом, пили сухое вино и все не могли наговориться. Генерал-полковник поглядывал на инженера; ему казалось, что этот человек был командиром катера, под огнем увезшего его с разбитого бомбами пирса.

Произнося тост, маршал сказал несколько слов о своем потерянном и вновь обретенном друге:

— Вчера я встретился с ним на заводе, видел его в работе. Большое беспокойство за порученное дело, присущее героям обороны и штурма города, не исчезло и продолжает жить в рабочих цементных заводов, заново построенных на земле, обильно политой кровью.— Маршал обнял инженера, и они, как братья после долгой разлуки, поцеловались на глазах у сотен людей, знающих подлинную цену жизни.

Апрель 1970 года.



Замок

Старенький туристский пароходик с деревянными плицами, покрытыми зелеными водорослями, причалил к небольшой пристани, расположенной рядом с гостиницей. Пассажиры, покинув палубу, направились в ресторан, откуда вкусно пахло жареным мясом. Цимбал выбрал столик на террасе у самой ограды, украшенной вьющимися стеблями крученого паныча, семена которого, видимо, завезли с Украины. Никто из спутников к нему не подсел, но подошла миловидная девочка лет пятнадцати с корзиной бумажных цветов. Эти места славились в Германии изготовлением искусственных цветов, которые развозили отсюда по всей Европе. Цимбал поднял глаза и обомлел — он уже видел эту девочку двадцать семь лет назад: то же лицо, те же глаза, те же косы, двумя золотыми ручейками стекающие по груди, тот же рост, те же полноватые крепкие ноги. Так же смущенно опустила глаза, словно стыдится своей красы.

— Эльза! — воскликнул пораженный редким сходством Цимбал.

— Вы меня знаете? — удивилась девочка и, словно разгадав что-то интимное, чужое, добавила: — Мою маму тоже зовут Эльзой. Вы увидите ее в замке Кёнигенштайн, и она и я прожили там всю жизнь.

— Я тебя вижу впервые,— сказал Цимбал.

— Странно,— удивилась девочка.

Цимбал отобрал три гвоздики — две белые и одну красную. Цветы были как живые, только не пахли.

Принесли завтрак. Расправляясь с яичницей и запивая светлым пивом, Цимбал смотрел через реку на высо-

кий противоположный берег. Левее, на огромной скале, возвышался старинный замок.

Официант, вернувшийся за посудой, проследив за взглядом Цимбала, сказал:

— В годы войны замок служил тюрьмой для военнопленных. В ней томились генералы и особо заслуженные офицеры... Только одному человеку удалось оттуда бежать, но никто не знает его судьбы.

Успевшие позавтракать туристы возвращались на пароходик. Все говорили о замке. Цимбал присоединился к ним. Он слышал разговоры и улыбался — о замке он знал куда больше, чем все они, хотя в руках у многих мелькали проспекты с описанием замка, отпечатанные на немецком языке. Он был узником этого каменного каземата. Проспект лежал и у него в кармане пиджака, но он не стал его даже просматривать.

Когда все пассажиры собрались на палубе, пароходик проворно поплыл вниз по течению и, обогнув величественную, словно собор, скалу, будто короной увенчанную каменным замком, причалил к противоположному берегу.

По тропинке между вековых деревьев гид вывел туристов на мощеную дорогу, подымавшуюся в гору, и вся группа, пройдя километра два, вышла к тяжелым воротам замка, у которых торчали врытые в землю стволы медных пушек, полные окурков.

Неожиданно возник деревянный мост, подвешенный на тяжелых якорных цепях через глубокий ров. На каменном дне его змеился светлый ручей. Перейдя через мост, люди вошли под гулкие своды, напоминающие широкий туннель, круто уходящий кверху. Каких-нибудь сто шагов, и все взмокли, достали носовые платки, пошли медленней, обращая внимание на стены, исцарапанные подписями узников, сделанными в начале сороковых годов.

Шли вдоль толстого железного каната, приведшего к лебедке и машине, как заметил гид, подымавшей когда-то наверх кареты.

Наконец выбрались на светлую четырехугольную площадь, окаймленную каменными домами, за которыми шумели высокие деревья. Цимбал хорошо знал этот плац. В центральном доме бывшей резиденции саксонских королей жил комендант с семьей, в правом помещалась казарма небольшого эсэсовского гарнизона. В левом, стоявшем над обрывом, располагались камеры узников.

Туристы сбились стайкой, и гид начал рассказывать полную кровавых злодеяний историю замка, начав ее со времен возникновения германских княжеств. Затем он заговорил о годах войны.

— Двести четырнадцать пленных томились на скале в стенах замка, но только одному счастливцу удалось бежать.

Все изумленно ахнули. Сердце Цимбала замерло.

— Это был русский летчик, Герой Советского Союза Иван Семиволос,— объявил гид.— Фотография его помещена в проспекте, который вы купили на пароходе.

Цимбал удивленно приподнял сросшиеся брови. Он развернул проспект, сразу увидел фотографию Семиволоса. Он помнил молодого парня — старшего лейтенанта, с неукротимым нравом, кажется, шахтера из Донбасса. Но Семиволос не бежал, а был расстрелян за неповиновение и дерзкий характер. Произошла ошибка! Почему же назвали Семиволоса, а не того, кто бежал?

Но тут же последовало и объяснение:

— Ни один узник тюрьмы не остался жив. Все погибли в разное время. Даже могилы их не сохранились. Расстреливали на краю обрыва, тела падали вниз, разбивались о скалы, их растаскивали горные орлы.

Гид продолжал рассказ, но Цимбал не стал слушать. Он мог бы поведать куда больше и интереснее, чем гид, ибо, как никто, знал человека, совершившего дерзкий побег. Цимбал отделился от плотно стоявшей группы, не спеша пошел вдоль невысокой каменной стены, ограждающей площадку от отвесной пропасти. Поверх нее, словно телефонный кабель, лежал железный провод. Он был гладкий, слишком много рук скользили по нему, когда люди обходили по кругу площадку.

С высоты хорошо просматривалась Эльба с ее плавными изгибами, скалами и замками на них. На ближних островах, окаймленных песчаной кромкой, виднелись крестьяне, убиравшие сено косилками. Цимбал споткнулся, вздрогнул. Он дошел до угла тюрьмы, до места, откуда бежал смельчак, кстати, не летчик, как его представил гид, а морской пехотинец. Попав в страшный тюремный замок, он сразу решил бежать. Дерзкий замысел свой обдумывал долго. Малейшая оплошность могла погубить. Война научила действовать наверняка, он боялся сделать необдуманный, пагубный шаг.

Цимбал прислонился спиной к высокому дубу, закрыл глаза и словно увидел всю картину побега. Перед ним возникла пятнадцатилетняя Эльза, дочь начальника тюрьмы, влюбившаяся в морского пехотинца. У него было приятное, красивое лицо, и, несмотря на худобу, он одним своим видом располагал к себе. Она была хороша собой — не женщина и не девочка, с благородным лицом, с вишневым румянцем на щеках, голубыми, какими-то бархатными глазами, изумленно глядевшими из-под черных бровей. Чистое сердце ее, не знавшее любви, готово было раскрыться и полететь навстречу другому сердцу. Цимбал знал, что если в этом возрасте полюбят, то беззаветно, очертя голову. Любовь эта возникла не сразу. Понадобились долгие месяцы, пока девочка обратила внимание на русского парня со смуглым, молодым, веселым и смелым лицом, заговорила с ним, затем постепенно все больше и больше проникалась доверием и, наконец, сама себе боясь признаться, влюбилась в него.

У желчного, всегда раздраженного коменданта тюрьмы было шесть дочерей. Эльза старшая. Матери у нее не было. Ее заменяла мачеха — злая, болезненная женщина, обремененная детьми и хозяйством, издевавшаяся над нелюбимой своенравной падчерицей, еще помнившей мамино внимание и ласки. Мачеха часто ругала ее и даже била, и не только на виду у эсэсовцев, но и на глазах заключенных. Однажды морской пехотинец заступился за девочку, вырвал ее из цепких рук разъяренной мегеры и заслонил собой. При тюремном режиме это был неслыханный бунт. Комендантша нажаловалась мужу, и в тот же день моряку всыпали двадцать плетей.

Девочка видела, как секли ее заступника. Он лежал на деревянной лавке со связанными руками и ногами, и, стиснув зубы, не проронил ни слова. Мужество пленного потрясло воображение юнгфрау, не переносившей боли.

Морской пехотинец неплохо знал немецкий язык. В конце тридцатых годов он около года ходил на вечерние курсы немецкого языка, работал дома со словарями, читал в оригиналах книги немецких писателей. Усилия его не пропали даром, и все, чего он достиг в познании языка Гете и Шиллера, пригодилось ему на войне.

Как-то он помог Эльзе донести тяжелую корзину картофеля. Однажды нарисовал ее же цветными карандашами окрестный пейзаж, который ей понравился, и она с благодарностью унесла его домой. Потом он узнал, что

брат ее матери был сослан в лагерь, и это послужило причиной развода отца с ней. У Эльзы все не ладилось в школе с алгеброй и геометрией, и он, с согласия отца, помогал девочке решать трудные задачи.

С каждым днем недоверие пропадало все больше.

Отец заходил к ним в комнату, когда они занимались. Лицо у него было мясистое, красное, дышало спесью, властью, силой. Он нагибал бычью шею, просматривал тетради. Горе ждало того человека, который посмел бы встать на его пути. Пленный уже успел присмотреться к нему. Он был безжалостен к себе, заключенным, охране. Только одна была у него слабость — старшая дочь.

Морской пехотинец сидел со своей ученицей, прислушивался к шелесту ее платья, ощущал тепло, излучаемое ее телом, смотрел и все никак не мог наглядеться на прекрасное матовое лицо. В изломе темных бровей чувствовалась молодая, пробуждающаяся воля, глаза сияли умом, и во всем облике было разлито детское очарование и прелесть. Все это доставляло узнику томительную радость, пробуждало смутные надежды, а какие, он и сам не знал.

Немецкую девочку покоряли знания русского парня, его внимание и такт. Ни одного лишнего слова, ни одного неосторожного движения, способного сразу разрушить все. Она была поражена, что он наизусть мог читать отрывки из «Нибелунгов», которых не знал даже учитель.

Как-то он прочел из «Фауста» Гете.

Я предан этой мысли! Жизни годы
Прошли недаром: ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой! [1] —

прочел красивым, выразительным голосом и тут же добавил:

— Это любимые строки Эрнста Тельмана.

— Дядю убили, потому что он агитировал за Тельмана,— добавила потрясенная девочка.

Изредка, когда они занимались, в комнату Эльзы, увешанную географическими картами, словно цветными коврами, неслышно входил отец. Он задерживался на пороге и, широко расставив ноги, с любовью смотрел на дочь, затем подходил, гладил ее золотистые волосы, целовал глаза и щеки, вздыхал.

---

[1] Перевод Н. Холодковского.

Заключенный почтительно вставал, опускал руки по швам — комендант тоже медленно привыкал к нему.

Дела у немцев на фронте шли все хуже и хуже, и эсэсовцы, зная, что за все рано или поздно придется расплачиваться, несколько сбавляли свой зверский пыл.

Эльза болезненно относилась ко всему, что касалось родной матери, питала неизъяснимую нежность к бесследно исчезнувшему дяде. Морской пехотинец при случае заводил о них разговор, и девочка любила, когда он произносил хорошие слова о ее близких, о которых никто дома не вспоминал. Он не разговаривал с нею тоном снисходительности и напускной детскости, каким с нею обычно говорили немецкие солдаты, а говорил, как равный с равной.

Как-то он, полный решимости, спросил Эльзу:

— Если бы представилась возможность — помогла бы дяде бежать из тюрьмы?

— И глазом бы не моргнула,— не раздумывая, ответила Эльза, на лету угадывая его мысли.

Русский воспрянул духом.

Однажды мачеха отколотила Эльзу. Вся в слезах, девочка прибежала к своему защитнику, подстригавшему в саду кусты роз, повисла у него на шее, разрыдалась. Он осторожно погладил ее голову, коснулся губами ее виска, успокоил. Так случалось не раз. Девочка проникалась все большим чувством к нему. Это было ее первое, еще не осознанное чувство. Как-то в порыве откровения она сказала ему, что любит его. Он отшатнулся от неожиданности,— и она это оценила,— взял ее тонкие руки и, заглядывая в глубокие глаза, сказал просто и откровенно:

— Помоги мне бежать... Русский человек не может любить в неволе, со связанными руками и ногами. Придет время, и я вернусь к тебе, если ты не забудешь меня...

Он никогда не был счастлив так, как теперь, держа в своих ладонях ее горячие, тонкие руки.

— Я понимаю твою жажду к свободе, но не могу подвести отца. Ведь он за всех заключенных в ответе,— с суровой холодностью сказала она.— Благополучие отца — это спокойствие нашей семьи, моих сестер.— Надув губки, она начинала сердиться.— Я ведь не змея, готовая кусать отцовскую грудь.— Спокойная и надменная девочка закусила губу, сверкнула глазенками, и было похоже, что она не на шутку разозлилась.

Безысходное отчаяние охватило русского.

Эльзу позвала мачеха, и она, даже не взглянув на него, умчалась, проворная, как коза, и скрылась в доме. Серый фасад комендантского дома, украшенного старинными гербами, всегда закрывало стираное белье, сушившееся на веревках под солнцем. Издали оно напоминало стаю яхт, распустивших белоснежные паруса. Девочка воспитывалась в фашистской семье и о просьбе пленного могла рассказать отцу. Морской пехотинец не видел ее два дня и все это время думал: скажет или не скажет? Приходила мысль: а вдруг уже сказала? Начнется следствие, и неизменная кара — расстрел над каменным обрывом.

Она ни разу не спросила, есть ли у него жена, дети. Он бы не солгал ей, и как бы она отнеслась тогда к его затее — бежать с ее помощью?.. Самые ревнивые существа на свете — девчонки.

Эльза никому ничего не сказала: все-таки сильным в ней было чувство к несчастному пленному, поразившему ее долготерпением, лаской, нежностью. Его слова о политике, сказанные в разное время, многое расшатали в ней, поколебали, сдвинули с привычных мест. Боялась даже самой себе признаться, что у нее родились робкие сомнения в Гитлере.

Заключенные, днем выполнявшие разную работу в замке, ночевали в казармах. Это была особая тюрьма. В ней содержалось много англичан, французов, датчан, греков, югославов... В камерах сидели люди, за которых где-то шел вечный торг. Десять англичан обменяли на гитлеровских генералов. Все узники ждали, что и их обменяют. Только русские ни на что не надеялись.

На ночь заключенных запирали в замок. Бежать можно было только ночью, предварительно распилив железную решетку на окне, выходившем к обрыву. Морской пехотинец просто, без обиняков попросил у Эльзы ножовку. Она не знала, что это такое, и ей надо было долго объяснять, пока она поняла. Она тайком отдала ему украденные в слесарной мастерской два новых стальных полотна, завернутых в газету, вынув сверток из складок блузы.

Пленный приступил к работе. Глубокой ночью, когда вся тюрьма спала, он перепиливал прутья, изрядно подточенные временем. Работа увлекла его, но он не торопился, опасаясь, как бы не заметил часовой, дремавший в коридоре.

Когда прутья были в достаточной мере подпилены, он попросил у девочки веревку.

— Ну, спустишься ты вниз, а что дальше? — засомневалась Эльза.

И она предложила ему свой план. Видно, думала о нем не одну бессонную ночь. У нее есть собственный автомобиль, маленький красный БМВ — подарок отца. Она ездит на нем в город Пирну в школу. Иногда остается в Пирну, ночует у своей подруги, родители разрешают. Она достанет ему офицерскую форму, будет ждать в машине, а затем, когда он спустится на землю, отвезет его на узловую станцию. А там уж как ему повезет... Русские наступают на всех фронтах.

План был разумен, и морской пехотинец согласился. Побег назначили в ночь с субботы на воскресенье, когда половина охраны отправлялась в ближайший городок, а вторая, упившись пивом, вволю натанцевавшись на днище пивной бочки, дрыхла в казарме. В подвалах замка хранилась самая большая бочка в мире, вмещавшая двести пятьдесят тысяч литров вина. Ее стягивали тридцать пять обручей, на бочке была устроена танцплощадка на тридцать пар, которая никогда не пустовала в субботние и воскресные вечера. Беззаботные эсэсовцы любили танцевать с крестьянскими девушками, приходившими в замок.

В субботу Эльза с не присущим ей беспокойством передала русскому моток бельевой веревки, и он снес ее в свою камеру.

Днем часовые редко заглядывали к своим подопечным, работающим во дворе, и морской пехотинец проверил веревку. Видимо, у Эльзы не было возможности ее размотать, в пяти местах она была разрезана, и он скрепил ее надежными морскими узлами. Длина веревки, как ему показалось, вполне достаточна.

С вечера небо покрылось тучами, надвигалась гроза. Часов в десять первые капли дождя со звоном рассыпались по жестяной крыше. У русского от ожидания замирало сердце. Дождь усиливался и, нарастая, перешел в ливень. Косые молнии, вырывая из темноты отдельные здания, таинственно озаряли замок. Беглец засомневался, станет ли Эльза ждать его в машине в такую непогоду, да и смогут ли они проехать по дороге, которую наверняка пересекают потоки воды, рушащейся со скал. Тревога охватила его, будто спешил он навстречу своей гибели. Может, стоит отложить побег на день? Но для этого надо повидаться с Эльзой, предупредить ее, а это невозможно.

«Один раз помирать»,— успокоил он себя. В назначенное время выломал подпиленную решетку и бросил вниз, гул при ее падении слился с грохотом падающей воды. Затем он добрался до окна, прикрепил короткий отрезок веревки и спустился на площадку. Он сразу промок до костей. Прикрепив конец мотка к крюку, через который проходил громоотвод, полез вниз, держась за веревку, упираясь ногами о скалу. Главное теперь — сохранить ясность мысли и силу. Огромная стая ворон, напуганная его появлением, поднялась со скалы, рождая своим криком зловещее эхо. Затем он услышал, как высоко над ним не спеша прошел часовой, остановился, видимо, закурил. Беглец ждал выстрела. В руке у него был конец веревки, а ноги не достигали земли. «Что за черт? — выругался он.— Неужели Эльза ошиблась в расчетах, ведь знает, что замок стоит на высоте триста шестьдесят метров». Он повис над бездной. Смертельная усталость овладела им. Делать было нечего, и, не зная, сколько под ним метров, он прыгнул. Веревки не хватило метра четыре, и он мягко коснулся каменного грунта. Перебравшись через ручей, бушующий, словно горная речка, он вышел на дорогу, увидел озаренную молнией красную машину и в ней два силуэта. «Что за дьявол! Кто может сидеть с девчонкой? Не отец ли ее поджидает беглеца с автоматом на коленях?»

Матрос никогда не терял присутствия духа, взял в руку булыжник — оружие заключенных, открыл дверцу. Эльза представила его своей подруге, сидевшей в машине, которая, оказалось, все знала.

Эта девчонка с косичками, о существовании которой он даже не догадывался, могла проговориться, могла похвастать перед семьей или сверстниками, наконец, польститься на награды, которые полиция щедро раздавала за поимку убежавших из лагерей заключенных.

«Боже мой, какая непростительная неосторожность! — подумал морской пехотинец.— Впрочем, девочка совершила подвиг, и ей нужен свидетель. Да, наверное, с подругой вернуться в Пирну тоже будет безопасней; куда-то ездили, непогода задержала в пути...»

— Ты не боишься? — спросил он, забираясь в машину.

— Переодевайся. Мы не будем смотреть. Я привезла тебе белье, военную одежду и пистолет.

— Чья эта форма, отца?

— Нет... Хауптмана, который порол тебя плетью за то,

что ты заступился за меня перед мачехой. Я взяла у него в комнате. Пускай позлится.

Беглец переоделся, и ему сразу стало тепло и сухо. Лил ливень, а ему хотелось пить.

Он сел за руль, поплевал на ладони, легко повел машину по размытой дороге. Он уходил от Эльзы, молодой, красивый, к желанной Мусе Кузьминой, истосковавшейся по своему Игнату, пропавшему без вести в знаменитом Эльтингенском десанте, через Керченский пролив, в Крым.

Они добрались до узловой станции. Беглец посоветовал:

— Вернешься домой, не забудь поднять веревку и положить ее на место.— Ему запомнились рассыпавшиеся вдруг влажные косы.

...Гид остановился в центре площади против дома коменданта, где, наверное, когда-то происходили рыцарские турниры, сказал:

— Замок посещали Петр Великий и Наполеон. Он был государственной тюрьмой, в которой сидел русский анархист Бакунин.

Из дома вышла женщина с тазом и, созывая желтых цыплят, стала кормить их пшенной кашей. Женщине было лет сорок, но она очень напоминала Эльзу. То же веселое лицо, те же светлые глаза, и лоб, и брови с разлетом. Ее тотчас окружило шесть мальчиков, наперебой кричавших: мама, мама... Все мальчики были одеты в пионерские и комсомольские костюмы, повязаны синими галстуками. На груди поблескивали значки с изображением Ленина. Женщина подняла самого маленького сорванца на руки, словно хотела показать его туристам.

Цимбал подошел к ней.

— Я возвращаю вам ваши три гвоздики, которые вы подарили мне на счастье.

Она вяло взяла неживые стебли, согнала с венчика мохнатого шмеля, привлеченного правдоподобием красок.

— Да, эти цветы сделаны моими руками. Вы купили их в ресторане, у моей дочери. Здесь все в окрестностях изготовляют цветы. Это наш хлеб насущный.

— Вы узнаете меня?

— Да, Иван.— Не зная его настоящего имени, она всегда так звала его.

Говорить было не о чем. У нее своя жизнь, у него своя, а то, что было, давно поросло травой забвения.

Громко на реке загудел пароходик, напоминая, что время возвращаться.

Гид позвал задержавшегося Цимбала. Он с жаром поцеловал пахнущую мылом руку зардевшейся Эльзы и побежал нагонять товарищей. Взгляд его скользнул по отвесным, поросшим кустарником кручам замка. Теперь-то он, конечно, не смог бы бежать: и возраст не тот, и сила не та. Женщина смотрела ему вслед, заслонив сощуренные, опаленные глаза ладонью, словно глядела на солнце. У туннеля он порывисто оглянулся, встретился с ее растерянным взглядом, и оба поняли, что больше не увидятся никогда.

31 декабря 1970 г.
Ленинград

СОДЕРЖАНИЕ

И. Падерин. Предисловие 3

ЗОЛОТОЙ ШЛЯХ. *Роман*

Часть первая 9

Часть вторая 197

РАССКАЗЫ

Плацдарм 495

Братья 507

Замок 517

Сергей Александрович
БОРЗЕНКО
ПЛАЦДАРМ

Редактор **О. Афанасьева.** Художественный редактор **Ю. Боярский.**
Технический редактор **С. Ефимова.** Корректор **О. Назарова.**

ИБ № 883

Сдано в набор 4/III 1975 г. Подписано к печати А13905 от 8/XII 1977 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108 1/32. 16,5 печ. л. 27,72 усл. печ. л. 29,856+1 вкл.=29,899 уч.-изд. л. Заказ № 2205. Тираж 50 000 экз. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Кодированный оригинал-макет подготовлен
на электронных печатно-кодирующих устройствах «Север-2».
С Комитетом по печати СССР — согласовано.

Ордена Октябрьской Революции и
ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28